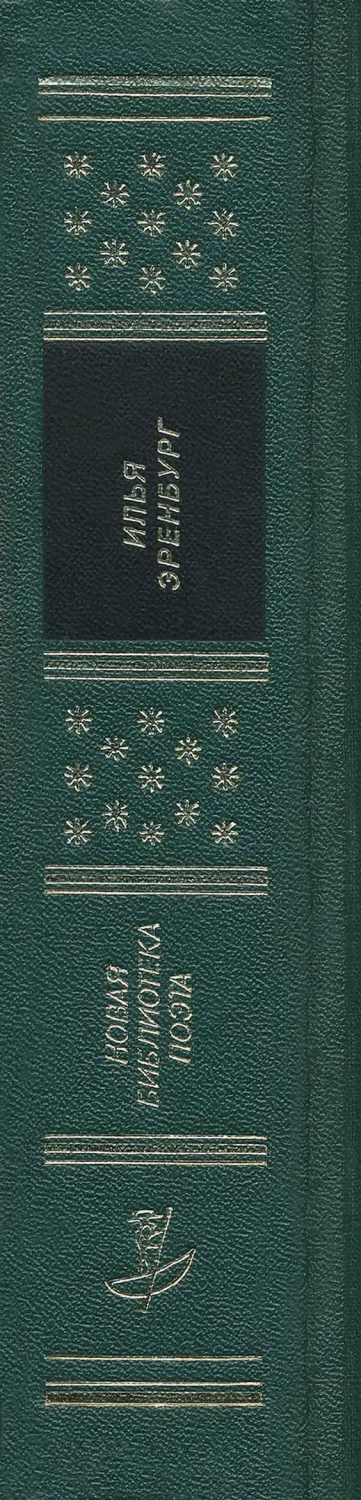


ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ



ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ



НОВАЯ БИБЛИОТЕКА ПОЭТА

Гуманитарное агентство
«Академический Проект»

ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ

СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ

Санкт-Петербург
2000

Редакционная коллегия

А. С. Кушнер *(главный редактор)*,
К. М. Азадовский, В. Э. Вацуро, М. Л. Гаспаров,
А. Л. Зорин, А. В. Лавров, А. М. Панченко,
И. Н. Сухих, Р. Д. Тименчик

Вступительная статья, составление, подготовка текста
и примечания *Б. Я. ФРЕЗИНСКОГО*

Редактор Д. М. Климова

Институт русской литературы благодарит
Администрацию Санкт-Петербурга,
Правительство РФ и Всемирный банк
за помощь в осуществлении настоящего издания

Гуманитарное агентство «Академический проект»
благодарит Российское авторское общество
за содействие в осуществлении настоящего издания

ISBN 5-7331-0206-3

© *И. Эренбург, наследники, 2000.*
© *Б. Я. Фрезинский, вступ. статья, состав, примеч., 2000.*
© *Гуманитарное агентство «Академический проект», 2000.*

ИЗ СЛОВ ОСТАЛИСЬ САМЫЕ ПРОСТЫЕ

(ЖИЗНЬ И ПОЭЗИЯ ИЛЬИ ЭРЕНБУРГА)

В огромном литературном наследии Ильи Григорьевича Эренбурга (1891—1967) поэзия занимает количественно небольшое место. При жизни о его стихах знали только знатоки поэзии (последние сорок пять лет жизни Эренбург гораздо больше был известен как публицист и прозаик), хотя сам он не раз говорил, что прежде всего считает себя поэтом. К этим заявлениям читающая публика и критика относились вполне снисходительно. О масштабе личности Эренбурга, о его достижениях и неудачах, исканиях и находках можно судить и по его многотомным мемуарам, и по доступным сегодня документам и свидетельствам современников. Стихи Эренбурга, которые, не считая молодых лет автора, возникали, казалось, на обочине этой нетривиальной жизни, сегодня видятся в ее центре. Они так прочно связаны с жизнью автора, с событиями, свидетелем и участником которых он был, что по-настоящему поняты могут быть лишь в контексте этой жизни, на фоне сложных политических и литературных событий 1910—1960-х годов. Поэтому введение к столь полному тому поэтических сочинений Ильи Эренбурга неминуемо требует биографического компонента и абриса эпохи.

ТАК НАЧИНАЮТ...

(ДЕТСТВО, ЮНОСТЬ, ПОДПОЛЬЕ, ЭМИГРАЦИЯ)

В Киеве, в ЦГИА Украины хранится «Книга для записи родившихся евреев на 1891 год». В ней на обороте листа 21 под № 36 имеется следующая запись. 1-я графа — кто совершал обряд обрезания — «Мещанин Мошко Сорочин». Число и месяц рождения и обрезания — «Январь 14, 21» (затем то же — по еврейскому календарю). Где родился — «В Киеве». Состояние отца, имена отца и матери — «Киевский 2-й гильдии купеческий сын Герш Гершанович Эренбург, мать Хана Берковна урожд. Аринштейн». Кто родился, какое имя ему дано — «Мальчик, наречен "Илья"»[1]. По окончании месяца раввин Е. Цукерман аккуратно написал: «Итого было рождений в январе месяце сего 1891 г. 116, из коих мужеского пола 66, женского 50[2]. 66 январских мальчиков получили 50 различных имен, причем только шести дали имена, наличествовавшие в святцах (Александр, Даниил, Яков, Семен, Иосиф и Илья), остальным — древние (иногда двойные: Мойше-Мордхай, Пинхос-Ицхок и т. д.). За 26 лет до рево-

люции, давшей евреям России равные права с прочими гражданами, сохранялась устойчивая традиция обособления, самоотъединения, противником которой Илья Эренбург был всю жизнь (не загоняйте себя в гетто, — не уставал он повторять евреям). Установка на ассимиляцию была сделана родителями сознательно с самого его рождения.

Илья Эренбург относился к матери с нежностью. «Мать моя дорожила многими традициями: она выросла в религиозной семье, где боялись и бога, которого нельзя было называть по имени, и тех "богов", которым следовало приносить обильные жертвоприношения, чтобы они не потребовали кровавых жертв. Она никогда не забывала ни о Судном дне на небе, ни о погромах на земле <...>. Мать была доброй, болезненной, суеверной; она страдала легкими, куталась, редко выезжала из дому, возилась с сестрами, со мной, писала по-еврейски длинные письма многочисленной родне»[3]. Отца писателя все звали Григорий Григорьевич; был он, как теперь бы сказали, предприниматель, купец 1-й гильдии; несколько лет работал директором Хамовнического медопивоваренного завода в Москве, затем — в страховой компании «Россия». В Москве он имел широкий круг знакомств, любил веселье, дома бывал редко, ограничиваясь в основном материальным содержанием семьи; живал в номерах «Княжьего двора» (в 1922 году Эренбург вспоминал, как гимназистом «жил с отцом в номерах "Княжий двор"; мне нравилось, что можно позвонить — и половой приносит самовар, плюшки)»[4]. «Отец мой принадлежал к первому поколению русских евреев, попытавшихся вырваться из гетто. Дед его проклял за то, что он пошел учиться в русскую школу. Впрочем, у деда был вообще крутой нрав, и он проклинал по очереди всех детей; к старости, однако, понял, что время против него, и с проклятыми помирился»[5]. И еще из воспоминаний: «Отец мой, будучи неверующим, порицал евреев, которые для облегчения своей участи принимали православие, и я с малых лет понял, что нельзя стыдиться своего происхождения»[6].

Родители Ильи Эренбурга поженились в Киеве 9 июня 1877 года, потом переехали в Харьков; в 1881 году родилась дочь Мария, в 1883-м — Евгения, в 1886-м — Изабелла; затем вернулись в Киев, где родился Илья. В сентябре — 1895 года семья Эренбургов переехала в Москву, где жила до 1918 года.

Илья рос болезненным ребенком — у него были слабые легкие (в мать) и, по свидетельству личного врача семьи Эренбургов М. Е. Гамбурга, до 1904 года он перенес воспаление легких и дважды — воспаление плевры, летом 1904 года заболел брюшным тифом, «после чего, — писал в 1908 году тюремному начальству Эренбурга д-р Гамбург, — я часто наблюдал у него припадки больной истерии: неудержимый плач и хохот, которые заканчивались бессознательным состоянием»[7]. Родители беспокоились за единственного сына, баловали его, прощая все, что он вытворял. («Меня избаловали, и, кажется, только случайно я не стал малолетним преступником»[8]). Его изобретательные выходки становились все более опасными (если поначалу он, скажем, заворачивал селедочные хвосты в бальные платья

старших сестер и в одежду гостей или, как вспоминает персонаж романа «Хулио Хуренито», именуемый Ильей Эренбургом, в 8 лет избивал сестер живым котом, накрутив его хвост на руку[9], то потом уже поджигал дачу и т. д.). В гимназические годы он не унялся, и, как свидетельствует участница гимназической социал-демократической организации А. Выдрина-Рубинская, «Эренбург, несмотря на свои исключительные способности, ладил далеко не со всеми благодаря своим эксцентрическим выходкам, составляющим отличительную черту его характера»[10]. Потом в голодные, бездомные парижские годы на это наложился гашиш, с которым его познакомил Модильяни. Приступы истерического, страшного хохота накатывались на него и в Киеве в 1919 году[11], потом, правда, все реже, но это случалось даже после Отечественной войны[12].

В семье Эренбургов дети не получили еврейского образования, хотя родители говорили между собой на идиш когда не хотели, чтоб дети их поняли.

Илья поступил в первый класс Первой московской мужской гимназии на Волхонке, выдержав жесткие экзамены за подготовительный класс (нужно было преодолевать процентную норму: хотя гимназия и была платной, действовало правительственное ограничение на прием евреев). К гимназии готовился с репетитором и помнил его потом всю жизнь, — М. Я. Имханицкий оказался тайным гипнотизером и все-таки приструнил ребенка, с которым к тому времени уже никто не мог справиться.

В мемуарах «Люди, годы, жизнь» есть розоватая дымка на том, что касается проблемы антисемитизма, как ее чувствовал маленький Эренбург, — интеллигенция-де тогда этого стеснялась. Мемуары — не документ прошлого, но совет будущему и попытка усовестить настоящее. В ранних воспоминаниях Эренбург — жестче и прямее. Например, в «Люди, годы, жизнь»: «Когда я пришел впервые в гимназию, какой-то приготовишка начал петь: "Сидит жидок на лавочке, посадим жидка на булавочку". Не задумавшись, я ударил его по лицу. Вскоре мы с ним подружились. Никто больше меня не обижал»[13]; в автобиографии 1922 года ту же песенку поет не один приготовишка, а «соседи»[14]; в «Книге для взрослых» (1936) это выглядит иначе: «В гимназии сверстники кричали мне "жид пархатый", они клали на мои тетрадки куски свиного сала»[15]. Если потом от Эренбурга и отстали, то потому, что он оказался не маменькиным сынком; его эксцентричности, возможно, и побаивались. С малых лет Эренбург тянулся к старшим (только под старость — к молодым); сначала — внутри класса, потом — к старшеклассникам. «В нашем классе был "лев" — князь Друцкой, прекрасный танцор, он умел разговаривать с девушками. Когда мне было тринадцать лет, я ему завидовал. Но уже год спустя он казался мне неинтересным. Я читал Чернышевского, брошюры о политической экономии, "Жерминаль", старался говорить басом и на Пречистенском бульваре доказывал дочке учителя пения Наде Зориной, что любовь помогает герою бороться и умереть за свободу»[16].

Уже с третьего класса Эренбург учился из рук вон плохо (он охотно занимался только тем, что ему было интересно), а в четвертом был оставлен на второй год (это — лето 1905 года, ему было не до учебы). Отец подал прошение попечителю Московского учебного округа, и в итоге Илье разрешили переэкзаменовки по трем предметам (русский язык, латынь и математика), но он их в августе завалил. Оставленный на второй год, Эренбург организовал в классе издание машинописного журнала и редактировал его под псевдонимом «Ильич», хотя адрес редакции был обозначен точно: Остоженка, Савеловский пер., д. Варваринского Общества, кв. 81. И. Г. Эренбург. Сохранился № 2 журнала[17]; в нем — рассказы и стишки, несколько заметок; одна из них написана Эренбургом: о гимназической библиотеке — с критикой ее режима работы и комплектования (нет не только новых авторов, но даже Короленко и Гаршина).

События 1905 года в той или иной степени захватили многих сверстников Эренбурга. Сам он строил баррикады на Пресне; Осип Мандельштам в Питере помогал эсерам; участвовал в московском восстании Маяковский; даже Пастернак сбежал из дома и получил удар казацкой нагайкой...

В январе 1906 года занятия в гимназии возобновились. 30 мая 1906 года после переэкзаменовок (очередных!) Эренбурга (наконец-то!) переводят в пятый класс, но к этому времени он уже один из лидеров Социал-демократического Союза учащихся средних учебных заведений Москвы наряду с Бухариным, Сокольниковым, Членовым. В 1907 году в Москве прошел общероссийский съезд этого Союза, на нем Эренбурга избрали в редколлегию печатного органа Союза[18].

После подавления революции многие ее боевые организаторы были схвачены охранкой, либо бежали заграницу; оставшиеся на воле вербовали новеньких — в основном гимназистов. В мае—июне 1907 года вместе с Бухариным Эренбург вел стачку на обойной фабрике Сладкова; в итоге рабочих активистов арестовали и посадили, но юных организаторов они не выдали[19].

Осенью 1907 года Эренбургу нет еще и семнадцати, но партия большевиков поручает ему работу в военных казармах; у него хранится печать военной организации большевиков и документы. В октябре его впервые задерживают, но ему удается избавиться от улик. Еще в сентябре арестовывают Сокольникова, уже кончившего гимназию. Эренбург чувствует, к чему идет дело, понимает, что ему грозит волчий билет: запрет на образование (это и случилось с некоторыми его товарищами — после ареста их исключили из гимназий без права продолжать образование). Родители превентивно подают заявление директору гимназии о выходе своего сына из состава учащихся (в автобиографии: «В 1906 г. вошел в революц.<ионную> организ.<ацию>. Из гимназии вскоре выгнали»[20]). Сам Эренбург в официальных бумагах тогда объяснял свое отчисление намерением учиться самостоятельно и экстерном сдать экзамен за оставшиеся классы. Освободившись от досаждавшей ему учебы, он все время отдает под-

польной работе, не забывая и о том, что в мемуарах назовет «моя первая любовь». В 1960 году Н. Я. Белобородова писала Эренбургу: «Помню наши прогулки, бесконечные "философские" разговоры и споры. Помню, как Вы вводили меня в нелегальные революционные кружки. Как объясняли мне разницу между большевиками и меньшевиками... Ведь, несмотря на свои 16—17 лет, были уже матерый революционер»[21]. В автобиографии Эренбург пишет об этом времени: «Поймали у фабрики Бутикова с прокламациями. Сошло. Был "организатором" в Замоскворецком районе. Еще составлял прокламации и трактат "Два года единой партии". Тщился одолеть третий том "Капитала". Искусство и стихи презирал»[22].

Встреча с поэзией тогда могла бы состояться. Эренбург был влюбчив и дон-жуанский список открыл еще гимназистом. В социал-демократический Союз входила и гимназистка Надежда Львова. У нее впереди были еще шесть лет жизни, в которой обыск и арест — не главное, а главное — книга стихов, вышедшая посмертно, роман с Брюсовым и самоубийство, в котором обвиняют Валерия Яковлевича. Гимназистка и революционерка Надя Львова любила стихи и писала стихи. Гимназист и революционер Илья Эренбург говорил с ней об этом, но стихов тогда опасался. А так как романа между ними не произошло, то и о значении поэзии они не договорились. Почти 30 лет спустя Эренбург напишет в «Книге для взрослых»: «В ранней молодости я стихи ненавидел. Лермонтов приводил меня в болезненное состояние. Я лечился от поэзии сначала микроскопом, потом "Положением рабочего класса в Англии". Я помню, как Надя Львова, которая входила в нашу гимназическую организацию большевиков, прочитала мне стихи Блока. Я ей сказал: "Выкиньте! Этого нельзя держать дома — это страшно"... Два года спустя я сам начал писать стихи»[23].

В ночь с 1 на 2 ноября 1907 года охранка провела обыски у новых деятелей московского комитета большевиков. Явились и к Эренбургу, но ничего предосудительного не обнаружили[24]. В январе обыски возобновились; в конце месяца охранка уже располагала списком участников «преступного общества, присвоившего себе наименование «Союз учащихся средних учебных заведений РСДРП»[25]. 29 января подписали ордер на безусловный (то есть с арестом независимо от результатов) обыск у Эренбурга. На сей раз у него изъяли нелегальную литературу, подозрительные адреса, талонные книжки военной организации и ее печать. Эренбурга полгода держали под арестом, переводя из тюрьмы в тюрьму: «В Басманной избили. Очнулся на полу в "пьянке": блевотина, кровь. Объявил голодовку — шесть дней. Было трудно, но держался, в душе мня себя героем. В Бутырках карцер, напугали крысы. Выпустили под залог. Выдали "проходное". Начал скитаться по России. Куда ни приеду — всюду поглядят "проходное" и дальше — в 24 часа. Вернулся нелегально в Москву. Ночевки, главным образом, у сочувствующих акушерок. Потом остался в декабре на улице ночевать. Не выдержал, пошел в жандармское управление: посадите обратно»[26]. 4 ноября 1908 года Г. Г. Эрен-

бург подал прошение отпустить сына под залог лечиться за границу. 24 ноября Илья Эренбург явился на допрос и признал факт своей причастности к Союзу учащихся, после чего под залог в 500 рублей его отпустили, и 4 декабря 1908 года он отбыл в Париж, тогда главный зарубежный центр русских социал-демократов, где находились Ленин, Мартов, Дан, Каменев, Зиновьев и др.

Илья Эренбург приехал в Париж с нужными адресами и быстро нашел группу содействия большевикам. Ленин удостоил его личной аудиенции (свежий человек из России!), а там — постоянные собрания, дискуссии; Каменев, Зиновьев, иногда Луначарский и даже Ленин, прозвавший Эренбурга «Ильей Лохматым». Ему советовали подучиться в Париже, а потом возвращаться в Россию, в подполье. Это внимание, разумеется, было лестно 18-летнему юноше, но атмосфера политической эмиграции, оторванной от живых и опасных дел, постоянные дрязги — не для юности. 10 лет спустя Эренбург опишет это так: «Приземистый лысый человек за кружкой пива, с лукавыми глазками на красном лице, похожий на добродушного бюргера, держал речь. Сорок унылых эмигрантов с печатью на лице нужды, безделья, скуки слушали его, бережно потягивая гренадин. "Козни каприйцев", "легкомыслие впередовцев, тож отзовистов", "соглашательство троцкистов, тож правдовцев", "уральские мандаты", "цека, цека, ока" — вещал оратор, и вряд ли кто-либо, попавший на это собрание не из "Бутырок", а просто из Москвы, понял бы сии речи. Но в те невозвратные дни был я посвящен в тайны партийного диалекта, и едкие обличения "правдовцев" взволновали меня. Я попросил слова. Некая партийная девица, которая привела меня на собрание, в трепете шепнула: "Неужели вы будете возражать Ленину?.." Краснея и путаясь, я пробубнил какую-то пламенную чушь, получив в награду язвительную реплику "самого" Ленина... Ленинцы, т. е. "сам", Каменев, Зиновьев и др., страстно ненавидели "каприйцев", т. е. Луначарского с сотоварищами, те и другие объединялись в общей ненависти Троцкого, издававшего в Вене соглашательскую "Правду". Какое же вместительное сердце надо иметь, чтоб еще ненавидеть самодержавие»[27].

А за стенами этих собраний и склок жил Париж...

Каждодневный круг общения юного Эренбурга составляла тогда молодежь из большевистского подполья, по разным причинам оказавшаяся в Париже. Они не только посещали собрания и «рефераты», но и спорили, смеялись, совершали прогулки, читали и делились прочитанным (современной литературой — и французской, и русской) и даже поставили спектакль по пьесе Леонида Андреева «Дни нашей жизни», представив его всей русской колонии. Стиль общения выработался веселый, иронический, в ходу были словечки из Андреева — «бывшие люди», «тихое семейство» и т. д.; поддевали не только быт, но и старших товарищей — они уже не жили революцией как ideé fixe.

Центром молодежного кружка была Лиза Мовшенсон. Она родилась в Варшаве, а детство провела в Лодзи; когда в 1906 году, спа-

саясь от угрозы погрома, ее семья перекочевала в Берлин, Лиза попала в русский большевистский кружок Землячки и по приезде в Петербург уже имела адреса явок. Гимназисткой она переправляла нелегальную большевистскую литературу; познакомилась в Питере с Каменевым, виделась с самим Лениным; потом, уже кончив гимназию и опасаясь ареста, уехала в Париж, где поступила на медицинский факультет Сорбонны, не порывая связей с большевистской группой. Она любила стихи, увлекалась Брюсовым, Бальмонтом, Блоком и сама понемногу писала. Лиза Мовшенсон, ставшая поэтессой и «серапионовой сестрой» Елизаветой Полонской, была на семь месяцев старше Ильи Эренбурга, и первое время он ее слушался, подчиняясь не только авторитету лидера[28].

Их роман оказался непродолжительным, но взаимно незабываемым, хотя и по-разному: для Полонской — как первая и самая сильная любовь, для Эренбурга — как событие, с которого начались его стихи. Об этом написано в мемуарах (публикуя эту главу в «Вечерней Москве», Эренбург и озаглавил ее «Как я начал писать стихи»[29]; эта публикация была встречена Полонской с радостью[30]): «Лиза страстно любила поэзию; она читала мне стихи... Я подтрунивал над Надей Львовой, когда она говорила, что Блок — большой поэт. Лизе я не смел противоречить... Я начал брать в Тургеневке стихи современных поэтов и вдруг понял, что стихами можно сказать то, что не скажешь прозой. А мне нужно было сказать Лизе очень многое...»[31].

Уцелевшие наброски обращенных к Эренбургу первых любовных стихов Полонской датированы февралем 1909 года — их роман уже в зените. Весной 1909 года следует датировать начало поэтической работы Эренбурга. Он отдался новому делу со страстью, свойственной его характеру; упорно работая, овладевал формой стиха.

В конце июня 1909 года Эренбург отправился в Германию, чтобы повидать лечившуюся там мать и сестер, оттуда поехал в Кенигсберг для встречи с Лизой, навещавшей там свою мать, затем они путешествовали вдвоем — Германия, Швейцария, Италия. В Милане расстались: Лиза вернулась в Париж, а Илья — в Германию, к своим, чтобы оттуда направиться в Вену, где началась его работа в «Правде» у Троцкого. От этих месяцев сохранились два, как всегда немногословных, письма Лизы к матери — в первом рассказывается о путешествии, а во втором (октябрь—ноябрь 1909 года) есть важные для нашего сюжета строки: «Илья все время в Вене, работает там в газете. После моих экзаменов он был здесь недолго и снова уехал. Его процесс разбирался в Москве, но его выделили, не помню почему. Или за неявкой, или родители представили свидетельство о болезни. Так как он привлекался по делу о московской в.<оенной > о.<рганизации>, ему бы дали 4 года каторги. Поэтому он предпочитает оставаться за границей. Он стал писать стихи, и у него находят крупное дарование»[32].

Только увлекательная работа могла удержать Эренбурга в рядах социал-демократии, но у Троцкого интересной работы для Эренбурга не нашлось, и он вернулся в Париж опустошенный. Спустя более

полувека, зашифровав Троцкого литерой Х, Эренбург напишет: «Х. был со мною ласков и, узнав, что я строчу стихи, по вечерам говорил о поэзии, об искусстве. Это были не мнения, с которыми можно было бы поспорить, а безапелляционные приговоры»[33]. Конечно, неудовлетворенность ощущалась уже в Париже — тамошние вожди высказывались о современной поэзии не менее определенно (скажем, Л. Б. Каменев писал тогда: «В Валерии Брюсове русская буржуазия пережила свою идеологическую молодость и нашла певца своего реального трепета и фатального Рока»[34]; это, по существу, мало чем отличалось от написанного тогда же Л. Д. Троцким: «Какому-нибудь Кузмину, вывернувшему любовь наизнанку, может казаться, что он открывает человечеству совершенно новые пути. На самом деле новейший фазис самоопределения буржуазной интеллигенции проходит так "закономерно", что даже скучно смотреть со стороны»[35]). Такие суждения вызывали у Эренбурга крепнущий протест, выражением которого в конце 1909 года стали редактируемые им и печатавшиеся в типографии сатирические журналы «Бывшие люди» и «Тихое семейство» о жизни русской социал-демократической колонии.. Их шаржи и текст вызвали гнев Ленина и фактически отлучение Эренбурга от большевистской группы[36]. Отлучение было окончательным[37]. Разрыв переживался Эренбургом тяжело; ощущение, что «у меня больше не было цели»[38], как он потом скажет, — давило. Не забудем: Эренбургу не было и восемнадцати, когда он оказался в Париже — один, без знакомых, с плохим французским и скромными средствами. Большевистский кружок пригрел его, укрепив поначалу уверенность: он нужен для серьезного и важного дела. Теперь этого не стало. Было от чего тосковать.

Стихи и новая любовь оказались спасением и выходом.

БЫЛ МИР И БЫЛ ПАРИЖ (1910—1914)

О 1910—1914 годах (до начала войны) говорят как о времени расцвета русской культуры. Конечно, в самой культуре — это пора динамичных и антагонистических процессов: закат символизма, подъем акмеизма, зарождение футуризма. Искусство России начало победный марш по Европе. Чьи-то проницательные головы и чуткие сердца, может быть, и чувствовали тревогу, но не это предощущение создавало общий настрой европейских столиц.

В 1910 году Илье Эренбургу исполнилось 19 лет. Его жизненный опыт был не так уж и мал — подполье, тюрьма, высылка, кочевья, политэмиграция, но его образование — только 5 классов гимназии и некий курс марксистской политграмоты. Все остальное надлежало освоить самостоятельно. Эренбург впитывает искусство Европы и ее литературу: много читает, учит языки — французский, потом еще испанский, путешествует, подолгу бывает в музеях.

Литература была выбрана им в качестве поля деятельности. Выбор — сегодня это ясно — был верным; две грани его дара — лирика

и сатира — не сразу, но отлились в адекватные таланту литературные формы. Зрелого Эренбурга в публицистике, эссеистике, в поэзии и в прозе можно узнать по нескольким строчкам. Но путь к этому оказался долгим и нелегким; внешние обстоятельства достижению цели тоже не помогали — прежде всего, изолированность от России (язык, общение); хотя до 1914 года ее не следует особенно переоценивать: русские журналы и книги были доступны, почта работала исправно, перемещения по Европе не ограничивались ничем, кроме денег, общение с русскими поэтами оказывалось возможным и в Париже — Бальмонт, Волошин, Сологуб, Алексей Толстой, Гумилев живали там или наезжали погостить. Старшие друзья Эренбурга пытались знакомить его с работами новых русских мыслителей — он узнал имена Бердяева, Булгакова, Флоренского, пробовал их читать, но бросил, предпочитая поэзию. Какое-то время увлекался Достоевским: отголоски этого увлечения заметны и в его стихах, и в прозе. Чтение русских апокрифов, поэтов старой Франции и старой Испании наполняло его жизнь наравне со стихами Блока и Верлена. Вообще, особенность поэтического пути Эренбурга — несомненное живое влияние новой и старой французской и старой испанской поэзии (Вийон, Хорхе Манрике, Жамм, Аполлинер); оно было длительным, сказавшись и на его зрелых стихах.

Эренбург не ставил перед собой задачи предварительного овладения богатствами культуры — он писал все время, а пристрастия менялись быстро, что видно по его первым книгам.

В жизни Эренбурга десятые годы — время серьезных, иногда судорожных исканий; счастливыми, гармоничными они были только поначалу. Тем не менее он постоянно и много работал над стихами, печатался, обрастал новыми друзьями — из русской колонии (художники и поэты) и французами; вписался в мир «Ротонды» с ее международным богемным братством нищеты и талантов. Он всегда был увлечен будущим и отталкивал от себя даже самое недавнее прошлое: каждая следующая книга стихов (а выпускались они ежегодно) отрицала предыдущую. Небольшие деньги из России поступали от родителей, и кое-что давал литературный труд — при минимальных запросах жизнь могла быть безмятежной...

Его автопортрет той поры умело набросан в «Книге для взрослых»: «Одет в бархатную куртку. Провожу целые дни в музеях. Мне нравится Боттичелли. Второй год, как пишу стихи. Начал случайно: полюбилась девушка, она любила стихи; я промучился ночь и срифмовал несколько четверостиший. Денег нет, но вместо колбасы покупаю туберозы. Презираю действие: верю, что красота связана с созерцанием»[39].

Всякий раз, цитируя в мемуарах свои ранние стихи, Эренбург оговаривается: ученические, бледные, слабые, плохие. Но всякий раз признает: тогдашнее душевное состояние они передают довольно точно[40].

Кипу его стихов отвезла в Россию в конце 1909 года Лиза Мовшенсон и вскоре телеграфировала из Питера, что их приняли в «Се-

верных зорях». В январе 1910 года стихи Эренбурга печатаются одно за другим: самая первая публикация — «Я шел к тебе...» в № 5 журнала «Северные зори» (он вышел 8 января), затем 17 января — в «Студенческой жизни» (эти стихи — наивная смесь Надсона с Некрасовым), затем 29 января снова «Северные зори» (№ 8), потом — журнал «Жизнь для всех», «Московская газета» (это, возможно, уже с подачи сестер) и т. д. Новое имя появилось... Это еще только пробы пера, в них и придуманное, и пережитое, размышления и отталкивания:

Я ушел от ваших громких, дерзких песен,
От мятежно поднятых знамен, —
Оттого, что лагерь был мне слишком тесен,
А вдали маячил новый небосклон.

Это обобщенная и потому не слишком точная формула; путь к стиху, где события реальной жизни находят не декларативное, а художественное отражение, — нелегкий. Впрочем, в этих стихах интересны не биографические мотивы, а заключающая их мысль:

Но, когда подслушал я в далеком храме
Странную, как море, тихую тоску, —
Понял я, что слишком долго был я с вами
И что петь другому я уж не могу —

здесь «наглядно соединились два определивших жизнь Эренбурга мотива — верности и отречения»[41].

В конце 1909 года на эмигрантском вечере Эренбург познакомился с первокурсницей-медичкой Сорбонны Катей Шмидт. «Влюбился я сразу»[42] — это единственное такого рода признание в семитомных его воспоминаниях. Испытанное им чувство (тогда взаимное) оказалось одним из самых сильных в жизни.

Тетрадка стихов начинающего поэта попадает к Брюсову (в сентябре 1910 года Эренбург напомнит ему об этом в письме: «Весной этого года Вы взяли на себя труд просмотреть мои первые стихи. Ваши указания послужили мне руководством в дальнейшей работе»[43]).

В июле 1910 года вместе с Екатериной Шмидт Эренбург совершает поездку в Бельгию и Голландию. Из всех городов, где они побывали, — Брюссель, Антверпен, Амстердам — больше всего его поразил город-музей Брюгге; там были написаны все стихи, составившие его первую книжку. Они объединены не только единством времени и места написания, но и единством переживаний. Ощутив себя среди декораций на старинных подмостках, Эренбург, без основательных исторических штудий, фантазируя, представлял себе сцены былых времен с участием рыцарей и Прекрасных Дам, монахинь и труверов. Пять столетий — такое расстояние по времени он определил для этих сцен. В стихотворении, открывавшем книгу (на него не раз потом пеняли Эренбургу, удивляясь, как это он, всегда такой

суперсовременный писатель, упорно следующий по пятам политических событий, иногда даже наступая на них, начинал столь изысканно и отстраненно), в этом стихотворении было заявлено:

В одежде гордого сеньора
На сцену выхода я ждал,
Но по ошибке режиссера
На пять столетий опоздал.

Почти также демонстративно открывал первую свою книгу и Гумилев:

Как конквистадор в панцире железном,
Я вышел в путь и весело иду... —

но то был образ сильного, не без влияния Ницше, героя, а над героем Эренбурга — смеются, да он и сам понимает, что его доспехи — картонные:

Как жалобно сверкают латы
При электрических огнях...

Электрические огни — это ведь не пять столетий назад, это современность; так что здесь всего лишь театр, сон, может быть, мечта — не более. Время от времени действие книги из средневековья ненатужно перемещается в новые времена, и тогда возникает Вандея и — в пику недавним товарищам —«озверевшие Мараты» и «слепые Робеспьеры»; почти религиозная аскетичность сюжетов вдруг разбавляется эротикой, не нарушая, впрочем, общей изысканности тона. Недаром именно «севрские чашки, гобелены, камины, арлекины, рыцари и мадонны» из первой книги Эренбурга запомнились Кузмину[14], а вся книга в целом попала в поэзы ненавистного Эренбургу Северянина:

И культом ли католицизма,
Жеманным ли слегка стихом
С налетом хрупкого лиризма,
Изящным ли своим грехом, —
Но только книга та пленила
Меня на несколько недель...[15]

О разнообразии влияний, сказавшихся на первой книге Эренбурга, говорили и писали много. Список оказался длинный: помимо Блока, Брюсова, Кузмина отмечен был еще и бельгийский символист Жан Роденбах (и сам Эренбург подтверждал это в письме к Брюсову[16]); Эренбургу предлагали даже назвать свой сборник «Под влиянием Роденбаха»[17].

Завершающие книгу Эренбурга стихи обращены к Богородице, которую автор на католический лад зовет Мадонной; в религиозном плане это, может быть, самые чистые стихи — в дальнейшем вера в стихах и мыслях Эренбурга будет уже неотделима от богохульства.

Более всего обрадовала Эренбурга рецензия Брюсова: «Разбирая книги начинающих поэтов, Брюсов выделил "Вечерний альбом" Марины Цветаевой и мой сборник: "Обещает выработаться в хорошего поэта И. Эренбург". Я обрадовался и в то же время огорчился — стихи, вошедшие в сборник, мне перестали нравиться»[48]. Последнее случилось быстро — это подтверждают два документа 1910 года. 11 ноября кузен Эренбурга Илья Лазаревич, художник и меньшевик, не изменивший русской социал-демократии и читавший тогда для партийной кассы лекции об импрессионизме рабочим-эмигрантам, сообщал из Парижа сестре: «Вчера Илья читал свой реферат: Последний трилистник (Гумилев, Кузмин и Черубина де Габриак). Народу было очень мало. Человек 20 и то все свои... Но можно только пожалеть тех, кто не пришел. Илья прочел нам даже не реферат, а художественное произведение, красивое, яркое, не уступающее его лучшим стихотворениям. Когда слышишь такие красивые вещи — прощаешь ему его "сжигание кораблей" и преувеличения: ему это нужно было для того, чтобы развернуться, — пусть. Не жалко». А через месяц, 14 декабря, он пишет сестре совсем иное: «Илья все дальше уходит в своих взглядах. Вероятно, не малую роль играет стремление к парадоксальности, чтобы epater и слушателя и самого себя, найдет какую-нибудь глупость и сам радуется, что дико звучит. В этом отношении логика гонит его все дальше. Теперь он уже ценит искусство потому, что это религия. Спорить с с-д, которые для нас воплощение земного прогресса и разума, для него невозможно (хотя он постоянно спорит и ругает их), потому что религия и искусство вне жизни, выше ее. Поэты и вообще дух совершенно отделен от земли и не связан ни со своей бренной оболочкой тела, ни условиями среды, времени и пространства. Он прямо говорит, что ведь верующему нельзя спорить с атеистом и позитивистом, тот хочет знать, а этот верит. Он тоже верит, и все остальное ерунда, и потому все земные аргументы не действительны, т. к. они на другом языке говорят. Ох, раздражает меня этот свихнувшийся...»[49].

1911 год вошел в жизнь Ильи Эренбурга двумя событиями: 25 марта в Ницце у него с Е. О. Шмидт родилась дочь Ирина, и он впервые побывал в Италии.

Стихи, написанные в Италии, Эренбург в апреле 1911 года отправил Брюсову («Я посылаю Вам новые стихи, которые мне кажутся иными и по своим задачам и по технике»[50]); в начале лета он отправил Брюсову рукопись новой книги[51]. Когда в августе 1911 года сборник «Я живу» вышел в Петербурге (это первая книга Эренбурга в России), он послал его Брюсову с сопроводительным письмом от 3 сентября: «Если Вы найдете в нем стихи более совершенные, то в этом я в значительной степени обязан Вам»[52]. В мемуарах об этих стихах сказано коротко: «Я попытался быть холодным, рассудительным — подражал Брюсову»[53].

Стихи книги «Я живу», наверное, не столько холодны, сколько умиротворенны. В первой строфе первого стихотворения речь идет о распятии, а следом совсем иное:

Я был печален и суров,
Войдя в оливковые рощи,
Но у языческих богов
Мне стало радостней и проще.

Если лицо книги 1910 года определяла тема средневековья, то здесь — античность и Возрождение. Все это вполне в духе символистов и после Брюсова и Вяч. Иванова не было новостью в русских стихах; впрочем, Эренбург и сам понимал, что это лишь упражнения. Скажем, о Возрождении он естественно пишет терцинами, и тут нельзя не вспомнить молодого Сологуба:

Терцинами писать как будто очень трудно?
Какие пустяки! Не думаю, что так.[54]

Современность иногда пробивается в стихи — тоской по родине, или живой картинкой, вдруг нарушающей благость русского пейзажа:

А ребятишки из соседней школы
Играют, книги побросав свои;
От их возни беспечной и веселой
Под купола взлетают воробьи.

(сравните у Мандельштама в стихотворении 1913 года: «А на дворе военной школы / Играют мальчики в футбол...»), или сознательным сопряжением двух торжественных циклов — Христос (не Сын Божий, но трагический персонаж истории; евангельские притчи здесь — сюжеты быта, а Воскресения нет) и Авиатор (в гимне стальной птице звучит финальная нота гибели).

Терцины, посвященные Боттичелли, которым Эренбург тогда восхищался, завершаются также трагической нотой — сожжением картин мастера у ног Савонаролы (заметим, что у Вяч. Иванова торжественный сонет, посвященный Боттичелли, так же завершается тенью Савонаролы[55]).

Объяснимая для забитого городом человека нота антиурбанизма неожиданно звучит в стихах о Париже, финал которых по-юношески печален:

И до утра над Сеною недужной
Я думаю о счастье и о том,
Как жизнь прошла бесследно и ненужно
В Париже непонятном и чужом —

здесь явственно намечаются будущие мотивы «Будней». Та же антиурбанистическая нота звучит и в послании «Еврейскому народу»: в нем безотносительно к собственным планам автора провозглашается призыв избавиться от положения униженных и гонимых чужестранцев и вернуться к судьбе вольных пахарей на обетованной земле. То, что эта мысль не имеет для Эренбурга национальных рамок, следует

из завершающего книгу стихотворения «Возврат», где, совершенно в духе Жан-Жака Руссо, изображена картина будущего массового исхода горожан в поля и леса и обретения ими радости естественного бытия.

Но тогда же, весной 1911 года, читая книги Кузмина («Сети», «Куранты любви»), Эренбург воспримет не настроение, не тон, не тонкую стилизацию и любовь к XVIII веку, а свободу говорить в стихах о подробностях, даже бытовых, своей жизни:

Вот ужин, чай, холодная котлета,
Ленивый спор домашних — я молчу.
И совершив обрядность туалета,
Скорей тушу унылую свечу.

(М. Кузмин. «Целый день», 1906—1907)

И это проявится осенью 1911 года в стихах, вошедших в следующую книгу Эренбурга — «Одуванчики». Почитатели прежних двух сборников были сразу предупреждены:

Не ищите в этой книге
Сказок, раньше вас пленявших...

(Осип Мандельштам на это предуведомление ответил в известной рецензии: «Но скромная, серьезная быль г. Эренбурга гораздо лучше и пленительней его "сказок"»[56]).

Не расчлененные на разделы «Одуванчики» были тематически неявно структурированы: 10 первых стихотворений — о московском детстве, в них последовательность воспоминаний является самодостаточной:

Я скажу вам о детстве ушедшем, о маме
И о мамином черном платке,
О столовой с буфетом, с большими часами
И о белом щенке...

Следующие 10 стихотворений, естественно примыкающих к «детскому» циклу, — странички наивного лирического дневника, связанного с Е. О. Шмидт. Сюжетно они не о семье — о любви, но не о страсти — о гармонии, радости сочувствия, взаимопонимания; стихи светло-грустные, почти на одной ноте, пока внутренняя тревога, связанная с возможностью потери счастья, не пробьется наружу растерянностью и горем.

Затем 10 стихотворений о Флоренции, Амстердаме, Париже и олеографической России; здесь же два — на еврейскую тему, личные (в отличие от стихотворения из «Я живу») — с отталкиваниями и притяжениями. И, наконец, последний раздел — лирика природы, стихи рассыпанного цикла «Месяцы года».

В непретенциозных «Одуванчиках» очевиден разрыв со школой символизма, школой Брюсова; это безусловный шаг в сторону вещности акмеизма, хотя год спустя Эренбург и назовет акмеистов «не-

сколько неудачно определившей себя школой»[57]. (Журнал акмеистов «Гиперборей» печатал Эренбурга и рецензировал его стихи, в свою очередь, парижский журнал Эренбурга «Вечера» хвалил «Гиперборей» — в итоге Эренбурга критика зачислила в акмеисты; в статье 1915 года Корней Чуковский запоздало обронил: «У акмеистов Эренбурга и О. Мандельштама...»[58]).

Заметная перемена в поэтике Эренбурга отразилась на сопоставлениях его с Мариной Цветаевой. Брюсов о стихах 1910 года писал: «Довольно резкую противоположность И. Эренбургу представляет Марина Цветаева. Эренбург постоянно вращается в условном мире, созданном им <...>. Стихи Марины Цветаевой, напротив, всегда отправляются от какого-нибудь реального факта...»[59]. После «Одуванчиков» Эренбурга и Цветаеву уже не противопоставляют — Амари: «Молодые поэты <...> вводят в поэзию интимную обстановку (М. Цветаева и И. Эренбург)»[60];Бальмонт: «Из поэтов, со стихами которых мне пришлось сколько-нибудь ознакомиться, выгодно выделяются Эренбург и Марина Цветаева. Они очень родственны друг другу. У обоих есть поэтическая нежность, меткость стиха, интимность настроения. Но их голос малого размера, и, когда они, не сознавая этого, пытаются быть сильными, они почти всегда впадают в кричащую резкость»[61].

Эренбург в мемуарах отзывается об «Одуванчиках» столь же строго, как и о первой своей книжке, — стилизация, «только вместо картонных лат взял напрокат в костюмерной гимназическую форму»[62], но это был еще один и существенный этап ученья.

1912—1913 годы — не легкие для Эренбурга. Постепенно расстраивается его жизнь с Е. О. Шмидт; в 1912 году Эренбург познакомился с Т. И. Сорокиным, проживавшим в Париже остатки своего наследства; весной 1913-го они втроем путешествовали по Италии: «Мы прекрасно провели время в Италии, денег было очень мало, зато глаза получили пищи вдоволь. Осенью Катя сказала мне, что решила выйти замуж за Тихона. Я погоревал, поревновал, но примирился. У нас с Катей жизнь не клеилась, мы были людьми с разными характерами, но с одинаковым упрямством. Да и к Тихону я успел привязаться...»[63]. Не столь сдержанно рассказала об этом в книге «Жизнь в двух мирах» Маревна (художница М. Б. Воробьева-Стебельская): «Катя была влюблена в благородного Тихона; человек без блеска, не гений, он был другом, на которого можно было положиться, а после нескольких лет жизни с Ильей — талантливым, с искрящимся саркастическим умом — Катя устала и от его темперамента, и от его капризов, и требовательности, и эгоизма. Пришло время, когда она больше не могла делить с ним постель, полную табачного пепла, но это не помешало им остаться добрыми друзьями»[64].

Еще раньше рухнули надежды на политическую амнистию к 300-летию дома Романовых — неотвратимость каторги при возвращении на родину навсегда закрывала дорогу домой. Об этом времени Эренбург вспоминает мельком, неохотно: «Жил беспорядочно и на редкость скверно»[65].

Образ этой жизни — в стихах о Париже, напечатанных в следующей книге Эренбурга «Будни», из-за них запрещенной в России. Эти стихи оттолкнули многих; тематически их сравнивали с Бодлером, пеняя Эренбургу — нет у него таланта для таких тем. Тень Бодлера, у которого Париж — мир возвышающих его фантомов, не появляется в «Буднях», там есть тень Верлена — и даже не тень, а портрет: Эренбург любил стихи Верлена, но, находясь тогда на том же парижском дне, уже не мог и не хотел в стихах над этим дном воспарить. У него — сатира, но не смешная и едкая, как у Саши Черного, а едкая и отталкивающая. Бодлер воспарял, Саша Черный подсматривал, Эренбург жил на дне и не видел выхода, даже звезды казались ему наглыми и бездушными, даже солнце ему казалось только сводней. Когда обольщение универсальностью классовых схем разрешения проблем общественного бытия прошло, оказалось, что вопрос: откуда происходит зло? — продолжал мучить.

Эренбург, которому было чуждо последовательное смирение, наивно пытался найти спасение в религии. Еще в 1912 году он познакомился с католическим поэтом Франсисом Жаммом; переводил его стихи и писал о нем, посетил его деревенский дом в Ортезе, где поэт жил практически безвыездно. Католицизм Жамма мирно сосуществовал с его пантеизмом, и Эренбургу это показалось спасением. Идея войти в рай вместе с ослами его прельстила. В автобиографии 1922 года об этом сказано так: «Часто голодал: пятый, шестой день. Спина болит, гуд. А в последнюю минуту всегда кто-нибудь принесет франчишко. Увлекался средневековьем. Много читал. Потом — Жамм, католицизм. Предполагал принять католичество и отправиться в бенедиктинский монастырь. Говорить об этом трудно. Не свершилось»[66]. Илья Эренбург — персонаж романа «Хулио Хуренито» — живописует это легко: «Писатель Жамм свел с монахами. Лурд, Клодель и т. д. Отец Иннокентий. Завтра обряд крещения. Потом пострижение. Я выбрал имя "брат Ипполит". Ничего себе! Последнее наставление. А у меня какая-то пружинка внутри, не в мозгу, а где-то под ложечкой лопнула. Святой отец! Хи-хи! Позвольте я вам на гитаре сыграю! "Цветы, цветочки вы мои!.." Очень вы мне, постники, опротивели! А как насчет дочери, то есть филии Виргинии, коя в огороде сеет порей, сельдерей и прочие премудрые овощи?.. Недурственно бы, а, отец? Потом — бух на пол, и ползаю: Господи, Господи, Господи, помилуй! Ну, начинай же колоть шилом, щипать с вывертом, чтобы околел я — гад протухший! Но отец, как нянечка, задрал со страху рясу, лопочет: "Изыде! Ай! Спасите!" Я еду в Париж»[67].

Цикл светлых стихотворений, графически напечатанных как проза в сборнике «Детское», посвященном Жамму, опубликован уже после описанных выше событий, в пору, когда Эренбурга увлекла большая работа: он задумал представить русскому читателю в своих переводах новую поэзию Франции. Его антология «Поэты Франции. (1870—1913)» появилась в начале 1914 года, когда Эренбург уже, казалось, выходил из кризиса.

В «Детском» была анонсирована его новая «взрослая» книга —

«Когда я курю трубку», — она не вышла, и о содержании ее нам ничего не известно. Но стихи 1914 года, которые должны были составить сборник «Noli me tangere», также не вышедший, Эренбург в основном успел напечатать — эти не подражательные стихи исполнены одновременно и веры в Доброго пастыря, и сомнений в его доброте; в них удавшийся сплав реальных жизненных коллизий и поэтических обобщений. В стихах книги «Noli me tangere» ощутима перекличка с новейшей французской поэзией, в частности, с написанными тогда же, но опубликованными позже в книге «Рожок игральных костей» стихами Макса Жакоба, который, к слову сказать, весьма иронично высказывался о недавней эренбурговской привязанности — Ф. Жамме. Вообще — обретенные Эренбургом в Париже пристрастие к живописи, интерес к средневековой поэзии, дух современного сознания роднили его с Жакобом и Аполлинером, которые по этим же критериям осознавали свою близость к Бодлеру. Стихи книги «Noli me tangere» набраны, как и в «Детском», прозой (об этом опыте Эренбург забудет и в 1922 году станет выговаривать М. М. Шкапской: «Зачем пишете четверостишия как прозу?»[68]), но это отнюдь не прозаизация, характерная для «Стихов о канунах», — такая запись здесь была лишь формальностью: все размеры и рифмы на месте. И, несмотря на внутренний драматизм стихов, можно говорить об их эстетической умиротворенности.

В эту же пору Эренбург, продолжая свой прежний парижский опыт (участие в литературно-художественном журнале «Гелиос» и в деятельности «Русской Академии»), реализует идею издания поэтического журнала «Вечера», где предполагалось печатать стихи поэтов, живших и в Париже, и в России. Казалось, жизнь — снова на подъеме, но тут разразилась мировая война.

КАНУНЫ. МОЛИТВЫ. РАЗДУМЬЯ.

(ВОЙНА И РЕВОЛЮЦИЯ, РЕВОЛЮЦИЯ И ВОЙНА. 1914—1920)

Период 1914—1916 годов занимает в автобиографии Ильи Эренбурга несколько строк: «В начале войны захотел воевать. Не взяли. Потом на вокзале в Иври по ночам вагоны грузил за сто су. Я мерз. Скверно было. Потом писал "Стихи о канунах". Затем стал корреспондентом "Биржевки". Попал на фронт. Об этом писал»[69].

К стихам Эренбург вернулся в декабре 1914 года, когда военный угар в умах и душах начал мало-помалу рассеиваться под влиянием реалий войны. Впрочем, из 69 стихотворений, допущенных цензурой в сборник «Стихи о канунах», только два военных стихотворения могли быть прежде напечатаны в русской периодике: «Стихи о канунах» никак не вписывались в заполнивший ее поток патриотического рифмоплетства. Не обещая читателям вести их на Берлин, но мучая их кликушескими причитаниями над «угнанными на войну» и ни за что погибшими «Ванечками и Петеньками», Эренбург имел не много шансов быть напечатанным; его недвусмысленный призыв к миру:

А там, при медленном разливе Рейна,
Ты, лоза злобы, зацвела.
Вы, собутыльники, скорее пейте
У одного стола! —

еще не мог быть услышан.

«Стихи о канунах» заботами Максимилиана Волошина при материальной поддержке Михаила и Марии Цетлиных увидели свет в Москве в 1916 году. Несмотря на темный, энигматический характер многих стихов, цензура почувствовала, что к чему, и книгу изрядно изувечила.

«Стихи о канунах» — самая большая и самая темная поэтическая книга Ильи Эренбурга; в ней и лирика, и театральные сцены, и портреты друзей (цикл из 17-ти стихотворений «Ручные тени»), и повести в стихах, и циклы молитв. Ее объединяет единая эстетика неэстетичного, новая для Эренбурга поэтика, и, в плане общего развития русской поэзии Серебряного века, она соответствует переходу от акмеизма к футуризму (этот переход виден не только в фактуре стиха, но даже и во внешних, подчас житейских, случайных совпадениях — желтая куртка Эренбурга, которую он стал носить, сродни желтой кофте Маяковского, книжка, литографированная в 1916 году в Париже, естественно ассоциировалась в России с футуристическими сборниками); при этом о русском футуризме Эренбург ничего толком не знал, считая футуристом только Игоря Северянина... Резкая смена эстетической программы обусловлена и внешними событиями — мировой войной, бессмысленной гибелью миллионов людей, и внутренними — вынужденным бездействием, невозможностью ни принять участие в событиях, ни укрыться от них, угнетающей неустроенностью жизни — переживаниями сильными, горькими, мучающими.

Выразительный портрет Эренбурга с натуры сделал тогда Максимилиан Волошин: «С косящими глазами, отяжелелыми семитическими губами, с очень длинными и очень прямыми волосами, свисающими несуразными космами, в широкой фетровой шляпе, стоящей торчком, как средневековый колпак, сгорбленный, с плечами и ногами, ввернутыми внутрь, в куртке, посыпанной пылью, перхотью и табачным пеплом, имеющий вид человека, "которым только что вымыли пол", Эренбург настолько "левобережен" и "монпарнасен", что одно его появление в других кварталах Парижа вызывает смуту и волнение прохожих»[70].

Вспоминая в 1932 году «Стихи о канунах», Волошин записал: «Это были образы и мысли без пути к ним, часть логического домысла сознательно опускалась. Это давало большую свободу в распоряжении образами, в их чередовании и нагромождении. Вместе с новыми сочетаниями отдаленных рифм-ассонансов составляло большую расчлененность стихам его смысла, что, в общем, было приятно и ново и мало похоже на прежнее. Евангельская простота, наивность и искренность Жамма остались далеко позади»[71]. Это не поздние раздумья — и в 1915 году Волошин понимал природу новых стихов

Эренбурга, многие элементы их поэтики, что и заострил в пародии:

Шмыгали ноги. Чмокали шины.
Шоферы ругались, переезжая прохожих.
Оживший покойник с соседнего кладбища
Во фраке, с облезшими пальцами,
Отнял у девочки куклу. Плакала девочка.
Святая привратница отхожего места
Варила для ангелов суп из старых газет:
«Цып-цып-цып, херувимчики!
Цып-цып-цып, серафимчики!
Брысь ты, архангел проклятый!
Ишь отдавил серафиму
Хвостик копытцем».
А на запасных путях
Старый глухой паровоз
Кормил жаркой грудью
Младенца-бога.
В яслях лежала блудница и плакала.
А тощий аскет на сносях,
Волосатый, небритый и смрадный,
В райской гостиной, где пахло
Духами и дамской плотью,
Ругался черными словами,
Сражаясь из последних сил
С нагой Валлотоновой бабой
И со скорпионом,
Ухватившим серебряной лапкой сахар.
Нос в монокле, писавший стихи,
Был сораспят аскету
И пах сочувственно
Пачулями и собственным полом.
Медведь в телесном трико кувыркался,
Райские барышни
Пили чай и были растроганы...

(«Это описание Максимилианом Александровичем моего посещения Цетлиных», — пояснил Эренбург Борису Савинкову, посылая ему этот текст[72]).

1 сентября 1915 года, получив свежие новости из России, Эренбург писал Волошину: «Русские газеты оставляют на меня все более впечатление страшное и непонятное. Рядом с известиями вроде следующего, что два уезда со скотом, тщетно ища пастбищ и воды, шли месяц от Холма до Кобрина или что еврейские "выселенцы" в так называемых "блуждающих" поездах два месяца ездят со станции на станцию, потому что их нигде не принимают, — бега, скоро открываются театры, какое-то издательство выпускает поэзы Игоря Северянина в 100 экз. по 10 целковых каждый, а "Универсальная библиотека" распространяет "Битва при Триполи, пережитая и воспетая Ма-

ринетти, под редакцией и в переводе Вадима Шершеневича". Что это все? Ремизовщина? И смирение Руси не кажется ли минутами каким-то сладким половым извращением, чем-то вроде мазохизма?»[73] И потом, в сентябре, снова Волошину: «В Ваших последних стихах о войне слишком много непозволительного холода»[74], а в конце месяца Савинков сообщает Волошину об Эренбурге: «Он ругает меня нещадно за статьи, взвивается, закипает и доказывает, что я "шовинист"»[75]. Эта страсть осталась с Эренбургом навсегда — и в Гражданскую, и в испанскую, и в Отечественную он ни о чем другом думать, говорить и писать не мог.

Как это случалось и потом у Эренбурга («Оттепель»!), название книги, в определенной мере, значительней ее содержания (оказалось, что это действительно кануны неслыханных перемен и в судьбе Европы, и — в особенности — в судьбе России и всех ее народов). «Стихи о канунах» — книга не точных исторических предвидений (даже ошибшийся на год Маяковский — «в терновом венце революций / Грядет шестнадцатый год» — был точнее и яснее), но темных многозначных пророчеств, богоборчества и покаяний, богохульства и молитв. Слова из «Откровения святого Иоанна Богослова», поставленные эпиграфом к книге, — «Горе живущим на земле...» — в эпохи таких бессмысленных с точки зрения здравого смысла потрясений звучат оправданно. «Стихи о канунах» — несомненно антивоенная книга: в ней горечь и скорбь, стон и плач по убитым; в ее причитаниях речь идет о русских крестьянских сыновьях, мало что понимающих в происходящем. Тема смерти присутствует во многих вещах этой книги, даже в «Колыбельной» (что повторится и в 1942 году). Не случайно уже в первой своей корреспонденции из Парижа для «Утра России» (18 ноября 1915 года) Эренбург написал не о героизме французских солдат и русских волонтеров, не о варварстве немцев, но о скромной могиле на чужой земле с простой надписью «Сержант Первого иностранного полка Jean N-off», к которой приписали по-русски: «Ненаглядному Ванюше моему»... В очерках Эренбурга, печатавшихся с жесткой цензурной правкой в «Утре России», а потом в «Биржевых ведомостях», много описаний встреч и разговоров с русскими солдатами, воевавшими во Франции, — эти косноязычные крестьянские слова, их внутренний алогизм и бессвязность удивительным образом соответствовали исполненным темной силы стихам Эренбурга (всякая мысль о красивых словах про некрасивые убийства выводила его из себя). «Стихи о канунах» нельзя назвать «гражданской поэзией» в прямом смысле, поскольку она предполагает ясность и общедоступность, но и небезызвестный образ башни из слоновой кости не имеет к ним ровно никакого отношения.

В стихотворении, которое обычно цитируют, когда речь заходит о «Стихах о канунах», на картинке, повешенной над кроваткой малыша, чтоб ему было радостно, изображено, как

Казак наскочил своей пикой
На другого чужого солдата.
И красная краска падает на пол, —

что и говорить, такие стихи не имели отношения к «военно-патриотическому воспитанию», как называли соответствующую литзадачу в последующие десятилетия.

Семантически многое в «Стихах о канунах» — неясно; музыка изгнана из них, рифмы едва прослушиваются, ритмы нестабильны, но такая поэтика осознанна — Эренбург писал о ней Брюсову: «То, что Вам кажется отвратительным, отталкивающим, — я чувствую как свое, подлинное, а значит, ни красивое, ни безобразное, а просто должное. Пишу я без рифмы и "размеров" не по "пониманию поэзии", а лишь потому, что богатые рифмы или классический стих угнетают мой слух. "Музыка стиха" — для меня непонятное выражение, — всякое живое стихотворение по-своему музыкально. В разговорной речи, в причитаниях кликуш, в проповеди юродивого, наконец, просто в каждом слове — "музыка" <...>. Я не склонен к поэзии настроений и оттенков, меня более влечет общее "монументальное", мне всегда хочется вскрыть вещь <...>. Вот почему в современном искусстве я больше всего люблю кубизм». И затем важное признание: «Вы говорите мне о "сладких звуках и молитвах". Но ведь не все сладкие звуки — молитвы, или, вернее, все они молитвы богам, но не все — Богу. А вне молитвы Богу — я не понимаю поэзии»[76].

Это прямое обращение к Богу выражено в обнаженном, без какой-либо заботы о собственном имидже (если пользоваться современным словом), цикле «Прости меня» — блудливого, богохульника, поэта, нерадивого, злобного... Здесь и о грехах, и о смиренном покаянии говорится с предельной, исступленной искренностью.

Пророчества Эренбурга наиболее монументально звучали в стихотворении «Пугачья кровь», которое цензура запретила печатать. На фоне, созданном повторением строк «Желтый снег от мочи лошадиной, / Вкруг костров тяжело и дымно», рисующих Москву во время казни Емельяна Пугачева, звучат причитания:

Прорастут, прорастут твои рваные рученьки,
И покроется земля злаками горючими,
И начнет народ трясти и слабить,
И потонут детушки в темной хляби,
И пойдут парни семечки грызть, тешиться,
И станет тесно, как в лесу, от повешенных,
И кого за шею, а кого за ноги,
И разверзнется Москва смрадными ямами,
И начнут лечить народ скверной мазью,
И будут бабушки на колокольню лазить,
И мужья пойдут в церковь брюхатые
И родят, и помрут от пакости,
И от нашей родины останется икра рачья
Да на высоком колу голова Пугачья!

Уж это, точно, — не для аристократических ушей, недаром возмущенный Иван Бунин покинул помещение во время чтения этих стихов автором...

В 1936 году, в пору максимальной веры в справедливость советской идеологии, Эренбург жестко и строго вспомнит себя в 1915-м: «Мне 24 года, на вид дают 35. Рваные башмаки, на штанах бахрома. Копна волос. Читаю Якоба Беме, Арсипресто де Ита, русские апокрифы. Ем чрезвычайно редко. Заболел неврастенией, но болезнью своей доволен. Ненавижу красоту. В стихах перешел на прозаизмы и на истерику; в жизни запутался. История вызывает во мне отвращение. Одобряю апостола Павла: он дробил античные статуи. Боттичелли кажется мне коробкой для конфет. Признаю Греко и кубистов»[77]. Это, надо сказать, точный портрет, многое объясняющий в «Стихах о канунах». В мемуарах «Люди, годы, жизнь» Эренбург процитировал письмо Макса Жакоба Гийому Аполлинеру (1915 год): «У нас довольно крупный русский поэт Илья Эренбург; он перевел мне свои стихи. Он считает себя учеником Жамма, но он гораздо больше напоминает тебя или Гейне. У него в стихах нечто вроде Страшного суда: идут за стариком, который сидит в кафе, — разве вы не знаете, что пришел Страшный суд? Нужно идти! А старик отвечает: "Что там? Страшный суд? Не могу — меня к ужину ждут..." Не все его стихи достигают подобной силы, но хотелось бы побольше поэтов, таких сильных, как этот человек». Приведя эту цитату, Эренбург заметил: «Максу Жакобу я тогда казался сильным, но это была сила отрицания, сам же я часто думал о своей слабости»[78]. Вообще, в «Стихах о канунах» можно найти немало того, что проозвучало тогда и потом в европейской поэзии (скажем, слова Лошади из «Свадьбы на площади»: «На бойню влекла гимны певших баранов», заставляют вспомнить знаменитый зонг Брехта и т. д.).

Вторая сквозная тема «Стихов о канунах» — тема скуки, бессмысленности круговорота жизни; молитвы здесь соседствуют с богохульством; тема заявлена уже в эпиграфе из Второзакония — Пятой книги Моисея. (Заметим к месту, что отношение к заполненности жизни было всегда очень острым у Эренбурга; так, по возвращении из оккупированного гитлеровцами Парижа он выразил свою тоску словами: «Жизнь такая неинтересная...»[79]). Эренбург прямо писал об этом Волошину в конце сентября 1915 года: «От этого дьявола (скуки. — *Б. Ф.*) никакими запахами, никакими мазями не отвяжешься — ибо даже закурить папиросу скучно и нельзя. А ему безмерно уютно в человечьей душе»[80]. Это письмо — в связи со стихами Волошина «Усталость», где предсказывается, что Христос, придя на землю, тихо пройдет по ней: «Ничего не тронет и не сломит / Тлеющего не погасит льна...». И Эренбург, комментируя эти строки, написал Волошину, что созданный им образ «очень страшен», и добавил: «Каббалисты говорят что у Бога нет положительных свойств, а только отрицательные. Он эн-соф, то есть безграничный, всевмещающий,— вот это самое страшное, это Скука... Если бы Вы знали, как быстро я иду "путем усталости", но это не путь к Богу, ибо в нем нет ни любви, ни ненависти»[81].

Путь, пройденный Эренбургом-поэтом за шесть лет, путь, в части поэтики условно помечаемый вехами: символизм—акмеизм—фу-

туризм (причем только последний отрезок его Эренбург считал «своим»), ретроспективно выглядит понятным, однако предсказать его было невозможно. В этом смысле характерны два суждения В. Я. Брюсова о поэзии Эренбурга — 1911 года: «Вероятно, его стихотворениям всегда останутся присущи два недостатка, которые портят его первый сборник: холодность и манерность»[82]; 1916 года: «Для И. Эренбурга стихи — не забава и, конечно, не ремесло, но дело жизни»[83].

В 1916 году Эренбург работал над сюжетными поэмами; в этом сказалась его внутренняя тяга к прозе, недаром именно в 1916 году у него возник замысел большого сатирического романа, замысел, осуществленный только в 1921-м («Необычайные похождения Хулио Хуренито и его учеников»). Из поэм этого времени сохранились две («Повесть о жизни некой Наденьки и о вещих знамениях, явленных ей» и «О жилете Семена Дрозда»), и они, несомненно, вписываются и тематически, и поэтически в книгу «Стихи о канунах». Сохранились упоминания и о двух других поэмах Эренбурга — написанной раньше «Семена Дрозда» повести в стихах «Суета» (о ней 1 августа 1916 года рассказал М. Цетлин в письме Волошину: «Реалистический, только схематизированный рассказ об измене жены своему мужу. Не знаю, может быть, эта крайняя наивность сознательна... Много верных штрихов, но в общем скучно и немного смешно»[84]) и поэме «На лестнице» (о ней в середине декабря 1916 года Эренбург писал Савинкову: «Еще в день Вашего отъезда я написал большую поэму "На лестнице" ("запах и потом бывает щекотно"). На днях улучу час и перепишу для Вас»[85]), но тексты их остаются неизвестными. Еще об одном своем замысле Эренбург сообщал Волошину 7 июня 1916 года: «Стихов совсем не писал, но часто думаю о них. Хочу писать полубытовой роман на слова Давидовы "Вечером Он шлет плач, а утром торжества". Роман в стихах»[86] (видимо, именно эта вещь под названием «Дни Давидовы» упомянута Эренбургом в записной книжке в составе задуманного в 1917 году сборника; возле названия помета: «Восстановить, исправить»[87]; текст ее неизвестен).

Февральскую революцию 1917 года Эренбург встретил с огромной надеждой: помимо всего прочего, она открывала ему путь в Россию. Возвращение русских политэмигрантов из Парижа на родину в условиях разрезанной фронтами Европы растянулось на месяцы в порядке установленной жребием очереди. Эренбургу выпал июль. Покидая Францию, он расставался не только с Парижем, где сформировался как художник, но и с Шанталь Кенневиль, своей подругой последних парижских месяцев, — отзвук их романа еще прозвучит в его стихах. Кружным путем через Англию Эренбург прибыл в Петроград в разгар подавления большевистского выступления («В Торнео поручили солдатику "сопроводить". Солдатик решил, что я анархист, и показывал меня, как зверя, "товарищам" на всех финляндских станциях. Хотели убить. В Белоострове офицеры (к.-р.) приняли меня за большевика. Отняли все. Приехал с вокзала — пулеметы и пр.»[88]).

В Питере Эренбург побывал у Бориса Савинкова, ставшего военным министром; Савинков обещал ему в скором времени назначение помощником комиссара на фронт и познакомил с Федором Степуном. Приехав в Москву, Эренбург застал там только отца. Ему пришлось пересечь все еще воюющую Россию с севера на юг, чтобы в Крыму повидать отдыхавшую там мать и сестер, а заодно и Волошина. Эта поездка, затянувшаяся до осени (в Москву Эренбург возвратился под канонаду октябрьского переворота большевиков), произвела на него удручающее впечатление. Родина, с которой он расстался в декабре 1908 года, предстала перед ним в совершенно ином обличье — война ее вдрызг разболтала: солдаты убивали офицеров, бросали окопы и устремлялись в города по пути домой; обыватели жили в тревоге, не зная, что их ждет завтра.

Октябрьского переворота Эренбург, как и большинство интеллигентов, не принял; своих прежних парижских знакомцев в роли новых вождей России он не воспринимал всерьез и считал, что они не надолго. С детства не вынося никакого диктата, Эренбург, естественно, выступил и против диктата большевиков. В автобиографии 1922 года об этом сказано очень кратко и дипломатично: «Октября, которого так долго ждал, как многие, я не узнал»[89].

Литературный урожай Эренбурга в 1917 году небогат — несколько газетных статей о Франции и о том, что он видел в дороге; в ноябре—декабре 1917 года были написаны 14 стихотворений, составившие «Молитву о России».

Стихи «Молитвы о России» отличает пылкая непосредственность отклика на реальные события и ясность — этим они не похожи на «Стихи о канунах». В них впервые Эренбург использует слово «мы» (с широтой адресации, включающей даже «наши церкви православные»); позже оно будет сильно звучать в его «белой» публицистике. Но влияние поэтики «Стихов о канунах» ощутимо — не только благодаря жанру молитв, который здесь продолжен, но и ткани самого стиха (недаром впервые опубликованная в «Молитве о России» «Пугачья кровь» не выпадает из остального текста). Такие поэмы, как «Сказка», «Молитва Ивана» и «Как Антип за хозяином бегал», развивают мотивы «Семена Дрозда»; их антибуржуазность (едко изображенный мир, в котором, как в «Сказке», нет места Христу), помноженная на несомненное понимание особенностей русской ментальности (непредсказуемые переходы от любви к ненависти и обратно), в итоге придает этим вещам черты, новые для русской поэзии.

Эпический размах «Судного дня», этой хроники российских событий 1917 года, с его скорбным рефреном («Детям скажете: Осенью / Тысяча девятьсот семнадцатого года / Мы ее распяли!»), частушечное, лихое и грозное начало книги («Двенадцать» написаны позже — то есть давление живой «революционной» речевой стихии на поэтическое слово испытывал не один Блок) и даже «Похороны» и «У окна», прямо продолжающие военные стихи 1915 года, — все это придает «Молитве о России», поэтическому дневнику 1917 года, характер впечатляющего экспрессивной трагичностью свидетельства,

в котором есть, конечно, и прочувствованные личные страницы — «Молитва о детях», «Моя молитва», «В переулке»...

Известная запись Блока слов В. Стенича: «Сначала были 3 Б (Бальмонт, Брюсов, Блок); показались пресными, — Маяковский; и он пресный, — Эренбург (он ярче всех издевается над собой, и потому скоро все мы будем любить только Эренбурга»[90] сделана 31 января 1918 года, когда «Молитва о России» уже вышла, но относится, скорее, к «Стихам о канунах». В написанной 2 мая 1918 года статье Блока «Русские дэнди» эти слова приводятся без мотивации: «Теперь, кажется, будет мода на Эренбурга»[91]. Между тем скрытое «самобичевание» есть и в «Молитве о России», — скажем, в «Судном дне» возникает среди октябрьской вакханалии «на Гороховой пьяный старичок в потертом мундире», вопя: «Да приидет Царствие Твое», — именно этим крупно набранным патетическим возгласом торжественно и горько, как последней надеждой, закрывались «Стихи о канунах»...

Коль скоро здесь возникло имя Блока, приведем впервые без комментариев фрагмент из письма С. М. Алянского Эренбургу от 20 декабря 1955 года: «Давно собираюсь сообщить Вам следующее. Не помню точно, когда это было, в 1919 г. или в 1920 г. В одной из бесед с поэтом Александром Блоком я задал ему вопрос: кого из молодых поэтов он считает наиболее талантливым? Александр Александрович подумал и сказал, что из тех поэтов, которых он знает, наиболее талантливым ему кажется Илья Эренбург. Эти слова Александра Блока мне хорошо запомнились потому, что они тогда удивили меня. Вы вправе осудить меня за то, что столько лет я таил от Вас драгоценные слова Блока. Извините меня и поверьте, что много раз хотелось это сделать лично, при встрече, но вот за 35 лет не нашлось случая познакомиться с Вами. Кто знает, быть может, узнай Вы об этих словах Блока в 1920 г., они могли бы повлиять на Вашу писательскую судьбу»[92].

«Молитва о России» вызвала острые отклики по обе стороны баррикад. Она появилась до «Двенадцати» Александра Блока, в пору, когда еще неизвестны были «дневниковые» филиппики Зинаиды Гиппиус, а стихи Максимилиана Волошина, лишь изредка появлявшиеся в периодике, еще не были собраны в книгу «Демоны глухонемые» (1919); впрочем, и с «другого берега», кроме известной частушки Маяковского насчет ананасов и буржуев, еще ничего в стихах «в пользу» переворота не было написано — русская поэзия молчала, и в этой тишине растерянности и подавленности одних и беспардонных надежд других «Молитва о России» была услышана.

Наиболее обстоятельно на нее отозвался Максимилиан Волошин в статье «Поэзия и революция. Александр Блок и Илья Эренбург», датированной 15 октября 1918 года, Коктебель. Мы приведем здесь по необходимости пространные цитаты из нее: «Эстетическая культурность Блока чувствуется особенно ярко рядом с действительно варварской по своей мощи и непосредственности поэзией Эренбурга. Все стихи Эренбурга построены вокруг двух идей, еще недавно

столь захватанных, испошленных и скомпрометированных, что вся русская интеллигенция сторонилась от них. Это идеи Родины и Церкви. Только теперь в пафосе национальной гибели началось их очищение. И ни у кого из современных поэтов эти воскресающие слова не сказались с такой исступленной и захватывающей силой, как у Эренбурга. Никто из русских поэтов не почувствовал с такой глубиной гибели родины, как этот Еврей, от рождения лишенный родины, которого старая Россия объявила политическим преступником, когда ему едва минуло 15 лет, который десять лет провел среди морального и духовного распада русской эмиграции; никто из русских поэтов не почувствовал с такой полнотой идеи церкви, как этот Иудей, отошедший от Иудейства, много бродивший около католицизма и не связавший себя с православием. Да, очевидно надо было быть совершенно лишенным родины и церкви, чтобы дать этим идеям в минуту гибели ту силу тоски и чувства, которых не нашлось у поэтов, пресыщенных ими. "Еврей не имеет права писать такие стихи о России",— пришлось мне однажды слышать восклицание по поводу этих поэм Эренбурга. И мне оно показалось высшей похвалой его поэзии. Да! — он не имел никакого права писать такие стихи о России, но он взял себе это право и осуществил его с такой силой, как никто из тех, кто был наделен всей полнотой прав». Анализируя стихотворение «Судный день», Волошин отмечает: «И тут вдруг встает неожиданное сродство с поэмой Блока:

И когда на Невском шут скомандовал "направо!"
И толпа разлилась по Дворцовой площади —
Слышно было: кто-то взывал средь ночи
"Савл! Савл!"

Эти слова Христа, обращенные к своему гонителю, который глубже, чем кто-либо другой из людей на земле, несет Его в своей душе, — сильнее, глубже и шире финала Блоковской поэмы... Только один из политических поэтов приходит на память, когда читаешь поэмы Эренбурга, и это, конечно, вовсе не поэт "Кар" и "Страшного Года" — слишком красноречивый Виктор Гюго, а тот суровый и жестокий поэт шестнадцатого века, который кричал свои поэмы — "устами своих ран"; тот, кто описал Варфоломеевскую ночь с натуры: я говорю об Агриппе д'Обинье... Роднит Эренбурга с д'Обинье то, что оба они "из расы иудейских аскетов, троглодитов — пожирателей саранчи, которые выходят иногда из своих пещер и появляются на оргиях с челом, посыпанном пеплом и с анафемой на устах". В них обоих звучит голос Библии. Но в то время, как для д'Обинье очищение мира совершается только в пламенах Страшного Суда, для Эренбурга, для которого земная жизнь и есть Ад, а человеческие страсти и есть пламена, — разрешение обид земных совершается в Сердце Христовом, которое есть — Церковь». Приведя затем финал поэмы «Как Антип за хозяином бегал», Волошин закончил статью патетически: «Этим экстазом слияния всех в едином кончается книга поэта — "не имеющего права молиться за Россию", книга, переполнен-

ная чувствами и образами, книга, являющаяся первым преосуществлением в слове страшной русской разрухи, книга, на которую кровавый восемнадцатый год сможет сослаться как на единственное свое оправдание»[94].

Ни от каких других своих стихов Эренбург не открещивался потом так настойчиво и последовательно, как от этих, — и публично, и приватно. Публично — потому что их однозначная политическая ярость создавала ему столь же однозначную репутацию врага революции. Приватно — потому что гимны Церкви и надежды на Церковь, в ней воспетые, были так наивны и недальновидны, что опрокинулись в самое ближайшее время и навсегда. (Отметим, что основным источником «церковности» Эренбурга стало его тогдашнее славянофильство, стимулированное откровенным унижением России и русских во Франции в пору войны.) В «Книге для взрослых» Эренбург мужественно каялся: «В Октябрьские дни я поверил, что у меня отнимают родину. Я вырос с понятьем свободы, которое досталось нам от прошлого века. Я уважал неуважение, ценил ослушничество. Ребенком я читал только те книги, которые мне запрещали читать. Когда я таскал прокламации, я шел против сильных, это меня вдохновляло. Я не мог понять прямоты и жесткости нового языка. Он казался мне лепетом. Я не хотел разучиться говорить на том языке, где выбор слова иногда важнее самого понятья. Я ходил на собрания писателей: мы протестовали против "насилья". Я нашел новых "униженных". Чугун справедливости — или ее олово — висел на моих ногах. Я писал стихи — "Молитву о России". Мне казалось, что я снова иду против сильных. Я исступленно клялся тем Богом, в которого не верил, и оплакивал тот мир, который никогда не был моим»[94]. Через четверть века, вспоминая зиму 1917—1918 годов, Эренбург повторил: «Я писал тогда очень плохие стихи: искусство не терпит лжи, а я старался обмануть самого себя — молился богу, в которого не верил, рядился в чужую одежду»[95]. Эренбург здесь в самом деле «упрощает» (если употребить слово из «Правды» 1945 года): его отношение к Богу включало и веру, и сомнения, даже богоборчество и богохульство, оно было по временам истеричным и экзальтированным, но однозначным отрицанием оно не было никогда. Изменилось его отношение к Октябрьскому перевороту — он принял его через три года под давлением многих и разнообразных аргументов, хотя процесс притирки к новому режиму растянулся на десятилетие с гаком. Сегодня, когда вопрос об отношении к Октябрьскому перевороту по крайней мере дискуссионен, книга «Молитва о России» ценна не только свидетельскими показаниями очевидца грозных событий, но и его прорицаниями — кое-что в них пережило и автора, и тот строй, которому он в конце концов присягнул.

С октября 1917 по сентябрь 1918 года Эренбург жил в Москве; писал стихи, мистерию «Золотое сердце», роман в стихах «В звездах» (все та же скрытая тяга к прозе), политические, яростно оппозиционные новому режиму статьи. Он становится заметной фигурой в литературной жизни; его имя мелькает на страницах тогдашней ли-

тературной хроники и позднейших воспоминаний о той поре (Пастернака и др.).

Стихи, написанные в 1918 году в Москве и напечатанные год спустя за ее пределами, существенно отличаются от стихов конца 1917 года. Политическая тема переместилась в публицистику, а то ощущение безнадежности, которое диктовало строки: «Нет, не могу, Россия! / Умереть бы только с тобой!» — сменилось не часто покидавшей Эренбурга жаждой жизни. Познакомившись в Москве с Маяковским и Хлебниковым, Эренбург жадно читает их стихи — отголосок раннего Маяковского явственно ощутим в стихотворении «Нет, я не поэт...», характерном для Эренбурга той поры. «Прославление земной любви» — точное свидетельство перемен в тогдашних настроениях Эренбурга.

До июля 1918 года еще не были окончательно закрыты лишь время от времени прикрываемые эсеровские газеты и журналы, и печататься еще было где. В исполненных сатирического яда статьях Эренбурга доставалось не только вождям большевиков — прежним парижским знакомцам, но и тем литераторам, которые охотно сотрудничали с новым режимом (Маяковский, Каменский, Есенин, даже Блок). В Москве наиболее близкие отношения связали Эренбурга с кругом Вячеслава Иванова, особенно с почитавшими мэтра поэтессами Елизаветой Кузьминой-Караваевой и Верой Меркурьевой; более сложными оказались отношения с Мариной Цветаевой, наладившиеся только к зиме 1921 года.

О дальнейшем — в письме Эренбурга Волошину из Полтавы 30 октября 1918 года: «В сентябре мне пришлось бежать из Москвы, ибо большевики меня брали заложником. Путь кошмарный, но коекак доехал я. Вскоре за мной поехали на Украину родители. Мама в пути заболела воспалением легких и, приехав в Полтаву, умерла. Меня вызвали (из Киева, — *Б. Ф.*) телеграммой, но я не успел. Это время был с отцом, на днях еду в Киев, а потом намерен пробираться в Швейцарию. Надеюсь, что удастся. О жизни в Москве трудно тебе что-либо сказать. Это наваждение, но более реальное, чем когдалибо существовавшая реальность. Я, кажется, опустошен и храню большие мысли и страсти по инерции»[96].

Провинциальная жизнь была невыносима для Эренбурга, и в Полтаве он даже большевистскую Москву готов был вспомнить добрым словом. В Киеве, занятом немцами, он несколько месяцев «не высовывался», потом появился на литературной арене. Год, проведенный в Киеве, описан в автобиографии впечатляющей строчкой: «Киев, четыре правительства. При каждом казалось — другое лучше»[97].

Первые месяцы при красных Эренбург, казалось, нашел для себя идеологическую нишу — он работал с беспризорниками, читал молодежи лекции по стихосложению и писал политически нейтральные стихи, в которых прославлял земную жизнь; потрясавшие Россию события он все больше осознает как посланные ей великие испытания, которые не должны отвратить от жизни:

Что войны, народов смятение,
Красный стяг или золото Рима —
Перед слабой маленькой женщиной,
Рожающей сына?

Это, разумеется, было скрытым вызовом пролетарским ортодоксам; впрочем, Эренбург не надеялся и на понимание потомков:

Наши внуки будут удивляться...
. . . . . .
Они не узнают, как сладко пахли на поле брани розы,
Как меж голосами пушек стрекотали звонко стрижи.

В книге «Огонь», которую Эренбургу удалось напечатать в апреле 1919 года, «Хвала смерти» уживается с «Прославлением земной любви» и «Славой труду» и откровенным признанием:

Не знаю, кто прав иль виновен...

В красном Киеве 1919 года Эренбург пишет стихотворную трагедию «Ветер», в которой сюжет испанской революции XIX века позволяет автору размышлять над событиями русской революции (недаром слова предводителя повстанцев Хорхе Гонгоры: «Слепцов надо в рай загонять бичом» повторит в романе «Хулио Хуренито» кремлевский вождь). Трагедия не увидела света рампы, но в 1922 году была напечатана в Берлине.

К лету отношения Эренбурга с красными становятся все более напряженными; его раздражает их полуграмотное всезнайство:

Вам всё понятно в мире...

(отметим, что этот мотив снова прозвучит у Эренбурга в 1957 году).

Среди важных событий киевской жизни Эренбурга отметим два — знакомство с новыми стихами Осипа Мандельштама (Эренбург так часто повторял вслух стихи «Я изучил науку расставанья...», что слушатели его студии приняли их за его собственное сочинение) и дружбу с их автором, второе (не по значимости) — встречу с юной ученицей художественной студии А. А. Экстер Любовью Михайловной Козинцевой, которая была его двоюродной племянницей, а вскоре стала женой и, как оказалось, спутницей всей жизни. (Конечно, темпераментный Эренбург пережил в Киеве не одно увлечение — упомянем его страстный роман с пианисткой Б. А. Букиник или нежную дружбу с Я. И. Соммер, но место, занимаемое в его жизни Любой, осталось только за ней.)

После «Огня» ни одна из эренбурговских книг, объявленных прессой, в Киеве не вышла — путь в печать ему практически закрыли.

Пережив в Киеве немцев, петлюровцев и красных, Эренбург искренне приветствует приход белых и в условиях относительного идеологического плюрализма в глубоко выношенных и пылких ста-

тьях утверждает новый путь развития России — не большевистский и не монархический, а демократический, свободный. Он убежден в осуществимости этой программы при белых настолько, что даже погромы не могли его образумить, и, покинув Киев осенью 1919 года, по пути в Крым, в Ростове, Эренбург продолжает печатать статьи, которые могли бы вскоре стоить ему жизни. Тем страшнее было не заставившее себя ждать разочарование...

Девять месяцев (декабрь 1919 — сентябрь 1920), проведенные у Волошина в Коктебеле (под белыми), с их бытовыми тяготами, голодом, ссорами и тревогами, помогли Эренбургу многое переосмыслить. «Коктебель. Зима. Безлюдь. Очухался. Впервые за годы революции удалось задуматься над тем, что же совершилось. Многое понял. Написал "Раздумья"»[98]. В мемуарах «Люди, годы, жизнь» Эренбург написал об этом очень взвешенно: «Со дня моего приезда в Коктебель меня ждал главный собеседник — тот Сфинкс, что задал мне вопросы в Москве и не получил ответа. <...> Я начинал понимать многое; это оказалось нелегким. <...> Самое главное было понять значение страстей и страданий людей в том, что мы называем "историей", убедиться, что происходящее не страшный, кровавый бунт, не гигантская пугачевщина, а рождение нового мира с другими понятиями человеческих ценностей, то есть перешагнуть из XIX века, в котором, сам того не сознавая, я продолжал жить, в темные сени новой эпохи»[99]. Продуманность этих слов не делает их неуязвимыми, однако смысл идеологического сдвига Эренбурга они передают точно. 18 написанных в Коктебеле стихотворений «Ночи в Крыму» и были попыткой ответа тому Сфинксу.

5 апреля 1920 года Волошин сообщал М. С. Цетлин: «Эренбург живет всю зиму у меня... Пишет прекрасные стихи — и очень много»[100]. Спустя сорок лет Эренбург скажет об этих стихах, что его «коробит от нарочито книжного языка: "гноище", "чрево", "борозды"», и удивится, как это после «Стихов о канунах» он «сбился на словарь символистов», однако, приведя отрывок из стихотворения «России», заметит, что эти стихи «выражают мои мысли не только той зимы, а и последующих лет»[101]. По коктебельским стихам января—марта 1920 года, свободным и от молитв, и от пророчеств, эволюция отношения Эренбурга к происходящему в стране вполне реконструируется.

Гражданская война заканчивалась, большевики фактически победили, поддержанные (активно или пассивно) большинством населения; надежды Эренбурга на демократическое переустройство России оказались иллюзией. У него были две возможности: бежать из России вместе с остатками врангелевской армии или, признав власть большевиков, остаться. Если раньше ради большой идеи Эренбург считал наносным все отрицательное, что несла с собой белая армия, то теперь именно это отчетливо всплывало в памяти, да и жизнь в Крыму под властью врангелевцев не располагала к тому, чтобы следовать за ними в эмиграцию (достаточно упомянуть арест Мандельштама в Феодосии). От эмиграции без шансов на возвращение Эрен-

бург отказался, но ожиданию предпочел движение навстречу неизвестности и осенью 1920 года весьма драматическим способом бежал в независимую тогда Грузию, а уже оттуда двинулся в красную Россию.

Осознанность этого решения прочитывается в коктебельских стихах; в них происходящее в стране изображается торжественно:

Суровы роды. Час высок и страшен.
Не в пене моря, не в небесной синеве,
На темном гноище, омытый кровью нашей,
Рождается иной, великий век.

Кровавая вакханалия, прокатившаяся по стране, теперь осознается Эренбургом как предопределенная свыше:

На краткий срок народ бывает призван
Своею кровью напоить земные борозды,

и участие в ней принимается спокойно: «Мы первые исполнили веление судьбы». Приятие случившегося Эренбург честно понимает как отречение от прошлой веры, он пишет об этом без обиняков:

Отрекаюсь, трижды отрекаюсь
От всего, чем я жил вчера.

Отречение это связано с вольным или невольным выбором страны:

Нет свободы, ее разлюбили люди.
Свобода сон, а ныне день труда,

оно — вынужденное («Умевший дерзать — умей примириться»).

Отречение от прошлого, от свободы и еретичества оказалось для Эренбурга процессом долговременным и никогда не было полным; в 1920 году оно, скорее, декларативно.

Конечно, в 1920 году Эренбург не видел контуров будущего и даже обмолвился о «пути бесцельном»; говоря о новом веке, он называл его темным. Однако плач по прошлому был закончен:

Не могу о грядущем пророчествовать,
А причитать над былым не хочу.

К концу затянувшейся войны Эренбург, как казалось, обрел некоторое душевное спокойствие:

Всё, что понять не в силах,
Прими и благослови.

Он понимает, что это приятие-отречение не сулит лавров:

За то, что я жадно пытаю каждого,
Не знает ли он пути,

За то, что в душе моей смута,
За то, что я слеп, хваля и кляня,
Назовут меня люди отступником
И отступятся от меня...

В Париже Эренбург думал о предназначенной России мировой роли (усиленный войной французский шовинизм обострил его славянофильские настроения). Теперь, когда эпоха смуты завершалась, а будущее оставалось неясным, Эренбург — европеец и парижанин — испытывал на переломе судьбы отталкивание (в итоге несостоявшееся) от Запада:

О, радость жить на рубеже, когда чисты скрижали,
Не встретить дня и не обресть дорог,
Но видеть, как истаивает запад дальний
И разгорается восток.

Перелом в воззрениях на Гражданскую войну в России, столь явственно запечатленный в цикле стихов «Ночи в Крыму», перелом, определившийся не только содержанием и итогом политических и военных событий 1919—1920 годов, но и чертами личности Ильи Эренбурга, предопределил в значительной степени его дальнейшую судьбу.

ОСТАНОВКА. НЕСКОЛЬКО ПРИМЕТ (1921—1923)

Вскоре по приезде в Москву, 1 ноября 1920 года, Эренбург был арестован как агент Врангеля и помещен во внутреннюю тюрьму ВЧК, откуда его вызволил Н. И. Бухарин. Так восстановились связи поэта с друзьями юности (затем Л. Б. Каменев помог ему обзавестись одеждой, а тот же Бухарин через Менжинского — тоже парижского знакомца — оформил зарубежную командировку).

В цикле стихов «Московские раздумия» (январь—февраль 1921 года), написанных в продолжение «Ночей в Крыму», мысли о «новом веке» окрашены в суровые тона московской жизни:

Москва, Москва, безбытье необжитых будней
И жизни чернота у жалкого огня.
Воистину, велик и скуден
Зачин неведомого дня.

Новые пророчества — точные, ясные (беглый рисунок будущего не сатиричен, но все же не противоречит замятинской антиутопии):

Провижу грозный город-улей,
Стекло и сталь безликих сот,
И умудренный труд, и карнавал средь гулких улиц,
Похожий на военный смотр.
На пустыри мои уже ложатся тени

Спиралей и винтов иных времен.
Так вот оно — ярмо великого равненья
И рая нового бетон!

Эренбург не отвергает грандиозного плана, думая о котором, соотносит Ленина с Петром, хотя, симпатизируя «размытому уюту» прежних дней, сочувственно допускает, что:

Какой-нибудь Евгений снова возмутится
И каменного истукана проклянет,
Усмешку глаз и лик монгольский,
И этот трезвенный восторг,
Поправшего змеи златые кольца
Копытами неисчислимых орд.

Он искренен, когда признаётся: «Революция, трудны твои уставы!» и когда надеется, что его будущий читатель:

Средь мишуры былой и слов убогих,
Средь летописи давних смут,
Увидит человека, умирающего на пороге,
С лицом, повернутым к нему.

В марте 1921 года, переполненный нереализуемыми в Москве литературными планами, среди которых сатирический роман «Хулио Хуренито» (этот замысел обсуждался с Бухариным, именно под него была получена «командировка») и книга о новом левом русском искусстве, напомнившем прорывы в будущее ротондовских художников, рукописи стихов и «Портреты русских поэтов», начатые еще в Киеве, а законченные в Москве, — со всем этим духовным и материальным багажом Эренбург погрузился в вагон «Москва—Рига» и отбыл с женой на Запад, намереваясь осесть в Париже. Уже в поезде он написал стихи, в которых есть внутренняя раскованность, какой, пожалуй, не хватает «Московским раздумиям»; она и в признаньях:

Повторить ли, что я не согласен,
Что мне страшно?..

и в зарисовках:

Я не забуду очередь,
Старуший вскрик и бред
И на стене всклокоченный
Невысохший декрет,

и в откровенной надежде на недалекое будущее, когда Москва забудет «обиды всех разлук» и ответит «гулом любящим на виноватый стук».

Начинается новая, уникальная для тогдашнего русского литературного мира полоса жизни Эренбурга: на Западе, но с советским

паспортом. Она продолжалась почти двадцать лет, приносила победы и горести, благополучие и лютое безденежье, почти полную свободу и литературные обязанности, жизнь, которой одни завидовали, другие ее осуждали, жизнь, на которую ссылался Замятин, прося Сталина отпустить его в Париж, жизнь, за которой всегда присматривала Москва — иногда сочувственно, иногда с угрозой. Стихи писались лишь в начале этой жизни (отчасти как бы между прочим, по инерции) и в ее конце — совсем всерьез, и — лучшие у Эренбурга.

Быстро высланный из Парижа по доносу «братьев-писателей» (кажется, А. Н. Толстого), он смог обосноваться в Бельгии. Здесь за 28 дней (работа с утра до ночи) был написан давно и в деталях продуманный роман «Хулио Хуренито», остающийся лучшей прозаической книгой Эренбурга. Книга сразу замышлялась как сатирическая и антивоенная; события русской революции и Гражданской войны вошли в роман, придав ему дополнительную остроту. Отвергая капиталистический миропорядок, Эренбург оставался еретиком и, повествуя о русской революции, видя ее несообразности, издевался над ними так же, как над французской демократией и папским престолом, над необузданностью итальянцев и законопослушанием немцев, над всхлипыванием русской интеллигенции и американской деловитостью, над красноречием социалистических партий, несостоятельных перед натиском национализма, и штампами большевистской печати, над элитарным искусством и конструктивизмом для масс, над буржуазным браком и собственными стихами из «Молитвы о России», — недаром Лев Лунц назвал «Хуренито» «сатирической энциклопедией»[102]. (Попутно отметим, что, не принимая оценки прошлого в мандельштамовском «Шуме времени», М. Цветаева писала в 1926 г.: «Возьмем Эренбурга — кто из нас упрекнет его за "Хулио Хуренито" после "Молитвы о России". Тогда любил это, теперь то. У каждого из нас была своя трагедия со старым миром»[103]) Роман издали в 1922 году (в Берлине, а потом в Москве), перевели на все европейские языки; он принес автору писательскую славу. На ее фоне затерялась написанная следом небольшая книжка стихов «Зарубежные раздумья». Так произошла смена литературной ориентации: Эренбург стал прозаиком, стихи теперь он пишет только в перерывах между большой работой над прозой (когда роман завершен или произошел сбой в работе).

Между тем в стихах «Зарубежных раздумий» Эренбург многое сказал — о времени и, главным образом, о себе. Напряженная работа над сатирическим романом потребовала переключения, и в стихах Эренбург сдержанно торжественен. Думая о происшедшем в России, он понимает, что это — не конец света:

> Будет день, и станет наше горе
> Датами на цоколе историй.

Образ голодной страны фантастов в этих стихах не плакатен:

> Там, в кабинетах, схем гигантских,
> Кругов и ромбов торжество,

А на гниющих полустанках
Тупое, вшивое «чаво?».

На Западе комфортно, сытно и — все как прежде, а все новое — в России:

Да, моя страна не знала меры,
Скарб столетий на костер снесла,
И обугленные нововеры
Не дают уюта и тепла.

Когда некий знакомый, снова увидев Эренбурга в «Ротонде», сказал ему: «Что-то вас давно не было!», даже видавший виды Эренбург обомлел — за четыре года он прожил не одну жизнь; он испытывает, пожалуй, даже гордость:

Но язык России дик и скорбен,
И не русский станет славить днесь
Победителя, что мчится в «форде»
Привкус смерти трюфелем заесть.

Над персонажем романа по имени Илья Эренбург автор подтрунивал, даже издевался; в стихах он серьезен и даже пафосен:

Я не трубач — труба. Дуй, Время!
Дано им верить, мне звенеть, —

хотя и здесь возникают самобичующие ноты:

В безгневный день припал и дунул —
И я безудержно завыл,
Простой закат назвал кануном
И мукой скуку подменил.

Эти, может быть, запальчивые строки критика обошла вниманием, желая спрямить путь их автора к революции, между тем они — свидетельство двойственного, амбивалентного, как теперь принято выражаться, отношения к ней; в любом случае победа революции — это победа над поэтом:

И кто поймет, что в сплаве медном
Трепещет вкрапленная плоть,
Что прославляю я победы
Меня сумевших обороть?

В декабре 1921 года в Берлине, куда он осенью перебрался, Эренбург начал писать новый роман («Жизнь и гибель Николая Курбова») о судьбе молодого человека — непримиримого большевика и чекиста, каким его сделала несладкая российская жизнь, которую он вместе с единомышленниками решил «обустроить» по формулам нового социального вероучения; в конце концов стихия жизни, лю-

бовь одолевает волю героя, и он пускает себе пулю. Роман писался трудно, долго, с перерывами, которые не признающий праздности Эренбург заполнял иной работой. В первый же перерыв, в январе 1922 года, залпом была написана новая книжка стихов — «Опустошающая любовь», по-своему продолжавшая главную идею романа, на замысел которого, в свою очередь, повлияли популярные на Западе в начале века идеи о самодовлеющей роли «пола».

Стихи эти отличает торжественность лексики, классическая строфика и пренебрежение к ясности их содержания (иногда лишь стих становится прозрачным — «Ты Канадой запахла, Тверская...» или «Когда замолкнет суесловье»). «Опустошающая любовь» — не любовная лирика в принятом смысле; сформулировать «общую идею» ее не просто.

Языковая стихия Андрея Белого, прозой которого тогда была увлечена едва ли не вся русская литература, владела Эренбургом в пору работы над «Курбовым», и даже в завершенном поздней осенью 1922 года романе следы этого воздействия остались. Еще одно, все возрастающее, воздействие на Эренбурга оказывала лирика Пастернака. Эти две волны, усиленные прежде не ведомым Эренбургу психологическим комфортом массового успеха, ощущаются в стихах, написанных в январе 1922 года, — стихах о любви, которая, как известно со времен Данте, правит миром:

Здесь, в глухой Калуге, в Туле иль в Тамбове,
На пустой обезображенной земле
Вычерчено торжествующей Любовью
Новое земное бытие.

Это новое бытие пока Эренбургу чужое:

Глуха безрукая победа.
Того ль ты жаждала, мечта,
Из окровавленного снега
Лепя сурового Христа?

Оно отрицает прошлое, ибо пожар революции испепеляющ:

Взвился рыжий, ближе! ближе!
И в осенний бурелом
Из груди России выжег
Даже память о былом, —

и все-таки его надо понять и принять:

О, если б этот новый век
Рукою зачерпнуть,
Чтоб был продолжен в синеве
Тысячелетий путь.

Заключительное стихотворение «Опустошающей любви» — программно, в нем библейский сюжет позволяет Эренбургу точно заявить о себе Держателю библейских весов:

Запомни только — сын Давидов, —
Филистимлян я не прощу.
Скорей свои цимбалы выдам,
Но не разящую пращу,

и подтвердить, может быть, главную поэтическую мысль книги:

Но неизбывна жизни тяжесть:
Слепое сердце дрогнет вновь,
И перышком на чашу ляжет
Полузабытая любовь.

Следующий, затяжной, перерыв в работе над романом начался в мае, и Эренбург уехал на Балтийское море (остров Рюген); в июне там были написаны новеллы «13 трубок», а на рубеже июля—августа — 25 стихотворений, составивших книгу «Звериное тепло», — тематически она продолжила «Опустошающую любовь», существенно отличаясь от нее ясностью. Иногда в этих, по замечанию А. Белого, «безукоризненно, четко изваянных» стихах ощутимы интонации Пастернака:

Даже грохот катастроф забудь:
Эти задыханья и бураны,
А открытый стрелочником путь
Слишком поздно или слишком рано...

иногда, почти неуловимо, — Мандельштама («Психея бедная, не щебечи!»), иногда — даже Маяковского («Ворочая огромной глыбой плеч»), но, разумеется, прежде и больше всего (словарь, чувства, мысли, образный строй) эта экспрессивная книга о любви — книга Ильи Эренбурга. На дистанции в 25 стихотворений он не мог ограничиться только любовью и вспоминает события октября 1917 года:

Остались средь дворцовых малахитов
Солдатские окурки и тоска,

вспоминает Москву, где:

Средь гуда «Ундервудов», гроз и поз,
Под верным коминтерновым киотом —
Рябая харя выставляла нос,
И слышалась утробная икота,

но в целом, как сказано, книга не об этом:

Двух сердец такие замиранья.
Залпы перекрестные и страх,

Будто салютуют в океане
Погибающие крейсера.

Из образов «двух сердец» один — автопортрет, он узнаваем и когда изображается прямо:

Столь невеселая веселость глаз,
Сутулость вся — тяжелая нагрузка, —
Приметы выгорят дотла,
И уж, конечно, трубка,

и когда с усмешкой выражен сюжетом:

Заезжий двор. Ты сердце не щади
И не суди его — оно большое.
И кто проставит на моей груди:
«Свободен от постоя»?

Второй образ — пленителен:

Есть в тебе льняная чистота...

Любовная лирика — не слишком частая гостья в поэзии Эренбурга, тем заметнее ее удачи:

О вымыслах иных я не прошу.
Из шумов всех один меня смущает —
Под левой грудью твой угрюмый шум,
Когда ты ничего не отвечаешь.

Сравнения впечатляющи («женщины, как розовые семги»), стих внятен и ярок:

И всё же, зная кипь и накипь
И всю беспомощность мою, —
Шершавым языком собаки
Расписку верности даю.

«Звериное тепло» — вершина поэзии Эренбурга ее первого десятилетия.

В ноябре 1922 года в состоянии почти полного опустошения Эренбург завершает работу над «Курбовым». Осенью он много общается в Берлине с Пастернаком и Маяковским; стихами Пастернака он буквально бредит (очарование лирики и личности Пастернака оказалось долго действующим). В январе 1923 года легко и весело Эренбург начал писать фантастический роман «Трест ДЕ. История гибели Европы» и в марте его закончил. Летом, отдыхая от многочисленных издательских забот сначала в горах Гарца, а затем на Северном море, после перерыва длиной в год, он снова пишет стихи. В августе работа над двадцатью стихотворениями была завершена; Эренбург хотел их издать либо отдельно, под названием «Не переводя дыхания», либо

вместе со «Звериным теплом». Кратко рассказывая в мемуарах о том, где он писал эти стихи, Эренбург ошибся: «Шагая по длинным улицам Берлина, удивительно похожим одна на другую, я иногда сочинял стихи, которые потом не печатал»[104].

Из двадцати написанных тогда стихотворений известны только девять (при жизни автора были напечатаны два), и только по ним можно судить о книге. Стихи по духу близки к «Звериному теплу», но свободнее, не так зажаты корсетом формы (в большинстве их Эренбург отказался от классической строфики); бесспорно также очевидное влияние лирики Пастернака, которое открыто признавалось самим автором и тогда («пастерначество» — как сказано им в письме Полонской в 1923 году), и потом («Форма как будто была заемной — пастернаковской, но содержание моим»[105]).

Так умирать, чтоб бил озноб огни,
Чтоб дымом пахли щеки, чтоб курьерский:
«Ну ты, угомонись, уймись, никшни»,—
Прошамкал мамкой ветровому сердцу,
Чтоб — без тебя, чтоб вместо рук сжимать
Ремень окна, чтоб не было «останься»,
Чтоб, умирая, о тебе гадать
По сыпи звезд, по лихорадке станций, —
Так умирать, понять, что там и чай,
Буфетчик, вечный розан на котлете,
Что это — смерть, что на твое «прощай!»
Уж мне никак не суждено ответить, —

в этих стихах уже слышен голос зрелой поэзии Эренбурга — перед которой следовал пятнадцатилетний антракт.

ДОДУМАТЬ НЕ ДАЙ... (1924—1941)

Можно лишь гадать о том, почему в 1923 году умолкла муза поэта. Понять, почему она очнулась в 1939-м, легче. Пятнадцатилетний перерыв в творчестве зрелого поэта — наверное, не частый случай. По необходимости кратко скажем здесь, чем были заполнены эти 15—16 лет в жизни Эренбурга.

С конца 1924 года он снова жил в Париже, время от времени наезжая в Россию за новыми впечатлениями (1924, 1926, 1932). У него выработалась журналистская хватка — приезжал, жадно впитывал новое, затем в парижских кафе писал очередные романы. Их было немало — это западный стиль: Эренбург работал интенсивно, выпускал роман, потом расслаблялся, путешествовал, потом снова работал. Его романы и эссеистика издавались в Москве и за границей, переводы тоже приносили какие-то деньги, жить было можно. Обрушилось все разом — экономический кризис потряс Запад, а в Москве с установлением единоличной сталинской диктатуры идеологическая цензура стала вконец свирепой.

Идеальная модель, которую построил для себя Эренбург в 1921 году — жить в Париже с советским паспортом, свободно писать об изъянах Запада и по возможности правдиво об интересном в Советской России; печататься в СССР, где читательская аудитория огромна и наиболее привлекательна, но и на Западе (в переводах), где интерес к российскому феномену обеспечен, — эта, не свободная от известной дозы цинизма, модель начала давать сбои с самого начала, но первоначально идеологические проблемы преодолевались с помощью влиятельных друзей (так, предисловие Бухарина открыло дорогу для «Хулио Хуренито»). Однако чем дальше, тем все труднее было этого добиваться[106]: ортодоксальная критика провозгласила Эренбурга «необуржуазным» писателем и требовала его запрета, в итоге два года шла борьба за «Рвача» (1925), и его напечатали только в Одессе, где почти весь тираж залило водой на складе; повесть «В проточном переулке» (1926) цензура искромсала, роман «Бурная жизнь Лазика Ройтшванеца» (1927) издать на родине автора вообще не удалось — он стал его последним сатирическим романом на российском материале. Эренбург искал выход и проявлял немалую гибкость — он находил новые сюжеты и новые жанры: исторический роман о Великой французской революции «Заговор равных» (1928) (разумеется, с очевидными аллюзиями), книги об «акулах» капиталистического мира «Хроника наших дней» (с 1929), книга путевых очерков «Виза времени» (1930), антология высказываний о Франции и России «Мы и они» (1931; совместно с О. Савичем) и т. д., — но и эти вещи пробивались к советскому читателю с трудом, выходили изувеченными или попросту запрещались. Советский цензурный пресс становился невыносимым, а кризис на Западе лишал дополнительного заработка. Положение стало безвыходным, — чтобы преодолеть советскую цензуру, надо было резко изменить репутацию. Эренбурга спасла Испания — он отправился туда в конце 1931 года, вскоре после свержения короля Альфонса XIII. «Я видел немало стран, некоторые полюбил. Обычно они подтверждали то, чем я жил до этого. Испания подсказала мне нечто новое... Я встретил людей, которым невыносимо трудно жить, они улыбались, они жали мне руку, говоря "товарищ", они храбро шли на смерть ради права жить. Это было приготовительным классом новой школы, в нее я записался на пятом десятке»[107]. Эренбург поверил в справедливую революцию благородных испанцев, в перспективу полевения Европы и в возможность остановить продвижение фашизма в ее центре. Он поверил и в то, что эти процессы рано или поздно цивилизуют идеологическую политику СССР в части свободы творчества. Роспуск РАППа (апрель 1932 года) укрепил эту иллюзию и облегчил Эренбургу решение ответственно присягнуть советскому режиму. Первая присяга была принесена в 1921-м, и, живя в Париже, Эренбург не сотрудничал с эмиграцией, — он не забывал о своем паспорте, но, приняв Октябрьскую революцию, не отказывал себе в праве видеть несообразности ее последствий; в «Книге для взрослых» об этом сказано кратко: «Мою судьбу я связал с судьбой моей страны. Но некоторые слова продол-

жали обольщать меня»[108]. Новая присяга требовала о большинстве несообразностей помалкивать. Известная формула из мемуаров «Люди, годы, жизнь» лишь облекает эти соображения в цензурно проходимую форму: «В 1931 году я понял, что судьба солдата не судьба мечтателя и что нужно занять место в боевом порядке. Я не отказывался от того, что было мне дорого, ни от чего не отрекался, но знал: придется жить сжав зубы, научиться одной из самых трудных наук — молчанию»[109].

Книга «Испания» (1932), с ее романтическим образом пробуждавшейся к новой жизни страны Дон Кихотов, присягой на верность сталинскому режиму служить не могла, нужно было другое. Летом 1932 года Эренбург совершает давно им задуманную поездку на Урал и в Сибирь — на стройки первой пятилетки. Его зоркий глаз видит многое, но он принуждает себя видеть и то, что должно быть; он принимает концепцию «нового человека», результатом чего становится роман «День второй» (1933) — первая советская книга Эренбурга. Она вышла в Москве через год достаточно острой, стоившей автору многих нервов борьбы, но в итоге утвердилась в обойме советской классики о первой пятилетке («Это не "сладкий" роман. Это роман, правдиво показывающий нашу действительность, не скрывающий тяжелых условий нашей жизни, но одновременно показывающий в образах живых людей, растущих из недр народной массы, *куда идет наша жизнь*, показывающий, что все эти тяжести масса несет *не зря*, что они ведут к построению социализма», — писал в «Известиях»[110] Карл Радек, имевший полномочия поставить Эренбургу «зачет»).

Эренбург больше не раздваивался, не сочетал несочетаемое; он старался быть честным в жестких рамках, добровольно принятых для себя. Когда-то персонаж романа «Хулио Хуренито», именуемый Ильей Эренбургом, из двух слов — «да» и «нет», — предложенных ему «великим провокатором», выбрал «нет». Эренбург хорошо знал, что такое ненависть, но у него не было булгаковского изначального высокомерия, позволившего не обольщаться «новизной» и, даже идя на компромиссы, не стремиться к возможности говорить «мы», — такова уж была природа его дара. Каждому свое. «Страшно жить отрицанием, не знать тепла множества рук, местоимения "мы", кровной связанности. За мои книги я расплачивался жизнью. Я говорил "нет" самому себе, близким, возможному счастью...»[111]. Принеся присягу, которой не изменял, Эренбург себя подбадривал: «Сильные продолжают идти вперед, слабые отходят в сторону. Я хорошо знаю эти боковые тропинки: они ведут к равнодушью или к отчаянью»[112].

Новая присяга не пробудила его поэтическую музу, отнюдь. 4 апреля 1933 года Марина Цветаева писала Ю. П. Иваску: «Эренбург мне не только не "ближе", но никогда, ни одной секунды не ощущала его поэтом. Эренбург — подпадение под всех, *бесхребтовость*. Кроме того: ЦИНИК НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПОЭТОМ»[113]. Оставим в стороне причину такой запальчивости (в ней много личного), неточность диагноза и несоразмерность этого приговора реальнос-

тям, но неслучайность того, что в 1924—1937 годах Эренбург не мог писать стихи (не рифмовать), — эти слова подтверждают. Отметим здесь к слову, что именно в эту пору формировалась «советская поэзия», и голос Эренбурга в ней не звучал. Его лирическая муза спасительным для поэта образом просыпалась лишь при значительном градусе сомнений, горечи, страданий... Летом 1941 года Марина Цветаева держала в руках надписанную ей «Верность» и, может быть, успела это почувствовать.

Дальнейший путь Эренбурга в 1930-е годы не знал явных сбоев, если не говорить о качестве его схематичной прозы — оно оставляло желать лучшего. Наряду с писательством было еще и другое: участие в работе Первого съезда советских писателей (1934), трудоемкая организация Парижского конгресса писателей в защиту культуры (1935) и, наконец, работа военным корреспондентом «Известий» на фронтах Гражданской войны в Испании, вспыхнувшей в 1936-м.

Поначалу в Испании Эренбург занимался не только репортажами — печатал газету для бойцов-республиканцев, организовал кинопередвижку и показывал фильм «Чапаев» на позициях анархистов, вел конфиденциальные переговоры с их лидерами, посылал подробные отчеты советскому послу в Мадрид и консулу в Барселону, — но потом резко оборвал всю эту деятельность и ограничил себя только статьями и сообщениями для газеты (надо думать, необычайно быстро и привольно разросшаяся в Испании сеть НКВД, особые права, которые она там получила, сподвигли Эренбурга аккуратно выйти из нелитературной игры — была некая черта, которую он отлично чувствовал и никогда не переступал). Сохранив неизжитую горечь от поражения республиканцев и романтическое отношение к советскому участию в антифашистской испанской войне, Илья Эренбург внутренне отмежевался от тайной и циничной его стороны и таким образом сумел сохранить для себя незапятнанным самый образ трех военных лет, проведенных в Испании.

В конце декабря 1937 года Эренбург приехал на короткий срок в Москву, но был лишен загранпаспорта и полгода провел в эпицентре сталинского террора; ему пришлось присутствовать на бухаринском процессе и слышать там чудовищные признания, в которые он мужественно не поверил. В итоге дважды повторенного личного обращения к Сталину он вырвал право вернуться в Испанию, но это был уже другой человек. Кафкианский, мертвящий ужас массового террора в СССР, наложившийся на неминуемую катастрофу Испанской республики, с которой Эренбург прошел всю войну, изменили и его облик и его нутро — он постарел, узнав и горе, и тоску, и бессилие, и непредсказуемость рока, и вероломство, и щемящую нежность; исчезли былые уверенность и усмешка, в литературе он вновь обрел многомерность (если быть точным — только в стихах). Грозный груз пережитого давил на душу — от него нельзя было избавиться ни в газетных статьях, ни даже в прозе. В апреле 1939 года положение Эренбурга стало еще тягостнее: впервые за все последние годы он сидел в Париже без дела — в угоду Гитлеру Сталин сворачивал анти-

фашистскую пропаганду; испанские статьи Эренбурга в «Известиях» закончились вместе с войной, французские корреспонденции, которые он печатал под псевдонимом «Поль Жослен», тоже оказались нежелательными (последнюю статью Жослена напечатали 10 апреля, последнее сообщение — 12-го). Так, совершенно неожиданно для него самого в апреле 1939 года возник первый большой цикл испанских стихов Эренбурга. Возможно, какие-то строфы их, отдельные образы складывались и раньше, в Испании, но именно в апреле 1939-го Эренбург начал их писать — быстро, взахлеб, и это вернуло его к жизни.

То, что он снова пишет стихи, его ошеломило, он вспомнил себя в 1909-м и 28 апреля послал новые стихи в Ленинград Елизавете Полонской (импульс был сильным — они не переписывались с 1931 года; Эренбург пытался скрыть волнение тем, что писал о себе в третьем лице): «Дорогая Лиза, мировые событья позволяют гулять Эренбургу-Жослену, ввиду этого Эренбург вспомнил старину и после семнадцати лет перерыва пишет стихи (Эренбург забыл про не вышедшую книгу «Не переводя дыхания» и вел счет молчанию от «Звериного тепла». — *Б. Ф.*). Так как в свое время он показал тебе первые свои стихи, то и теперь ему захотелось послать именно тебе, а не кому-либо иному, его вторые дебюты. Прочти на досуге и напиши мне, что ты думаешь об этом. Я не гага (от франц. *gaga* — человек, впавший в детство. — *Б. Ф.*), но прозу писать теперь труднее — мы живем здесь от одного выпуска газет до другого»[114].

Стихи были без названий, все об испанской войне; в них немало точно увиденных деталей этой войны: Мадрид после бомбардировок — Мадрид, откуда до окопов добираются на трамвае, ржавые солдатские фляжки без глотка воды, бойцы ночью в горах, закутанные в одеяла, понтонеры на реке Эбро, батареи, укрытые оливами, русские волонтеры, про которых не знают, что они русские; в них живая Испания: бульвар Рамбла в Барселоне с его поныне существующими птичьими базарами, выжженная солнцем провинция Арагон, розовые петли горных дорог, женщины с тяжелыми кувшинами на головах. Это были горькие стихи.

А пушки говорят всю ночь,
Что не уйти и не помочь,
Что зря придумана заря,
Что не придут сюда моря,
Ни корабли, ни поезда,
Ни эта праздная звезда.

Горькие не только потому, что внешняя, событийная, их сторона связана с проигранной войной, — за их горечью читается нечто другое. Это стихи о войне, написанные ее участником, который там, в Испании, не забывал о том, что творится у него дома, старался об этом не думать и не мог не думать. Именно это двойное зрение придает лучшим испанским стихам Эренбурга особую глубину и поднимает их

над импрессионистически воссозданными декорациями сюжета. В этих стихах тяжелый груз тридцатых годов; такие стихи Эренбург не мог написать раньше, а понятны они будут всегда:

В темноте все листья пахнут летом,
Все могилы сиротливы ночью.
Что придумаешь просторней света,
Человеческой судьбы короче?

Испанские стихи Эренбурга отличаются сжатостью и сдержанным, внутренним трагизмом от истеричной по тону «Молитвы о России» и от зачастую темных по существу «Стихов о канунах»; они ближе к последним «Раздумьям» и стихам не вышедшей книги «Не переводя дыхания» — но проще (той простотой, что после сложности, а не до — как любил говорить Эренбург), яснее, мудрее их, хотя в испанских стихах встречаются и давно полюбившиеся Эренбургу образы, очень выразительно вписывающиеся в новый контекст, — скажем, помешанный трубач и вообще — медь трубы...

Борис Слуцкий вспоминал, как студентом, видимо в конце мая 1941 года, он застал недавнего лефовского теоретика Осипа Брика и недавнего вождя конструктивистов Илью Сельвинского беседующими на лестнице Литературного института: «Оба держат в руках только что вышедшую книгу стихов Эренбурга. Взаимно ухмыляются. Открывают книги, каждый свою. Показывают друг другу рифмы Эренбурга. Расходятся»[115]. Это красноречивая сцена. Эренбург — пусть и присягнувший советскому режиму — не имел никакого отношения к становлению советской поэзии с ее достаточно разнообразной техникой и достаточно однообразной риторикой. В испанских стихах Эренбург меньше всего был озабочен нарядным оснащением стиха элементами рафинированной техники, например — изощренными рифмами; его заботило иное: донести до читателя чувство, мысль во всей ее сложной простоте.

Одни стихи были написаны сразу и навсегда — Эренбург потом не исправил в них ни слова (только некоторым дал названия): «Гончар в Хаэне», «Разведка боем», «Гроб несли по розовому щебню...», «Горят померанцы...», «В январе 1939» и др. Иные потом переделывались (подбирались более точные, более емкие слова), безжалостно сокращались[116]. Некоторые Эренбург не перепечатывал.

11 июня 1939 года Эренбург писал об испанских стихах Н. Тихонову: «Вы говорите, что мои стихи молодые. Меня корили за их "пожилой" характер: избыток опыта и пр. Мне кажется, что теперь перепутались все времена человеческой жизни. Я об этом говорил в "Книге для взрослых". Лютость, присущая времени, связана всегда с молодостью, его грусть, напротив, можно отнести за счет старости, что касается войны, то в ней — рядом с грустью, с тоской окопа, с повседневностью смерти, с сыростью, — высокие похождения, отрыв от быта и, наконец, то, что я называю "воском надежды"».

За испанскими последовали новые стихи (июнь — август 1939) —

о том же и не о том. «Чтобы писать прозу, нужно не только увидеть нечто реальное, но и осмыслить его. А я тогда не мог разобраться в происходящем <...>. А в лирических стихах можно передать свои чувства, и я предпочел стихи»[117].

По тихим плитам крепостного плаца
Разводят незнакомых часовых.
Сказать о возрасте? Уж сны не снятся,
А книжка — с адресами неживых.
Стоят, не шелохнутся часовые.
Друзья редеют, и молчит беда.
Из слов остались самые простые:
Забота, воздух, дерево, вода...

В августе в деревне виноделов в округе Божоле Эренбург жил наедине с природой. Пейзаж стал едва ли не главным инструментом его лирики:

Жилье в горах — как всякое жилье:
До ночи пересуды, суп и скука,
А на веревке сушится белье,
И чешется, повизгивая, сука.
Но подымись — и сразу мир другой,
От тысячи подробностей очищен,
Дорога кажется большой рекой
И кораблем — убогое жилище.
О, если б этот день перерасти
И с высоты, средь тишины и снега,
Взглянуть на розовую пыль пути,
На синий дым последнего ночлега!

Додумать все до конца оказалось не только трудно, но и страшно — как с этим было жить и работать в условиях принесенной присяги? В прозе и публицистике Эренбург сознательно не додумывал страшной сути тех лет, скользил по поверхности, лишь изредка взрыхляя ее. Но он не мог обмануть себя, поэтому стихи — там, где это лирический дневник, странички которого заполнялись без оглядки на немедленную печать, — стихи, писавшиеся в периоды, когда драма, созданная обстоятельствами времени и усугубленная принесенной присягой, резко обострялась, стихи Эренбурга дают почувствовать суть времени острее, чем его проза. Не случайна поэтому и горечь этой лирики.

Борис Пастернак в Москве 1938-го сказал Эренбургу: «Вот если бы кто-нибудь рассказал про все Сталину!»[118], а в пору оттепели написал: «Во всем мне хочется дойти до самой сути...». Прямо противоположное заклинание в лишенных кокетства стихах Эренбурга 1939 года, в стихах, выражавших безысходное отчаяние и бесстрашных лишь в выражении этого отчаяния, выглядит, скорей всего, не столь привлекательно, но честнее:

Не дай доглядеть, окажи, молю, эту милость,
Не видеть, не вспомнить, что с нами в жизни случилось.

(Эренбург иногда ставил под этим стихотворением дату «1938», иногда добавлял: «Барселона», были на то причины.) Бенедикт Сарнов посвятил проблеме «додумать не дай» в творчестве Эренбурга суровые и жесткие страницы статьи о поздних его стихах[119], подводящие к вопросу: «Что ж, значит, он совершил роковую ошибку, или, скажем иначе, проявил слабость, подчинившись обстоятельствам *своего* времени и забыв о главном предназначении поэта — быть заложником вечности "у времени в плену"?»; ответ дан в следующей же фразе: «Праздный вопрос. Он был таким, каким был, и не мог быть другим». Говоря об Эренбурге и помня резонанс написанного, опубликованного, сказанного и сделанного им хотя бы в 1940—1960-е годы, трудно отделить стихи от другой его литературной работы, во многом «заложницы времени», а не вечности, если продолжить разговор в терминах, употреблявшихся в статье Сарнова, судившей написанное Эренбургом по законам вечности... Здесь происходит некая подмена — прижизненный масштаб Эренбурга определялся отнюдь не его стихами, и «суд» над ним идет по совокупности написанного. Время, конечно, произведет (и уже производит) естественный отбор в его наследии, предоставив лишь историкам восстанавливать иную картину, существовавшую в эренбурговской современности. Не имея в виду прямого сопоставления и понимая сомнительность исторических параллелей, заметим все же, что политические статьи Тютчева, биографически существенные и понятные, спустя время выглядят несопоставимо рядом с «вечными» стихами поэта...

Жизнь вынуждала Эренбурга искать опоры, недаром «Додумать не дай...» — молитва (в отличие от его прежних молитв, адресат здесь не назван); уговорить себя нетрудно, поскольку

Утешить человека может мелочь:
Шум листьев или летом светлый ливень,
Когда, омыт, оплакан и закапан,
Мир ясен — весь в одной повисшей капле,
Когда доносится горячий запах
Цветов, что прежде никогда не пахли.

(Тут снова возникает тень Пастернака.) И представление о сегодняшнем времени как о потоке, кидающемся самоубийцею в ущелье, естественно порождало видение будущего — река, плавно несущая свои воды; так возникало утешение:

Закончится и наше время
Среди лазоревых земель...

Поиск более прочных фундаментов для оптимизма приводил к умозрительным, шатким построениям:

Мы победим. За нас вся свежесть мира...

В стихах лета 1939 года Эренбург возвращается к своей присяге, и слово «верность» прочно входит в его словарь; дважды — в 1939 и в 1957 годах — он пишет стихи под этим названием. В 1939 году верность для Эренбурга включает и верность смерти, и верность обидам, верность погибшим друзьям; эта верность — «зрелой души добродетель»...

В июле 1939 года Эренбург, извиняясь в сопроводительном письме за пессимизм своих новых стихов, отослал их в Москву, но в печать они уже попасть не могли (испанский цикл чудом проскочил в «Знамени» буквально перед самым началом переговоров о советско-германском пакте) — 23 августа пакт Молотова—Риббентропа был подписан, идеологическая политика окончательно прояснилась, и непоправимый антифашист Илья Эренбург для советской печати стал персоной нон грата.

Советские читатели испанских стихов Эренбурга до того знали его статьи в «Известиях». За годы, проведенные в Испании, Эренбург написал для газеты сотни блистательных репортажей, статей, памфлетов — они, наряду с сообщениями корреспондентов ТАСС, со статьями Кольцова в «Правде» и Савича в «Комсомолке», были в те нетелевизионные времена единственным источником информации граждан СССР об испанских событиях, но одновременно — частью госпропаганды, и, хочешь не хочешь, не могли не быть по существу своей задачи двуцветными, бинарными, как это называется в теории информации (да и нет), не допускали разномыслия. Испанские стихи Эренбурга, напечатанные, когда война в Испании уже была проиграна республиканцами, проиграна не только генералу Франко, но и Гитлеру с Муссолини, и когда Сталин заключил с Гитлером договор о дружбе, очевидно контрастировали с его же статьями и со всем, что писалось и говорилось прежде об этой войне в Советском Союзе. Это было не проявлением раздвоения личности, но естественным пониманием природы поэзии (то, что можно сказать в статье, нелепо перекладывать стихами). Контраст этот точно почувствовал год спустя поэт Илья Сельвинский, но, будучи ортодоксальным коммунистом, этим не восхитился, а был возмущен — он обвинил Эренбурга в «двухпалубности»: статьи-де — для нас, а стихи — для себя[120]. Редактор «Знамени» Всеволод Вишневский, человек очень эмоциональный, приезжавший в Испанию в разгар войны и влюбившийся в страну, уверенный во временности перемирия с Германией и думающий дальше этого перемирия, напротив, восхитился стихами Эренбурга и жестко отвел все замечания статьи-доноса Сельвинского, подчеркнув, что в пору, когда «в литературе молчание», Эренбург стремится «все осмыслить»[121]. Это было, повторяю, год спустя, а летом 1939 года испанская тема еще не была закрыта, но прочли напечатанные в «Знамени» стихи Эренбурга в пору действия пакта Молотова—Риббентропа, когда они уже не могли вызвать публичного резонанса, хотя советская критика — прислужница по части

сиюминутных потребностей власти — многословно и путанно успела их осудить. Их читали молча (по свидетельствам многих поэтов военного поколения, испанские стихи Эренбурга были ими перед самой войной внимательно прочтены, и они потом аукнулись в их собственной поэзии). Выраженные в этих стихах тоска, горе, растерянность, соотнесение конкретных событий со всей прожитой жизнью, а конкретной человеческой судьбы — с вечностью, со спокойно взирающей на все природой создавало не газетный масштаб для суждений и оценок. За два десятилетия советской власти страна была оскоплена репрессиями, счет которым шел на миллионы; выросло поколение, воспитанное новой идеологией, — стихи Эренбурга, напечатанные в советском журнале, помогали этому поколению задуматься.

От советского поэта, обязанного приравнивать перо к штыку, требовались однозначность представлений и кругозор политрука. В те же предвоенные времена подававший большие надежды Евгений Долматовский, вернувшись из военного похода в восточную Польшу (по тогдашней терминологии — Западную Украину и Западную Белоруссию), писал:

Когда на броневых автомобилях
Вернемся мы, изъездив полземли,
Не спрашивайте, скольких мы убили,
Спросите раньше, скольких мы спасли.

Это была настоящая советская, бинарная поэзия, дававшая формулы жизни на десятилетия вперед, критика ее комментировала столь же четко: «И в самом деле, советские бойцы не убивают людей напрасно»[122]. Эренбургу стихи Долматовского ставили в пример...

Илья Эренбург был умный человек и политик, но пакта Молотова—Риббентропа он никак не предвидел: «Шок был настолько сильным, что я заболел болезнью, непонятной для медиков: в течение восьми месяцев я не мог есть, потерял около двадцати килограммов. Костюм на мне висел, и я напоминал пугало.... Это произошло внезапно: прочитал газету, сел обедать и вдруг почувствовал, что не могу проглотить кусочек хлеба. (Болезнь прошла так же внезапно, как началась, — от шока: узнав, что немцы вторглись в Бельгию, я начал есть)»[123]. Вторжение в Бельгию произошло 10 мая 1940 года, а 14 июня немцы вошли в Париж.

Время с сентября 1939 по июль 1940 года — из самых мрачных в жизни Эренбурга: он тяжело болел, многие друзья-французы от него отвернулись (Франция находилась в состоянии войны с Германией, а СССР — в состоянии «дружбы»), полиция намеревалась выслать его из страны, а он не мог ехать, да и куда? — в Москве, скорей всего, ждал арест (теперь подтвердилось, что Сталин так и распорядился[124]), Европа почти вся была под сапогом Гитлера, обсуждали ситуацию с бежавшим из Праги Романом Якобсоном, говорили даже о Палестине, где нашел смерть несчастный Лазик Ройтшванец, — в итоге Якобсон оправился в Америку, а Эренбург остался в Париже, вскоре его

арестовали. Спасло чудо (после прорыва немцев правительство решило отправить министра авиации Пьера Кота, с которым Эренбург был дружен, в Москву за самолетами, и Эренбург оказался полезен). Когда гитлеровцы вошли в Париж, Эренбурга с женой разместили в каптерке советского посольства, в это время в Москве пустили слух, что он невозвращенец. Жизнь в оккупированном гитлеровцами Париже была невыносима: «Я отводил душу в стихах»[125]. Стихи из цикла «Париж, 1940» — это трагический и страстный лирический дневник, у стихов одна тема, одна мысль, один нерв, одно чувство:

Глаза закрой и промолчи, —
Идут чужие трубачи,
Чужая медь, чужая спесь.
Не для того я вырос здесь.

Эренбург согласился вернуться в Москву поездом через Германию по подложным документам, когда из разговоров немцев в Париже понял: нападение Гитлера на СССР неминуемо, а значит — можно возвращаться, он понадобится. Вернувшись в Москву 29 июля 1940 года, Эренбург сразу же написал о том, что узнал в Париже, Молотову. Ответа не получил, но его положение определилось — разрешили напечатать стихи и — с великим трудом — очерки о разгроме Франции. Эренбург вернулся в Москву, не поправившись, был слух, что у него рак, выглядел он ужасно — об этом свидетельствует Н. Я. Мандельштам: «Вскоре после возвращения я встретила его на Каменном мосту. Он прогуливал собачку. Мы разговорились. Я была поражена переменой, происшедшей с Эренбургом, — ни тени иронии, исчезла вся жовиальность. Он был в отчаянье: Европа рухнула, мир обезумел... В новом для него и безумном мире Эренбург стал другим человеком — не тем, которого я знала многие годы. И совсем по-новому прозвучали его слова о Мандельштаме. Он сказал: "Есть только стихи: «Осы» и все, что Ося написал..."». Я запомнила убитый вид Эренбурга, но больше таким я его не видела: война с Гитлером вернула ему равновесие»[126].

15 сентября 1940 года Эренбург начал работу над задуманным еще во Франции романом «Падение Парижа»; в декабре он завершил первую часть и отдал ее в «Знамя», не слишком надеясь, что цензура пропустит. Снова он пишет стихи в перерыве большой прозы — в январе 1941-го; в этих стихах — порабощенная Гитлером Европа, ужас холокоста, о нем — не со стороны:

Горе, открылась старая рана,
Мать мою звали по имени — Хана...

И, продолжая тему прежних стихов, снова признание:

Всё за беспамятство отдать готов...

Одно из январских стихотворений посвящено Лондону (Англия — единственная страна Европы, насмерть стоявшая против Гитлера, а

его войска занимали Европу на советской нефти и с советским зерном); это была запретная тема, поскольку виновниками европейской войны советская пропаганда изображала англо-французских империалистов, но Эренбург не молчал:

Город тот мне горьким горем дорог,
По ночам я вижу черный город...

Первую часть «Падения Парижа» разрешили печатать, в январе—марте Эренбург написал вторую, но ее тут же запретили, разрешение дал в конце апреля лично Сталин, позвонивший Эренбургу домой: полной уверенности в том, что Гитлер не нарушит пакта у Сталина не было, и печатание откровенно антифашистского романа было политическим жестом. Этот звонок изменил положение Эренбурга: печатался роман, разрешили издать книгу стихов. Эренбург назвал ее «Верность».

Эта книга представила нового поэта: автора сжатых, емких, не разделенных на строфы стихов, произносимых тихим, раздумчивым, равнодушным к напевности голосом (недаром петь стихи Эренбурга стали только в эпоху «авторской песни», не требующей оперных голосов и внимательной больше к смыслу, чем к музыкальности текста), стихов короткого дыхания, иногда затрудненного, стихов, использующих опыт французской поэзии, где слово цепляет слово и по смыслу и по звучанию и где еще у Вийона (а в XX веке — у Жакоба) виртуозно работал прием настойчивого повтора, стихов, если пользоваться аналогией с пластическими искусствами, напоминающих не пастозное масло, но беглую и убедительную карандашную графику. Эренбург предстал мастером строгой философской лирики, выразившей сложную долю мыслящего человека в бесчеловечном мире, человека, и сквозь грохот орудий слышащего голос птицы и тишину леса, видящего красоту цветов и ощущающего их запах, человека, знающего тяжелое бремя верности и неодолимую власть искусства.

Недаром стихи из «Верности» Эренбург включал во все свои последующие сборники стихов.

В июне 1941 года он продолжал работать над третьей частью «Падения Парижа» — 22-е число застало его на 37-й главе романа.

ЗАПОМНИ И ЖИВИ (1941—1953)

Отечественную войну 1941—1945 годов по справедливости принято считать звездным часом Ильи Эренбурга. Он стал едва ли не первым публицистом антигитлеровский коалиции — художественная ярость написанного им сочеталась с гигантским количеством: около полутора тысяч статей для центральных, фронтовых, армейских, даже дивизионных и тыловых газет, специально для зарубежной прессы и телеграфных агентств (статьи переводились на многие языки, распространялись подпольно, выпускались в виде листовок и брошюр). Добавим к этому систематические выступления по радио;

затем, тысячи писем чаще всего совершенно незнакомых людей с фронта и тыла (малограмотные писали сами, а неграмотным — товарищи под диктовку) — ни одно Эренбург не оставил без короткого ответа на машинке, и на фронте бойцы дорожили этими листочками, как медалью или упоминанием в приказе верховного главнокомандующего. Поразительная, фантастическая работоспособность, беспрецедентный запал — а ведь писателю было за пятьдесят! Он взял это на себя в первый день войны и, не жалуясь на усталость, нес свой груз до конца. История русской публицистики другого такого примера не знает.

Лишь изредка Эренбург мог урвать время от публицистики — так, в феврале 1942 года была завершена третья, последняя, часть романа «Падение Парижа». Осенью 1942 года после отчаянного лета (немцы вышли к Волге и поднялись на Кавказ) Эренбург написал несколько стихотворений. Они, в отличие от стихов 1939 года, продолжали его статьи (в которых, правда, всегда была острая лирическая нота). Это были стихи о внезапном для населения нападении немцев и о всенародном отпоре ненавистному врагу, плач по занятому немцами родному Киеву («Киев, Киев! — повторяли провода, — / Вызывает горе, говорит беда...»), о вере в победу (звучащие тогда почти абстрактно строки о грядущем вступлении наших войск в Берлин) и о самой победе, которая «не гранит, не мрамор светлый, — / В грязи, в крови, озябшая сестра», о не сдавшейся Франции, о Париже и заклинание «Так ждать...», напоминающее симоновское «Жди меня», стихи о старых солдатах и о погибших юношах. Хорошие, искренние, вполне эренбурговские стихи — не событие в поэзии, но важная временная мета в знаковой хронологии стихов Эренбурга.

В этом перечне не упомянута еще одна тема статей и стихов Эренбурга 1942-го, самого успешного для Германии, года войны — «Убей немца!». В сборнике «Стихи о войне» (1943) она представлена стихотворениями «Убей!», «Возмездие», «Немец», «Проклятие», «Немецкий солдат», «Немцы вспоминали дом и детство», «Колыбельная». Адрес этих стихов, как и аналогичных статей Эренбурга, конкретен и во времени, и в пространстве — речь идет о гражданах гитлеровской Германии, с оружием в руках 22 июня 1941 года вступивших на территорию СССР с целью его порабощения и поголовного уничтожения миллионов мирных людей, в частности, за один только факт их принадлежности к неарийским народам. Победить врага, который уже захватил всю Европу (за вычетом Великобритании), можно было только не щадя собственной жизни, только напряжением всех мыслимых и немыслимых сил, когда все живут одним — уничтожить врага! Блюстители юридической чистоты текстов хотели бы, чтобы Эренбург писал «фашист» всюду, где у него было «немец». Но в конкретных обстоятельствах Отечественной войны Эренбург писал так, как он писал. Можно спросить: в какой мере тема «Убей!» вообще может быть предметом поэзии? Ответ прост: в той же мере, в какой она может быть предметом жизни.

В академическом издании, дающем представление обо всех сто-

ронах поэтического творчества Ильи Эренбурга, присутствие этих стихов обязательно. Как и аналогичные стихи Симонова или «Итальянец» Светлова, они остаются в поэтической летописи XX века страшными, но справедливыми страницами...

Летом 1943 года барометр войны впервые указывал на победу. «Понемногу все становилось привычным: разбитые города, разворошенная жизнь, потеря близких...»[127]. Почувствовав некоторое облегчение (оно было куплено безмерной ценой миллионов жизней, которые испокон веку на Руси никто не считал), власть могла вернуться к прежним идеологическим заботам, наверстывая упущенное: снова пошли проработочные статьи в прессе и травля писателей; в искусстве утверждался помпезный великорусский стиль, в жизни — государственный антисемитизм. Интеллигенции давали понять, чтоб не заносилась; надежды на невозможность после такой войны повторения 1937 года повисали. Все это порождало те раздумья, которые, понятно, не могли быть предметом газетных статей. Так возникли у Эренбурга стихи 1943—1945 годов. «Дневника я не вел, но порой писал стихи, короткие и не похожие на мои статьи: в стихах я разговаривал с собой. До лета 1943 года мы жили в ожесточении, было не до раздумий. Стихи снова стали для меня дневником, как в Испании...»[128].

Есть время камни собирать,
И время есть, чтоб их кидать.
Я изучил все времена,
Я говорил «на то война»,
Я камни на себе таскал,
Я их от сердца отрывал,
И стали дни еще темней
От всех раскиданных камней.
Зачем же ты киваешь мне
Над той воронкой в стороне,
Не резонер и не пророк,
Простой дурашливый цветок?

Снова в стихах Эренбурга — библейские ассоциации (Екклесиаст и многострадальный Иов), снова двойное зрение — горе, принесенное врагом, и горе, которое впереди.

Молчи — словами не смягчить беды.
Ты хочешь пить, но не ищи воды.
Тебе даны не воск, не мрамор. Помни —
Ты в этом мире всех бездомней.
Не обольстись цветком: и он в крови.
Ты видел всё. Запомни и живи.

Эренбург постоянно выезжал на фронт, писал о территориях, освобожденных от немцев, своими глазами видел следы их разбоя, кровавых трудов их усердных помощников из местных; письма, ко-

торые он получал, документы, которые к нему попадали, рисовали еще более жестокую картину. Стихи «Бабий Яр» (1944) — о расстреле в 1941 году всего еврейского населения Киева — не раз потом аукнутся Эренбургу:

Мое дитя! Мои румяна!
Моя несметная родня!
Я слышу, как из каждой ямы
Вы окликаете меня...

Этого Эренбург никогда не забывал, а для государства холокост был «чужим горем» (недаром горькие стихи Эренбурга 1945 года «Чужое горе — оно как овод...» трудно проходили цензуру).

В годы войны Эренбург начал работу над документами и свидетельствами об уничтожении гитлеровцами еврейского населения в СССР, задумав издать их книгой. Потом к этой работе — ее курировал Еврейский антифашистский комитет — подключился и Василий Гроссман. «Черная книга» в 1947 году была запрещена, за участие в ней многие пострадали; почти весь состав Еврейского антифашистского комитета был арестован, а в 1952 году расстрелян; «Черную книгу» издали только в годы перестройки.

В стихах 1943—1945 годах — раздумья о долгой жизни. Войны и кровь — всю жизнь; где тот покой, о котором говорил Пушкин?

Было в жизни мало резеды,
Много крови, пепла и беды.
Я не жалуюсь на свой удел,
Я бы только увидать хотел
День один, обыкновенный день,
Чтобы дерева густая тень
Ничего не значила, темна,
Кроме лета, тишины и сна.

В стихах Эренбурга не равнодушная, но вечная природа — главная опора духа, но, конечно, не только она, и в этом случае трагические стихи перестают быть скорбными; таково одно из самых пронзительных стихотворений 1945 года:

Когда я был молод, была уж война,
Я жизнь свою прожил — и снова война.
Я всё же запомнил из жизни той громкой
Не музыку марша, не грозы, не бомбы,
А где-то в рыбацком селенье глухом
К скале прилепившийся маленький дом.
В том доме матрос расставался с хозяйкой,
И грустные руки метались, как чайки.
И годы, и годы мерещатся мне
Всё те же две тени на белой стене.

В 1943 году Эренбург ощутил, что стосковался по прозе, но ежедневная работа публициста не позволяла сосредоточиться на серьезном большом замысле, стихи же — лирический дневник (отсюда, кстати, и отсутствие заботы о нарядных и просто точных рифмах), это — другое; каким-то выходом оказались написанные одна за другой четыре сюжетные поэмы: две на материале зарубежного Сопротивления (Франция, Чехия), две — на русском. Поэмы, написанные одним размером, рождались с ходу, ритм вел автора сам собой, сюжеты были бесхитростны («Париж» и «Прага говорит», как кажется, менее плакатны, чем «Варя» и «Наступление»), во всех поэмах главные герои жертвуют жизнью ради Свободы (этим словом Эренбург и назвал выпущенную в 1943 году книжку, предпослав поэмам лирическое вступление — свое признание в любви Европе). Цикл поэм (не вошедших в настоящее издание из-за превышения допустимого объема) выстраивал единую картину героического европейского Сопротивления фашизму, вписывая сцены Отечественной войны в общую панораму Второй мировой.

Поэтический мир лирики 1943—1945 годов и нов, и не нов для Эренбурга: это раздумья о трагичности жизни; но, в отличие от горького мира испанских стихов, теперь в них, как правило, отсутствует романтическая нота, ее проблеск мелькнет разве лишь в стихах о Победе (май 1945 года). Но и в этом цикле сама Победа похожа и непохожа на Победу из испанских стихов, где ее романтически освещала Самофракийская Ника:

Я запомнил несколько примет:
У победы крыльев нет как нет,
У нее тяжелая ступня,
Пот и кровь от грубого ремня...

Теперь образ Победы строже и заземленнее:

Она была в линялой гимнастерке,
И ноги были до крови натерты...

Дело не только в смене размера стихов, дело прежде всего в смене восприятия: нищета опустошенной войною земли, сгоревшие русские избы, не зарытые кости солдат, миллионы убитых и, несмотря на все, продолжающаяся на ней жизнь под все тем же прессом власти, разве что без революционно-романтического флера, — все это изменило тон стихов.

Трагичность мира испанских стихов благожелательная критика могла объяснять тем, что та война была проиграна. Трагичность стихов Эренбурга 1943—1945 годов такого объяснения не имела. Когда эти стихи были собраны в книгу «Дерево» — о ней промолчали...

Конец войны был связан у Эренбурга с событием, которому он не мог не придать значения. 14 апреля 1945 года в «Правде» была напечатана статья зав. Агитпропом ЦК Г. Александрова «Товарищ Эренбург упрощает», которая в угоду политическому расчету обви-

няла Эренбурга в неклассовом подходе к немцам и дезавуировала его публицистику. Эренбурга немедленно перестали печатать; фронтовики присылали ему недоуменные письма: почему молчишь? На его столь же недоуменное письмо Сталин не ответил. Теперь эта история объяснима документально[129]: вернувшись из поездки в занятую советскими войсками Восточную Пруссию, Эренбург был потрясен творившимся там мародерством, пьянством и насилием. Он открыто говорил об этом в нескольких своих выступлениях в Москве. Доносы не заставили себя ждать, и начальник СМЕРШа Абакумов, будущий сталинский министр госбезопасности, направил вождю секретное донесение с предложением принять меры к слишком много позволяющему себе писателю. Популярность Эренбурга и в стране, и за ее рубежами была столь велика, что Сталин аресту писателя предпочел, в обычной своей иезуитской манере, публичное обвинение его во всем том, против чего тот выступал. Возможности же публичного ответа Эренбургу, естественно, не дали. Так он встретил Победу, в таком состоянии думал о сделанном и писал стихи:

Я смутно жил и неуверенно,
И говорил я о другом...

Он это хорошо понимал, но среди написанного им в те «воинственные годы» было и не о «другом»:

Умру — вы вспомните газеты шорох,
Проклятый год, который всем нам дорог.
А я хочу, чтоб голос мой замолкший
Напомнил вам не только гром у Волги,
Но и деревьев еле слышный шелест,
Зеленую таинственную прелесть...
.....
Уйду — они останутся на страже,
Я начал говорить — они доскажут.

После победы опалу сняли — Эренбурга отправили в страны Восточной Европы (инициатива исходила от Сталина), был он и на Нюрнбергском процессе, где подсудимые — сподвижники фюрера — его узнали; очерки «Дороги Европы» (цель поездки) печатались в «Известиях» и вышли отдельной книжкой. В январе 1946 года Эренбург принялся за большой роман («Буря»), а в апреле его вызвали к Молотову, сообщившему, что Эренбург направляется в длительную поездку по США (начиналась «холодная война», и Эренбургу отводилась роль в ее пропагандистском обеспечении); в порядке любезности ему позволили затем побывать во Франции. Упоминание вышедшей в 1946 году книги стихов Эренбурга «Дерево» вычеркнули из очередной разгромной статьи (шла гнусная кампания против Зощенко и Ахматовой) только потому, что автор находился за рубежом. Прерванная работа над романом возобновилась по возвращении домой и была закончена летом 1947-го (это очень длинный роман, с

массой героев, действие его происходит и в СССР, и в Европе; но он, несмотря на внушительный объем, — вовсе не эпос, это, скорее, лирические сцены с быстро меняющимися декорациями и массой персонажей).

В 1948 году Эренбург снова пишет стихи — последние при Сталине; они писались без оглядки на возможность публикации и большей частью остались ненапечатанными при жизни автора (между «Деревом» и следующей книгой стихов — интервал в 13 лет). Уже ощущалась черная атмосфера последних лет сталинского произвола — был убит Михоэлс, начались массовые изгнания евреев со службы, аресты членов Еврейского антифашистского комитета. В стихах Эренбург вспоминал войну, убитых под Ржевом, говорил о Франции, где прожита половина жизни и куда его не выпустили в 1948 году, — он вспомнил старую песню «Во Францию два гренадера...» и в сердцах обронил:

Зачем только черт меня дернул
Влюбиться в чужую страну?

Вообще, не банальная тема родины звучала почти во всех стихах 1948 года — и ржевских, и о лермонтовских Тарханах, и в поразительном для обстановки тех лет стихотворении «К вечеру улегся ветер резкий...». Лучшие из этих стихов уже предвещали стиль «оттепельных» — они, как правило, длиннее и сюжетнее военных.

В январе 1949 года стартовала официальная антисемитская кампания по борьбе с «космополитами» — первая в сериале, задуманном Сталиным. Эренбурга перестали печатать, об аресте «космополита № 1 Ильи Эренбурга» объявили с трибуны большого московского собрания. Но Эренбурга не арестовали. Он обратился с коротким письмом к Сталину, сухо прося прояснить свое положение. Второй человек в партии — Маленков на следующий день в телефонном звонке назвал все недоразумением. В очередной раз Сталин решил, что Эренбург еще пригодится, и поручил ему заниматься «борьбой за мир». Эренбург снова много и часто ездил на Запад, обрел новых и вспомнил старых друзей (Жолио-Кюри, Тувим, Элюар, Незвал, Амаду, Леви...), но мало с кем мог быть откровенен до конца — даже бумаге в те не приспособленные для стихов годы он не мог доверить своих раздумий. Он писал подчас несправедливо резкие статьи о политике Запада и, единственный, потом в этом покаялся.

В январе 1953 года было разыграно начало последнего акта антисемитской кампании Сталина: дело кремлевских врачей-евреев («убийц в белых халатах»).

В это же самое время Сталин присуждает Эренбургу, первому из советских деятелей, Международную Сталинскую премию «За укрепление мира между народами», демонстрируя миру свою лояльность к евреям. Отказаться от нее было равносильно самоубийству; принимая премию в Кремле в день своего рождения, Эренбург не упомянул в речи арестованных врачей как «убийц в белых халатах», хотя ему это рекомендовали, но фактически сказал о них, вспомнив

тех, «которых преследуют, мучают, травят», сказал «про ночь тюрем, про допросы, суды — про мужество многих и многих». «В Свердловском зале было тихо, очень тихо»[130], — вспоминал Эренбург; в напечатанном газетами тексте после слова «преследуют» вставили «силы реакции».

Дело врачей, по плану инициатора, должно было вызвать массовые погромы и последующую депортацию еврейского населения СССР в Магадан. Самым знаменитым деятелям советской культуры еврейского происхождения «предложили» подписать некий документ, подтверждающий справедливость готовящейся акции. Его подписало примерно пятьдесят человек. Отказалось четыре-пять. Эренбург не ограничился тем, что не подписал бумагу; он — единственный! — обратился к Сталину с письмом и в нем в тщательно выверенных фразах (чтобы не вызвать гнева диктатора и не усугубить дело) изложил ему те прагматические аргументы против готовящейся акции, которые могли убедить Сталина (реакция Запада, непоправимые последствия для коммунистического движения и недавно созданного всемирного движения сторонников мира). Сталин прочел письмо Эренбурга. Скорей всего, оно на него повлияло, во всяком случае, события не стали форсировать, а 5 марта 1953 года дело закрылось за смертью инициатора.

В том же 1953 году на чистом листе бумаги, лежавшем перед Ильей Эренбургом, он вывел название новой повести. Это слово облетело весь мир и в итоге стало общепризнанным названием наступившей эпохи — Оттепель.

ПРОШУ НЕ ДЛЯ СЕБЯ... (1954—1967)

В мае 1945 года Илья Эренбург написал стихотворение:

Прошу не для себя, для тех,
Кто жил в крови, кто дольше всех
Не слышал ни любви, ни скрипок,
Ни роз не видел, ни зеркал,
Под кем и пол в сенях не скрипнул,
Кого и сон не окликал, —
Прошу для тех — и цвет, и щебет,
Чтоб было звонко и пестро,
Чтоб, умирая, день, как лебедь,
Ронял из горла серебро, —
Прошу до слез, до безрассудства,
Дойдя, войдя и перейдя,
Немного смутного искусства
За легким пологом дождя.

Теперь наступили годы, когда молитва могла стать программой действий.

Начиная с 1953 года Эренбург, используя новую ситуацию в стране, отдавал именно этому делу особенно много сил. Наряду с «Оттепелью» (вторая часть повести была напечатана в апреле 1956 года, после XX съезда КПСС, осудившего преступления Сталина) он пишет статьи и эссе о литературе и искусстве, от него — от первого! — люди, выросшие в условиях духовного вакуума, узнают о Цветаевой и Бабеле, Мандельштаме и Ремизове, Мейерхольде и Фальке; он добивается издания стихов Слуцкого и Мартынова; президент общества «СССР—Франция», Эренбург способствует переводу книг западных авторов (Сартр, Элюар, Моравиа, Амаду), организует первую в стране выставку Пикассо (1956), он становится одним из самых деятельных и признанных общественных лидеров эпохи «оттепели» и потому концентрирует на себе едва ли не главный огонь занимающих по-прежнему командные высоты сталинистов — кампаниями прессы против него дирижируют мастера со Старой площади.

В конце 1956 года произошел первый серьезный сбой в той политике, которую зовут оттепельной, хрущевской политикой XX съезда. Было подавлено восстание в Венгрии, начался идеологический откат. Теперь главным оружием Эренбурга становится эзоповский язык (недаром в ту пору Борис Слуцкий дарит ему в шутку старинное московское издание басен Эзопа «для дальнейшего совершенствования в эзоповском языке по первоисточнику»[131]). 23 марта 1957 года Эренбург пишет в Ленинград Елизавете Полонской: «Я борюсь, как могу, но трудно. На меня взъелись за статью о Цветаевой...»; сообщив дальше, что сейчас пишет о Стендале, добавляет: «Это, разумеется, не история, а все та же борьба»[132].

В 1956 году Эренбург возвращается к своей работе 1915 года — переводам из Вийона; переводит его стихи заново, демонстрируя блестящее мастерство. Сейчас много издают и много переводят Вийона, но переводы Эренбурга — особенно «Баллада примет» (в переводе Эренбурга все ее строки начинаются одинаково: «Я знаю...», но это не создает ощущения однообразия благодаря виртуозной рифмовке (ababbcbc), которая, в свою очередь, повторяется в каждой из 8-строчных строф, создавая впечатляющий звуковой эффект), «Баллада поэтического состязания в Блуа», «Баллада истин наизнанку», сразу ставшие фактом русской поэзии, — остаются непревзойденными. Затем он занялся переводом старинных французских песен и лирики любимого им современника и друга Ронсара Жоакена Дю Белле.

Статью «О стихах Бориса Слуцкого»[133], сделавшую поэта «широко известным» не только «в узких кругах», Эренбург закончил оптимистично: «Хорошо, что настает время стихов». Это, как оказалось, относилось и к нему самому — 1957 годом датированы и первые после почти десятилетнего перерыва стихи Эренбурга. Он оставался действующим публицистом и в статьях писал о несомненных вещах — о необходимости мира, о разоружении, взаимопонимании между народами, о надеждах, связанных с новым курсом страны, в его эссе речь шла о взаимосвязи культур, о писателях, загубленных и уцелевших, о живописи, которую прежде никто не мог увидеть и которая

теперь выходит к людям, а в стихах он говорил о праве человека на сомнения, о муках совести, о той цене, которой покупается верность однажды выбранному пути или оплачивается звонкая, эфемерная слава.

На фоне обычной советской риторики, ее холодного «мастерства» и отсутствия живой мысли стихи Эренбурга с их затрудненным словом, бедными рифмами, коротким, как после тяжелой болезни, дыханием казались неумелыми. Но тем-то и хороши эти стихи, что в них остановлено мгновение возвращения русской поэзии к самой себе после долгих лет всеобщего одичания...

Эренбург вспоминал[134], как осенью 1957 года работал («стучал на машинке»), поглядел в окно и... так неожиданно для него появилось первое стихотворение — «Был тихий день обычной осени...» — про опавшие, мертвые листья, взлетевшие с земли под порывом ветра:

Давно истоптаны, поруганы,
И всё же, как любовь, чисты,
Большие, желтые и рыжие
И даже с зеленью смешной,
Они не дожили, но выжили
И мечутся передо мной...

Это, конечно, не о листьях, это о своем поколении. В данном случае эзоповский язык был не средством обойти цензуру, зашифровав понятным читателю образом свои мысли, а, по признанию автора, «бессилием выразить себя»[135], порождавшим сомнения в «верности и точности слова», сомнения, классически выраженные Тютчевым (заметим, к слову, что стихотворение Эренбурга «Ты помнишь — жаловался Тютчев...» с его жестким финальным приговором не включено автором в книгу 1959 года по причине очевидной цензурной непроходимости его в контексте сборника). Общий же комментарий автора к его стихам 1957—1958 годов таков: «Все, что приключилось в мире за последнее десятилетие, заставляло меня часто и мучительно думать о людях, о себе: эти мысли выходили из рамок исторических оценок, становились невольными итогами длинной, трудной и зачастую сбивчивой жизни»[136]. «Люди, годы, жизнь» — подцензурные мемуары, и под «выходом из рамок исторических оценок» подразумевались суждения, не соответствующие официальным идеологическим клише. Внимательный читатель Эренбурга находил в его «пейзажной» лирике актуальные раздумья о жизни, хотя цензура и в пейзаже, конечно, выискивала явные аллюзии, но органичность и серьезность эренбурговских природных сюжетов ее обескураживала.

Особенно остро и внятно звучал эзоповский язык в стихотворении «Да разве могут дети юга», где географическая подмена (Запад—Восток на Юг—Север) позволила создать эмоционально убедительную картину советской жизни — бытовой и духовной, идеологической, прошлой и нынешней: холода, заморозки, закованная льдом река

и пр. — в противовес жизни счастливцев южного рая, «где розы плещут в январе». Не нужны были никакие филиппики по части «культа личности и его последствий» (тогдашний эвфемизм, означавший преступления сталинской эпохи), простые слова: «А мы такие зимы знали, / Вжились в такие холода» — не требовали расшифровки, как и заключительные строки стихотворения:

И в крепкой, ледяной обиде,
Сухой пургой ослеплены,
Мы видели, уже не видя,
Глаза зеленые весны.

Это было ясно и неназойливо, все всё понимали — не случайно именно эти, первые у Эренбурга, стихи стали петь под гитару... Так же и евангельский образ Фомы Неверного, и до того встречавшийся в стихах Эренбурга, обрел теперь актуальный смысл разумности сомнений, и, наоборот, картина смены речных отмелей на полноводье должна, по мысли Эренбурга, не приводить к смирению перед действием слепых сил, а лишь подчеркивать ответственность человека за свою судьбу при всех поворотах истории, — дело не в эпохе, дело в нас самих (мысль, ставшая крылатой благодаря строкам совсем другого поэта, в 1958 году только еще начинавшего свой путь:

Времена не выбирают,
В них живут и умирают).

Не надо, однако, думать, что стихи Эренбурга — зашифрованная «антисоветчина». Газетная конкретика (в прямом ли, в эзоповском ли виде) вообще отсутствует в его стихах — стихов «на случай» Эренбург не писал (может быть, за исключением стихотворений «Спутник» и «Товарищам», но и в них содержание существенно шире непосредственного повода). Его стихи — это лирические раздумья, и картины природы, столь тонко чувствуемые автором, лишь помогают ему выразить свою мысль (подтекст — вообще существенная черта русской лирики периода «оттепели»).

Так, стихотворение «Ошибся — нужно повторить...» начинается с рассказа об уютном мире заемных слов, знакомом с детства, а заканчивается горькой исповедью:

Лишь через много-много лет,
Когда пора давать ответ,
Мы разгребаем груду слов —
Весь мир другой, он не таков.
Слова швыряем мы в окно
И с ними славу заодно.
Как ни хвали, как ни пугай,
Молчит облезший попугай, —
Слова ушли, как сор, как дым,
Он хочет умереть немым.

Не всегда в основе стихов Эренбурга драма его поколения, не всегда и сатирические стрелы (вообще в стихах Эренбурга с годами все чаще встречался сатирический сюжет) обращены только к прошлому. Антибуржуазности, усвоенной с юности, Эренбург не изменял; в неопубликованном при жизни автора стихотворении «В их мире замкнутом и спертом...» речь идет о той части тогда молодого поколения, которая, репродуцировав себя, привольно заняла сегодня просцениум российского жизненного пространства; ее логика нехитра: «Прошла эпоха революций. /А сколько платят за стихи?»

Иногда Эренбург ищет рациональные оправдания верности давней присяге, пытается объяснить необъяснимое. Воспоминания о дореволюционной России с миллионами неграмотных крестьян, со страшным бытом и законами домостроя, с межнациональной рознью, затаенной злобой — той России, которую Эренбург знал, а не той, что была и будет на олеографических картинках, — эти воспоминания при сопоставлении с первым в мире советским спутником, с десятками ежедневно приходящих горячих, искренних писем незнакомых читателей, вообще при взгляде на пылкое, многим интересующееся поколение, давно уже именуемое шестидесятниками, создавали столь сильный контраст, что не могла не родиться надежда: рано или поздно все это сработает и люди станут лучше. Это давнее заблуждение Эренбурга относительно быстроты появления «нового человека» касается только масштаба времени. Человечество становится «лучше» лишь в масштабе истории, что делает наивным эренбурговское обольщение «многомиллионными массами» советских читателей. Сегодня этот конкретный аргумент в пользу быстрого прогресса: мы самая читающая страна и т. д. — отпал сам собой. Пессимизм на сей счет всегда оказывается в выигрыше, и булгаковская, устами Воланда, реплика о том, что люди — те же и «квартирный вопрос» их сделал даже хуже, заслуженно торжествует на ограниченном интервале исторического времени.

Есть в стихах 1958 года прямая перекличка с испанскими — мотив Верности. Теперь в энергичном стихе Эренбург уточняет его, проклиная веру в идолов. Он различает Веру и Верность и называет адреса Верности: веку, людям, судьбе. Стихи — не политическая декларация, в них многозначность слова зачастую основа выразительности, поэтому не будем спорить с Эренбургом, отметим лишь так не вяжущуюся с советской идеологией (в контексте этого стиха) готовность к смерти, решительно выраженную в финале:

Если терпеть, без сказки,
Спросят — прямо ответь,
Если к столбу, без повязки, —
Верность умеет смотреть.

Стало быть, эта жертвенная Верность (а значит, и присяга) — не режиму, который как раз и ставил исправно к столбу верных ему граждан, а идее, которую этот режим давно растоптал. В жизни Эренбурга все было сложнее.

В характерное для тогдашней поэзии Эренбурга стихотворение «Есть в севере чрезмерность...» вплетается новый для нее мотив — о большом счастье, которое «сдуру, курам на смех, расцвело». Так пробивается в стихи Эренбурга любовная тема, чтобы в полный голос прозвучать в стихотворении «Про первую любовь писали много...» — в нем речь о последней любви, про вечер жизни,

Когда уж дело не в стихе, не в слове,
Когда всё позади, а счастье внове.

Это — шлейф последней большой любви Эренбурга. Он познакомился с Лизлоттой Мэр в Стокгольме в 1950-м, их роман начался в середине пятидесятых и продолжался до последнего часа Эренбурга. Жена крупного политического деятеля Швеции социал-демократа Ялмара Мэра, Лизлотта родилась в Германии, откуда ее родители бежали после прихода Гитлера к власти, и в итоге оказалась в Москве, где училась в десятилетке, а потом перебралась в Стокгольм, там вышла замуж и вместе с мужем сотрудничала в Движении сторонников мира. Эренбург не скрывал этого романа; Лизлотта была на 26 лет его моложе; посвященные люди шутили, что на их романе держится все Движение за мир...

Многие из стихов 1957—1958 годов впервые были напечатаны в итоговой книжке «Стихи. 1938—1958» (1959). Эту книгу, несомненно, заметили читатели, хотя на нее не было ни одной рецензии (либеральные критики не обладали эренбурговским даром эзоповской речи и помалкивали, ортодоксам же Эренбург был не по зубам: признать печатно криминал в его стихах о природе означало направить мысль читателя в политически опасную сторону).

В 1959 году Эренбург приступил к осуществлению самого большого своего замысла — мемуарам, над которыми работал до конца дней. Стихи — его лирический дневник — он писал не для печати: не отказываясь от реально возможных публикаций, не спешил предлагать их издательствам и редакциям. Иное дело проза и эссеистика — писательская природа Эренбурга была такова, что он никогда не писал «в стол», считая, что работает для сегодняшнего читателя (при том, что лучшие вещи Эренбурга легко пережили свое время). Так и мемуары — Эренбург мог начать работу над ними, только поняв, что хотя бы половину написанного сможет напечатать (здесь он с самого начала допускал жесткое цензурное сопротивление и готов был печатать не все главы). В этом смысле год был выбран точно (еще в 1958 году в автобиографии Эренбург говорил, что мемуары требуют от автора возможности отъединения и времени[137], а у него нет ни того ни другого). После позорного скандала с романом Бориса Пастернака (1958) политический маятник в СССР в очередной раз качнулся в антисталинскую сторону. Появление в «Новом мире» первой книги «Люди, годы, жизнь» в почти полном объеме (1960) перестроило работу Эренбурга: он писал остальные части на пределе цензурных возможностей, отстаивал каждый фрагмент текста, вступая в

крайне жесткую схватку и с редакцией, и с цензурой, которая в данном случае осуществлялась непосредственно на Старой площади, но, максимально сокращая число потерь, добивался публикации своей работы. Печатавшиеся шесть лет шесть книг воспоминаний «Люди, годы, жизнь» (седьмую автор не закончил, и ее напечатали лишь в годы перестройки) сыграли исключительную роль в просвещении страны. И как бы ни критиковали Эренбурга (а временами это была не просто несправедливая критика — справедливая была невозможна идеологически, — а шквальные нападки, как, например, в марте 1963 года, в очередной откат, когда на мемуары с бранью публично набросился спровоцированный сталинистами Хрущев), — так вот, как бы ни критиковали Эренбурга — и ортодоксы (в застой), и радикалы (в перестройку и после нее), — эта книга сыграла тогда свою просветительскую роль. Но даже сегодня, когда многие намеки автора, прежде понятные лишь узкому кругу посвященных, стали, благодаря свободе печати, доступными всем, изданная без цензурных купюр, она остается, при всех издержках подцензурной работы, увлекательным повествованием об уникальной жизни ее автора, о его встречах на многих горизонтах мира, все еще впечатляющей панорамой русской и мировой культуры и политики вплоть до 60-х годов XX века. В трудную для Эренбурга весну 1963 года Н. Я. Мандельштам писала ему: «Ты знаешь, что есть тенденция обвинять тебя в том, что ты не повернул реки, не изменил течения светил, не переломал луны и не накормил нас лунными коврижками. Иначе говоря, от тебя всегда хотели, чтобы ты сделал невозможное, и сердились, что ты делал возможное. Теперь, после последних событий, видно, как ты много делал и делаешь для смягчения нравов, как велика твоя роль в нашей жизни и как мы должны быть тебе благодарны. Это сейчас понимают *все*»[138].

Не раз оказываясь в эпицентре острых политических событий, заслужив именно политической публицистикой мировую известность, если не сказать — славу, Эренбург всю жизнь оставался поэтом и чувствовал себя прежде всего поэтом. Наверное, его тронула не затерявшаяся в большом потоке поздравлений к семидесятилетию телеграмма, в которой было выверено каждое слово: «Строгого мыслителя, зоркого бытописателя, всегда поэта поздравляет сегодняшним днем его современница Анна Ахматова»[139].

Говоря из времени, когда роль современной литературы в жизни населения совершенно ничтожна, о времени, когда эта роль была исключительно высока, нелегко сочетать историческое видение с современным. Подчеркнем поэтому, что, как писал еще в 1916 году Валерий Брюсов, литература для Эренбурга — не игра, не забава и не ремесло, но дело жизни...

В 1964 году Эренбург, воодушевленный беседой с Хрущевым в августе 1963 года, его извинениями за нападки («я книги тогда еще не читал, подвели референты») и обещаниями не чинить никаких препятствий в публикации написанного, завершил работу над шестой книгой мемуаров (по первоначальному плану — последней). Осе-

нью этого же года Хрущев был свергнут, и началась новая полоса капитального отката — на этот счет Эренбург не обольщался: ему шел уже восьмой десяток, и иллюзий у него не было. В том же 1964 году он снова вернулся к стихам и писал их до конца 1966 года, когда решил продолжить мемуары и начал работу над седьмой книгой (о хрущевской поре).

Для цикла последних стихов Эренбурга, частично напечатанных при его жизни, частично — в перестройку, характерна предельная исповедальность.

Есть в этих стихах и отклик на свержение Хрущева («Стихи не в альбом»; «В римском музее» — где императорский Рим легко подразумевает тогдашнюю Москву, а Хрущев сравнивается с Калигулой, выходки которого не вынес сенат, как и выходки Никиты Сергеевича — Политбюро:

Простят тому, кто мягко стелет,
На розги розы класть готов,
Но никогда не стерпит челядь,
Чтоб высекли без громких слов;

«Когда зима, берясь за дело...» — стихи о зиме, устилающей белоснежным покровом все хляби осени, а по существу о том, как под видом борьбы с ошибками Хрущева осуществляли возврат в прошлое, откорректировав его только гарантиями для партаппарата), есть и жесткий взгляд на советский политический театр, и — шире — на судьбу русской революции («В театре» — о фальшивом спектакле и несчастном зрителе, который смотрит его лишь потому, что есть билет, — в 1915 году Эренбург допускал для зрителя возможность возврата билета, имея в виду формулу Ивана Карамазова, теперь у него другая формула — «надо пережить и это», так что зритель обречен досмотреть фарс до конца; «В костеле» — о первых христианах, оказавшихся в дураках, коль скоро создали церковь, неминуемо самодостаточную, и т. д.)

Взгляд на собственную длинную жизнь лишен каких бы то ни было прикрас:

Пора признать — хоть вой, хоть плачь я,
Но прожил жизнь я по-собачьи,
Не то что плохо, а иначе, —
Не так, как люди или куклы,
Иль Человек с заглавной буквы:
Таскал не доски, только в доску
Свою дурацкую поноску,
Не за награду — за побои
Стерег закрытые покои,
Когда луна бывала злая,
Я подвывал и даже лаял
Не потому, что был я зверем,
А потому, что был я верен —

Не конуре, да и не палке,
Не драчунам в горячей свалке,
Не дракам, не красивым вракам,
Не злым сторожевым собакам,
А только плачу в темном доме
И теплой, как беда, соломе.

Этот горький итог прожитой жизни — последнее слово о Верности.

«С грубой, ничем не прикрытой прямотой он "признавал пораженье"», — пишет об этих стихах Бенедикт Сарнов[140], в духе белинковской «Сдачи и гибели советского интеллигента». Но — «тут ни убавить, ни прибавить...»

В последних стихах Эренбург раздумывает о своем ремесле в контексте неизбежной для России темы «писатель и власть», находя в европейском прошлом поучительные сюжеты («Сэм Тоб и король Педро Жестокий»). Весь внешний, политический, в итоге чужой ему мир — зверинец, паноптикум, кошмар, при одном воспоминании о котором из души вырывается вопль: «Я больше не могу!..».

Это был бы беспросветный, черный мир, если бы не искусство (как решительно, как определенно сказано в «Сонете»: «Всё нарушал, искусства не нарушу»!) и если бы не «В голый, пустой, развороченный вечер / Радость простой человеческой встречи». Итог итогов несет лирическое утешение: «Но долгий день был не напрасно прожит — / Я разглядел вечернюю звезду».

В этих раздумьях над итогами прожитого естественны возвраты к давним стихам и мыслям, к давним молитвам, и звучат они теперь уже бесстрашно:

Не жизнь прожить, а напоследок
Додумать, доглядеть позволь.

Поздние стихи Эренбурга не стали сенсацией, как его мемуары, но и не прошли незамеченными.

Вот недавнее свидетельство поэта, принадлежащего тому поколению, которое оказалось последним, чьи стихи успел узнать неутомимый в интересе к поэзии Илья Эренбург:

«Стихи Эренбурга 50—60-х гг. были мне небезразличны, поскольку их отличала "последняя" прямота, они были лишены всяческих красот и украшений, в них запечатлен трагический опыт XX века, опыт человека, прошедшего через революцию, несколько войн, ужасы сталинского террора, собственный страх, сознание своей вины, разочарование в "оттепельных" надеждах и обещаниях и т. д.

Было понятно, почему этот человек любит поэзию Слуцкого.

Поздние стихи Эренбурга внушали доверие к нему. В этом интимном жанре Эренбург был прост, суров, правдив.

На фоне сентиментально-народной, официально-патриотической или легкомысленно-передовой, громкоголосой поэзии тех лет эти стихи, отказавшиеся от пышных словесных нарядов, шероховатые,

вне каких-либо забот о поэтическом "мастерстве", привлекали подлинностью горечи и страданием, неутешительностью итогов большой и противоречивой человеческой жизни.

Короче говоря, был такой момент, когда стихи Эренбурга оказались нужнее многих других»[141].

Нет никакого сомнения — еще не раз и не для одного человека опыт XX столетия, аккумулированный в стихах Ильи Эренбурга, окажется нужным.

Борис Фрезинский

Примечания*

[1] ЦГИА Украины. Ф. 1164. Оп. 1. Ед. хр. 428.

[2] Там же. Л. 37 об.

[3] *Эренбург И.* Люди, годы, жизнь. М., 1990 Т. 1. С. 53—54 (дальше — ЛГЖ).

[4] Литературная Россия. М., 1924. С. 376.

[5] ЛГЖ. Т. 1. С. 53.

[6] Там же. С. 56.

[7] ЦГИА МО Ф. 1281. Оп. 74. Д. 458. Л. 186.

[8] ЛГЖ. Т. 1. С. 55.

[9] *Эренбург И.* Собр. соч.: В 8 т. Т. 1. М., 1991. С. 349.

[10] Комсомольская Летопись. М., 1927. № 5—6. С. 75.

[11] Запись воспоминаний Б. А. Букиник (Киев, 1976; архив автора).

[12] Рассказано автору дочерью писателя И. И. Эренбург (1980).

[13] ЛГЖ. Т. 1. С. 56.

[14] Литературная Россия. М., 1924. С. 375.

[15] *Эренбург И.* Книга для взрослых. М., 1992. С. 332 (дальше — КдВ).

[16] ЛГЖ. Т. 1. С. 68.

[17] РГАЛИ. Ф. 1204. Оп. 2. Ед. хр. 371.

[18] См.: Комсомольская Летопись. М., 1927. № 5—6. С. 81.

[19] *Попов В., Фрезинский Б.* Илья Эренбург: Хроника жизни и творчества. СПб., 1993. Т. 1. С. 26.

[20] Литературная Россия. М., 1924. С. 376.

[21] ЛГЖ. Т. 1. Комментарии. С. 569.

[22] Литературная Россия. М., 1924. С. 376.

[23] КдВ. С. 89—90.

[24] См.:ГАРФ. Ф. 63. Год 1907. Ед. хр. 2686. Л. 5.

[25] Там же. Л. 16.

---

* Список условных сокращений см. на с.643—645.

[26] Литературная Россия. М., 1924. С. 376—377. В дате Эренбург ошибся — в Москву он приехал в ноябре.

[27] Новости дня. (М.) 1918. 27(14) марта.

[28] См.: *Киреева М.* Илья Эренбург в Париже 1909 года // Вопросы литературы. 1982. № 9. С. 144—157; о первой редакции воспоминаний Киреевой Полонская писала Эренбургу 4 сентября 1960 г.: «Я прочла и разорвала все, что касалось 1909 года. Она согласилась со мной. Знаешь, я боюсь грубых рук, любопытных взглядов. То, что выдумано, можно писать откровенно, но то, что пережито, — нельзя — или еще написать в сонете. Форма держит» (РГАЛИ. Ф. 1204. Оп. 2. Ед. хр. 2055. Л. 14.)

[29] Вечерняя Москва. 1960. 13 и 15 августа.

[30] См. ее письмо Эренбургу от 4 сентября 1960 г. (РГАЛИ. Ф. 1204. Оп. 2. Ед. хр. 2055.)

[31] ЛГЖ. Т. 1. С. 103—104.

[32] Фотокопия, собрание автора.

[33] ЛГЖ. Т. 1. С. 105.

[34] Литературный распад. СПб., 1908. С. 92.

[35] Там же. С. 196.

[36] Подробнее см. об этом: *Фрезинский Б.* Парижские журналы Ильи Эренбурга // Русская мысль. Париж, 1996. № 4132—4134.

[37] А. Рубашкин говорит, что еще в 1911 г. на афишах выступлений И. Эренбурга значилось: «Группа содействия РСДРП» (*Рубашкин А.* Илья Эренбург. Л., 1990. С. 19). Ошибка в том, что, как и многие, А. Рубашкин перепутал кузена писателя И. Л. Эренбурга, художника и социал-демократа, жившего тогда в Париже и читавшего лекции о современной живописи в фонд помощи РСДРП, с И. Г. Эренбургом, таких лекций не читавшим.

[38] КдВ. С. 318.

[39] КдВ. С. 314—315.

[40] См., например: ЛГЖ. Т. 1. С. 102—103.

[41] *Лазарев Л.* Защищая культуру // Эренбург И. Собр. соч. Т. 1, М., 1991. С. 12.

[42] ЛГЖ. Т. 1. С. 106.

[43] Брюсов и его корреспонденты. //Лит. наследство. Т. 85. Кн. 2. М., 1994. С. 526 (дальше — БиК).

[44] См. его предисловие к книге Ахматовой «Вечер» (1912).

[45] Игорь Северянин. «Стихи И. Эренбурга» (1918).

[46] См.: БиК. С. 526.

[47] См.: *Войтоловский Л.* Парнасские трофеи // Киевская мысль. 1910. 1 октября.

[48] ЛГЖ. Т. 1. С. 108.

[49] Подлинники писем хранятся в фонде Б. И. Николаевского в Гуверовском институте, США; ксерокопии предоставлены Дж. Рубенстайном.

[50] БиК. С. 526.

[51] Бик. С. 527.

[52] БиК. С. 527.

[53] ЛГЖ. Т. 1. С. 108.

[54] Ф. Сологуб. «Стихотворение без названия» (1894).

[55] Вяч. Иванов. «"Magnificat" Боттичелли» (между 1892 и 1902).

[56] Гиперборей. 1912. №3.

[57] *Эренбург И.* Заметки о русской поэзии // Гелиос. Париж, 1913. № 1. С. 14.

[58] Журнал журналов. Пг., 1915. № 1.

[59] Русская мысль. 1911. № 2. С. 234.

[60] Заметки любителя стихов: (О самых молодых поэтах) // Заветы. СПб., 1912. №1. С. 67.

[61] Утро России. (М.). 1913. 24 августа.

[62] ЛГЖ. Т. 1. С. 108.

[63] Это отрывок из главы ЛГЖ о Т. И. Сорокине (Т. 1. С. 129), которую Эренбург по просьбе Е. О. Шмидт-Сорокиной не стал печатать; впервые опубликована в 1990 г.

[64] Звезда. 1996. № 2. С. 181.

[65] ЛГЖ. Т. 1. С. 112.

[66] Литературная Россия. М., 1924. С. 377.

[67] *Эренбург И.* Собр. соч.: В 8 т. Т. 1. М., 1991. С. 349—350.

[68] РГАЛИ. Ф. 2182. Оп. 1. Ед. хр. 543. Л. 14.

[69] Литературная Россия. М., 1924. С. 377.

[70] Речь. (СПб.). 1916. 31 октября.

[71] *Волошин М.* История моей души. М., 1999. С. 357—358.

[72] Звезда. 1996. № 2. С. 174—175.

[73] Там же. С. 165.

[74] Там же. С. 168.

[75] Там же. С. 170.

[76] БиК. С. 532.

[77] КдВ. С. 315.

[78] ЛГЖ. Т. 1. С. 164.

[79] Запись воспоминаний Б. А. Букиник (Киев, 1976; собрание автора).

[80] Звезда. 1996. № 2. С. 171.

[81] Там же.

[82] Русская мысль. 1911. № 2.

[83] Русские ведомости. (М.). 1916. 16 июля.

[84] Звезда. 1996. №2. С. 183—184.

[85] Там же. С. 175.

[86] Там же. С. 181.

[87] РГАЛИ. Ф. 1204. Оп. 2. Ед. хр. 386. С. 3.

[88] Литературная Россия. М., 1924. С. 377—378.

[89] Там же. С. 378.

[90] *Блок А.* Собр. соч.: В 8 т. Т. 7. Л., 1963. С. 324.

[91] *Блок А.* Собр. соч.: В 8 т. Т. 6. Л., 1962. С. 55.

[92] Собрание автора.

[93] Камена. Харьков, 1919. № 2.

[94] КдВ. С. 333—334.

[95] ЛГЖ. Т. 1. С. 247.

[96] Звезда. 1996. № 2. С. 199—200.

[97] Литературная Россия. М., 1924. С. 378; подробнее см.: *Фрезинский Б.* Илья Эренбург в Киеве (1918—1919) // Минувшее. № 22. СПб., 1997. С. 248—335.

[98] Литературная Россия. М., 1924. С. 378.

[99] ЛГЖ. Т. 1. С. 306.

[100] Крымский альбом. 1998. Феодосия; Москва, 1998, С. 155.

[101] ЛГЖ. Т. 1. С. 307.

[102] Город. Пг., 1923. С. 101.

[103] *Цветаева М.* Собр. соч.: В 7 т. Т. 5. М., 1994. С. 314.

[104] ЛГЖ. Т. 1. С. 421.

[105] Там же.

[106] См. об этом: *Фрезинский Б.* Илья Эренбург и Николай Бухарин. // Вопросы литературы. 1999. №1. С 291—334.

[107] КдВ. С. 341—342.

[108] Там же. С. 337.

[109] ЛГЖ. Т. 1. С. 544.

[110] Известия. 1934. 18 мая.

[111] КдВ. С. 340—341.

[112] КдВ. С. 386.

[113] *Цветаева М.* Собр. соч. Т. 7. М., 1995. С. 381.

[114] Приводится по ксерокопии из собрания автора; полностью письма Эренбурга к Полонской публикуются нами (Вопросы литературы. 2000. № 1—2).

[115] *Слуцкий Б.* О других и о себе. М., 1991. С. 8.

[116] См. варианты в примечаниях.

[117] ЛГЖ. Т. 2. С. 200.

[118] Там же. С. 159.

[119] См.: Октябрь. 1988. № 7. С. 160—163.

[120] РГАЛИ. Ф. 1204. Оп. 2. Ед. хр. 3641.

[121] Машинописная копия, личный архив Эренбурга.

[122] *Кедрина З.* Герой справедливой войны // Октябрь. 1941. № 4.

[123] ЛГЖ. Т. 2. С. 202.

[124] См.: *Судоплатов П.* Разведка и Кремль. М., 1996. С. 404.

[125] ЛГЖ. Т. 2. С. 218.

[126] *Мандельштам Н. Я.* Вторая книга. М., 1990. С. 390.

[127] ЛГЖ. Т. 2. С. 318.

[128] Там же. С. 317.

[129] См.: *Решин Л.* Товарищ Эренбург упрощает // Новое время. 1994. № 8; *Фрезинский Б.* Почерк вождя // Невское время. 1995. 14 апреля.

[130] ЛГЖ. Т. 3. С. 228.

[131] Вопросы литературы. 1999. № 3. С. 292.

[132] Ксерокопия, собрание автора.

[133] Литературная газета. 1956. 28 июля.

[134] ЛГЖ. Т. 3. С. 343.

[135] Там же. С. 347.

[136] Там же. С. 344.

[137] См.: Советские писатели: Автобиографии. М., 1959. Т. 2.
[138] Машинописная копия, собрание автора.
[139] РГАЛИ. Ф. 1204. Оп. 2. Ед. хр. 1243. Л. 5.
[140] Октябрь. 1988. № 7. С. 163.
[141] Из письма А. С. Кушнера к автору статьи от 27 февраля 1998 г.

СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ

СТИХИ

Туберозам

1

В одежде гордого сеньора
На сцену выхода я ждал,
Но по ошибке режиссера
На пять столетий опоздал.

Влача тяжелые доспехи
И замедляя ровный шаг,
Я прохожу при громком смехе
Забавы жаждущих зевак.

Теперь бы, предлагая даме
Свой меч рукою осенить,
Умчатся с верными слугами
На швабов ужас наводить.

А после с строгим капелланом
Благодарить Святую Мать
И перед мрачным Ватиканом
Покорно голову склонять.

Но кто теперь поверит в Бога?
Над Ним смеется сам аббат,
И только пристально и строго
О Нем преданья говорят.

Как жалобно сверкают латы
При электрических огнях,
И звуки рыцарской расплаты
На сильных не наводят страх.

А мне осталось только плавно
Слагать усталые стихи.
И пусть они звучат забавно,
Я их пою, они — мои.

2

Девушки печальные о Вашем царстве пели,
Замирая медленно в далеких алтарях.
И перед Вашим образом о чем-то шелестели
Грустные священники в усталых кружевах.

Распустивши волосы на тоненькие плечи,
Вы глядели горестно сквозь тень тяжелых риз.
И казалось, были Вы как тающие свечи,
Что пред Вашим образом нечаянно зажглись.

Слезы незаметные на камень опадали,
Расцветая свечкою пред светлым алтарем.
И в них были вложены все вечные печали,
Всё, что Вы пережили над срубленным крестом.

Всё, о чем веками Вы, забытая, скорбели,
Всё блеснуло горестью в потерянных слезах.
И пред Вашим образом о чем-то шелестели
Грустные священники в усталых кружевах.

3. БРЮГГЕ

Есть в мире печальное тихое место,
Великое царство больных.
Есть город, где вечно рыдает невеста,
Есть город, где умер жених.

Высокие церкви в сиянье покорном
О вечном смиреньи поют.
И женщины в белом, и женщины в черном,
Как думы о прошлом, идут.

4

Эти бледные сжатые губы,
Точно тонкие ветки мимозы,
Но мне кажется, будто их грубо
И жестоко коснулись морозы.

5

Когда над урнами церковными
Свои обряды я творю,
Шагами тихими и ровными
Она проходит к алтарю.

Лицо ее бледней пергамента,
И косы черные в пыли,
Как потемневшие орнаменты,
Ее покорно облегли.

Своими высохшими кистями
Она касается свечи.
И только кольца с аметистами
Роняют редкие лучи.

И часто, стоя за колоннами,
Когда я в церкви загрущу,
Своими взорами смущенными
Я возле стен ее ищу.

Смешав ее с Святой Мадонною,
Я к ней молитвенно крадусь.
И долго, словно пред иконою,
Склонив колени, я молюсь,

Пока руками пожелтевшими
Она откинет переплет
И над страницами истлевшими
Свои молитвы перечтет.

6

Были вокруг меня люди родные,
Скрылись в чужие края.
Только одна Ты, Святая Мария,
Не оставляешь меня.

Мама любила в усталой вуали
В детскую тихо пройти.
И приласкать, чтоб без горькой печали
Мог я ко сну отойти.

Разве теперь не ребенок я малый,
Разве не так же грущу,
Если своею мольбой запоздалой
Маму я снова ищу.

Возле иконы забытого храма
Я не устану просить:
Будь моей тихой и ласковой мамой
И научи полюбить!

Сыну когда-то дала Ты могучесть
С верой дойти до креста.
Дай мне такую же светлую участь,
Дай мне мученья Христа.

Крестные муки я выдержу прямо,
Смерть я сумею найти,
Если у гроба усталая мама
Снова мне скажет «прости».

7

Каждый вечер в городе кого-нибудь хоронят,
Девушку печальную на кладбище несут.
С колоколен радостных о тихом царстве звонят,
И в церквах растворенных о празднике поют.

В этот час прохожие все точно приобщились,
Словно все обвеяны великой тишиной,
И как дети малые, что Богу помолились
И полны, затихшие, любовью неземной.

Лишь цветы поникшие, что тихо увядали
В наших темных комнатах, на тоненьких стеблях,
Мы приносим девушкам, которые не знали
О других взлелеянных, солнечных цветах.

Мы оставим девушку, покрытую цветами,
Там, где все усталые нашли себе приют,
Там, где птицы Божии над старыми крестами
О великом празднике радостно поют.

8

Я знаю, что Вы, светлая, покорно умираете,
Что Вас давно покинули страданье и тоска
И, задремавши вечером, Вы тихо-тихо таете,
Как тают в горных впадинах уснувшие снега.

Вы тихая, Вы хрупкая, взгляну, и мне не верится,
Что Вы еще не умерли, что вы еще живы.
И мне так странно хочется, затем лишь, чтоб увериться,
Рукой слегка дотронуться до Вашей головы.

Я Вам пою, и песнею я сердце убаюкаю,
Чтоб Вы могли, с улыбкою растаяв, — умереть.
Но если б вы увидели, с какою страшной мукою,
Когда мне плакать хочется, я начинаю петь...

9

Я помню, давно уже я уловил,
Что Вы среди нас неживая.
И только за это я Вас полюбил,
Последней любовью сгорая.

За то, что Вы любите дальние сны
И чистые белые розы.
За то, что Вам, знаю, навек суждены
По-детски наивные грезы.

За то, что в дыханье волнистых волос
Мне слышится призрачный ладан.
За то, что Ваш странно нездешний вопрос
Не может быть мною разгадан.

За то, что цветы, умирая, горят,
За то, что Вы скоро умрете,
За то, что творите Ваш страшный обряд
И это любовью зовете.

10

Сегодня я видел, как Ваши тяжелые слезы
Слетали и долго блестели на черных шелках,
И мне захотелось сказать Вам про белые розы,
Что раз расцветают на бледно-зеленых кустах.

Я знаю, что плакать Вы можете только красиво,
Как будто роняя куда-то свои лепестки,
И кажется мне, что Вы словно усталая ива,
Что тихо склонилась и плачет над ширью реки.

Мне хочется взять Ваши руки в тяжелом браслете,
На кисти которых так нежно легли кружева,

И тихо сказать Вам о бледно-лазурном рассвете,
О том, как склоняется в поле и плачет трава.

Лишь только растают вдали полуночные чары
И первые отблески солнца окрасят луга,
Раскрыв лепестки, наклоняются вниз ненюфары
И тихо роняют на темное дно жемчуга.

Я знаю, тогда распускаются белые розы
И плачут они на особенно тонких стеблях.
Я знаю, тогда вы роняете крупные слезы
И долго сверкают они на тяжелых шелках.

11

Там, где темный пруд граничит с лугом
И где ночь кувшинками цветет,
Рассекая воду, плавно, круг за кругом,
Тихий лебедь медленно плывет.

Но лишь тонкий месяц к сонным изумрудам
Подольет лучами серебро,
Лебедь, уплывая, над печальным прудом
Оставляет белое перо.

12

Когда приходите Вы в солнечные рощи,
Где сквозь тенистый свод сверкает синева,
Мне хочется сказать, сказать как можно проще
Вам только тихие и нежные слова.

Но вы пришли ко мне, чтоб плакать о нарциссах,
Глядеть на ветку гибких орхидей,
И только там, вдали, у строгих кипарисов,
Вы вся становитесь изысканно нежней.

Не тешат Вас тогда ни радостные птицы,
Ни в сонных заводях усталая река,
И не глядите Вы, как быстрые зарницы
Сверкают по небу и режут облака.

Вы говорите мне: «Моим глазам не верьте,
Я не жила, как Вы, в оливковых садах.
И я любить могу цветы любви и смерти,
Что медленно цветут в заброшенных местах».

13

Мэри, о чем Вы грустите
Возле своих кавалеров?
Разве в наряженной свите
Мало певучих труверов?

Мэри, не будьте так гневны,
Знаете старые песни —
В замке жила Королевна,
Всех королевен прелестней.

Слушайте, грустная Мэри,
Это певцы рассказали —
Как в изумленном трувере
Струны навек замолчали.

Мэри, у тихого пруда
С ним Королевна прощалась.
В гибких водах изумруда
Белая роза осталась.

Мэри, о чем Вы грустите
Возле своих кавалеров?
Разве в наряженной свите
Мало певучих труверов?

14

Когда задумчивая Сена
Завечереет и уснет,
В пустых аллеях Сен-Жермена
Ко мне никто не подойдет.

Иль, может, из приемной залы
К вечерней службе Saint-Sulpice
Пройдет немного запоздалый
И розовеющий маркиз.

Навстречу белая маркиза
В своей карете проплывет
И тайной детского каприза
К нему головку повернет.

Она недавно из Версаля,
Ей памятны его балы,
Где с ней охотно танцевали
И королевские послы.

Запачкав в серебристой пудре
Седые кончики манжет,
Маркиз, откидывая кудри,
Ей улыбается в ответ.

От лунных отблесков бледнея,
Он дальше медленно идет.
В пустых заброшенных аллеях
Ко мне никто не подойдет.

15

Никто не смел сказать Вам о вечернем часе,
Хотя уж все давно мечтали о покое.
Вы медленно сошли по липовой террасе
Туда, где расцвели пахучие левкои.

Как будто серебром и редкими камнями
Были усыпаны песчаные дорожки.
А вы погнались в сад за белыми цветами
И замочили Ваши маленькие ножки.

Но белые цветы казались странно серы,
Когда коснулись их Вы детскими руками.
И зашептали вы: «Смотрите, кавалеры,
Как я люблю шутить над белыми цветами!»

16

Вы приняли меня в изысканной гостиной,
В углу дремал очерченный экран.
И, в сторону глядя, рукою слишком длинной
Вы предложили сесть на шелковый диван.

На тонком столике был нежно сервирован
В лиловых чашечках горячий шоколад.
И если б знали Вы, как я был зачарован,
Когда меня задел Ваш мимолетный взгляд.

Я понял, отчего Вы смотрите нежнее,
Когда уходит ночь в далеких кружевах,
И отчего у вас змеятся орхидеи
И медленно ползут на тонких стебельках.

17

Покинутых церквей темнели силуэты,
И крыши серебрил неуловимый свет.
Прерывисто дыша, Вы вышли из кареты,
Оставив на снегу едва заметный след.

На темную ступень Вы тихо уронили
Одну из тех немного странных роз,
Что на балу, где вы так поздно были,
Вам белый кавалер с поклонами поднес.

Я отнесу ее в старинную часовню,
Где столько старых снов в тяжелых образах,
И, может, там я, замирая, вспомню,
Как Вы ее несли в поникнувших руках.

18

Вечерний свет был матово-зеленый,
Чтоб не спугнуть уже усталых глаз.
Вас окружали хрупкие флаконы
И длинный ряд хрустально-белых ваз.

Сквозь темную вуаль струился молчаливо
Чуть пролитых духов тяжелый фимиам,
И розовый сосуд Вы двинули лениво,
Чтоб дать особый блеск изысканным ногтям.

Когда взглянули Вы на маленькие лильи
Своих изогнутых, по-детски слабых рук,
Мне ясно вспомнилось лицо Святой Цецильи,
Когда на грудь ее палач наводит лук.

19

Мне кажется, что Вас я увидал недавно.
Волнующе легли знакомые духи,
И захотелось мне размеренно и плавно
Вам медленно читать забытые стихи.

Увижу вас я в бледно-синей ложе,
Где темные шелка беззвучно шелестят,
Закрывшись веером и в кресле полулежа,
Вы бросите в толпу Ваш утомленный взгляд.

Иль, может быть, в вечернем будуаре,
Где ровен шаг от бархатных ковров,
Придете Вы ко мне в небрежном пеньюаре,
Слегка усталая от сказок и духов.

Портьеру приподняв, Вы выйдете оттуда,
Уроните в дверях свой палевый платок
И, обойдя кругом тяжелые сосуды,
Дадите мне вдохнуть неведомый цветок.

20

Я плачу о весне, о маленькой гостиной,
О бледных ирисах на бронзовых столах,
О грустной девочке, еще совсем невинной,
Но с странным отблеском в не верящих глазах.

21

Я сегодня припомнил, как встретил я Вас,
И Вы были слегка голубая,
Это было в вечерний, затихнувший час,
Это было в дни тихого мая.

Вы смеялись и были по-детски просты,
Но Вы были слегка голубая.
А кругом шелестели лесные цветы,
В задремавших кустах утопая.

Я увидел звезду Ваших тающих глаз,
А звезда ведь слегка голубая.
И как будто давно я видал уже Вас,
И как будто Вы вся мне родная.

Ваша грусть стала мне как-то сразу близка,
Ваша грусть ведь слегка голубая.
И я помню, как странно дрожала рука,
Вашу тихую руку сжимая.

Я хотел Вам сказать, что Вы так хороши
И что вся Вы слегка голубая,
Но слова замирали в весенней глуши,
Но слова замирали рыдая.

Это было в вечерний, затихнувший час,
Это было в дни тихого мая.

Так простите, что вспомнил сегодня о вас,
Так простите... что Вы голубая.

22

Лишь только высоко, над задремавшим садом
Туманная луна свой отблеск уронила,
Спешите Вы туда, где диким виноградом
Украшена давно забытая могила.

Кто похоронен там, у каменной ограды,
Где ивы говорят с поникшею травою?
Быть может, это дед, убитый из засады,
Сраженный издали трусливою рукою!

Иль, может, девушка, с невинными глазами,
Здесь ожидала грозного сеньора
И тихо умерла с печальными глазами,
Не выдержав проклятий и позора.

Над ней всегда ползут, унылы и тоскливы,
Как долгий сон, осенние туманы.
И только раз в году, по-мертвому красивы,
На ней цветут зловещие тюльпаны.

И только раз в году Вы медленно идете,
Едва луна взойдет над задремавшим садом,
Над камнем наклонясь, Вы долго-долго ждете,
И Ваша тень дрожит над старым виноградом.

23

Висел старинный щит на мраморных колоннах,
Когда король созвал сеньоров на совет.
Они пришли к нему в высоких капюшонах,
С тяжелым кружевом у бархатных колет.

И, медленно отдав поклоны властелину,
Они сошлись вокруг наследного щита:
Им нужно обсудить поход на Палестину
Во имя Господа и нашего Креста.

Склонив свой гордый меч пред статуей Мадонны,
Он тихо прошептал с поклоном короля:
«Мы молим, чтобы Вы к нам были благосклонны
И чтоб открылась нам Священная Земля».

Железные мечи Мадонна освятила:
«Никто из вас до Гроба не дойдет,
Но если суждена вам ранняя могила,
То этим вы сильны и в этом ваш поход».

В высокой зале нет позолоченных тронов,
В суровый мрак она давно погружена.
И только ряд высоких капюшонов
Чуть серебрит холодная луна.

24. МАРИЯ СТЮАРТ

Сегодня я буду пред Вами как сказочный бард,
Заставлю я плакать мои беспокойные струны
И тихо спою Вам о том, как Мария Стюарт
Впервые сошла с корабля на шотландские дюны.

Любила она, как в соборе из мраморных ниш
С младенцем в руках замирала Великая Дева;
Любила она свой по-детски наивный Париж,
Как может любить его только своя Королева.

Кто раз заглянул в этот чуть затуманенный взор,
Тот понял тоску ее странно-волнующей веры:
Христос ей казался гонимый врагами сеньор,
Которого может она заслужить в кавалеры.

Марию Стюарт, что в своих полудетских мечтах
Любила того, кто царит в золотом Ватикане,
Закинули волны на остров, где в серых домах
Скрывались от вьюг и от частых дождей пуритане.

Но что я спою Вам — бессильный, рыдающий бард, —
Дрожат мои струны, и мне изменяют напевы:
В далекой Шотландии погибла Мария Стюарт,
Погибла она и не стало моей королевы...

25—29. ИЗАБЕЛЛА ОРАНСКАЯ

1

Каждый вечер пустынными залами
Прохожу я к высокому трону,
Где король, окруженный вассалами,
Оправляет небрежно корону.

И корона, сверкая рубинами,
Шелестит серебристою пряжей.
Только кубок с венгерскими винами
Подадут ему бледные пажи.

Я своими устами прямыми
Им певучие сказки слагаю,
Но меж всеми оранскими дамами
Я давно лишь одну замечаю.

Это дама сеньора приезжего,
Что сражался у Старой Секиры,
И король пригласил его вежливо
Поглядеть на ночные турниры.

Рано утром с цветами шиповника,
Не взирая, идет из капеллы.
Я случайно узнал от духовника
Это имя Святой Изабеллы.

Говорят, что певцы не решаются
Быть звонче меня — трубадура.
Отчего ж, когда все улыбаются,
Дама смотрит печально и хмуро?

Провожаемый грустными взорами,
Вспоминая про встречу в капелле,
Каждый вечер пред всеми сеньорами
Я пою о Святой Изабелле.

2

Не спрошу я, зачем молчаливый сеньор,
Окруженный высокими псами,
Так внезапно умчался, вдоль замковых гор,
Поохотиться в лес за волками.

Не спрошу я, зачем, когда в зал я вошел,
Изменили вы гордую позу
И, дрожа, уронили на мраморный пол
Чуть заметную белую розу.

I икогда не возьму я оставленных роз,
Никогда не замедлю поклона —
Мне довольно и этих невидимых слез,
Что видала одна лишь Мадонна.

3

Если был бы Твоим паладином,
Я бы в битвах не ведал забрала.
Ты рукой, как крылом лебединым,
Обнаженные раны ласкала.

И, гонимая страхом разлуки,
Безудержной тоскою объята,
Эти тихие, слабые руки
Ты бы клала на черные латы.

Я б носился на лошади быстрой
По изрытым, спаленным равнинам,
Так, чтоб сыпались могучие искры
К убегающим вдаль сарацинам.

От Дуная и до Иордана
Слава храброго<?> всюду гремела,
И все знали б, есть рыцарь Орана
И что дама его — Изабелла!

4

Ты приходишь ко мне, как угроза,
Как какой-то неведомый знак.
И надменная, черная роза
Оттеняет Твой медленный шаг.

Ты приходишь, не зная пощады,
По сведенным чугунным мостам.
Притаившись у длинной ограды,
Отдаюсь я растущим шагам.

Разве Ты не любила когда-то
Этих нежных и вкрадчивых слов?
Ты приходишь ко мне, как расплата,
И Твой голос надменно суров.

«Я из замка Оранская Дама,
И мой муж величавый сеньор.
Погляди же в глаза мои прямо
И прочти в них великий позор.

Ты мог думать — на нежные лиры
Променяю я рыцарский меч
И, забыв про стальные турниры,
Буду слушать наивную речь.

Победители гордо и хмуро
Ждут, чтоб я им дала свой венец...
Разве можно любить трубадура?
Ведь певец — это только певец».

5

Она умерла не рыдая,
Как снег на горах отошла.
Она ведь была не живая
И в смерти отчизну нашла.

Ее положили в капелле
И свечи у гроба зажгли.
И девушки тихие пели
О вечном смиренье земли.

С поклоном входили сеньоры,
Входили один за другим,
Оставив тяжелые споры,
Колени склоняли пред ним.

Когда же из темной капеллы
Послышалась Богу хвала,
Я понял, что нет Изабеллы,
Что дама Орана ушла.

30. ВАНДЕЯ

Когда мятежные солдаты
Громили парки Тюльери
И озверевшие Мараты
В церквах сжигали алтари,

Когда, от страха цепенея,
Молчала галльская земля,
Восстала гордая Вандея
И поднялась за короля.

Потомкам доблестных маркизов
Своих преданий не забыть,
И если им бросают вызов,
Они сумеют отомстить.

И королевские вассалы
Сбираются на шумный зов,
Несут старинные кинжалы
Из заплеснелых погребов.

Сверкает белая корона
На потемневшем серебре,
Несут тяжелые знамена
Благословенные кюре.

Пусть на стальную гильотину
Король безропотно взошел,
Они законному дофину
Заставят возвратить престол.

Мадонна верную Вандею
На перебежчиков ведет,
И что бы ни случилось с нею,
Она назад не повернет.

В последний раз за герб Бурбонов
Сражались рыцари мечты,
Слагая у разбитых тронов
Свои разбитые щиты.

И в замки, пышные когда-то,
Вонзились острые штыки.
На них повесили солдаты
Свои трехцветные значки.

31. NOTRE-DAME

На берегу унылой Сены
Стоит веками Notre-Dame.
Ее запыленные стены
Уходят к серым небесам.

Она стояла при Бурбонах,
Своей усмешкой говоря,
Что скоро на высоких тронах
Не станет пышного царя.

Когда слепые Робеспьеры
Вводили культ в ее стенах,
Всегда зловещие химеры,
Как прежде, наводили страх.

Париж менял свои законы,
Склоняли к новым королям,
И только старые иконы
Царили в старой Notre-Dame.

Прогнав царей своих, упрямый,
В царицы женщину избрал,
Воздвиг ей праздничные храмы,
Ее цветами увенчал.

Пусть на ликующих бульварах
Волнует сладостный угар:
Париж не хочет больше старых —
Для этого он слишком стар!

И новой женщине — богине —
Париж устроил яркий храм.
Он будет ярче, чем святыни,
Давно забытый Notre-Dame.

Забыв священные заветы,
Париж Мадонну оскорбил,
И всемогущий Бог за это
Ему жестоко отомстил.

32. БАЛЛАДА

Сам сеньор посылает привратника,
Не отходит от длинной трубы:
Он глядит, как у черного латника
Конь, срываясь, встает на дыбы.

Перед замком сверкают доспехами,
Изумляют богатством затей —
То сеньор забавляет потехами
Так внезапно привыкших гостей.

Уезжая из замка, смущенные,
Гости встречи не могут забыть
И хотят флорентийской иконою
За почетный прием отплатить.

На иконе змеистые трещины
Пробрались от подножья до плеч.
Но она на спасенье завещана,
И сеньор ее должен беречь.

Гости мчатся полями несжатыми,
Даже пыль улеглась на пути.
Только рыцарь, охваченный латами,
От иконы не может уйти.

Он глядит без конца, зачарованный,
На головку в венце золотом
И на груди, что чуть вырисованы
И закрыты тяжелым плащом.

Слово Божие сердце ль оставило,
Или небо забыл он на миг,
Но, внимая внушениям дьявола,
Он к устам ее чистым приник.

Поздней ночью зажженные факелы
Слуги в спальню сеньора внесли
И, склонившись, печальные, плакали:
В нише труп властелина нашли.

Зову колокольному покорен,
Прискакал к стенам монастыря,
Но со мной примчался черный ворон,
Над церковным куполом паря.

И шаги мои настойчиво и четко
Раздались вдоль обветшалых плит.
А в часовне, заглушая четки,
Зазвенел о статуи мой щит.

Из монахинь выбрав помоложе,
Я устроил в алтаре альков,
На морщинистой и полинявшей коже
Положив следы своих зубов.

А потом вдоль монастырских келий
Я ее за косы протащил,
И монашенки мне неустанно пели
О блаженстве не греховных сил.

По старинным, обветшалым плитам
Вновь раздался гул моих шагов.
Вновь мой конь стремился по ракитам
Вдоль тяжелых раскидных мостов.

Каждый вечер длинные монахи
В их капелле запевают басом,
Жесткие холщовые рубахи
Не дают осесть тяжелым рясам.

Медленно проходят по капелле
К образу страдающей Варвары,
И тогда из монастырских келий
Видны их разметанные пары.

Ловкие и опытные руки
Истязали молодое тело,
И оно от неустанной муки
Возле пальцев быстро почернело.

А кругом, жестоко насмехаясь,
Собрались наряженные люди.
Но монахи смотрят, задыхаясь,
На немного выцветшие груди.

А потом их колокольным зовом
Отрывает старший от иконы,
И они в молчании суровом
Обещают тяжкие поклоны.

33. ИННОКЕНТИЙ VI

Всё, что мне знать дано устами благосклонными,
Что записал иглой я на жемчужной ленте,
У Ваших светлых ног, с глубокими поклонами,
Я посвящаю Вам — Святейший Иннокентий.

Я вижу, как носили Вас над всеми кардиналами
В тяжелом черном бархате и в желтых кружевах,
Высокими проходами, решетчатыми залами,
С узорами и фресками на мраморных стенах.

Люблю я руки белые, с глубокими морщинами,
Лицо слегка обрюзгшее, с игрою жестких глаз,
За то, что издевались вы над всеми властелинами,
За эти руки белые князья боялись Вас.

Но кто поймет, что вечером пред старою иконою
Вы, как ребенок, жаждали несбыточного сна
И что не с римским скипетром, а с хрупкою Мадонною
Была вся жизнь великая так крепко сплетена.

Я знаю, подарила Вам Мадонна величавая,
С вечерними молитвами, две тихие слезы,
И были слезы скрытые невидимой отравою,
Сбирая брови мелкие для бури и грозы.

Пусть Вас носили в бархате, над всеми кардиналами,
Пусть по далекой Австрии раскинули Вы власть,
Кто знает, что за взорами, намеренно усталыми,
Скрывалась безнадежная, мучительная страсть.

34

Где задремавший Тибр плывет средь гордых зданий,
В тени цветущих пальм, азалий и маслин,
На белом мраморе, в высоком Ватикане,
Живет последний властелин.

Когда в святую ночь, при колокольном звоне,
Италия спешит к его ногам припасть,
С усмешкою царя, на золотистом троне,
Он презирает эту власть.

В испанских кружевах, под тенью балдахина,
Изнеженной рукой благословит народ.
И в этот миг пред взором властелина
Давно прошедшее встает.

Из Галлии спешат с поклонами сеньоры,
Читать свою судьбу в его святых очах,
Он должен разрешить их рыцарские споры —
И вся земля в его руках.

На императора наложить покаянье,
Заставить позабыть забавы при дворе
И полночью уйти в холщовом одеянье
Поклоны класть в монастыре.

Напишет он в Мадрид, чтобы костры раздули,
Их пламя долетит до огненных небес.
А после объяснит в своей суровой булле,
Что в мудрецов вселился бес.

Могуществу веков с больной усмешкой внемля,
В свой мраморный дворец он медленно плывет.
Со страхом молится и падает на землю
Кругом собравшийся народ.

35

Я поклялся: над Гробом Господним я воздвигну священное
знамя,
Но в ночных переходах так часто скорблю о покинутой
даме.

Я скорблю об очах несравненных, что светлее весенней
лазури,
Что далекой струной зазвенели и звенят не в одном
трубадуре.

И когда, чей-то отблеск почуя, конь мой в поле
стремительно рвется,
Я, забыв о священном обете, жду лишь ту, кто меня
не дождется.

Жду я ту, кто по темным ступеням проходила средь
сумрачных башен
И венчала того, кто доселе был в походах как рыцарь
бесстрашен.

И, на миг приподнявши забрало, подымая к распятию взоры,
Я покорно склоняю колени перед ликом Святого Сеньора.

«Ваши руки на черную землю так устало роняли рубины,
Но ведь это же нежное тело целовали уста Магдалины.

И мне кажется, темною ночью, когда били вас грубые люди,
Вы, на миг оторвавшись от боли, вспоминали про девичьи
груди».

36

Я ребенком любил по пустынным полям
Пробираться с невольною дрожью,
И с цветами входить в Ваш темнеющий Храм,
И слагать их, робея, к подножью.

А потом, когда юношей стал я смелей
И забыл Ваши вечные знаки,
Я ходил по ночам среди черных полей
Собирать обожженные маки.

Иль, знамена отняв в неустанном бою
И с улыбкой взирая на раны,
Я хотел, чтобы в замок дорогу мою
Украшали ночные тюльпаны.

Но и в долгих путях, на усталом коне,
Ожидая врагов из засады,
Я любил вспоминать, как на темной стене
Замирали пред Вами лампады.

И теперь, опуская свой кованый меч
И забыв про упорные битвы,
Я при робком мерцанье затепленных свеч
Повторяю святые молитвы.

37

Чуть заметные тени лампады
Пробираются к темным иконам,
Возле старой церковной ограды
Вы кладете поклон за поклоном.

Тонкий профиль в накинутом крепе
Оттеняет усталые взоры.
Не сегодня ли в мраморном склепе
Вы оплакали гибель сеньора?

Он сражался, откинувши смело
Перед вражеским станом забрало.
Вам товарищ принес это тело,
Что вчера еще страстно ласкало.

Что вчера еще было прекрасно
И украшено раной сегодня.
Но зачем Вы глядите так страстно
На распятое тело Господне?

Как теперь, эти женские руки
Утомленное тело ласкали.
Как теперь, на великие муки
Беспощадные гвозди вонзали.

Чуть заметные тени лампады
Пробираются к темным иконам.
Возле старой церковной ограды
Вы кладете поклон за поклоном.

38

С той поры, как ушла я в бегинки
И окно мое в тесной ограде,
Я плету кружевные снежинки
В прихотливо узорном наряде,
И пусть ляжет моя паутина
У запыленных ног Господина.

Он стоит в монастырской часовне,
Где святые поют нам о Боге,
И под вечер так странно легко мне
Разглядеть его бледные ноги,
И на них, точно красные маки,
Чуть алеют кровавые знаки.

Я бы нежное тело омыла
И до ног бы коснулась любовно,
Но священник сказал мне уныло,
Что я думаю только греховно.
И с тех пор я хожу безутешна.
Разве Бога любить — это грешно?

Днем и ночью прилежно плету я
Из волнистых шелков покрывало,
Чтоб оно, как мои поцелуи,
Обнаженное тело ласкало,
И пусть скажет моя паутина,
Как могу я любить Господина.

39

Ты говоришь, что разлюбила
Мои задумчивые сны;
В них нет ни радости, ни силы,
И для тебя они бледны.

Ты говоришь, что с чайной розы
Упал на землю лепесток,
И ни мольбою, ни угрозой
Я удержать его не мог.

Но я в ответ тебе напомню,
Как ты давно — уж много лет —
Входила в старую часовню,
Где мы давали наш обет.

Ты помнишь, строгая Мадонна
Глядела пристально в лицо,
Когда ты тихо и смущенно
Мне отдала свое кольцо.

Быть может, ты не знаешь веры
И, тайну Господа кляня,
На блеск пленительной гетеры
Желаешь променять меня?

Но что бы ни было со мною,
Тебя не стану проклинать:
Любовь дана мне не тобою,
Ее не в силах ты отнять.

40

Догоревшие свечи так сонны,
Уходящие тени так четки,
Лишь в углу возле старой Мадонны
Замирают усталые четки.

«Я прошу Тебя, Дева Мария,
Не суди мои страсти так строго,
Ты, узнавшая скорби земные,
Попроси о прощенье у Бога.

Ты припомни, как в жаркой истоме
Ты греховные мысли таила
И в пещере на жесткой соломе
На позорище Сына родила.

Я ведь только простая служанка,
Разве я пред Тобой виновата?
Он приехал из дальнего замка,
И гремели железные латы.

Говорил он мне льстивые речи,
Не расслышал он девичьих стонов.
Я к вечерне зажгу Тебе свечи,
Положу Тебе сорок поклонов».

Лишь привратник глядит утомленно,
Задвигая с молитвой решетки,
Да в углу возле старой Мадонны
Замирают усталые четки.

41

Ты, красавица Мадонна,
Не берешь свечей в подарок.
Ты к земному непреклонна,
И Твой меч, как солнце, ярок.

Ты послала Господина,
И земля его убила.
За растерзанного Сына
Ты еще не отомстила.

Пусть они в тяжелых сводах
Перед свечкой замирают
Или в рыцарских походах
Как собаки умирают.

Пусть они в ребячьем страхе
Не хотят тебе молиться,
Пусть жестокие монахи
Запирают их в темницы.

Пусть они Тебя боятся,
Вечным ужасом объяты:
Для Тебя нет святотатца
Или верного аббата.

На земле Твой образ прочен,
Ты к земному непреклонна,
И Твой меч всегда отточен,
Ненасытная Мадонна.

42

Лишь только войду я в Ваш сумрачный храм,
Как буду я тих и безмолвен.
И робко приникну я к Вашим ногам,
Под радостный гул колоколен.

Какую-то высшую тайну храня,
Затихнут вечерние звуки.
Мне будет казаться, что Вы на меня
Кладете усталые руки.

Мне будет казаться, колышется грудь,
Как это зажженное пламя,
И можно к распущенным косам прильнуть,
Приникнуть земными устами.

Но только я Вам не посмею сказать,
О чем мои сны говорили:
Вы будете слишком устало дышать
Сквозь ветку надломленных лилий.

43

Когда ты ждешь меня, снимая покрывало,
Чтоб дать на миг простор взволнованным рукам,
Мне кажется, что я, задумчиво усталый,
Вхожу сквозь ряд колонн в давно забытый храм.

Ты, бросив робкий клич и отогнувши брови,
Кидаешь мне в упор горящие уста,
Мне кажется тогда, что это капли крови,
Что медленно ползут к подножию креста.

И в миг, когда к тебе я страстно наклоняюсь,
Чтоб сладостно прильнуть к застывшему лицу,
Мне кажется, что я невольно приобщаюсь
К Его жестокому и светлому венцу.

44

В темный храм с невольною тревогой
Пробирается она смущенно,
Но из ниш так пристально и строго
Смотрит непреклонная Мадонна.

Отодвинув бархатные шторки,
Непонятным ужасом объята,
В душной и завешенной каморке
Ждет она обрюзгшего аббата.

И она расскажет, не скрывая,
От смущенья прячась и краснея,
Всё, что знали только вечер мая
Да в саду тенистая аллея.

И когда аббат твердит с упреком,
Что давно грешила Магдалина,
На лице изысканно жестоком
Чуть видна усмешка властелина.

От него уйдя с стыдливой дрожью,
К выходу спешит она смущенно,
Но из ниш еще как будто строже
Смотрит непреклонная Мадонна.

45

В тяжелый свод ушли тяжелые колонны,
Сквозь узкое окно струится строгий свет.
В далеком алтаре у образа Мадонны
Мы молча выполним обещанный обет.

Ты медленной рукой откинешь покрывало,
Чтобы ко мне прильнуть трепещущим грудям,
И тело, что принесть ты в жертву обещала,
Ты клятвенно отдашь неведомым устам.

И, точно говоря о силе страсти Божьей,
Из темных алтарей к нам донесется хор.
И будет старый храм как мраморное ложе,
И будет темный свод над нами как шатер.

Но только упадет на серые колонны
Сквозь узкое окно слегка усталый свет,
Он молча озарит у образа Мадонны
Два острые меча и сгорбленный скелет.

46

Так устали согнутые руки
От глубоко вставленных гвоздей,
Столько страшной, непосильной скуки —
Умирать зачем-то за людей.

Им так скучно без огня и жара
Кровь мою по полю разносить,
Чтобы с всплеском нового удара
Руки кверху снова заносить.

Сколько скуки было у Пилата,
Сколько высшей скуки пред собой
В миг, когда над урной розоватой
Руки умывал перед толпой.

А теперь несбыточного чуда
Так напрасно ждут ученики.
Самый умный сгорбленный Иуда
Предал, и скорее, чем враги.

Царство человеческого сына —
В голом поле обветшалый крест.
Может быть, поплачет Магдалина,
Да и ей не верить надоест.

А кругом — кругом всё то же поле,
Больше некуда и не на что взглянуть.
Только стражники без радости и боли
Добивают сморщенную грудь.

47

Между серых полей я печальный Христос,
Изнемог я в пустыне вечерней,
Слишком мало в венке моем ласковых роз,
Слишком много безжалостных терний.

Не страшит эта боль нарастающих мук,
И не ранит кровавое жало —
Я ведь знаю, что пальцы измученных рук
Ты своими слезами ласкала.

Я ведь знаю, что Ты в своем черном плаще
Проберешься за город несмело
И увидишь в полях на измятом плаще
Это быстро увядшее тело.

Я ведь знаю, тогда Ты омоешь его
И, приникнув к израненной груди,
Ты забудешь, что тело навеки мертво,
Ты поймешь мою сказку о чуде.

48

В глухую ночь ты распят был
На черном древе кипариса.
Но, отвернувшись, я вкусил
Вино густое Диониса.

Я был печален и суров
Войдя в оливковые рощи,
Но у языческих богов
Мне стало радостней и проще.

И Аполлоновым жрецам
Нет выше счастья и услады,
Чем славословия богам
Опять проснувшейся Эллады.

О тихом Отроке скорбя,
Пришелец из иного стана,
Я возлагаю на себя
Златые лозы Юлиана.

49—52. БАРЕЛЬЕФЫ

1

АФРОДИТА

В лачуге рыбака, под сводами палаццо
Ты раздуваешь огнь, который только тлел,
И заставляешь ты бесстыдно изгибаться
На брачном ложе груды обнаженных тел.

Невинных девушек от крова отрывая,
Заставив их презреть запреты и молву,
Ты в истомленный полдень золотого мая
Кидаешь первый раз на знойную траву.

Но заставляешь также ты в знакомой дрожи,
Забыв о старости, о сединах своих,
Стонать от похоти на многолетнем ложе
Почти истлевших старцев, дряхлых и больных.

К тебе идут, созрев, и девы молодые,
И робкий отрок, и пресыщенный мудрец.
Любимцам Аполлона ты сама впервые
Вручаешь лиру и даешь стальной резец.

Ты небо и земля, ты вечная Киприда,
Ты легкое вино и ты последний суд,
И смертные, вступая в области Аида,
К тебе взывают, молят и тебя клянут.

2

АРЕС

Люди чтут тебя покорно.
Равнодушен и жесток,
В поединках необорный,
Храбрый воин и стрелок.

Отрывая их от плуга
Для раздора и вражды,
Ты кидаешь друг на друга
Две враждебные орды,

Чтоб над нивами пожаром
Шла веселая война,
Чтоб под вражеским ударом
Разрывались знамена.

Иль на митингах ты гневно
Пред рабами держишь речь,
Их от жизни повседневной
Ты стараешься отвлечь.

Люди чтут тебя покорно.
Равнодушен и жесток,
В поединках необорный,
Храбрый воин и стрелок.

3

ДЕМЕТРА

Ты щедрых нив глубокие утробы
Железным плугом поспеваешь взрыть,
И ты приносишь снежные сугробы,
Чтоб их от зимних холодов хранить.

Но только наступает час урочный,
Метели остаются позади,
Ты рыхлой землю делаешь и сочной,
Ей посылая частые дожди.

От зноя нивам ты приносишь тучи,
От сырости их солнцем бережешь,
И с каждым часом выше и могучей
Вздымается взлелеянная рожь.

А осенью ты, в пурпур облачаясь,
Вонзаешь в злаки острые серпы
И, возле сел спокойно улыбаясь,
Возносишь непосильные цепы.

Вновь семена осеннего посева
Ты застилаешь снежной пеленой.
Так женщина скрывает чрево,
Отягощенное судьбой.

4

АПОЛЛОН

От Эврипида и Эсхила
Тебе земля обречена.
Какая истинная сила,
Какая мощь тебе дана.

И на кого младые Музы
Наложат твой случайный знак,
Тот Эроса не взлюбит узы
И не сойдет в Аида мрак.

Поэту радостней и слаще,
Чем девушек призывный смех,
Чем крик дриад в вечерней чаще,
Чем смены жизненных утех,

Звучней, чем вешние зефиры,
Ясней, чем неба синева, —
С трудом добытые из лиры
Неотразимые слова.

53. ДИОНИС

Солнце, рассыпая пурпур и янтарь,
Золотило ветки кипариса.
Сквозь деревья виден был простой алтарь
Греческого бога Диониса.
Юноша подругу страстно призывал,
И, его напевам томно вторя,
Под кустом зеленым меж прибрежных скал
Козлоногий Пан играл у моря.
Возлагая благовонные венцы
Из багровых маков и гвоздики,
В исступленной пляске девы и жрецы
Сбрасывали пышные туники.
Долго золотисто-алого вина
Проливались жертвенные струи,
Только, как с волной сливается волна,
Так в одно сливались поцелуи.
А когда Аврора тихо подошла,
Бросив луч на ветви кипариса,
В парах розовели стройные тела
У подножья бога Диониса.

Мир давно не молится богам,
Но под черной тенью кипариса
В песне моря виден древний храм
Греческого бога Диониса.
Только люди на тела свои
Траурные кинули одежды
И при виде страсти и любви
Молчаливо опускают вежды.
Только девы больше никогда
Не зовут мужей в священной пляске,
И полны тяжелого стыда
Их насильно вызванные ласки.
Под унылый шум осенних волн
Навсегда замолкнет флейта Пана,
Пусто всё, и одинокий челн
Робко выплывает из тумана.

54. ПАН

Всю ночь меня томили дым, заводы,
Слепое небо, душная весна
И черно угрожающие своды.

Но только просветлела пелена
И тучи на востоке порыжели,
Я выглянул из узкого окна.

Как будто звуки флейты и свирели,
Напоминая шелестящий лес,
Мне чьи-то музы неустанно пели:

«Ты знаешь, этой ночью Пан воскрес.
Гляди, как звонкий воздух серебрится,
Как ярки клочья раненых небес.

Он в наши окна, как в ручьи, глядится,
И так влекут в непроходимый лес
Его зверино-стройные копытца.

Ты знаешь, этой ночью Пан воскрес».

55—56. ФЛОРЕНТИЙСКИЕ ТЕРЦИНЫ

1

Я подошел к вершинам Миниато,
Когда дремали горы и поля,
В минуты острые его заката.

Долины, отдых сладостный суля,
Задумались и вспоминали Бога.
Над ними горевали тополя.

Среди полей широкая дорога
И пара розовеющих волов,
Всё было просто, искренно и строго.

Донесся дальний гул колоколов,
И где-то птицы, замирая, пели.
А город был как кружево дворцов

И, может, как Венера Боттичелли.

2

Как ясен день у золотого Арно,
Когда весною яблони цветут
И небо голубое лучезарно.

Как нежен листьев ранних изумруд,
Он на апрельском солнце золотится.
Как травы дико и легко растут.

Вот пролетела над кустами птица,
Она, как все, понятна и нужна.
Я вижу, как она в лазури мчится.

Душа моя сурова и нежна,
Ей далеки тревоги и сомненья.
Я чувствую, что жизнь моя полна.

Так снился мир героям Возрожденья.

57—60. ВРЕМЕНА ГОДА

1

ВЕСНА

В апрельский день у сломанной калитки,
Поросшей мохом и густым плющом,
Срывал он золотые маргаритки.

И девушка в неясно-голубом
К нему легко и просто приходила.
И шли они задумчиво вдвоем.

Она ему о чем-то говорила,
О чем нельзя другому рассказать,
И, приближаясь, словно отходила.

Раскинулась полей весенних гладь,
Цвели фиалки, стройные тюльпаны.
Она давала руки целовать.

Сквозь пальцы тонкие и небо, и каштаны
Казались лучезарней и светлей.
Слова ее свивались, как туманы,

Как будто листья горьких тополей.

2

ЛЕТО

Был летний полдень необъятно тих,
И пчелы лишь над клумбою жужжали,
Сбирая мед с левкоев золотых.

А женщина без горя, без печали
Сидела в влажной и густой тени.
И ветки лип ей шею щекотали.

Пред ней мелькали солнечные дни,
Она кормила милого ребенка
И говорила ласково: «Прильни».

И щурила глаза задумчиво и тонко
От ярких и безжалостных лучей.
Над парком птица прокричала звонко.

А солнце становилось горячей.

3

ОСЕНЬ

Когда приходят тихий август и прохлада,
Когда струится в небе ясно-голубом
Осенний запах груш и зреющего сада,

Я ухожу в поля. Как празднично кругом,
Как много пурпура, и золота, и меда,
Как сильно пахнет свежевыжатым вином.

Последний легкий труд законченного года:
Крестьяне с шумом собираются свозить
Большие тыквы и плоды из огорода.

Кричат... Как хорошо, как непонятно жить!
Я больше ни о чем на свете не тоскую.
Мне хочется в полях лишь до ночи бродить

И землю целовать, изрытую, большую.

4

ЗИМА

По вечерам чуть тлеющий камин,
И взгляд любимый, близкий и понятный,
И книга, и какой-то странный сплин.

По вечерам так сладко, так приятно
Грустить о солнце, лете и о том,
Что вместе с ними так же невозвратно.

Грустить о небе, слишком голубом,
О поцелуе, легком и далеком,
О парке, опустевшем и родном.

Но вместе с горьким и смешным упреком
Душа зимою вечером пьяна.
В снегу, нависшем, тяжком и глубоком,

Ей снится необъятная весна.

61

На травы сохлые свой первый отблеск кинув,
Из леса дымного на нас ползет гроза.
Ты прилегла, в истоме руки запрокинув,
Большим листом укрыла влажные глаза.

Не слышно птиц, всё приуныло, присмирело,
Твоя рука ромашки золотые мнет.
Ты сбросила одежды, я целую тело,
И груди смуглые, и бедра, и живот.

Ты так больна любовью, знойна и красива,
К тебе ползет по шее изумрудный жук,
Ты отбиваешься призывно и лениво
И падаешь со мной на раскаленный луг.

Весенний дождь прозрачный, крупный, точно росы;
Под ним трава примятая встает легко.
Ты, быстро подобрав обрызганные косы,
Бежишь домой и пьешь густое молоко.

62

Когда о смерти мыслю я, угрюмый,
Душе моей становится светло
И странно успокоенные думы
Мне озаряют грустное чело.

Придет ли смерть ко мне средь карнавала,
Склонив неутоленную главу,

Иль, может, сам, пресыщенно усталый,
К себе я вечный отдых призову.

Но сладко думать, что, окоченелый,
От города и от людей вдали
Почувствую изрыхленное тело
Нагретой солнцем и родной земли.

В сосновый гроб заботливо уложен,
Сольюсь я тихо с матерью землей.
И ближний луг, останком унавожен,
Покроется весеннею травой.

63. РОССИИ

Как часто по́д вечер тяжелый
Душе становится светлей,
Едва она припомнит села
Твоих нерадостных полей.

Иль видит в маленькой харчевне
Рабочих, спорящих гурьбой,
Недавно взятых из деревни
И пахнущих еще землей.

Тогда чужбина мне постыла.
Хочу я плакать над тобой,
И над твоей красой унылой,
И над безвыходной судьбой.

64

Как хорошо, когда нисходит плавно
На улицы ночная полумгла,
Увидеть церкви русской, православной,
Зарей блистающие купола.

Над садиком медово-серебристым
Струится горький ладан в небеса.
И в воздухе особенно душистом
Далёко замирают голоса.

А ребятишки из соседней школы
Играют, книги побросав свои;
От их возни, беспечной и веселой,
Под купола взлетают воробьи.

65. БЛАГОДАРЮ

Гляжу на бледные усталые озера,
На пары грустные последних лебедей,
И в сердце больше нет ни боли, ни позора,
Ни одиноких дум, ни горя, ни страстей.
Я не могу отвесть молитвенного взора
От чуть белеющих, разбросанных полей.
Закат над озером становится бледней,
И кажется, что скоро, слишком скоро
Поблекнет он над матовой водой,
Зажжется небо бархатной звездой,
И озеро слегка засеребрится,
Баюкая поникшую траву.
Мне хочется и плакать, и молиться.
Благодарю за то, что я живу.

66. СЕРДЦУ

Белым снегом устланная нива
Спит в земле, лелея семена.
И над ней, тиха и молчалива,
Голубеет зимняя луна.

Всё кругом в незыблемом покое
Славит жизнь, и только ты одно,
Жадное, завистливо-тупое,
В жалобы свои погружено.

67. НА КЛАДБИЩЕ

Я был на кладбище. Печальные кресты,
Венки, промокшие под вечными дождями,
И прошлогодние осенние листы.

Они шуршали под унылыми шагами.
Туманный день о близкой смерти говорил
Своими тусклыми сплошными небесами.

Я молча проходил меж горестных могил,
Покрытых листьями осеннего убора,
Припоминая с грустью тех, кого любил.

Но вдруг исчезли думы, помыслы укора
И быстро отошли ненужные слова.
Я вздрогнул — рядом, у могильного забора,

Росла весенняя и первая трава.

68

Сияли ризы неземные.
Стоял я в церкви, дик и груб.
Слова, безумные и злые,
Срывались с неутешных губ.

И ангел грустный, ангел белый,
С изнемогающим челом,
Стоял навеки онемелый
И плакал над моим грехом.

69. БОГУ

Тебе смиренно я пою,
Тебя я вижу в безднах ночи:
Седую бороду Твою
И ясно-голубые очи.

Ты создал яростных зверей,
Необозримые просторы.
Ты средь бушующих морей
Поставил каменные горы.

Под звуки неумолчных бурь
Века над миром проходили.
Твои глаза среди лазурь,
Как звезды ясные, застыли.

Отец, мой голос слишком слаб
Перед твореньем исполина,
Но всё же я, как верный раб,
Хочу прославить господина.

Тебе смиренно я пою.
Тебя я вижу в безднах ночи:
Седую бороду Твою
И ясно-голубые очи.

70. ХРИСТУ

Сегодня Вы, слегка усталый,
Свершали свой последний путь,
И капли крови ярко-алой
Ложились на больную грудь.

Закат багрово-запоздалый,
Казалось, не хотел уснуть,
И крики черни одичалой
Вам не давали отдохнуть.

Всё было дико и мятежно:
И лики грешные убивших,
И плач толпы, и стражи спор.

А Вы молились слишком нежно
За Ваших братьев согрешивших
И за тоскующих сестер.

71

Сегодня от житейских дел
Мне сделалось невыразимо больно.
Я загрустил и, кажется, невольно
На это небо поглядел.

Блистали звезды холодно и строго
В своей непостижимой вышине.
Я поглядел, и стало ясным мне,
Что истина — в творенье Бога.

72—75. САНДРО БОТТИЧЕЛЛИ

Эти терцины я посвящаю Флоренции.

1
НИМФА

Среди олив на землю олеандра
Роняла золотистые листы.
И нимфа говорила: «Помнишь, Сандро?»

Он ей шептал: «Скажи мне, это ты,
Ты нимфа сероглазая из леса?
Кому несешь ты травы и цветы?

Быть может, задремавшая принцесса
Послала быстроногого гонца?
А может, нимфа злая сатиресса?

О, подожди, не укрывай лица,
Зачем в кустах ты ускользаешь, тая,
И руки прячешь в жаре багрянца?

Проходит осень ясно-голубая,
И у ручья шаги твои шуршат,
Когда идешь ты, росы отряхая.

А нимфа отвечала: «Помнишь сад,
И тополя, желтевшие в апреле,
И розы дикие в тени оград?

Ты помнишь нимфу, Сандро Боттичелли?»

2

РОЖДЕНИЕ ВЕНЕРЫ

На ровный холст ложились краски кисти.
Густая прядь Венериных волос,
Лаская, становилась золотистей.

Сегодня он, невидимый, унес
Зарю Тосканы бледно-золотую
И столько пенных флорентийских роз.

Но кто-то постучался в мастерскую,
К нему монах неведомый вошел
И молча руку вытянул сухую.

Он в угол к Боттичелли подошел,
Взглянул на нечестивые картины,
И Сандро кисти выронил на пол.

Он рассказал о том, как паладины
Недавно шли к подножию креста,
Сказал ему о косах Магдалины,

Омывшей ноги грустного Христа.
Сказав, взглянул он в очи Боттичелли,
И мастерская вновь была пуста.

О тихой Пятнице монахи пели,
И слушал Сандро чьи-то голоса
И розы видел монастырских келий.

Кто знает, чьи он создал волоса —
Младой Венеры, вставшей из пучины,
Идущей в пробужденные леса,

Иль, может, косы грустной Магдалины.

3

БЛАГОВЕЩЕНЬЕ

Перед стеной с молитвой, преклоненный,
Один в своей прохладной мастерской,
Он Благовещенье писал Мадонны.

Какой глубокий и святой покой
Ей должен принести посланник Божий
И осенить ее своей рукой.

Покорный, долго он писал, и что же —
К нему пришли из окон, из дверей
Сатиры, на больших козлов похожи,

И фавонята с рожками зверей,
И нимфы — быстроногие газели —
Шептали все: «Оставь, иди скорей

Туда, где мы играем на свирели,
Где даже птицы звонкие поют
Лишь о тебе, печальный Боттичелли.

Туда, где задымился вешний пруд,
Где клонятся встревоженные ивы
И ветками тебя к себе зовут».

И Боттичелли, трепетно пугливый,
Нарисовал Мадонну не святой,
А девушкой мечтающей, стыдливой,

Что грустно ангелу твердит: «Постой,
Я не хочу быть праведной Мадонной,
Мне хочется свободной и простой

В лесу бродить, срывая анемоны».

4

САВОНАРОЛА

В толпе смешались дети и седые.
И к небу убегающий костер
С утра горит на Пьяцца Синьориа.

Савонарола здесь. «До коих пор
Терпеть мы будем в горе и в молчанье
И папы грех, и властелинов спор?

Спешите вы, творите покаянье,
Посыпьте пеплом грешную главу,
Падите ниц в холщовом одеянье».

Но кто же там, во сне иль наяву,
У стен идет, печальный и покорный,
Не погружая взора в синеву?

Закутанный в свой бархат черный,
Художник шел, спокоен и один,
Чтоб на костер сложить свой грех упорный,

Чтоб обольщенье сжечь своих картин.
Он положил. И рамы почернели.
Огонь взвился из тлеющих глубин.

И только нимфа, жившая в апреле,
Успела на него взглянуть с костра
И прошептала: «Помнишь, Боттичелли?»

От новой груды книг и серебра
Взлетели к небу огненные пчелы.
Он отошел, сказал себе: «Пора!»

И застонал у ног Савонаролы.

76—77. ХРИСТОС

1

Пали листья желтые каштанов,
Глубже нетревожный небосклон.
И под звуки золотых тимпанов
Близится осенний Рошешон.

В склады Симеона из долины
Свезены созревшие хлеба;
Собирают сочные маслины
Двадцать два выносливых раба.
На пиры торжественного брака
Симеон гостей к себе зовет:
За соседа, юного Исака,
Дочь последнюю он выдает.
В защищенных от лучей повозках
Гости съехались из сел и городов.
Далеко на пыльных перекрестках
Слышен рев привязанных волов.
Девять дней с утра и до заката
Проливалось крепкое вино,
Точно сок созревшего граната,
По рукам струилося оно.
На десятый день вина не стало.
Гости задремали у маслин,
И покрытый влагой пенно-алой
Не звенел оставленный кувшин.
И напрасно Симеон упрямый
Падал ниц, взывая в тишине,
Бога Исаака, Авраама
Он молил о сладостном вине.
И напрасно пришлый из Эллады
Жрец большого петуха убил
И, свершая долгие обряды,
Диониса о вине просил.
Вечером, откуда неизвестно,
По соседним проходя путям,
Отрок, видом светлый и чудесный,
Подошел к пирующим гостям.
Зачерпнул он из колодца воды
И, войдя в молитвенный шалаш,
Молодой, безусый, безбородый,
Вынул девять освященных чаш.
И святое совершилось чудо —
Брызнула багровая струя.
Он сказал им: «Пейте из сосуда,
Пейте, люди, это кровь моя!»
Гости недоверчиво взирали
На пришельца — юного Христа,
Но невольно к чашам прижимали
Жадные и знойные уста.
Только Эллин, пришлый чужестранец,
Чашу винную к груди прижал,
Танцевал какой-то дикий танец
И языческого бога звал.

Но Христос, предчувствием объятый,
Вскинул пальцы холодевших рук:
Он предвидел и удар Пилата,
И горячий, обагренный луг.
Поглядев отверженно и строго,
Он ушел туда — в Иерусалим,
И не понял греческого бога,
Жрец которого плясал пред ним.

2

Он скорбел, а небо голубое
Высоко раскинулось над ним.
В странном, выжидательном покое
Тяжело дремал Иерусалим.
И когда его закрылись вежды,
Пала тень на серые поля.
Рвали женщины свои одежды
И кричали, Господа моля.
Старый Эллин, проходивший мимо,
На распятье с трепетом взирал:
В изгнанном царе Иерусалима
Он былого отрока узнал.
Молча преклонив свои колена,
Он припал к подножию креста.
Было чудо — золотая пена
Омочила Эллина уста.
Долго пил он радостно и жадно
Кровь, как струи переспелых лоз,
И казался гроздью виноградной
Обнаженный, молодой Христос.
Все рыдали — только чужестранец
Кровь Христову к сердцу прижимал,
Танцевал какой-то дикий танец
И языческого бога звал.

78—80. АВИАТОР

1

В этот вечер звезды замирали,
Далеко над городом дрожа.
Он один, исполненный печали,
Отойти не мог от чертежа.

Лунный луч зеленовато-синий
От окон скользнул до потолка.
Забелели в нем узоры линий
И сухая тонкая рука.
В лунном свете, бледен и утóнчен,
На клочок бумаги он глядит,
Хитрый план обдуман и закончен,
И стальная птица полетит.
Выпущена птица на свободу
И, взрезая небо, как стрела,
Шелестя, летит по небосводу
Под глухие клекоты орла.
По рукам, работой утомленным,
От предчувствий пробежала дрожь.
Он к глазам сухим и воспаленным
Прижимает маленький чертеж.
Над бумагами склоняясь ниже,
Он под утро наконец уснул.
И тихонько шепчет: «Погляди же!»
Спящему унылый Вельзевул.
Видит он спокойные дороги,
Полные ликующей толпой,
Там, где раньше, холодны и строги,
Небеса сияли над землей.
Ни Медведицы, ни Скорпиона
В небесах не может он найти
И дрожит в пределах небосклона,
Отыскав границы и пути.
Он проснулся слабый и усталый.
Звезды догорали вдалеке,
Блеск зари холодновато-алой
Занимался на его руке.
Ночь опять прошла и обманула,
Целый день он с циркулем сидит.
Пусть правдивы речи Вельзевула,
Но стальная птица полетит.

2

Небо становилось мутно-белым,
Солнце выжжено, раскалено,
И над миром знойным, омертвелым,
Божеством казалося оно.
Гордо вились праздничные флаги.
Все сошлись на площади глядеть,
Сколько нужно силы и отваги,
Чтобы это небо одолеть.

Он стоял холодный и спокойный
Перед недоверчивой толпой
В этот полдень необычно знойный,
С небесами начиная бой.
Зажужжала радостная птица
И, с далекой башни не видна,
По лазури беспокойно мчится,
От лучей и воздуха пьяна.

В этот день, когда в дыму пожара
Истомленный вечер умирал,
Кто-то тень зловещую Икара
Сквозь большие окна увидал.

3

Авиатор плавает бесцельно,
Отнимая руку от руля,
А под ним легка и беспредельна
Черная раскинулась земля.
Как всегда, по каменным вершинам
Зеленеют лишаи и мхи,
И меж них по тропочкам звериным
Крадутся, цепляясь, пастухи.
Может быть, вернуться к этим селам,
Попросить приюта, чтобы там
Проходить невинным и веселым
По давно проложенным тропам.
Но опять он пристально и жадно
В небо неприступное глядит:
Пусть земля привольна и отрадна,
Но стальная птица полетит.

Поздно ночью, крылья расправляя,
Авиатор дрогнул и упал.
Только коршун, мимо пролетая,
Над погибшей птицей прокричал.

81. ЕВРЕЙСКОМУ НАРОДУ

Народ, ведущий род от Авраама,
Когда-то мощный и большой народ,
Пахал ты землю долго и упрямо,
Трудясь над нивами из года в год.
Ты был народом юным и веселым
В своих родных и вспаханных полях,

Раскинувшись по плодородным долам
В росой сверкавших пальмовых шатрах.
Но, недовольный избранным уделом,
Покинув пастбища и отчий дом,
Побрел ты нищий по чужим пределам
И сделался пришельцем и рабом.

Всегда униженный, гонимый,
Под тяжким бременем забот,
Ты шествуешь, едва терпимый,
Бессильный и больной народ.
Ты столько выдержал позора,
Костров, изгнаний и тюрьмы.
Тебя боятся, точно мора,
И сторонятся, как чумы.
Пришелец жалкий и убогий,
Ко всем народам ты привык,
Забывши об еврейском Боге
И потеряв родной язык.
Ты больше не взрываешь нивы,
Не стережешь стада овец.
В своей лавчонке, боязливый,
Ты ныне жалкий торговец.
Старик ослепший и злосчастный,
Рожденный некогда в полях,
Ты умираешь ежечасно
В неумолимых городах.
Лишенный нив, средь душных сводов,
Стеною крепкой обнесен,
Рождая немощных уродов
От вырождающихся жен,
Еврей, ты раб у всех народов,
Ты парий между всех племен!

Ты здесь не нужен; пришлый и гонимый,
Сбери своих расслабленных детей,
Уйди к родным полям Иерусалима,
Где счастье знал ты в юности своей.
Увидишь ты покинутые нивы
И снова двинешь заржавелый плуг.
Быть может, там, под ветками оливы,
Ты отдохнешь от долголетних мук.
И если должен ты погибнуть вскоре,
Умри не здесь, среди чужих полей,
А там, где видел ты иные зори,
Где счастье знал ты в юности своей.

82. ПАРИЖ

Тяжелый сумрак дрогнул и, растаяв,
Чуть оголил фигуры труб и крыш.
Под четкий стук разбуженных трамваев
Встречает утро заспанный Париж.
И утомленных подымает властно
Грядущий день, всесилен и несыт.
Какой-то свет тупой и безучастный
Над пробужденным городом разлит.
И в этом полусвете-полумраке
Кидает день свой неизменный зов,
Как странно всем, что пьяные гуляки
Еще бредут из сонных кабаков.
Под крик гудков бессмысленно и глухо
Приходит новый день — еще один!
И завтра будет нищая старуха
Его искать средь мусорных корзин.

А днем в Париже знойно иль туманно,
Фабричный дым, торговок голоса,
Когда глядишь, то далеко и странно,
Что где-то солнце есть и небеса.
В садах, толкаясь в отупевшей груде,
Кричат младенцы сотней голосов,
И женщины высовывают груди,
Отвисшие от боли и родов,
Стучат машины в такт, неторопливо
В конторах пишут тысячи людей,
И час за часом вяло и лениво
Показывают башни площадей.

По вечерам, сбираясь в рестораны,
Мужчины ждут, чтоб опустилась тьма,
И при луне, насыщены и пьяны,
Идут толпой в публичные дома.
А в маленьких кафе и на собраньях
Рабочие бунтуют и поют,
Чтоб завтра утром в ненавистных зданьях
Найти тяжелый и позорный труд.

Блуждает ночь по улицам тоскливым.
Я с ней иду измученный туда,
Где траурно-янтарным переливом
К себе зовет пустынная вода.
И до утра над Сеною недужной
Я думаю о счастье и о том,
Как жизнь прошла бесследно и ненужно
В Париже, непонятном и чужом.

83. ВОЗВРАТ

Будут времена, когда, мертвы и слепы,
Люди позабудут солнце и леса
И до небосвода вырастут их склепы,
Едким дымом покрывая небеса.
Будут времена, не ведая желаний
И включивши страсть в обычные дела,
Люди станут прятать в траурные ткани
Руки и лицо, как некогда тела.

Но тогда, я знаю, совершится чудо,
Люди обессилят в душных городах.
Овладеет ими новая причуда —
Жить, как прадеды, в болотах и в лесах.
Увлекут их травы, листья и деревья,
Нивы, пастбища, покрытые травой.
Побредут они на древние кочевья,
Стариков и женщин увлекут с собой.
Перейдя границы города — заставы,
Издали завидев первые поля,
Люди будут с криком припадать на травы,
Плакать в исступленье и кричать: «Земля!»

В парах падая на травяное ложе,
Люди испугают дремлющих зверей.
Женщины впервые без стыдливой дрожи
Станут прижимать ликующих мужей.
Задыхаясь от нахлынувшего смеха,
Каждый будет весел, исступлен и наг.
И ответит на людские крики эхо
Быстро одичавших кошек и собак.

Далеко, почти сливаясь с небосводом,
На поля бросая мутно-желтый свет,
Будет еле виден по тяжелым сводам
Города истлевший и сухой скелет.

ОДУВАНЧИКИ

84

Не ищите в этой книге
Сказок, раньше вас пленявших:
Это миги,
Это несколько пушинок
Одуванчиков опавших,
Это золото песчинок,
Между рук упавших.

85

Я скажу вам о детстве ушедшем, о маме
И о мамином черном платке,
О столовой с буфетом, с большими часами
И о белом щенке.
В летний полдень скажу вам о вкусе черники,
О червивых изъеденных пнях
И о только что смолкнувшем крике
Перед вами в кустах.
Если осень придет, я скажу, что уснула
Опьяневшая муха на пыльном окне,
Что зима на последние астры дохнула
И что жалко их мне.
Я скажу вам о каждой минуте, о каждой!
И о каждом из прожитых дней.
Я люблю эту жизнь, с ненасытною жаждой
Прикасаюсь я к ней!

86

Мне двадцать первый год. Как много!
Апрель ушел, и предо мной
Сухая пыльная дорога,
И духота, и летний зной.

Еще есть мама, сестры где-то,
И кто-то «мальчиком» зовет.
Но вот пройдут зима и лето,
Какой-нибудь случайный год,
И, отданный суровым думам,
Осыпется весны цветок,
И станет жестким и угрюмым
Неясный очерк пухлых щек.

87

Детство, одуванчик нежный,
Перед жизнью шумной и мятежной
Ты осыпалось и отцвело.
Ты прошло!

88

Мой маленький Бобка,
Ты в детстве меня утешал,
И, если я плакал, ты робко
Горячие щеки лизал.
Я помню, как пачкал ты лапой
Кушетку иль клетчатый плед.
Теперь не услышу я милого храпа,
Тебя в этой комнате нет —
Ты там же, где мама, где папа,
Где кухня и старый буфет...

89

С куличами, с пасхами,
С страхом темноты,
С няниными сказками,
Детство, где же ты?

90

Мне никто не скажет за уроком «слушай!»,
Мне никто не скажет за обедом «кушай!»,

И никто не назовет меня Илюшей,
И никто не сможет приласкать,
Как ласкала маленького мать.

91

Как мало мать мы в детстве ценим,
Как после мы живем мечтой
Припасть к ее худым коленям
Своей усталой головой.
Взглянуть на милые морщинки,
На чуть приметные слезинки,
На черный вязаный платок,
На всё, чем раньше пренебрег.

92

В шестнадцать лет мы любим прелесть
Неясных грез
И беглый взгляд и легкий шелест
Упавших на плечо волос.
Неловко-строгие объятья
И прозвучавшие едва-едва
И звук шагов, и шорох платья,
И детски важные слова.

93

Как скучно в «одиночке» вечер длинный,
А книги нет.
Но я мужчина,
И мне семнадцать лет.
Я, марсельезу напевая,
Ложусь лицом к стене,
Но отдаленный гул трамвая
Напоминает мне,
Что есть Остоженка и в переулке
Наш дом,
И кофе с молоком, и булки,
И мама за столом.
Темно в передней и в гостиной,
Дуняша подает обед...
Как плакать хочется! Но я мужчина,
И мне семнадцать лет.

94

Как странно жить не дома,
Без мамы, без сестер,
И есть с тарелки незнакомой,
И засыпать без старых штор.
Несут счета, приходит прачка...
Как много новых скучных дум!
Лишь мама пишет: «Не запачкай
Пальто и береги костюм!»

95

Я скажу, что ты смугла, как лето,
Что ты пахнешь солнцем и смолой
И что в час туманного рассвета
Я люблю дремать с тобой.
Я скажу, что ты воздушней мошки,
В городе скучаешь, любишь лес,
Что на лбу твоем нашел я рожки,
Как у милых сатиресс.
Расскажу, как носишь ты перчатки,
Как ты «глупый» и «любимый» говоришь
И про то, как вечером в кроватке
Ты, уткнувшись, тихо спишь.
Расскажу про уши и про брови,
Про кольцо с камеей на руке.
Я скажу о каждом милом слове
И о каждом ноготке.

96

Не шуми ты, зеленый листочек,
Зяблик, песней ее не буди!
Зая дремлет, свернувшись в клубочек,
Руки крепко прижавши к груди.
Целый день у нее впереди.

97

Уж в небе вспыхнула звезда,
Уж на ночлег пришли стада,

И на дороге меж овец
Стыдливо звякнул бубенец.
И мы с тобою шли вдвоем,
Не смея говорить о том,
Что наступил вечерний час,
Что на деревьях луч погас,
Что долго будем мы идти,
Не зная цели и пути,
Что перед нами даль, холмы,
И жизнь, и в этой жизни — мы.

98

Видишь: я с тобою близко,
Мы одни.
Ты не щурься, точно киска,
Ты усни!

99

Ты пуглива, словно зайчик, —
Чей-то шорох услыхала...
Ты не бойся!
В стеганое одеяло
С головой укройся!

100

Я люблю тебя за запах жесткий
Тмина, мяты и сухой земли,
И за руки, тонкие березки,
И за ноги крепкие твои.
И за то, что ты смеешься звонко,
И за то, что глухо плачешь ты,
И за ласки робкого ребенка,
И за все твои привычки и черты.
В час, когда печальный вечер тает,
На лету целуя облака,
И миндаль на грудь твою роняет
Два закатно-нежных лепестка,
Я молюсь заре вечерней и рассветной,
Серебристым каплям крупных рос
И твоей груди, едва заметной
Средь стыдливо спущенных волос.

101

Люди девушку похоронили
И забыли розу на могиле.
Роза, на могиле увядая,
Пахла утром солнечного мая.
Мы прильнули к розе и спросили:
«Это счастье, молодость — мои ли?
И твои ли? Эта роза вянет,
Скоро счастья и любви не станет».
Но на свежей и сырой могиле
Травки незаметные всходили;
От садов, лежащих за оградой,
Потянуло ночью и прохладой.
Как мы скоро, как легко забыли,
Что стояли оба на могиле.

102

Ты любила утром приходить ко мне
И волосики любила на спине.
И над оспинкой родимое пятно, —
Ведь тебе же нравилось оно?..

103

В знакомых пятнышках обои,
На промокашке слово «Зай»
И утро ясно-голубое
Как будто говорят — прощай.
Но я не верю. Ты очнешься
И спросишь: где я? почему?
И ты не сможешь, ты вернешься.
Вернешься к Зайке своему!

104

Заяц большеглазый,
Что же ты не рад?
Слезы, как алмазы,
На щеке блестят.

Точно дождь весенний,
Падают оне
На твои колени
И на руку мне.

105. ПЕРЕД ФЛОРЕНЦИЕЙ

Снова мы увидим облаков румянец,
Нежно-лиловатые холмы,
Монастырь, где старый францисканец
Распевает стройные псалмы.
Траттории, где под вечер с шумом льется
Черное смолистое вино,
И остатки старого колодца,
С фавном, заглядевшимся на дно.
Снова мы увидим в золоте и в блеске,
В тишине покинутых дворцов
Строгие задумчивые фрески
Первых флорентийских мастеров.
Будем снова всюду, где мы раньше были,
Обойдем знакомые поля,
Берег Арно, камни Кампаниле,
Площади, где пахнут тополя.
К Фьезоле взойдем холмами золотыми
И увидим солнечную даль.
Белые дороги и над ними
Тихо опадающий миндаль.

106

...И наступит миг заката.
Улыбаясь и грустя,
Ты, как ангелы Беато,
Как блаженное дитя,
Медленно и важно скажешь:
«Недовольный, посмотри!»
И задумчиво укажешь —
Отблеск тающей зари,
Гор капризные изгибы,
Кружевной собор вдали
И разрыхленные глыбы
Незасеянной земли.

107

В вечер долгий, в вечер зимний
Скажешь ты уныло:
«Родный, расскажи мне,
Это счастье было?»
Вспомним мы поля, где были,
Всё, что увидали, —
Розовые кампаниле,
Голубые дали.
Сьенцев пристальные взгляды,
В церкви запах воска
И соборные фасады,
С мрамором в полоску.
Вспомним счастье, вспомним лето,
Монастырь Чертозы.
Двор до духоты нагретый,
Вянущие розы...

108. АМСТЕРДАМ

Он пахнет сухими селедками,
Уютом, хлебами домашними.
Каналы с скользящими лодками
И церкви высокие с башнями.
И женщины с лицами кроткими.
С мечтами былыми, вчерашними.

109. РАССВЕТ

Посветлело небо над домами,
И в лицо мне веет бодрый ветерок.
Жизнь проходит тихими шагами,
Сыплется меж пальцами песок.
Эти мокрые пустые тротуары,
Эти отблески стыдливых фонарей...
Город, расскажи — какие чары
Тяготеют над душой моей?

110

Не вспоминай с улыбкой милой
Страны моей.
Иль на сегодня ты забыла,
Что я еврей?
В Париже средь толпы нарядной,
В краю родном
Блуждаю я с мечтою жадной
Лишь об одном,
Чтоб было стерто и забыто,
Что я еврей,
Чтоб я припал к груди раскрытой
Земли моей!

111

Евреи, с вами жить не в силах,
Чуждаясь, ненавидя вас,
В скитаньях долгих и унылых
Я прихожу к вам всякий раз.
Во мне рождает изумленье
И ваша стойкость, и терпенье,
И необычная судьба,
Судьба скитальца и раба.
Отравлен я еврейской кровью,
И где-то в сумрачной глуши
Моей блуждающей души
Я к вам таю любовь сыновью,
И в час уныний, в час скорбей,
Я чувствую, что я еврей!

112

Когда встают туманы злые
И ветер гасит мой камин,
В бреду мне чудится, Россия,
Безлюдие твоих равнин.
В моей мансарде полутемной,
Под шум парижской мостовой,
Ты кажешься мне столь огромной,
Столь беспримерно неживой.
Таишь такое безразличье,
Такое нехотенье жить,
Что я страшусь твое величье
Своею жалобой смутить.

113

Я помню серый, молчаливый,
Согбенный, как старушка, дом,
И двор, поросший весь крапивой,
И низкие кусты кругом.
Прохладные пустые сени,
Крыльцо и бабу на ступени,
В саду мальчишек голоса
И спящего на солнце пса.
В уютной низенькой столовой
Пыхтящий круглый самовар,
Над чаем прихотливый пар
И на столе пирог фруктовый,
Старушку в кружевном чепце
С улыбкой важной на лице.

114

Когда в Париже осень злая
Меня по улицам несет
И злобный дождь, не умолкая,
Лицо ослепшее сечет —
Как я грущу по русским зимам,
Каким навек недостижимым
Мне кажется и первый снег,
И санок окрыленный бег,
И над уснувшими домами
Чуть видный голубой дымок,
И в окнах робкий огонек,
Зажженный милыми руками,
Калитки скрип, собачий лай
И у огня горячий чай.

115

Февральский ветер еле-еле
Повеял пасмурной весной,
И я привстал с моей постели
Усталый, слабый и больной.
На солнце снег темнеет, тает,
И суетятся воробьи,
И ветер дерзко налетает,
Вздымая волосы мои.

116

Как заспанному глазу
Отчетливо видна
Не вовремя и сразу
Пришедшая весна.
Мне тягостно, что тает
Голубоватый снег,
Что в окна долетает
Докучный стук телег,
Что ты увидишь нищий,
Пустой и голый двор,
И мокрое жилище,
И прошлогодний сор,
И скудную полоску
Оттаявшей земли,
И низкую березку,
Согбенную вдали.
Что, может быть, впервые
Тогда заметишь ты
И наши неживые
Погибшие мечты.

117

Ты пишешь: очнулись березы,
Доносится грохот телег,
Сосульки тяжелые слезы
Роняют на тающий снег.
Сегодня ты видела в спальной
Двух мушек на мутном окне...
Ты пишешь о тихой, печальной,
Заплаканной русской весне
.....
И грустно и радостно мне.

118

Когда березы разбухают,
Вбирая теплые лучи,
И днем апрельским прилетают
Под купола церквей грачи,

Как вьется ладан над крестами,
Как тает медленно вдали,
Сливаясь с крепкими парами
Сырой, оттаявшей земли.

119

Я знаю: ты глядишь часами
На чисто выметенный двор,
На окна с пыльными цветами,
На облупившийся забор,
На крышу, где за корку хлеба
Дерутся с криком воробьи,
И на клочок пустого неба,
Едва сереющий вдали.
. . . . . .
О, сбрось тупое безразличье
И, не мечтая об ином,
Пойми убогое величье
Происходящего кругом.

120

Как радостна весна родная:
И в небе мутном облака,
И эта взбухшая, большая,
Оковы рвущая река.
И я гляжу, как птичья стая
Слетает на верхи берез
И как ее пугает, лая,
Веселый и продрогший пес.

121

О, эта тусклая весна
Разочарованной природы,
И ущербленная луна,
И бурые слепые воды.
Весенний ветер тучи рвет,
Потоки вспененные гонит.
А сердце — посиневший лед, —
Оттаяв, и дрожит и стонет.

122

Весной душа моя наивней,
Во всем ей чудится исход:
И в солнечном апрельском ливне,
И в говоре тревожных вод.
И в мутно-желтоватых тучах
На проясненных небесах,
И в клейких, сморщенных, пахучих,
Неразвернувшихся листах.
И в шумном уличном движенье,
В поблескиваньи мокрых крыш
И в той улыбке примиренья,
Что ты мне изредка даришь.

123

Когда ты с грустью терпеливой
Положишь у креста венок
И небо полночью слезливой
Размоет глину и песок;
И колокол тупой и медный
Мне годовщину пропоет,
И всё, что было мной, бесследно
Исчезнет, сгинет и пройдет,
Тогда туман густой и синий
Пойдет от тающей земли,
И кашки расцветут в долине,
И пропоет рожок вдали.
Кадите вы, поля, кадите
Свои весенние хвалы,
Нагую землю взбороздите
Вы — терпеливые волы!
И вся земля живи и смейся,
Лучи серебряные пей,
И где-то в глубине развейся
Остаток горечи моей!

124

Душа весною суеверней,
И робко молится она,
Когда зовет ее к вечерне
Голубоглазая весна.

125

Как нехотя весна родная
Бросает девичью постель...
Снега еще белеют, тая,
Еще в саду шумит капель,
И медлит на пороге мая
Почти растаявший апрель.

126

Меня тревожит блеск весенний,
Небес густая синева,
И запах тягостный сирени,
И потемневшая листва.
Как не походит этот жесткий,
Весь бирюзовый небосклон
На бледно-желтые березки
И на пасхальный перезвон.

127

Если ты к земле приложишь ухо,
То услышишь — крыльями звеня,
В тонкой паутине бьется муха;
А в корнях изъеденного пня
Прорастают новые побеги,
Прячась в хвое и в сухих листах.
На дороге вязнут и скрипят телеги,
Утопая в рыхлых колеях.
Ты услышишь: пробегает белка,
Листьями пугливыми шурша,
И над речкой пересохшей, мелкой
Селезень кряхтит средь камыша.
И поет бадья у нашего колодца,
И девчонки с ягодой прошли.
Ты услышишь, как дрожит и бьется
Сердце неумолчное земли.

128

На небе выцветшем ни тучи,
Всё дышит жуткой тишиной,

Во всё проник густой, тягучий,
Невыносимо острый зной.
Ни голоса, ни отголоска...
И только медленно вдали
Ползет унылая повозка,
Теряясь в золотой пыли.

129

Наступили дни грибные,
Не смолкает крик в кустах,
И гвоздики заревые
Разгораются в полях.
Но уж ветер разогретый,
С лепестками поздних роз,
У тебя, сухое лето,
Первый желтый лист унес.
И на дымных косогорах,
В час, когда дрожит заря,
Слышен затаенный шорох
Золотого сентября.

130. АВГУСТУ

Чем старше я, тем с каждым годом
Люблю тебя я всё сильней:
Ты пахнешь яблоками, медом
И бодрой свежестью полей!
Как я люблю твой лист багровый
На грустном празднестве лесов,
Твои прозрачные покровы
И дым и золото хлебов.

131

Здравствуй, осень темно-золотая!
Солнце тлеет в небе голубом,
Желтый лист, задумчиво слетая,
Вдаль несется за другим листом.
И за стаей пролетает стая,
Пахнет дымом, гарью и вином.

Будем, осень, мы бродить по селам,
С крыш покровы ветхие сносить,
По равнинам нежилым и голым
С песнями хмельными проходить,
Вместе будем мы вином тяжелым
Одиночество свое кропить!

132

Иду, и долгими слезами
Омытое горит лицо,
И под нетвердыми шагами
Скрипит подгнившее крыльцо.
В саду плетеная решетка
Упала. Осень, это ты
К моим ногам сметаешь кротко
Свои засохшие листы.

133

О, как мой сад пустынен ночью,
Как раздается скрип стволов
И как вздымает ветер клочья
Сухих, истерзанных листов!

134

Бесшумно пролетают сани,
Скользя по снежной пелене.
Конец печалей и блужданий,
Я верю — ты пришел ко мне.
Я думаю: еще не поздно
Душе туманной и больной
Упиться солнечной, морозной,
Невозмутимой тишиной.

135

Снега, снега в полях унылых,
На небе мерзлая луна.

И целый вечер я не в силах
Уйти от мутного окна.
И, околдованный снегами,
Я до полуночи молчу,
Страшась иззябшими руками
Зажечь потухшую свечу.

136

Камин погасший раздувая,
Я мерзну в комнате пустой.
Стакан недопитого чая
Уныло стынет предо мной.
И, утомленный и уснувший
Под голоса декабрьских вьюг,
Я вижу жизни обманувшей
Простой и неизбежный круг.

137. СТАРИКУ

Идешь ты — и дрожат колени,
И падает из рук клюка,
И треплется, как лист осенний,
Твоя иссохшая рука.
Ты путь прошел крутой и длинный,
Изведал камни всех дорог,
И ныне ты комочек глины,
В котором гаснет огонек.
Но чую — в скрытом отдаленье
Ты что-то новое узрел,
В чем есть великое прощенье
Законченных тобою дел.

138. ГОД

Что лучше зимнего рассвета,
И дыма синего у труб,
И еле слышного привета,
Слетающего с милых губ?
Часам к пяти, пока не поздно,
Приятно выйти погулять,
Кричать средь тишины морозной
И снег, притаптывая, мять.

А вечером с тобою снова
У вспыхивающих углей
Мы дремлем в маленькой столовой,
И ты становишься нежней.
И к чаю сливное варенье,
И ложек серебристый стук,
Сверчка задумчивое пенье,
Метели голоса — и вдруг
Усталое прикосновенье
Твоих неуловимых рук.

Что радостнее весною дыма
Недавно вспаханных полей
И тонкой, еле уловимой,
Прозрачной зелени ветвей?
Забывши о недавнем снеге,
Уж анемоны расцвели,
И рвут корявые побеги
Пласты тяжелые земли.
Средь стада бубенец смеется,
Вдали гудят колокола,
И взносится и раздается
Неповторимая хвала.
И юноша, покинув келью,
В леса пушистые идет
И тихо плачущей свирелью
Подругу робкую зовет.
И пахнут солнцем, пахнут прелью
Бугры изрытые болот.

Что слаще и острее лета:
Его сомнений и тревог,
До боли жалящего света
И пыльных солнечных дорог.
Соседней рощицы опушка
Уж начинает опадать,
И голосистая кукушка
Перестает в ней куковать.
И в полдень уж длиннее тени,
И в поле уж желтее рожь,
И ты наивной и весенней
Передо мною не пройдешь.
Гроза. Под крышей на соломе,
Раскинув руки, я лежу
И в наплывающей истоме
На небо тусклое гляжу,
И в этом блеске, в этом громе
Свою тревогу нахожу.

Сильней всего люблю я осень,
Покойно и легко я пью
Ее задумчивую просинь
И ветра ровную струю.
Последняя полоска сжата,
И овдовели тополя,
И пахнут горечью и мятой
Необозримые поля.
Затихла песня трудовая,
Готово новое вино,
И падает струя хмельная
С веселым говором на дно.
И всё ушло, и всё далёко —
И нежно-серебристый май,
И леса шум, и гул потока,
И крикнуть хочется: «Прощай!»
Какой-то птице одинокой,
Отставшей от пролетных стай.

139. РОССИИ

Ты прости меня, Россия, на чужбине
Больше я не в силах жить Твоей святыней.
Слишком рано отнят от Твоей груди,
Я не помню, что осталось позади.
Если я когда-нибудь увижу снова
И носильщиков, и надпись «Вержболово»,
Мутный, ласковый весенний день,
Теплый снег и горечь деревень,
На дворе церковном бурые дорожки
И березки хилой тонкие сережки,
Я пойму, как пред Тобой я нищ и мал,
Как я много в эти годы растерял.
И тогда, быть может, соберу я снова
Всё, что сохранилось детского, родного,
И отдам Тебе остатки прежних сил,
Что случайно я сберег и утаил.

I. В ПАРИЖЕ

«Pensée, espoir serein, ambition sublime
Tout jusqu'au souvenir, tout s'envole tout fuit
Et l'on est seul avec Paris, l'onde et la Nuit».

Verlaine[1]

140. ПАРИЖУ

С лицом напудренным и белым,
С фальшивым перстнем на руке,
С своим, наверно, гадким телом
Он шел за нею вдалеке.

[1] «Мысль, светлая надежда, возвышенная цель, —
Всё, вплоть до воспоминаний, всё исчезает, всё скрывается,
И ты — наедине с Парижем, с волною, с ночью».

Верлен (франц.). — *Ред.*

А ей другие были мерзки,
Она ждала, чтоб после них
Он лег бы с ней, тупой и дерзкий,
Ее хозяин и жених.
Да, он придет, ее отбросит
И будет дергать, тискать, бить.
«Еще! еще!» — она запросит,
Чтоб боли жажду утолить.
За миг истомы и позора
И за сладчайший блуд потом
Она отдаст ему, без спора,
Гроши, добытые трудом.

Тебя, Париж, я жду ночами,
Как сутенер приходишь ты
И грубо тискаешь руками
Все потаенные мечты.
И всё, чем я был свеж и молод,
Тебе даю я, как гроши,
Чтоб ты насытил блудный голод
И похоть жадную души.

141. ПОДРУГЕ

Светает. Грязные старухи
У мусорных корзин сидят
И, как над сладким медом мухи,
Прилипнув, жалобно жужжат.
Не кажется ль тебе, родная,
Что, как они, своей рукой
Ты, гадкий мусор разрывая,
Напрасно медлишь надо мной.
Что в этом соре тщетно рыться,
Что, руки перепачкав, ты
Не утолишь, хотя б крупицей,
Свои голодные мечты.

142. РАССТАВАНЬЕ

Перед входом на кладбище,
Говоря: «За упокой души!»,
В шапку собирает нищий
Стертые гроши.

...Да, вчера она сказала ясно:
«Это ложь,
Не проси меня напрасно,
И того, что было, не вернешь!»

Шляпу приколола, не сказав ни слова,
И ушла, спеша,
Не подав, хотя б за упокой былого,
Жалкого гроша...

143. РАССВЕТ

Рассветает... И внизу, и над домами
Как-то гадко, склизко и пока темно.
Тянутся тележки с молоком, с цветами,
Рассветает... Но не всё ли мне равно?..
Мусорщики, ползая на тротуарах,
Роясь, жадно делят свой улов:
Банку от сардинок, пару тряпок старых
Меж отбросов, писем и сухих цветов.
Бегает фонарщик, с лестницей и с палкой,
Подошел — фонарь заплакал и ослеп.
Может быть, погасших фонарей и жалко,
Но кому жалеть?.. Развозят свежий хлеб...
Пред кафе, спокойные всегда лакеи
Голые столы расставили опять.
Наверху светлее и внизу шумнее,
Ночь окончена, и надо засыпать.
Дома холодно, какая-то каморка,
И не знаешь толком, где же ты лежишь,
Знаешь только, что за домом зорко-зорко
Стережет тебя недремлющий Париж.

144

.....
Я бы мог прожить совсем иначе,
И душа когда-то создана была
Для какой-нибудь московской дачи,
Где со стенок капает смола,
Где идешь, зарею пробужденный,
К берегу отлогому реки,
Чтоб увидеть, как во влаге сонной
Бегают смешные паучки.

Милая, далекая, поведай,
Отчего ты стала мне чужда,
Отчего к тебе я не приеду,
Не смогу приехать никогда?..

145. ПИСЬМО

Я пишу из маленького бара,
Предо мной пустой стакан стоит,
И давно погасшая сигара
Серым глазом на меня глядит.
В мокром и заплеванном Париже
Виден длинный ряд блестящих крыш...
Ты теперь налаживаешь лыжи
И по снегу жесткому скользишь.
И когда ты, выйдя на поляну,
Отряхаешь снег с замерзших ног,
На твоей щеке слегка румяной
Серебрится ласковый пушок.
На березах дремлет птичья стая
И, сметая с ветки снег, взлетает вновь...
Помолись, далекая, родная,
За мою убогую любовь!

146. ВМЕСТО ПИСЬМА

На конверте выведено ясно
И подчеркнуто — «В Москву»,
Но уж целый час напрасно
Я пишу тебе, пишу и рву.
Да о чем писать? Что нудные бульвары,
Что я за зиму устал
Иль о том, что пепел сморщенной сигары
Задрожал, упал...
А у вас нахохлились смешные ветки,
Палисадник начинает подсыхать,
Брызжет дождик крупный, редкий...
И тебе не хочется писать...

147. ПОЛДЕНЬ

Тошнит от жира и от пота,
От сотни мутных, сальных глаз,
И как нечистая работа
Проходит этот душный час.
А нищие кричат до драки
Из-за окурков меж плевков
И, как паршивые собаки,
Блуждают возле кабаков,
Трясутся перед каждой лавкой,
И запах мяса их гнетет...
Париж, обжора, ешь и чавкай,
Набей получше свой живот
И растворі в вонючей Сене
Наследье полдня — блуд и лень,
Остатки грязных испражнений
И всё, что ты вобрал за день!

148. NOCTURNE

Лужи блещут вдоль бульваров,
Жирные плевки блестят,
И торчат из писсуаров
Красные штаны солдат.
Дамы нагло выставляют
Растолстевшие бока,
А мужчины их толкают
И блудят издалека.
И высоко над домами
Звезд трепещет дикий рой,
С их бесстыдными лучами
И ненужной красотой!

149. СУМЕРКИ

Злобный ветер, злобный холод,
Мутный вечер настает,
И колючий острый голод
Дико гложет мой живот.
Ветер взносит хлопья пыли
С едкой, грязной мостовой,
И жужжат автомобили,
Как густой осиный рой,

И, блудливо строя глазки,
Старичок идет, свистя,
И у женщины в коляске
Жалобно мычит дитя.
И тоска, и пыль, и холод,
Мутный вечер настает
И колючий острый голод
Дико гложет мой живот.

150. ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР

В кафе играли вальс печальный,
И дамы, зависть затая,
Мечтали, позабыв, что в спальной
Их стиснут грубые мужья,
Вспотевшие, с лицом блудливым,
Налитые тяжелым пивом,
Пропахшие — одни вином,
Другие скверным табаком.
Завидуя своим соседкам,
Богатым женам, шансонеткам,
Они мечтали о деньгах,
Автомобилях и духах.
А их мужья, скучая рядом,
Чтоб разогнать воскресный сон,
Читали бойкий фельетон
И обводили мутным взглядом
Певиц визгливые ряды —
Их бедра, груди и зады.
Но вдруг коту лакей прыщавый
Из мышеловки крысу дал,
И все, довольные забавой,
Привстали. Вальс веселым стал.
А крыса быстро побежала,
Метнулась, резко запищала
И хрустнула в кошачьих лапах.
И все почуяли кругом
Какой-то острый, сладкий запах,
Как будто смешанный с вином.
И дамы, задыхаясь в блуде,
Глядели нежно на мужей,
Их зашнурованные груди
Дрожали чаще и сильней.
А крысу взял лакей за хвост
И выкинул... Столы сдвигали,

Окурки и плевки сметали...
И было в небе столько звезд,
Прекрасных, сладостных и ясных,
Таких далеких и бесстрастных!

151. В НОЧНОМ БАРЕ

Дико воют багровые фраки,
Скоро два, и пора по домам.
Уж мужчины сопят, как собаки,
Обнимая и тиская дам,
Запах пудры и женского тела...
Только ты отчего-то грустишь —
Ты найти никого не сумела
И с подругой танцуешь «матчиш».
Ты печально глядишь на мулатку,
Тот, что с ней, он, наверно, богат,
Видишь, губы слипаются гадко
И, как жирные слизни, дрожат.
Ты такого найти не сумела,
И глумливо струю нечистот
В это, всё же прекрасное, тело
Уж сегодня никто не вольет!

152. В КАБАКЕ

Я пью и пью, в моем стакане
Уж не абсент, а мутный гной,
Играющий на едкой ране
Своею гадкой желтизной.
Пусть терпкий хмель скорей расплавит
Мою тоску, как слабый воск,
Она, тоска, сосет и давит
Мой рыхлый, жидкий, легкий мозг.
Наутро он, сухой и твердый,
Напомнит сердцу этот миг —
И пьяниц масляные морды,
И спирта вкус, и дым, и крик.
И будут дни и люди гадки,
И вся тоска, и все мечты
Исчезнут в бешеном припадке
Какой-то сладкой тошноты.

153. КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ОБОЗ

Внимает улица спросонья,
Как тихо тянется обоз,
И редкий встречный от зловонья
Невольно зажимает нос.
Иду, в душе темно и грязно,
Иду, и некуда идти.
И хочется, блуждая праздно,
К телеге гадкой подойти,
Сказать — я здесь такой же самый,
Как свалка. К сердцу нежной будь
И выкачай из этой ямы
Всю накопившуюся муть.
И, может быть, вонзясь, как жало,
Твой очистительный насос
Вернет моей душе усталой
Хоть несколько вчерашних грез.

154. ВЕРЛЕН В СТАРОСТИ

Лысый, грязный, как бездомная собака,
Ночью он бродил забытый и ничей.
Каждый кабачок и каждая клоака
Знали хорошо его среди гостей.
За своим абсентом, молча, каждой ночью
Он досиживал до «утренней звезды»,
И торчали в беспорядке клочья
Перепутанной и неопрятной бороды.
Но, бывало, Муза, старика жалея,
Приходила и шептала о былом,
И тогда он брал у сонного лакея
Белый лист, залитый кофе и вином,
По его лицу ребенка и сатира
Пробегал какой-то сладостный намек,
И далек от злобы, и далек от мира,
Он писал, писал и не писать не мог...

155. ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

Да, забытые женщиной пьяной,
Вы остались в ночном кабаке...
О, я вижу глубокие раны
И на каждом, на каждом цветке.

Вы и дымом и спиртом пропахли,
И покрыты вы сыпью густой —
Это пальцев следы... Вы зачахли
И лежите теперь предо мной.
Я гляжу и дрожу, мне не жалко,
Но я знаю, что где-то во мне
Есть вонючая, грязная свалка
И под сором, под жижей, на дне,
Меж отбросов и кучи навоза,
Окруженная роем червей,
Погибает такая же роза,
И мне тягостно думать о ней.

156. ПЕРВАЯ НОЧЬ

Она скрывала дрожь испуга,
Когда пальто свое сняла,
Когда в последний раз прислуга
Вошла зачем-то и ушла,
А он дрожал, нетерпеливо
Ее кидался раздевать,
Взирая жадно и блудливо
На их широкую кровать.
И в спальне с едкими духами,
Где свечи проливали муть,
Он тискал потными руками
Ее лицо, плечо и грудь.
.....
Им нагло брошенное семя
Уж укреплялось в глубине,
А он, довольный, в это время
Храпел на потной простыне.
О, Господи, каким он будет,
Тоски и блуда жалкий плод,
И мать когда-нибудь забудет
Его отца и храп и пот?

157. БЕРЕМЕННАЯ ЖЕНЩИНА

Она идет и выдается
Своим бесстыдным животом,
И кажется, что в ней трясется
Какой-то рыхлый, гадкий ком.

И все глядят и видят — тайна
Ее затоптанной весны
Погибла в похоти случайной
Средь пота, хрипа и слюны.
Она по-прежнему блудлива
И ждет желанного конца,
Чтоб снова ночью похотливой
Найти слюнявого самца.
А жертву беглых наслаждений,
Червивый, жалкий, лишний плод,
Как кучу грязных испражнений,
Она исторгнет и уйдет.
И он очнется, в крови липкой,
На клейких, склизлых простынях,
С какой-то старческой улыбкой
На понимающих устах.

158. МЕТРОПОЛИТЕН

Под землею было душно, пахло мылом,
Душно было, страшно, тяжело,
Поезда, скользя по черным жилам,
Выбегали и шипели зло.
А в вагоне дамы и мужчины,
Дамы и мужчины, кончив труд,
Ехали, их спаянные спины
Порождали в сердце странный зуд.
И мужчины в котелках и дамы в шляпах
Тупо усмехались на лету,
И струей горячий мыльный запах
Приносил тоску и тошноту.
А когда я вышел, страшно было, душно,
Под землей шипели поезда,
А над входом нагло и бездушно
Каменела яркая звезда.

159. НА ОКРАЙНЕ

Хорошо на улице, уютно,
Пахнет ужином и супом,
Даже я, какой-то бесприютный,
Становлюсь невольно глупым.
Продают горячие сосиски
И хрустящую картошку,

В тесной лавке у черной миски
Спит откормленная кошка.
С ближнего бульвара притащили
Беспокойные газеты,
И донесся храп автомобилей,
Тихо замирая где-то.
А весна — измазанная фея —
Лужи развела на тротуаре,
Сделала печальней и острее
Запах копоти и гари.
Милая усатая старуха,
Кошка, продавщица,
На каштанах точно дымка пуха,
И закопченные лица,
Апельсины, важная капуста,
И сыры под колпаками, —
Как мне нынче хорошо и пусто,
Хорошо и пусто с вами!

160. НОЯБРЬ

Франсису Жамму

Первого народ, на кладбищах толпясь,
С мертвыми цветами смешивает грязь,
И венки раскладывает по местам
С надписями «Матери», «До встречи там».
Листья мокрые слипаются у ног,
И почти у каждого в руках венок.
Господи, на чью могилу я снесу
Эти астры, купленные за два су?

В Люксембурге дети, как всегда, шумят
И в четыре покупают шоколад.
У фонтана Медичи видишь ты,
Как купаются упавшие листы.
Мальчики, одетые теплей,
На пруду уж не пускают кораблей.

В барах гроздьями украшено окно —
Значит, продается новое вино.
Хорошо с подругою вдвоем
Теплые каштаны запивать вином.
И в кафе, в неосвещенном уголке,
Руку нежную держать в своей руке.

Иногда по вечерам идет туман.
Выйдешь из дому — торчит пустой каштан,
На столбе краснеет несколько афиш,
И, когда идешь у стенки, — каплет с крыш.

Я тогда иду на Северный Вокзал
И гляжу на дым, на ряд далеких шпал,
Спрашиваю у кондукторов, куда
Отправляются вот эти поезда.
Сладко думать, что из множества один
Через несколько минут идет в Берлин.
Хорошо б приехать вечером в Москву,
В середине декабря иль к Рождеству
И, завидев у вокзала санок ряд,
Крикнуть: «Поезжай живее на Арбат!..»
Дома пахнет елкой, воском и теплом,
Яблоками крымскими и Рождеством.

161. ОСЕНЬЮ

И течет, течет с небесной гнили,
И течет, по целым дням течет,
Лужи жирные распухли и покрыли
Города асфальтовый живот.
Прелые листы, гнилые тучи...
Милая, не гневайся, прости,
Чем скорей, тем лучше, чем скорей, тем лучше —
Разойтись бы надо нам, уйти...

162. ВЕСНА

Первый теплый день сегодня,
Улицы еще грязней,
И густое солнце — сводня —
Строит парами людей.
А за городом, на горке,
Писк младенцев, крик и вой,
Яйца, апельсинов корки
Под плюющейся толпой...
Не суди меня — я хилый,
И, попавши в эту сеть,
Я не вижу в сердце силы,
Чтоб ее преодолеть!

163. ПОСЛЕ ВЕЧЕРА АЙСЕДОРЫ ДУНКАН

На мосту, облокотившись на перила,
Я стоял и думал, как всегда.
И исколотую чешую тащила
Под мостами темная вода.
И тогда мне снова показалась сцена
И она, далекая, на ней,
И кругом дрожала и блистала Сена
Тысячами золотых огней.
И хотелось мне стоять и плакать,
Оттого, что я убог и мал,
Что не силу солнца, а туман и слякоть
Я в себя годами набирал.
Плакать от любви и плакать от позора
И о чем-то, плача, вспоминать,
Перед ней, далекой, чистой Айседорой,
Сладостные слезы расточать.
Но по-прежнему темно и пусто было,
Сыро и туманно, как всегда,
И исколотую чешую тащила
Под мостами темная вода.

II. ВОСПОМИНАНИЯ

«Но нельзя к минувшему остынуть...»

Бальмонт.

164. ОБ «ОДУВАНЧИКАХ»

«Одуванчики», вы быстро облетели,
Дожили свой краткий срок,
И о том, что были вы на самом деле,
Говорит лишь серенький пушок.
Год прошел, но, Господи, как много
Я ступал и падал столько раз,
И всё дальше трудная дорога
Шла от вас.
А пушинки, смутные воспоминанья,
Каждый день и каждый час,
Точно ветра легкое дыханье,
Далеко уносит вас.

165. О МОСКВЕ

Есть город с пыльными заставами,
С большими золотыми главами,
С особняками деревянными,
С мастеровыми вечно пьяными,
И столько близкого и милого
В словах «Арбат», «Дорогомилово»...

166—167. О РУССКОЙ ВЕСНЕ

1

Солнце спину греет,
И тепло немножко.
Нежно розовеет
Мутное окошко.
На стекле отёки,
Пятна, завитушки,
Точно стекла — щеки
Плачущей старушки.

2

Стены буйным светом залиты,
И на солнце жарко.
Убирает шубы на лето
Толстая кухарка.
«Зайчики» от люстры носятся
По большой гостиной,
И оттуда чуть доносится
Запах нафталина.
А в саду над милой лужицей,
Точно в полдень летний,
Воробьи смешные кружатся
И разводят сплетни.

168. О ЛЕТЕ

Девичьи крики,
Смех на лету.
После черники
Сине во рту.

Куст обирая,
К кочке прильнешь —
Хвоя сухая
Колет, как еж...

169—170. О МАМЕ

1

Если ночью не уснешь, бывало,
Босыми ногами,
Через темную большую залу,
Прибегаешь к маме.
Над кроватью мамина аптечка —
Капли и пилюли,
Догорающая свечка,
И белье на стуле.
Посидишь, и станет почему-то
Легче и печальней.
Помню запах мыла и уюта
В полутемной спальне...

2

Стол обеденный со старым
Круглым, пухлым самоваром,
С чаем, со сливками, с лимоном,
С вкусным пирогом слоеным...
Мама смотрит, наливая
Чашку жиденького чая,
Пальцы тонкие трясутся,
И вода течет из блюдца...

171

Может, можно отойти, вернуться
В маленький и пыльный городок,
Где какой-нибудь «Барбос» иль «Куцый»
С громким лаем носится у ног,
Может, можно?

172. О ТОСКАНЕ

Странно думать, что еще недавно
Были мы на тихих площадях,
Где святые лепятся забавно
На убогих низеньких домах;
Где над дверью ветхого собора
Нарисована Господня Мать,
Бледная настолько, что уж скоро
Трудно будет краски разобрать;
И где женщины вокруг дельфина
Воду набирают в кувшины,
А припавшие к земле маслины
В предзакатный сон погружены;
Где, сливаясь с синевой хрустальной,
Мы, как дети, улыбались вновь,
Где казалась мирной и печальной
Наша беспокойная любовь.

173. НА ВОКЗАЛЕ

Помнишь ты на вокзале
Грохот, крик, суету,
Затаенной печали
Только вздох на лету?
Было странно средь давки,
Беспокойно дрожа,
Говорить об отправке
Твоего багажа.
Разрыдаться б как дети...
Но с улыбкой тупой
О каком-то билете
Мы болтали с тобой.
И лишь в миг расставанья
Я увидел, о чем
Мы в минуты свиданья
Тосковали вдвоем.

III

«Земное, злое расторгнем бремя...»

Сологуб.

174. СОЛОГУБ

Под моим окном червивые бульвары
И газетчиков бессвязный хрип...
Я не знаю, если бы не «Навьи чары»,
Я бы в этой горечи погиб.
В мозг вонзаются, как злобные иголки, —
Грохот дикий, хохот, писк и крик.
Но, как дивный амулет, беру я с полки
Несколько таящих чары книг.
Кто-то тонким пальцем мне сжимает губы,
От меня уводит прочий мир,
Я не знаю, это чары Сологуба
Или, может, сладостный эфир...
Я читаю, и светает; в четком свете
Странно видеть рядом на стене
Уж живого Сологуба (на портрете)
Средних лет, с бородкой и в пенсне...
Если б заклинаньем снова вызвать чудо,
Чтоб глядел не этот, а другой,
Может быть, смешной и толстый Будда,
Наводящий сладость и покой.

175. ОСЕНЬЮ ПОД ПАРИЖЕМ

В тяжелой, крупной сыпи Сена,
Размытый огород вдали;
И грязь и прель, как будто пена
У губ отравленной земли.
Я всех люблю! Я всеми понят!
И умирать нетрудно мне,
Когда мой голос тихо тонет
В осенней влажной тишине.

176. ВЕЧЕР

Вечером поля творят молебен
И закатным небесам кадят,

Сладостен, отраден и целебен
Васильков и кашек аромат.
И леса свои склоняют главы,
Травы падают блаженно ниц,
Светлой ночи возглашают славу
Хоры утомленных за день птиц.
Только злобно спит унылое болото,
Там, где горечь, смрад и грязный ил,
Там, где длится темная работа
Потаенных и нечистых сил.
Но в своем последнем устремленье,
В безысходной жажде стать иным,
И болото, выделяя испаренья,
Тихо шлет их к высям голубым.

177. СЕБЕ

Ты горячим солнцем не окрашен
И в садах достойных не растешь,
Твоему убожеству не страшен
Девушки звенящий тихо нож.
И прохожего к тебе не тянет
Запах горький, жалкий и простой,
И твоих корней никто не ранит
Острой и причудливой мечтой.
Будь же самым нищим зверобоем!
Счастье быть убогим, скудным и пустым,
Насладиться жизненным покоем,
Не отдавши ничего другим.

178. ОСЕНЬ

Когда, измучена любовью
Весенних ливней, летних гроз,
Земля сочится свежей кровью
Рябин и вянущих берез,
Когда гуляка-ветер бродит
По голым и сырым полям,
Мне кажется, душа отходит
К ее родимым берегам.
От скудных дум, от горьких странствий,
От обездоленных полей
Туда, где в голубом пространстве
Звенят страницы журавлей.

И, прилетев к иным селеньям,
Где жизнь вдали, где мир у ног,
Глядит почти с недоуменьем
На тех, кто улететь не мог.

ДЕТСКОЕ

A Francis Jammes[1]

179. ФРАНСИСУ ЖАММУ

Часто блуждая вечером по Парижу, я ваш скромный домик снова вижу.

Зимнее солнце сквозь окна светит, на полу играют ваши дети. У камина старая собака, греясь, спит и громко дышит, в камине трещат еловые шишки, Вы говорите, а я слушаю и думаю, откуда в вас столько покоя, думаю о том, что меня ждет дорога угрюмая, вокзал и пропахший дымом поезд.

Если моя душа в Париже не погибла, спасибо вам за это, Жамм! Спасибо! Еще кружат надо мной метели темными стаями, еще душа не смеет назвать Того, к Кому обращается. Но вы, нашедший для своей молитвы восторг не пересохшего ручья, молясь за всех, немного помолитесь за то, чтоб мог молиться я!

ПОДРУГЕ

180

Утром на поляне гладкой в березовом лесу заяц отряхает лапкой с шерсти росу.

Маленькие пичуги кричат, каждая на свой лад.

Утро светлое встречая, я дрожу от радости, как заяц.

Скоро жарко станет, вкруг шалфея зажужжат осы, вечером крестьяне приедут с сенокоса.

Боже, я слышу Твой благовест, но утром из жизни не уводи меня — слишком люблю я маленькие радости пыльного летнего дня.

---

[1] Франсису Жамму (франц.). — *Ред.*

181

Боже, милый, ласковый, как Ты мне близок минутами, как ты тешишь сердце сказками, сказками, прибаутками. Разве не дети мы, разве не балуешь нас грозами, дождями летними, сухими морозами.

Когда я большую собаку глажу и чую на руке ее язык горячий и влажный, за собакой, что меня робко лижет, я Тебя, Господи, вижу.

182

Пчела над кашкой снует, скоро будет в улье воск и мед. Если бы мог трудиться я, если б я из девушки любимой мог высосать густой и сладкий сок...

— Глупое дитя! Не скорби, но радуйся! Я даю тебе великую любовь и в залог не радугу, а заката огненную кровь. Небо дальнее изменчиво, но сейчас оно в Моей крови, предаю тебе я маленькую женщину — с ней живи!

183

Боже, Ты мне, неумелому Свою овцу поручил. Что я с ней сделаю? Хватит ли сил?

У пастуха есть палка и собака, а у меня ничего нет, и я могу только плакать. В темные летние ночи, когда трудно дышать, овца Твоя пить захочет и камни начнет лизать. Найду ли я, сам голодный и жадный, Твоих откровений ручьи, и если нет, то смогут ли утолить ее жажду соленые слезы мои?

184

Если бы ты была козой, я бы выгонял тебя в поле, ходил бы за тобой и давал тебе соли.

Но ты не коза, а девушка с гребенками, с платьями, с юбками, с пальцами слишком тонкими, с мечтами слишком хрупкими. И я боюсь с тобой говорить, боюсь заглянуть в твою душу, как дети боятся разбить дорогую игрушку.

185

Плачу я втихомолку — всё мне кажется, что у меня ненадолго.

Хочется спросить у тебя, у моей ласточки белогрудой: —

— Бедная ласточка, ты откуда?

186

Вечером ты ляжешь, подвернешь под себя одеяло и скажешь:

— Какой ты огромный и смешной! Дай я поцелую глазки твои, посиди немного со мной, расскажи мне что-нибудь ласковое...

— Я неласковый, гадкий, угрюмый, но ты об этом сейчас не думай... Ты так нежна и ты у меня одна, одна на весь свет, другой такой нет.

187

Под осиной подосиновики, а сама осина за несколько дней стала красной. Белка услыхала нас, испугалась, прижалась к стволу и засела.

— А я грибы нашла!..

— Какие?

— Два красных и белый... Отчего иволги так грустно кричат?

— Не знаю, темнеет, пойдем назад...

Вот лист упал, другой и третий... И столько грусти в твоем вопросе, что я боюсь тебе ответить:

— Ведь это осень.

188

Звезд у Бога много — целый светлый рай, а ты у меня одна на свете, обожди, не умирай! А когда умрешь всё же и станешь звездой в раю, ты так скажи Господу:

— Боже, исполни просьбу мою!

Он исполнит, и ты вернешься ко мне назад, в своей ночной рубашке, длинной, длинной, до пят.

Я буду в твоей комнате тогда и, глядя на небо, скажу:

— Упала звезда!..

КОЛЫБЕЛЬНАЯ

189

Спи, мой заинька, нежный пушок, серенький, маленький робкий зверек!

— Заиньке не спится, заинька боится увидать во сне лисицу.

Не бойся, заинька, не бойся, маленький, баинька, заинька, баинька, маленький!

190

Спи, неугомонная, ты ведь сонная, спи, закрой глаза.

— А ты спой, как летала стрекоза над рекой.

Ласточка стрекозу увидала, увидала — прилетела, прилетела — поймала, поймала и съела. Спи, закрой глаза, ты не стрекоза.

191

Глупая, тише — все спят кругом. Не спят только мыши...

— А когда мыши спят?

Днем. А мышь говорит мышонку: «Спи, мышонок серый, спи, мышонок малый, я достану в кухне для мышонка сала!»

НА ДАЧЕ

192

Воробьи прыгают по березам, жарко даже в лесу, а в огороде так пахнет навозом, что щекочет в носу.

Жучка, выбежав тайком, бегает за галкой, а потом виновато стучит хвостом, точно у нее не хвост, а палка...

193

Курица зовет петуха по делу, курица кричит петуху:

— Я на яйца села...

Петух яиц не несет, петух курицу по делу не зовет, а чуть свет заря вытянет шею и кричит зря:

— Бесхвостые! Куцые!

Курицы просыпаются и кудахчат деловито:

— Ишь какой, поди ты!.. Нашел о чем на весь двор кричать, на то ты и петух, чтоб хвостом щеголять.

194

Весной дождик шальной. Захочет — всё смочит, в шутку поплачет, слезами обманет, всех подурачит и перестанет.

Только с березы, по коре седой, крупные слезы бегут гурьбой.

195

Куцый за цыплятами гонялся (в шутку), Куцего за это посадили в будку, в будке негде повернуться, и скулит тихонько Куцый:

— Я гонялся не за курами, за воробьями, куры прибежали сами, да и то, на самом деле, воробьи нарочно прилетели, а кухарка думает иначе, по-особому, не по-собачьи...

196

Дождик гадкий идет да идет, из дождевой кадки через край течет.

После дождя выползут улитки, мы их с кустов соберем, у каждой улитки рожки как нитки и, чтоб прятаться, — дом.

197

Солнце — золотой шмель, но есть большой паук на свете, если дождь идет подряд несколько недель, значит, солнце попалось в сети.

Лужи хлюпают под ногой, мокрые воробьи хохлятся, с деревьев каплет, это всё, пока шмель золотой не порвет паутины тоненькой лапой.

198

Ехал воз, и просыпался овес. Голуби пыхтели, еле-еле прилетели. На дереве соседнем сидел воробей, увидал овес последним, а прилетел раньше голубей. Голуби искали овес, искали, спорили, кричали. А воробей спрашивал у голубей:

— Здесь проехал воз, куда же девался овес?

199

Выбралась свинья из закуток, перепугала кур да уток, и, маленькими глазками весело смеясь, повалилась свинья в грязь.

Грязь жидкая, теплая, и свинья от удовольствия ушами хлопает. Подставила солнцу спину, и солнце чешет лучами свиную щетину. Думает свинья:

— Всех людей перехитрила я...

200

Остались на снегу заячьи следы — далеко ли было зайцу до беды?

Но заяц не боится: прилетела снежинок стая, закружились белые птицы, заячий след заметая. Напрасно собака старается распознать следы заячьи. Выбилась из сил, прибежала на старое место и думает:

— Заяц хитрый здесь был, а куда ушел, неизвестно...

СЫНОВЬЕ

201

Полдевятого, пора в школу. Ранец от книг тяжелый...

Допиваю кофе крупными глотками, темно еще, лампа горит.

Хочется, перед тем как идти, забежать к маме.

— Ты не знаешь, мама спит?

В темной спальне большой мраморный умывальник...

И теперь, после стольких лет разлуки, после стольких тяжелых лет, помню я, как утром мамины руки пахли мылом «Vera Violette».

202

От лампы ровный круг, тихо вокруг. Только кто-то поднимается по лестнице громко, может быть, подойдет сейчас к двери и спросит:

— Эренбург, вы дома?

Нет, никто не пришел. Я гляжу на заваленный книгами стол. Сколько за эти пять лет прожито, из нового ничего не вышло, а старое... старое ушло, и странно думать, что сейчас где-то в Москве на Остоженке мама сидит и пишет:

— Я послала тебе русский чай, смотри не простудись и не скучай...

Когда вы уйдете навек, я буду верить, как будто вы вышли из комнаты, не прикрыв плотно двери.

Когда вы уснете навек, я скажу вам:

— Спокойной ночи.

И сестрам скажу:

— Тише, папа спать хочет...

Я скажу:

— Мама задремала в кресле. С ней нельзя говорить, но скоро мы будем вместе. Мы будем снова ждать папу к обеду в нашей столовой. Папа войдет, взглянет своими добрыми близорукими глазами, от радости как-то выпрямится весь и спросит у мамы:

— А дети все здесь?..

NOLI ME TANGERE[3]

204

Бежим куда-нибудь, но дальше, дальше. Не плачь о нем, не говори. Ты видишь, плавают на голубом асфальте следы отчаянной зари.

А наши годы бредят кипарисовыми рощами, не плачь и лучше не гляди. Просторные серебряные площади, вы далеко, вы позади...

— А если я в глаза взгляну, и задрожу, и утону, и снова море зацветет хрустальной пеною, и снова будут страсть, и ненависть, и язвы тех же волн на берегу... Прости, мне кажется, я не могу...

Твоей душе покой предписан, — не осуждай и не кляни. От длинной тени кипарисов не убегут хмельные дни. Как ветер клонит дикий куст, с него срывая лепестки, так Он сорвет с печальных уст слова томленья и тоски.

205

Комната в отеле, обвиты углы паутиной. Я лежу на высокой постели, придавленный грязной периной. Обои с цветами, книг нелепая груда, зеркало в пышной раме и табак, и табак повсюду.

Сосед по лестнице всходит и ключом гремит неуклюже.

Мне сегодня ни лучше, ни хуже... И нет никаких откровений, о которых вы столько писали, только больше обычной лени и немного меньше печали.

206

После вчерашней попойки легко...

Горячие сухие ладони, но всё, что было, так далеко, может быть, не вино, а ночь в вагоне. Она прощалась: «Второй — пора», но когда и где это было? Так вот почему такая усталость, и так бездумно, и так тоскливо...

---

[3] Не прикасайся ко мне (лат). — *Ред.*

Ах, душа, обманули нас — это было давно, а вчера — пустые, широкие, светлые улицы и вино. На том же месте и те же песни, и так же утром темно и мутно, и смотрят и видят люди, и ничего, и ничего, и ничего не будет...

207

Зачем ты меня покинула на пороге последней весны? Много желтого, алого, синего, и томятся белые сны.

Был я чист от безвыходной боли, ты годами была для меня какой-то неведомый полюс, где льдины плачут, звеня. Белые тонкие льдины, как вы меня стерегли, когда шли, проплывая мимо, всех страстей корабли. Я им не подал знака, не сбросил оков чистоты, ты была как лед и как якорь, и меня ограждала ты.

Но полночное солнце встало, ты меня прокляла и покинула, и прельстились заревом алым самые белые льдины. Нет уже тонкого, ломкого льда, и куда-то несется вода, желтая, алая, синяя. Корабли высоко вознесены.

Зачем ты меня покинула на пороге последней весны?

208

Я люблю над Парижем зимние сумерки, когда легче и проще о смерти думаешь.

Старик, от тумана юный, в синий плащ одетый, — может быть, житель Сатурна или другой холодной планеты.

Тихо на улице длинной; темные магазины. Прохожий робко взглянет, не повернется, и всё в тумане. Вижу, где-то вывески буйной буквы горят переменным светом, может быть, сигналы жителям Сатурна или другой холодной планеты.

Но никого нет рядом, и никого не надо. Только сердце сегодня умрет от скуки, сладостно ноя, радостно тая, и пляшут и вьются белые мухи четкой правильной стаей...

209

Стало мне трудно и мало этих тревожных минут. Тихие вздохи вокзалов больше меня не влекут. Скользите, черные змеи, жальте землю невидимым жалом, утренний ветер вьет, и вашего бега мне мало.

...Я сказал это. — Легкий дымок поднялся к зимнему белому небу, такой прекрасный, что стало жалко упавшего с неба снега.

Что мне делать днем и вечером, какие мерить пути? А стрелы с тупым наконечником не найти на снегу, не найти...

210

Позабыто многое и многое, ничто почти не трогает.

А моя тоска забилась под навес, она дрожит, как зяблик, нахохлилась, крылья ослабли. Теперь она не тоска, а птица и меня, как чужого, боится — только кричит издалека:

— Милый, я — твоя тоска. —

Кричит, а прилететь боится, потому что она не тоска, а птица.

Страшно разойтись со своей тоской, чтоб она, разлюбленная, зябла и пугалась. Но в душе такой большой покой, только плачет тихо маленькая жалость.

211

Какой восторженный и дикий холод. Он в дальние светила претворил росу.

Пади на иней, белый голубь, тебя я ей, печальной, отнесу и расскажу, что стали чище мои хвалебные слова, скажу:

— Мне хорошо. Я нищий. Но знаете, любовь еще жива. —

Она на голубя слегка подышит, прочтет стихи, заплачет и уснет. А голубь, Господи, какой он лишний, и лучше, если он не отойдет.

212

В сумерках всё темней и значительней, и женщин глаза — как святые обители, где долгие зимние ночи страх сердца сторожит, где скрыты древние мощи самых чистых молитв, где, может быть, миг и чудо, дикого леса вздох, такой горячий, что тает вьюга и под снегами виден мох.

Но я прохожу один и свободен, нет для меня вечеров, до глаз моих не доходит отблеск иных куполов. Я когда-то пред ними неистово падал. Ты вставала, заря, но давно, и стало сердцу не надо того, чем жило оно.

Облаками большими, тяжелыми скрыты синие очи Отца, но в душе не осталось золота, чтоб отлить иного тельца.

213

Ты сидишь, душа, скрестивши ноги, ты почуяла свою победу. В этот миг темной и большой свободе ничего на свете не грозит. Из глаз сочится благодушье, и опалила немота твои раскрытые уста.

Ты видишь, ветер тушит на дальнем берегу последние огни. Его растущий вой послушай, там гибнут те, иные дни, когда ты плакала и волновалась, когда был полон темным соком твой печальный взгляд, когда лежала эта сладкая усталость в сухой земле, как неоткрытый клад. Он, ветер, дик, он, ветер, страстен, он твой последний сон погасит...

...И вот — на берегу ни вздоха, ни тоски, и ветер разрывает сонные пески...

214

Ты знаешь, Он не Добрый пастырь! Я дик и, может быть, лукав, я ночью чую слишком часто дурман неукротимых трав. Я тонкую кору подрезал, чтоб выпить сок горячий и телесный, я тронул черное железо опавшего пустого леса. Падал я, глядя на желтые тучи, как им завидовал я! Веру в него я мучил, как мальчик воробья.

Но Он в минуту заката мне дал вино тоски и тьмы, такое крепкое, что, выпив, я заплакал и вспомнил серые глаза Фомы.

215

Иногда вспоминаю костры на снегу, иногда даже их вспоминать не могу.

Утренний ветер марта особенно дик и свеж, но не двинется с места барка моих надежд. Погоди! Кто-то тащит весь непосильный груз...

Боже! Имя Твое всё чаще срывается с этих уст...

216

В нежном свете гаснущего газа мелькают женщины, как летучие мыши. На улице пустой и влажной шелест тонкого шелка слышен.

Я сяду в маленьком баре, ко мне прилетит летучая мышь и скажет: «Ты снова печален, ты снова один сидишь».

Как тонко сделаны губы, средь позднего золота мак, и целую ночь я буду глядеть на их тайный знак.

Будет тихо и пусто меж ними; жадно прильнув к стеклу, выпьет она сухими губами белую мутную мглу. Не станет абсента в стакане, не станет больше огней, и меня, и меня не станет со всей тяготой моей. И ярче на шляпе алого банта и ярче на шее коралловых бус — раскроется дивная рана Богом рассеченных уст.

Но утром опять, тяжела и бела, сквозь окна вольется мутная мгла. И будет утру чуждым и лишним последний взмах крыла летучей мыши...

217

Вечера, тенистые, как пальмы, вы всего понятней и родней.

Я опять слежу на площади зеркальной легкий бег испуганных огней. Как они убегают быстро, и за ними гонятся тени, похожие на огромных птиц; иногда расцветают на тонких стеблях нарциссы девичьих лиц.

Я стою, прислонившись к стене, хорошо и покойно мне. Ласковый холод стены, дождик и запах весны, запах смутный, ненужный каждой маленькой лужи. Я половодья, и гула, и ветра не помню; у мокрой стены хорошо мне...

Только сны о золоте Рима я от теплых дождей берегу, круглые — они горят, как апельсины, на каком-то темном берегу.

218

Мы плясали с тобой долго, как два дрессированных волка. Тоска-укротитель держала свой хлыст наготове, и это мы звали любовью.

Синяя, стелется мгла. Зимний вечер ласков и чист.

Ты ушла... Я целую поломанный хлыст...

219

В книге оставляют закладку, чтоб опять опьяняться теми же страницами. Если б вернуться обратно к далекому, почти позабытому.

В эти ночи весенние на каком-то прочитанном скучном романе я пишу: «Флоренция, Флоренция», и буквы ранят.

Всё, что было хорошего в жизни, прошло среди низких холмов, где ветер гонит из Пизы стада небесных волов, где

вечером у Арно тепло и сыро и дрожат огоньками лавочки ювелиров, где англичане бродят толпами, где закатами тихими и долгими, как свеча, горит кампанило за всю земную любовь, где вместе с нею мы были и где не будем вновь.

Так много — три года!.. И не вернуться обратно к далекому, почти позабытому...

Одна закладка меж двумя страницами...

220

Есть жизни, точно тонкие тропинки, они скрываются средь зелени густой, отравленные легкой дымкой и ускользающей мечтой. Но жизнь моя — просторная дорога, она от пыли белая, она — навек. Ты долго шел? Но дней у Бога много! И где привал? И где ночлег?

Меня не обольщает в полдень тень, и вечером не манят огоньки далеких деревень, и зыбкий выжженный песок не радует следами нежных ног. Иду, не выбираю, куда мне повернуть, иду и сам не знаю, куда лежит мой путь.

Еще давно, еще вначале, когда кусты мою дорогу прикрывали, когда казалось, что идти не далеко, а если далеко, то так легко, — мне встретилась простая женщина, такая светлая и незаметная, как все, но птицы вдалеке звенели — тонкие бубенчики, и было всё в росе. Она мне отдала свое большое сердце, тяжелое, как все сердца, отдав его, закуталась в туман, померкла, но этот груз мне сладок до конца.

Она мне отдала свое большое сердце, тяжелое, как все сердца.

221

Говорят и глядят, и взгляды, и слова душу смутить не могут, лишь тревожат ее едва-едва, как мелкие камешки воду.

Но ночью бывает страшно, от тел усталых исходит зной, и с душ спадают легкие рубашки, и души, изумленные внезапной белизной, друг к другу так бесстыдно жмутся, как будто больше не увидятся они, как будто за ночной минутой не стерегут их дни и дни.

222. ПРИГОРОД

Парижа маленький пригород, небо синее, синее, длинная изгородь, и над ней глицинии.

Мы говорим, о чем не помню — слишком много прошло с

тех пор, был, верно, тихим и скромным наш разговор, скромным, как белая изгородь и как над нею глициния, как весь этот маленький пригород, где уже пахнет провинцией.

Когда я робко касался твоих слабых, девичьих рук, мне делалось стыдно и жалко за твой невольный испуг...

Кажется, всё на свете берегло любви огонек, даже насмешливый ветер его погасить не мог. Потом, голубыми ночами, когда от боли светло, когда страсти жадное пламя, на ветру взлетая, нас жгло, вспоминала ты тихий пригород, небо особенно синее, длинную изгородь и над ней глицинии?

«Утром скажешь: о, если бы пришел вечер.
А вечером скажешь: о, если бы наступило утро!
От трепета сердца своего и от зрелища перед
глазами своими, которое не увидишь!»

Второзаконие, 28.

«Итак, веселитесь, небеса и обитающие на
них! Горе живущим на земле и на море!
Потому что к вам вошел дьявол в сильной
ярости, зная, что не много ему остается времени»

Откровение св. Иоанна, 12.

ТОЙ,
ЧТО ПРИНЕСЛА МНЕ ВОЛЕЙ ГОСПОДА
ОГНЬ И МЕЧ.

РАЙСКАЯ ГАРЬ

223. КАНУН

На площади пел горбун.
Уходили, дивились прохожие.

«Тебе поклоняюсь, буйный канун
Черного года!
Монахи раскрывали горящие рясы,
Казали волосатую грудь.
Но земля изнывала от засухи
И тупился серебряный плуг.
Речи говорили они дерзкие,
Поминали Его имена.
Лежит и стонет, рот отверст,
Суха, темна.

Приблизился вечер.
Кличет сыч.
Ее вы хотели кровью человечьей
Напоить.
Тяжелы виноградные грозди,
Собран хлеб.
Мальчик слепого за руку водит.
Все города обошли.
От горсти земли он ослеп,
Посыпал ее на горячие очи,
Затмились они.
Видите — стали белыми ночи
И чернью покрылись дни.
Раздайте нашу великую веру,
Чтоб пусто стало в сердцах!
И темной ночи отверстые
Целуйте следы слепца.
Ничего не таите — ибо время
Причаститься иной благодати!..»
И пел горбунок о наставшем Успении
Его преподобной матери.

Февраль 1915

224. ПЕРЕД ПРИЧАСТИЕМ

Когда настали злые недели,
Никто не взроптал на ночь.
Лишь дикие птицы, срываясь, улетели
К морю от рощ.
Девы не ушли на восток и на запад,
Не возжаждали новых сел.
Они только стояли у дорог, чтобы плакать
Над теми, кто шел.

...И Божия чаша разбита.
Осколки ее у ног.
Разбивший сейчас причастится
Телу и крови его.

Ноябрь 1914

225. В АВГУСТЕ 1914 ГОДА

Издыхая и воя,
Пролетал за поездом поезд,
И вдоль рельс на сбегающих склонах
Подвывали закланные жены.
А в вагоне каждый зуав
Пел высокие гимны.
(И нимфы
Стенали среди дубрав.)
«Ах, люблю я Мариетту, Мариетту,
Эту.
Всё за ней хожу.
Где мы? Где мы? Где мы?
Я на штык мой десять немцев
Насажу!»
Дамы на штыки надели
Чужеземные цветы — хризантемы.
А рельсы всё пели и пели:
— Где же мы? где мы?
И кто-то, тая печаль свою,
Им ответил: В раю!

Май 1915

226. НА ВОЙНУ

Уходили маленькие дети —
Ванечки и Петеньки,
Уходили на войну.
Ну! Ну!
Пейте! Бейте!
Бейтесь! Смейтесь!
На вокзальной скамейке!

Какой пухлый профиль,
И заботливо прицеплена фляжка.
Он сегодня утром еще пил кофе
С мамашей.
Пили и забыли.
Уходили.
Не глядели, не скорбели.
Пили. Пели.

Чад ли? жар ли?
Солнце в лужи тычется.
Скоро снег последней марли
Скроет личико.

Вечер светится.
Отдыхают усталые люди.

А нового Петеньки
Больше не будет.

Май 1915

227

Марии Моравской

Слышишь, как воет волчиха,
Собирая отсталых волчат?
В поле просторно и тихо.
Куда ты ушел наугад?
Ясный паненок,
Маленький пан,
Отчего твой зеленый
Алеет жупан?..

Май 1915

228. НА ЗАКАТЕ

На закате
Было особенно душно.
Приходили оловянные солдатики
И стреляли из маленьких пушек.
Старший цедил какую-то шутку.
Дымила трубка.
Дрогнули тела, повалились рядами,
Сокрушенные зорким огнем.
И видел, и плакал Каменщик
Над гиблым трудом;
К ночи пришли влюбленные девы,
Грудью прильнули к вспаханному полю,
К полю, сытому от цельного хлеба
И от соли.
(О, как нежные губы жжет
Смертный пот!)
А в деревне выла собака,
Вспоминая жилье;
Выла, что что-то было
И что иссякло
Всё.

Май 1915

229. КАДРИЛЬ

Неман, Днестр, Висла,
Стрый, Нида, Сан...
Звуки мои серебристые,
Бегите по полям!

Поседели томительной пылью
Его и мои уста.
И, легкий от тихой кадрили,
По полям, по мостам...
Не пытай, не нужно
Никого, ничего...
Только голова как будто кружится —
У меня? у него?

О, скорей, спеши, спеши.
Обойдись, вернись, неповоротливый,
Ты еще немного попляши!

Утро далеко...
Туманно,
Звездные свечи катятся ласково...
Уж одна веселая дама
Распята.

Май 1915

230. В ПИВНОЙ

Приходили четыре безногих солдата.
Пили горькое пиво.
О лихих, о далеких атаках
Говорили лениво.
Говорили, смотрели
На женские прелести.

«Пушка, ты пушечка,
Как тебя называть?
Душечка!
Семьдесят пять!
Рушь ты немчиков,
Розовых младенчиков!
Всё разрушишь —
Тихо будет к вечеру.
Дай, моя пушечка,
Я поцелую твое плечико!..»

Девки целовали солдат,
Какая кого, наугад.
«Пригожие мои, видные,
Румяные.
Ножки у вас не какие-нибудь —
Деревянные!»
Целуйте! Какая кого! Не спорьте!
Горько! горько!

Солдат вынул образок,
Лег на скамью, как в гроб.
Плакал Никола Чудотворец,
Застилал одинокую душу.
И золотое, прошлое горе
Всё еще пенилось в кружках.

Июнь 1915

231. ПОСЛЕ БИТВЫ

Уж плоть отвергнутая
Лежала. Шелк и вата.
Пришла ты в костюмерную
И после бала плакала.
Вот паж, вот негр, рыбак Неаполя...
Ты всех узнала, над всеми плакала.
И умилительно-противны
Души играли на лютнях.
Со скуки
Пели чинные гимны.
В зале
Было сорно и тихо.
Две розы у ног валялись
И деревянная пика.

Май 1915

232. ПОСЛЕ СМЕРТИ ШАРЛЯ ПЕГИ

В дни Марны, на горячей пашне
Лежал ты, семени подобен,
Следя светил, спокойно протекавших,
Далекие дороги.

А жирные пласты земли
Свои упрашивали, угощали снедью жаркой,
Свои упрашивали и враги.
В дни сентября мы все прочли:
На Марне
Убит Пеги.
О Господи, все виноградники Шампани,
Все отягченные сердца
Налились темным соком брани
И гнут бойца.
А там, при медленном разливе Рейна,
Ты, лоза злобы, зацвела.
Вы, собутыльники, скорее пейте
У одного стола!
Над этой бедной, бездыханной плотью,
О, чокнитесь!

Май 1915

233

«Атаки отбиты... победа...»
Маленькие, ровные слова.

Над бедным усталым ковчегом
Всё тех же ночей синева.
Последние выси
Покрыла вода.
И дальше астральных чисел
Никому не понять никогда.

Но дикий ангел бросит сети
В глухие воды и уснет.
Он, засыпая, не приметит
Какой-то праздный огонек.

И будет волн разбег сердитый,
Небесной степи синева.
...Он может тихо спать, и ныне не затмится
Тупая святость божества.

Декабрь 1914

234. О СОБОРЕ РЕЙМСА

Доходил смердящий ветер
И по улицам носил дитя потерянное.

И стучали тихие калеки
Деревом.
Господень Ларь, уныл и дымчат,
Стоял расщепленный, как дуб,
Лишь обратив на запад стылый и пустынный
Последний Суд.
И семь птенцов, голодные, взлетали,
В ночи не видя ясного лица,
На грозный и сулящий палец
Окаменелого Творца.
Пришла ко мне ты, тяжкая, нагая,
Спросить, готов ли я.
Готов!
Но погоди! Ты слышишь — это плачет Каин
Над пеплом жертвенных даров.

Декабрь 1914

235. В ДЕТСКОЙ

Рано утром мальчик просыпался,
Слушал, как вода в умывальнике капала.
Встала — упала, упала — и жалко...
Ах, как скулила старая собака,
Одна, с подшибленной лапой.
Над подушкой картинку повесили,
Повесили лихого солдата,
Повесили, чтобы мальчику было весело,
Чтоб рано утром мальчик не плакал,
Когда вода в умывальнике капает.
Казак улыбается лихо,
На казаке папаха.
Казак наскочил своей пикой
На другого чужого солдата.
И красная краска капает на пол.

Март 1915

236. ГДЕ-ТО В ПОЛЬШЕ

Приходили, уходили сердитые...
Иудеи, снова приходила наша судьба!
Убегали, прятали старые свитки
В погреба...
Бедный Иоська, раскачайся, покачайся и завой!
— Я есмь Господь Бог твой!

Наше племя
Очень дрессированное.
Мы видели девятьсот пленений
Снова, снова и снова...

Мама Иосеньке поет,
Соской затыкает рот:
«Ночью приходили
И опять придут.
Дедушку убили
И тебя убьют!»

Дымятся снега, но цела Твоя Тора!
Видишь, Господь?
Шли же скорей своих тихих воронов
Разрывать нашу древнюю плоть.

«Ой! Ой!
Боже мой!
Дышат тише.
Ходят ближе.
Спи, мой милый,
Спи же, жди же!..»

Июль 1915

237. НА ДАЧЕ

На террасе мы свежие газеты читали,
Молчали и долго думали.
А листы так тревожно шуршали
В сумерках.
Пахли левкои и белый табак,
Только что политые.
Кто-то поглядел на небо, на сад
И сказал: «Как тихо!»

А маленький мальчик бегал с садком,
И рученьками слабыми
Захватывал он
Бабочек.
Какой он томный! Какой веселый!
Как много у него иголок!

Господи, еще есть вечера беспечальные,
Когда небо сиреневое, розовое и золотое,
Когда в саду играют резвые мальчики
И пахнут левкои.

Май 1915

238. У ВОРОНЬЕГО ПУГАЛА

Целовала баба пугало,
Приговаривала:
«Как тебя я холить буду,
Старенький!
Ах, угнали на войну...
Я в ладоши хлопала.
Я тащила борону
По полю.
Ты на палочке прискачешь,
Обомлею, полюблю.
Батюшка,
Утоли тоску мою!»
Всё ходила, обходила, плакала,
Отдавала пугалу пятак припрятанный.
«Господи, сжалься, сжалься!
Муку мою прими!»
Но хлестали ее ангельские мальчики
Плетьми.
И от слабенькой, от податливой
Злобные
Бога спрятали и упрятали
И не отдали.

Июнь 1915

239. ЖДАЛА

Всё ждала вестей от мужа
И одна
Долго замирала после ужина
У окна.
А во сне задыхалась от райской гари,
Снились ей Карпаты и какая-то река.
Черепахи и другие розовые твари
Овили и жевали мужнины бока.
Святой Кир и ты, Иоанн,
Слижите кровь с его теплых ран!
Но на сороковой день из дальних мест
Проходил высокий отрок.
Отдал он жене земли щепотку,
Рваную рубаху да нательный крест.
На рубахе мужа жаркими перстами
Кто-то вышил, но недобрые цветы.

Что же! Вдовьими слезами
Ороси их ты.

Июль 1915

240. МОЛИТВА ЗА РОССИЮ

Наработалась ты до седьмого пота,
О смиренномудрая жена,
Смертным соком
Напоила племена.
Видишь, мальчики
Неистовые
С ног валятся
Да посвистывают:
«Уж возьму, укушу твое личико белое,
Да не так, а матушка велела мне!..»
Слышишь грохот, топот ты?

Матерь! Не кажи своих сосцов,
Не подглядывай, не нашептывай
Этих слов.
Вдоль затоптанной и тихой нивы
Палкой гонишь ты последнего сынка.
О христолюбивая,
Дай ему иного молока!

Июнь 1915

241

Когда замолкает грохот орудий,
Жалобы близких, слова о победе,
Вижу я в опечаленном небе
Ангелов сечу.
Оттого мне так горек и труден
Каждый пережитый вечер.

Зачем мы все не смирились,
Когда Он взошел на низенький холм?

Это не плеск охраняющих крылий —
Дальних мечей перезвон.
Вечернее небо,
По тебе протянулись межи,
Тусклое, бледное,
Небо ли ты?

А когда поверженный скажет:
«Что же, ныне ты властен над всеми!
Как нам, слабым, выдержать тяжесть
Его уныния, его презрения?»

Январь 1915

В кафе пустынном плакал газ,
На воле плакал сумеречный час.

О, как томителен и едок
Двух родников единый свет,
Когда слова о горе и победах
Встают из вороха газет.
В углу один забытый старец
Не видел вымеренных строк —
Он этой поднебесной гари
И смеха выдержать не мог.

Дитя, дитя забыли в пепле.
В огнем добытой стороне.
Никто не закричал — спасите!..

И старец встал, высок и светел,
Сказал: «Тебя узрел, Учитель,
Узрел в печали и в огне!
Рази дракона в райском лике,
И снег падет на мой огонь!..»

Но отвечал ему Учитель:
«Огня не тронь!»

Февраль 1915

БОЖИЙ ХЛЕБ

243. СВАДЬБА НА ПЛОЩАДИ

Уж звезды глядели подслеповато —
Хитрые глазки бабки,
Что, пристойно вздыхая и ноя,
Чистит и моет покойника.
Господин с «проспектом»
Жадно ловил человека:
«Кайтесь, покайтесь!
Ныне только это средство покупайте!»
Простер он руку к вывеске, зревшей
В сизых далях,
Где сорок приученных бесов
Вдоль огромных букв кувыркались.

На столб взобрался кутила
В грязном цилиндре, и, правя стеком,
Темную площадь кропил он
Жиденьким светом.

Кутила

Господа, соблюдайте уважение к Божьему месту.
Сейчас должны прийти жених и невеста.
В церкви темно. Вы же беситесь.
Так не полагается.
Черный жрец с пылающей лестницей,
Вас приглашаю я.

Фонарщик

Плетется собака,
Ложится у фонаря.
Черная собака,
Что ты ходишь зря?
Обведу вкруг огня я круг.
Забьются искры
От белого беса круг
И от мглистого.
Мгла ты, мгла,
Что ты наплела?
Бродишь, ходишь около.
Ты не балуй, мгла,
Я фонарщик расторопный,
Обхожу четыре черные угла,
Одиннадцать овец гоню на заклание.
Зажигаю одиннадцать светильников в храме:
Первый для тени, что рядом тащится,
Второй для улыбчивой дамы,
Третий для пришедшего с моря тумана,
Четвертый для слепца,
Пятый для рекламы,
Шестой для хмельного гонца,
Седьмой для всякой собаки,
Восьмой для Адама,
Девятый для юной плясуньи, для грешной
причастницы,
Десятый для отца,
А одиннадцатый так себе...

Лошадь

Я — лошадь!
Я покорно тащила черную ношу
Дел ваших.

Собирала зерно
И снова его увозила на пашню.
На бойню влекла гимны певших баранов.
И в кружевном домино
Развозила усопших и пьяных
Домой.
Вы глаза мои окутали тьмой.
Но сегодня брызнул в них день.
Скинула вашу ношу.
О, какой огневой слепень
Жалил старую лошадь?
Я несла туда, за дома, за заставы,
Я несла, несла и упала.
Облепили меня люди, люди — лошадь,
Точно липкие бескрылые мошки.
Не слетали, не пугались,
Снова волокли по яркому асфальту...
Напрасно губы мои сосут железо,
Взывая о воде ключевой.
Видишь ты, человечья невеста,
Двое нас, двое...

Гимназисты

Мы учили теорию словесности...
Ах, какие крылышки небесные!
Мы у мух вырывали лапочки милые,
Мушиные лапочки, ангельские крылышки...

Продавец

Купите, господа, открыточки невинные!
Дама с очень пышными формами!
Голенькая дамочка, и при ней мандолина...
Купите — недорого!

Кутила

Не слушайте его, дети!
Сейчас перед вами предстанет добродетель.
Жених — манекен от лучшего портного.
Какой покрой! Какое нежное сердце, и ни слова.
Невеста голенькая, но в чулках и в шляпе.
Она может очень стыдливо улыбаться.
Тише, господа, тише!

Бабка

Ах ты, бедненький, что ж у тебя рукава болтаются.
Безрукий ты, неприкаянный!
Безногий ты, безголовый, с палочкой,
Что ж ты по людям балуешься?
Сними с себя труху эту хитрую,
В рогожку простую завернись ты!
Вместо головы возьми ты тыкву
Да иди помаленьку, причитывая,
Чтоб не оступиться, не разбиться,
К милостивому Пантелею.
Поклонись ему, скажи: «Меня жалеючи,
Ты приставь, прилепи эту голову,
Без головы житье мое невеселое!
От беса всё, и где ж это видано,
Чтоб нагишом, да при всех, бесстыдница!..»

Невеста

Ах, он не умеет беседовать!
Но, Боже, какая нега
Ласкать весенним вечером
Эту грудь, эти плечи клетчатые.
О, какой торс,
И ног его нежный ворс!
Я люблю тебя, прах веселенький,
Отрок маленький!
Как сладко, как страстно колются
Воротнички крахмальные!

Кутила

Женишок мой, хорошенький выкидыш,
Согласен ли ты после ночи рассыпаться?
Согласен ли ты в поту и в мыле
Снова стать прахом и пылью,
Безголовый, безрукий, безногий,
Висеть в гардеробе
Вовеки?
Но ты ведь не можешь ответить...
Невеста, согласна ли ты родить чудище,
Не из плоти — из желтой кости,
Кормить его сохлой грудью,
Чтоб он издыхал и рождался каждую осень
И, достигнув девятого года,
Пришел бы на эту площадь дикую:
Руки длинные до пят, голова как у носорога
И на животе кружок искупительный?

Господин

О, я его обязательно куплю для моей коллекции
Божков Центральной Африки.

Невеста

Мне так стыдно, что хочется раздеться —
Снять эту шляпу!

Кутила

Он придет! В беспамятстве скинув парик,
Лысая старуха за ним понесется.
Скажет: «Я тоже, сметая стыд,
Кусала свое тело — дряблую грушу без сока.
В блуде кричала, падала, снова кричала, вставши,
Возьми меня, княжич павших!..»
Всех подберет, всех потащит
На свою веселую дачу!
И меня, кутилу, — твоего пленника, —
Возьми с собой на задки!
О, тобой мы давно беременны,
И плачем, и лижем сухие пески!..

Кутила упал со столба, он лежал среди площади.
Ругались и пели, его объезжая, слепые извозчики.
Только при входе в ресторан «Олимпия»,
Вертя зеркальные двери, кружа их, под шелка шум,
Плакал и шагал в безумном лабиринте
Черный грум.

Март 1915

244. В КАФЕ

М. Воробьевой-Стебельской

Я канонов твоих не нарушу,
Тайны не выдам.
Ослушный,
Только немного попрыгаю.
(За рюмкой бенедиктина,
С разрешенья хозяина, тихо и чинно.)
Ты в моем кафе живешь,
Не живешь, а маешься.
Воду пьешь,
В карты играешь ты.

Эта нечисть заводится
В летние дни...
Богородица,
Помяни!
Отстрани от томительной доли
И средь криков, средь всхлипов
Пошли на мой столик
Великую тихость!
Под далекие стоны трамвая,
Пригвожденного к легким путям,
Горьким золотом рая
Наполни пустой стакан.

Июнь 1915

245

Майское утро, и плачет шарманка,
Но сегодня я больше не встану.
Вы, в своем милосердии
Приносящая крест,
Расскажите о чьей-нибудь смерти,
Чтоб я не боялся чудес.
Нет, перестаньте,
Прогоните лучше его!..
Я знаю, что этот же самый шарманщик
Стоял над калекой Рембо.

Как совладать с весенними днями,
Они сочатся сквозь шторы, сквозь ставни.
Пароход, уплывающий в Харрару, —
Это не пьяный корабль!
Скоро ль, устав наконец,
Курчавому доброму негру
Я отдам золотой бубенец
И за это возьму его веру?
Но негр не приходит, не уходит шарманка.
Я сегодня больше не встану...

...Вот казнь, и нет ни плахи, ни меча,
И даже кровь, и даже кровь не горяча!

Март 1915

246. ВЕСЕЛЫЙ ДЕНЬ

Дома застал я жену с любовником.
Готов ли я? И он — готов ли он?
Бог-разлучитель зевал лениво —
Утренний бог, без манжет и плешивый.
У окон вставала розовая пыль.
О, тихий водевиль!
Тяжело от шагов по ковру,
Отойду, подойду и умру.
О, тихий водевиль!
У окон вставала розовая пыль.
Я шепнул ему — перед этой постелью
Помолимся мы, как нам велено:
«Ныне славим Ваше Святейшество,
Сытые славим, грешные,
Иван Иваныч, пейте же.
Иван Иваныч, пейте же».
Я амура со столика взял
И долго в трактире его величал.
О стакан дребезжало стеклянное крылышко.
Дым кадильниц шел к потолку.
Что же! случилось...
Тебе предаю я мою тоску.
Строю высокие храмы,
Дома, дома и дома,

Чтоб твоего верховного сана
Не коснулась низкая тьма.

Апрель 1915

247. ЕЩЕ В КАФЕ

Он придет, великий защитник,
В этот дом.
Я только притихну, поникну, пикну
Под его тяжелым перстом,
И плененные нежные горлицы
Отлетят от пылающих шляп,
И рюмки заплачут в восторге —
Сколь же ты свят!

Но высокая быль
В каждом блюдечке,
В каждой женщине.

Души моей тишь и стыль...
Ничего не забудется,
Ничего не изменится —
Это быль.

Июнь 1915

248. В ВАГОНЕ

В купе господин качался, дремал, качаясь,
Направо, налево, еще немножко.
Качался один, неприкаянный,
От жизни качался, от прожитой.
Милый, и ты в пути,
Куда же нам завтра идти?
Но верю — ватные лица,
Темнота, чемоданы, тюки,
И рассвет, что тихо дымится
Среди обгорелых изб,
Под белым небом, в бесцельном беге,
Отряхая и снова вбирая
Сон, полусон, —
Всё томится, никнет и бредит
Одним концом.

Апрель 1915

249

Люблю немецкий старый городок —
На площади липу,
Маленькие окна с геранями,
Над лавкой серебряный рог
И во всем этом легкий привкус
Милой романтики.

Летний дождик каплет.
Люб мне бледно-красный цвет моркови
На сером камне.
За цветными стеклами клетчатая скатерть,
И птица плачет о воле,
О нежной, о давней.

А в церкви никто не улыбнется, —
Кому молиться? Зачем?
И благочестивые уродцы
Глядят со стен.

Сторож тихо передвигает стулья.
Каплет дождик.
Уродцы уснули.

Январь 1915

250. ЗИМОЙ В ВЕРСАЛЕ

Перед дворцом, на ровной площадке
Лег какой-то театральный снег.
Как жалко апельсинное деревце в кадке!
Как томителен новый свет!
Ты к окну подошла. Над темными фонтанами
Стынет пришлый непонятный день.
Не уйти — сторожит Диану
Круторогий олень.
Север в зале,
От него мы напрасно уйти пытались.
На портретах, на приемах, на победах
Столько легкого сквозного снега...

Январь 1915

251

В деревенском кафе я ходячий вдовец.
Тихо.
Только лампы томителен медленный свет.
Что он напомнить тщится?
О жизни сытой, цветной и странной...
Ах, это на картине старого голландца!..
За окнами воздух морозный.
У женщины младенец, припал он к груди,
Точно облако розовый.
В углу задремал сосед,
Но лампы томителен медленный свет.
И входит внезапно хозяин.
Гость просыпается, гость умирает,
Умирает с недосказанной шуткой,
И дымит еще рядом упавшая трубка...

Январь 1915

252. НАТЮРМОРТ

От этой законченной осени
Душа наконец ослабла.
На ярком подносе
Спелые, красные яблоки.
Тяготейте вы над душой ослабшей,
Круглые боги, веские духи!
Чую средь ровного лака
Вашу унылую сущность.
Всё равно, обрастая плотью,
Душа моя вам не изменит.
Зреет она на тяжелом подносе
В эти тихие дни завершений.

Март 1915

РУЧНЫЕ ТЕНИ

253

Вы жить обречены
В снегах моей полярной страны
И охотиться ночами весенними
За уплывающими тюленями.
Каждый день
Розовый умирает серый тюлень,
Каждый день я повторяю: «Боже,
Вот они бродят голые,
Осени их плоть тихим холодом
И сердца замороженные
Сохрани
В дни и в дни.
Чтоб они не плакали,
Чтоб они не прыгали,
Проклятые —
Я их выдумал!..»

Май 1915

254

Е. Ш.

Каторжница, и в минуты злобы
Губы темные на всё способны.
От какой Сибири ты взяла эти скулы,
Эту волю к разгрому, к распаду, к разгулу?
Жизни твоей половодья, пороги
И пожары далеких усобиц...
Сколько раз этих щек провалы
Синели от слез и жалоб,
А бровей исступленные крылья
Распускались, собирались и бились!..

Но Господь обрел в этом пепле
Живой огонь и глаза затеплил,
Разъятые жалостью, дымом, гарью —
Огромные, темные, карие.

Февраль 1915

255

М. Н.

В маленькой клетке щебечет и мечется,
Что-то повторяет бесконечное.
Войдешь — расспросы за расспросами,
Хлопоты знакомые.
Только как странно смотрят глаза раскосые,
Зеленые глаза, обреченные.
Боится, что наскучила,
На минуту отходит в угол,
Но если вы даже сделаете из птицы чучело,
Как глаза ее будут глядеть испуганно...

Февраль 1915

256

Н. А. МИЛЮКОВОЙ

Твои манеры милой тетки
Из бледно-розовой гостиной,
И голос медленный и кроткий,
И на груди аквамарины.
Но взор твой, ускользая праздно
В тупой и безразличной лени,

Таит все прихоти соблазна,
Все смены прежних наслаждений.
Как странно встретить у ребенка,
В минуту тихого мечтанья,
Какой-то след усмешки тонкой
Непоправимого познанья!..

Январь 1912

257

ВЕРЫ ИНБЕР

Были слоны из кипарисового дерева,
Из бронзы, из кости, еще из чего-то.
Не помогли амулеты — маленькие слоны,
Не помогли даже рифмы «Ленотра и смотра»...

Вижу вас — вечно новая шляпка
И волосы ветра полны.
Голос капризный, лукавый:
«Где вы? Скажете еще! Неправда...»

Не помогли амулеты.
Испить вам дано
Жизни думы и годы —
Не хмельную печаль, не чужое вино,
Только холодную воду.

Февраль 1915

258

МАРЕВНЫ

Ты смеешься весьма миловидно и просто,
И волосы у тебя соломенные.

Ах, как больно глазам от известки
Заплясавших, задрыгавших домиков!
Жарко три дня подряд.
Что ж, купайся, пей лимонад!
Нет, лучше у горячих стен
Потанцуй под «Кармен»,
Потанцую, подурачусь, покричу —
В домике оставил я трескучую свечу!..

Но болезное святое дитятко
Не потерпит никакой беды,

Чтоб залить огонь, у Бога выпросит
Маленькую капельку воды.

Май 1915

259

И. С.

Тебя сушили низких дюн пески,
И рыбы тебя томили извивами девьими.
Оттого в твоих вскриках столько тоски
Северной.
Гермафродит
Сухим хвостом звенит, звенит...
Дыши и жди!
Падут тяжелые дожди.
В темной безысходной хляби
Будет день тебе хорош.
Ты попьешь немного горькой влаги,
Захмелеешь, тяжкая уснешь.

Май 1915

260

Е. Р.

Не забыть твоего лица,
С глазами как у застывшего птенца
На вате,
С губами такими детскими,
Что некуда деться
И плачется...
Но порой, отягчена тоской и хмелем,
Ты идешь, уже не зная, ты болтаешь уже
бесцельно.
И в углу средь табачного дыма
Тупо глядишь на бокал,
Какой-то отравой старинной
Наполняя не дышащий зал.
Зачем эти льстивые песни?
Кругом первозданная ночь...
О, я знаю, как много весит
Твоя жестокая плоть!..

Апрель 1915

261

БАЛЬМОНТА

Пляши вкруг жара его волос!
Не пытай, как он нес
Постами
Этот легкий звенящий пламень.
Но иди домой и отдай подруге
Один утаенный уголь.
Когда же средь бед и горя
Он станет уныл и черен,
Скажи, но только негромко:
«Прости, я сегодня видел Бальмонта...»

Апрель 1915

262

МАКСИМИЛИАНА ВОЛОШИНА

Елей как бы придуманного имени
И вежливость глаз очень ласковых.
Но за свитками волос густыми
Порой мелькнет порыв опасный
Осеннего и умирающего фавна.
Не выжата гроздь, тронутая холодом...
Но под тканью чуется темное право
Плоти его тяжелой.
Пишет он книгу,
Вдруг обернется — книги не станет...
Он особенно любит прыгать,
Но ему немного неловко, что он пугает прыжками.
Голова его огромная,
Столько имен и цитат в ней зачем-то хранится,
А косматое сердце ребенка.
И вместо ног — копытца.

Февраль 1915

263

РОПШИНА

Лицо подающего надежды дипломата,
Только падают усталые веки.
(Очень уж гадко
На свете!)

О силе говорит каждый палец.
О прежней.
И лишь порой стыдливая сентиментальность
Как будто брезжит.

Ах, он написал очень хорошие книги,
У него большая душа и по-французски редкий выговор.
Только хорошо бы с ним запить,
О России пьяным голосом бубнить:
«Ты, Россия, ты огромная страна,
Не какая-нибудь маленькая улица.
Родила ты, да и то спьяна,
Этакое чудище!»...

Июнь 1915

264

МОДИЛЬЯНИ

Ты сидел на низенькой лестнице,
Модильяни.
Крики твои буревестника,
Улыбки обезьяньи.
А масляный свет приспущенной лампы,
А жарких волос синева!..
И вдруг я услышал страшного Данта —
Загудели, расплескались темные слова.
Ты бросил книгу,
Ты падал и прыгал,
Ты прыгал по зале,
И летящие свечи тебя пеленали.
О безумец без имени!
Ты кричал: «Я могу! Я могу!»
И четкие черные пинии
Вырастали в горящем мозгу.
Великая тварь —
Ты вышел, заплакал и лег под фонарь.

Апрель 1915

265

Т. С.

Жил бы в Ливнах, в домике с маленькими оконцами,
Ездил бы на богомолье к Тихону Задонскому.
На праздниках кутил бы в Москве с пьяной ватагой.
(В лучших ресторанах первого разряда!)

Но февральские сумерки у Вандомской колонны
И огни кафе жалят веки бессонные.
Маркизы Ватто и амуры из вилл Фраскати,
Ах, если бы жить, но немного иначе.
Вспоминает, на миг степенеет и кается,
Читает Булгакова или Бердяева.
Карие глаза, добрые, бабье лицо — исступляться нечего.
Слабость его, и твоя, и моя — человеческая...

Февраль 1915

266

В. Н.

Собирает кинжалы, богов китайских,
Пишет стихи и стихи читает,
Но в душе запустенье и дрема,
Темный чад непроветренных комнат.
Одиноко пьет алкоголь и, бессильный,
Что-то бубнит о коврах королевы Матильды,
О случайно прочитанной книжке —
О Бергсоне, Рабле или о «Трупе в нише».
Хочется бить, ломать, бедокурить, —
Ах, ковры не застлали купеческой дури!..
На лице очки и пухлые щеки,
А глаз не видно, глаз не найдете.
Ставни закрыты, никто не знает,
Как безобразит тихий хозяин,
Как плачет, и слезы текут неловко
По пыльным, по сделанным щёкам...

Февраль 1915

267

О. ЦАДКИНА

Люблю твое лицо — оно непристойно и дико,
Люблю я твой чин первобытный,
Восточные губы, челку, красную кожу
И всё, что любить почти невозможно.
Как сросся ты со своей неуклюжей собакой,
Из угла вдруг залаешь громко, внезапно
И смущенно глядишь: «Я дикий,
Некомнатный — вы извините!..»

Но страшно в твоей мастерской: собака,
Прожженные трубки, ненужные книги и девичьих статуй
От какого-то ветра загнутые руки,
Прибитые головы, надломленные шеи, —
Это побеги лесов дремучих,
Где кончала плясать Саломея...
Ты стоишь среди них удивлен и пристыжен —
Жалкий садовник! Темный провидец!

Февраль 1915

268

СВОЯ

Горбится, мелкими шажками бежит
Туда и обратно.
Тонкие пальцы от всех обид
Скручены как-то.
Раздумчивый глаз
И усмешка:
Кое-что знаю про вас,
Все мы здешние. Все мы грешные!
Жизнь нелегка,
И очиститься нечем.
Убьешь паука —
Отойдешь и повесишься.
Поглядит и бежит куда-то —
Туда иль обратно.
И, отвисшие, к ночи засохшие
(От молитвы иль только от старости скрытой?),
Жадно ловят комнатный воздух
Губы семита.

Июнь 1915

269. ПЕРЕД ЗЕРКАЛОМ

Я в своих глазах полюбил
Разруху.
В них какой-то отрок растлил
Слабую старуху.
Закряхтела старая, стала богомолкой,
Груди приласкала хлесткой елкой.
Каждую козявку,
Нежить разную
Речью сладкой,

Точно медом, мазала.
А за ней по дорожке,
Обольстясь золотыми веригами,
Отрок прыгал на одной ножке.
Всё подпрыгивал,
Ей подмигивал...

Апрель 1915

ЕЛЕЙ И ЖЁЛЧЬ

270. ЛЮБОВЬ

В часы бессонницы
Я увидел лицо моей подруги —
Ее церковные ладони
И набухающие груди,
Закричал: — Жена и Матерь,
Я готов
Приобщиться тихой благодати
От твоих сосцов.
Отвечала женщина: — Попробуй,
Миленький, подпрыгни высоко!
Я даю тебе, во имя Бога,
Неземное молоко,
Не дожди, не влагу озера
Среди горных толщ
И не сок промерзшей грозди —
Не елей, елей и жёлчь.

Июнь 1915

271

Н. А. Милюковой

Когда еще не совсем стемнело,
Зажигают на площади газовый рожок.
Расплывается пламя белое
Среди небесных песков.
Если бы знать, зачем он, никем не замеченный,
Смотрит в сизую даль
В час, когда влага весеннего вечера
Еще не тронула теплый асфальт.

О, не надо, не надо бессмертья!
Слишком трудно думать о нем.
Только порадуйте бедное сердце
Одним ответным огнем!

Январь 1915

272. КОЛЫБЕЛЬНАЯ

М.

Спи, моя русалка косенькая!
Слышишь, сучья трещат?
Это осень
Обирает щеглят.
Плача и жалеючи,
Свертывает шеи им.
Осень прискачет на палочке,
Убьет мою русалочку,
Поцелует мертвое лицо,
В воду камень кинет,
Из волос совьет себе кольцо
На мизинец.
Оттого, что ты родилась в мае
Некрещеная.
Оттого, что ты косая
И зеленая.

Май 1915

273. РАНО УТРОМ

Я читал рано утром стихи Марселины Вальмор.
Дождик весенний стучал через силу,
Наперекор.
Стоял над бульваром
Запах ясеня тяжкий и смутный.
Тихо было.
И о том, как женщина стала старой,
И всё простила, и всё забыла,
Я читал рано утром...

Апрель 1915

274. ДЕВЬЕ СЛОВО

Буду как грузчик кричать: «Но! Но!
Еще давай! Мне мало!»
(Я жила, но давно, но давно
И смеялась.)
Я усну в тихий полдень,
Тихо будет.
Милый меня уколет иголкой,
Руку стиснет и спросит: «Ты любишь?»
Отвечу: «Ну! Еще! Но! Но!»
Не теперь, но давно, но давно...

Июнь 1915

275

Весна такая тяжелая,
Но сегодня вздумалось ей
Омыть слезами золото
Низеньких белых церквей.
Ты, весна, не плачь —
Плакать поздно!
Всё равно покрикивает грач
И бухнут березы...
Есть у тебя, весна, отрок дивный,
Он на небо смотрит и пашет,
Он собирает светлые ливни
В серую чашу.
Из этой чаши я нынче пью
Смертную радость мою.

Март 1914

276. В СОЛНЦЕВОРОТЕ

Было тихо в сердце, даже легкие печали,
Распустивши волосы, как девы неразумные покойно спали.
В сердце легкими перстами
Постучался странник,
Опечаленный, слепой и жалкий,
Без мальчика, даже без палки.
Не помню,
Что было в тот вечер холодный и смутный
И долго ли странник бездомный

Грел у огня свои руки,
И какие звезды январской ночи
Зажгли его белые сладкие очи,
И как в мое сонное сердце закралось,
Но не страсть — а нежность, но не страсть — а жалость.

Февраль 1914

277

Я в тени своей ногами путался.
Кошка шла за мной
И мяукала.
Не ластись, не пой, не ной!
Моя ненаглядная —
Видит Бог —
Приправляет мышьим ядом
Свадебный пирог.
У нее хорошенькие ящички,
В каждом ящике по колечку.
А в последнем мышка плачется,
Плачется, мечется.
Попляши ты с ней немного,
Ласковая, поиграй!
А меня пусти моей дорогой
В рай...

Июнь 1915

278

Вере Инбер

В тихих прудах печали,
Пугая одни камыши,
Утром купались
Две одиноких души.
Но в полдень, когда влага застыла,
И тревогой затмились леса,
И в небе полуденном скрылась
Первых видений роса,
Одна из них, жадно ныряя,
Коснулась ровного дна,
И долго ждала другая,
Кругами воды смущена.

Январь 1914

279

Моя любовь взошла в декабрьский вечер,
Когда из уст исходит легкий пар,
Когда зима сухим морозом лечит
Туманной осени угар.
Ее тогда не пеленали страсти.
Ясна и холодна,
Из тесных и убогих яслей
Уйти не жаждала она.
На заре даже древний разум
Постиг ее ореол.
Он принес ей золото черного мага
И до вечера прочь отошел.
Отходя, он шептал кому-то:
«Снег и звезды — это чудо, чудо или шутка?..»

Январь 1914

280. P. S.

Я знал, что утро накличет
Этот томительный вечер;
Что малая птичка
Будет клевать мою печень;
Что, на четыре части переломанный,
Я буду делать то, что надо
И чего не надо:
Прыгать на короткой веревочке
Мелким шагом,
Говорить голоском заученным
Про свою тоску,
Перечитывать житье какого-нибудь мученика
Или кричать: а-а! ку-ку!
Глуп-глуп! Мал-мал!
Я это знал —
И всё же, когда любовь пришла, я не понял —
Где это? Что это? То или это?
Заплакал и отдал картонной Мадонне
Ключи погибающей крепости...

Май 1915

281. ЛЕТНИМ ВЕЧЕРОМ

Я приду к родимой, кинусь в ноги,
Заору:
«Бабы плачут в огороде
Не к добру.
Ты мне волосы обрезала,
В соли омывала,
Нежная! Любезная!
Ты меня поймала!
Пред тобой, пред барыней,
Я дорожки мету.
Как комарик, я
Всё звеню на лету —
Я влюблен! Влюблен!
Тлею! Млею!
Повздыхаю! Полетаю!
Околею!»

Июль 1915

282. В ФЕВРАЛЬСКУЮ НОЧЬ

Те же румыны, газа свет холодный, бескровный,
Вино тяжелое, как медь.
И в сердце всё та же готовность
Сейчас умереть.

Я пришел к тебе. В комнате было темно...
Ты не плакала. Ты глядела в окно.
Ты глядела в окно на желтый фонарь,
И тебе улыбался февраль.
Ты спела мне милую песенку
О каком-то чужом человеке,
Который чистил дорожку от снега,
И о том, как был тонок и светел
Тот лучик, что по снегу бегал.

Май 1914

283. ЧАСОВНЯ СВ. РОЗЫ

Помню день, проведенный в Лукке,
Дым оливок, казавшийся серым,
Небо, полное мути,
Желтого зла и серы.

У школы
Шумели мальчишки.
С вала мы видели крыши,
И дым над ними лежал тяжелый.
Томили пахучие липы...
Я взглянул в твои глаза —
Они усмехались дико.
В фруктовой лавке сказали, что будет гроза.
Мы сели напротив часовни,
Там, где серый камень и липы.
Ветер пришел и крикнул:
«Это будет сегодня!»
Но печально сияла небесная Роза,
Сияла Роза иных садов.
Никакие грядущие грозы
Не могли развеять ее лепестков.

Май 1914

284. РАССТАВАНЬЕ

Смуглые беспомощные руки
Пролетели. Там светлей!
(Вечная Заступница,
Не крени высоких кораблей!)

Ты теперь одна. Но если на рассвете
У твоих ворот
Мальчик слепенький
Запоет:
«Святые херувимы
Насадили ясный сад.
Три птенчика совиные
На дереве кричат.
Отчего ты здесь? Отчего не спишь?
Я пойду туда!
Я возьму голыш!»...
Встань тогда, скажи ему: — Не пой!..
Покропи глаза его росой!

Февраль 1915

...И вот уж на верхушках елок
Нет золотых и розовых огней.
Январский день, ты был недолог,
Короче самых хрупких дней.
Но прожигает этот ранний холод
Далекие загрезившие облака.
И мнится, где-то выше черных елок
И выше грузного дымка,
Где точен, холоден и ровен
Бескрылый лёт небесных стай, —
Застыла тоненькая струйка крови.
Гляди и бедный день припоминай!

Март 1914

ТЯЖКАЯ ПЛОТЬ

286. НОЧЬЮ

Я стоял у окошка голый и злой
И колол свое тело тонкой иглой.
Замерзали, алые, темнели гвоздики.

Но те же волны рыли песок убитый.
Я вытащил темный невод,
Средь горечи моря и ила,
Белая рыба горела от гнева
И билась.
Этой ночи мокрый песок,
И ее отверстый умирающий рот!
Я дрожал и не смел ее тронуть...
Ее — иному.
Ах, всю любовь и всё утоленье
Изведал блаженный младенец.
Мне не коснуться груди откормившей,
Прикрытой золотом. А запах мирты,
Как там на горячем погосте,
На могилах земных крестоносцев.
И нежные всходы любимой плоти
От губ свернулись, поблекли.

Только каждый новый укол
Темным холодом цвел.

И стыдной отошедшей ночи
Милый первенец —
Прыгал день, хохотал ангелочек,
Восковой, как на вербе.

Январь 1915

287

На даче было темно и сыро.
Ветер разнимал тяжелые холсты.
И меня татуировала
Ты.
Сначала ты поставила сердце
Средь нежных цветов,
Двух голубок, верную серну,
Как в альманахе тридцатых годов.
О душа, вы отменно изящны,
Милая,
Я вас в темной чаще
Изнасилую.
Лучше меня слушаться,
Душа, душка, душенька, душечка!
Потом ты нарисовала корабль.
Я взял с полки Бедекер.
Хорошо! Я корабль
И буду охотиться за ручными медведями.
Отели Карльтон, Мирабо и Виктория.
Суша — так суша, море — так море!
И на левой груди, на том месте,
Что недавно целовала,
Ты поставила маленький крестик
И засмеялась.
Господи, Ты нас оставил на даче
Спросонья
Зевать и покачиваться
На темном балконе.
Чтоб оба
На воле
Эту плоть огромную сдобную
Холили б.
Трудники Божии —
Дела их да множатся.

Май 1915

288. НАПУТСТВИЕ

О летящая мимо,
Ты падаешь на скаты голые,
На ржавую глину,
Разогретую солнцем.
Станешь снова таять и париться,
Ноги свои удивленно тронешь,
Малой тварью
Затрусишь полегоньку.

Помяни и того, кто был создан
Из той же глины хрупкой,
Кто остался слишком поздно
Сидеть на приступочке,
Распевая: «Барышни хорошие,
Благолепные барышники,
Подайте один только грошик
Спившемуся,
Развалившемуся!..»

Май 1915

289. ВЕСЕННЕЕ

Тяжко весной,
Рядом села высокая дама.
Тело ее — точно воды Иордана.
Тянет холодом и глубиной.

Но давно крещеному остались
Только ливни, и за ними сразу
От нагретого, от мокрого асфальта
Душные соблазны,
Стыд и крестик костяной.
Тяжко весной.

Утром не знает сердце,
К чему его день приучит.
Ходишь, крестишься у каждой церкви,
Так, на всякий случай.

Чиновник у подворотни
Бьет каблуком собаку,
Приговаривая: «Милый песик,
Сахар любишь ты, сахар!»

А пойдешь немного — огороды,
И уныло дышит перегной.
Бабы, мошкара и громкие подводы.
Тяжко весной.

Мы давно уже воззвали: «Господи, Господи!»
Покаялись все мы, давно и все,
Ты же наспех уставляешь березками
Это страстное шоссе!..

Март 1915

290. В БОЛЬНИЦЕ

Темные губы (о, не бойся — во сне)
На жаркой сухой простыне.

Не хочешь, чтоб я на улице
Пел о любви великой —
Напоите меня! накормите!
Дай часок соснуть!
...Это раньше...
Забудь!
При стылой лампе...

Я раздетый гуляю вновь,
И белая плоть,
Утром добрая,
Дышит холодом, как из погреба.
А душа болезная
Всё стыдится.
Бумажные крылышки кем-то отрезаны,
И не спится...
Негритянка болезная
В белой больнице...

Апрель 1915

291

Я телом немощен, и дух недужен.
О милая юла,
Какого мужа
Ты нашла?

Убегать, щекотать не хочется.
Что же, близок Рай!

Оказывай духу должные почести,
А плоть слегка постегай.
Да побегаем вкруг умывальника,
Ты не бойся, подойди ко мне.
(Ах, какие заводи маленькие
В стороне.)
«Мы не знаем этой погани.
Мученики,
Мы свободные
И приученные.
Ах, у нас в буфете спрятаны
Чернослив и шептала —
Для тебя, благая Матушка,
Золотая похвала».

Июль 1915

292. ПЕРВАЯ НОЧЬ

Муж

Горьким соком налились твои щеки,
И тяжек запах любимой плоти.
Режут канаты обломанных мачт,
Матросы пьют джин и бьют негритянок,
Черные плачут. Ныне ты плачь,
В белых латах разящая Дама.
Пахнешь ты деревом, перцем, ванилью...
Стоячие воды в полдень застыли,
И усталый фавн этой груди поздней
Не выжмет — тяжелой, замерзающей грозди.

Жена

Гляди, вкруг нашего ложа
Вязи роз и амуры.
Два пепельных сердца положат
Они в эту серую урну.
Ночи медленный пламень —
Ах, он верен и строг!
Какими дневными волнами
Омою я темный ожог?
Утро встречая в испуге,
Слабеют и вянут острые груди.
Да будет их свет при последнем отплытье,
Средь пяти тягучих и медленных рек,
Устам твоим чище ключа и слаще черники.
Во мраке отведав запретных нег,

Ты увидишь на том берегу, как льдинки застыли,
Два огня догоревшей и дымной светильни.
Но теперь зачем ты прячешь
Свою огневую ладонь?
Суши мои травы, ветер горячий,
Из пепла встающий огонь!
Я твоя! Растопчи, тяжелый,
Дни мои! Цветники!

О, как сладок пронзающий холод
Твоей исступленной руки!..

(Их души пески, их глубь и твердь
Подъял, крутил бездумный смерч.)

Жена

Знаешь, уж утро...
Мне холодно! Ноги, милый, закутай!
Окна открой! Голубую воду
В глубь корабля пусти.
Я тону, и ты, поминающий Бога,
Грехи мои отпусти.
Прости твою спутницу! Горя ограда,
Каменный крест от ветра рухнул —
Заплачу я за тайную радость
Мукой плоти разверстой,
Разъятого духа.
Как камень падает женское сердце
Тяжелое,
Не ведая страха,
Ибо много в нем темного золота
И праха.

Муж

Нет, не эта молитва, не эта жертва,
Душа для иного сева отверста.
Как манят муки безумной схимы,
Пахучие ягоды дикой малины
И зверя глухое рычанье
Над моими земными следами.
О, как страшно! Маленький сокол
Еще не видит, еще высоко.
Но в траве уж звенит и таится
Тихий плеск обреченной птицы.
Иду от тебя после первой ночи,
В ночь я иду и в темь.

Ты свои жаркие очи
Стеклянной слезой одень.
Тебе, жена, высокая милость,
И в плоти явлен Господь!
Ибо ты кровью святила
Эту первую ночь.

(Был исход осенним снегом скреплен.
Голос девы долго звенел под окном.)

Голос девы

Рано утречком иду
Полоскать белье в пруду.
Что невесты Богу краше
В чистенькой рубашечке.
Да жених в гробу.
Что ж, мир ему!
Образок на лбу.
А рубашка стиранная.
Рано утречком иду,
Сердце плачется мое,
На широком на пруду
Колотить белье.

Муж

Не заставками тихих книг
Оградил я ночей моих скит.
Сердца пылающий уголь —
Он пронзает туман и вьюгу.
Девы приходят, олени
Гложут мхи вчерашних прозрений.
Я роздал голодным волчихам
Крохи мудрости, похоти дикой
Клочья, и душу отдал я, щедрый.
Дни и ночи дышали снега,
Но из муки и гари пещерной,
Когда ярилась пурга,
Восходило всё то же бескровное пламя
Во тьме обретенных познаний.

Прохожий

Летом сгорели низкие избы.
И дым разъял небеса.
Обхожу я, восторгом пронизан,
Твои благие леса.
Дай мне света, дровосек,
И одежды, тяжелые от зимних бед,

Сними с меня, обсуши
На костре негасимой души.
Я давно слыхал от соседа,
Что тобой сердца велики,
Я голоден — дай мне хлеба
И воды от ставшей реки.

Муж

Я пить хотел, и чаща влаги бражной
Предстала, больше не было жажды.
Засохшие губы... Снежная дама
Сучья муки тянула вслед.
Но сердце стояло, и страшного сана
Был на мне праведный снег.
Пощусь и взываю... Но куст Моисея
Горел, сгорал, и горячий пепел
Снова цвел. Над тобой тяготеет
Души моей благолепье.
Я дам тебе крепкую веру.
Погрей на ней стылые ноги,
Свое осеннее сердце.
Теперь не вздыхай о свободе!
Ты испил вскипевшего снега,
Моей наготы вкусил.
Кому ты, прохожий, предал
Пронесенный сквозь зимы пыл?

(Прохожий вкруг костра как пьяный бегал,
А пламя билось средь испуганного снега.)

Прохожий

Недаром сказал сосед,
Чтоб я шел до твоей тоски.
Вижу, ты святой дровосек
И тобой сердца велики.

(Погрев свои стылые ноги
В снеге, уходит.)

Муж

Иду от спасенья спасаться.
Нищий, я иду раздать, но не мое богатство.
По приказу творю я чудо,
От света сердцу темней.
Зачем ты, пришлая с севера вьюга,
Не задула моих огней?

(Ах, умер он!...
Сумерки.)

Жена

У куклы голова как яйцо,
У куклы розовое лицо.
У куклы нет волос,
Волосы кто-то унес.
Спи, моя куколка!
Я убаюкаю.
Нарисую чернилами
Волосики милые.
Спи, мой козленочек,
Ты отдохни.
Прыгал от утра и до ночи,
А теперь усни.
Я закутаю копытца
Милого козленочка
В одеяло теплое.
Спи, тебе приснится,
Как другой козленочек
Прыгает да по полу.
В детской,
Вместе с мамой,
На полу
Да на лугу.
Ах, запутались копытца в сетке.
Дай я помогу...
Где твои волосики маленькие?
Нет волосиков...
Не понимаю я...
Совсем не понимаю...
Мать ведь просит вас...
Отдай волосики!

Бабка

Не убивайтесь, матушка!
Младенчик, по полю бегая,
Постучался в железные врата,
Ничего о себе не ведая.
Сойдут с него дела наши струпьями,
Встанет он чистенький, вымытый,
За тебя, матушка, заступится
Речами своими невинными.
Ах, тяжка доля наша!
Он же нищий из нищих,
Голубь подстреленный, белый барашек,

Кровью своей очищенный.
Заступись ты речами невинными
За меня грешную, рабу Божью Ирину!..

Жена

О чем просишь ты?
Отдай, отдай его волосики.

Муж

Вхожу в твой дом печалей земных,
Как прежде вхожу — жених.
Я познал в изгнанье и в дреме
Того, кто метил мои ладони,
Того, кто дал тебе ношу —
Талое золото, побег заглохший!
Но жди в твоей юдоли
Мужа с безумной кошницей.
Твое бесплодное поле
Новой тоской оживится.
Ты отягчаешь, и груди взойдут буйней.
Пей же, жена, пей!

Жена

Пью живую воду для козленочка,
От пресветлой занимаю помощи.
Вот растет он маленький, замученный,
Уж напились голова и рученьки.
Уж напились, утолились...
Ручки жили... ножки были...

(О, как празднично в маленьком доме,
И жена пьет смерть из его ладони.)

Муж

Снова кинул я семя, но ныне
Не уйду я тропами лесными.
Не спрячусь в дремучем затоне
От огня его дьявольских конниц.
Отвергши дней испытанье,
Не ломал, не таскал я камень,
И эти своды, арки, стропила
Не моя рука их возводила.
Умер не мой младенец...
О, я сразу хотел спасенья.
Ныне гибну за годы за постами,
За черное сердце, за белое пламя,

Что, не грея, взвивалось средь снега
К мстящему серному небу.

(Был конец их первого дня.
Голоса детей хоронили их, но не медью звеня —
Серебром.
О, детских сердец перезвон!)

Голоса детей

Маленький Младенец
С яблоком играл.
И за всех приявших
Муку и успенье
Маленький Младенец
Муку и успенье
Встретил и приял.
Яблоко золотое
Для всякого болящего,
В муке отошедшего.
Боже, ныне да успокоятся
Души их бродячие,
Горе человечье!
В горе мирском и в любови
Обрели они муку крестную.
Ныне прими их в Царство Небесное,
Посади их по правую руку,
Ибо для них уготовил Ты
Царствие Небесное.

Февраль 1915

293. ДРУГУ

Тихону Сорокину

Выдерни, родимый,
Волосок за волоском!
Похлещи меня, как сына,
И пусти гулять потом.
Встану я на пригорке,
Закричу одноногим аистом —
Поглядите на исцеленного от порчи,
На покаявшегося!
Он меня всему научит,
Как он пытает ласково
Своим именем мученика,
Добрыми карими глазками...
Летите вы, птицы вольные,

На зеленый, на вымерший пруд!
Покричу и лягу средь черного поля,
Кровь землицей сотру...

Февраль 1915

294

Чай пила с постным сахаром,
Умилялась и потела.
Страшила смертными делами
Свое веское тело.
«Ручки вы мои, ножки,
Слушайте, послушайте,
Как сороконожки
Будут кушать вас.
Черт уставит ночью
Острыми гвоздями мягкую кровать.
Будет каждый встречный ангелочек
Вас щипать!»
И хлестала, кувыркалась, уступала,
Разметавшись донага,
Светлым маслом умащала
Темного врага.

Но Господь услышал в День Субботний
Твари ярость и испуг.
Он призвал ее. От слабой плоти
Изошел какой-то теплый дух.

Июнь 1915

НАСМЕШНИК

295. В САДУ

Заблудившись в темном саду,
Где сквозь ветки сочится зной,
Я к нему незаметно приду,
И он посмеется со мной.
Скажет: «Какой ты хитрый!»
И меня рабом назовет.
О, как горное утро тихо!
Как печален далекий рожок!

Декабрь 1914

296. ШАЛУН

Я спросил: «Почему, неутешный,
Ты затеял эту игру?»
— «Я людей вешаю,
Собак деру,
Кого рука моя захватит,
Хорошо тому.
Миленький братик,
Не пытай, почему.
Я твоей обрюзгшей душой
Поиграю тихо и ласково,
То одной, то другой рукой
Перебрасывая
И подбрасывая...»

Апрель 1915

297. НА ХОЛМУ

Весь день стоял тяжелый.
Я с холма глядел на грозу,
И на толстых смешных богомолок,
Что, кряхтя, проходили внизу.
Гремело, женщины пели.

Я слышал голос моей жены.
На холму я гадал и мерил
Его и мои вины...

Июнь 1915

298. ДВАДЦАТЬ ПЯТОЕ МАРТА

Под золотом марта снега в оврагах вскипали.
На высокой паперти стоял слепой мальчик.
Простер он руку свою, прося подаянья,
Не к толпе прихожан и не к пашне, синевшей
в тумане, —
Но к желтому небу.

Это день исцелений! Гроза средь снега!
Бесплодные вдовы и девы в церкви. Он слушал,
Как о нежном сыночке голосила кликуша.
Он тянулся к небу, и в полдень
Кто-то золотом руку его наполнил.

Девять лун отойдут, и звезда загорится в сочельник.
Погорюет жена над пустой колыбелью.
Но, Боже, как будет он плакать, маленький мальчик,
Когда последние капли уйдут сквозь сжатые крепко
пальцы!..

Март 1915

299. МОИ СЛОВА

В час, когда далекая заря,
Усмехаясь, тихо пенит
Белые безликие моря —
Маленький рождается младенец,
А смеется — как старик.
Посмеявшись, умирает — это лучше!
День за днем, и я привык
К этим глазкам, к их пугающей воде
И к тому, как руки, нет, не руки — ручки
Отбиваются от близких бед.
(Милый трупик,
Забелит тебя рассветный снег!)

Тоненький огарок знает,
Как заря их крестит, крестит — отпевает.
Встали и очнулись.
Утро наконец.
Одного еще качаю в люльке —
Тоже не жилец...

Январь 1915

300. ЕЩЕ КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Ни к богатым, ни к косматым,
Ни к мохнатым медвежатам,
Ни к арапам косолапым,
Ни к собакам, ни к чертякам, —
Шла смерть в мою клéтушку,
За мой стол, до моих детушек.
Я просил — не тронь детенышей!
А она взяла и тронула.
Ты не гладь — она погладила,
Всем дала по виноградине,
Увела и след приметила,
Замела хвостами песьими,

А к себе пришла, проклятая,
Завизжала и заплакала,
Плача, пеленала трупики,
Пестовала и баюкала:
«Я-га-га! У-лю-лю!
На-по-ю! на-кор-млю!»

Май 1915

301. НАД КНИГОЙ ВИЙОНА

Бедный мэтр Франсуа!..
В таверне «Золотой Осел» сегодня весело.
Пришел, усмехнулся даме
(Все мы грешные!),
Кинул на стол золотое экю.

На твоем Завещании
Три повешенных.
И горек твой дар
Моей печали
В этот желтый и мокрый март,
Когда даже камень истаял.

Пошел — монастырский двор,
И двери раскрыты к вечерне.
Маленький черт
Шилом колет соперника.
Всё равно!
Пил тяжелое туренское вино.
Ночи лик клонился ниже.
Пели девы — вот Он! вот Он!
Петухи кричали. Трижды
От него отрекся Петр.

Февраль 1915

302. ДОБРЫЙ ПАСТЫРЬ

Когда для жизни больше не хватило сил,
Я тоненького отрока под вечер ослепил.
И он дрожал, хмельной и слабый,
Рукой ловя знакомые лучи,
Еще не смея тронуть лунных яблок,
Печально реющих в ночи.

Я отошел. И не было ни ночи, ни зари,
И тень мою снимали фонари.
И камень жесткий, древний, дикий
Напомнил мне прообраз твой.

Я знаю, ты в далекой базилике
Еще играешь золотом и синевой.
И, полон сладости и скуки,
В изысканно-простом венце

Протягиваешь тонкий лютик
Своей излюбленной овце.

Декабрь 1914

303. РОССИИ

В тебе тоска и лицемерие!..
Болота дым, и пьяный огонек, и топкий берег.
Летают маленькие мошки,
Гудя и жалуясь, слепят.
И гнется под метельной ношей
Печальный березняк.
Ты в схиме, вечная гордыня!
Ты перед Господом права!
О, как блюдешь ты отдых зимний,
Благочестивые слова!
Лицо закрыть... еще светлей... еще морозней...
А там, под снегом, злая озимь...

Бессвязный бред... Нева и газовый рожок...
Как тяжелы твои громады
И чинной жизни мнимый ход!
Сквозь камень проступает влага,
Нева тоску назад несет...
Разбойник на кресте цветет!
Разбойник на кресте, уверуй!
Но слез восторг, но муки нега,
Огромная, назойливая, серая,
Как это небо...

Декабрь 1914

304. О МОСКВЕ

Хорошо, когда оттепель чуется,
Заходить из пивной в пивную.

Бутылки поют так тоненько,
Еще тоньше поет гармоника,
И ей подпевает Митя
О маленьком буре.
А снег на бульваре хмурится —
Не жить ему...
Дворники, кажется,
Искра трамвая...
А дома великоэтажные
Возрастают и усмехаются.
Гибни же, гибни навек,
Древний снег!
Ах, вы не поверите,
Как мы любим редкие Америки!
В кинематографе
Отставные генералы
Хихикают немного
И балуются.
Где же, где же девье сердце,
Грусть и запах вербы.
Митя, милый Митенька,
Ты задуй еще фонарь!
Спой, как в низенькой обители
Умирал тишайший царь...

Май 1915

305. ПЕСЕНКА

Гладила мать сына,
Хлеб медом мазала.
«Ты возьми свечу, обеги вкруг Рима
Три раза.
Бойся мошек, выпи
И монашенок.
Обеги, а потом рассыпься
За овражками.
Не у дома, не у храма —
У святого балагана.
Ты ведь выращен, сынок, не на площади,
А, такой-сякой, доморощенный!»

Июнь 1915

306. ГОГОЛЬ

Неуклюжий иностранец —
Он сидел в кофейне «Греко».
Были ранние сумерки
Римского лета,
Ласточки реяли над серыми церквами.
Завлекла его у ног Мадонны
Ангельская тягота и меч,
А потом на Пьяцца Спанья запах розы...
(Медные тритоны
Не устанут извиваться и звенеть.)

Вспомнил он поля и ночи,
Колокольцев причитанье
И туман Невы.

Странный иностранец —
Он просил кого-то
(Вечер к тонкому стеклу приник.)
«От летучих, от ползучих и от прочих
Охрани!»
Сумрак, крылья распуская,
Ласточек вспугнул.
В маленькой кофейне двое
Опечалились далекой синевой.
...И тогда припал к его губам Сладчайший,
Самый хитрый, самый свой.

Январь 1915

ХВОРАЯ ТВАРЬ

307

Твари темной, твари гордой
Ни гнезда нет, ни берлоги.
И ее навек отторгнул
Полевой угодник.
Лежала она, линяла
На мусоре,
И одна подвывала:
«Господи Иисусе,
Погляди под ноги —
Там, как и встарь,
Лежит Твоя ободранная
Тварь!»

Всё скулила, землю рыла,
Хоронила горе
И порой грызла уныло
Самый сладкий корень.
Умилительная! Сладкогласая!
Помолись еще со сна!
Да умойся — скоро Пасха
И весна!..

Июль 1915

308

Я сегодня вспомнил о смерти,
Вспомнил так, читая, невзначай.
И запрыгало сердце,
Как маленький попугай,
Прыгая, хлопает крыльями на шесте,
Клюет какие-то горькие зерна
И кричит: «Не могу! Не могу!
Если это должно быть так скоро —
Я не могу!»

О, я лгал тебе прежде, —
Даже самое синее небо
Мне никогда не заменит
Больного февральского снега.

Гонец, ты с недобрым послан!
Заблудись, подожди, не спеши!
Божье слово слишком тяжелая роскошь,
И оно не для всякой души.

Май 1914

309

Предчувствую я близкую кончину.
Взираю назад —
Над озером дым
И гуси кричат.
Не нашел я хозяина...

(Но душа, растравленная днем,
Хочет всё же чуточку покаяться
И прибрать свой дом).

«В нашем доме три младенца
Плачут, как не плакали отроду.
Утирают слезы тремя полотенцами
Мокрыми.
В нашем доме
Очень тихо стало —
Ночью кто-то помер...
Начинай сначала!..»

Июль 1915

310

Если б сегодня пророк пришел,
Я забыл бы о трудной свободе, —
Как некий сказочный волк,
Я лизал бы его благодатные ноги.

Но никто не хочет меня победить.
Еще вспоминая, я плачу,
Но молитвы — из книг,
Слезы — не горячие.
Утро пришло, не тушу свечу,
Гляжу на нее и молчу.
Сейчас запоет будильник,
Заведенный к чему-то вчера.
Пора! Пора! Пора!
Готов, но еще усилье...

Ты, глядящая в море испытующим взглядом,
Смотри — недвижен средь вод,
Горит омраченный корабль
И матрос на мачте поет.

Декабрь 1914

311

Медвяное небо.
Широкий покинутый пруд.
Она жила, строптивая и бедная,
На самом берегу.
В избе было ночью жарко и дымно,
В дыму не видно воскового херувима.
И разъятые очи напрасно ждут,
Когда утро затопит луг.

Но была она в ночи удостоена
Принять своим ухом верховный гром.
Целое светлое воинство
Шло на ее испуганный дом.
Гневный седой предводитель
Гремел впереди,
Испуская холод и блеск,
Он начертил на ее груди
Крест.
А утром, когда на затопленный луг
Вышел веселый пастух,
Он вложил в ее опаленную руку
Ветку ивы и нежную дудку.

Февраль 1915

312

На холму унынье и вереск,
И пастух на холму задремал.
Я знаю, ты не поверишь,
До чего я идти устал.
Рога окунули коровы
В красное море и спят.
Куда идти мне снова,
Когда потухает закат?
Где-то бубенчик звякнул,
Такой убитый.
Залаяла собака,
И снова всё тихо...

И если ты белый месяц увидишь —
Его не увидит пастух на хóлму.
И если споешь ты о прежней обиде —
Я песни твоей не пойму.

Июнь 1914

313. ARS

Я бродил, я любил здесь когда-то,
А теперь, разлюбив, позабыв,
Я касаюсь мрамора статуй
Среди тощих низких олив.

Я дрожу — ни тоска, ни трепет
Эту белую плоть не пронзит.
Только изредка летний ветер
По глянцу листвы скользит.
Не хочу! Не хочу вашей правды!
Вы всего мудрей и ясней,
Но даже малая травка
Не взойдет из этих камней...

Июнь 1915

314. РИМУ

Вечно молятся фонтаны,
Божье имя
Поминая всуе.
На закате стынут каменные линии
И унылый ветер дует.
У окрайны новые и необжитые строения,
А под ними злой богини белизна
Усыпляющих курений.
Ждет она.
И осенний месяц, точно схимник,
Умирает средь небес,
Чуя точность четких пиний,
Зов воды и камня вес.
Ночь.

Рим, прими еще одну скучающую плоть!

Январь 1915

ДОПОЛНЕНИЯ

315. ПРОГУЛКА

В колбасной дремали головы свиньи,
Бледные, как дамы.
Из недвижных глаз сочилось унынье
На плачущий мрамор.
Если хотите, я подарю вам фаршированного
борова
Или бонбоньерку с видами Реймского собора.

«Ох вы родные, хорошие!
Подсобите мне!..

Очень уж тошно
Без Митеньки!»
И на мокрых досках
Колыхался мертвый солдат,
Торчала горькая соска
В ярко-лиловых губах.
Нет, я поднесу вам паштеты.
А эти туши
Мы прикажем убрать астрами, только
фиолетовыми,
И вечером скушаем.
«Мальчик мой перебитый!..
Все переменится...»
Только ветер один причитывал:
«И презревши все прегрешения...»

316. ПРЕДУТРЕННИЙ СОН

Плакали тихо. Плакали просто.
Кувыркались. Голосили нараспев.
Было их счетом ровно девяносто,
Девяносто ошалевших дев.
Перед каждой в коробочке
Мертвый сынок
(Маленький, родненький,
Он отдохнет!)
В дни, когда горели города
И кипела ржавая вода,
В дни, когда бесчестили старух,
Выводили дрябленьких на свежий луг
И когда калечные цветы
Задыхались от великой дурноты...
...Скок-скок-скок!..
Убежать он не мог,
И лежит в канаве...
(Но кому это нравится?)
В эти дни...
Ну, усни!
Родились, подышали,
Подышали, ушли.
Непомерной печали
Одолеть не могли.
И вздох на морозе —
Как облако.
Пожил,
А теперь в коробочке!

И ветер сосет в истоме
Тяжкие груди.
Старые померли.
Новых не будет.
«Повздыхаю о Володечке
И пойду плясать по площадям.
Нарисую на его коробочке
Очень интересный барабан!»

Сентябрь 1915

317. УПОВАНИЕ

Не ходили девки за черникой.
Дятлы не стучали.
Да трава — и та поникла
От невиданной печали.

И тогда пришла в лесную чащу,
Болестью мирской больна,
В страшных ранах, кровь точащих, —
Преподобная жена.
Так, покорна грозному глаголу,
Побираясь и кряхтя,
Пронесла она через пылающие села
Горемычное дитя.

Принимать ее
Выходило разное зверье.
Из зеленой гущи,
Ото всех звериных городов
Всякий сущий, всякий ждущий
Шел, чтобы узреть родимых бегунов.
Молвила жена, младенца прижимая к сердцу:
«Шла я в муке и в любови.
Ничего из подаяний не отвергши,
Приняла я слезы вдовьи,
Пепел нив и семь затмений
Солнца, правды и луны.
Православные, снимите бремя
С умирающей жены!
Предаю вам горевого сына,
Оближите маленькое тельце,
Научите благости звериной,
И всему, что вам от Бога ведать велено!
Ах, не силой звезды ходят!..
Помираю я...

Ты, сынок, учись в берлоге,
Как по-ихнему маяться,
Как по-ихнему каяться,
В боли травы прикладывать,
Век свой промолчать,
Чтобы ангельские сладости,
Умирая, опознать...»

Август 1915

318. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ, ИЛИ СНОВА В МОЕМ ВЕСЕЛОМ КАФЕ

Поэт (*курит трубку*)

Купайся, купайся,
О сердце мое!
И с криком белым окунайся
В хорошенькое небытие.
Полдень бел, полдень спел.
Сохнут тихие святители.
В каждом сердце сорок стрел
Просветительных.
Отчего не приходит она?
Послушайте, еще вина!

Слепой

Врешь! Не уйдешь!
Подайте слепенькому грош!
Отчего так легко мне?
Отчего так светло мне?
Я не тычусь.
Ах, я очень ясно помню
Маленькую спичку.
Погасла, ишь, шалишь!
Не уйдешь!
Подайте слепенькому грош!

Поэт

Тьфу ты! Чур! Чур-чура!
Обходи кругом! Приходи вчера!
Огради мои давние слабости
От слепых, от мокриц и от бабушки!
Минь, гинь, кинь!

(*Ударяет ложкой бокал.*)

Душа Поэта

Дзинь, дзинь, дзинь!

Девка (*гастроному*)

Я даю тебе сразу
Две щеки и два глаза,
Рот мой, ноги и уши...

Гастроном

Скушаю.

Девка

Груди, косы и плечи,
Жизнь мою человечью,
Эти руки и душу!..

Гастроном

Скушаю. Скушаю.

Кум

Соловья баснями не кормят.

Другой

Ну, сказал... это ты, брат, того...

Свояк

Не ссорьтесь!

Кум

Во! Во!

Девка плачет.

Гастроном

Нютка, не хнычь ты!

Девка

И некого вспомнить...

Слепой

Врешь ты! Маленькую спичку
Очень ясно помню.

Жена (*входит*)

Дайте старенькой кумушке
Одну рюмочку!

Поэт

.....

Жена (*гладит поэта по голове*)

Эх ты! мальчик!

Въезжает на креслах взвод паралитиков.

Паралитики

Вот на чай... спасибо... спасибо...
Прибыли
Поклониться младенцу светлому,
В муке зачатому.

Кум

Здесь не детский приют, не аптека!
Чаль обратно!

Паралитики

Мы руками-ногами не двигаем,
Мы не маемся, мы не прыгаем.
В этих бархатных креслицах —
Посмотрите-ка! —
Очень вольно и весело
Молодым паралитикам!
От своих раздолий
Мы приплыли к новому дитяти.
Вечной страде, кровной боли
Поклоняться!

Жена (*умирая*)

Били мою спину
Тонкой хворостиной,
Били потом
Шелковым кнутом.

Резали кожу
Золо́тым ножиком.
Я стояла — не пикнула,
Прислонившись к стене.
Только радость великая
Подымалась во мне.
Бей! Бей!
Ну, еще! Еще!
Слышу рокот Божьих голубей,
Вижу свое старое жилье.
Но любовь с души не сходит.
К дальним трубам я глуха.
Привелось и мне сподобиться
Человечьего греха...

..... *(падает замертво).*

Господин

Здесь не врача, не попа, а полицию!

Хозяин

Господа, прошу посторониться.

Кум

А баба-то была на сносях...
Вот грех!..

Свояк (*глядит в окно*)

Ну, нынче осень!..
Не то дождь, не то снег.

Поэт

Не свершилось!
И его увела она...
Обожгла только волосы страшная милость...
Послушайте, еще вина!

Девка (*всё плачет*)

На кого ты оставила свою Нюточку?..
Ух, поганая я! беспутная!

Лакеи (*хором*)

Свят! Свят! Свят!

Кошка

Утопили трех котят!
Я носила их!
Я рожала их!
Я кормила их!
Я лизала их!
Утопили, утопили всех!

Свояк (*у окна*)

Ну и погодка!
Не то дождь, не то снег!

Сентябрь 1915

319. ЛЮБОВЬ

Вчера на улице шальная девка
Пела под моим окном:
«Ах, Иван Васильич, очень метко
Вы меня хватили кипятком!
Я несла вам душу цельную
И корзину ягод.
Вы не посмотрели,
Да "не нужно!" да "не надо!"
Душу отдали печали,
Ягоды ногами перемяли —
Всё лукошко,
Не ногами, а хорошенькими ножками...
Песик милый, куш!
Ты не двигайся!
Много проходило всяких душ,
Оборачивались и подпрыгивали.
Никто не взял...»

И пес, свернувшись, у ног лежал.
На руке обваренная кожа
Первородной краснотой красна.
О любовь моя! моя надёжа!
Ты ко мне приведена.
Что же мне на свете слаще
Этой мерзлой твари,
Голосящей и болящей
На пустом бульваре?

Как и где?.. Но это было!..
Ты в растравленную плоть,
Умирая, заложила
Нескончанную любовь!

Июль 1915

320. ОТТОРЖЕНИЕ

Дочь моя бежала ночью из дому,
Уходя не погасила тоненькой свечи,
Не простилась с близкими,
Ветру говорила — обо всем молчи!
И она бежала голая, с большими косами,
Вдоль колючего кустарника скользила.
(Господи, откуда сердцу, чтоб погибнуть,
послано
Столько силы?)
Были не поля — а ровные квадраты,
Были не молитвы — веские слова.
Никакого рокового знака
Ей не подала ночная синева.
Целовала дочь моя израненные ноги,
Пала на колени,
Сердце биться не спешит...
Вот оно звенит в траве, торжественное
отторжение
И ее печали, и ее души...
Дома было тихо в этот вечер.
Я принес с реки кувшинки и траву плакун.
Спать легли и погасили свечи,
Но не спали, было сердцу нечем
Оградить себя от ночи и от дум.

Май 1914

321. ПОСЛЕ РОДОВ

Кошка мурлыкала у теплой печи.
Часы на кухне тикали.
Боже, страду ее облегчи!
Помолилась, завыла и пикнула.
И всю ночь раскрывали святцы,
Выбегали на улицу, собирали старух.

К утру
Он уже мог говорить и смеяться.
Собрал бабок завялых
И, спросив, все ли здесь,
Сказал он:
«Что же — я есмь!
Приятный,
Голый и в пятнышках.
Всё весьма прекрасно в мире —
Папа и мама, весна и осень,
Дважды два — четыре,
Шестью восемь — сорок восемь,
Шестью восемь — сорок восемь,
Пятью пять — двадцать пять.
Поживу, а после
Стану помирать!»

Мать на кровати
Слушала плача.
Бабки поклонились ему и матери
И пошли на крыльцо судачить.

А девушки напрасно свечи зажигали.
Жаркий пламень быстро отцвел.
И никто, и никто не пришел.
Только воск обжег их легкие пальцы.

Август 1915

322. ОТХОДНОЕ

Ночью тихие грехи,
Один... и ни слова...
Нельзя же вечно «апчхи!»,
— «Будьте здоровы!»
— «Вы какие? Турецкие?»
— «А я кри-кри, а я фру-фру»...

Знаешь, это звучит по-детски,
Но теперь я скоро умру!
Это знает моей сосед,
И лекарь грек,
И барышни в «Ротонде»,
И колокольчик конки.
Это знает и тот плюгавый,
Что в моем ведре плавает,

Кричит: «Не сливай, а то залаю!»
Это все знают, только ты не знаешь.

Но ты знаешь, как я жил раньше,
И «Я живу», и «Одуванчики»,
И то, как я лаял малость,
И то, как лай мой ты слушать устала,
И сказки, и ласки, и ночи, и очи,
И прочее, прочее, прочее...

«Знаете, этот поэт-то помер!..»
— «Да что вы? Ну, комик!»
— «Все умрем». — «Попробуй — умри!»
— «Умру».
— «Кри-Кри!»
— «Фру-Фру!»

Где же ты? Уж кричит петух.
Пот сотри! Облегчи тоску!
Дай мне разрешенье!

«Послушайте, одно из двух:
Или кричите кукареку,
Или пойте хорошенько,
Вот, как я пою:
— И раба твоего Илию...
Послушайте, вы снова?..»
— «Будьте здоровы!»

Ноябрь 1915

323. ПРОБУЖДЕНИЕ

Зарекался я не любить.
Уходил на опушку
Помолиться, забыться и со сна раздавить
Комара или мушку.
Кто-то письма пишет, свечку ставит,
Хочет быть, хочет слыть.
Мне же нравится
Мух давить.

Но на склоне грозового дня
Кто-то поднял, растолкал меня:
— Я водырь, клонись и падай!
Княжич боли и труда.

От моей любовной страды
Не укрыться никуда.
Жизни новой, жизни горшей
Нерадивого учу!
Что же ты морщишься?
Дай немного я тебя пощекочу.

Побрыкайся, поиграй,
А потом полежи —
Этот маленький рай
Ты еще заслужи!

Август 1915

324. ПОВЕСТЬ О СТРАНСТВИЯХ БЛУДНОЙ ДУШИ

М. А. Волошину

«Брама сказал: одни придут ко мне путями подвига, другие путями страсти, а третьи путями усталости. Тихо улыбаясь, еще сказал Брама: и путями усталости придут все».

Индусская легенда.

1

ПУТЯМИ ПОДВИГА

В тупике от весны притворной
Плачет снег такой захватанный.
Запах иодоформа
Густой и сладкий.
Канарейка, желтая птичка,
Куда улетишь ты от этой весны больничной?

Кривоногая девочка, жалобно бегая,
Мне отдала леденец.

И одна осталась средь мокрого снега
Греться...

«Подайте бедной греховоднице
И трем волчатам!
Удалось и мне сподобиться
Смертного часа.

Согрешила я в темной берлоге,
Захотела напиться.
А зверь стерег дороги.
Удалось сподобиться
Старой греховоднице,
Обомлеть, напиться,
Да не той водицы.
Болят мои груди сохлые,
Истомленные
От укусов волчьих.
Не молоком кормлю я детенышей —
Жёлчью.
Два сосут, а третий подвывает,
Воет, сын греховный, кается:
Подайте, люди добрые, подайте же
Старенькой, голодающей».

Зачем вы пустили Евочку
Гулять среди Божьих роз?
Церковь девьего гнева
Глядела на воды, на выгнутый мост.
Двенадцать месяцев тихо
Творили долг и обет:
Пахарь сеял пшеницу,
Собирал ее легкий жнец.
Но древний камень был мягок
На губах блудливых химер,
С них серую, мутную влагу
Обтирал убывающий серп.

Ему не дожить до рассвета.
Напрасные башни завяли.
Только белое тесто пекаря
Всходит в темном подвале.
Во имя Отца, Сына и Святого Духа!
Гибну, как болотная тварь, как муха.
Засмеялись трое, и мудрый мне предал
Белое тело, тело из белого снега.
Но мой укус обагрил навек
Новый, нерадостный хлеб.

Те же рахитики — хилые дети —
Пели и плясали в отдельном кабинете.
Лакей водрузил обрядные ясли,
Голенькую девочку на солому уложил.
Лампы пыльные очи погасли,
И больше не было сил.

Я могу играть на гитаре,
Я знаю так много хорошеньких арий.
Мне очень легко и весело,
Только снимите с груди ее крестик.

Я, рукой зацепив, разбил бокал.
Властно и просто
Старик меня кинул на пол и взял,
Меня, бесноватого!..
Говорю вам — я новое горе зачал.
И ты, жена, вой, как собака,
На девять лун.
Они взойдут, насытятся, ущербные умрут,
Под моря шум,
Под стоны девьих вожделений,
Которых не накормит в эти дни никто.
Они умрут — их будет девять...

Ваше племя,
Как золотой клубок, уснет и расплетется,
Разроет землю и в ходы уйдет.

Но я в себе ношу великого уродца,
И это тот.

Вышел за город и книгу
Божьих правил раскрыл средь ночи.
Не видно букв.
Я разделся и с кочки на кочку прыгал.

Камнем кинул в белую утку.
Закричала утка: «Как ты? как ты?
На реке кричат утята.
Кто напоит, кто накормит?
Кто же, бесноватый, кто же, кроме черта?»
Всё равно. Прилег, свернулся...
Как ты спишь?..
Я к тебе придвинусь — рядышком теплее, лучше...
Он рождался гол и рыж.

Я рожал, и было нечем
Плоть разверстую унять.
Был я — мука, был я — нечисть.
И земли кровавой хлябь
Отстранялась, разбегалась.
Я вопил, и сотни душ:
Птичьи, песьи, жабьи души —
Не внимали жалобам,

Не хотели нового зверя.
Только маленький уж
Приполз, изогнулся, долго слушал.
И поверил.

Сначала вышли волосы, рыжие, как солнце.
Но солнце не грело, не росла трава,
И плакали сонные гады.
Потом голова
И очи белые, как туманы,
Губы, покрытые мутной влагой.
Но женщины не внимали больше речам змеиным
И, вопя, убегали с брачного ложа.
Потом показалось тело серое, как земля.
Но озимь увяла, облысели равнины,
Их вялая кожа
Виновато повисла.

Одно небо
Твердое еще чуялось вдали.
Еще оставалось небо...
Он показался, и ног у него не было.

Рожденный без ног, но с дудкой
Крови сказал — отойди!
Поймал подшибленную утку,
Выщипал перья
И нежно прижал к груди.

Кровь потекла, как река, и на берег
Пришли голодные погорельцы —
Ребят унимали, смотрели
И пошли в той реке купаться,
Каяться, пресмыкаться.
Всё сгорело — от церкви до люльки,
А сердца раскрылись в огне...
А кровь застилала стекла
Домов непристойных, где в темном разгуле,
В огненном свисте, в хрипе и в сне
Закланные жены, не смея поверить,
Под дальние плачи тапера
Встречали рожденного зверя
Вскриком тоски и восторга.

Он же к мокрому рту прижал свою дудку
И, кровью поя отходившую утку,
Мертвых младенцев, растленных старух
Звал на последний суд.

«Приходите, для всех отверсто
Мое царство,
Белый голубь выклюет сердце
У самого страстного старца.
Коту, что ходил и мяукал,
Хворой роженице —
Я говорю вам:
Древнее горе прожито,
И вашу скуку
Вырвет он огненным клювом.
Соль ваши раны разъест,
Оплетет ваши груди спрут.
Мечу — ныне не крест
Ставлю я — круг!
Глядите, вы все удостоены
Сплести ваши руки.
Пляшите же, каждый по-своему,
А я поиграю на дудке.
Поиграю, безногий,
О приспевшей свободе...»

Ах, чьи это писки по миру носятся?
Принесли они ладан и золото.
У бедного бога вырвали волосики,
Кололи его груди тонкими иголками.
Запевала верная вьюга.
Они любили и вновь воскресали.
На сердцах, как на жарких угольях,
Младенца они пытали.
Увял он, распался. Осталась дудка,
Простая — из жести.
А пар ушел в поднебесье.

И белой пшеницей рассыпалась скука,
Зерна собрали, смололи.
И, крича, как зверье, от боли,
Ела тот хлеб ненасытная мать,
Чтоб снова болеть и рожать.

А мне остался послед,
Плоть от моей плоти.
Тот же отрывистый снег
Порошил мои тихие ночи.

Там, на святом богомолье,
Купаясь в горячем ключе,
Маленькая, голенькая
Скрывала рубец на плече.

Ее лечили легкими вздохами
Божьих приспешниц
От гиблой, от тяжкой похоти,
Самую страшную грешницу.
Ибо в утро марта
Шел пламень от детских уст
И значился, темен и жарок,
Старый, забытый укус.

Хотела поставить свечку за гривенник,
Да не знала, как звать сыночка по имени,
Милого гаденыша,
Розового, незнакомого.

Ах, наконец-то уснули...
И воздух она качала,
Качала, как малую люльку,
Качая, она напевала:
«Спи, сыночек, спи, детеныш мой,
Холодно тебе там, некрещеному.
Погрею тебя своей грудью,
Ты кусать ее зубками будешь.
Укуси еще раз, озорной.
Хорошо ли тебе измываться надо мной?»

2

ПУТЯМИ СТРАСТИ

Ратники шли.
Но гнев их был мнимым,
Горе не первым.
Земля разбегалась трясиной,
Не познавшая ныне поступи рослой,
Железной слезы крестоносца.
Не жаворонки реяли, не вороны —
Птица из стали!
Сердца без семи мечей!
Только овечье облако
Над желтыми просторами
Поило темный ручей.
Ямы, вырытые черным бесом,
Наполнились кипящей водой.
Ты, ратник, ею пои невесту!
Пахарь, пой!
Пой веселые песенки
Над полями весенними,

Как взошли эти крестики
Из забытого семени.
Мало нам смертного страха...
Сей же, сей же, пахарь!
В дыму июльских кадильниц
Всколосятся посевы.
Нам не коснуться жатвы обильной,
Только девам
Будут даны цветы зачатий —
Шалые маки.

Напоите ратников,
Шлите им одурь,
Желчью приправьте хлеб,
Кровью окрасьте воду!

О, трепетных сердец метель,
Проросшие обиды!
Казалось, вынесут на паперть
Древнюю купель.
И оглашенные изыдут.
Простоволосый придет,
И дитя возьмет на косматые плечи,
Диво вод он расплещет.

Ловите их скорей и пейте!
Они бегут по площадям,
Они — божественные змейки
Не закрывающихся ран!

Но слева страдальная не напоит
Старой клячи у двери бойни.
Не застынет она на губе обиженной
Розового свежего подкидыша.

Лишь в церкви вековые страсти
Изнемогающих окон
Сердца причастниц
Пронзили солнечным копьем.
Вдовы за собой влачили
Черные сухие ливни.
Мать, на паперти,
К толпе тянула пальцы,
Горем исколотые, тонкой иглой.
Вы, бархатные пчелы, жальте
Матери сердце!
Но свеча напрасно тает,
Не согрев Христовых ног.

И на камне застывает
Желтый воск.

В ночи исповедален
Цепляются за тени свеч
Скитальцы
С унылых палуб.
(«Отец, был пышен полдня зной,
И роза быстро опадала,
Подточенная быстриной!»)

Как безысходны наши церкви!
И на одной из стен
Мученик держит
Свою голову,
Отсеченную мечом,
Держит тлен.
Уж девять раз воскресло сердце,
Не умудренное ничем.
Шепчут вдовы, шепот вдовий...
Бедный, как тебе сиянье не идет —
Пеликан, кормящий кровью
Умирающих птенцов.

Чую сквозь штору дух горячий:
Не голубь — ястреб хочет меня оборотъ.
Бедная ты, новобрачная,
Идет ночь!

Кто-то поет вдалеке:
«Глупый, не кайся,
В золотом гамаке,
Как и я, покачайся.
Я не на небе.
Я не в аду.
Кувыркались черные медведи
В моем, на ниточке подвешенном, саду.
Испугали беса, испугали ланей,
Маленьких стыдливых ангелов.
Захватил я воду,
Поймал огонь.
Иди ко мне,
Как он ответь:
Чур, Господи, не тронь!
Дай без Тебя умереть!»
И, откинув шторку, ближе
Скукой утра дышит...
Отойди — не вижу!
Отойди — не слышу!

Каюсь:
Никогда во мне не было столько жалости,
Никогда душа моя так не надрывалася,
Как над ним, над бедненьким,
Над несмышленым.
Ах, зачем вы его пытаете обеднями,
Величаниями, канонами?
Уложите в теплую колыбельку
Его бедное истерзанное тельце!..
...А тебе, отец, в этой жалости каюсь я.
Накажи меня, как полагается.
Мой язык блудит еще с младенчества.
То бабой завою, то зачирикаю птенчиком.
Били, лечили меня...
Господи, да будет воля Твоя!

Сказал отец: «Ты — головастик!»
Стал я гадом, заплакал, заквакал.
Среди белых причастниц,
Он раздавил эту пакость.
И сказал самой юной —
Выйти из церкви
И три раза на землю плюнуть.
Пели певчие голосами пристойными
О победе, дарованной правому воинству.

Навстречу мне бежал безумный Иудей,
За ним его дети, плача.
Старший, моложе, еще моложе,
Младший и самый младший...
Сколько, о, сколько детей
У тебя, безумный Иудей?
Он из Ливорно.
Птенцы остались без корма.
Клевали ему глаза,
Глаза Иудея,
Которых никто не имеет.
Глаза Иудея, два глаза,
Средь вспухших век,
Горя былого алмазы.
Кто шлифовал их,
Не воя, не плача,
Без жалоб,
Только так, покачиваясь,
Раскачиваясь?..

«Ныне девятое Аба.
Я разрушу тела ваши!

Сотни храмов!
Мой плуг заново вспашет
Ниву Адама.
Зовите всех!
Дайте сердца!
Заплатите за грех!
Я говорю вам — проклятый всеми,
Всяким зверьем и всяким племенем!»

Дети испуганно цеплялись
За полы сюртука, за сухие острые пальцы.

«О, Вавилона прощальные реки!
Плачь, Сарра, тесни вкруг себя детей.
Отныне один я, один на свете,
Один Иудей.
Плачь, Сарра, и воды пепла пей!»

Рыжий Иудей зашел в тумане.

Я купил апельсин и пошел в баню.
Позвал бабу, разделся и начал мыться,
Париться,
Разомлел я.
Красная общипанная птица,
Куда ты лететь хотела?

Вынул апельсин,
Сказал ему: «Ты мой господин!
Желтый, ровный, круглый,
Тебе поклоняюсь!»

Женщина заплакала, ушла в угол.
Я сказал ей: «Не плачь, похлещи меня веником».
Божья заложница! Нежная пленница!
Пена мыла текла кровавой рекой.
Был вечер и был покой.

3

ПУТЯМИ УСТАЛОСТИ

На площади бил горячий ключ,
Из тайников пораненной кормилицы
Привезли икону.
Тонкий луч
Заплясал в автомобиле.
А старые бабки крестились,
Говорили о нежном отроке Гаврииле,

Убиенном врагами разными.
(О, как смотрят грустные глазыньки!)
Взметая прах,
Разъедая камень,
Ныне отрок плачет о наших делах
Жаркими слезами,
Но слепой не видел струи.
(Тяжелы, Господи, изворотъ твои!)
Острая палка стучит по асфальту,
По мокрой и горькой печали.
Для него рыкали золотые тигры,
Пролетали пауки и гидры.
Черный слон
Рушил хоботом закатный небосклон,
И далеко, друг за другом,
По песку ступали тяжкие верблюды.

«Есть у Бога преисподняя,
В ней четыре разделения,
В каждом сидит по одному угоднику
Во всем его святом облачении.
Обвивают их черти
Красными крыльями,
Поют им о смерти
И о Божьей милости.
“Как вы, угодники, жили?
Как вы, угодники, к нам угодили?”
А ты не зевай,
Зевнешь — перекрести рот,
Кто зря зевает, тот в рай
Никак не попадет».

Так пел слепой
Перед буйной толпой.
Тихая радость
Шла на нас.
Жадно лобзал я белые ягоды
Его уводящих глаз.

Пьяная дама
Ему кинула новенький гривенник
И запела: «Осанна! Осанна!
Грядите, невинные!
Ибо в вас веселье таится
Горной зелени,
Голубицы, над нашей станицей
Подстреленной».

Мы сидели в ресторане.
Маленькие букетики задыхались перед нами.
И взывали голосами тайными
Розовые попугайчики.
Я глядел, как она ела,
Как лениво клевала с белых тарелок
Зерна тоски и лени.
Рядом другие...

(Ибо время
Первых звезд
И разговленья.
Короток пост
Человека.
Когда сыро и душно,
Впившись в подушку,
Рыба ждет, пока кинет сети
Меткий рыбак.
Тяжелые веки,
Приспущена лампа,
И напрасно стоит на часах
Засыпающий ангел...)

Мы лениво когтили мясо,
А рядом, за чашкой кофе,
Младший
Сидел, огромный и красный
Подрядчик,
Пальцем давя фиалок пучок,
Другую руку положив на живот,
И звякал брелочек нежный
(Вера, Любовь и Надежда).
Возьми еще букетик.
О, первым вошедший в рай,
Маленьким цветиком
Ты поиграй.

Со мной сидела достойная
Дева бесплодных нив.
Я венок зверобоя
На нее возложил.
Возложил я тяжесть
Всех болеющих жен.
(Боже, Ты ей укажешь,
Как жить с этим новым венцом.)
Была душа моя до срока
Одинока,
Пока не встретил тебя ошалелой.

Кинул псу твое девье тело.
Теперь себя блюду от скуки,
Душу не проиграю в кости
Какой-нибудь слабой старухе
На перекрестке.
Ты, моя родимая,
Моя единая,
Для меня, для одного, для невинного!..
Она в зеркале любовалась венком.

Пел вдали граммофон
О каком-то старом капитане,
Пристававшем к даме.
Она тоже на первой пристани
Навек простилась с близкими...

Дай за это сердце голое
Хоть одну крупицу золота!
Свесил.
Как мало!..
(Новой невесте
Ничего не осталось.)
Рыжий стоял с весами
И сказал: «Отдай свое сердце на закланье,
Как сына,
Отдай и уйди в пустыню».
Я отдал, он взял, засмеялся.
И, видно, стало ему так меня жалко,
Что за сердце голое
Он отдал всё, что мог, —
Немного безумного золота
Своих опаленных волос.

Весна приспела
Искромсать ее родимое тело.
До пустыни далеко,
Да и идти по оттепели неохота.
За домом пустырь —
Тишь да ширь.

Темное раньше,
Раскрылось мне вещее, грозное.
Осколки, старые банки
Горели — полярные звезды.
Извивался под птичьим клювом червяк —
Нежный брат.
В ночи приходили сородичи милые —
Голодные кошки, собаки паршивые.

В апрельские ночи,
Всё прощая, говея, лизали они мои щеки.

Маленькому подкидышу,
Всеми обиженному,
Я ноги омыл в кадке,
Семь вод сменил,
И от нищей благодати
Сам испил.

Мы играли с милым в мячик.
Если мяч уронил он —
Я попрыгаю, поплачу
Над его грехом.
Уроню я — он поплачет.
Хорошо играть нам в мячик.
Хорошо резвиться с маленьким подкидышем,
Разбегаться, а потом подпрыгивать.
Крикнуть и лицом упасть
В Божью, золотую грязь.

«Ты не пашешь,
Ты не молишься.
Накормлю тебя Божьей кашицей
И прижму к себе голенького.
Прошел окаянный
По двору,
Вся земля поросла бурьянами,
Травками подлыми.
Дай поставлю тебя, как икону,
Боженька,
Поцелую твои обретенные
Темные ноженьки!»

Февраль 1915

325. ОТПУЩЕНИЕ

На Страстной неделе,
Когда бабки, млея, говели,
Когда отдавали земле горячей и прелой
Великую дань — Его тело,
Когда реял запах масла постного
И редкий глухой перезвон —
В саду, у высокой березки,
Я крысу убил сапогом.

Под корнями
Пели крысы жалобными голосками
О своем весеннем покаяньи.
Прибегали, убегали, землю разрывали,
Убывая в глубину,
Свету тихо отпускали
Темную вину.

Март 1915

326. РАССКАЗ ОДЕРЖИМОГО ОБ ЕГО ГРЕХОВНОЙ ЖИЗНИ, О МАСЛЯНОЙ В ГОРОДЕ РИМЕ И О ДИВНОМ МУЖЕ, ЕГО ИСЦЕЛИВШЕМ

1

До сорока лет жил я не плохо.
После блинов только охал.
Баба моя была в теле,
Так что каждую ночь радели.
Но пришел я раз домой, утром по надобности —
Вижу, кто-то с моей бабой рядышком...
Оба голые,
Да румяные, да веселые —
Видно, жарко было им вдвоем...
Ну, я малость поработал топором.
Отходя, сказала жена мне: «Николушка,
Покрой меня, чтоб не предстать голой-то!..»
Закопал я их вместе, в мучном мешке.
Вот любитесь-ка теперь на холодке!..
С того дня не брался за работу.
Сучек на дворе травил. Пил водку,
Стал в избе точно дух крысиный,
Тесно стало от трупного дыма.
А пред самой Пасхой
Подошел к печи один мордастый.
Понюхал кругом да как хлопнет меня по спине:
«Что, Николай, идем, мол, ко мне!
У меня есть всякие бабы —
И как твоя, и девочки слабые».
Сам в тулупе, только нога — не нога,
Да под картузом здоровые рога.

С той поры я начал квакать, прыгать —
— Господи, зачем меня Ты выдал?
А он смеется: «Раскис ты!
Богу нужны не такие — чистые».

Бросил дом, пошел из деревни в деревню.
Ел только падаль да мокрую землю.
Как-то распух я!..
Только увижу бабу — девку или старуху, —
Знаю: начинается.
Икать — не икаю, зевать — не зеваю,
А томление внутри и страшное пламя,
Так что кидаюсь на брюхо, землю рою ногами,
А он смеется: «За ум возьмись ты!
Бабу чего упустил? Богу нужны только чистые!..»

Гвоздь всадил в себя. Зимовал в норе.
Был и в Киеве, и на Святой Горе.
Схимник меня видел
И мордастому кричал: «Изыди!»
А тот смеется: «Я рядышком,
По известной ему надобности!»

2

Осенью пошел я через реки, через горы —
В город Бар, к Николаю Чудотворцу,
Шел я долго, средь зева и блуда,
Миновал Валахию и Угрию,
И, пройдя по многим землям иным,
К масляной пришел я в город Рим.
Окружен был тот город огнями и змеями,
И вершились в нем ужасные деяния:
Были у всех расписаны рожи,
На моего-то мордастого очень похожие,
И у многих рога приставлены, и бодатые,
И телеса свои они не прятали,
И козлов они в церковь тащили,
И шерсть их святой водой кропили,
И многие жены открывали свои прелести,
И монахи на сие в умилении смотрели,
И на холму сидел их старший отец,
И он пил вино, и он ел хлеб,
И с ним восседала моя голая супруга,
И упал я в корчах от сильного блуда.

Сказал отец: «Приведите Иудея, самого бедного,
Пусть он, нехристь, ради праздника побегает!»
Привели одного, очень тощего,
Перед всеми раздели на площади.
Жена и шесть детушек плакали:
«Как же ты будешь бегать, папенька?»

Он же отвечал: «Как бегали другие...»
И сказал еще про мудрого мужа Иова,
И заплакал, обнимая меньшего сына:
«Жить тебе! Жить средь людей!»
А потом по валу, вкруг города Рима,
Рысью побежал тощий Иудей.
Поравнявшись с церковью Апостола Павла,
Тихо пикнув, упал он.
Мычали рогатые, зажигали факелы.
Умер Иудей.
И вырвались из домов блудные матери,
Отдирая младенцев от своих грудей.

Я дошел до ворот и упал на камень
И до ночи лежал без памяти.
Смеялся мордастый, сказал мне город Рим:
«Что, Николай, не ты один?
Все мы!» и еще сказал мордастый:
«Погляди, какой я добрый и ласковый!»

3

Встал я. Огни горели еще.
И предстало предо мной непостижимое зрелище:
Над церквями летали полчища мошек,
Из болот прискакали рогатые лошади,
Змей приползло к воротам мерзкое племя,
И горели их кожи, словно редкие каменья,
Были пусты поля от тряской хвори,
И дымилось вдали кипящее море,
На валу, на домах, в желтом поле
Один за другим пробегали голенькие,
На челах их горели венцы многолучные,
И были они подобны мученикам.
Впереди бежал некий дивный Муж.
Я взмолился: «Княже наших душ,
Порази меня, собачьего сына!
И сожги на адском огне!
Но со мной всех бесов города Рима!»
Он же ответил мне:
«Видишь, мои очи — как осень,
И они от слез болят.
Бедный, о чем ты просишь?
Это — ад!»

Спросил я Мужа: «Но после смерти
Меня, мою бабу и всех наших,

Кто с рогами и в козьей шерсти,
Какому огню предашь ты?»
И ответил Муж: «Видишь росу смертного пота
И каждую язву мою?
Всякий, кто жизнь отработал, —
В раю!»

Я начал прыгать и биться,
Его речами смятен.
И еще спросил я: «Как тебе молиться?
Скажи, каков твой закон?»
Заплакал Муж: «Видишь венец терновый?
Сердце в огне? И сердце в крови?
Тебе одно мое слово:
ЖИВИ!»

Ноябрь 1915

327—332

1

ПРОСТИ МЕНЯ — БЛУДЛИВОГО

Утром не было письма.
Тело было бело — белей бельма.
Качал стул.
До обеда три раза зевнул.

Сколько? Четыре? — Четверть пятого —
Как рано!
(И мухи, и патока)
Я глазами прощупал сквозь блузку — ага! Что-то новое...
Со скуки разве попробовать?
На диван присели.
...Как мухи засидели Боттичелли!..
Ку-ку, Венера,
Нашла кавалера?
Знаешь, милый, нет дня —
Поцелуй меня!
Знаешь, так лучше, не надо огня —
Поцелуй меня!
Я люблю его! Господи, неужели как всех?
Господи, грех?
Знаешь, это дудки!
Не затем диван.
Грудки твои, грудки
Точно марципан.

Цепляемся за руки, за волосы, за плечи! О, Владыко!
Выплыть хочется! Выплыть!
Не надо! Слышишь! Не надо!
И падаем!..
Так птица с дробинкой в груди падает в землю,
упершись крылами,
Так падает в воду — камень,
Так падает старый бродяга, прикончив четверть,
в последний раз,
Так падает час!

От тел горячих этот запах терпкий.
Господи! Трупы простертые, смотрим мы в око смерти!
И как плиты чужие плечи.
А сказать друг другу нечего!

Милый, где мы?
У меня. — Отвернись, я оденусь!
Не глядел ей в глаза. Страшно!
Я знаю всё, и какая на ней рубашка.
Выпил три кружки пива.
Господи, прости меня, блудливого!
За то, что я спал в детской кровати
(С сеткой). Касался плоти матери.
За то, что в тринадцать лет я плакал,
Не в силах понять твоего знака.
За то, что я ночью бегал — лицо мокрое —
И щипал свою грудь, щипал до крови,
За то, что делать — просто делать нечего,
И с четырех так долго еще до вечера,
За то, что я пил пиво,
За то, что я блудливый,
Прости, прости меня, Господи!

2

ПРОСТИ МЕНЯ — БОГОХУЛЬНИКА

Тик-так.
Вот так так!
Сосед где-то прыснул, фыркнул, харкнул.
И сладкий запах лекарства.
Глупости! Просто
Сосчитаю до ста.
Двадцать, двадцать пять...
Страшно помирать.
Двадцать шесть...
А если что-нибудь есть?..

Помирает сыночек.
(Ночью, всё ночью!)
Тридцать девять и восемь.
Доктор, просим! Просим.
Господи, вот его повозка,
Шапка матросская.
«Адмирал».
Он в «Адмирале» только «А» знал.

Ну-ну!
Видно, сегодня усну.

Помрешь — будет скверный дух,
Вырастет из тебя лопух.
А в гробу жить хочется.
Волосы растут и ноготочки.
Уж кричит петух.

Хорошо бы угостить конфетами дюжину старух,
Показать им, на прощанье,
Как приятно баловаться в бане.

Я не плачу —
Я кричу по-поросячьи,
Так визжал Петр: «И! и! и!
Твои и мои и твои!»
Так визжит мать в ногах у профессора. «Лучше?»
— «Сударыня, надейтесь, бывают случаи...»
Так визжит кошка: «Ой-я, ой-я!
На помойке, на помойке!»

Кончено.
Лучше хлебнуть коньячку, а потом лимончиком...
Эта икона какого письма?
Какого века?
Экземпляр! И триста — недорого это...
Какая наивность!
Простите — перебил вас, вы коньячку или пива?

Озирис. Будда. Христос.
Позвольте, один вопрос —
Будет или не будет
Хотя бы сковородка?
Господи, за что Ты?
И сил больше нет...

Что сегодня на обед?
Хе! Еще поживем на этом свете.
Скажу вам — паштетик!
В раю и на стуле.

Господи, прости меня — богохульника
За то, что я, похоронив в саду Жучку,
Оглянулся, сказал: «Ничего нет и скучно».
За то, что любишь загадки
И с ними играешь в прятки.
За то, что я кричал: ау! ау!
За то, что я еще живу,
Не оставив записки: «Засим довольно,
Погуляли, никого не нашли и уходим по
доброй воле!»
За то, что ночью уговаривает маятник —
Так всё начинается, так всё и кончается.
За то, что я, как в раю, на стуле,
За то, что я богохульник,
Прости, прости меня, Господи!

3

ПРОСТИ МЕНЯ — ПОЭТА

Заберусь в уголок,
Напишу стишок.
Размечтаюсь, покаюсь,
Затоскую.
Но «Христа» и «креста»
Обязательно срифмую.

Дай мне тот платок вязаный!
Знаешь, это покойной... Сегодня что-то вспомнилось
разное...
Посиди со мной! Так здесь невесело...
Помню, у нас дома была под лестницей...

Обожди — платок! платочек!
Очень хорошо! очень!
Тише! тише!
Два четверостишия.
Тебе лучше не жить,
А то, а то я теряю нить.

Я его хлестал, по щекам хлестал,
И он закрыл свои щеки руками:
«Довольно!»
Но я писал.
Она умрет.

Посвящу мою книгу великой печали,
Отшедшей музе и так далее.

Я мерзость чиню пристойно.
Так делили твои ризы воины,
Так за рубль продают серебряный крестик,
Так воют шакалы, на мокром месте,
Так плакальщицы идут за покойником
И стыдливо смотрят вниз.

Эй, дай мне клок его риз!
Вечерние тернии,
И гвозди, и гвозди!..
Вам нравится это?..
Господи, прости меня — поэта
За то, что я прежде не знал, с чем рифмуется «бог»,
И глумиться еще не мог.
За то, что я первый стишок написал почти плача,
Тайком, от любви неудачной.
За то, что я признан «избранными», потом буду
признан всеми,
За то, что у меня к себе только отвращенье!
За то, что теперь я строчу эффектный куплет,
За то, что я «милостью Божьей» — поэт,
Прости, прости меня, Господи!

4

ПРОСТИ МЕНЯ — НЕРАДИВОГО

Вдалеке
Кто-то прыгает.
А я в гамаке
И не двигаюсь.
Дай мне спичку,
И чаю, только с клубничным.

«Жив-здоров, пришли еще деньжат».
Пальцы дрожат,
И как носила, и как рожала,
И как простилась, и как не стало...

Ни любви! Ни ненависти!
Но вполне беспристрастно!
Вы любите хризантемы?
А я астры.
Впрочем, и хризантемы прекрасны!

Она ждет ребенка —
Женка! женка! женка!
Отрицаю Бога!
Мне мила свобода!

Я поеду поразвлечься
И за ширмами
Поглядеть на бабьи плечи
Очень жирные.

Как поле в год засухи,
Как чрево монахини,
Как в бюро — «Вы за пособьем?
Вот месячные, а вот еще три на гробик».
Запомните это —
Гробик с глазетом!
Как молитва поэта! Как в блудилище семя.
Так велико мое нераденье.

«Папа, хочу тебя скушать!»
Нет, я дам тебе горбушку,
В моем ведении
Недоеденную.

Я безгрешен,
Никого не вешаю!
Застрелил бы я утку —
Не заряжено ружье.
Я растлил бы Анютку —
Да в тюрьме какое житье!

Лучше чистеньким
Заниматься мистикой!
Поминать тебя всуе —
И то пригодится.

Вы хотите крови? Не торгую,
Вот в графине чистая водица.

Лежу в гамаке под ивой.

Господи, прости меня — нерадивого!
За то, что я плакал, прыгал и бегал,
За то, что в первый раз, не доев ломтя хлеба,
Я удивился — не понял!
За то, что пусто в твоем доме!
За то, что, как камень, ложится на сердце каждая книга,
За то, что никто не прощает обиды,
Прости за то, что меня не прощали,
За то, что я нынче зубы скалю
За чашкой чая, под ивой,
За то, что я нерадивый,
Прости, прости меня, Господи!

5

ПРОСТИ МЕНЯ — ЗЛОБНОГО

На подоконнике приятен мушиный лазарет.
У этой крылышка, у этой ножки нет.
С платком на окошке.
Ножки вы, ножки!

Снег скучный, снег белый.
Ты меня рассмешила!
Хорошо бы, если б на снегу задымилась...
«Что ты делаешь?..»
Ах, родимая,
Кровь задымилась бы.

Не твоя — а мушиная.

«Милый, отчего ты заходишь так редко?»
Занят.
«Страшно мне вспомнить про это!..»
А ты сходи в баню.
И я не кричу.
Я молчу.
Так молчат дрессированные грешники.
Так молчат на пожаре головешки.
Так молчат коты, облизываясь.
Так молчат, развернув бонбоньерку «С сюрпризом».
Так молчат после травли усталые гончие.
Так молчат, когда всё, когда всё уже кончено!

Я сегодня выгляжу немного лучше.
Ночью было малость —
Щипал деткины ручки.
Утешался.
Знаете, это от бога...

Господи, прости меня — злобного!
За то, что я грудь мамки зубами кусал,
Но не знал!
За то, что, увидев впервые битую бабу,
Я спросил тебя: «И это надо?»
За то, что без крови и мухе скучно,
А с кровью, а с кровью не лучше.
За то, что сладко пахнут моченые розги,
За то, что ты, а не он меня создал,
За то, что всё ведь от бога,
За то, что я злобный.
Прости, прости меня, Господи!

6

ПРОСТИ!

Ты простил змее ее страшный яд!
Ты простил земле ее чад и смрад!
Ты простил того, кто тебя бичевал!
И того, кто тебя целовал,
Ты простил!

За всё, что я совершил,
И за всё, что свершить каждый миг я готов,
За ветром взрытое пламя,
За скуку грехов
И за тайный восторг покаянья
Прости меня, Господи!

Труден полдень, и страшен вечер.
Длится бой.
За страх мой, за страх человечий,
За страх пред Тобой
Прости меня, Господи!

Я лязг мечей различаю.
Длится бой.
Я кричу: «Победи!»
Я кричу, но кому — не знаю.
За то, что смерть еще впереди, —
Прости, прости меня, Господи!

Ноябрь 1915

333—337. ОБРЕТЕННОЕ

Ирине

1

СКУКА

Я сидел, сидел, свистел,
И не у дел.
И сказал мне черт: «Илюша,
Ты побалуйся.
Есть хорошие игрушки
В каждой лавочке!»

Я купил себе бабу
Румяную,

Положил ее рядом,
Деревянную.
Ай, люли! ай, люли!
Помолились и легли.
Ночью баба просила:
«Согрей ты меня!»
— Милая,
Нету огня!
«Всё пересохло!
Дай испить, *побалуй человека*!»
— Ты хорошая,
А воды-то нету!
Постонала деревянная,
Поскрипела именинница,
Отошла.
Как-никак, а стоила двугривенный...

Я купил себе сыночка резинового —
Розового и невинного.
Хотел покормить —
Нет молока.
Хотел пошутить —
Да одна тоска.
Попросил младенец: «Не дыши!
День и ночь ходи вокруг моей души!
Да обрежь себе четыре пальца,
Чтобы рос я розовый и маленький!»
Я стоял, стоял, да выкинул его в окошко
За ножку.
Плакал он: «Папа,
Куда ты меня кинул?
Очень уж гадко
Резиновому!»

Приобрел картинку божественную
(По случаю),
Повесил ее на самом видном месте,
Да стало скучно.
В кабак пошел, вина взял
И больше ничего не покупал.
Сидел, свистел,
Так — не у дел.

«У кого есть хвостик,
У кого — рога.
Приходите в гости,
Дам вам пирога.

Родила Ненила
Старый барабан.
У меня бутылка
И еще стакан.
Всё мне только дунуть,
Всё мне трын-трава!
И растет на тумбе
Песья голова».

Прискакал тогда ко мне
Горбачок на огненном коне.
И в мыле конь тот был,
Через кровь земли он преступил.
Засмеялся горбатый: «Ишь ты!
. . . . . .

3
ЛЕНЬ

Копаю норы,
Смерть окликаю, —
Ты, *нескорая!*
Что ж ты там маешься?

Приходи плясать
На мою кровать!
Целоваться взасос,
Даром что нынче пост!
Вырыл нору — смерти нет,
Лишь земля да талый снег.

Попался червяк дождевой,
Я раздавил его сапогом.
И он двигал хвостом,
И он двигал головой.
И молила голова: «Где же хвост?
Он со мною! Он со мною рос!
Матерь Божия, *нельзя так,* заступись!
Как бы нам срастись, опять срастись!»
Сколько ж биться, виться?
А у Спаса хоронили плащаницу.

Голосила баба: «И как шла я голая,
И как начали на грудь садиться оводы,
И один как присосался к сердцу-то,
И ему говорю я: “Смертушка,
И не гладь, и не трожь — не кукушка я,
Детки небось не кушали”»...

Делать нечего,
Пошел к речке.
Кинулся в воду —
Вышибло назад.
Подлая,
Как же ты так?
Ты глубокая, ты лукавая,
По тебе рыбы дохлые плавают,
И снует в тебе всякая нечисть,
Что же не берешь ты тяги человечьей?
Очень хочется с жары покупаться,
Раками заняться
Да зарыться в гниль и в муть,
После *всяких дел* соснуть.
Засмеялась вода: «Эх, паренек!
Не пришел тебе срок!»

Сел на фонарь. Стал ждать срока,
Девки спрашивают: «Ты что?»
А я им — *безработный!*

4

СТРАСТИ ГОСПОДНИ

Работящий Рафаил
Первый запросил:
«Шел Он, и не было мочи...
Все мои ночи,
И твои, и вот этой бабушки
Взял Он на плечи слабые.
И то, что я спасался в раю,
И то, что копил ты похоть свою,
И все святости,
И все пакости.
Дымы рая, огни ада,
Вес земли, концы и тягу —
Всё Он на плечи взял —
И пот с Его чела стекал.

Нерадивый, пахал ли ты черное поле?
Ходил ли ты в вёдро голенький?
Строил ли ты тюрьмы огненные?
Носил ли ты цепи угодников?
Помыкал ли тобой сосед?»
И ответил я — нет!

Вторым меня запросил
Тихий Гавриил:

«Бичами летучими, горючими, гремучими
Били Его и мучили,
И плакал Он над твоим грехом,
И над тем, что вот ты сидишь верхом,
Над тем, что устали рученьки грешные
Его палачей и Его насмешников,
Что распятый Он лечь перед ними не мог,
И слезы текли с Его щек.
Плакал ли ты над порченой бабой,
Над каждым хиреющим гадом,
Над святыми за то, что они успокоены,
Над скопцом и над дьявольским воинством,
Над всем, что плачет и что плакать не может,
Над самой ухарской рожей?
Бичевал ли тебя сосед?»
И ответил я — нет!

Грозный Михаил
Возвестил:
«...И пробили гвозди, гвозди крепкие,
Его руки детские...
Чтоб цвели поля и чтоб не было засухи,
Чтобы жали жнецы, чтоб пахали пахари,
Чтоб жены, мертвые в печали,
Жизнь от жизни уделяли,
Чтоб младенцы сжимали ручками слабыми
Груди, точно грозди виноградные,
Чтоб вода в вино претворилась,
Чтоб тоска претворилась в любовь,
Чтоб земля *легче пуха* на сердце ложилась, —
Пролил Он кровь.
Вот твои руки, не знавшие боли,
И на них золотые кольца.
Не черные струпья! Не гвоздиные язвы!
Чужие слезы! Алмазы!
Претерпел ли за тех, что дремлют,
За всю нашу темную землю?
Поил ли ты ночью птенцов бескровных
Не *проточной* водой, но кровью?
Распинал ли тебя сосед?»
И трижды ответил я — *нет*!

Я упал, я лежал в пыли.
Люди ко всенощной шли.
По стволам берез, еще шальных от сна,
Подымалась горькая весна.
Слышал я, как кто-то плакал близко
И шептал: *Воистину! Воистину!*

5

ГОРДЫНЯ

Вижу, баба спит,
Полоса не убрана.
Рожь стоит
Трудная.
Взял я серп, начал жать
Да вздыхать —
Воистину
Буду я чистеньким!
Но гляжу — глазам не верю.
В снопах галочьи перья,
А рожь стоит мудреная
И, ни-ни, нетронутая.
Проснулась баба, меня увидала
И кричит: «Изыди! изыди!
Белопятый, залетный, по имени
Бес гордыни ты!»
В пояс поклонилась хлебу,
Своему бедному:
«Ты прости, что я тебя забыла!
Вражью силу близко подпустила!
Ты из тьмы изведенная,
Моим потом кропленная,
Мужниным, братниным.
Благодати твоей
Поклоняюсь от себя, от мужа, от брата и еще от сына —
Раба Божья Арина».

У кумы помирает меньшой,
Мается,
Банку с махонькой душой
Всё из рук не выпускает.
«Вот возьми мячик!»
Плакать — не плачет,
А вся сухая
И улыбается.
«Вот медвежонок, и волосики мои рыжие...
Ну, я сяду поближе...
Помнишь, на даче...
Возьми мячик»...
— «Мама, я мячик кину туда!
Мама, я мячик кину сюда!»
— «Да. Да. Да».
Пришел я, потолкался,
Врача спрашивал, было *жалко.*
А кума как кинется: «Ты за ним,
Проходи, проходи к другим!

Он ведь мой! Он ведь маленький! Он ведь Коленька,
О твои усы он уколется!
Не хочу понять! Не хочу отдать!
Я *по-писаному* сыну мать».

Выбрал шлюху,
Битую, с скверным духом.
В одном ухе серьга.
Пьяна с четверга.
— Кис-кис-кис!
Оглянись!
«Морду мелом я не мажу,
Да зато бела сама!
Вот как вместе ляжем —
Будет кутерьма!»

Я запел перед ней: «Боярыня,
Очи у вас карие,
Ручки белые,
И вы не кто иной, как Изабелла!»
Обернулась шлюха в сучку,
Хвостом забила, облаяла.
Ах ты, мученик!
Любишь, значит, каяться.
Оглядывались прохожие, кланялись мне низко,
И не знал я, плеваться или посвистывать.
Увидал паука.
Раздавлю его спичкой —
Уйдет вся тоска —
Неприличная.
А паук высоко залез,
На спине его не что-нибудь, а крест.
Лег я тогда в углу *наугад.*
Шел от меня непостижный смрад.
Ногти росли. Время шло.
Ночью темно, утром светлее, а днем светло.
Грыз сухарик
И к печке приползал париться.

6

СВЕТЛАЯ ВЕСТЬ

Снова подошла весна,
Я не открывал окна.
Лежу на кровати —
Форточка и та заперта.
А перед самой Пасхой у квартирной хозяйки
Умерла дочка — Наденька.

Пять годков было, а читала шибко
И умела говорить про золотую рыбку.
Пошел я к гробу, начал скучать,
Первых мух от глаз отгонять.
На столе Надин Мишка,
И платье на ней *выходное* — с прошивками.

Подошел я к окну: ночь-то,
И синий пар надо всем, и плакать хочется...
. . . . . .

Наденька, неужто сегодня?
Как же ты не дожила, родненькая?
Слышишь? Он не лежит! Он встал!
Он тебя опознал! Он *живот даровал.*
Встала детка, улыбнулась *не своей* весне,
Помолчала и потом сказала мне:
«Ты злой раб, Илья,
И темна дорога твоя!
Ты ступай — на базарах
Продавай самовары.
Украдешь петуха,
Выщипаешь перья.
Мыться будешь после каждого греха,
Плакать, прыгать,
Прочитывать разные книги.
Будешь мертв, когда придет весна.
Плюнув, от тебя уйдет жена.
Будешь тыкать соску сыну милому,
А в соске не молоко — мыло.
Тучи лягут, подойдет гроза.
Ты падешь под образа.
Будешь к Богу взывать.
Будешь пыль подымать.
А наутро от Него отречешься
(Утром скука-то!),
Вылезешь кошкой
И замяукаешь.
Поживешь, замочишься, иссохнешь
И, приткнувшись кое-где, подохнешь.
Но тогда, зароки все нарушив,
Все грехи изведав, наконец
Ты предашь Ему страдающую душу,
Возопишь: «Отец! Отец!»
Он тебе ответит: «Да, Илья!
Ныне отпускаю все *Мои* обиды!»

И от радости заплакал я —
Так что правда... Господи, *спасибо!*

Октябрь 1915

338. ПУГАЧЬЯ КРОВЬ

На Болоте стоит Москва, терпит;
Приобщиться хочет лютой смерти.
Надо, как в Чистый Четверг, выстоять.
Уж кричат петухи голосистые.
Желтый снег от мочи лошадиной.
Вкруг костров тяжело и дымно.
От церквей идет темный гуд.
Бабы всё ждут и ждут.
Крестился палач, пил водку,
Управился, кончил работу
Да за волосы как схватит Пугача.
Но Пугачья кровь горяча.
Задымился снег под тяжелой кровью.
Начал парень чихать, сквернословить:
«Уж пойдем, пойдем, твою мать!..
По Пугачьей крови плясать!»
Посадили голову на кол высокий,
Тело раскидали, и лежит оно на Болоте.
И стоит, и стоит Москва,
Над Москвой Пугачья голова.
Разделась баба, кинулась, голая,
Через площадь к высокому колу:
«Ты, Пугач, на колу не плачь!
Хочешь, так побалуйся со мной, Пугач!
...Прорастут, прорастут твои рваные рученьки,
И покроется земля злаками горючими,
И начнет народ трясти и слабить,
И потонут детушки в темной хляби,
И пойдут парни семечки грызть, тешиться,
И станет тесно, как в лесу, от повешенных,
И кого за шею, а кого за ноги,
И разверзнется Москва смрадными ямами,
И начнут лечить народ скверной мазью,
И будут бабушки на колокольни лазить,
И мужья пойдут в церковь брюхатые
И родят и помрут от пакости,
И от нашей родины останется икра рачья,
Да на высоком колу голова Пугачья!..»

И стоит, и стоит Москва.
Над Москвой Пугачья голова.
Желтый снег от мочи лошадиной.
Вкруг костров тяжело и дымно.

Ноябрь 1915
Париж

ДА ПРИИДЕТ ЦАРСТВИЕ ТВОЕ!

ПОВЕСТЬ О ЖИЗНИ НЕКОЙ НАДЕНЬКИ И О ВЕЩИХ ЗНАМЕНИЯХ, ЯВЛЕННЫХ ЕЙ

339. ПОВЕСТЬ О ЖИЗНИ НЕКОЙ НАДЕНЬКИ И О ВЕЩИХ ЗНАМЕНИЯХ, ЯВЛЕННЫХ ЕЙ

И Дух и Невеста говорят: прииди!
И слышавший да скажет: прииди!

Откровение Иоанна Богослова

Тебе и вам,
— ибо воистину
«любовь никогда не перестает,
хотя и пророчества прекратятся,
и языки умолкнут, и знание упразднится».

И. Э.

Повесть

В тысяча девятьсот шестнадцатом году,
Одержимый бесами в дивных ризах,
Пребывая в неком аду,
Именуемом бренной жизнью,
И постигнув — сроки настали! грядите, бури!
Пресмыкаясь в мерзких грехах,
День-деньской плача и балагуря
В разных кабаках —
Я, Илья Эренбург,
Записал житие тихой женщины
И всё, что она опознала
Чрез великую печаль.
И я верую
В своем запустении,
Ибо может уверовать даже самая малая
Тварь.

Слава Тебе, Господи, слава!
Ходят по лужайкам белые павы,
И караси дохлые по пруду плавают,
И в кабинете маленькие дьяволы,
И зубы у них болят,
И еще болят, и они скулят:

«Слава Тебе, Господи, слава!
Твое дело! Твое право!
Мы надули наши губки
Лукавые.
У нас болят —
Слава Тебе, Господи, слава! —
Зубки!»

Сидит банкир, и бумажки милые —
Стрекозиные крылышки.
Пить только хочется...
Да вот ночью
Не достать нарзана...
А простой опасно...
И слышит он, как внутри ходят тараканы,
Усиками ходят очень ласково.
Откуда их столько нашло?.. из кухни?..
И что-то внутри явственно бухнет...
И кричит он: «Помогите!..
Кондрашка...
Ты смотри!.. бумажки
Все пересчитанные...»

В доме у Цветного бульвара
Лежит на ковре так — одна барышня...
«Ты не лезь!.. Я сегодня больная!..»
И всё как при этом полагается...
И торчат две ноги у туши,
А он облюбовывает, будто кушает,
И гремят сальные гири...
...Рублик накину на вырезку,
Только много сала...
Что ж ты, барышня, не гуляла?..
Теперь лишнее не ценится...
И кричит барышня: «Не при!
Пусти на минутку в сени,
А то очень жжет внутри»...

А на липкой бумаге
В столовой
У архитектора Иванова
Муха жужжит,
Муха.
В столовой весьма сухо —
Духовое отопление.
Жужжит муха, на одной лапке
Всё время:
«Да как же, лапки не нитки,
Плохо!

Бумажка липкая,
А всё пересохло...
Je, j'ai...[4]
Неужели уже?»...

А в аквариуме золотые рыбки
Пузыри пускают и плавают.
Слава Тебе, Господи, слава!

Ты поил нас пьяным вином,
А у нас свои печали.
«И представьте, не был застрахован дом,
А всего за три дня перед этим предлагали».
— «И вы не застраховали?»

Ты поил нас седьмым потом,
Мы бай-бай... «Ах!
Устал что-то...
Не целуй! Завтра утром»...
И впотьмах
Хрип, хлип, храп.
Вот он, Твой нерадивый раб!

Ты поил нас слезными слезами,
Мы танцуем — не на каблуках, на носках.
«И знаете, если мне не изменяет память,
Никто до нее не пробовал этого па...»

Ты поил нас кровной кровью,
А мы свои губки, свои зубки, дырочки-пупырочки
холили
«Новый вечер готовим,
В пользу...
Ультра-лучизм, светопоэзы, теософия,
И потом из жизни мученика любопытные танцы».
— «Да, стоит пойти... Не хотите ли с кофе
Рюмочку голландского?..»

И тогда, возлюбив нас много
И познав земные вечера,
Ты дал нам холодную воду
Из копьем пронзенного ребра.

Вам кричу — пора! пора!
Толстые, тощие,
Нищие,
Выходите на площади голыми!

---

[4] Я, у меня... (франц.) — *Ред.*

Не стыдитесь волосиков или прыщика —
Через плоть уж прошел Он.
Глядите сквозь пенсне, сквозь монокли
На эти выси высокие,
На гневный ход
Того, кто грядет!

Гряди,
Явный!
Ибо все воды в Твоей груди
Правых и неправых.
Слава Тебе, Господи, слава!
Вся правда Твоя иссякла,
Иссякла вещая речь.
И нет слез, чтоб ныне плакать,
И крови нет, чтоб ею истечь.
И только в Тебе для неистовых Савлов
Черный огнь и живая вода!
Гряди! Пришли последние года!
Слава Тебе, Господи, слава!

Когда Наденька кончила прогимназию,
Был большой праздник.
Маменька вынула чайный сервиз с розанами
(Чего лучше),
Халвы купила и тянучек.
А Наденька купила себе корсет с голубыми лентами.
Ишь!
Уж совсем, совсем Париж!
Некоторые неповторяемые комплименты...

«На тебя, Наденька, одна надежда...
Вот, может, заживу, как прежде...
Замучилась твоя мама...
Как бы ты поскорей того... замуж.
А то умру — ты не пристроена...
И всё такое...»

Маме —
«Я поеду на бал в офицерском собрании!..»
— «Ну, веселись, детка!
Приедешь, верно, голодная — я тебе оставлю котлету...»

Бал в «Кукушке»,
И у душки
Веснушки.
А он влюблен,
И «шакон».

«В этом мире...»
— Ла-ра-ри-ре...
«Изнывая...»
— Ла-ри-рая...
И после повторял одно грустное,
Это древнее «люблю».
Где-то канарейка отвечала, почти что по-французски:
— Лью-ю-ю!
И было в этих «л» столько ливней ясных,
Столько еще не выплаканных слез...
И знала Надя — от этого часа
Не уйдешь...
Раскрасневшись от танцев,
Уже полюбившая, уже нелюбимая,
Она молилась с бокалом шампанского:
«Господи, пронеси эту чашу мимо!»

И напрасно в Божениновском переулке
Мама ждала до рассвета,
И напрасно в столовой стыла котлета...

Над своими птенцами, Рахиль, плачь!
Шибко, шибко несется лихач.
Кто-то сказал: «А, Иван Ильич, вы с дамочкой».
И странно...
«Боярское подворье и гостиница Кастилия».
Где мы жили? Где мы были?
И молились?
И зачем?
Комнату... 47...

Вот она, любовная мука,
И в той же губке тот же уксус,
И тусклая свечка, и портьеры, и «любишь?»,
И где-то маятник,
И нищий, который отдает свои рубища,
Почти что улыбаясь.

На заре подошла Надя к окну,
Видит — пустая площадь,
Едет только извозчик,
И сидит в пролетке голая баба,
И кушает виноград она,
И кричит извозчику: «Поезжай живей!
Дам сотню!
Хочу въехать в рай в собственной плоти!»
И выбегают хорьки,
И грызут пальцы на ногах бабы,

И воет баба от смертной тоски,
И радуется.
А извозчик на козлах поет про то и про это,
Про Иосифа Благолепного,
Про сорок дней в пустыне, про легкое иго,
И как хорошо бы себя постегать вожжами,
И как он, Иван, юбки закидывал,
И как мылся в бане.
А хорьки подпевают: «Слава тебе, любовь,
Хлеб наш насущный!
Слава тебе, искушенная плоть!
Пуще! Пуще!
Вот, вот,
За ноготок.
Ах, Амур
Любит педикюр!..»

Надя пала у окна белого,
Где-то половой гремел щеткой...
И не знала она, что претерпела
И сколько ей еще терпеть остается.
Только сырое небо и крыши,
И с улицы звуки всё чаще,
И в комнате легкое дуновение слышно
Другого, спящего...

«Ведь как же, Наденька... я не в укор, ты понимаешь.
Но Петр Ефимович согласен, он теперь всё знает...»
И как поздравляли, и как целовали,
И после венчанья эти четверть часа на вокзале.
«Ну, по любви едва ли...»
«Вы хорошо будете спать в купе...»
«Спать?.. э-э!..»
«Без пересадки»
«Надя, ты забыла свои перчатки...»
И мама ее целовала неловко, зачем-то в ухо,
И глаза у нее были припухшие...
Кто-то крикнул, свистнул жалостно...
И не стало вот...

«Наденька,
Какая ты гладенькая!
И теперь все эти штучки мои...
И-и-и-и...»

Вспомнила Надя, как девочкой говорила маме:
«Не хочу играть с Саней!
Когда вырасту большая — выйду замуж
И буду дама»,

И как мать бормотала: «Играй, играй, детка!»
И как она улыбалась жалостливо, редко...

А муж: «У тебя совсем миленький профиль...
Ты со мной не скучаешь?.. В Смоленске будем пить
кофе».

Надя вышла в коридор... путь так долог...
Едут с ними тысячи проволок
И поют: «Подойди! Отойди!
Мы позади и мы впереди!..»

Взмолилась Надя: «За что Ты?
Я не умею иначе. Вот я...»

Подошел тогда господин в цилиндре:
«Простите, позвольте представиться — Кики.
Вы никогда не бывали в Индии?..
А там есть прелестные уголки...»
Пошли от господина лучи неистовые,
И совсем он, совсем близко.
И сказал ей еще: «Я тебе не простил
Моей обиды,
Иакова я возлюбил,
Исава я возненавидел...
Ибо ты преступила запреты.
И неугодна жертва твоя —
Иду на человека
Я».

Муж всё хныкал: «Еще немножко!..
Ты устала, моя кошечка?»

И был поезда грохот:
«За что Ты? за что Ты?
За то и за это...
Моя и твоя...
Иду на человека
Я...»

Была такая милая,
И кто знает, как это случилось...

Создал двух равных
И одного возненавидел.
Господи, Тебе слава,
Ты возненавидел
Исава.
Господи, Тебе слава!
Твое дело! Твое право!

Еще утром гуляла,
Прибежала: «Мама, я не баловалась,
Глядела папину лошадь...
И, знаешь, у серой кошки...»
— «Ты у меня умница, Глаша».
И снег на гамашах...

Страшно взглянуть на градусник...
Надо...
Да вот взглянуть —
И красной змейкой подымается ртуть.
Старый профессор, видавший много,
Много Марий у крестов,
Оправил очки, сказал: «Надейтесь на Бога!»
Он знал, что значит плакать,
На маленький коврик пав,
Что есть у Бога не только Иаков,
Но Исав.

«Уру-уру-ру.
Кто это ходит по ковру?
Это окотилась кошка серая
И котята бегают.
Кто это ходит по ковру?
Кто это скачет?
Уру-уру-ру.
— Мама, отчего ты плачешь?
Разве я умру?
Уру-ру».

И кукла-арапка, и вот эта песня,
И длинная шейка в компрессе,
И как задыхался птенчик,
И как светать стало,
И как подымалось всё меньше и меньше
Тоненькое одеяло...

Малые дети пели о болестях мира,
Обличая лик далекого Отца:
«И рабу Твою Глафиру...»

Было ясное утро.
Легкие дымы от спящих домов исходили.
По первопутку
Живые еще спешили.
Шли приготовишки, неся в больших ранцах
Тягу свою — единицы и «ять»,
Спеша, чтоб к жизни далекой и странной
Не опоздать.

Только на пальцах, запятнанных чернилом,
Мелькали редкие снежинки,
Тая...

А Глашу ждала могила
В это утро зимнее,
Когда жизнь только начинается...

Шли еще большие гимназистки,
Оглядываясь часто,
Пряча рук своих неуклюжие кисти,
Особенно ласковые...
Оглядывались они, будто кто-то их окликал,
Сжимали уже ненужные тетрадки...
(Завтра бал,
До локтей первые перчатки...)

Шагал поп в рясе,
И над папертью церкви черт Афанасий,
С перешибленным носом,
Нюхал — пахло воском.
Поп перекрестился:
«Да запретит тебе Господь!»

А дроги всё так же важно и уныло
Раскачивали мертвую плоть.

Когда уходили с кладбища,
Подошел к Надежде нищий,
Но ничего не попросил, так только хныкнул:
«У тебя, жена, скорбь великая!..
...И когда вели меня на горку малую,
Носилась моя матушка, как ласточка.
И убивалась она,
И глядела, как били меня и мучали,
И ходила ко всем, и просила, и плакала,
И знала она мои перебитые рученьки,
И на груди знала каждое пятнышко,
И всё видала, как лежу я на соломе
И дрыгаю ножками,
И как в церковь меня вела,
И как играл я, сам я не помню,
И стало ей от всего очень тошно...»
И Надежде стало жаль нищего,
За ограду они вышли,
И сели, и друг друга обнимали, сирые,
И играли с чурбаном,
Говорил нищий: «Вот твоя дочь Глафира!»
И чурбан говорил: «Как есть моя мама!»

И муж ушел, и все ушли,
И солнце померкло средь мерзлой земли;
А они всё друг друга жалели и жалели,
И грустно пах на снегу раскиданный ельник...

Надежда Сергеевна кладет пасьянс в столовой.
Вот и это...
Даму на валета,
Тройка трефовая...
Самовар заглох.
И кажется, от канители
Всё заглохло в этом маленьком желтом теле,
Разве остался так только — вздох.
«Барыня, ничего не надо вам?..»
И всё раскладывает...
Двойку на туза...

Где это?
«Лара-рире,
В этом мире...»
И как исчез зал,
И как он сказал:
«У вас в колечке красивая бирюза.
И она ответила, краснея:
«Она похожа... у вас такие глаза»...
И подумала: «Господи, как я говорю так пошло?..»
Он засмеялся: «Едва ли!..
Разве бывают такие глаза?..»
И как потом испугалась своей тени лошадь,
У Тверской, на асфальте...

Да двойку на туза...
А Глаша говорила: «Звезды — это глаза,
Только почему у Бога так много глазок?
А я знаю почему! Он смотрит сразу
Много-много...
Ты хочешь, мама, чтоб у тебя были такие глаза?»
Двойку на туза...

Плакала Надежда Сергеевна: «Вот смешаю
Бубна-пики все вместе»
Измывался маятник:
«Бубны, пики.

Огнь и дым.
Съел черники,
Стал святым.

На могиле
Он и черт

Поделили
Вкусный торт.
Не смешаешь,
Дорогая!
Ах, яичко у Него для всякого —
Ему слава!
И одно яичко для Иакова,
А другое для Исава».

Надежда Сергеевна плакала тихо, долго,
Зачем-то платочек свертывала и развертывала.
А потом кинулась к иконе Спаса, закричала
По-петушиному бойко:
«Всё вижу я!..
Вот что — злой Ты!..
Как Тебя ненавижу!..»

Нет больше столовой. Стоит пред Надеждой инок.
Небо крестом, будто землю, роет.
Говорит: «Воистину ты удостоилась.
Женщина, великая сила
В твоей тоске, в твоей обиде,
Ибо ты не усомнилась,
Но возненавыидела!»

Видит Надежда, как орел когтит детище лани,
И лань стоит, а орел от любви плачет жаркими слезами,
И голубь летит, и несет он меч в клюве,
И, сам подстреленный, плещет крылами в испуге.
И ждут они, и прилетает третия птица,
Что крыльями мир застилает и в малом сердце гнездится.
И видит еще Надежда большой город,
И старая сука, и кровь у нее бьет из горла,
И паршивая, и сосцы тащатся по мостовой,
И страшный идет вой,
И сидят рабочие, и куют железо,
И кушают омара с майонезом,
И говорят: «Хорошо, черт возьми, на свете!»
И черт показывает на провода телеграфные,
И на провода нанизаны подколотые дети,
И смеется черт: «Барышня, возьми три рубля на булавки».
И господин играет на контрабасе,
И все хотят кинуться в похоти друг на друга,
И на беду все закованы в железные брюки и платья,
И топчутся на одном месте от сильного блуда,
И у баб некормившие груди запаяны,
И пахари с гнилым зерном зря по улицам шляются,
И всё подкатывают пушки занятные,

И пушки те как маленькие пульверизаторы,
И всем пострелять очень хочется,
Так что убивают друг друга по очереди.
И кричит кто-то в лавке: «Бархат хороший!
Распродажа!
Ибо последние исполнились сроки!»
Кричит и свое непотребное кажет.

А еще видит Надежда — приходит Кормилица,
Говорит: «Уморились вы?
Двадцать веков была я Невестой,
А теперь кому — Жена, вам — Мать».
И приползают гадюки из леса
Молоко парное сосать.
Припадают к груди и прыгают
Мокрые подкидыши.
А в ресторане задремавший старичок
Кричит: «Эй, человек, счет!
На сегодня будет...
Что там? Последний суд?..
Не могу, меня на ужин ждут...»
И, увидя Мать, цепляется за полные груди.

Молвит Мать: «Вкусите млека!
Ныне не бьется человечье сердце,
Ибо весь трепет от начала света
Приняла я — Мирская Церковь.
Тот, кто вас любя ненавидел,
Кто только вами и жил,
Кто сам носил земные вериги
И даже славу вашу носил —
Он дал моим грудям набухнуть,
Он ваши губы сделал сухими.
Пейте! Ибо Царствие святого Духа
Ныне!»

Слышала Надежда, радовалась, пред иконой стоя:
Вот и он, и Глаша. И я — все удостоимся...
И как шумела рожь недожатая...
И как старая женщина одна плакала...
И как у Спаса смуглые рученьки...
И как мудро всё и к лучшему...
И приоденусь почище, умру...
И правые просветятся и неправые...
И вот, значит, Он любит Исава...
И легко дышать поутру...
И слава Тебе, Господи, воистину
СЛАВА!..

25—29 января 1916
Париж

340. О ЖИЛЕТЕ СЕМЕНА ДРОЗДА

«Любовь... всё покрывает».

Посл. к Коринф. 13, 7

1

Тихо на вилле «Вега» И. С. Михеева
(Игоря Сергеевича).
Вечереет.
Садовник поливает яркие клумбы,
Теплый дух от земли идет.
Бурчит он угрюмо:
«Я ей в морду!.. Экий скот!»
И сладко пахнет гелиотроп.
Игорь Сергеевич грустит на веранде.
Он любит грустить вечерами.
«Вот вечер снова...
Как у Лермонтова: "Отдохнешь и ты"...
Хорошо быть садовником,
Ни о чем не думать, поливать цветы...
Утром слушать, как поют птички,
Как трава шумит над прудом...»

У Игоря Сергеевича две фабрики спичечные
И в бумагах миллион.
У Игоря Сергеевича жена и дочка Нелли,
Он собирает гравюры, он поэт.
Иногда он удивляется: «В самом деле —
Я живу или нет?»
Лет пятнадцать тому назад он умел волноваться,
Читал по ночам Надсона
И думал мрачно:
«Всё брошу, начну жить иначе».
Потом читал Бальмонта
И был влюбленным, неутоленным,
Неожиданно взглядывал на Солнце
И Богородицу звал «Мадонной».
А потом и это надоело.

Игорь Сергеевич ничего не делает —
Так лучше.
А то желать и всё возможно,
И скучно.
Боже,
Только хорошо летними вечерами
Грустить на веранде
И писать стихи, мечтая,
Так нечаянно:
«От жизни утомительной
Я отвращаю взор.
Я ухожу в обители
Лазоревых озер».

Вечером у Михеевых гости —
Теософ, кубист, просто шутник и председательница
какого-то общества,
Кажется, «Помощь ослепшим воинам».
Игорь Сергеевич всем улыбается пристойно.
— «Да покрепче! Еще стаканчик!»
— «И Гоген недурен, но я видел Сезанчика!..»
— «Простите нескромность: сколько он просит?»
— «Десять, отдаст за восемь».
— «О, кубизм! Монументальность! Только, знаете,
это наскучило».
— «А я, наоборот, люблю, когда вместо глаз такие
и тучки...»
— «Вы знакомы с значением Зодиака? Я от Штейнера
в экстазе!..»
— «Я познаю Господа! Поеду в Базель!»
— «Если бы вы знали, как нуждается наше общество!
Мы устроим концерт. Это ужасно — ослепнуть навек!»
— «Новости? Нет, только взяли Ловчен».
— «Надоело! Я не читаю газет!»
— «Вот, вот!
Знаете, есть анекдот...»
Гости говорят еще много —
Об ухе Ван-Гога,
О поисках Бога,
Об ослепших солдатах,
О санитарных собаках,
О мексиканских танцах
И об ассонансах.
Говорят, говорят...
И лениво жуют мармелад.
Игорь Сергеевич всем улыбается.
Игорь Сергеевич со всеми соглашается.

На сон читает две странички
«О любовной песне в 13-м веке»,
Гасит электричество
И, потягиваясь, сладко шепчет:
«Как я устал! Удивительно...
Я прочел о Мюзэ... до сих пор...
Я ухожу в обители
Лазоревых озер».

Спит Игорь Сергеевич,
Спит госпожа Михеева
Одна на широкой постели,
А на узенькой спит Нелли.
В саду пахнут липы,
И где-то поезд, пролетая, вскрикивает.
Все спят.
Игорь Сергеевич во сне видит сад,
Он поливает из лейки огромные левкои.
И покойно.

Ангел гнева огненным перстом
Не рассеет этот сон!
Спят безгорестные души
В самой сладкой лени.
Им не скажет крик петуший
О великом отречении.
Лишь веток плеск и ветра лёт
Твердят, что час и им придет,
Умирая, страсть познать,
И земле — к земле припасть,
Приобщиться страде многой,
Страху человечьему, людской тоске,
И предстать перед ликом Бога
С горстью праха в скрюченной руке.

2

А вкруг виллы «Вега», не видя звезд,
Не слыша чайных вянущих роз,
Ходит, бродит Семен Дрозд.
С виду — нищий,
На лице нехорошие прыщики.
Семен пьян с обеда.
Очень ему надпись нравится: «Вот как! Вега!
Врешь, Михеич, не уйдешь!»
У Семена Дрозда нож.

Семен хочет убить Михеева.
За то, что Михееву ничего на свете не надо,
За то, что у него две фабрики,
За то, что он, Михеев, носит белые перчатки, каждый день бреется,
За то, что он — Игорь Сергеевич Михеев.

Сенька мальчиком спал на сундуке, под образами,
А на койке спала маменька.
Вечером приходили гости,
Пили, ложились после.
Кричал гость: «Эй ты, работай!»
И маменька работала.
Один недодал целковый:
«Я тебе дам такого!..»

Потом Сенька стащил у барышни платок.
Закричала та: «Обокрали... вот он! вот!»
Сеньку поучили, визжал он: «Простите, Христа ради!»
А барышня плакала в платочек: «Среди бела дня и грабят!»
Была барышня хорошенькая...

А потом в приюте постегали немножко.
Господа приезжали:
«Ты испорченный мальчик,
Надо жить честным трудом».

А потом?
А потом Семен стал Дроздом.
Пил, крал,
Груньку бил, жал,
Груньку, Дуньку, Сашку, Машку —
Баб было много.
Побывал в четырех острогах.
Ограбил банк целый.
Месяц кутил, и всё ему надоело —
Красть, убегать,
В тюрьме сидеть, с девкой спать.
Стал жить чем попало,
Даже не крал, а так, баловался,
Сильно пил.
Летом в лесу возле дач жил,
Собирал грибки
И давил кобелей с тоски.

Семен Дрозд в чайную ходил,
Водку пил,
Глядел на дачи
И решил: «Прирежу кого побогаче —

Вот господина Михеева.
Очень уж млеет он.
Врешь, Михеич, от Дрозда не уйдешь!»

Ходит Семен, у Семена нож.
«Теперь зря — спит, кончится в минутку.
Нет, я лучше, чтоб нам поговорить, — утречком».

3

Утром Игорь Сергеевич брал ванну.
Думал: «Странно,
Как в воде хорошо и всё забываешь...
Вот еще один день начинается...»

Тогда вошел в ванную Семен,
Без сапог, с ножом.
Игорь Сергеевич выскочил из ванны, всё залил водой.
«Таля, Нелли! Здесь кто-то чужой!
Я не понимаю! Где вы? Ради Бога!
Послушайте, что вам угодно?»

Никто не пришел, было слышно за дверьми,
Как играла Нелли «до, ре-дьез, ми».

Семен глядел, как Игорь Сергеевич плакал,
Как с него вода текла на пол,
Глядел на короткие волосатые ноги
И закричал вдруг: «Родненький,
Как же ты... нагишом?»
И бросил нож Семен.
Снял с себя жилетку —
«Вот прикройся... возьми это!»
И жилетом его покрыл.
Игорь Сергеевич визжал, звонил:
«Помогите, ради Бога! Убивают!
Что вам нужно? Я не понимаю!
Деньги?
Я отдам, я поделюсь со всеми!
Сколько? Я всё заплачу!
Я жить хочу!»

Услыхали. Пришли,
Семена Дрозда увели.
О, Заступница, его увели куда-то,
И осталась на мраморе грязная тряпка —
И остался Твой дивный плат!
Они его не хотят!

4

Семена привели в камеру, он харкнул,
Повалился на нары
И уснул крепким сном.
Чудный ему приснился сон —
Видит он: большая улица — ну как Тверская, —
Идет по ней человек согнувшись, что-то тащит,
потом обливается,
Все едут на трамваях, поглядывают,
Что, мол, котомка изрядная,
Поглядывают, посвистывают,
И Семен видит человека совсем близко,
И несет он будто огромный крест,
И крест тот с земли до небес,
И говорит Семену: «Устал я.
Подсоби мне малость».
Проснулся Семен, шепчет: «Всё я снесу!
Господи! Я его понесу,
И если в Сибирь придется,
И если придется в "ротах".
Я могу!
Господи! Я помогу!»
Надзиратель кричит: «Эй ты, потише!
Такой-сякой, чтоб тебя не было слышно!..»
Семен Дрозд
Его понес!
Тихо.
Под окном часовой ходит.
А там на свободе
Гремят пролетки, звенят трамваи.
День еще продолжается.

Господа!
Молитесь за Семена Дрозда.

15-го июля 1916 г.

341. МОЛИТВА

«Нареки ей имя —
Непомилованная».

Осий 1, 6

Идет косая,
Ухмыляется.
Юбка разорвана, голая.
А на бедрах синяки.

Но вином тяжелым
Не залить тоски.
Но бродяге ветру
Не заплесть трясучих кос,
Не утишить человеку
Человечьих слез.

Это шляется, что ни день греша,
Озираясь с опаской,
Неумытая, заспанная
Моя душа.

Толкают в бока матросы,
Гогочут до хрипоты.
И шепчет она: «Господи,
Кто же? Кто ж, коль не Ты?
Душу жадную
Ты насыть,
Чтоб не надо было
Жить,
Душу сонную
Пробуди,
Чтоб она припомнила
Всё, что позади,
Чтоб она не пряталась
От тягóт,
Научи ее, как ночи плакать
Напролет,
Укрепи, чтоб каждый вечер
Ждать,
Без Тебя чтоб было нечем
Дышать.
Чтобы воя, чтобы ноя,
Биться у стен,
Чтобы быть ей пред Тобою
Ничем».

Зашла в кабак,
Поет песенки:
«Эй ты, солдат,
Бери на месте!
Я тебя люблю,
Бородатого!
Я скулю, скулю.
Веришь — гадко мне?
Раз — два — три!
Кто хошь, бери,
Всё одно!»

Господи, в той комнате окно,
У меня темно.
Господи, там свет,
А здесь нет,
А здесь я —
Раб твой Илья,
Я и душа моя,
Бедная,
Жадная,
Непотребная,
Смрадная, —
В трясучке
Лежит на печи.
Скучно нам...
Научи
Жить, любить, рождать, ходить, спать, хоронить,
Плакать, радоваться,
Не как хочется, а как надо:
Утром вставать,
Днем трудиться,
Вечером ложиться,
А ночью спать —
Чтоб, когда настанет время
И покинет сердце страсть,
Задрожав, как лист осенний,
Пред Тобой упасть,
Вечером,
Просто,
Когда на небе за всех теплятся свечи
Пред Тобой, Господи!
Когда облетают с ветки
Тихие листы,
Когда больше уж нет человека,
Но только Ты.

Июнь 1916

«Всякий пьющий воду сию возжаждет опять.
А кто будет пить воду, которую Я дам ему,
тот не будет жаждать вовек».

Ев. от Иоанна 4, 13—14.

342. МОЛИТВА О РОССИИ

Эх, настало время разгуляться,
Позабыть про давнюю печаль!
Резолюцию, декларацию
Жарь!
Прослужи-ка нам, красавица!
Что? не нравится?
Приласкаем, мимо не пройдем —
Можно и прикладом,
Можно и штыком!..
Да завоем во мгле
От этой, от вольной воли!..

О нашей родимой земле
Миром Господу помолимся.
О наших полях пустых и холодных,
О наших безлюбых сердцах,
О тех, что молиться не могут,
О тех, что давят малых ребят,
О тех, что поют невеселые песенки,
О тех, что ходят с ножами и с кольями,
О тех, что брешут языками песьими,
Миром Господу помолимся.

Господи, пьяна, обнажена,
Вот Твоя великая страна!
Захотела с тоски повеселиться,
Загуляла, упала, в грязи и лежит.
Говорят — «не жилица».
Как же нам жить?
Видишь, плачут горькие очи
Твоей усталой рабы;
Только рубашка в клочьях,
Да румянец темной гульбы.

И поет, и хохочет, и стонет...
Только Своей ее не зови —
Видишь, смуглые церковные ладони
В крови!
...А кто-то орет: «Эй, поди ко мне!
Ишь, раскидалась голенькая!..»

О нашей великой стране
Миром Господу помолимся.
О матерях, что прячут своих детей —
Хоть бы не заметили!.. Господи, пожалей!..
О тех, что ждут последнего часа,
О тех, что в тоске предсмертной молятся,
О всех умученных своими братьями
Миром Господу помолимся.

Была ведь великая она!
И, маясь, молилась за всех,
И верили все племена,
Что несет она миру Крест.
И, глядя на Восток молчащий,
Где горе, снег и весна,
Говорили, веря и плача:
«Гряди, Христова страна!»
Была, росла и молилась,
И нет ее больше...

О всех могилах
Миром Господу помолимся.

О тех, что с крестами,
О тех, на которых ни креста, ни камня,
О камнях на месте, где стояли церкви наши,
О погасших лампадах, о замолкших колокольнях,
О запустении, ныне наставшем,
Миром Господу помолимся.
Господи, прости, помилуй нас!
Не оставь ее в последний час!
Всё изведав и всё потеряв,
Да уйдет она от смуты
К Тебе, трижды отринутому,
Как ушла овца заблудшая
От пахучих трав
На луг родимый!
Да отвергнет духа цепи,
Злое и разгульное житье,
Чтоб с улыбкой тихой встретить
Иго легкое твое!

Да искупит жаркой страдой
Эти адовы года,
Чтоб вкусить иную радость —
Покаянья и труда!
Ту, что сбилась на своем таинственном пути,
Господи, прости!
Да восстанет золотое солнце,
Церкви белые, главы голубые,
Русь богомольная!

О России
Миром Господу помолимся.

Ноябрь 1917
Москва

343. СКАЗКА

Каменщики пели: «Мы молоды!
В небо уйдем! Что нам стоит?
В наших сердцах столько золота!
На горе новый город построим!
Весь мир мы воздвигнем заново!
Наши башни пронзят небо старое!
Вместо звезд зажжем электрические лампочки,
Будем перекликаться с жителями Марса!»

На лесах еще сновали каменщики быстрые,
А уж в залы тащили бархата ворох...
В одну ночь был выстроен
Самый высокий город.
Чего только в нем не было!..
Ручные носороги в саду куролесили.
Прямо в небо
Уводили витые лестницы.
Старики резвились, задрав рубашки,
Младенцы спорили о философии,
Все целый день играли в шашки
И пили кофе.
Никто не грустил,
Ибо никто не любил;
Никто не воскресал,
Ибо никто не умирал.
Но все, вздымаясь на самолетах быстрых,
Нежно ласкали друг друга
И только слегка попискивали,
О земле вспоминая темной и скудной.

Так, не зная юности и старости,
Жили люди, может, день, может, год...
Чтоб не пробрался гость из иного царства,
Три гепарда не отходили от золотых ворот.

Был вечер. На площади пели скрипки сонные.
Томные девушки жевали цыплят,
Юноши, засыпая, тонкие экспромты
Ногтем писали на цветочных лепестках.
Тогда пришел на площадь Нищий,
Больной, смердящий, в рогоже драной.
Скрипки залаяли неприлично.
На фруктовые вазы вскочили дамы.
«Вот вам гепарды!.. Завели б лучше сторожа с собаками!..»

— «Папа, разве есть на свете нищие?..»
— «Послушайте, monsieur, вы плохо пахнете!..
Вы, верно, ошиблись... кого вы ищете?»
— «Иду я на Святую Гору, грехи замаливать!
Я ослеп от снега, я оглох от ветра!
Благодетели милосердные, сжальтесь!
Дайте до утра отогреться!..»
Отвечали ему все — мудрые младенцы, попугаи, дамы,
Мопсы, старички, коты сиамские:
«Ах, как жаль! вы напрасно шли так много!
Ни одного местечка свободного!
Сойдите на землю, там, помнится,
Есть отели, меблированные комнаты.
Наш город так мал.
У нас всего пятьсот зал;
Сто зал, чтоб пить Шато д'Икем, сто зал, чтоб вздыхать
поутру,
Сто зал для чтения персидских лириков,
Сто зал для езды на ручных кенгуру,
Сто зал, откуда мы смотрим на Сириуса...
Как видите — всё занято...
Счастливый путь!.. До свиданья!..»

Нищий перстом замкнул свой горький рот,
Дрожа от стужи у деревьев мандариновых.
На челе его выступил кровавый пот.
Открылись на ладонях язвы гвоздиные.
И всё же вздох пронесся длинный и могильный,
Как ветр. Погасли люстры.
Стены закачались. Диваны заходили.
Коты сиамские замяукали грустно;
Да где-то чирикала птичка:
«Поль, что случилось? Зажгите ж электричество!»

Потом всё стихло, просветлело.
Нет города! Ночь, снег, тишина,
Только ветер трепал портьеры да на осколках тарелок
Голубела куцая луна.
Дамы декольтированные груди прикрывали перьями
страусовыми,
Мужчины от холода хватались за животы,
Визжали младенцы, забыв о Шопенгауэре,
Издыхая, царапались взлохмаченные коты.
«Я хотела надеть теплое платье... это ты сказал —
не нужно!..»
— «Я не вижу ни автомобиля, ни даже простого
извозчика!..»
— «Это ужасно!.. ведь я еще не ужинал!..»
— «Ты забываешь, что я на седьмом месяце... я умру...
ты ведь хочешь?..»
— «Может, помолиться?.. ведь такие случаи в истории
бывали...
Отче Наш!.. вы не помните, как дальше?..»
Нищий всё так же дрожал у березы печальной,
Кровавый иней на лбу блистал.
Отняв от уст застывший палец,
Он сказал:
«Я такой маленький — я живу в заячьих норах,
Я ночую в домике улитки, в гнезде жаворонка.
Я не мог поместиться в вашем огромном городе!
Я не мог войти в ваши залы мраморные!
У вас были звезды, золотые вазы, скрипки нежные,
У вас был город в цвету и в огнях.
Я стоял и плакал над вашей бедностью —
У вас не было места для меня.
Что отдать вам? Моя рогожа разодрана.
Кругом только лес и снега.
Как приму вас? У меня нет высокого города,
У меня нет даже простого очага.
Но верьте! верьте! верьте!
Что вам стужа? что вам снег?
Мое сердце
Открыто для всех!
Усомнились, — оно маленькое! Где же?
Нас много! как мы войдем?
Глупые! Целый мир находил последнее прибежище
В нем!»

Говорил Нищий. Падали слезы жаркие.
И земля дышала белым паром;
Снег сходил, средь листьев прошлогодних
Показались первые былинки, такие убогие;

Зацветали первоцветы, запахло Пасхой,
Запели, к земле припадая, белогрудые ласточки,
Слезы капали, землю тревожили,
Будили, грели.
Слезы иль, может быть,
Дождик апрельский?
И дряхлые франты в промокших цилиндрах,
И дамы, бросая с пудрой пуховки,
Греясь на солнце, плакали слезами невинными,
Радуясь весне средь зимы глубокой:
«Христово сердце! солнце майское!
В Твоих лучах мы купаемся!»

Только Нищий, как прежде, дрожал от стужи, от ветра.
Его лицо колол декабрьский снег.
Нет! Ему не согреться
Вовек!
Слышим Твой голос,
Но в наших сердцах унылых
Такая темь! такой холод!
Господи, помилуй!

Декабрь 1917
Москва

344. СУДНЫЙ ДЕНЬ

Детям скажете: «Когда с полей Галиции,
Зализывая язвы,
Она бежала, еще живая, —
Мы могли, как прежде, грустить и веселиться,
Мы праздновали,
Что где-то под Санем теперь не валяемся.
Зубы чужеземные
Рвали родимую плоть,
А все мы
Крохи подбирали, как псы лизали кровь.
Срывали с нее рубище,
Хлестали плетьми,
Кусали тощие груди,
Которые не могли кормить...»

Детям скажете: «К весне она хотела привстать,
Мы кричали: "Пляши! Эй, Дунька!"
Это мы нарядили болящую мать
В красное трико площадной плясуньи.
Лето пришло. Она стонала,
Рукой не могла шевельнуть.

Мы били ее — кто мужицким кнутом, кто палочкой.
“Ну, смейся! Веселенькой будь!”
Ты первая в мире —
Ух, упирается, дохлая!
Живей на канат и пляши в нашем цирке!
Все тебе хлопают!»
Детям скажете: «Мы жили до и после,
Ее на месте лобном
Еще живой мы видали».
Скажете: «Осенью
Тысяча девятьсот семнадцатого года
Мы ее распяли».

Октябрь
Всех покрыл своим туманом.
Были среди них храбрые,
Молодые, упрямые,
Они шли и жадно пили отравленный воздух,
Будто не на смерть шли,
А только сорвать золотые звезды,
Чтоб они на земле цвели.
Были обманутые — нестройно шагали,
Что ни шаг, оглядывались назад.
«На прицел!» — уж курки сжимали их пальцы,
Но еще стыдливо притуплялись глаза.
Были трусливые — юлили, ползали.
Были исступленные, как звери.
Были усталые, бездомные, голодные,
У которых в душе только смерть.
Было их много, шли они быстро,
Прикрытые желтым туманом,
Вел их на страшный приступ
Дед балаганный.
И когда на Невском шут командовал: «Направо!»
И толпа разлилась по Дворцовой площади —
Слышно было, кто-то взывал средь ночи
«Савл! Савл!»

Еще многие руки — пусть слабые! —
Сжимали невидимый ларь,
Где хранилась честь Российской Державы.
«Чего зря болтать!.. Ставь пулеметы!.. Жарь!»

В Зимнем Дворце среди пошлой мебели,
Средь царских портретов в чехлах,
Пока вожди еще бредили,
В последний час,
Бедные куцые девушки

В огромных шинелях,
Когда все предали,
Умереть за нее хотели —
За Россию.
Кричала толпа:
«Распни ее!»
Уж матросы взбегали по лестницам:
«Сучьи дети! Всех перебьем!
Ишь, бабы! Экая нечисть заводится!..»
И они перед смертью
Еще слышали колыханье победных знамен
Ныне усопшей Родины...

«Эй, тащи девку! Разложим бедненькую!
На всех хватит! Черт с тобой!»
— «Это будет последний
И решительный бой».

Пушки гремели. Свистели пули.
Добивали раненых. Сжигали строения.
Потом всё стихло. Прости, Господь!
Только краснела на заплеванных улицах
Средь окурков и семечек
Русская кровь.

Бились и в Москве. На белые церкви
Трехдюймовки выплевывали адов смрад,
И, припав к ране Богородицыного Сердца,
Плакал патриарх.
Пощаженные рукой иноземной
В Наполеоновы дни,
Под снарядами гнулись Кремлевские стены —
Им нечего больше хранить!
Вот юнкера, гимназисты
На бульвар выбегают, юные, смелые.
Баррикада. Окоп. «Кто там? Слушай!»
Но вот подошел и выстрелил,
И душа Отчизны в небо отлетела
Вместе со столькими юными душами.

Радуйся, Берлин! Готовьте трофеев смотр!
Стройте памятники! Жены, дарите героев любовью!
Больше до вас не дойдут с Востока
Наши Христовы славословья!
Белая держава миру не напомнит,
Что не только в Эссене льется сталь,
Что в нашей обители темной
Любовью ковали мы меч Христа!

Радуйся, Германия!
Deutschland, Deutschland über alles!

В балагане
Резвые клоуны кувыркались:
«Старое — долой его! Старое издохло!
В новом мире
Мы получим... что? Всё!..»
А на Гороховой
Пьяный старичок в потертом мундире
Еще вопил: «Да приидет Царствие Твое!»

По всем проводам сновали вести:
«Они уничтожены!.. Мы победили!»
В Аткарске в маленьком домике, сидя в кресле,
Плакала мать: «Мишенька, миленький!..»
В снежных пустынях Сибири, Урала
Проволоки пели: «Да здравствует Циммервальд!»
А мертвая даль
Молчала.
Усадьбы горели, там, в глуби,
Кровянел встревоженный Юг.
И наборщики складывали те же пять букв:
«Убитъ! Убитъ! Убитъ!»
В Туле Иванов
Третий день как морит тараканов,
Выпил чай, зевнул, перекрестил рот.
«Экстренные телеграммы!
Новый переворот!»
Парни пьяным-пьяные
С тоски стреляют в ворон...

С севера, с юга народы кричали:
«Рвите ее! Она мертва!»
И тащили лохмотья с смердящего трупа.
Кто? Украинцы, татары, латгальцы.
Кто еще? Это под снегом ухает,
Вырывая свой клок, мордва.
И только на детской карте (ее не будет больше)
Слово «Россия» покрывает
Полмира, и «Р» на Польше,
А «я» у границ Китая.

Вот уж свои отрекаются: «Мы не русские!
Мы не останемся с ними вместе.
Идут германцы. Пусть они
Эту сволочь скорее повесят!»
И цепляются за скользящие акции,

И прячут серебряные ложки. Ночью не спится,
Они злятся и думают: «Когда-то
В это время мы спаржу сосали в Ницце».

В Петербурге от запаха гари, крови, спирта
Кружится голова.
Запустенье! Пугливо жмутся
Китайчата и поют: «А! а!»
Кто-то выбежал нагишом, орет: «Всемирная
Революция!»
А вывески усмехаются мерзко —
Их позабыли снести —
«Еще есть в Каире отель "Минерва"!"
«Еще душатся в Париже духами "Коти"!»
В театре — там нету окон!
Певица поет еще о страсти Кармен.
На улице пусто. Стреляет кто-то...
Еще стреляет — зачем?
Там на вокзале последний поезд
Сейчас заплачет и скроется
Средь снега.
Где ты, Родина? Ответь!
Не зови! Не проси! Не требуй!
Дай одно — умереть!..

За гробом идет старикашка пьяный.
Споткнулся, упал, плюнул.
«Мамочка!
Оступился!.. Эх, еще б одну рюмочку!..»
Вы думаете — хоронят девку,
Пройти б стороной!
Стойте и пойте все вы:
«Со святыми упокой!»
Хоронить, хоронить нам всего и осталось,
Ночью и днем хоронить.
Вот жалобно
Последние гаснут огни.
Темь. Нищий мальчик
Просит:
«Ради Бога
Над сиротинкой сжальтесь!»

Детям скажете: «Осенью
Тысяча девятьсот семнадцатого года
Мы ее распяли!»

Ноябрь 1917
Москва

345. В НОЯБРЕ 1917

Крутили цигарки и пели:
«Такая-сякая, моя!»
Только на милых серых шинелях
Кровь была — и чья!
И с песней Ее убили...
Кого — разве знали они?
Только бабы, крестясь, голосили
Да выли псы на цепи.
Над землей церковной и нежной
Стлался желтый тяжелый дым.
Мы хотели спасти, но где же!..
И клали пятак на помин.
Вы пришли в этот час последний,
Светлые дети, — не зная как,
Вы молили не о победе —
Умереть за Нее и за нас.
Когда всё кончилось, вы, дети,
Закричали: «Она жива!»
Но никто, никто не ответил, —
В эти дни молчала Москва.
Кто знает, как вы бились?
И когда не стало дня, —
Как вы ночью одни исходили
На холодных осенних камнях,
Когда всё затихло и ночью
Только стылые звезды зажглись,
Когда те делили уж клочья
Ее омраченных риз.
И какою великой верой
В этот час прикрылись вы,
Прижавшись слабеющим сердцем
К мертвому сердцу Москвы.

Ноябрь 1917
Москва

346. ПОХОРОНЫ

Шли они с гробами раскрытыми,
С красными флагами, с красными цветами.
Слышно было — баба всхлипывала:
«Ваня!.. Как же ты, Ванечка?..»
Шли и пели о победе страшной,
И кому-то грозили штыки,
А баба всё спрашивала, допрашивала,
Завывая от смертной тоски.

Но в ответ звенела лишь чужая песня.
На гробах, на цветах, на флагах — кровь.
Точно все забыли, что воскреснет
Жалкая разодранная плоть,
Что не только для благих и зрячих,
Для слепцов, чья доля — темнота,
В этот час раскрыты будут настежь
Вольные Христовы ворота.

Декабрь 1917
Москва

347. У ОКНА

Темно.
Стреляют.
Мы? они? Не всё ли равно!
Это день или месяц? Не знаю!
Может, снится? отчего ж так долго?
Пуля пролетела. Отчего же мимо?
А снег лежит сухой, тяжелый —
Его не сдвинуть.
Пьяный солдат поет:
«Вставай! подымайся!..»
Кричит воронье,
Да в сторожке баба завывает:
«На кого ты меня оставил?.. Боренька! родненький!..
И пойду я по миру...»
Если б злоба — стрелять в этих хмурых солдат.
Если б слезы были — заплакать...
«Товарищи! час настал!..»
Бегут куда-то...
Снег на них, на земле, на сердце,
Не сойдет... И зачем весна?
«Ура!» Это кто-то бредит перед смертью,
А может, и так, спьяна...
Что же! прыгай да пой по-новому,
И шуми, и грозись, и стреляй!..
Лихая ты! непутевая!
Родная моя! прощай!
«Всем! Всем! Воззвание.
Спасайте! Стреляйте! Вперед!»
Закроют глаза пятаками,
И ветер один пропоет:
«Вечная память!»
Придут другие, чужие,
Над твоей посмеются судьбой.

Нет, не могу! Россия!
Умереть бы только с тобой!..

Декабрь 1917
Москва

348. В СМЕРТНЫЙ ЧАС

Когда распинали московские соборы,
Ночь была осенняя черная,
Не гудели колокола тяжелые,
Не пели усердные монахини,
И отлетали безвинные голуби
От своих родимых папертей.
Только одна голубица чудная
Не улетала с быстрыми стаями,
Тихо кружилась над храмом поруганным,
Будто в нем она что-то оставила.
Пресвятая Богородица, на муки сошедшая,
Пронзенная стрелами нашими,
Поднесла голубицу трепетную
К сердцу Своему, кровью истекавшему:
«Лети, голубица райская!
Лицом к земле на широкой площади
Лежит солдат умирающий,
Испить перед смертью хочет он.
Один только раз он выстрелил,
Выстрелил в церковь печальную.
Оттого твои крылья чистые
Кровью Моей обагряются.
Омочи этой кровью его губы убогие!
Напои его душу бедную
И скажи ему, что приходит Богородица,
Когда больше ждать уже некого,
И только если заплачет он,
Увидав Мое сердце пронзенное,
Скажи ему, что радость матери —
Своей кровью поить детенышей».

Декабрь 1917
Москва

349. БОЖЬЕ СЛОВО

В ту годину люди отступили от Господа,
И друг друга поджидали с ножами острыми,
И пустела земля трупами смердящая,
И глумились дети над болящей Матерью,

И горели наши церкви православные,
Подожженные по наученью Дьявола.
Господь, жалея народ оставленный,
Призвал Егора — человека праведного.
«Егор, вижу Я — бесы морочат их.
Сильно скорбит Мое сердце Отчее.
Мое Слово в тебе! даже самые грешные
Пред тобой покаятся и слезами утешатся».
Пошел Егор, но только Слово вымолвил —
Лютые люди на него накинулись,
Посадили его за решетки железные.
Неуемный язык ночью отрезали
И радовались, что Слово благодатное
Навек в груди человечьей заперто.
Но Ангел прилетел, перстами чистыми
Из сердца Егора он Слово выпустил.
Вылетела на волю Птица тихая
И по-птичьи тихо зачирикала,
И люди, слушая слова непонятные,
Понимали их, и от радости плакали,
И бросали ножи, и смеялись по-младенчески,
И, каясь, лобзали землю весеннюю,
И глядели, как птица вольная
Кружилась над белыми колокольнями,
Улетая к своему гнезду высокому,
Что вьет она в самом сердце Господа.

Декабрь 1917
Москва

350. МОЛИТВА ИВАНА

Шел Иван домой, как вышло замиренье,
Злой такой: «Хоть бабу похлестать бы веником.
Бабы все костистые, старые,
Разложить бы на дорожке барышню.
Сжечь бы их — свиньи собачьи!
И кур бы прирезать — чего кудахчут?
Всех перебью — никого не останется.
Юбки задерете, запоете: "Ванечка!"
И зачем оставляют детенышей ихних?
Я, Иван, бы живо — только пикнул.
И хлебнуть бы винца, холодно,
До того дела наши веселые...»

Зашел в чайную. Орет граммофон,
Хоть шибко, да всё не о том.

И говорит в углу один чубастый,
С шипом говорит, а слова ласковые,
И кому по головке, а кому по зубам,
И будто он уж Иван, да не Иван.
Идет от него пар густой, а сам рыжий,
И точно рога под шапкой бараньей.
Шумит Иван: «Что ты пыжишься?
Никого, кроме меня, не останется!
Я намедни генералу в морду дал!
Не Иван я вовсе — генерал!
И какая у меня в стакане пакость?
И чего ты рыжий да рогатый?..
Эй, заведи еще песенку!
Очень мне у вас невесело!..»

Вышел Иван. Мороз, а снега не выпало,
И стоит земля, никем не прикрытая,
Крутит Иван, вертит, тянет.
«Черт, неужто от трех стаканчиков?..»
И видит он на земле язвы черные,
И делят землю, и друг друга за бороды,
И давят в сторонке, и пухнут с голоду,
А петли не простые — шелковые,
И баба с младенцем, и шляпка на ней занятная,
И как к Ивану в ноги кинется:
«Хлебушка, милосердный батюшка!»
А младенец уж вовсе синенький.
И хлеб горит, Иван за ним,
Да не взять — глаза ест дым.
И сидят во дворце юркие — упаси, Боже!
И стенки ножом ковыряют да кажут рожи,
И от всех забот обезъязычили,
Только ребят по-соловьиному кличут,
Едят младенцев — хорошо, мол, от порчи,
Да не впрок — всё кряхтят да корчатся,
И в церквях завели блуд по очереди;
И где кровь, а где блевотина,
И бегут по следам супостаты:
«До чего вы, православные, лакомые!»
И нет уж нашей Расеи. И тошно ему,
И стоит он, Иван, один-одинешенек...

Смутился Иван: «Ишь, гады!
Всё от вина — какой тут порядок!
Хоть бы черт подсобил, что ли, малость,
А то нам самим трудно стало...»
А уж рядом идет и бесстыжий — хвоста не прячет,
То петухом кричит, то брешет по-собачьи,

Говорит: «Так-то, мой милый Ванечка!
Я и книжки читал, что книжки — Писание,
Мы не как-нибудь — справедливо, поровну,
Вон тебе баба, и вот ему, чтоб не ссорились;
Сколько тебе десятин?
Уж мы высчитаем да скрепим.
Будешь с бабой спать да соус кушать...
Что же, давай твою душу!
Не вспомнить тебе даже имени Божьего,
Поклоняться будешь нашим рожам,
Вот, Иван, занесем в резолюцию!..»
Стонет Иван, хоть бы очнуться!..
И какие можно слова припомнить?
Как мамка говорила: «Ванюша, ты потихоньку!..»
Как пичуга к дождю кричит: «Пиить! пить!»
Ишь, маленькая, а хочет жить...
Как Машка просила: «Не губи! Ведь узнают...»
И как на сене всю ночь маялась...
И как лежит он в окопе подбитый,
И будто волк идет, а он ему: «Брысь!»
И всё просит: «Жжет... испить бы...
Богородица!.. заступись!..»

Глядит Иван: один он снова.
Снег только выпал — чистый, ровный.
Говорит: «Хорошо мне, и ничего не надо,
И такая во мне играет радость.
Пресвятая Богородица!
Нищ и слеп, прозреть Тебя сподобился.
Я пойду по селам, по полям.
Золотое сердце я земле отдам.
Покровенная! Благодатная!
Погляди Ты на людскую маету,
Заступись Ты за Расею, светлым платом
Ты покрой ее хмельную срамоту.
Видишь, вся она в жару и правды просит,
Опознай ее и тихо призови,
Срок придет, и мы сберем колосья
Расточенной по миру любви.
Вон перед Тобой леса, поля —
Вся великая расейская земля.
Помочь только Ты умеешь —
Помоги Ты бедной Рассее!..

Ноябрь 1917
Москва

351. МОЛИТВА О ДЕТЯХ

Господи, в эти дни
Кто о себе молиться смеет?
Покарай нас, грешных и злых!
Но детей... пожалей их!..
Тех, что при каждом выстреле
Пугливо друг к дружке жмутся,
Тех, что — такие голосистые —
На бульваре играют «в революцию».
Тех, что продают вечерние телеграммы
И страшные слова выкрикивают,
Не понимая, отчего мы шатаемся, будто пьяные,
Заслышав их веселое чириканье,
Тех, что прячут под подушку плюшевых зверей,
Чтоб не обидел кто-то,
Тех, что слушают шаги у дверей —
«Когда же папа вернется?»
Всех, всех!
Боже, без них так пусто, так страшно,
И смерть с нами!
Оставь нам радость нашу,
Наше последнее упование.
Боже, не слыша детского смеха,
Мы забудем, как поет ручей веселый,
Как шумит береза, тронутая ветром, —
Мы забудем Твой голос!
И, не видя детских глаз,
Мы забудем, как звезды блистают ночью,
Как они гаснут в утренний час —
Мы забудем Твои очи;
И никогда усталый человек,
Стоя над маленькой кроваткой с сеткой,
Не скажет: «Господи! Какой свет!
Какая радость в моем сердце!»
Оставь их! ими утешимся,
Это наша лесенка маленькая —
По ней даже самый грешный
Взойдет к Тебе на небо.

Декабрь 1917
Москва

352. У СУХАРЕВОЙ БАШНИ

К Сухаревой башне в праздник Покрова
Собиралась темная Москва.

Приходили душегубы с шлюхами;
Из ночлежек прибегали девки смрадные,
И кряхтели богомолки беспутные,
На охальников нежно поглядывая;
Безрукие, безногие, на колесиках
Обрубки мяса по камням тащили;
Приодевшись, чинно, будто в гости,
Выступали красноносые могильщики,
Играли на гармонике резвые карманники;
Беглые монахи пели «Спаси, Господи!..»
Старухи из богадельни в пояс кланялись,
А мальчишки их щипали досыта.

Когда часы на башне пробили двенадцать,
Стал народ вкруг столба собираться.
К столбу привязали малого младенца,
И был он беленький, будто барашек,
И младенцу кланялись земно,
И по очереди все его допрашивали:
«Отчего ты белый такой да гладкий?
Отчего ты усмехаешься ласково?
Видно, спишь на мягкой кроватке,
Пьешь молочко, да с сахаром...
Мы люди темные,
Беззаконные.
Коль гулять начали —
Не осуди нас, батюшка!»

Кланялись младенцу и били его шибко —
Кто кочергой, кто кнутом, кто прутьями железными,
Плевали в его личико улыбчивое,
Нежное тельце на кусочки резали.
Потом сказал вор, не простой — главный:
«Поучили! довольно!
А теперь Господу Богу помолимся
За упокой новопреставленного...»
Все на землю попадали, заерзали, как черви,
Поползли на брюхе:
«Заступница Усердная,
Он нас попутал.
Пришли мы и видели —
Вонючий козел
Вкруг башни прыгал,
И откуда пришел?..
Ради праздника
Малость выпили...
Господи, пошли на нас казни
Египетские!

Режь нас! бей! жги!
Не оставь живого места!
Ох, от беса всё...
Пресвятая Богородица, помоги!»

На столбе сидит младенец, улыбается,
И ни одной царапины на тельце нежном,
И цветут вкруг него цветы райские —
Куреслепы желтые, синие подснежники.
Воры и разбойники Господа хвалили,
В цветнике резвились, будто дети,
И зацветали их души умильные
Светлыми, весенними цветиками.
Богородица, Цвет Сладчайший,
Тебе поклоняемся!

Тихо ночь сошла с самой башни,
Загорелась в небе звезда.
Расходился народ — кто куда...
Ох, грехи, грехи наши тяжкие!..

Декабрь 1917
Москва

353. В ПЕРЕУЛКЕ

Переулок. Снег скрипит. Идут обнявшись.
Стреляют. А им всё равно.
Целуются, и два облачка у губ дрожащих
Сливаются в одно.
Смерть ходит разгневанная,
Вот она! за углом! близко! рядом!
А бедный человек обнимает любимую девушку
И говорит ей такие странные слова:
«Милая! ненаглядная!»
Стреляют. Прижимаются друг к другу еще теснее.
Что для Смерти наши преграды?
Но даже она не сумеет
Разнять эти руки слабые!
Боже! Зимой цветов не найти,
Малой былинки не встретить —
А вот люди могут так любить
На глазах у Смерти!
Может, через минуту они закачаются,
Будто поскользнувшись на льду,
Но, так же друг друга нежно обнимая,
Они к Тебе придут.

Может, в эти дни надо только молиться,
Только плакать тихо...
Но, Господи, что не простится
Любившим?

Декабрь 1917
Москва

354. МОЯ МОЛИТВА

Утром, над ворохом газет,
Когда хочется выбежать, закричать прохожим:
«Нет!
Послушайте! так невозможно!»
Днем, когда в городе
Хоронят, поют, стреляют,
Когда я думаю, чтоб понять: «Я в Москве, нынче вторник,
Вот дома, магазины, трамваи...»
Вечером, когда мы собираемся, спорим долго,
Потом сразу замолкаем, и хочется плакать,
Когда так неуверенно звучит голос:
«До свиданья! до завтра!»
Ночью, когда спят и не спят, и ходят на цыпочках,
И слушают дыханье ребят, и молятся,
Когда я гляжу на твою карточку, на письма —
Всё, что у меня есть... может, не увижу больше...
Я молюсь о тебе, о всех вас, мои любимые!
Если б я мог
Заслонить вас молитвой, как птица заслоняет крыльями
Птенцов.
Господи, заступись! не дай их в обиду!
Я не знаю — может, мы увидимся,
Может, скажем обо всем: «Это было только сон!»
А может, скоро уснем...
Знаю одно — в час смертный,
Когда будет смерть в моем сердце,
Еще живой, уже недвижный,
Скажу я:
«Господи, спасибо!
Ты дал мне много, много!..
Не оставил меня свободным.
Ярмо любви я тащил и падал,
От земли ухожу, но я знаю радость.
От земли ухожу, но на землю гляжу я,
Где ты, где все вы еще любите и тоскуете...
Господи, заступись! не дай их в обиду!
Я люблю их! Господи, спасибо!»

Декабрь 1917
Москва

355. КАК АНТИП ЗА ХОЗЯИНОМ БЕГАЛ

К ужину Антип малость выпил,
И скучно стало Антипу,
Говорит хозяину:
«Это не ханжа — одна пакость.
Пойду послушаю, что люди болтают,
А не то полезу драться».
Пришел в балаган. У всех морды красные.
Сидят барышни, будто в бане парятся.
И как выскочит один очкастый —
Уж кричать нет сил, только хрипит: «Товарищи!»
И пошел на голове плясать.
Ах ты, мать! ах ты, мать!
Кубарем, да и в щелку пролез — тоненький!
А уж злой!
Вскочил Антип: «Правильно! понял я!
Тесно мне! мать их! долой!..»
Побежал домой к хозяину:
«Иван Васильич, я теперь всё понимаю.
Я тебя нюхал давеча —
Пахнешь ты чудесно,
Ну, а мне не нравится,
И вообще тесно мне!..
Что ты смотришь боком,
На прощанье присел бы —
Потому прирезать тебя придется,
Ничего не поделаешь!
Ах, Иван Васильич,
Вместе мы жили,
Что жили — пили!..
А теперь нельзя! Вместе
Никак не поместимся.
Я ведь говорю тебе по-божески,
Плачу я... Ах, Иван Васильич!..
Пойду поточу ножик:
Шея у тебя, того, — жилистая...»

Хозяин, как был в одних порточках,
Вон из дому, да по Тверской.
Антип за ним — «Ишь, черт! жить хочет!
Прыткий какой!»
Просит Иван Васильич:
«Задохся, отпусти меня, миленький!
Вот тебе мое слово —
Будем жить с тобой вместе,
Что плохо пах — так я запахну по-новому,
А что тесно — так уж как-нибудь поместимся.
Рассуди сам — разве это правильно?

У меня четыре дочери —
Не могу я Господу преставиться
В этаких порточках!»
Слышать Антип не хочет. Так оба и скачут —
За заставу, через огороды, в поле чистое,
Глаза у них вылезли, будто рачьи,
Как псы, языки повысунули.
Думает Антип: «Где уж здесь опохмелиться!..
Жжет внутри... Так уж плохо...
Хоть бы залить водицей,
А то зря издохнешь!»
Видит речку,
Кричит: «Хозяин, а, хозяин!
Мы, небось, бегаем с вечера,
Теперь отдохнуть полагается!»
Сели под кустик,
Попили воды студеной.
Иван Васильич даже расчувствовался,
Антипа по усам погладил, обнял:
«Сон я видал — лежит на блюде селедка,
А клюет ее галка, а у галки под хвостом — кошка.
Я уж тогда подумал, — вот как!
Не к добру сон, говорю, нехороший.
Разве я, Антип, не понимаю? помирать мне надо,
А жить вот как хочется!»
— «Правильно, хозяин, — смотри не падай!
Далеко не ускачешь ночью!
Прирезать всё равно придется —
Мы теперь с тобой враги!..
Ну, отдохнули, пора и за работу!
Ты уж вперед беги!»

Долго бегали, ослабли,
За животы хватаются с голоду,
Видят яблоню.
Яблоки горят ярче золота.
«Стой, хозяин!
Яблоки гладкие, сладкие...
Я здесь примощусь, а ты рви с того края —
На всех хватит!
Был я давеча в этом цирке.
Так один объяснил — нету такой квартиры,
Дома такого, нет на земле такого места,
Чтобы мне, Антипу, с тобой, Иван Васильич,
Не было б тесно.
А то по-хорошему жили бы —
Самому ведь хочется!..
Ну, беги, да подтяни-ка порточки!»

Бегут, видят домик, маленький — сразу не заметишь,
Как скворешник, только птица пролезть и может,
А на домике крестик,
И сам он вроде Храма Божьего.
И поют не колокола — колокольчики.
Говорит хозяин: «Зайдем помолимся!
Нынче воскресенье!
Вот бегаешь — всё забудешь! Ну, и времечко!..»
Смеется Антип: «Что ты думаешь — вместе
Мы в этой клетке поместимся?
Да я один не влезу в эту скважину —
Что я! — не влезет младенец голенький.
Это церковь не для людей, а так, кажется,
Птичья или пчелиная, что ли...»
Уговорил, полезли рядышком, будто братья,
И вошли свободно.
Антип оставил нож на паперти —
Как-то с ножом неудобно.
Глядят: народу тьма-тьмущая, кого только нету?
А места еще больше — стоит церковь пустая,
И будто ждать уж некого,
А народ всё собирается.
Все здесь — воры, дамы, генералы,
Шлюхи, мужики, солдаты, детки малые.
А вот Ивана Васильича дочки.
И отец Антипа — припер из деревни.
Чудно очень —
Как дошел, ведь Тамбовской губернии,
Вот и очкастый, что ходил вверх ногами,
Стоит тихенький, будто вымытый,
Низко кланяется,
И глаза у него голубиные.
Стало Антипу так хорошо!.. Херувимская...
И точно сердце его тает, тает,
И нет внутри ничего, всё вынули.
Кто-то за него молится, кается...
Только слезы текут умильные...
«Слушай, Иван Васильич,
Какие мы с тобой были бедные!
А ведь всё так просто!
Довольно! набегались!
Места на всех хватит, слава Тебе, Господи!»

Сердца, как свечи, горели,
Жаркие, сгорая, пели:
«Слава тебе, наша Церковь, слава!
Для всех, кто верит и не верит,
Для всех праведных и неправедных

Настежь раскрыты твои двери!
Младенца к тебе приносят, Церковь!
Раскройте двери! Лейся свет! Слезы лейтесь!
В жизнь погружается новое сердце!
Плачьте! Надейтесь!
И к тебе прибегает разбойник дикий,
И машет руками, и кланяется земно,
Будто тонет и хочет еще выплыть.
Его ты святила, когда был он младенцем.
Жених и невеста. Тяжелые кольца, Крест.
Тихо плачут души раненые.
В час венчанья слышен крыльев плеск —
Двух птиц, или душ, или ангелов?
Здесь плачь, молодая вдовица!
Об эти камни бейся, мать! Свет ночью!
Обломок корабля! Дай укрепиться!
Души теряйте — мир обретете!
Гроб, и в последний раз он смотрит...
Закройте тесные двери!
Раскройте шире иные ворота!
Верьте —
Душа его восходит! она высоко! высоко!..
Церковь, к тебе прибегают лютые звери,
Зализывают раны волки,
Отсыпаются псы беспутные,
И поют жаворонки — такие веселые
В майское утро.
Землю омой, дождь! прикрой ее, нежный снег!
Нет на земле ни конца, ни смерти,
Коль ты открыта для всех! для всех!
Наша великая Церковь!»
— «Люди, вы еще думаете? — нет!
Сердце, ты еще бьешься? — нет!
Все думы, всё биенье, весь трепет
В себя вместила — одна за всех —
Я — Церковь!»

Антип шепчет тихо:
«Вот и мы просветлились.
Ты думаешь, здесь Антип? — нет Антипа.
И тебя нет, Иван Васильич?
Ни моих, ни твоих, ни ихних,
Ни очкастого из цирка —
Но все мы! А толком
Я сказать не сумею...
Только пусто в моем сердце
И стоит оно, любовью доверху полное...
Милые, пейте!..»

Декабрь 1917
Москва

356. ВОЗВРАЩЕНИЕ

На севере, в июле, после долгой разлуки,
Я увидал — задымился вдали,
Белой болотной ночью окутанный,
Родина, твой лик.
Поздно вернулся — могильный камень
Целовать устами скорбными
И роптать. Но молвил ангел:
«Что ты живого ищешь средь мертвых?
Она жива. Эти капли
Звенят.
Ребята,
Играя под вечер, смеются и кричат.
Она рассеялась. Она — тоска. Она — дым. Она — свет.
Она — дождик крупный, редкий.
Она — в этой солнечной капле на траве.
Она сейчас была, и нет ее...
Ты никогда ее земных одежд
Рукой уж не коснешься боле.
И не зови ее. Она везде.
И нет ее. На то Господня воля».

Март 1918
Москва

357. ОСЕНЬЮ 1918 ГОДА

О победе не раз звенела труба.
Много крови было пролито.
Но не растоплен Вечный Полюс,
И страна моя по-прежнему раба.
Шумит уже новый хозяин.
Как звать его, она не знает толком,
Но, покорная, тихо лобзает
Хозяйскую руку, тяжелую.
Где-то грозы прошумели.
Но тот же снег на русских полях,
Так же пахнет могильный ельник,
И в глазах собачьих давний страх.
Где-то вольность — далёко, далёко...
Короткие зимние дни...
Нет лозы, чтобы буйным соком
Сердце раба опьянить.
В снегах, в лесах низко голову клонят.

Разойдутся — плачут и поют,
Так поют, будто нынче хоронят
Мать — Россию свою.
Вольный цвет, дитя иных народов,
Среди русских полей занемог.
Привели они далекую свободу,
Но надели на нее ярмо.
Спит Россия. За нее кто-то спорит и кличет,
Она только плачет со сна,
И в слезах — былое безразличье,
И в душе — былая тишина.
Молчит. И что это значит?
Светлый крест святой Жены
Или только труп смердящий
Богом забытой страны?

Август 1918
Москва

358—362. О ЛЮБВИ

1

СВЕЧА

В эти ночи слушаю голос ветра.
Под морозной луной
Сколько их лежит, неотпетых,
На всех пустырях земли родной?
Вот сейчас ветер взвизгнет,
И не станет
Того, что было мной, вами,
Жизнью.
Но помню над Флоренцией чужой
Розовую колокольню... Боже,
Кто ее затеплил пред Тобой
За меня, за всех нас, в жизни прохожих?
Пусть люди разрушат эти камни теплые,
Пусть забудется даже имя «Флоренция» —
Будет жить во мне радость легкая,
Зажженная когда-то в вечер весенний.
Пусть убьют меня, — ветер смертный,
Слышу, ты бродишь, ищешь.
Умру я, но в сердце младенца,
Знаю, тот же пламень вспыхнет.
Смерть развеет, как горсточку пепла,
Мою плоть и думы мои,
Но никогда никакому ветру
Не задуть тебя, свеча Любви!

Март 1918
Москва

2

A TOI AIMÉE[1]

При первой встрече ты мне сказала: «Вчера
Я узнала, что вы уезжаете... мы скоро расстанемся...»
Богу было угодно предать всем ветрам
Любви едва вожженное пламя.
«Расстанемся»... и от этого слова губы жгли горячей.
Страшный час наступал, мы встретились накануне.
Мы были вместе лишь тридцать ночей
Коротеньких, июньских.
Ты теперь в Париже, в сумеречный час
Глядишь на голубой зеркальный Montparnasse,
На парочки радостные,
И твои губы сжимаются еще горче.
А каштаны уже волнуются, вздрагивая
От февральского ветра с моря.
Как тебе понять, что здесь утром страшно проснуться,
Что здесь одна молитва — Господи, доколе?
Как тебе понять, ведь ты о революции
Что-то учила девочкой в школе.
Кого Господь из печи вавилонской выведет?
Когда к тебе приду я?
И не был ли наш поцелуй на вокзале мокром и дымном
Последним поцелуем?
Но если суждено нам встретиться не здесь, а там —
Я найду твою душу,
Я буду по целым дням
Слушать.
Ты можешь не говорить о том, как, только что
познакомившись,
Мы друг друга провожали ночью,
Всю ночь, туда-назад,
И как под утро ты спросила на Люксембургской площади:
«Который час?»
И засмеялась: «Я гляжу на эти часы, а они стоят».
Ты можешь не говорить о том, как мы завтракали утром
У старой итальянки, было пусто,
Ты сказала: «Я возьму этот качан для nature-morte...
Я умею говорить по-русски:
Я — противный медвежонок...
Скажи, ты едешь скоро?..»
Ты можешь не говорить о том, как на вокзале,
При чужих прощаясь, мы друг на друга не глядели,
И как твои холодные слабые пальцы
Моих коснулись еле-еле.

---

[1] Тебе, любимой (франц.) — *Ред.*

Ты можешь не говорить обо всем,
Только скажи «люблю»,
И я узнаю твое
Среди тысяч других «люблю»
Даже в раю,
Где я, может, забуду про всё,
Я вздрогну, услышав твое
«Люблю».

Январь 1918
Москва

3

ЕГО РУКА

Всё это шутка...
Скоро весна придет.
Этот год наши дети будут звать «Революцией»,
А мы просто скажем: «В тот год...»
За окном кто-то юркий бегает,
Считает фонари
И гасит. Весной я уеду.
Куда?.. Ну, не знаю... в Париж...
А фонари погасли; только один, слепенький,
На углу вздыхает едва-едва.
Какие есть грустные слова:
«Никогда», «невозможно», «навеки».
Раз, два, три, четыре, пять,
Вышел зайчик погулять.
Кто же первый?
Не надо думать, не надо считать.
Всё это нервы...
Навек! навек!..
Кто этот год,
Кто эту ночь, кто этот снег
Переживет?
Не знаю — на то Его воля.
Пахнет весной и ладаном Его рука.
Ведь Ему молятся
Даже снег и облака.
Не знаю, будет ли утро.
Я целую Его руку.
Умру, но жизнь останется,
И будет жить моя любовь,
И двое любящих в такую же ночь
Сочтут ее — предчувствием ли? воспоминанием?..
Припав к Его руке, на ней услышат
Горячий след моего дыхания.

Не ищите меня — я из дому вышел,
Я умер. Но любовь моя с вами.
Милая, слышишь? —
Любовь останется...

Март 1918
Москва

4

В СОФИЕВСКОМ СОБОРЕ

Снова смута, орудий гром,
И трепещет смертное сердце.
Какая радость, что и мы пройдем,
Как день, как облака, как этот дым, вкруг церкви!
Полуночь, и пенье отмирает глухо.
Темны закоулки мирской души.
Но высок и светел торжественный купол.
Смерть и нашу встречу разрешит.
Наверху неистовый Архангел
Рассекает наши пути и года;
А ты их вяжешь иными цепями,
Своим слабым девичьим «да».
Уйдем, и никто не заметит,
И развеет нас ветра вздох,
Как летучий серебряный пепел,
Как первый осенний снежок.
И всё же будет девушка в храме
Тихо молиться о своем любимом,
И над ней гореть исступленный Архангел,
Грозный и непобедимый.
Гремите же, пушки лихие!
Томись, моя бедная плоть!
Вы снова сошлись в Святой Софии,
Смерть и Любовь.

Ноябрь 1918
Киев

5

ЛЕГКИЙ СОН

Я только лист на дереве заглохшем.
Уныл и нем России сын.
Уж не нальется вешним соком
Душа моя, — она, как дым
Развеянный. Ты, ветер, вей!
Умру, не высказав любви своей.

Уж смерть пришла, но в смерть еще не верю.
Как разгадать — где жизнь? и где конец?
Я мертв? иль снится мне
Восток в огне, зацветший север?
Послушно, Господи, Тебе биенье
Подземных вод, людской крови.
Иное дерево листвой оденешь,
И каждый лист расскажет о любви.
Ведь смерть лишь легкий сон на веждах жизни.
В тебе воскресну, дальний брат.
Что я? что наши дни? что ты, отчизна? —
Не отцветет Господень сад.

Март 1918
Москва

363. ОДА

(ПИСАНО В СЕНТЯБРЕ 1918 ГОДА)

Брожу по площадям унылым, опустелым.
Еще смуглеют купола и реет звон едва-едва,
Еще теплеет бедное тело
Твое, Москва.
Вот уж всадники скачут лихо.
Дети твои? или вороны?
Близок час, ты в прах обратишься —
Кто? душа моя? или бренный город?
На север и на юг, на восток и на запад
Длинные дороги, а вдоль них кресты.
Крест один — на нем распята,
Россия, ты!
Гляжу один, и в сердце хилом
Отшумели дни и закатились имена.
Обо всем скажу я — это было,
Только трудно вспоминать.
Что же! Умирали царства и народы.
В зыбкой синеве
Рассыпались золотые звезды,
Отторал великий свет.
Родина, не ты ли малая песчинка?
О душа моя, летучая звезда,
В этой вечной вьюге пролетаешь мимо,
И не всё ль равно куда?
Говорят — предел и революция.
Слышать топот вечного Коня.
И в смятеньи бьются
Над последнею страницей Бытия.

Вот и мой конец — я знаю.
Но, дойдя до темной межи,
Славлю я жизнь нескончаемую,
Жизнь, и только жизнь!
Вы сказали — смута, брань и войны,
Вы убили, забыли, ушли.
Но так же глубок и покоен
Сон золотой земли.
И что все волненья, весь ропот,
Всё, что за день смущает вас,
Если солнце ясное и далекое
Замрет, уйдет в урочный час.
Хороните нового Наполеона,
Раздавите малого червя —
Минет год, и травой зеленой
Зазвенят весенние поля.
Так же будут шумные ребята
Играть и расти, расти, как трава,
Так же будут девушки в часы заката
Слушать голос ветра и любви слова.
Сколько, сколько весен было прежде?
И кресты какие позади?
Но с такой же усмешкой нежной
Мать поднесет младенца к груди.
И когда земля навек остынет,
Отцветут зеленые сады,
И когда забудется даже грустное имя
Мертвой звезды, —
Будет жизнь цвести в небесном океане,
Бить струей золотой без конца,
Тихо теплеть в неустанном дыхании
Творца.
Ныне, на исходе рокового года,
Досказав последние слова,
Славлю жизни неизменный облик
И ее высокие права.
Был, отцвел — мгновенная былинка...
Не скорби — кончая жить.
Славлю я вовек непобедимую
Жизнь.

Сентябрь 1918
Москва

364. В ЗВЕЗДАХ

(роман)

Тебе, Шанталь, ибо
«Любовь изгоняет страх».

Пролог

Снег вздымай, разметай, лети!
Подымай наши души! Мети! Мети!
Подымай! Свивай! Развивай!
Я встретил тебя... прощай!
Ветер, буря и свет.
Тебя нет — ты здесь — тебя нет...

Боже, — Ты ветр, Ты смерч, Ты бег.
Свисти, гори, летучий свет!
Что я? Века, миры и свет?
Лишь снега сноп, лишь беглый след.

Сколько нас — десятки или тысячи тысяч?
Мы летим и поем, поем, умирая:
«Слава в вышних!»
Разве мы знаем?..
Ты видишь — там, как золотая тля,
Как малый злак полей нетленных,
Несется и поет безумная земля,
Смываемая водами Вселенной.

Покорны дивные миры
Твоих уст дыханию.
Из тьмы рождаясь, плещут костры,
Рассыпаясь новыми мирами.
Ты — корнь огня! Ты — дно! Ты — высь!
Дыши, Господь! А там у ног
Пляши, земля! Крутись! Несись!
Златая искра! Светлячок!

Отче! В эфире холодном
Ты раздуваешь бушующие солнца,

И там — во мгле,
На проплывающей земле,
В снегах, летящих мимо,
В снегах ночи, в ночи сердец —
Ты засеваешь малый свет
Любви неугасимой.
Огонь горит в сердце человеческом.
Усни, умри — всё равно горит навсегда.
Или это не сердце, а только трепещущая
Звезда?
Вкруг земли, пронизанные светом, клубятся
Туманы, облака,
Или это душ, любовью объятых,
Восходящая тоска?

Вот Ты кинул вновь на землю искры.
Золотые грозди, где вы?.. Не гляди!..
Ах, как трепещет сердце неистовое
В груди!
Стучись! — другое услышишь на миг,
Промчишься, потонешь в снегах огневых.
Но час настанет — ты на волю вылетишь...

Ветер крутит облак снежной пыли.
Выше! Выше!
Дай мне ее найти!
Тише! Тише!
Душу мою отпусти!
Слава в вышних!
Прости!

1

Весь день мело.
Андрей куда-то бегал,
В мех окунув лицо, ныряя в тучи снега.
И ветер пел: «Скорей! Скорей!
Андрей, беги! Беги, Андрей!»
Андрей бежал. Он думал о своей поэме.
Сказать — взнеситесь, люди, и парите!
А вчера... Но что понимает в стихах газетный критик?..
Это — недоразумение...
Вот стих — «Что мне преграда, рок?
Я пролечу — я вихрь! Я бог!»
Кто-то прыснул. «Аня, какой странный тип...»
«Ишь, барин — на свадьбу спешит...»

— «Послушайте, вы меня локтем задели»...
Слезы выступили от палящего снега.
А серебряные трубы пели —
Будет победа!

Уж город зацвел — огни, огни,
В снегу пылающий цветник.
Вспыхнули огни в зеркале витрины,
Маяки раскрыли лепестки на площадях пустынных.
Хлещут огнями золотые кусты,
Плетут венки певучие трамваи.
И под ветрами всех ледяных пустынь
Огни, огни —
Ночей цветник —
Дрожат и облетают.

Андрей бежит по скрипучему бульвару.
Навстречу — барышня.
Это — Наташа из музыкальной школы.
Скорей домой! Но ветры ее подхватили —
Вперед! Назад! En avant![1] Где же кавалер веселый?
Ах, она не хочет танцевать кадрили!
Кто-то пищит: «Позвольте проводить вас...»
Ветры, пустите меня! Пустите!
Скоро семь... Скорей! Скорей!

Бежит Наташа, бежит Андрей.
Взглянул он — не видел ни плеч в снегу,
Ни папки «Musique», ни волосиков муфты, белевших у губ.
Глядел в глаза. Глядела она. Не знали. И знали.
Кто он? Кто она? Были вместе. Любили. Расстались.
И на минуту ветры изумились, остановились,
Слабо заметавшись у ног.
Поднесли к их плечам струи снега как крылья.
Вместе. Кто он? Это будет. Было. Давно.
И опять понесли их в разные стороны,
Закружили на широком бульваре.
«Mademoiselle, у вас очаровательная мордочка!»
«Нос отморозил, эй, барин!»...

Наташа, отбежав, на скамью упала, гнутся колени.
Не в силах идти, такая тяжесть, ноет тело —
Будто в руках ее камень или младенец...
Себя оглядела.

---

[1] Вперед! (франц.). — *Ред.*

Но на ладони горела лишь снежинка легчайшая
И от дыханья через миг растаяла...
Андрей бежал, в проулке пустом
Прыгнул через сугроб.

И горький снег зачерпнул ртом,
И снег его губы жег.
Он бежал и кричал: «Я бог! Я бог!..»

А снежные звезды горели —
Спешите, волхвы!
А снежные розы пели —
Молитесь вы!
Будет, будет
Былое!
Любить? Не любить?
И нет покоя!
Снова любить!
Бедные люди!
Стойте! Стойте! Стойте!

2

Пахло в комнате зубными каплями.
Захватанные розы на обоях вяли.
И на портрете Наташин папа
Брюзжал: «Едва ли... едва ли...
У меня был дом и две медали за усердие,
А вот смерть — смертью...»
И злился маятник —
Так, опять начинается! Так, опять начинается!
За стеной скулил маленький Петя:
«Реки: Рона, Луара и еще... реки... реки...»

«Расскажите что-нибудь, а то замолчали снова.
Вы, кажется, чаю просили, я сейчас налью...»

И вот одно слово, даже не слово —
Наташа слышала только «лю»...
И часы, часы сошли с ума, забыли час,
Восемь? Девять? Десять? Мы забыли!
Пели и звенели сколько, сколько раз?
Закружившись и забившись, навсегда остановились.
И розы на обоях раскрыли чашечки,
Роняя росы на косы Наташины,
И запахли еле-еле,
Как пахнут где-то на юге в апреле

Или поздним летом в монастырской келье,
Еле-еле.
Или как пахнут только на могиле,
Которую все забыли.

И на портрете старенький папа,
Сняв очки, тихонько плакал.
«Меня нет... я прошел... я только на портрете...
Я здесь! Я люблю! Я останусь! Я — память!
Слышите — вздох мой, как легкий ветер,
Чуть играет вашими волосами».
Рона... Луара... и зеленые воды потеряли берега,
Расплескались, разбежались, затопили черные луга,
И все ручьи поют: «Спешим! Бежим!
Мы будем все одним, одним!
Там — море! Там море без края!
Что имя? Что берег? Забудь о нем!
Скорее! Скорей! Мы себя потеряем!
Себя мы найдем! Найдем!..»

Маленькая девушка в серой блузке,
Бедный поэт в пиджачке синем,
Взявшись за руки, кружатся по комнате узкой.
«Глупый, ты ведь лампу опрокинешь!..
Знаешь, тогда на бульваре я плакала,
Я уж знала, а ты? Скажи!» — «Да!
Мне кажется, я тебя видел когда-то.
Может, в детстве, может... не знаю когда».

Андрей обнял, коснулся груди полудетской.
Наташа задрожала — деревцо от ветра.
Дождь в грозу — слезы побежали,
Падая, жгли его пальцы.
«Андрей!.. почему ты?..
Разве так надо?..
Ты не слушай — я глупая,
И слезы, слезы, это — от радости...»
Гром.
О чем? Потом!
Не помню!
Где мы?
Уйдем! Умрем!
И быстрые молнии
Резали стены.
В разверстой выси Вседержитель
Рассек младенца мечом серебряным:
Истинно говорю вам, этим вином опьянитесь!
Будете сыты этим хлебом!

И грома раскаты откликались вдали:
На распаленную твердь земли
Темную кровь пролей!
А два человека, смертно тоскуя,
Познали в одном поцелуе
Желчь и елей
Всех земных полей.

Ночью они подошли к окну раскрытому,
Руки протянув вперед, ступая тихо,
Будто несли священное миро.
В выси эфирной
Звезды горели — радость нетленная.
«Наташа, да?» — «Да».
Мирно паслись на лугах вселенских
Дальних светил стада.
И тихо было... Только
Тишина звенела — там в синеве
Переливчатые колокольца
Золотых небесных овец.

3

Июльским вечером земля пахнет тяжко.
И ноги подкашиваются...
«Андрей, посидим здесь! Я устала...»
— «А я бежал, бежал бы!..
Солнце, падая в медные трубы, ревет:
Для слабых ночь настает.
Кто крылат и светл — бегите мне вслед
Через ночь, через край, через свет!»
— «Андрей, видишь — звезда?..»
— «Звезда... да...
Но как гудят провода!
Париж. Нью-Йорк. Марс. Юпитер.
Нового героя славьте!
Его слово — вихрь.
Из уст его льется солнце расплавленное.
Вот город, заводы под вопли гудков
Куют ему крылья для бега.
Уж подымаются стаи листков,
Прославляя его победу...»
— «Андрей, еще звезда...»
— «И пролетают поезда...
Куда? Куда?..

Я правлю, врезаюсь в небесную твердь,
Звездные семафоры зажглись.
Вот перепуганная Смерть
Лижет руки мои.
Нет пощады! Вы бессмертны отныне!
В пурпур небес оденьтесь!»
— «Андрей! Мне страшно, ты меня покинешь.
Я ведь только простая женщина.
Так нельзя говорить, любя!
А столько во мне любви...
Я люблю эту землю и тебя.
От нее меня не зови.
Звезда, и над городом многорукий крест...
Андрей, если любишь — смирись!
Я встать не могу, это — Божий перст,
Но я вижу тебя и высь,
Когда я иду, мне кажется — в руке моей
Звезда или цветок или дивный младенец,
И все глядят: что случилось с ней?..
А мне стыдно и радостно... Андрей, ведь я женщина...
Милый мальчик мой, сядь!
От любви нельзя убежать...»
— «Не могу! Бегу! Прости!
Рыжий всадник скачет по тучам.
О, неужто ему по пути
Коня пасти на лугу пахучем?
Не могу!
Мы как будто дремали...
Прости, мне идти всё дальше и дальше...»

Встал желтый сухой туман.
Едкую пыль глотал Андрей,
Он бежал — огням и камням
Весть о победе отдать скорей.
Слезы стояли в горле,
И хотелось расплакаться по-детски...
Но он думал о каком-то сборнике,
О путешествии в Мексику.
А Наташа долго лежала, целуя горькую землю,
Потом встала, руки вскинула в ночь,
Предала Господу не звезду, не цветок, не младенца,
Только свою простую любовь.

Вдали чернел города скелет —
Труб кости, дыры окон.
И паровоз, раскинув в небе звездный цвет,
Проплакал одиноко.

И глядела огненным оком с вокзальной башни
На Андрея, заплясавшего как смерч,
И дальше, в поле, на белевшую где-то Наташу —
Госпожа наша Смерть

4

Василий Кузьмич сопел, глядел угрюмо
На распятую у стены Наташу
И зачем-то легкую пушинку сдунул
С изумрудного околышка фуражки.
Ах, если б сдунуть пятьдесят один год,
И Дуняшу, и пенковый мундштук с монограммой «В. К. Я.»,
И кресло в департаменте лесов и вод,
И себя, и себя...
«Доложить. Привести в исполнение...»
Господи, велико Твое милосердие...
Не Ты ль одеваешь листвой весенней
Мертвое дерево?..
Любви! Любви! Хоть в час заката,
Бедному человеку любовь пошли,
Чтобы унес он из жизни с горстью праха
Один зеленый лист.

«Наталья Петровна, какое благозвучное имя — Наталья...
Итак, вы согласны на узы брака?
А о некоторых подробностях, так сказать, о деталях,
Я поговорю отдельно с вашей матушкой».
«Дождик, дождик осенний...
Не может, не переменится...
Падают капли...
Радость была, но когда-то...
Падают тихо...
Надо — и свыкнусь...
Капли за каплей устало.
Андрей!.. никогда... никогда...»
И тяжко, как капли, упало
Наташино «да».

5

В голубой воде золотая рыбка,
Проплывай, былая печаль.
Пара за парой тихо кружитесь,
Это — жизнь, это — сон, это — вальс.
«Признаться, невеселая свадьба»,

«Да! Закуска на славу, а чего-то недостает»,
«Она смиренница... поладят»,
«Да вот молодой, простите, но пьет»,
«А у невесты в прошлом году была история»,
«Василий Кузьмич покрыл — весьма благородно»,
«Горько! Горько!»,
«Но он зато прихватил немного»,
«Балычок, скажу вам, превосходный».
В банке рыбка плавает тихо.
Сердце девичье — кому тебя жаль?
Пара за парой плавно кружитесь,
Это — жизнь, это — сон, это — вальс.
«Невеста ничего не ест... смотрите!..
Василий Кузьмич основательно выпил».

Когда генерал предложил тост: «Выпьем, как когда-то,
За любовь и за юность»,
Когда особенно жалобно заплакали
Старые граненые рюмочки,
Растолкав лакеев нарядных,
Грязная, смрадная, страшная,
В пышный зал вбежала баба
И, как птица, забилась вкруг Наташи.
«Ох, какому тебя дают благодетелю!
Крыть хочет шелковым платком,
А ему самому одеть нечего,
Ишь, на людях ходит нагишом.
Помолись о нем,
О душе, о сердце и о печени.
Всё целит святой Пантелеймон...
И придет, придет смерть злая,
И его обовьет, и яйцо разобьет, и гнездо раскидает,
И за морем сокол забытый,
Будто птенчик, вздыхая, пикнет,
И бражники и странники многие,
Что повыпали из гнезда Господня,
Ужалены змеями,
Все до единого околеют,
И дохлые, слепенькие, без перьев,
Господа Бога взыскуя,
Возлетят на райское дерево
И запоют «Аллилуя».
От земной маеты и мук
Вернутся в легкую ночь,
Будут клевать из Божьих рук
Золотое звездное пшено.
Вам, барыня, счастья светлого.
И чтоб жить долго и побольше деток...»

— «Безобразие... кто ее пустил?»...
— «С такой прислугой... нет никаких сил».
— «Да кто это?» — «Поденщица Луша,
Брали на постирушки...
Шальная, из жалости пускали»...
— «Я недавно читал в журнале
Очень интересную статью о кликушестве».
— «Она как будто на что-то намекала?»
— «Да, это явно пахнет скандалом».

А Василий Кузьмич, как был с рюмкой зубровки,
В углу перед иконами,
На пол тяжело грохнувшись,
Завопил исступленно:
«Великий Архангел,
Попри меня
Копытом пламенным
Твоего коня!
Змею убьешь,
Меня топча.
Я молю — уничтожь
Василия Кузьмича!
Труби, святитель,
В черный рог:
Он хотел похитить
Горний цветок.
Сладчайший отрок,
Войди в мой сад!
Конем растоптан
Болотный гад.
Господи, пьян я,
Как стелька пьян, окаянный!..
Подлец... Наташа, как жить нам вместе?
Не вытерплю ясных глаз.
Господи, Господи, растопчи на месте,
Душу не вводи в соблазн!..
Не хочешь? А мне — только плюнуть.
Ну, жена, старичка приласкай,
Вот пролил — налей еще рюмочку...
Музыка, играй!»
Гости шарахнулись: «Видите, как выпил, так — архангелы.
Это знает даже сторож в департаменте».
— «Я на свадьбах бывал...
Но это не свадьба, это просто скандал!»
— «Позвольте откланяться».
— «Оставим молодых». — «Примите пожелания».
И только, теперь всеми забытый,
Еще играл и вздыхал рояль:

Пара за парой тихо кружитесь,
Это — жизнь, это — сон, это — вальс...

6

Опускайся наземь, снежный плат,
Покрывай отцветший сад!
Бесшумный, падай ночь напролет!
Малую травку кто завтра найдет?
Душа, не печалься,
Не плачь, скорбя, —
Небесные пальцы
Коснулись тебя.
Милое имя
Забудь навек.
Ты только синий
Унылый снег.
Помочь нельзя.
Покорясь судьбе —
Чужая стезя
Пройдет по тебе.
«Ты что, жена мне? Довольно кривляться!
Тоже! Цаца!»
Наташа лежала, как прах, как земля недвижная,
Василий Кузьмич упал на нее.
«Господи, помоги, чтобы выдержать
Всё!»

Ее придавил, а с неба дымного
Падал снег на землю пленную.
Кто знает, сколько может вынести
Земля смиренная и сердце женское?
Но вдруг какой-то ветр промчался,
Снег разметал, оголил землю.
И Наташа в смертельном ужасе зашептала:
«Андрей! Андрей! Где мы?»
Но бескрылое слово забилось по комнате.
Ветер тише, тише...
«А! Теперь вспомнила...
Что ж, было слаще с мальчишкой?»
Так надо! Так надо!
Смирись, человек!
Ты тихо падай,
Чистый снег!
Наташа лежала — могильный камень.
Василий Кузьмич дышал тяжело.

И она поцеловала дрожащими губами
Его мокрый лоб.

7

Утром поглядел Василий Кузьмич: снег на крышах,
на крестах.
«Скучно, не пойду на службу! К черту!»
Пил водку и старого лысого кота
За усы дергал.
«Та-та-та! Та-та-та!
Вышла кошка за кота...
Что, котик, не нравится?
А ты думаешь — мне хорошо?
Я тоже красавицу нашел.
Заставлю... должна...
На то жена...
Не боюсь я.
Ну-ка, котик, дай твой усик!»
Не выдержал кот, закричал,
Вытянул острую лапу
И прыгнул на Василия Кузьмича.
И Василий Кузьмич под стол спрятался.
Чур-чура! Враг человеческий!
Откуда тебя нанесло?
Она сама меня вечером
Целовала прямо в лоб.
И Василий Кузьмич за лоб хватался,
Будто там остался след,
Женской тоски и жалости
Неотцветающий крест.
А кот, еще помяукав,
Хвост закрутив, умчался в кухню.
«Где ты, Наташа, Наташа?
Вот, до чего тяжко мне...
Тоска... вино...
Хлебнул натощак... полезли черти».
Василий Кузьмич взглянул в окно,
Снег на крышах, на крестах, на сердце.
А Наташа в кухне одна
Сидела у такого же окна,
Глядела будто во сне —
На те же крыши, на тот же снег.
И послышалось ей, кто-то молвил:
«Сберегу под снегом золотое зерно,
Знай — когда сроки исполнятся,

Из тебя прорастет оно».
Оглянулась — нет! Это кот мяукает —
И она заплакала тихо.
И кот терся об ее руку
И всё про свое мурлыкал, мурлыкал...

8

В сочельник муж не возвращался поздно.
Как всегда, Наташа прильнула к окну —
Сладко сердцу в пучинах звездных
Тонуть и всплывать и тонуть.
Не видала она ни людей, ни снега,
Но только небо.
От Бога глаза и дух живой —
Человек с запрокинутой назад головой.

Пели колокольни: «Радуйся, одинокая!
Звездное семя храни.
Из земли трижды иссохшей
Забьет земной родник».
И, коснувшись дна небесных морей,
Наташа чуть шевельнула губами —
Первое нежное имя «Андрей»
Коснулось стекла, и стекло затуманилось...

Наталья! Взгляни на себя в изумленье —
Небо в тебе, но легко твое бремя!
О, час, когда цвет претворяется в плод!
О, час, когда всходят посевы!
О, час, когда женщина руку кладет
На свое отягченное чрево!
Глуха, слепа, и тяжек шаг,
Какой-то смутный гул в ушах,
И слышать ей одной дано, как дышит под землей
зерно.
И тысячами глаз, раскрытых Богом,
Теперь в себя глядит она,
И тысячами звезд озарена
Ее священная утроба.

9

Есть час — уж ночь, смежив ресницы звезд,
Томясь и корчась на кровавом ложе,
Рожает. Надо столько слез,
Чтоб новый день взыграл пригожий.

Ужасный час. Смятенье без конца.
Земля молчит и ждет, томясь,
И бьется свет, чтоб выйти из яйца,
Порвать мучительную связь.
Тяжел и страшен сон людской.
О, грань! Черта! Предел пути!
Душа охвачена тоской:
Остаться здесь иль перейти?

Просыпаются дети с криком, с визгом.
Легкие гости земли,
Они вспоминают о тихой отчизне,
Откуда недавно пришли.
Умирающие знают — время
Преступить запретные границы,
Отомкнуть нежнейшим дуновением
Тяжкие врата темницы.
Рожениц разъята плоть.
В муках, подобных мукам Творца,
Они мечут искры в ночь,
Чтобы огонь горел без конца.
И смерть одним, и жизнь другим даря,
Встает заря.

Наташа рожала. Боль и свет.
И крик, и крик из самых недр.
«Сейчас полегчает...
Вот в первый раз всегда так, а потом не замечаешь».
Василий Кузьмич ходил вкруг тети Нади:
«Я не знал, что так страшно... Ну-ка, взгляну я...»
— «Известно, наше дело, бабье...
Вы уж лучше не суйтесь...»
Кричала, не она — из нея
Кричал раздираемый дух,
Кричала вся наша земля,
По которой прошел Божий плуг.
Наташе почудилось —
Там в углу зареяли
Без лица, без плоти, в звездной вьюге
Синие глаза Андрея.
«Андрей, я несусь, звезда, и мгла, темно...
Я вернусь туда, где была, давно...»
И вот окна поголубели,
На лбу росой загорелся пот,
И вот показалось маленькое тельце
Из хляби бушующих вод.

Сентябрьский день в крови и в золоте,
И поздние розы запах тленья струят.

«Василий Кузьмич, вас с дочкой! Какая тяжелая!»
— «Благодарю. Весьма рад».
Наташа взглянула — красный звереныш,
И синие, синие глазки...
Как вспыхнули они на бульваре, снегом заметенном!
В июльский вечер как погасли!
Там за окном запах роз и гари.
Осеннее небо сине.
«Ты хочешь назвать ее Дарьей?
Что ж, благозвучное имя».
И великая неизбывная жалость
Наташу переполнила в этот час.
Слабой рукой она ласкала
Жесткие волосы Василия Кузьмича.
Ее любви слишком тесно,
И для всех, и для всех людей
Она течет, будто сок небесный,
Из отягченных грудей.
Пейте все! Она хочет
Себя отдать светло и легко.
Из ее души, как из лона ночи,
Льется золотое молоко.

10

Даша смеется — колокольчики вьюжные, —
Звени, звени, детский смех!..
А мама на елку легким кружевом
Сыплет серебряный снег.

Розовая девочка вкруг елки кружится,
Боже, откуда она — скажи!
Это на дне нашли жемчужину,
На дне твоей души.
Откуда опустилось облако розовое?
Это — твоя плоть и кровь.
Откуда глаза — голубые звезды?
Это — твоя любовь.
«Мама, осторожно, не дыши на свечку, —
А то погаснет...»
Бедное сердце, сердце человеческое, —
Вот твое счастье...

Горите, свечи, цветите, снежные розы!
Любите! Любите, пока не поздно!
Дети, кружитесь — венок зеленый,

Вкруг елки пойте метелью звонкой:
«На елке столько знойных роз,
Звенящие крылья у них...
Не тай, не тай, плакучий воск!
Золотые горите огни!
Жаркие бабочки,
Не улетайте с елки!
Наша радость
Надолго ль?»
— «Мама, снег в саду навсегда останется?»
— «Нет, Даша, нет...»
— «Значит, он уйдет когда-нибудь?..»
— «Уйдет к весне».
— «Мама, а ты была на небе?»
— «Была, во сне...»
— «Скажи, что там — над всеми облаками?»
— «Звезды и снег».
— «Мама, а снег на елке тоже оттуда?»
— «Снег и звезда».
— «Мама, а я там когда-нибудь буду?..»
— «Да...»
— «Мама, почему ты плачешь, ведь там каждый вечер
Веселая елка и столько звезд?»
Горите, горите, золотые свечи,
Не тай, не тай, плакучий воск!..

11

Вкруг елки дети весело кружатся,
А в углу шушукание:
«Конечно, обманывает мужа...»
— «Да с этим "поэтом" путается...»
— «Поглядите на Дашеньку...»
— «Глаза ни ее, ни его... спрашивается...»

Василий Кузьмич подошел к даме чирикавшей
И страшный ответ услышал:
«Да, глаза Вострякова».
— «Прощай! Моя! Не моя!»
Ветер влетел в его голову,
Мысли крутя, метя...
Не моя! Не моя!
Вкруг елки весело пели дети...
Одно только слово из сердца выньте!
Не могу... там в буфете
Остался графинчик,

Василий Кузьмич пил один в коридорчике.
Всё из сердца вынули, и где след?
Одно только слово осталось, водки горче,
И это слово — «нет».

Ночью, когда все ушли и елка погасшая
Дремала, как черный монах,
Василий Кузьмич подступил к Наташе,
Шатаясь от горя и вина.
«Я теперь всё знаю!..
Не смотри, не страшно...
Вот ты какая!
Отвечай, от кого Дашка?»
— «Василий, я от тебя не скрывала,
Я всё рассказала.
Даша — твоя дочь...
Я его с тех пор не видала...
Василий, в ту зимнюю ночь...
Неужели не знал ты?..»
— «А глаза — нет, нет!
Не могут...»
И Наташа шепнула будто во сне:
«А глаза — глаза от Бога...»
— «Потаскушка!
Так уж от Господа Дарья?..»
И он, качнувшись,
Наташу ударил.
Наташа упала,
И елка над ней зашумела жалобно:
Покорись руке тяжелой!
Слышишь крыльев тихий плеск —
Это белый снежный голубь
Опускается с небес.
Он в клюве держит
Золотые ключи.
Пленное сердце,
Жди и молчи!

12

В детскую вбежал Василий Кузьмич:
«Думал моя, а вот что выходит.
Ну, как она запищит,
Востряковское отродье...»
Даша проснулась: «Папа, разве утро?

Ты большой, а спать не умеешь...»
И обхватила сонными ручками
Его толстую красную шею.
«Папа, мне подарили конку...
Завтра будет понедельник».
Встала и в длинной рубашонке
Потонуло крохотное тельце.
В жаре рук он почуял, как бьется
Родная кровь. «Папа! Папа!»
И зареяли тени далекие
Матери, бабки...
И вот его темные корни
Коснулись недр земли,
И вот его ветви горние
До синих небес дошли.
Сына таинственный корень,
Розовый цвет отца!
Дерево, широкое, как море.
Зеленый, зеленый без конца!
«Папа, мне снилось, что мы обедали,
И еще птица такая — галка,
А вот мама и небо
Во сне увидала.
Мама нашла в небесном саду
На елку звезду.
Мама сказала, что я там буду;
Я не боюсь ни собак, ни воды,
Я принесу тебе оттуда
Не одну, а две звезды...»

Даши глаза — там за сеткой...
Они путь указывают всем
И опять уводят человека
В некий непостижимый Вифлеем.
Василий Кузьмич пал на колени.
Детской молитвой покрыт,
Он сложил пред Богом в умилении
Все свои нехитрые дары:
Любовь, любовь тяжелую, как слитки золота,
Веру, чей сладчайший фимиам
Мирры драгоценной
Наполняет необъятный храм
Голубой вселенной.
И самый великий дар —
Ладан надежды неиссякающей,
Что восходит, точно легкий пар
От земли оттаявшей.

13

«Моя? Не моя? Если б я знал!..»
Василий Кузьмич кричал:
«Девчонка! Тоже! Глаза таращит.
И глаза у тебя телячьи».
А потом тихонько допрашивал:
«Даша! Дашенька,
Ты любишь папу?
Ну, люби! Люби!
Не надо плакать!
Я куплю тебе автомобиль!»
— «Люблю маму, тетю Надю, Бобку, Танечку,
Всех, а тебя нет — ты гадкий!
Когда я буду с мамой на небе,
Я найду себе другого папу».
И припадала со слезами внезапными
К жестким отцовским рукам,
Всхлипывая, затихая и вдыхая смутный запах
Табака.

Играли, друг друга дразня, обижаясь, смеясь,
шутя,
Как могут играть лишь старик и дитя.
«У тебя не усы, а кусака»,
— «А ты стрекоза».
— «А ты верблюд».
— «Ты — розовые пятки».
— «Ты — крысиный хвостик».
— «Нет, я крыс не люблю».
— «Спи, моя девочка! Баюшки-баиньки!
Есть у Бога белые зайчики,
И у каждого зайчика длинные уши,
И каждый зайчик спит да слушает,
Как шуршит облако розовое,
Как звенит голубая звездочка,
Как спит девочка маленькая...
Спи, моя девочка! Баюшки-баиньки».
...Молчат. За окном вечер.
И жизнь, замирая, еле-еле о стекла плещется.
Небытие! Покой! Полнощный сад!
Из врат твоих выходим и приходим к ним назад.
Даша только что вышла,
Еще стоит у ограды,
Василий Кузьмич уж слышит,
Как тянет оттуда прохладой.
И оба молчат,
Встретившись на миг у райских врат.

Так на севере летом две зари
Встречаются — рождаясь, умирая.
Солнца нет, а всё небо горит
Розовым отсветом рая.

14

Андрей на эстраде. Замер зал у ног.
Только изредка рокот слышен,
Будто нахлынувший ветерок
Тихую ниву колышет.

Василий Кузьмич слушал слова
Исступленные и непостижные.
И от каждого слова его голова
Клонилась всё ниже и ниже.
«Вот он, мой мучитель!
Меченосец! Синеокий серафим!
И я — Василий Кузьмич — еще думал сразиться
С ним».
О, невыносимые слова,
От вашего блеска слепнут,
И свистит лихая тетива —
Безумный язык поэта!
Это — дьявол! Он нас забудет,
Он любит только стихи,
Проклянет нашу землю будней.
И не сдвинет святой сохи.
«Нет! Это — Архангел!
Надо покориться!
И всё, что было раньше, —
Его десница...»

Андрей говорил. В бездне раскрывшейся
Как костры бушевали его глаза,
И вдруг чье-то всхлипыванье
Прорезало зал.
И все расступились шире,
Зашептались испуганно.
И, все видели — в синем мундире,
Блистая золотом пуговиц,
Василий Кузьмич к эстраде подбежал
И, в глаза взглянуть не смея,
Быстро поцеловал
Летучую руку Андрея,
Потом отвернулся, тихо пикнул
И бросился к выходу.

Андрей не помнил лица во мраке,
Только пламень губ и белый свет —
Это промерцали золотые знаки
В синеве.
И в первый раз за двадцать семь лет
Он почуял тяжесть страшную,
Будто его привязали к земле
Эти губы, руку целовавшие.
И вот Господь милосердный
Выжал грозди мутных туч,
Высек из его сухого сердца
Слез живительный ключ.
Волна голубая глаза захлестнула слезами, огнями,
И огни, расплываясь, тают кругами, кругами...
И, еще не вспоминая милого лица,
Он видел звездное мерцание.
И, еще не понимая конца,
Он знал, что конец настанет.
Слепец — кругом только гул и мгла, —
Он воздух руками ловил —
Струи света мелькнувших глаз,
Проплывающих мимо светил.
Он крикнул: «Наташа! Наташа!»
С шумом вылетела птица любви,
И ночь ударила крыльями тяжкими,
А грудь ее была в крови.

15

«Наташа, я знаю — невозможно! Невозможно!..
Зачем пишу?.. но ты поверь, —
Я сам не свой... Боже,
Что это? Сон или смерть?
Значит, надо было не знать и не помнить,
Бежать от тебя, от себя... куда?
А всё, что могло быть, осталось в той комнате...
Помнишь низкое окно... звезда...
И как ты сказала: “Тише! Лампу опрокинешь...”
Какими мы были тогда!.. Какими!..
Значит, были нужны эти годы длинные,
И тот вечер в поле, и «никогда»,
Чтобы как младенца в себе выносить
Вот это “да”.
Уедем!.. За границу!.. Куда-нибудь!.. Всё равно.
Наташа, ведь должна быть

Простая, как день, как трава, как это окно,
Радость...
Мне кажется, что я скоро умру, Наташа, —
Или это от любви?...
Но я куда-то мчусь, и страшно...
Останови!
Звезды кружатся, и нет ни себя, ни времени —
Вот так было вчера...
Я сам не знаю — это новое зрение
Или просто страх?
А вдруг ты меня забыла!..
Что же дальше? Ночь, пустота, ничто...
Я так устал, и не в силах...
Ты не знаешь, что такое "ничто",
Маленькое, только соринка, точка,
А вот пожирает весь свет.
Я в ужасе просыпаюсь ночью —
Один, ничего больше нет...
Вот пишу тебе... знаю, я пуст, я жалок.
Ты думала, что я лучше...
Наташа! Наташа! Но ведь ты обещала,
Но ведь ты обещала вернуться...»

16

«Андрей, мальчик мой нежный,
Ты всё такой же, как прежде, —
Ничего не видишь, не знаешь.
Мне тяжко, но я должна тебе сказать —
У меня теперь жизнь своя, другая,
Я — жена и мать.
Если любишь, не спрашивай,
Тяжело ли, иль страшно мне...
Не приходи ко мне — мы уже не дети, —
Я никуда не уеду с тобой,
А тебе будет слишком грустно встретить
Твою Наташу такой...
Андрей, я ничего, ничего не забыла,
Но об этом сейчас нельзя говорить.
Одно скажу — то, что было,
Есть и будет и не может быть.
Я боюсь, ты подумаешь — "фразы, игра"...
Я молю тебя — верь.
То, что ты видел вчера,
Это не смерть...
Семь лет... и может, не встретимся здесь,
Но такие минуты — порука

Тому, что радость есть! Есть!
Что мы должны вернуться...
Я пишу тебе в своей спальне.
Розовые, противные стены.
Это в плену... а за шторой звезды дальние...
Андрей, где мы?
Ты знаешь сам —
Прошли, ушли... не здесь, а там...
Я должна кончить... пришел доктор —
У дочки жар, на катке простудилась...
Но мне тревожно отчего-то...
Помолись о ней, если ты в силах.
Андрей, родной, мне кажется, что я несусь, —
Когда же я туда, домой, вернусь?..»

17

Великопостный глухой перезвон,
Господи! Господи! Твоих похорон.
Плачет Матерь Божия.
Час девятый сошел на поля.
В небе крест, а внизу, у подножия,
Плачет земля.
«Мама, мне жарко! Жарко!»
— «Выпей, Дашенька, это лекарство».
Великопостный глухой перезвон,
Господи, Господи, Твоих похорон.
«Мама, не пускай сюда колдунью!..
А если я умру, ослика дай Дуне...»
Наташа раскинула руки вкруг Даши:
Свеча на ветру, гори! Гори!
«Доктор, скажите!..» — «Сударыня, так нельзя спрашивать...»
«Сколько?..» — «Сорок и три».
О, Богородица, у креста склоненная!
О, мать над кроваткой больного детеныша!
«Мама, сейчас поздно или рано?
Мама, я боюсь! Мама! Мама!..»

Василий Кузьмич сбежал куда-то —
Искать Андрея.
«Пусть попрощается с папой,
А я... я не смею».
Вернулся... Даша узнала.
«Папа, почему ты так поздно...
Я для тебя сорвала

Две звездочки...
Мама, не забудь про ослика.
Мама, а что после?..»

Смерть вошла — не злая колдунья —
Нежная девушка вся в голубом,
Которая срывает, чуть-чуть пригорюнившись,
Цветок за цветком.
Бедный рыбак, закинувший сети
В тихой заводи, среди камыша,
И вот уж серебряной рыбкой трепещет
Изумленная душа.
Смерть вошла, как легкий ветерок,
И Даша пошла за нею покорная,
Не заметив, переступила темный порог
Своей опустевшей горницы.
В изначальную черную ночь
Разомкнулись двери розового вечера,
В Отчий дом они впустили дочь,
Еще недавно на землю сошедшую.
А над кроваткой белой,
Над белой мертвой девочкой,
У закрывшейся двери
Стояли два человека,
И как могли они верить —
Два бедных человека,
Здесь у порога оставшиеся, —
Когда Даша, их Даша, Дашенька...
Лежит, и еще улыбается
Детский носик...
И еще на полу валяется
Калека-ослик...
И за окном
Бом! Бом! Бом!
Звон великопостный...
Господи, что же это? Господи! Господи!

18

Когда Дашу хоронили,
Все колокола звонили:
«Пасха! Красная Пасха!»
Сквозь солнце падал дождик маленький.
И сонную землю будили ласково
Дождевые небесные пальцы.

Отдали люди земле благословенной
То, что им было дано, —
Маленький гробик опустили в землю,
Как золотое зерно.
«Зацвети, белая девочка,
Звонкой травой, сладкой кашкой!»

— «Девочка, моя девочка!..
Даша, Дашенька!..
Мои ножки беленькие,
Мои синие глазки!»...
А колокола всё пели и пели:
«Пасха! Красная Пасха!»

У могилы отец и мать
Почуяли Божьих рук касанье.
И смогли они целый мир объять
Огромными, как солнце, глазами.
Увидали, как луны и звезды зреют в садах надземных,
И капля росы — душа младенца.
И нет предела, и нет конца:
Гаснут солнца, миры рассыпаются,
И разверзаются новые очи Творца,
Неугаданные и нечаянные,
И там Даша, и там они будут,
И там опознают друг друга...
А солнечные капли их гладят ласково:
«Обождите, и ваш черед настанет».
Пасха! Красная Пасха!
Час ликованья.

Наташа, горя слезами в апрельских лучах,
Трижды поцеловала Василия Кузьмича.
«Христос Воскресе!»
— «Воистину».
И потонули в светлом поднебесье
Два жаворонка голосистых...

19

Андрей в купе качался меж двумя соседями —
Вперед, назад... «Ну, наконец-то едем мы»...
«А это какая станция?»... «А есть буфет?»...
«Пожалуйста, перестаньте!»... «Парочку котлет»...
Назад, вперед... Названья, мысли, дни перепутались.
«А это какая станция?»... «Отстаньте, спросите кондуктора».

Ночь, и уснуть, и скучен путь, и качаются.
Вперед, назад. «Вы толкаетесь!» — «Простите, вздремнул,
нечаянно».
— «Сегодня Пасха». — «Да, праздник большой».
— «Madame, вы христосуетесь?»
— «А это что за станция?» — «Отстаньте, надоели
с вопросами».
Пасха... Андрей хочет что-то припомнить с усилием.
Но позади лишь вокзал, и грохот, и пьяный носильщик...
Было иль не было?
За окном бледнеющее небо.
Поля, заводы, трубы, кресты и небо белое.
И еще — столбы, мосты и будки стрелочников.
Где-то жизнь, но не в сердце, а рядом, а мимо, а где-то...
Проплывает — вот домик, и лампа, и радость, и нет их...
И кто-то платком машет... «А это какая станция?»
Андрей, мне страшно... Наташа... «Отстаньте... отстаньте...»
Всё мимо... Где я?.. И где же цель?..
И длинные змеи пустынных рельс...
Там ведь осталась Наташа...
Стойте! Стойте!..
Кто-то платком машет,
И пролетает встречный поезд.
«А я думала, мы приедем раньше»...
«А это какая станция?»...
Андрей видел: в небе
Последняя звезда погасла.
Куда он едет?..
Сегодня Пасха...
«Не спится что-то... Не хотите ли пасхи?
И кулич, кулич прекрасный»...
А поезд воет — скорей, скорей!
Ты не успокоишься, Андрей.
Стихи — к чему? Грехи — к чему? И пусто в сердце.
Если подует ветер иной,
Никто его за руку не удержит,
Не скажет: «Побудь со мной!»
Слышите — изнывающий воет поезд
О всех блуждающих, неуспокоенных.
«Почему убегаете, возвращаетесь, кружитесь,
Никому, никому не нужные?»
Так надо, не спрашивай!
Радость была, но когда-то...
Наташа...

А во всех церквах в этот час предрассветный,
Прославив Пасху, Пасху светлую,
Молились люди

Об Андрее, качавшемся где-то в холодном поле:
«О плавающих, путешествующих, недугующих
Господу помолимся».
И свечи кренились испуганно.

20

«Париж», и на дымном вокзале
Бьются люди сметенные.
Париж, еще одного скитальца
Прими в твое лоно!

Париж, запах роз и бензина,
Запах кладбища и тлена,
Свистки, гудки, и смех невинный,
И вод летейских плеск забвенный,
Париж, ты розовая колыбель, начало нежное,
И ты последнее прибежище.
Зацветают стоокие вывески,
Опаловый яд в сверкающих рюмках,
Под землей поезда с пылающими гривами,
Грохот, хохот, не помни, не думай!
Аргентинец, простись с твоими!
Грузин, забудь о Нине!
Золотые сердца, как монеты, на столик киньте!
«L'Intran»! «La Presse»!
Турки разбиты!.. Погибла Мессина!..
Monsieur приподнял котелок... Славься, бес,
Всеми чтимый!

И вот на голубом асфальте
Бледная девушка продает мимозы,
И в тумане реют ее тонкие пальцы
Чуть розовые...
Это светлая Ева — вы не знаете
Девичьих слез...
Она унесла из рая
Желтые грозди мимоз.
Ради Бога,
Обождите! Не трогайте!..
«Я встретил Марго из Лоррени,
Марго скромна и строга,
У Марго есть муж в Лоррени,
А у мужа деревянная нога».
Эй, старики распаленные,
Все, чья весна на ущербе,

Бегите в кафе, в притоны,
Дышите запахом пудры и смерти!
И под платанами на бульварах,
Будто в провинции далекой,
Воркуйте, нежные парочки,
Париж вас покроет заботливо.

На окраинах дымны вечера.
Заводы ночью, очи рабочих, цветите гвоздиками!
«Oh, ça ira! Ça ira!»[1]
Эти улицы кровью пропитаны.
Эти улицы дышат любовью.
Святая Женевьева над Парижем плакала.
И проходят вечером, как совесть,
Одинокие и строгие аббаты.
Андрей — смотри —
Вот он — Париж!

Андрей с холма глядел на Париж шумливый,
Проросли здесь зерна страсти и тоски.
Всколосился город необъятной нивой.
Меж колосьев маки, васильки.
Этим хлебом будут сыты люди,
Люди всех племен и всех времен.
И вкусивший больше не забудет
Тщетный и великолепный сон.
И тоской об истине,
Подымая ярые рати,
По миру рассыпятся
Жаркие маки.
И, от бурь телесных далеки,
Люди вспомнят в сновиденьях, в музыке
Эти трепетные голубые васильки,
До сих пор неузнанные.
Цвети ж и зрей! Расти! Гори!
Святая житница — Париж!

И на холму Андрей — печальный пришелец,
Готовый ринуться в воды океана,
Шептал: «Забвенье, тебя я обрел наконец,
Я здесь навсегда останусь...»

21

Андрей и Марго
Куда? В «Monico»...

---

[1] Дело пойдет на лад! (франц.). — *Ред.*

Ах, жить так легко!..
Извиваясь, сгибаясь и тая
В голубых туманах,
Всю ночь играют
Красные музыканты:
«Кто знает, где мы?
Не пейте до дна!
Любовь — это пена
В бокале вина».
И вопили дикие скрипки:
«Любите! Любите!»
И пели виолончели:
«Мы не успели! Мы не успели!»
И вздыхали контрабасы:
«Напрасно! Напрасно!»
И Андрей и Марго смеялись,
И Андрей и Марго целовались,
И в десятках зеркал
Извивались красные музыканты,
И в десятках зеркал
Черный смокинг обнимал
Розовую даму.
И на пудре алый рот пылал
Страшной раной.
И заливали весь зал
Голубые водные туманы...

И вдруг проснулось сердце Андрея,
Как ребенок ночью, заплакало:
«Где я? Где я?
Ах, пустите меня обратно!..
Мне страшно...
Куда меня кинули?
Пальцы Наташи
Пахли малиной...
Глаза... глаза...
Почему эти люстры?..
И кто о любви сказал
Что-то такое грустное?..»
Спросила Марго:
«Что с тобой, милый?
Mon petit coco[1],
Еще бутылку!..»

Андрей глядел на Марго, на ее ожерелье.
«Эти огни далеко, далеко, но горели...

[1] Мой петушок (франц.). — *Peg.*

Где и когда это было?..
И какая звезда закатилась?..
Это смерть пришла... Я хочу обратно!..»
И Андрей по-ребячьи заплакал.
Марго, не зная, что значат слезы пьяные,
Еще смеясь и шутя,
Прижала к себе странного иностранца,
Точно малое дитя.
В этой женщине, как в звере Божьем,
Никогда не думавшем о смерти,
Билось под холодной розовой кожей
Нежное сердце.
О, женской жалости хватит на каждого
Усталого и страждущего!
Андрей, убаюканный, плакал
Всё тише и тише.
И роза, дымом пропахшая,
Всё реже вздрагивала на смятой манишке.
Задремал, и зал — аквариум,
Проплывают музыканты — красные рыбки,
Они в голубые колокольчики ударили,
У них зеленые травы-скрипки.
И где-то люстры, и бусы, и розы,
Мерцают грустно подводные звезды.
Марго улыбается:
«Мой бедный русский,
Я не знаю, как это называется,
Но это так грустно...»
И шепчет Андрей со сна:
«Я ее отыскал,
Я выпил, я выпил до дна —
Свой бокал...»

22

По набережной серой Сены
Андрей бродил унылый и больной.
И пахли золотые хризантемы
Покоем, сыростью, осенней тишиной.

«Андрей Васильевич! Вот встреча!..
А я только что из Москвы — вчера вечером...
Ну, как вы? Домой не собираетесь?»
— «Куда?.. В Россию?.. Не знаю...»
— «А у нас много говорят о вашей книжке...
Что теперь пишете?»

— «Нет... не пишу... не могу... это было, но прежде...»
— «Напрасно! Мы на вас возлагали большие надежды.
А знаете, поэт Чиликин выпустил новый сборник,
А вот Горкин совсем испортился...
А помните Яковлеву?
Наталья Петровна — вме́сте жили в Малаховке,
Плохо, совсем плохо.
После смерти девочки не вытащить никуда.
Больна, говорят — задеты легкие.
Жаль! Была, так сказать, звезда...
Ну, мне бежать нужно...
Может, как-нибудь вместе поужинаем?..»

Андрей стоял у Notre Dame,
Вздымались башен каменные кипарисы.
Благоухал нетленный храм,
Великое кладбище.
Иль эти башни — руки простертые
В небо — выше! Выше!
Париж веселый и гордый
Подаяния просит, точно нищий.
Забытый нищий над мертвой Сеной
Просит за всю нашу нищую землю.
И застыли руки землистые, серые.
Miserere! Miserere! Miserere![1]
Вошел. Зачем он не умеет молиться?
Дочь, ее, Наташина, дочь...
Глядел на Богоматерь тихую —
Она ведь могла помочь,
Она стояла — небесное древо,
В руке Ее плод тяжелый,
И текли лучи из дивного чрева,
В котором миры роились как пчелы.
И, в сердце сжигая пламень
Горело любви невозможное пламя.
И была на устах улыбка блаженная,
Улыбка тихого таинства,
Улыбка матери, дающей грудь младенцу,
Улыбка умирающей.

Андрей пред Нею пал, впервые в жизни
Раскаялся, смирился без тоски, без укоризны,
Он увидал в Ее сердце пылавшем
Себя, себя и Наташу.
Камень жгли его слезы.
«Укрепи, научи!»

[1] Помилуй (лат.). — *Ред.*

И струились с небесной Розы
Фиолетовые и медвяные лучи.

Есть час, когда трепетное сердце
Начинает по-иному биться,
Точно плод, созревшее для смерти,
Ожидает сладостную жницу.

23

«Ультиматум!»
«Мобилизация!»
Бежать куда-то...
Остаться...
Андрей не видит, не мыслит, а сердце ноет:
Война... и куда?.. о, Господи, что это?
Вокзалы, солдаты, красные кепи... «Я не могу!..»
Оторвись навек от милых губ!
И детские ручки с трепетным флагом.
«Прощай, земля! Прощай, моя радость!»
«Allons enfants de la Patrie!»[1]
Гремите громче, барабаны:
Умри! Умри! Умри!
«Анри, мой милый Анри,
Ты не найдешь своей Жанны!..»
Поцелуй, легкий вздох:
«А если?.. а если?..»
И топот тысячи ног,
Барабаны, флаги, песни.
«Мне страшно! Мне страшно!
Куда мы идем?.. постой!..»
Не думай! Не спрашивай!
Иди! Иди! И пой!
Война вошла. Идите скорее!
Из ее потупленных глаз
Вылетают мерзкие змеи
И жалят, и жалят вас!
«В Берлин! Изрубим проклятых пруссаков!»
— «Довольно! Мне больно!..»
Не надо плакать!
Греми, гроза!
Но сколько, но сколько, но сколько
Из них вернется назад?..
Война вошла. В ее черном сердце
Гнездится самый белый голубь.

[1] «Вперед, сыны отчизны милой» (франц.). — *Ред.*

Это — любовь и жертва:
«За тебя предаю мою легкую молодость!..»
— «О, где же мы? Где же? Ничего не останется?..»
— «Ах, нет! Наша нежная, прекрасная Франция».

Андрей, что тебе? Ты здесь чужеземец...
«Нет, не могу! Я со всеми! Со всеми!
Земля чужая, и я твой сын!
Я тоже колос, а Жнец один!
Зачем — не знаю, но знаю — надо!
И я! И я! Какая радость!»
А песни льются, а флаги бьются.
«Какая радость! Какая мука!»
— «Вы что ж —
В иностранный легион?»
Правда иль ложь?
Всё равно не поймем.
Идем! Идем! Идем!
— «Ведь сын! Ведь сын!..»
— «Прощай, моя мама».
— «В Берлин! В Берлин!..»
— «И где ты, Жанна?..»

Вечерело. В предвиденье страды долгой,
Где воедино сольются злоба и любовь,
На Париж проливало июльское солнце
Тяжелую, черную кровь.

24

Погас печальный осенний день.

«Лейтенант сказал, что в семь...»
— «Хотите домой черкнуть открытку?»
— «А здорово работают наши!..»
— «Это 75...» — «Хорошо б теперь выпить...»
— «Вот ром — держите фляжку...»
— «А кто направо?» — «Зуавы». — «У тебя есть колбаса?»
— «Осталось еще четверть часа».

У! у! у! ухают орудья,
Внизу люди.
Эту фляжку допить... и о чем говорить?..
Еще четверть часа, еще четверть часа им жить...

Андрей и пил и шутил... холодно... холодно...
И размокшая глина и проволока...

У! у! почему он тут? почему!
Как тогда, как всегда... не пойму, не пойму...
Кто-то несет и рвет, и пропало...
Как долго, и проволока, еще десять минут осталось...

Свисток.
Вперед!
А ноги как камень...
Постой!.. Здесь жизнь, здесь я...
Нельзя! Нельзя!
Скорее с вами!
У! у!
Какой свет!
Не могу!.. у! у!.. бегу!..
И он вскочил на парапет.
И кричал: «Вперед! Вперед!»
И бежал вперед! Вперед!

Глухие, слепые кричали, бежали,
И навстречу другие бежали, кричали,
И эти, и те, и те, и эти,
И каски, и красные кепи.
И горел над ними единый
Всеотпускающий перст.

Тонкий месяц — в руке серафима
Звонкий серебряный серп.
И ангел, не зная серых или синих,
Тысячи душ слепых,
Отягченных страстями земными,
Вязал в золотые снопы.
Страшен грех, но и он покрывается —
Любви необъятен плат,
В небесах задумчивого Каина
Поцелует сияющий брат.

Андрей лежал. Замолкли пушки.
Он долго, долго слушал
Доходившее издалека
Стрекотанье смертных цикад.
Видел не поля, не дороги,
Не землю бедную,
Но свою единственную родину,
Огромное темное небо.
Как много звезд, точащих сладкий сок!
Как мир высок!
Из раны на землю
Упадала кровь,

Из души по вселенной
Растекалась любовь.
И кто здесь? Андрей с его жизнью прежней —
Или звезды, луна, предрассветная свежесть?
Андрей к звенящим звездам приник,
Устами, иссохшими от жажды тяжкой,
И он почуял в последний миг
На устах уста Наташи.
Нежная и вечная Жена
Его встречала на небе,
И пела голубая тишина
В час великого венчания.

25

Февральские дни, что вас труднее?
Не весна, но в небе одно предчувствие,
И снег слабеет, чернеет,
И столько грусти...
Осеннее семя,
Взойдешь ли ты?
И будет ли разрешение
Людской маеты?

Наташа больная лежит, раскинув руки,
От жара слипаются глаза, в ушах звенит.
А Даша говорила вместо уши «ухи»,
Розовые ушки, и солнце в них...
Надо жить — доктор сказал, что «надолго
хватит».
Вот так, и лежи в кровати...
Куда ж спешить, и ровно бьется сердце...
А за окном изнывающий снег и луна на ущербе...

Наташа зажгла лампу, газету взяла:
«Нам сообщают... во Франции... у Вердена...
Поэт Востряков...» Андрей!.. но где мы?..
И сразу она от всего отошла...
Лежала не видя, не зная, не слыша,
Дуняша принесла чая... серый снег на крышах...
А ночью тихо было, плакал уныло
Маятник.
И вдруг она как-то вся заторопилась,
Еще не зная, не понимая,
Оделась, покрыла кровать...
Захотелось комнату прибрать.

Будто куда-то едет.
Далеко, далеко,
И ненужную мебель
Расставляла заботливо.

«Может, правда. Поехать на дачу.
Там ведь остался сторож...
Как-то иначе,
И лето уж скоро»...
Андрей... Верден... И тогда, как расстались...
Не опоздать бы... скорей... но куда?.. и будто она
на вокзале.
Василий Кузьмич крепко спал в кабинете,
И был он сер, как земля, в предутреннем свете.
Чмокал губами, скрипел зубами,
Со сна окликал кого-то...
Как страшно тем, кто здесь в изгнании
Еще остается!..

И, расставаясь с тем, что было жизнью тихой и
тяжкой,
Она его перекрестила, как крестила когда-то Дашу.
И сама перекрестилась, точно работник,
Кончивший тяжелый труд.
О, великий отдых! День субботний!
Уж твои колокола поют.
И, к дальнему звону прислушиваясь,
Пахарь отнимает руку от сохи.
И покрывает измученную душу
Ночи синяя епитрахиль.

26

Наташа испугалась — толпа текла по мостовой.
Что нынче стало с ее Москвой?
Недоумение на лицах и тоска,
И пробегают над всеми быстрые облака,
Еще людские волны
Готовы отхлынуть назад,
Еще не знают толком,
Про что гудят.
И проходят люди, проходят —
Что-то будет и будет сегодня...

Вот солнце брызнуло с высоты,
И в его лучах
Розовеет Страстной монастырь.

Трудовая свеча.
Все кричат — невозможное, непонятное...
Что это?.. Боже!.. и дух захватывает...
«Братство».
— «Да здравствует!..»
И вот на грузовике
Косматый солдат улыбается.
И вот в заскорузлой руке
Красный флаг извивается,
И обнимают чужие друг друга.
Жизнь начинается, веруем в чудо!

Наташа спрашивает: «Что это?»
И красные флаги ручьями льются,
И гимназистик отвечает бойко:
«Это? Но это — революция!»
И поют колокола летучие:
«Это пришла революция!»
И воробьи в изумлении вьются:
«Это — весенняя революция!»
Века маеты проклятой
Один за другим текли,
Умирали болящие пахари,
Не засеяв родимой земли.
Смертный стон, и под рубищем язвы.
Что ни холм — то могила и крест.
О, Россия! Смердящий Лазарь,
На четвертый день ты воскрес!
Цвети же пламенем
Во Кремле, со святыми угодниками,
Сердце новоявленное
Воскресшей Родины.
Боже, великие грозы
Порой расточаешь Ты,
И эти багровые розы
Тоже Твои цветы!

В годы трудных будней
Мы не забудем
Эту людскую ширь,
И мартовский ветер,
И Страстной монастырь,
Пред Тобой затепленный,
И какой-то серый листок,
И блаженные лица читающих,
И первый красный флажок
Нечаянный.
И на фонаре мальчишку вихрастого,

И «Да здравствует...»,
И зарево стольких глаз,
И вечер, и речи смешные,
И как улыбнулась в первый раз
Наша Россия...

Поют, идут, бегут куда-то,
Наташу бьет лихорадка.
Нет сил, и больно от ветра весеннего,
К стене прислонилась, гнутся колени,
Но встает от нее умиление,
Земная странница,
Отходя ко сну,
Смотрит, затаив дыхание,
На святую весну.
И жалко кого-то, и сладко,
И хочется дождиком легким проплакать.
Она подымает руки тяжелые —
Попрощаться и благословить
Эти толпы, расплескавшиеся волны
Потерявшей берега любви...

27

В пустых нежилых комнатах дымно от печки.
Горит — не горит длинная свечка.
«Зачем приехала?.. Глупо!..»
И мутит, и согреться, уснуть бы...
«Окна ведь замазаны, а дует... откуда?..
Завтра домой, к себе...
Верно, ищут повсюду...
Надо заказать обед...»
Наташа вышла, шатаясь,
На крыльцо оледенелое,
Сама не зная,
Что она делает.
Облака пролетают, за стаей стая.
Показывается луна и пропадает.
Наташа стоит пред Тобою, Господи,
И нет ни молитвы, ни мысли, ни вздоха.
Была — подруга, мать, жена,
А теперь безлюбая темна.
Не принесла ни грозди тяжелой,
Ни одного золотого колоса,
Раздарила, потеряла, донести не смогла,
С пустыми руками к Тебе пришла.

Но насытить многих она сумела
Смутным духом и бедным телом.
Верую, Господи,
Уготован рай —
Раскидавшим по свету
Жизни урожай!

А ветер рвет ее платье, волосы,
Гонит вперед, словно облако,
По дорожке скользкой вперед!
И она упала на звонкий лед.
Лежит распростертая,
Без тоски или страха, —
Она — только горсточка
Теплого праха.
«Берите! Топчите! Пейте мою душу!
Я буду тихая и послушная!..»
Плуг и серп проходят по лицу земли,
Жизнь и смерть по ней уже прошли.

«Барыня! Это я, сторож!.. Кровь... да из горла...
Не слышит!..
Поезжай за доктором в город!.. и как это вышло?..»
Звезды тихие
И нельзя привстать...
И томительно,
И благодать...
Столько любимых единых глаз
Над нею реет,
Как тогда, когда в первый раз
Она отдалась Андрею.
И губы сухие ищут,
И она, как тогда,
Отвечает, всё позабывши:
«Да!»

28

Осенью девушка рукою слабою
Сорвала в саду золотое яблоко
И, вкусив его, тихо заплакала,
А над ней синело небо невозвратное...
На земных дорогах
Не сберечь души.
Есть одна свобода —
Плакать и грешить.

Мы бушевали, пылали и бились.
Что нам матери вздох?
Распластав неразумные крылья,
Раскидали родное гнездо.
Нежный змий томит и тревожит,
Сладкие шепчет слова.
Святая Россия, ты тоже —
Только земная тварь!
Пред иконой обобьешь колени,
А приснятся губы Стеньки.
Ночь лихую отгуляв,
Плачет, неутешная.
О родимая земля!
Светлая и грешная!
Что ж ты ныне плачешь жалобно
В сраме и тоске?
И какое золотое яблоко
У тебя в руке?..

Василий Кузьмич вопил под образами:
«Гряди, Архангел!
Слава тебе, великий Мятеж,
Эти невозможные года!
Ныне несется к вечной мете
Наша исступленная звезда.
И летят, и горят мечи!
И гудят копыта дивные!
Помирайте же, Василии Кузьмичи,
Чада нерадивые!»

Идут. Вот этот вихрастый выстрелит в солнце.
Куда? разве знают... далёко-далёко!
Они только черные волны
Нового потопа.
Палить, рубить, стрелять.
На штык посадят родную мать,
Просить некого, уйти некуда.
Никто не может помочь.
Идут. Это дети ветра.
Смерть. Ночь.
Небеса распашут кровавым плугом,
Взыграют, древний мир оголя.
И что им вечная мудрость,
Наша седая земля?
Идут, другие встают навстречу.
Иные песни, но тот же ветер.
Пришли. Прошли. Ушли.
И один над всеми неистовый вечер,

Звездная буря вкруг дикой земли.
Еще смуглеет церквей запоздалое золото,
Еще дремлет под снегом земля,
Еще нежные реют голуби,
И где-то звенит ектения...
Идут. Не рать, не рати —
Ветер мчит.
И старики умирают на паперти,
Прижимая к сердцу ржавые ключи.
Мудрецы еще клонятся над книгами,
Тают последние огни.
Что им книги? Они мир крестить будут сызнова.
«Эй, стреляй! смотри не промахнись!»
Прекрасен жрец, прикрывающий дряхлой плотью
Трепетный светильник!
Но так же прекрасен младенец беззаботный,
Который резвится на великой могиле!
«Убьем! Снесем! Сметем!»
Сжигают храм, в котором молились,
Но пожарище тоже святая кадильница,
И крик бунтаря — псалом.
Сотворивший громы, и смерть, и смерч, и бунт
Землю закружил. Летим, летим...
Это последний канун.
Кто поймет, что за ним?..

29

Расстреляли, закопали. Стало тихо,
Снег мохнатый выпал.
А под ним Москва —
Калека.
Час придет — и зазвенит трава
Над отпетыми и не отпетыми.
Василий Кузьмич ошалел — сидит на подоконнике
И завывает голосочком тоненьким:
«За Ивана, Степана, Андрея,
И еще за рыжего красногвардейца!..
Выбираю в Учредительное Собрание —
Главного мастера — "№ 13-ый"...
Гряди, Архангел!
Лети, крылатый!..
Ох, страшно мне!..
Даша, Дашенька!..»

Дуняша на лестнице судачила:
«А мой барин из ума выжил...

Со страха, что ли? Лежит и плачет,
А то будто пес сапоги лижет...»

Пришли снега, легли вечным бременем.
В России тишина и запустение.
И стоит она, от моря до моря,
Будто нежилая горница.
И в тоске великой
Молчат ее дети,
И если встать и крикнуть,
Никто не ответит.
Василий Кузьмич, с бородой всклокоченной,
Один, поздно ночью,
В грязном халате, пред иконой ползает
И подвывает тоскливо —
Одинокий колос
Вытоптанной нивы.

30

Василий Кузьмич у окошка плакал,
И ему почудилась Даша.
Даша — рот и вздернутый носик,
И синий бант в золотых волосиках,
Даша!.. И она растаяла в метели,
Только глаза еще горели,
И две звезды на него протекли,
Иль луч? Иль звук? Иль вздох вдали?
Она любила!.. Она не забыла!.. Она обещала!..
И взыграла в груди великая жалость.
Был он полн любви и словно небосклон
Светел из себя, собою озарен.
И глядел любя, как на Дашеньку,
На Москву, измученную снами тяжкими.

Василий Кузьмич купил золотой порошок,
И с утра до ночи
Красил спичечные коробочки, катушки, всё,
что мог,
И улыбался будто ребенок.
Тонкой кисточкой,
Чтоб чисто...
Вот золотит он еще катушку —
Грешную душу.
И душа трепещет и радуется —
Крылья расправляет, золотая бабочка.

Красит он поля пустые,
И гудит пшеница,
И, упав и отстрадав, Россия
Золотой любовью колосится.
Эти зреющие нивы оживила
Отшумевшая гроза,
И, проплакав, воссияли с новой силой,
Родина, твои глаза!..

Он красит, как крохотный глобус,
Весь мир, что бушует, враждует,
И кладет на земную злобу
Свою любовь золотую.
И встают убитые из хляби земной.
Золотое солнце светит,
Враги, опоенные Божьей весной,
Играют друг с другом, как дети.

И в легком челноке, и мчась куда-то,
Над океаном разгневанным,
Моряк повторяет, не ведая страха,
Имя любимой девушки,
Мое ль? Твое?
Иль имя мира? Имя Бога? Иль это всё?..

Он красит краской золотой небесной
Черное сердце беса.

Он руку поднял свою голову выкрасить,
Чтоб стать как все, себя превозмочь,
Но опять два глаза близко вспыхнули
И рассекли его долгую ночь.
Он умер тихо и сладко,
И кисточка тихо упала на пол.
Душа взметнулась — золотая искра —
Вернулась к Божьему костру,
И закружилась в хороводе быстром
Ее небесных подруг.

Апрель—май 1918
Москва

ОГОНЬ

Огонь пришел Я низвесть на землю.

Лука 12, 49

365

Черной ночью гляжу на звезды вещие.
С дальней звезды кто-то смотрит на меня,
И в ответ мое сердце горит и трепещет —
Непогасимый маяк.
Вот она — вселенская степь —
Иссохшая, жадная, дикая!
Моя радость гореть и сгореть,
Чтоб за мною всё небо вспыхнуло.
Плоть, любовь, дар певца я ночи отдал.
Сладко голым на тучах кувыркаться!
Потерять — какая свобода!
Раздать — какое богатство!
Рассекал я уста закрытые,
Целовал их в огне и в бреду.
Столько взыскующих душ насытил
Мой мятежный и буйный дух.
Если взор мой темнеет и тускнеет,
Если ладони в крови и в грязи,
Если голос, порой слишком грустный,
Не может греметь и грозить —
Не судите меня! Я столько падал, радовался и плакал,
Убегал от смерти,
Окровавленный, снова карабкался
От звезды к звезде, от сердца к сердцу.
Глядите, младенец ладошами плещет,
Зори пылают внове, —
Это я зажег миры бесконечные
Своею смертной любовью.
Мои песни нежные и гневные
Я ветру бросил,
Но они цветочным севом
Распылились по свету.
Поток любви человечьей
Я не хотел запрудить,
Друга иль недруга, каждого встречного
Прижимал к распаленной груди.

Не могилу, не прах, не пепел
Я оставляю миру —
Только горячий ветер,
Блуждающий в выси эфирной.
Забудьте меня! Горите и пойте!
Пусть Господь возопит:
«Что стало с безумной Землею?
Земля, Земля горит.
Архангелы, звезды, глядите на Землю —
Она сожгла свою темную плоть,
Предала непостижной Вселенной
Слепую, святую любовь».

Март 1919

366

Наши внуки будут удивляться,
Перелистывая страницы учебника:
«Четырнадцатый... семнадцатый... девятнадцатый...
Как они жили?.. бедные!.. бедные!..»
Дети нового века прочтут про битвы,
Заучат имена вождей и ораторов,
Цифры убитых
И даты,
Они не узнают, как сладко пахли на поле брани розы,
Как меж голосами пушек стрекотали звонко стрижи,
Как была прекрасна в те годы
Жизнь.
Никогда, никогда солнце так радостно не смеялось,
Как над городом разгромленным,
Когда люди, выползая из подвалов,
Дивились: есть еще солнце!..
Гремели речи мятежные.
Умирали ярые рати.
Но солдаты узнали, как могут пахнуть подснежники,
За час до атаки.
Вели поутру, расстреливали,
Но только они узнали, что значит апрельское утро.
В косых лучах купола горели,
А ветер молил: обожди! минуту! еще минуту!..
Целуя, не могли оторваться от грустных губ,
Не разжимали крепко сцепленных рук,
Любили — умру! умру!
Любили — гори, огонек, на ветру!
Любили — о, где же ты? где?

Любили, как могут любить только здесь, на мятежной
и нежной звезде.
В те годы не было садов с золотыми плодами,
Но только мгновенный цвет, один обреченный май!
В те годы не было «до свиданья»,
Но только звонкое, короткое «прощай».
Читайте о нас — дивитесь!
Вы не жили с нами — грустите!
Гости земли, мы пришли на один только вечер.
Мы любили, крушили, мы жили в наш смертный час.
Но над нами стояли звезды вечные,
И под ними зачали мы вас.
В ваших очах горит еще наша тоска.
В ваших речах звенят еще наши мятежи.
Мы далеко расплескали в ночь и в века, в века
Нашу угасшую жизнь.

Март 1919
Киев

367

Я не знаю грядущего мира,
На моих очах пелена.
Цветок, я на поле брани вырос,
Под железной стопой отзвенела моя весна.
Смерть земли? Или трудные роды?
Я летел, и горел, и сгорел.
Но я счастлив, что жил в эти годы, —
Какой высокий удел!
Другие слагали книги пророчеств,
Пламена небес стерегли.
Мы же горим, затопив полярные ночи
Костром невозможной любви.
Небожители! духи! святые!
Вот я, слепой человек,
На полях мятежной России
Прославляю восставший век!
Мы ничего не создали,
Захлебнулись в тоске, растворились в любви,
Но звездное небо нами разодрано,
Зори в нашей крови.
Гнев и смерть в наших сердцах,
На лицах отсвет кровавый —
Это мы из груди окаменевшего Творца
Мечом высекали новую правду.

Март 1919
Киев

Идут и тонут в ночи вьюжной.
Сами не знают, кому они служат.
С опаской ступают по́ снегу:
В поле ни зги. Голосить или петь?..
Они еще мнят, что восстали на Господа,
Порвали времен золотую цепь!
Слепцы — молодое племя,
Вы резвитесь у ног Творца.
Вы взошли из звездного семени,
Древний ток струится в сердцах.
Глядите ж с низин человечьих
На дальних светил игру.
Мгновенные, славьте вечность —
Великий, торжественный круг!
В наших знаменах и в небесном тумане,
В нашем мятеже и в комете пролетающей
Я слышу буйное дыхание
Нашего единого Хозяина.
Никогда никакая революция
Не перекрасит земли седины,
Как ветерок летучий
Голубой улыбчивой весны.
Что́ войны, народов смятение,
Красный стяг или золото Рима —
Перед слабой маленькой женщиной,
Рожающей сына?
Вы забыли о вечном чуде:
Любовь заплетает венок,
Среди низких томительных будней
Претворяет воду в вино.
Вы тоже, вы тоже люди,
Из ночи вышли и мчитесь в ночь,
Вы так же гневно и нежно любите,
Лобзая, сжимая тленную плоть.
«Эй, товарищ! Враги или наши?»
В поле ни зги и страшно...
Вы так же умрете, уснете навек,
Растопив теплой кровью трепетный снег.
Играйте же, шумные дети!
Над вами святой небосклон.
В Лете лет вы один только вечер,
На ресницах мгновенный сон.
Пригвожденный, распятый, убитый,
Я не мыслю о ваших снах.
Над землей, что томится и мчится,
Золотые горят письмена:

«Роятся мириады звезд,
Дробятся, гаснут и реют,
Я конец и начало, голова и хвост
Золотого вечного Змея.
Я был, Я есмь, Я пребуду вовек
Среди смерти, и ветра, и грома.
Бедный, слепой человек,
Ты придешь в Мое черное лоно!
Растечешься в Моей глубине,
Распылишься в звездном тумане.
Ты придешь, ты придешь ко Мне,
Заблудившийся странник!»

Март 1919

369. СЛАВА ТРУДУ

Я шел, я упал, я снова иду.
Слава труду!

Мы строим великие города.
Их рушит ветер, смерть, года.
Но мы снова строим, камень кладем на камень,
Шаг за шагом всходим к небесам,
И гудят над дальними полями
Красные кирпичные леса.
Мы зажигаем огни — их гасит ветер.
Мы песни слагаем — их забывают дети.
Ржавеет железо. Рассыпается камень.
В сердце нет воспоминаний.

Но если солнце отгорит навсегда,
Если помертвеет наша звезда,
Последний младенец на жаре сердца расплавит
золото
И будет ковать на краткий век
Никому не нужное солнце,
Ибо не может живой человек
Опустить свой неистовый молот.

Города и слова умрут,
Истлеют в ночи века.
Слава тебе, нетленный труд,
Занесенная к небу рука!
Творец, исступленный работник,
Шесть дней клонился над глыбой света,
Высек горы, долы, рощи
И улыбчивого человека.

Кузнецы, раздувайте печи рдяные!
Пахарь, звездное семя бросай!
Мы из ночи высечем новых Адамов,
В сердцах насадим зеленый Рай.

Розы печей расцветают, сталь безумная льется.
Работай! Работай!
Еще кровь земли не остыла
В черных чугунных жилах.
Стучат машины, дышат шахты разверстые —
Еще трепещет земное сердце,
Трудись, рабочий!
Пусть видят звезды холодные,
Как плещут в надмирные ночи
Пожары твоих заводов.

Селянин, идет весна.
Ждет тебя на ложе сонная жена.
Да размягчит ее суровую плоть
Твой труд и твоя любовь!
Припади к ней, лобзая, истоми ее острым плугом.
Глубже кинь в нее семя чудное.
Понесет она. На солнце грея дивное чрево,
Родит зеленые цветущие посевы.
Собери хлеба. Пусть гуляет твой серп.
Пусть она лежит нагая и немая, как смерть.
Вновь придет весна,
Разметавшись, тебя призовет она.
Иди же поступью мощной, не ведая страха,
Вечный пахарь!
Пусть вражьи рати, саранча великая,
Недозревшие нивы вытопчут, —
Трудись, ибо одна жена и одна мать.
Ибо земля не устанет рожать,
Ибо ты, разрывая сухую землю,
Засевая нивы бесплодные,
Постигаешь тайники Вселенной,
Мира темную утробу.

Ты, поэт, трудись и пой!
Твои думы — огненные пчелы,
Из мирской души, немой и слепой,
Они высасывают звонкое золото.
Надо столько мук и тоски,
Столько страдной работы,
Чтобы вырвать из сердец людских
Эти песни легкие и беззаботные.
Работай, камень дроби.
Броди средь будней унылых,

Пока не отыщешь в глуби
Слов златоносные жилы.
Каждый стих — это светлый гонец
В века, в миры, от сердца к сердцу.

Смертное сердце горит на быстром огне,
Но в песне оно бессмертно.

Звонкий голос — как ветер в поле,
Тяжкий пот — как роса в небесном саду,
И как розы — жесткие мозоли.
Слава, слава труду!
Ныне правит миром смерть. Конец! Конец!
Но мы не уйдем, не уступим,
Жарче раздуем мехами пламя сердец,
Над землей распластаем окровавленные руки.
Будем строить, сеять и петь, —
Человек не может умереть!
Всколосись, любовь, на пожарищах злобы!
Умирая, работаем мы.
Мы в работе Творцу подобны,
Отделившему свет от тьмы.
Никогда не сможет остановиться
Наша сумасшедшая земля...
За работу! Мы впишем новую страницу
В древнюю книгу Бытия.

Март 1919

370

Нет, я не поэт, я или пророк,
Или только жалкий юродивый,
Что, задрав рубашку на брюхе, ползет
И орет: «Это будет! это будет сегодня!»
Это будет! и сердце полно предчувствий.
Что будет? вечный живот? или смерть?
Не знаю, но знаю, что будет, и вьюсь я,
Как раздавленный червь.
Не поэт я! вы слушаете:
Вот раздадутся звуки плавные,
И наши истомленные души
Заночуют в тихой гавани.
А мои стихи выползают — голые птенчики,
Розовые, пискливые, еще не обсохшие.
И вы кричите: «Оденьте их!
Мы не можем! стыдно, тошно нам!»

Во что одену их? у поэтов пышные облачения,
А я не поэт — я нищий.
У меня нет даже дерева,
Чтоб сорвать хоть один фиговый листик.
Я могу визжать про свою муку,
Прыгать с перешибленной лапой,
Как старый развратник сюсюкать
И по-ребячески плакать.
Вы кричите: «Уберите его!
Довольно он здесь кривлялся!»
А я мог бы так любить вас,
Такая у меня ко всем жалость...
Но вот встаю, кричу — опомнитесь!
Я не могу — вы легли! вы уснули!
Он придет, а вы заперлись в ваших комнатах,
Вы не успеете выбежать на улицу!
Прочтете стихи, мой скулящий голос послушаете,
На миг раздражитесь и уйдете, безответные,
Чтоб упасть, как на мягкие подушки,
На стройные строфы — не мои — поэтовы.
И забудьте того, кому тоже было стыдно и горько,
Кто, как вы, хотел любви, радости тихой,
Но не мог, ибо прыгал и корчился,
Слыша то, что вы не расслышали.
Лишь когда запоет труба Архангела
И ослиные копыта прозвенят на площади каменной, —
Вы скажете: «Ведь и тот кривляка
Кричал: Осанна! Осанна!»

Январь 1918
Москва

371—373. ПРОСЛАВЛЕНИЕ ЗЕМНОЙ ЛЮБВИ

1

Ночью такие звезды!
Любимые, покинутые, счастливые, разлюбившие
На синей площади руками ловят воздух,
Шарят в комнате, на подушке теплой ищут.
Кого? его ль? себя? или только второго человека?
Так ищут! так плачут! так просят!
И от стоустого жаркого ветра
Колышутся звездные рощи.
Звезды опустились, под рукой зашелестели
И вновь цветут — не здесь, а там!.. Прости! не мучай!
Только всё еще от смятых постелей
Подымаются молящие руки.

Верная жена отрывает руки от шитья.
Щеки застилает сухая белизна.
Стали глаза, не сойдут, стоят.
Шепчет она:
«Что же, радуйся моей верной верности!
Я ль согрешу? а сердце горит,
Бедное, неумное сердце.
Ну, бери! бери! бери!»

Двое на тесной кровати.
Взбухли жилы. Смертный пот.
И таких усилий тяжкий вздох.
С кем вы тягаетесь, страшные ратники?
Нет, это не осаждают крепость,
Не барку тянут, не дробят гранит —
Это два бедных человека
Всё хотят еще стать одним.
Гм! Гм!
Всё весьма прекрасно в мире:
Раздеваться, целоваться, спать,
Вставать, одеваться, раздеваться опять.
2×2=4.
5×5=25.

Господи, спасибо! Есть любовь ясная!
И куцая гимназистка шестого класса,
Вот и она подойдет, пригубит.
И бьются под узким передником девичьи груди.
«Я хотела вас просить об одном...
Только не смейтесь... это так глупо... нет, не выходит...
Я скажу, не теперь... потом...
Не зовите меня... просто Марусей...
Ну и сказала... всё равно... пусть!..»
Легче гору поднять — так трудно!
Что это? Его глаза или море?
И жадно пьют пухлые губы
Нашу сладкую горечь.
Пей! Никогда не забыть эту боль, испуг
И щемящую грусть этих розовых губ...

Там, в моем Париже, на террасе ресторана,
Как звезда на заре, доцветает дама,
И от гаснущего газа, и от утреннего света
Еще злее губы фиолетовые,
И, облизывая ложечку — каштановый крем, —
Ей хочется вытянуться, ногой достать спинку кровати,
И горько шепчет она: «Je t'aime! Je t'aime!»[1]

[1] «Я люблю тебя! Я люблю тебя!» (франц.). — *Ред.*

Ему? или ложечке? или заре, над городом плачущей?
И где-то в эту же ночь
Папуас под себя подбирает папуаску.
Господи, спасибо! ведь есть любовь.
Любовь такая ясная!

Мы полем шли. Остановились оба сразу.
Глядеть — не глядели. Ждать — не ждали.
Горько пахла земля сухая.
Разве мы знали,
Чьих слез она чает?
Мы стояли. Мы не знали. Ничего не знали.
Мы друг друга искали.
Будто не стоим мы рядом, будто меж нами
Весь мир с морями, с холмами, с полями.
Губы дышали зноем земли.
«Ты здесь? ты здесь?» —
Пальцы спрашивали
И нашли.
Господи, спасибо! ведь есть
Любовь такая тяжкая!
Наши слезы смешались — где мои? где твои?
Горько пахла земля, но земля ли? и где мы?
Боже, разве мало такой любви,
Чтоб напоить всю жаждущую землю?
«Ты видишь?» — «Да, землю и тебя».
Ты засмеялась, слезы всё бежали, легкие слезы.
А после спросил я:
«Ты видишь?» — «Да, тебя и звезды».

2

Звезды?
Не знаю! не помню!
Вот они распускаются, электрические розаны,
Газа голубые пионы.
У окна Танечка.
Тощей грудью прижавшись к книжечке,
Поет: «Я жду лобзания!»
— «Танечка, вы дома?» — «Нет их, сейчас вышли».
Жадные ворота губами чмокают.
Телефон визжит: «Я приду! я приду сама».
И, корчась от похоти,
Кидаются друг на друга раскаленные дома.

Господи, спасибо! есть любовь тяжкая.
Петр Николаевич, жена — Наташа.
Спальня ампир, ампир ночной столик.
Ночь? Но сколько их было, сколько?

«Скучно. Пойти бы, что ли, в театр...»
И скучно блестят лифчика пряжки.
Но что это? слово? или только улыбка,
Усмешка привычных скучающих губ?
И бьются они — две рыбы
На берегу.
И на знакомой кровати
Он, проживший с ней столько лет,
Знающий каждую пуговку ее платья,
Каждый вздох ее сонных век,
Вдруг ищет, ловит, удивленный,
Кричит: «Наташа, неужто ты? еще! еще!»
А на стуле, как каждую ночь, белье,
Как каждую ночь, лампадка дрожит у иконы.
«Наташа! Наташа!
Это ль не наша первая ночь?»
Господи, спасибо! ведь есть любовь
Такая тяжкая!

«Вот где свет... по трещнице заплатим
Чтоб всю ночь... уж мы раскошелимся...
Ну, ты! раскручивай тряпки!
Выкладай свои прелести!
Уж ты, сучка потертая,
По-ученому повертывайся!»
За окном желтый снег и весна.
Талый снег — ему умереть...
Ах, она возьмет этот красный фонарь,
Будет он вместо сердца гореть.
Будет жечь и вздыхать, будет круглый и красный
Ночью жить, а к утру погаснет...
Трясет еще девку, но на черных губах стынет ругань.
Нельзя ни уйти, ни забыть, ни укрыться.
И грубые руки бьются испуганно,
Будто крылья самой нежной птицы.
Мутит от кислого пива, от пудры вонючей.
Перед ним — грязный тюфяк, перед ней — потолок.
Но держат они еще один лучик...
«Отчего так светло?»
— «Не знаю, еще ночь».
— «Это с улицы...» — «Как тебя звать?» — «Машкой».
Господи, спасибо! Ведь есть любовь,
Любовь такая тяжкая!

Ты сидела в кафе, и газа отблеск синий
Был на всем: на твоем лице, на стакане вина,
на пальцах дам,
Будто смерть. И когда я повторял твое грустное
нормандское имя,

Мне казалось, что мы уже не здесь, а там.
И две тонкие рюмки, встречаясь,
Под чей-то пьяный смех,
Пели нам о светлом рае,
Где ни арф, ни цветов, только синий свет.
Ты встала. Мы шли долго, молча, не смея умереть,
Как каторжники шли. Куда? — разве мы спрашивали...
И грустно звенела цепь
Любви нашей.
Я клевал губы трудные твои,
Слушал, как неровно бьется сердце.
Где же рай? где же радость не быть, не быть?
Где же смерть?
Вот близко! сейчас не станет!
Целую. Но я. И это мое.
Страшный ангел держал меж нашими устами
Меча своего лезвиё.
Ничего, ничего не будет!..
Но тоска любви горяча,
Она растопила сталь меча.
«Любишь?..»
Рассвело. Голые, светлые, мы в окошко глядели.
Торговки пели, гремели телеги, где-то кричал петух.
Господи, мы закончили, как нам было велено,
Тяжкий труд.
Какая радость! Вот выползает красное солнце...
Господи, спасибо! есть любовь темная.
Еще свеча горела бесцельная,
Слабый огонек средь золота зари.
Ты тихо попросила, я расслышал еле-еле:
«Не туши... пусть горит...»

3

В поздний час,
Умирая в темных больницах,
Не веря, что утро может настать,
Всеми забытые,
Люди
Кричат.
Кажется, этот крик даже солнце разбудит,
И встанет заря.
И души, что плоть не вмещает,
Прорвут великий мрак,
Разольются точно реки, светом райским
Наши дни осеребрят.

В ответ из спален, из ночлежек, из блудилищ
Раздается такой же страстный крик,
Всех, кто, сливаясь, не слились,
Всех, кто, не любя, любили,
Всех, кто ждет не дождется зари.
«Милый,
Если можешь — умри!..»

Будто на катафалке, на пышной кровати
Старой актрисы
Птичкой бьется, тихо плачет
№ 305-ый — бледный гимназистик.
Мальчик дышит духами — вся комната полна сирени.
Но вот еще запах смутный, тревожный,
Будто голубые цветики тления
Зацветают на холеной коже.
А ей страшно — с каждым годом всё легче гнутся
колени,
Всё круче путь,
И всё меньше, меньше времени
Хоть на миг приподняться, взглянуть.
«Вот еще падаю... Кто подымет...
Так в грязи и приду, даже черти шарахнутся прочь...
Нет, не могу!.. Боже, смертным потом вымой
Эту всё испытавшую плоть!»
Молчат. Эта ночь надолго, навеки.
Окна завешены, заперта дверь.
Двое. Но с ними третий.
Ночь? Или смерть?
И старуха и мальчик встречают, нежно обнявшись,
Радость, последнюю радость нашу.

Всю ночь солдат измывался над бабой,
Теперь запотел, изошел. Лежат они рядышком.
И скучно...
И каждый о своем говорит, а другой не слушает.
«Утром в баню схожу помыться...
А там крышка — на позиции...
А как прошлой весной Федьку засыпало,
Только разок икнул — вот и пойми тут...
Скажешь, поняла?..»
— «Говорю тебе, девочка у меня померла.
Глаша, Глафира...
Шесть рублей за нее платила...»
Скучно. А там конец...
«Вот и я помру — чего зря мучаться...»
Что-то белое копошится в окне.
Она придет. Она неминучая.

Белое расползлось. Где же ночь?
Баба баюкает солдатика: «Милый, вот и все померли...»
Господи, спасибо — ведь есть любовь,
Любовь такая темная!

«Ласкай меня, ласкай, как хочешь!
А вчера ночью...»
Ты говорила: так меня ласкал другой, так третий...
И любили нелюбящие, и ласкали неласковые,
И не знали, зачем мы вместе,
И не могли друг от друга оторваться.
И в душной натопленной комнате
Было всё, но не было радости.
И души бились об окна темные,
Слабые бабочки,
Бились и падали.
Даже слова бесстыдные
Не могли заглушить легких крылышек треск.
«Открой электричество... ничего не видно...»
— «Спи!» И вот рассвет.
Ты дремала. Твоя грудь, плечи, руки
Были в легком предрассветном серебре.
Боже, знаю — будет искуплен
И этот, и этот грех,
Когда в смертный час буду прыгать, биться,
Чтоб всего себя отдать.
И к тебе придет, Господь,
Душа моя. Жизнь покажется грустной, милой, далекой,
И скажу я: Господи, спасибо — ведь есть любовь,
Любовь такая легкая!

Январь 1918
Москва

374

Враги, нет, не враги, просто многие,
Наткнувшись на мое святое бесстыдство,
Негодуя, дочек своих уводят,
А если дочек нет — хихикают.
Друзья меня слушают благосклонно:
«Прочтите стихи», будто мои вопли
Могут украсить их комнаты,
Как стильные пепельницы или отборное общество.
Выслушав, хвалят в меру.
Говорят об ярких образах, о длиннотах, об ассонансах
И дружески указывают на некоторые странности
Безусловно талантливого сердца.

Я не могу сказать им: тише!
Ведь вы слышали, как головой об стену бьется человек...
Ах, нет, ведь это только четверостишия,
И когда меня представляют дамам, говорят: «Поэт».
Зачем пишу?
Знаю — не надо.
Просто бы выть, как собака... Боже!
Велика моя человеческая слабость.
А вы судите, коль можете...
Так и буду публично плакать, молиться,
О своих молитвах читать рецензии...
Боже, эту чашу я выпью,
Но пошли мне одно утешение:
Пусть мои книги прочтет
Какая-нибудь обыкновенная девушка,
Которая не знает ни газэл, ни рондо,
Ни того, как всё это делается.
Прочтет, скажет: «Как просто! Отчего его все не поняли?
Мне кажется, что это я написала.
Он был одну минуту в светлой комнате,
А потом впотьмах остался.
Дверь заперта. Он бьется, воет.
Неужели здесь остаться навек?
Как же он может быть спокойным,
Если он видел такой свет?
Боже, когда час его приидет,
Пошли ему легкую смерть,
Пусть светлый ветер раскроет тихо
Дверь».

Февраль 1918

375. ХВАЛА СМЕРТИ

Каин звал тебя, укрывшись в кустах,
Над остывшим жертвенником,
И больше не хотело ни биться, ни роптать
Его темное, косматое сердце.
Слушая звон серебреников,
Пока жена готовила ужин скудный,
К тебе одной, еще медлящей,
Простирал свои цепкие руки Иуда.
Тихо
Тебя зовут
Солдат-победитель,
Вытирая свой штык о траву,

Дряхлый угодник,
Утружденный святостью и тишиной,
Торжествующий любовник,
Чуя плоти тяжкий зной.
И все ждут тебя, на уста отмолившие, отроптавшие
Налагающую метельный серебряный перст,
И все ждут последнюю радость нашу —
Тебя, Смерть!

Отцвели, отзвенели, как бренное золото,
Жизни летучие дни.
Один горит еще — последний колос, —
Его дожни!
О, час рожденья, час любви, и все часы, благословляю вас!
Тебя, тебя, — всех слаще ты, — грядущей смерти час!

Страстей и дней клубок лукавый...
О чем-то спорят, плачут и кричат...
Но только смертью может быть оправдан
Земной и многоликий ад.
Там вкруг города кладбища.
От тихих забытых могил
Становится легче и чище
Сердце тех, кто еще не почил.
Живу, люблю, и всё же это ложь,
И как понять, зачем мы были и томились?..
Но сладко знать, что я умру и ты умрешь,
И будет мерзлая трава на сырой осенней могиле.

Внимая весеннему ветру, и ропоту рощи зеленой,
И шепоту нежных влюбленных,
И смеху веселых ребят,
Благословляю, Смерть, тебя!
Растите! шумите! там на повороте
Вы тихо улыбнетесь и уснете.
Блаженны спящие —
Они не видят, не знают.
А мы еще помним и плачем.
Приди, последние слезы утирающая!
Другие приходят, проходят мимо,
Но только ты навсегда.

Прекрасны мертвые города.
Пустые дома и трава на площадях покинутых.
Прекрасны рощи опавшие,
Пустыня, выжженная дотла,
И уста, которые не могут больше спрашивать,
И глаза, которые не могут желать,

Прекрасно на последней странице Бытия
Золотое слово «конец»,
И трижды прекрасен, заметающий мир, и тебя, и меня,
Холодный ровный снег.

Когда ночи нет и нет еще утра
И только белая мгла,
Были минуты —
Мне мнилось, что ты пришла.
Над исписанным листом, еще веря в чудо,
У изголовья, слушая дыханье возлюбленной,
Над милой могилой —
Я звал тебя, но ты не снисходила,
Я звал — приди, благодатная!
Этот миг навсегда сохрани,
Неизбежное «завтра»
Ты отмени!
О, сколько этих дней еще впереди,
Прекрасных, горьких и летучих?
Когда ты сможешь придти — приди,
Неминучая!

Ты делаешь милым мгновенное, тленное,
Преображаешь жизни скудный день,
На будничную землю
Бросаешь ты торжественную тень.

Любите эти жаркие, летние розы!
Любите ветерка каждое дыханье!
Любите, не то будет слишком поздно!
О, любимая, и тебя не станет!..
Эти милые губы целую, целую —
Цветок на ветру, а ветер дует...
О, как может любить земное сердце,
Чуя разлуку навек, навек!
Благословенна любовь, освященная смертью!
Благословен мгновенный человек!
О, расторгнутые узы!
О, раскрывшаяся дверь!
О, сердце, которому ничего не нужно!
О, Смерть!
В твое звездное лоно
Еще одну душу прими!

Я шел. Я пришел. Я дома.
Аминь.

Ноябрь 1918

376

Ты отнял у меня родину,
Разлучил с родимой землей.
Иду, иду, и гнутся ноги.
На чужой дороге никого со мной.
Ты отнял у меня родную мать.
Уж не коснется глаз моих рука долгожданная,
И никогда, и никого не смогу я назвать
Этим первым именем «мама».
Ты отнял всех, кого я любил.
Они были, и где теперь?
Между ними и мной повис Азраил,
Смута, время, смерть.
Ты отнял мой сладкий дар.
Душу замкнул в темницу,
Тяжкий перст наложил на уста,
Чтоб не мог я ни петь, ни молиться.
И когда в последний час померещилась
Радость, такая простая, человеческая,
Когда показалась девушка вдалеке,
И встала любовь, как утро невинное,
И зазеленела в усталой руке
Нежная весенняя былинка, —
Ты отнял ее, Ты отнял всё.
Но я благодарю Тебя:
Да святится имя Твое!
Да будет воля Твоя!
Ты отнял всё. Но в мертвом сердце
Живет еще одно слово чудное:
«Благодарю». Благодарю за Твое милосердие,
За Твою непостижимую мудрость.
Тяжко мне, Боже!..
Но в этот час благодарю Тебя
За всё потерянное, отнятое, невозможное,
За всё, что ныне не для меня.
За то, что весною цветут жасмины,
За то, что ребята играют в снежки,
За то, что есть счастливые и любимые,
За то, что наши дни — как мотыльки.
Ты отнял всё, но жизнь по-прежнему благословенна.
И, распыляясь, тая и любя,
За радость и за смерть, за небо и за землю
Благодарю Тебя!

Ноябрь 1918

377

«Нет» для смерти и сеч.
«Нет» — это меч,
«Нет» — это склеп,
«Нет» для тех, кто слеп,
«Нет» внизу, но мне от века
Быть на горе,
Но в моей руке поэтовой
Свирель.
Летят года.
Любят — твердят «навсегда»,
Умирают — кричат «никогда»,
И гаснет за звездой звезда,
И в Лету лет течет гряда.
Поет летейская вода.
Я пою, у меня для мира
Только святое «да».
Блаженно земное житье!
Нет греха или зла.
Мое сердце покроет всё —
Великий звездный плат.
Растлил, убил и канул в ночь.
Приди ко мне и ты, и ты!
Я вплету тебя в звездный венок,
Ибо ты для меня цветок,
Ибо вы для меня цветы.
Я дохнул, и вздох мой стер пути стыда иль славы.
Я взглянул — нет грешных и праведных.
Далеко от звездного эфира до сердца сирого,
Но мои объятья шире мира.
На скрижалях начертали законы, а в небе плывет весна.
Мои слезы с камня смыли письмена.
Судите! делите! ведите межи! —
Буйно цветет неделимая жизнь.
О чем ваши споры? ведь нет же неправых,
И сладко пахнут сорные травы.
Я прошел все поля, я видел, я знаю —
Одна земля, один Хозяин.

Март 1919

378

Гудит и плещет стихия...
(Потом отметят:
«Такой-то жил в России
В двадцатом веке...»)

Иду ли стезей звезды падучей,
Или тропой муравья?
Под ногой гранитные тучи
Или только зыбкая земля?
Я хотел устоять, отделиться,
Звали меня «Илья»,
Теперь я ветр безымянный, безликий,
Пролетаю, встречные души метя.
За мной! вы еще убегаете?
Бурю хотите остановить?
Меня гонит огонь поедающий
Любви.
В груди пылает не сердце — солнце,
Ты горишь — спеши! спеши!
Кинь его в черные волны
Огромной мирской души!
Времена распадаются.
Нет людей, только грома голоса.
Любви огонь пылающий
Смыл порфирные небеса.
Я люблю тебя, встречный, прохожий!
Утонувший в веках, ты жив!
Больше никто не проложит
Меж сердцами жесткой межи.
Враг мой, дай летучую руку!
Я возьму и тебя и его...
Цепью рук мы землю опутаем,
От края до края святой хоровод.
Нет края! И на небе наши знаки.
Луна, я тебя не забыл!
Мы примем в свои объятья
Рои безумных светил.
Звезда — сестра, и тля весенняя — сестра.
Мы мчимся быстро, быстро,
Одного великого костра
Дикие искры —
Это Творец от любви умирает, это сгорает в мирах
Сердце Его неистовое.

Март 1919

379

Стойте и пойте! Пусть руки бьются, безумные птицы,
Трепещут жарче ярые сердца —
Она еще длится, Страстная Седмица
Творца.

Не сияющий царь Иудеи,
Золотой и седой в синеве,
Не Спаситель земли пламенеющей,
Одной из заблудших овец,
Нет, Зиждитель и дикий Зодчий,
Пастырь буйных, слепых табунов
Распят один, средь всемирной ночи
На мириадах крестов,
Где сплетаются в страстной пляске
Стези сердец или гиблых комет,
Где пылятся, вспыхивают, гаснут
Хороводы летучих лет,
Он распят, и смерть его ранит страстная,
Простирает звездные копья любовь,
И в легком эфире трепещет, на кресте распластанная,
Плоть.
Текут времена — избытые страсти,
Отмирает звезд глухой перезвон.
Но создавший начало больше не властен
Разрешить эти узы легким концом.
Я брожу, я умру — искра быстро погаснет, —
На малой земле в огне, в бреду
Я тоже с Тобою распят,
Изначальный мятежный Дух!
Верю — час завершенья настанет,
Изойдет очистительный ветр,
Ось миров захрустит под Твоими перстами,
Разлученные встретятся тьма и свет.
В неизбывном буревом восторге,
Преступив законы времен,
Сгрудятся миры — священная оргия.
Ты будешь в ночи погребен.
Но снова, снова, снова
Воскреснешь, горя, летя,
И снова будет единое Слово,
Нераздельный Дух бытия.
Внимайте, люди, творцы и духи,
В бунте, в страстях, в бреду, —
В небеса закинуты ваши пронзенные руки,
В вихре поет ваш раздираемый дух.
Мы все, до единого, терпим.
И каждый горит на кресте,
И каждое звонкое сердце
Летит к непостижной мете,
Чтоб, раскинув заветы и узы,
Затопить небеса любовью,
Слить миры в одном, еще не узнанном,
Слове.

Заметай наше пламя, стихия!
Проплывай за племенем племя!
Еще длятся страсти мирские,
Но ты придешь, Воскресение!
Бунтуйте! ликуйте! топчите древнюю землю!
Я вижу — там, где хаос и ночь,
Раздирая покровы, встает иная, вселенская
Любовь.

Апрель 1919

380

Над миром дождь, горючий дождь.
Сирое сердце трепещет.
Разверзлась кипучая ночь.
Снова взалкала Вечность.
Падай, смертный! последний, падай!
Потопи нашу легкую радость!
Губами иссохшими кличет земля.
Жаркие груди вздыбила и ждет.
Падай, крещенья благая струя!
Падай, смертный морозный пот!
Горючий, кипучий дождь,
Разметай, заласкай, утоли!
Да воссияет темная новь,
Первородная плоть земли!
Войны, голод, бунт, погибель края —
Разверзлось небо, пустое досель,
Ныне наша земля погружается
В огневую страдную купель.
Падай, буйный, огнеструйный!
Мы простимся, обнимем друг друга, умрем, целуя.
Это ль не высшее таинство?
Кровь людская тепла и чиста,
Ею вновь и вновь омывается
Мира радостная нагота.
На земле затопленной вы мечетесь, на колокольни
взбираетесь.

Я один, ясновзорый певец,
Голубиной песней встречаю
Неизбежный конец.
Вижу тебя, мой единый наследник,
Вешним дождем опоен,
Ты в зыбком и пьяном ковчеге
Доплывешь до иных времен.

В хляби вод ты услышишь мой голос,
Эту забвенную песнь.
И когда опаленный голубь
Принесет тебе светлую весть,
Ты на новом и диком наречье,
Сжимая земли невиданную дочь,
Прославишь те же звезды вечные
И ту же звездную любовь.

Апрель 1919

381

Вам всё понятно в мире:
Дважды два — четыре,
Любовь — это только размножение,
Звезды — астрономический атлас.
Из земной утробы выросло новое племя,
Небеса оно запечатало.
Саранча с человечьими ужимками,
Антихристы в пиджаках,
Вы застлали поля Европы дымкой.
На Творца ополчился прах.
Времена распались. Люди в корчах
Разят друг друга, роют землю, в землю идут.
Это плоть огромная и мертвая
Восстала на вольный Дух.
Кто узы рассек? Кто из сердца вынул
Любви огонь неуемный?
Господи! ветер гонимый.
Бездомный!
Воешь, мятежный, бессмертный.
В темной норе и в небе пустом,
Врываясь в мое смятенное сердце,
Исторгаешь вопль и гром.
Я могу только петь и молиться.
Среди толп мирских я одинок.
Пусть тяжелые кони победной колесницы
Растопчут звонкий цветок!
Пусть погибну — безумный глашатай, —
В хляби земной утону,
До последнего часа мой яростный факел
Озарял не бывшую весну!
Победители, тщетно мните
Устоять на скрипучих годах —
Мой дух, закружившись в вселенском вихре,
Сметет торжествующий прах.

Жаркий ключ пробьет земные толщи,
Пророчьи побеги буйно взойдут.
Люди будут, лобзая, ловить только ветер и солнце,
Златоструйный летучий Дух.
Наша земля заневестилась.
В знойных розах, в снопах огневых,
Истекая звездными песнями,
Снизойдет Жених.

Апрель 1919

НОЧИ В КРЫМУ

382

Ветер летит и стенает.
Только ветер. Слышишь — пора!..
Отрекаюсь, трижды отрекаюсь
От всего, чем я жил вчера.
От того, кто мнился в земной пустыне,
В легких сквозил облаках,
От того, чье одно только имя
Врачевало сны и века.
Это не трепет воскрылий Архангела,
Не Господь-Саваоф гремит —
Это плачет земля многопамятная
Над своими лихими детьми.
Сон отснился. Взыграло жестокое утро,
Души пустыри оголя.
О, как небо чуждо и пусто!
Как черна родная земля!
Вот мы сами и паства и пастырь.
Только земля нам осталась —
На ней ведь любить, рожать, умирать,
Трудным плугом, а после могильным заступом
Ее черную грудь взрезать.
Золотые взломаны двери.
С тайны снята печать.
Принимаю твой крест, безверье,
Чтобы снова и снова алкать!
Припадаю, лобзаю черную землю.
О, как кратки часы бытия!
Мать моя, светлая, бренная,
Ты моя! ты моя! ты моя!

Январь 1920
Коктебель

383

Не уйти нам от теплой плоти.
От нашей тяжкой земли.
Кто уйдет, всё равно вернется,
Только ноги будут в пыли.
Кружись вкруг себя, холодеющий шар,
Мастери игрушку, новый Икар,
Слепцы, пролагайте по небу пути, —
Всё равно никуда не уйти.
Огнь Прометея, Марсия песни,
Всё, чем дерзкое сердце живет,
Только круженье на месте,
Темный водоворот.
Ошибиться и то нельзя:
У земли ведь своя стезя,
И в чужие миры, что за этим путем,
Не прольется она золотым дождем.
Сердце, и что твой бунт?
Выполни молча оброк —
Господь закружил среди звезд и лун
Еще один малый волчок.
Будь же гордым, умей не заметить,
Не убегай от любви.
Эти святые цепи
Трижды благослови.
Кружись и пой за годом год,
Как мудрый каторжник поет,
Припав к печальному окну,
Свою острожную весну.

Сентябрь 1919
Киев

384

Из желтой глины, из праха, из пыли
Я его вылепил.
Я сóздал его по своему подобью,
Плоть и кровь ему дал.
Я сделал ему короткие ноги,
Чтоб, земной, он крепко на земле стоял.
Я вручил ему меч возмездья и славы,
Чтобы он разил меня,
И сам его тем мечом окровавил,
Чтоб он походил на меня.
Я дал ему имя бренное,
Заставил его резвиться средь наших жасминов и роз,

И чтоб мне презирать мою землю,
Я его на небо вознес.
И чтоб был он, как я, слепой и безумный,
Чтоб огонь вовек не погас в аду —
Я припал к нему и в мокрую глину вдунул
Мой бушующий смутный дух.
А потом, взыграв будто зверь веселый,
Молод, темен и слеп,
Высоко я занес мой торжественный молот
И землю отдал земле.
.....
Господа нет, а звери рычат,
Леса шумят.
В гробике розовом
Земле предают младенца,
И сыплются мертвые звезды,
Светлые, тленные.
Есть ветер,
И листьев трепет,
И шорох, шелест,
И всхлип метели,
И моря рокот, ропот, волн топот,
И громы,
И легкий прерывистый шепот
Влюбленных.
Есть только круженье, смятенье, вращенье
В дикой и темной алчбе,
Есть только время
И бег.

385

Бьется пташка, в траву ныряет,
Низко, низко кружится ястреб.
Ох, как на руку тяжел Хозяин, —
Есть у него сыновья и пасынки.
Он дал этой птице клюв и свободу,
Научил меня гневу у смерти,
Взрыл земляную, утробную злобу
В моем легком ребячливом сердце.
Райскими не цветшими цветами
Вы хотите оправдать того,
Кто одной рукой разжигает пламя,
А другой заливает его.
Мечут огнь его ноздри гневные,
Кровяные уста изрыгают смерть,
И не утешится тенью Эдема
Этот раздавленный червь.

Взывайте ж, взывайте к Творцу:
Суди орла, что когтит и терзает овцу!
Океан суди — он бушует,
Вулкан — он черен и дик,
Суди меня, ибо дерзок и буен
Мой неуемный язык!
Себя суди, лукав и хитр,
За то, что ты создал его и меня.
Скинь личину, отбрось свой скипетр
И взвейся столпом огня,
Очи вырви свои, чтоб не видеть правых,
Уши замкни, чтоб не прельстится мольбой.
Розы Сиона и сорные травы
Вытопчи той же стопой.
Отрекутся праведники, мученики,
Хула разомкнет голубиные уста,
И, омытая кровью всех бывших и сущих,
Воссияет земли нагота.
Отгремит, отгрозит, отгрохочет,
А потом на костре буревом
Пеплом рассыплется яростный Зодчий,
Насыщенный бытием.
Нет ни Творца, ни твари.
Только там на западе — смотри —
Еще медлит истаять нежное зарево
Последней земной зари.

386

Пало капище Ра, пусты Иеговы скинии,
Где был Киприды храм — пастух овец пасет,
И собор Петра в апостольском Риме
Новых варваров ждет.
Кто-то, распластавшись на степной дороге,
Имя Божье страстно повторял,
Но о нем не расскажут забытые боги,
Холодеющие средь музейных зал.
И опять в безумии блаженном
Человек вздымает руки. Ночь темна.
Он, как пращур, лобызая землю,
Новые дарит ей имена.
Кто ты? Космос? Или время?
Плоть земли? Иль дух, что небо затопил?
Или только исступленное круженье
Пыли, чисел и светил?
Мы еще в тоске взываем — «Боже!»,
Имени не зная твоего.

Как змея, меняющая кожу,
Ты преображаешься, былое божество.
Есть в тысячелетьях роковые вёсны:
Ключ, иссякший и потерянный навек,
Пробивает толщи веры косной,
И колени преклоняет человек.
Пусть еще не сложены молитвы,
Плещут сети в лодке рыбака,
Пред его не обличенным ликом
Уж теснятся ясные века.
Вкруг родильницы Синая
Небеса разъятые в крови.
Выйди в ночь и, руку высоко вздымая,
Древнее по-новому благослови.

387

Зол и зноен мой горестный полдень.
Я иду. Я идти устал.
Со мной только ветер и солнце.
Это перевал.
Позади исступленные тропы
От младенческих светлых лет
До этой скалы иссохшей,
Где даже былинки нет.
Слепой, я шел, падал, полз снова,
Жадно пил молодое вино,
И подобны дикому шиповнику
На камнях следы моих ног.
Впереди дорога, ровная и пыльная,
Уж нисходит в долы небытья,
Дышат тишиной могильной
Голубые влажные поля.
О, великий час солнцеворота,
Когда может смертный человек
Охватить раскрывшимся внезапно оком
Свой забвенный и высокий век.
Будто вол, взрывая землю плугом жестким,
Шаг за шагом я иду,
И не всё ль равно, зачем сюда я послан,
Кто за мной бросает зерна в борозду?
Я тебя благословляю, путь бесцельный,
Все пристанища и все лета,
От блаженной нежной колыбели
До могильного креста
Всю беду и всю тщету приемлю.

Высоко я к небу простер
Сладкие дары земли благословенной —
Розовый миндаль и горький терн.
Я стою, прободенный солнцем,
На краю запретной скалы,
И уста мои сыплют звонкое золото —
Хвалы и хулы и хвалы.
Ты еще внизу. Ты стоишь и плачешь.
Чтоб тебе было легче идти,
Я один горю, как вздыбившийся факел,
На вершине земного пути.

Февраль 1920
Коктебель

388

За то, что губы мои черны от жажды.
А живой воды не найти,
За то, что я жадно пытаю каждого —
Не знает ли он пути,
За то, что в душе моей смута,
За то, что слеп я, хваля и кляня, —
Назовут меня люди отступником
И отступятся от меня.
Я не плачу, я иду путем тяжелым,
И разве моя вина,
Если я жив и молод,
А за кладбищем весна?
О, как быстро прирастают к телу ризы,
Я с ними сдираю живую плоть.
Родное дитя изгоняю из дому,
Себя хочу оборотъ.
Уверовав — вновь отвергну,
Не остудив тоски,
Ибо все небожители смертны,
Все пути — тупики.
Но жизни живой не предам вовеки,
И, когда от нее уйду,
На могиле моей бездумные дети
Первый подснежник найдут.

Февраль 1920
Коктебель

389

Мои стихи не исповедь певца,
Не повесть о любви высокого поэта —
Так звучат тяжелые сердца,
Тронутые ветром.

Я не резвился с музами в апреля навечерия,
Не срывал Геликона доцветающих роз,
Лиру разбил о камень севера,
Косматым руном оброс.
На развалинах мира молчи,
Пушкина полдневная цевница!
Варвар смеется, забытый младенец кричит,
Бьет крылами вспугнутая птица.
Не о себе говорю — о многих и многих,
Ибо нем человек и громка гроза.
Одни приходят — другие уходят,
Потупляют, встретившись, глаза.
Все одной непогодой покрыты,
И поет протяжная труба,
Медная, оплакивает павшего владыку
И приветствует раба.
Имя мое забудут, стихи прочитав, усмехнутся:
Умирающая мать, грустя,
Грусть свою тая, в последний раз баюкала
Новое безлюбое дитя.

Март 1920

390

Сон твой легок и светел.
Слышу — ты дышишь,
Не горишь, только тихо теплишься,
Тише, тише...
Ночь темна. Никого кругом.
Руки сложены на груди крестом.
О, часы ночного бдения,
Когда слышно, как проходит время
Час за часом.
Вчера еще были, любили.
А завтра?..
И кажется, нет больше масла
В светильне.
Сжать, целовать эти руки живые!
Еще! Еще! А потом
Другие руки, чужие,
Их сложат таким же крестом.
Сердце вдруг остановится...
Где же ты? Где ты?
Люблю тебя смертной простой любовью,
Как может любить человек человека.
И что мне обитель Господня?
Сын маловерной земли,
Я целую твои утомленные ноги,
За то, что они в пыли.

Не могу ни забыть, ни поверить.
Накренился, меркнет огонь.
Как-то особенно нежно и бережно
Я целую твою сонную ладонь.

391

Нарекли тебя люди Любовью,
Дочь безлюбой земли,
Предрекли в этом светлом слове
Муки страстные твои.
Ты взошла в годину бунта,
Когда дух мой, смертельно скорбя,
Мудрствуя и безумствуя,
Отступился сам от себя.
Не зная о горе и злобе,
Своим незнаньем крепка,
Ты смело сошла в мои преисподния,
Где опаляет тоска.
Не смирить меня праздной надеждой,
Не залить этот огненный сноп,
Только росой человеческой нежности
Остудить страдальческий лоб.
И скоро в земной пустыне,
Расплескав золотое вино,
Поняла ты, какое тяжелое имя
Тебе нести суждено.
Пока я слежу, как выходит за племенем племя
И ветер треплет гранит кулис,
Ты крепко сжимаешь в руке младенческой
Горсть земли и зеленый лист.
. . . . . .
Землей посыпьте,
А в руку отверстую
Желтый лист положите:
Смертному — смертное.

392

Далеко, на милой могиле
Снег, тишина.
Сначала плакали и приходили.
Теперь ты одна.
Кто-то шепчет мне: час настанет,
Ты ее обретешь в небесах,
Тихо шепни «до свиданья»
И поцелуй этот прах.

О, я знаю — в часы потери
Нет сил пережить один день,
И слишком трудно не верить
Хотя бы в легкую тень.
Но такая во мне алчба и тоска!
Сердце смириться не хочет,
Не опускается рука,
Не закрываются очи.
Крикнуть — никто не ответит.
Только ветер шумит — не зови!
Навеки! Слышишь, навеки!
Если ты можешь — живи.
Живу, брожу, но другой, не прежний.
Я что-то большое постиг.
И с великой прощальной нежностью
Я теперь говорю — прости!
Часто, шутя или споря, я замолкаю внезапно,
Вижу могилу с осенней мерзлой травой,
И трудно бывает вернуться обратно,
Вспомнить, что я живой...
. . . . . .

393

Я в мир пришел накануне,
Видел еще отходящее светило
И, когда опустились сумерки,
Лобызал святые могилы.
Было грозово и душно.
Взыграли вы, на веси ринулись
Перепахать оскудевшие души
Оралами кровяными.
Я люблю закат золотой и пурпуровый,
Нежное пение клира,
Черный плющ и пустую урну
Над прахом былого мира.
Рожденный вчера, люблю я вчерашнюю мудрость.
Был на запад мой лик обращен.
Предавши мертвого бога, я никогда не забуду
Его грозных и детских имен.
Вы принесли мне сиротство
И смерть среди вашей весны.
Родные могилы весело топчут
Буйные табуны.
О, как голо в катакомбах ваших, как тускло
мерцают светильники,
Как дик и груб ваш новый Синай!

И мнится мне — горше былого чистилища
Ваш новоданный рай.
Вы бедны и темны, ваши лица дымны,
Нет у вас песен, только ветер и гром.
Я стою перед вами, как порфироносец Рима
Перед убогим крестом.
Что вам цирка арены кровавые?
Пред рабом отучневший кесарь падет.
И мрамор Пароса неистовый Павел
Будто камень простой разобьет.
Что я знаю? Мудрец и начетчик,
Ваш язык я напрасно учу.
Не могу о грядущем пророчествовать,
А причитать над былым не хочу.
Огонь раздуйте и веселитесь!
Вам простится безвинная кровь.
Вот я всхожу на костер очистительный,
Прославляя темную новь.
И проклят одними, другими осмеян,
Один, один, средь огня,
Я гляжу на зарю едва розовеющую
Моего посмертного дня.

394

На площадях столиц был барабанный бой и конский топот,
Июльский вечер окровавил небосклон.
Никто не знал, что это сумерки Европы,
Прощальная заря торжественных времен.
Отшедший день, ты был высок и страден,
От катакомб, где смертью попирали смерть,
До самодержца захлебнувшегося кровью рабьей,
В кашне был ветер — бурю встретил серп.
Еще наш век двадцатый, а не первый,
Еще не вскрыт мироточивый труп,
И каждый камень падающей церкви
Еще таит тепло его лобзавших губ.
Но седина на храмах, тучен жрец забытый,
Трибун велеречивый спит, и оскудел мудрец.
Всё в житницах, поля пусты, а осень сыплет
Владыкам золото и нищете багрец.
Раскрыты закрома, зерно столетий топчет каждый.
Сокровищницы опустели, мертв закон.
Табунщик-время освежает пажить,
Нас отметая для иных племен,

И с человека опадают ризы.
Загроможденный мир пред ним велик и пуст.
Опять, как на заре своей безумной жизни,
Он чтит огонь в печи и хлеба кус.
О, радость жить на рубеже, когда чисты скрижали,
Не встретить дня и не обресть дорог,
Но видеть, как истаивает запад дальний
И разгорается восток.

Февраль 1920
Коктебель

395

Умер, глаз не закрыли, не положили в гроб,
Лавром увенчали, нарумянили хитро,
Меч вложили в десницу,
Чтоб он, мертвый, правил и карал:
Победителя торжественная колесница —
Золоченый катафалк.
И опять, опять в Версале маскарад,
Вежливый поклон и слезы каменных наяд.
Тиара Рима, роза Франции, России иноческой ряса,
Поэт в священном багряце —
И от всего осталась только розовая маска
На мертвеце.
За что сражаешься, слепой хоругвеносец?
Кого ты тщишься оберечь?
Вотще рабы владычице подносят
Не голову, но тысячи голов предтеч.
Смердит столица мира, пахнет ладаном весна.
Где зодчий строил — мусорщик взрывает пепел,
И только память о былом великолепии
Волнует племена.
Назаретский плотник в сутане прелата.
Отнят меч, и золото креста блестит.
Никто не осудит, но легким закатом
Смертный одр согреет и простит.
Так идет, идет в саду осеннем время,
Не любовь, только легкий испуг,
На глазах повязка и усталое прикосновенье
Теплых рук.
И запоздавшего в пути вздыхателя былого
Александрийский стих оплакивает снова.
На стогнах и в божнице смерть,
Но зелено утро мая —
Это стучится в дверь
Новый хозяин.

Его ли ты встретишь с опаской?
Дитя твое и весны,
Он держит весенний заступ,
Волосы ветра полны.
Умевший дерзать — умей примириться,
Если ты видишь — молчи.
Отдай этим детям с грустной улыбкой
Жезл и ключи.
Прости им смех и могилы,
И эти ладони в крови,
Всё, что понять не в силах,
Прими и благослови.
У гробницы не надо плакать.
Взгляни, как этот мрамор прекрасен.
Они жили, еще дымится погасший факел,
И осенние ярки астры.
Идите, идите на смену!
Судите, кляните нас,
Но только любите нашу горькую землю,
Как мы ее любили в последний час.

396. РОССИИ

Смердишь, распухла с голоду, сочится кровь и гной
из ран отверстых,
Вопя и корчась, к матери-земле припала ты.
Россия, твой родильный бред они сочли за смертный,
Гнушаются тобой, разумны, сыты и чисты.
Бесплодно чрево их, пустые груди каменеют.
Кто древнее наследие возьмет?
Кто разожжет и дальше понесет
Полупогасший факел Прометея?
Суровы роды, час высок и страшен.
Не в пене моря, не в небесной синеве,
На темном гноище, омытый кровью нашей,
Рождается иной, великий век.
Уверуйте! Его из наших рук примите!
Он наш и ваш — сотрет он все межи.
Забытая, в полунощной столице,
Под саваном снегов таилась жизнь.
На краткий срок народ бывает призван
Своею кровью напоить земные борозды —
Гонители к тебе придут, Отчизна,
Целуя на снегу кровавые следы.

397

Бунтом не зовите годы высокой работы.
Мы первые исполнили веления судьбы.
И не мятежники — смиренные рабы,
Кровью скрепившие пирамиды Хеопса.
Нет свободы, ее разлюбили люди,
Свобода — сон, а ныне день труда.
Себя взнуздав, несемся в грозные года,
Топчем могилы отцов, рощи священные рубим.
Имя свое забудь, в ночь распахни свое сердце!
Был человек, а ныне тьмы кишат.
Пред каждым устьем воды неслиянные спешат
В море слиться новой безликой веры.
Братья, мужайтесь, славьте выпавший жребий!
Мы камень раздробим, другой построит дом.
Пусть наша кровь останется на нем —
Розы зари в черном безрадостном небе.

398

О, как тускло под спудом горит утаенное солнце!
Одинокого вино любви не веселит.
В руке, сжимающей звонкое золото, —
Горсть могильной земли.
Провели межи, поставили ограды.
И от всех, от всех вдали
Зацветает, отцветает, никого не радуя,
Бедное дитя земли.
Каждый томится и жаждет
Обмолвиться иль оступиться,
Но сам же стоит на страже
Своей темницы.
Раскройте сердца в эту ночь весеннюю!
Полной пригоршней кидайте в дикую новь
Ваше безначальное младенчество
И нехитрую любовь!
Не мое, не твое, только наше
Сердца и весна и эти поля —
Круговая горькая чаша,
Черная матерь — земля.

399

Боролись с ветрами, ослабли,
Пали, над нами поет непогода.
Ныне выходит наш страдный корабль
В незнакомые черные воды.
Руль брось, рулевой! Старых карт не пытай,
Сигнальных огней не ищи вдали,
Но отвернись и морю отдай
Ладанку с горстью былой земли.
Не время роптать и молиться.
Диких светил никто не поймет,
Мудрец не ответит, и тихий святитель
Не освятит этих вод.
Кого оплакивают гаснущие звезды?
Кого встречает волн рассветный хор?
Какое солнце будет сыпать смерть и розы
На новый человеческий шатер?
Благословите, братья, ночь незнанья,
Нерадостную и суровую весну.
Настанет час, мы смертным потом и слезами
Смягчим земли жестокой целину.
И правнуки, резвясь в тени дубравы,
Припомнят ночь, корабль и нас впереди,
Скрестивших руки на груди,
Глядящих на восток кровавый.

Январь—март 1920
Коктебель

МОСКОВСКИЕ РАЗДУМИЯ

400

Москва! Москва! Безбытье необжитых будней
И жизни чернота у жалкого огня.
Воистину, велик и скуден
Зачин неведомого дня.
Идет, и шаг его чугунен,
По нежной россыпи снегов в овьюженном Кремле.
Какое варварское однодумье
На неуступчивом челе!
Кругом забвенное посмертье.
Последний плач там, за Москва-рекой, умолк.
Он на снегу еще не выпавшие тени чертит:
Стекло, железо, толпы толп.

А там в домах, где сон веков поруган,
Рассечена, еще влачится жизнь,
И щедро мы скрепляем кровью скудной
Таинственные чертежи.
Над золотой землей, далекой, медоносной,
Светило легкое, плыви, гори!
Но я не отрекусь от трепыханья косного
Моей обезображенной зари.

401

Провижу грозный город-улей,
Стекло и сталь безликих сот,
И умудренный труд, и карнавал средь гулких улиц,
Похожий на военный смотр.
На пустыри мои уже ложатся тени
Спиралей и винтов иных времен.
Так вот оно — ярмо великого равненья
И рая нового бетон.
Припомнив прежних дней уют размытый,
Души былой певучий строй и ход,
Какой-нибудь Евгений снова возмутится
И каменного истукана проклянет —
Усмешку глаз, и лик монгольский,
И этот трезвенный восторг,
Поправшего змеи златые кольца
Копытами неисчислимых орд.
Дитя, прочти о наших днях кровавых:
Их было много, и в горячечном бреду
Они не раз пытались выхватить из рук корявых
Железную узду.
Где сечи шли, где деды умирали —
На бархате покоится музейная змея.
Погладь ее — она уже не жалит
Копыта опустившего коня.

402

Средь снегов, дыша тоской и дымом,
В каменных лохмотьях, скроенных вчера,
Мы, туземцы опрокинутого Рима,
Ищем хлеба кус и место у костра.
Революция, трудны твои уставы!
Схиму новую познали мы —
Нищих духом роковую правду
И косноязычные псалмы.

Что ж ты, сердце, тщишься вызвать к жизни
Юные года в миру —
Средь огней Парижа голубых и сизых
Запах ландыша и пламень смуглых рук,
Флорентийских башен камень теплый в полдень,
Розовый, как рощ окрест миндаль?
О, помедли, колесница Солнца,
Ибо в радости твоей печаль!
Но несутся огненные кони...
В эти скудные, томительные дни
Я благословляю смерть в родимом доме
И в руках пришельцев головни.
Есть величье в боге звезд и истин.
На восток великий караван идет.
И один отставший, вспомнив прежних рощ приют
тенистый,
На минуту медлит, а потом идет вперед.

403

Кому предам прозренья этой книги?
Мой век среди растущих вод
Земли уж близкой не увидит,
Масличной ветви не поймет.
Ревнивое встает над миром утро.
И эти годы не разноязычий сечь,
Но только труд кровавой повитухи,
Пришедшей, чтоб дитя от матери отсечь.
Да будет так! От этих дней безлюбых
Кидаю я в века певучий мост.
Концом другим он обопрется о винты и кубы
Очеловеченных машин и звезд.
Как полдень золотого века будет светел!
Как небо воссияет после злой грозы!
И претворятся соки варварской лозы
В прозрачное вино тысячелетий.
И некий человек в тени книгохранилищ
Прочтет мои стихи, как их читали встарь,
Услышит едкий запах седины и пыли,
Заглянет, может быть, в словарь.
Средь мишуры былой и слов убогих,
Средь летописи давних смут,
Увидит человека, умирающего на пороге
С лицом, повернутым к нему.

404

О, проще возвести невиданные пирамиды,
Чем малую свободу взять на рамена!
Неотразимо искушение легчайшим игом,
И золотая цепь нежна.
Кто крови счет ведет пролитой?
Безликий мир — не я! не я!
Твой поцелуй, Великий Инквизитор,
Запечатлен на русских пустырях.
И снова мир, и снова Рим,
И снова горделивый зодчий,
Величьем камня одержим,
Былинку маленькую топчет.
Но верь — в пустых глазах младенца
Огонь похищенный живет,
И смольный факел, врытый в землю,
Двойным горением встает.

405

Какая жалкая рассада!
В младенчестве уже опалена,
И тщетно скудоумный виноградарь
Чаны готовит для вина.
Еще не раз, гремя победной медью,
Пройдет по пустырям России смерть.
Не этот заржавелый серп
Сберет великое наследье.
Блажен, кто в хронике убогой
Узреет некий дивный миф,
В уродце — титанический прообраз
Атласа, подпирающего мир.
Я вижу ночь, и тень мою, и горе,
Забыл любви слова и меру мер.
Он дал уста, дабы молить и спорить,
Но наложил на них тяжелый перст.
Простите мне разноголосье снов,
Простите звонкие стекляшки-слезы
И этот неуверенный, почти неслышный возглас,
Один, в ночи, до первых петухов...

Январь—февраль 1921
Москва

406

Весна снега ворочала,
Над золотом Москвы
Шутя шумела клочьями
Внезапной синевы.
Но люди шли с котомками,
С кулями шли и шли,
И дни свои огромные
Тащили как кули.
Раздумий и забот своих
Вертели жернова.
Нет, не задела оттепель
Твоей души, Москва!
Я не забуду очередь,
Старуший вскрик и бред
И на стене всклокоченный
Невысохший декрет.
Кремля в порфирном нищенстве
Оскал зубов и крест —
Подвижника и хищника
Неповторимый жест.
Разлюбленный, затверженный,
И всё ж святой искус,
И стольких рук удержанных
Прощальный жар и хруст.
Но верю — днями дикими
Они в своем плену
У будущего выкупят
Великую весну.
Тогда, Москва, забудешь ты
Обиды всех разлук,
Ответишь гулом любящим
На виноватый стук.

407

Позади ты и всё же со мною,
Будто конница темная гонится.
Не покрыть музыкантами воя,
Не уйти, не забыть, не опомниться.
Треплешь рифмы ты в холеном парке,
Гасишь люстры парадного вечера.
Вот она на расчерченной карте,
Кровь точа, копошится и мечется!

Что слова? На письмо не ответит,
Но, целуя, удушит нечаянно.
Ах, скажите знакомым — здесь дети,
Будто в книгах, еще улыбаются.
Говорят, что всегда так бывает,
Что в борьбе погибают лишь слабые,
Крылья будут — кокон пробивает
Исполинская дивная бабочка.
Повторить ли, что я не согласен,
Что мне страшно, но это уж сказано,
И Господь уж привык в своей кассе
К бесконечным хвостам Карамазовых.
Догнала ты, калужская кляча,
Этот поезд, от муки отодранный.
Вот минута еще — я заплачу
Над святыми для русского ребрами.

Март 1921
Вагон Москва—Рига

ДОПОЛНЕНИЯ

408

Блузник, на лбу твоем пот,
Руки черны от работы,
Пожалей же нежалевшего, ибо горек плод,
Не окропленный потом.
Тяжелее рубищ — багряница,
И владыке тесен дольний мир.
Страшно иерею в вековой темнице,
Сторожить скудеющий потир.
Золото ласкают легкими перстами —
Горше нет такой любви,
Не живут, но только оживляют камень
Теплотой скудеющей крови.
Одному был дан, чтоб править, скипетр,
А другому молот, чтоб державу раздробить.
Не кляни, но мертвых и забытых,
Путь свой завершивших, погреби.
Полюби не лепоту, но время
И, дары земли легко даря,
Претвори властителя былое бремя
В утреннюю песню косаря.

Март 1920
Коктебель

409. ОТРЫВОК ИЗ НЕНАПЕЧАТАННОЙ «ОДЫ»

Секите сердца златогрудые!
Кровь весела, и темный легок оброк,
Други, трубите в трубы,
Славьте новый Восток!
Умри, певец, на груди зари рыжекудрой,
Душу вдунув в огненный рог!
Запевай! Отвечай! Выходи на вспененный борт!
Огни зажигай на мачте высокой!
Это не дальний архангельский хор,
Человеческий рык и топот.
Всё, чем мы были иль быть не смогли,
Смыли черные волны.
Смейся громче, дитя земли,
В руне твоем новое солнце!
Пролетают года, и пред ними паду ль,
Иль корабль проведу в золотые века?
Глядите — впервые легла на трепещущий руль
Жилистая, черная рука.
Запевала-ветер, начинай!
«Свобода!.. Свобода!..»

1920
Коктебель

410

Скрипки, сливки, книжки, дни, недели.
Напишу еще стишок — зачем?
Что это — тяжелое похмелье
Или непроветренный Эдем?
У Вердена лимонад в киосках.
Выше — тщательная синева.
Остается, прохладившись просто,
Говорить хорошие слова.
Время креповую сажу счистит —
Ведь ему к тому не привыкать.
Пусть займется остальным статистик,
А поэту должно воспевать.
Да, моя страна не знала меры,
Скарб столетий на костер снесла.
И обугленные нововеры
Не дают уюта и тепла.
Да, конечно, радиатор лучше!
Что же, Эренбург, попав в Париж,
Это щедрое благополучье
В холеные оды претвори.
Но язык России дик и скорбен,
И не русский станет славить днесь
Победителя, что мчится в «форде»
Привкус смерти трюфелем заесть.
Впрочем, всё это различье вкусов,
И невежливо его просить,
Выпив чай, к тому ж еще вприкуску,
На костре себя слегка спалить.

Июль 1921
Ля Пани

411

Я не трубач — труба. Дуй, Время!
Дано им верить, мне звенеть.
Услышат все, но кто оценит,
Что плакать может даже медь?

Он в серый день припал и дунул,
И я безудержно завыл,
Простой закат назвал кануном
И скуку мукой подменил.
Старались все себя превысить —
О ком звенела медь? о чем?
Так припадали губы тысяч,
Но Время было трубачом.
Не я рукой сухой и твердой,
Перевернув тяжелый лист,
На смотр веков построил орды
Слепых тесальщиков земли.
Я не сказал, но лишь ответил,
Затем, что он уста рассек,
Затем, что я не властный ветер,
Но только бедный человек.
И кто поймет, что в сплаве медном
Трепещет вкрапленная плоть,
Что прославляю я победы
Меня сумевших побороть?

Июль 1921
Ля Панн

412

Пришедший вновь, гляди — мертва свобода.
Открыт в машине некий трудный Лурд,
И чудо — в безошибочности хода
Сердец изученных и звездных пург.
Так от всего, что мы любили раньше,
Остались классики, еще скала,
Где, завернувшись в плащ, былой романтик
Передвигал свои миры баллад.
Он высится — колосс грузоподъемный,
Нахмурив свой тысячелетний лоб,
Уж с циркулем над башней Вавилона
Склонился неуступчивый циклоп.
Прости, что я рожден в минувшем веке,
Что я люблю отлюбленные дни,
Кремлевских голубиц завьюжный лепет,
Соборов поминальные огни.
Сотри меня единым поворотом
Любого маленького колеса.
Я кровью землю окроплю, ты — потом,
Но вспорет столп чужие небеса.

Июль 1921
Ля Панн

413

Пятно на карте — места хватит...
Страна «пропавших без вестей» —
Всех европейских хрестоматий
Мораль для озорных детей.
Был лес и хлеб, табак и хлопок,
Но смыла материк вода.
И вот, отчалив, пол-Европы
Плывет неведомо куда.
Не ты ли захотела с неба
Свести обещанный огонь,
Чтоб после за краюхой хлеба
Тянуть дрожащую ладонь?
Кафе, своим избытком чванясь,
Разжав газетные листы,
Тебе готовы бросить камень —
Быть может, каменщица ты?
Возьми его, былое бремя
Преображая в новый плен,
Вздымая тяжкие каменья
И кровью заменив цемент.
Какое жалкое величье —
Сивиллы полоумный чин
И христорадничество нищей
У блеска лондонских витрин.
Там, в кабинетах, схем гигантских,
Кругов и ромбов торжество,
И на гниющих полустанках
Тупое вшивое «чаво?».
Потешных электрификаций
Святого Эльма огоньки.
Но кто посмеет посмеяться
Пред слепотой такой тоски?
И всё ж смеются над юродством
Проспекты тридцати столиц —
Исав, продавший первородство
За горсть вареных чечевиц.

Июль 1921
Ля Панн

414

Продолжен мною давний пафос
Халдеи изуверских весен.
Я только стрелка сейсмографа,
Модернизированный Оссий.

Олимп с «Олимпией» не ссорятся,
Сад с заспиртованными музами.
Не серафимы, но калории,
Плюс строго прикладная музыка.
Кустарь любви — он будет выселен,
И розы станут опечатками.
Я брежу ромбами и дисками,
Почти асфальтовыми штатами.
Мой маховик достойней готик,
Мы можем с ним на всё надеяться.
Теперь рождается охотник
За всякими Кассиопеями.
Настанет срок — земля очертит
Еще одну спираль (которую?).
О, это нежное бессмертие
Распластанного в небе борова!
Великолепье поздних случек,
Последние услады вечера.
Предвижу я благополучье
И бабье лето человечества.
Предвижу и провижу многое,
А сам томлюсь с утра до ночи.
Так стрелка прыгает убогая
В коробке умного ученого.

Август 1921
Сан-Идельсбад

415

Разграбив житницы небес,
Дитя вселенской суматохи,
Как я могу, засевши в бест,
Сбирать любви златые крохи?
О, парадизов преснота,
И буколические встречи!
Припомнив дикие лета,
Чем осолю свой ранний вечер?
Конечно, одуванчик мил,
И Беатриче — цель поэта.
Но я сивуху долго пил
И нечувствителен к букету.
Еще, пожалуй, десять лет
(Мне тридцать минуло), готовься —
Придется этот скудный хлеб
Солить слезою стариковства.

Я очень, очень виноват,
Что пережил свое безумье, —
Неразорвавшийся снаряд
Еще валяется на клумбе.

Август 1921
Сан-Идельсбад

416

Парадных лож потертый бархат.
Какое представленье? — Сотое.
Над той же вышколенной картой
Склонились Ягве и работают.
Там, под сосцами жалкой матери,
Всё тот же бой и одиночество.
Известный этикет на кратере,
Поденки, занятые зодчеством.
Подышат дети наспех ладаном,
Помянут наши добродетели.
По крайней мере, за снарядами
Не слышен ход часов-браслетика.
Но скучно, скучно, очень скучно мне!
Ах, пир богов в плохой кухмистерской.
Потомки вспомнят тост заученный.
Придется только скатерть выстирать.

Август 1921
Сан-Идельсбад

417

Земля лепка могильной вязью,
И горек, горек, горек хлеб!
Великое однообразье
Всех человеческих судеб.
Уж низок диск, с прощальной грустью
Могу я только вспоминать
И от сегодняшнего устья
К истокам подыматься вспять.
Младенец в ручку ловит ветер,
Разжал и брызнул водомет.
Потом, когда седеют дети,
Уж этих слез недостает.
Какое общее сиротство!
Дьячку за требу — кончен быт.

Целует кроткого уродца
Крахмальный баловень судьбы.
И примиряет с небесами
Вот этот, уж подземный, мост,
Еще, быть может, расстоянье
От нас до самых близких звезд.

Август 1921
Сан-Идельсбад

418

Будет день — и станет наше горе
Датами на цоколе историй,
И в обжитом доме не припомнят
О рабах былой каменоломни.
Но останется от жизни давней
След нестертый на остывшем камне,
Не заглохшие без эха рифмы,
Не забытые чужие мифы,
Не скрижали дикого Синая —
Слабая рука, а в ней другая.
Чтобы знали дети легкой неги
О неупомянутой победе
Просто человеческого сердца
Не над человеком, но над смертью.
Так напрасно все ветра пытались
Разлучить хладеющие пальцы.
Быстрый выстрел или всхлипы двери,
Но в потере не было потери.
Мы детьми играли на могиле.
Умирая, мы еще любили.
Стала смерть задумчивой улыбкой
На лице блаженной Суламиты.

Август 1921
Сан-Идельсбад

419

О, горе, горе убежавшим с каторги!
Их манят вновь отринутые льды.
И кто средь равноденствия экватора
Не помянёт священной баланды?
И кто на Пикадилли баров вишенье,
Златые грозди самой легкой лжи

Не даст за эту всё еще небывшую,
Уже как бы нежизненную жизнь?
В какой передпещерный век отброшенный
Иль прыгнувший в тридцатый, крайний край,
Ты, арестант, перебирай горошины
И на гармошке марш веков играй.
На девочке дешевенькая ленточка,
Пустая соска и приписка: «Цель»,
И смотрит любопытная Вселенная
На эту гробовую колыбель.
Благословенны разные, но близкие,
Враги, познавшие ярмо одно, —
Чудовищное Эльдорадо выстрадать
В чумной столице им одним дано.
И горе нам в обетованных выселках!
Ах, тяжек сброшенный на землю груз,
И в сердце всё ж, огнем российским высечен,
Не зарастает каторжника туз.

Сентябрь 1921
Брюссель

420

Две-три песчинки на ладони,
И солнце мастодонтов рдеет.
Вот после всех мгновенных хроник
Величье нежной эпопеи.
Вот после исполинских скачек,
Где ярок флаг и близок финиш,
Немного медленного плача
Пересыпаемых песчинок.
Для непонятливых младенцев
Зазубренные впрок хоралы:
Установи еще блаженство,
А после начинай сначала.
И пусть расплещется в пустыне
Годов испуганная стая —
Сначала падают песчинки,
Потом песчинок не хватает.
Творец давно читать не в силах,
Перелистать скорее тщится,
И часто слышен треск унылый
Никем не понятой страницы.
Мои уже пустеют руки,
И новых лет не будет боле.
Зато неистребимы звуки
Средь немоты земной юдоли.

И в день, когда смеются дети,
Не ведая о том, что было,
Всё тот же плач тысячелетний
Над свежим тайником могилы.

Сентябрь 1921
Брюссель

СТИХИ 1922

421

Тяжелы несжатые поля,
Золотого века полнокровье.
Чем бы стала ты, моя земля,
Без опустошающей любови?

Да, любовь, и до такой тоски,
Что в зените леденеет сердце,
Вместо глаз кровавые белки
Смотрят в хаотические сферы.

Закипает глухо желчь земли,
Веси заливает бунта лава,
И горит Нерукотворный Лик,
Падает порфировая слава.

О, я тоже пил твое вино!
Ты глаза потупила, весталка,
Проливая в каменную ночь
Первые разрозненные залпы.

422

Когда в веках скудеет звук свирельный,
Любовь встает на огненном пути.
Ее встревоженное сердце — пчельник,
И человеку некуда уйти.

К устам припав, высасывают пчелы
Звериное тепло под чудный гуд.
Гляди, как этот мед тяжел и золот —
В нем грусть еще не целовавших губ.

Роясь в семнадцатом огромным роем,
Любовь сошла. В тени балтийских мачт,
Над оловом Фонтанок или Моек
Был вскрик ее, а после женский плач.

О, как сердца в такие ночи бились!
Истории куранты тяжелы.
И кто узнает розовую пыльцу
На хоботке прореявшей пчелы?

423

Нет, не сухих прожилок мрамор синий,
Не роз вскипавших сладкие уста,
Крылатые глаза — твои, Богиня,
И пустота.

В столице Скифии дул ветр осенний,
И лишь музейный крохотный Эол
Узнал твое вторичное рожденье
Из пены толп.

Сановные граниты цепенели,
И разводили черные мосты.
Но ворох зорь на серые шинели
Метнула ты.

Я помню рык взыскующего зверя,
И зябкий мрамор средь бараньих шкур,
И причастившийся такой потери
Санкт-Петербург.

Какой же небожитель, в тучах кроясь,
Узлы зазубренным ножом рассек,
Чтоб нам остался только смятый пояс
И нежный снег?

424

Страшен свет иного века,
И недолго длится бой
Меж сутулым человеком
И божественной алчбой.

В меди вечера ощерясь,
Сыплет, сыплет в облака
Окровавленные перья
Воскового голубка.

Слепо Божие подобье.
Но когда поет гроза,

Разверзаются в утробе
Невозможные глаза.

И в озерах Галилеи
Отразился лик Слепца,
Что когтил и рвал, лелея,
Вожделенные сердца.

Но средь духоты окопа,
Где железо и число,
Билось на горбе Европы
То же дивное крыло.

425

Есть задыханья, и тогда
В провиденье грозы
Не проступившие года
Взметают пальцев зыбь.

О, если б этот новый век
Рукою зачерпнуть,
Чтоб был продолжен в синеве
Тысячелетий путь.

Но нет — и свет, и гнев, и рык
Взнесенного коня,
И каждый цок копыт — разрыв
Меня и не меня.

И в духоте таких миров
Земля чужда земле.
И кровь марает серебро
Сферических колец.

Нет, не поймет далекий род,
Что значат эти дни
И дикой рыбы мертвый рот,
И вместо крыл плавник.

426

Остались — монументов медь,
Парадов замогильный топот.
Грозой обломанная ветвь,
Испепеленная Европа!

Поникла гроздь, и в соке — смерть.
Глухи теперь Шампани вина.
И Вены тлен, Берлина червь —
Изглоданная сердцевина.

Верденских иль карпатских язв
Незарастающие плеши.
Посадит кто ветвистый вяз,
Дабы паломника утешить?

В подземных жилах стынет кровь,
И колосится церковь смерти,
И всё слабей, всё реже дробь
Больного старческого сердца.

О, грустный куст, ты долго цвел
Косматой грудью крестоносца,
Звериным рыком карманьол,
И на Психее каплей воска.

Светлица девичья! Навек
Опустошенная Европа!
Уж человечества ковчег
Взмывают новые потопы.

Урал и Анды. Темный вождь
Завидел кровли двух Америк.
Но как забыть осенний дождь,
Шотландии туманный вереск?

427

Звезда средь звезд горит и мечется.
Но эта весть — метеорит —
О том, что возраст человечества —
Великолепнейший зенит.

О, колыбель святая, Индия,
Младенца стариковский лик,
И первый тиск большого имени
На глиняной груди земли.

Уж отрок мчится на ристалище,
Срывая плеск и дев и флейт.
Уж нежный юноша печалится.
Лобзая неба павший шлейф.

Но вот он — час великой зрелости!
И, раскаленное бедой,
Земное сердце загорелося
Еще не виданной звездой.

И то, во что мы только верили,
Из косной толщи проросло —
Золотолиственное дерево,
Непогрешимое Число.

Полуденное человечество!
Любовь — высокий поводырь!
И в синеве небесных глетчеров
Блеск еретической звезды!

428

Из земной утробы Этновою печью
Мастер выплеснул густое серебро
На обугленные черные предплечья
Молодых подручных мастеров.

Домна чрева средь былого буерака.
Маховое сердце сдвинуло века.
И тринадцатым созвездьем Зодиака
Проросла корявая рука.

Первая жена, отдавшаяся мужу,
Теремовая затворница моя,
Огнь твоих соитий леденили стужи,
Чресла надорвалися в боях.

Но немой вселенной звездчатое темя,
Вспыхнувшие маяки небесных дамб,
Девства кровь и мужа огненное семя
Затвердели камнем диаграмм.

Здесь, в глухой Калуге, в Туле иль в Тамбове,
На пустой обезображенной земле
Вычерчено торжествующей Любовью
Новое земное бытие.

429

Взвился рыжий, ближе! Ближе!
И в осенний бурелом
Из груди России выжег
Даже память о былом.

Он нашел у двоеверки,
Глубоко погребено,
В бурдюке глухого сердца
Италийское вино.

На костре такой огромной,
Оглушающей мечты
Весело пылают бревна
Векового Калиты.

Нет, не толп суровый ропот,
А вакхический огонь
Лижет новых протопопов
Просмоленную ладонь.

Страшен хор задорных девок:
Не видать в ночи лица,
Только зреют грозди гнева
Под овчиною отца.

Разъяренная Россия!
Дых — угрюмый листобой,
В небе косы огневые,
Расплетенные судьбой.

Но из глаз больших и серых,
Из засушливых полей
Высекает древний Эрос
Лиры слезный водолей.

430

Тело нежное строгает стругом,
И летит отхваченная бровь,
Стружки снега, матерная ругань,
Голубиная густая кровь.

За чужую радость эти кубки.
Разве о своей поведать мог,
На плече, как на голландской трубке,
Выгрызая черное клеймо?

И на Красной площади готовят
Этот теплый корабельный лес —
Дикий шкипер заболел любовью
К душной полноте ее телес.

С топором такою страстью вспыхнет,
Так прекрасен пурпур серебра,

Что выносят замертво стрельчиху,
Повстречавшую глаза Петра.

Сколько раз в годину новой рубки
Обжигала нас его тоска
И тянулась к трепетной голубке
Жадная, горячая рука.

Бьется в ярусах чужое имя.
Красный бархат ложи, и темно.
Голову любимую он кинет
На обледенелое бревно.

431

Уж рдеет золотой калач.
И, самогона ковш бывалый
Хлебнув, она несется вскачь
По выжженному буревалу.
И, распластавшись у порога,
Плюет на выцветший кумач.
И кто поймет, что это плач
Страны, возревновавшей Бога?

Стояли страдные года.
И кто простит простой и грубой,
Что на нее легли тогда
Его прикушенные губы?
Среди созвездий сановитых
Вот новая сестра — Беда.
И Вифлеемова звезда —
Ее разбитое корыто.

432

О, дочерь блудная Европы!
Зимы двадцатой пустыри
Вновь затопляет биржи ропот,
И трубный дых, и блудный крик.

Пуховики твоих базаров
Архимандрит кропит из туч,
И плоть клеймит густым нагаром
Дипломатический сургуч.

Глуха безрукая победа.
Того ль ты жаждала, мечта,
Из окровавленного снега
Лепя сурового Христа?

И то, что было правдой голой,
Сумели вымыслом обвить.
О, как тоски слабеет молот!
О, как ржавеет серп любви!

От Господа-Заимодавца
До биржевого крикуна —
И ты, презревшая лукавство,
Лукавить вновь обречена.

Но всё ж еще молчат горнисты —
Властители и мудрецы, —
Что если жара новый приступ
Взнесет Кремлевские зубцы?

Так в Октябре узревший пламень —
Строителя небывший лик —
Не променяет новый камень
На эти ризницы земли.

433

Ты Канадой запахла, Тверская.
Снегом скрипнул суровый ковбой.
Никого, и на скрип отвечает
Только сердца чугунного бой.

Спрятан золота слиток горячий.
Часовых барабанная дробь.
Ах, девчонки под мехом кошачьим
Тяжела загулявшая кровь!

Прожужжали мохнатые звезды,
Рукавицей махнул и утих.
Губы пахнут смолой и морозом.
От любви никому не уйти.

Санки — прямо в метельное небо.
Но нельзя оглянуться назад,
Где всё ближе и ближе средь снега
Кровянеют стальные глаза.

Дух глухого звериного рая
Распахнувшейся шубкой обжег.
А потом пусть у стенки оттает
Голубой предрассветный снежок.

434

Какой прибой растет в угрюмом сердце,
Какая радость и тоска,
Когда чужую руку хоть на миг удержит
Моя горячая рука!

Огромные, прохладные, сухие —
Железо и церковный воск, —
И скрюченные в смертной агонии,
И жалостливые до слез.

Привить свою любовь! И встречный долго
Стоит, потупивши глаза, —
Вбирает сок соленый и тяжелый
Обогащенная лоза.

435

Любовь не в пурпуре побед,
А в скудной седине бесславья.
И должен быть развеян цвет,
Чтоб проступила сердца завязь.

Кто испытал любовный груз,
Поймет, что значит в полдень летний
Почти подвижнический хруст
Тяжелой снизившейся ветви.

И чем тучней, чем слаще плод,
Тем чаще на исходе мая
Душа вздымалась тяжело
И никла, плотью обрастая.

436

Громкорыкого Хищника
Пел великий Давид.
Что скажу я о нищенстве
Безпризорной любви?

От груди еле отнятый,
Грош вдовицы зацвел
Над хлебами субботними
Роем огненных пчел.

Бьются души обвыклые,
И порой — не язык —
Чрево древнее выплеснет
Свой таинственный крик.

И по-новому чуждую
Я припомнить боюсь,
Этих губ не остуженных
Предрассветную грусть.

Но заря Понедельника,
Закаляя тоску,
Ухо рабье, как велено,
Пригвоздит к косяку.

Клювом вырвет заложника
Из расхлябанных чресл.
Это сердце порожнее,
И полуденный блеск!

Крики черного коршуна!
Азраила труба!
Из горчайших, о горшая,
Золотая судьба!

437

Уж сердце снизилось, и как!
Как легок лёт земного вечера!
Я тоже глиной был в руках
Неутомимого Горшечника.

И каждый оттиск губ и рук,
И каждый тиск ночного хаоса
Выдавливали новый круг,
Пока любовь не показалася.

И набежавший жар обжег
Еще не выгнутые выгибы,
И то, что было вздох и Бог,
То стало каменною книгою.

И кто-то год за годом льет
В уже готовые обличия
Любовных пут тягучий мед
И желчь благого еретичества.

О, костенеющие дни, —
Я их не выплесну, и вот они!

Любви обжиг дает гранит,
И ветер к вечеру немотствует.

Живи, пока не хлынет смерть,
Размоет эту твердь упрямую,
И снова станет перстью персть,
Любовь — неповторимым замыслом.

438

Стали сны единой достоверностью.
Два и три — таких годов орда.
На четвертый (кажется, что Лермонтов) —
Это злое имя «Кабарда».

Были же веснушчатые истины:
Мандарином веяла рука.
Каменные базилики лиственниц,
Обитаемые облака.

И какой-то мост в огромном городе —
Звезды просто, в водах, даже в нас.
Всё могло бы завершиться легким шорохом —
Зацепилась о быки волна.

Но осталась горечь губ прикушенных,
И любовь до духоты, до слез.
Разве знали мы, что ночь с удушьями
Тоже брошенный дугою мост? —

От весны с черешневыми хлопьями,
От любви в плетенке Фьезоле —
К этому холодному, чужому шлепанью
По крутой занозливой земле.

Но дающим девство нет погибели!
Рои войн смогла ты побороть,
Распахнувши утром новой Библии
Милую коричневую плоть.

Средь гнезда чернявого станичников
Сероглазую легко найду.
Крепко я пророс корнями бычьими
В каменную злую Кабарду.

Пусть любил любовью не утешенной.
Только раз, как древний иудей,

Я переплеснул земное бешенство
Ненасытной нежности моей.

Так обмоют бабки, вытрут досуха.
Но в посмертную глухую ночь
Сможет заглянуть простоволосая,
Теплая, заплаканная дочь.

439

Ночь была. И на Пинегу падал длинный снег.
И Вестминстерское сердце скрипнуло сердито.
В синем жире стрелки холеных «Омег»
Подступали к тихому зениту.
Прыгало тустепом юркое «люблю».
Стал пушинкой Арарата камень.
Радугой кривая ввоза и валют
Встала над замлевшими материками.
Репарации петит и выпот будних дней.
И никто визиток сановитых не заденет.
И никто не перережет приводных ремней
Нормированных совокуплений.
Но Любовь — сосед и миф —
Первые глухие перебои,
Столкновенье диких цифр
И угрюмое цветенье зверобоя.
Половина первого. Вокзальные пары.
На Пинеге снег. Среди трапеций доллар.
Взрыв.
Душу настежь. Золото и холод.
Только ты, мечта, не суесловь —
Это ведь всегда бывает больно.
И крылатым зимородком древняя любовь
Бьется в чадной лапе Равашоля.
Это не гудит пикардская земля
Гудом императорского марша.
И не плещет нота голубятника Кремля —
Чудака, обмотанного шарфом.
Это только тишина и жар,
Хроника участков, крохотная ранка.
Но, ее узнав, по винограднику, чумея и визжа,
Оглушенный царь метался за смуглянкой.
Это только холодеющий зрачок
И такое замедление земного чина,
Что становится музейным милое плечо,
Пережившее свою Мессину.

440

...И кто в сутулости отмеченной,
В кудрях, где тишина и гарь,
Узнает только что ушедшую
От дремы теплую Агарь.

И в визге польки недоигранной,
И в хрусте грустных рук — такой —
Всю жизнь с неистовым эпиграфом
И с недодышанной строкой.

Ей толп таинственные выплески,
И убыль губ, и юбок скрип —
Аравия, и крики сиплые
Огромной бронзовой зари.

Как стянут узел губ отринутых!
Как бьется сеть упругих жил!
В руках какой обидой выношен
Жестковолосый Измаил!

О, в газовом вечернем вереске
Соборную ты не зови,
Но выпей выдох древней ереси
Неутоляющей любви!

441

В зените бытия любовь изнемогает.
Какой угрюмый зной! И тяжко, тяжко мне,
Когда, рукой обвив меня, ты пригибаешь,
Как глиняный кувшин, ища воды на дне.

Есть в летней полноте таинственная убыль,
И выжженных озер мертва сухая соль.
Что если и твои доверчивые губы
Коснутся лишь земли, где тишина и боль?

Но изойдет грозой неумолимый полдень —
Я, насмерть раненный, еще дыша, любя,
Такою нежностью и миром преисполнюсь,
Что от прохладных губ не оторвут тебя.

442

Не сумерек боюсь — такого света,
Что вся земля — одно дыханье мирт,
Что даже камень Ветхого Завета
Лишь золотой и трепетный эфир.

Любви избыток, и не ты, а Диво:
Белы глазницы, плоть отлучена.
Средь пирных вскриков и трещанья иволг
Внезапная чужая тишина.

Что седина? Я знаю полдень смерти —
Звонарь блаженный звоном изойдет,
Не раскачнув земли глухого сердца,
И виночерпий чаши не дольет.

Молю, — о Ненависть, пребудь на страже!
Среди камней и рубенсовских тел,
Пошли и мне неслыханную тяжесть,
Чтоб я второй земли не захотел.

443

Когда замолкнет суесловье,
В босые тихие часы,
Ты подыми у изголовья
Свои библейские весы.

Запомни только — сын Давидов, —
Филистимлян я не прощу.
Скорей свои цимбалы выдам,
Но не разящую пращу.

Ты стой и мерь глухие смеси,
Учи неистовству, пока
Не обозначит равновесья
Твоя державная рука.

Но неизбывна жизни тяжесть:
Слепое сердце дрогнет вновь,
И перышком на чашу ляжет
Полузабытая любовь.

Январь 1923

444

Видишь, любить до чего тяжело —
Гнет к земле густое тепло.

Паленая шерсть на моей груди.
Соль — солона. Не береди!

Ты не дочь, ты не сестра.
Земля, земля, моя нора!

Коготь и клык. Темен и дик.
Я говорю — не береди!

Не для меня любви ремесло.
Камень пьет густое тепло.

Теплый камень — мертвый зверь —
Стихи, стихи — седая шерсть.

Виснут веки. Сон и гуд.
Люди могут, а я не могу.

Рот приоткрыт — тяжкий пар, —
Это тебе, но последний дар.

445

Что любовь? Нежнейшая безделка.
Мало ль жемчуга и серебра?
Милая, я в жизни засиделся,
Обо мне справляются ветра.

Видя звезд пленительный избыток,
Я к земле сгибаюсь тяжело —
На горбу слепого следопыта
Прорастает темное крыло.

И меня пугает равнодушье.
Это даже не былая боль,
А над пестрым ворохом игрушек
Звездная рождественская соль.

Но тебя я не могу покинуть!
Это — голову назад — еще! —
В землю уходящей Прозерпины
Пахнущее тополем плечо.

Но твое дыханье в диком мире —
Я ладонью заслонил — дыши! —
И никто не снимет этой гири
С тихой загостившейся души.

446

Волос черен или золот.
Красна кровь.
Голое слово —
Любовь.

Жилы стяни туго!
Как хлеб и вода,
Простая подруга —
Беда.

Цветов не трогай.
Весен не мерь.
Прямая дорога —
Смерть.

447

Нежное железо — эти скрепы,
Даже страсть от них изнемогла.
Каждый вздох могильной глиной лепок,
Топки шепоты и вязок глаз.

Чтоб кружиться карусельным грифом,
Разлетевшись — прискакать назад.
В каждой родинке такие мифы,
Что и в ста томах не рассказать.

Знаешь этих просыпаний смуту,
Эти шорохи и шепота? —
Ведь дыханье каждую минуту
Может убежать за ворота.

Двух сердец такие замиранья,
Залпы перекрестные и страх,
Будто салютуют в океане
Погибающие крейсера.

Как же должен биться ток багряный,
Туго стянутый в узлы висков,
Чтоб любовь, надышанная за ночь,
Не смешалась с роем облаков?

448

Вдруг — среди дня — послушай —
Где же ты?
Не камни душат —
Нежность.

Розовое облако. Клекот беды.
Что же — запыхавшись, паровозом
Обегать поля? — Даже дым
Розов.

Можно задыхаться от каких-то мелочей,
И камень — в клочья,
От того — чей
Почерк?

Это, кажется, зовут «любовью» —
Руку на грудь, до утра,
Чтоб на розовом камне — простая повесть
Утрат.

Вокзальная нежность. Вагона скрип.
И как человек беден! —
Ведь это же цвет другой зари —
Последней.

449

Средь мотоциклетовых цикад
Слышу древних баобабов запах.
Впрочем, не такая ли тоска
Обкарнала страусов на шляпы?

Можно вылить бочки сулемы,
Зебу превратить в автомобили,
Но кому же нужно, чтобы мы
Так доисторически любили?

Чтобы губы — бешеный лоскут,
Створки раковин, живое мясо,
Захватив помадную тоску,
Задыхались напастями засух.

Чтобы сразу, от каких-то слов,
Этот чинный, в пиджаке и шляпе,
Мог бы, как неистовый циклоп,
Нашу круглую звезду облапить?

Чтобы пред одной, и то не той,
Ни в какие радости не веря,
Изойти берложной теплотой
На смерть ошарашенного зверя.

450

Со временем — единоборство,
И прежней нежности разбег,
Чрез многие лета и версты
К почти-мифической тебе.

Я чую след в почтовом знаке,
Средь чащи дат, в наклоне букв:
Нюх увязавшейся собаки
Не утеряет смуглых рук.

Могильной тенью кипарисов,
На первой зелени, весной,
Я был к тебе навек приписан,
Как к некой волости земной.

Исход любви суров и важен, —
Чтоб после стольких смут и мук
Из четырех углов бродяжьих
Повертываться к одному.

451

Полярная звезда и проседь окон.
Какая же плясунья унесет
Два рысьих солнца мертвого Востока
Среди густых серебряных тенёт?

Ну как же здесь любить, забыв о гневе?
Протяжен ямб, прохладой веет смерть.
Ведь, полюбив, унылый Псалмопевец
Кимвал не трогал и кричал, как зверь.

О, расступись! — ведь расступилось море —
Я перейду, я больше не могу.
Зачем тебе пророческая горечь
Моих сухих и одичалых губ?

Не буду ни просить, ни прекословить,
И всё ж боюсь, что задохнешься ты, —
Ведь то, что ты зовешь моей любовью, —
Лишь взрыв ветхозаветной духоты.

452

Не мы придумываем казни,
Но зацепилось колесо —
И в жилах кровь от гнева вязнет,
Готовая взорвать висок.

И чтоб душа звериным пахла —
От диких ливней — в темноту —
Той нежности густая нахлынь
Почти соленая во рту.

И за уступками — уступки.
И разве кто-нибудь поймет,
Что эти соты слишком хрупки
И в них не уместится мед?

Пока, как говорят, «до гроба», —
Средь ночи форточку открыть,
И обрасти подшерстком злобы,
Чтоб о пощаде не просить.

И всё же, зная кипь и накипь
И всю беспомощность мою, —
Шершавым языком собаки
Расписку верности даю.

453

Прорвется — что ж! — свиреп и крепок вздох:
Ведь рот один, а много караваев.
Земля, мое разбойное гнездо,
Твой выкормыш тебя не забывает!

Вот это жизнь, и значит, день еще.
Ну как же мне с такою прорвой сладить? —
Охапок сколько рук, и губ, и щек,
Чтоб это сердце не погасло за день?

Как камни, оседают корабли.
Гранит Колхиды, как песчинки, валок.

Угрюмые налетчики земли
Справляют уж не первые привалы.

Не жнец — зачем в руке снопы зари?
Не скуп — что ветер меж щекой и нёбом?
И не прельстится яхонтами риз
Моя изнеженная зноем злоба.

А если на тебе тоски тавро —
То и меня одолевает одурь,
Случилось раз — перегоревший рот
Не рассчитал своей природы.

454

Я знаю: циркуль — дик и хмур —
Вписал уста Андиомене,
Я знаю, из каких цезур
Одно твое недоуменье.

На костяке и на лесах
Я выстоял такую мудрость,
Что в юношеских волосах
Белела каменная пудра.

Скрепляя яростью устой, —
Не рухнули б от муки брови, —
Горжусь плебейской прямотой,
Моей обветренной любовью.

Ты скажешь, губы зря даны,
И руки, скажешь, не затем ли,
Чтоб в доке брошенной страны
Оснащивать иную землю?

Но разве вязкая листва
Не сделана в такой же кузне,
Где стопудовые слова
Спеша выпрастывает блузник?

Меня к себе ты не зови —
Не отдых на груди разверстой,
А для такой большой любви
Еще не выдумано сердце.

455

Вздуй, трубач, серебряные щеки
И не думай о чужой душе.
Поджидает зверя на припеке
Вседержатель из папье-маше.

Мопс ощерится — средь декораций
Он, как прежде, беден и разут.
Будут суки медные стараться
Выдавить холодную слезу.

Страсть опасна разномастых, пегих —
Бога жалобно облает зверь.
Может целая семья элегий
Вырасти из этаких потерь.

Всяк в любви по-своему наивен —
Изумленный мопс чихнет в гробу,
Бог размокнет — только хлынет ливень,
И архангел выронит трубу.

456

Не думал я, что даже уксус лаком,
Когда горчит душа и медлит меч,
Что можно в тридцать лет учиться плакать,
Ворочая огромной глыбой плеч.

Да, любят все! Но мать осенней ночью
Ушла. И мудрый посрамлен Судья:
Они отвешивают эти клочья,
И что им, если плакало дитя?

Я утаю утробное волненье,
Мохнатые горячие слова.
Когда замрет подводное кишенье,
Коралловые встанут острова.

Всеобщая юдоль! И дикий Лирник
Не слышал ли ночные голоса,
Когда влетела в гневную кумирню
Дантесова прохладная оса?

Мне дали пару глаз, и жар, и губы,
И я любил, как любят на земле, —
Целуя тела розовые срубы,
Я никогда не думал о весле.

На теплом коврике — босые ноги,
И что — стихов забытые красы? —
От этих ног и до пустой берлоги
Немного человеческой росы.

457

Не осуди — разумный виноградарь
Стрижет лозу, заготовляет жердь.
Кружиться — ветру, человеку — падать,
Пока не уведет заплаканная смерть.

Ты, пролистав моих любовей повесть,
Подумай: яблока короткий стук —
Стяжатель истины приподнял брови
И опознал земную тяготу.

Ведь как бы мы любви ни угождали,
В июльский день — одно жужжанье мух,
Горчее губы розовых миндалин,
А глиняное сердце — никому.

О чем же спор пока снует и бьется?
Одной кривой подняться не дано.
Ведра не вытянут из емкого колодца,
И не согреет сердца полотно.

458

Заезжий двор. Ты сердца не щади
И не суди его — оно большое.
И кто проставит на моей груди:
«Свободен от постоя»?

И кто составит имя на снегу
Из букв раскиданных, из рук и прозвищ?
Но есть ладони — много губ
Им заменяло гвозди.

Столь невеселая веселость глаз,
Сутулость вся — тяжелая нагрузка, —
Приметы выгорят дотла,
И уж, конечно, трубка

Одна зазубрина, ущербный след,
И глубже всех изданий сотых —
На зацелованной земле
Вчерашние заботы.

Я даже умираю впопыхах,
И пахнет нежностью примятый вереск —
Парная розоватая тропа
Подшибленного зверя.

459

Тепла роса оставленной земли,
А мне уж виден новый берег,
Как будто между нами не легли
Все тысячи узлов потери.

Не переплыть, а только плыть и петь.
Пусть ливни глаз и сердца грохот —
Голубка принесет всё ту же ветвь,
И ты ее согреешь вздохом.

Над веером цыган, над картой губ,
Над хлопьями упавших чаек
О будущем гадать я не могу —
Его я только различаю.

Всё то же море будет наяву,
Цепь громыхнет ладьи дощатой,
И чрез века каких-то новых двух
Не опреснеет соль утраты.

460

Где солнце, как желток, белы потемки,
Изюм и трехсвятительская мгла,
Где женщины, как розовые семги
Средь бакалеи, кажут мертвый глаз,

Где важен чад великих чаепитий,
Отрыгнутый архимандритом лук,
И славы доморощенный ревнитель
Воротит скулы православных слуг,

Где приторна малиновая Пасха,
Славянских дев как сукровица кровь, —
Чернея, хлынула горячая закваска —
Всей баснословной Африки любовь.

Ему пришлось воспеть удельных хамов,
Ранжир любви и местничество вер,

Средь сплетен, евнухов — смущенный мамонт
Закончил дни, и был он «камергер».

Он пел снега, но голос крови гулок,
И, услыхав повозки скрип простой,
Он выплеснул ночное «Мариула»
И захлебнулся этой долготой.

Я чую теплый бакен, слышу выстрел,
Во мне растет такой же смутный гул,
И плещут в небе дикие мониста —
Щемящие глаза падучих Мариул.

461

«Аврора» дулась, дулась и река,
Был бог салопницы навек отобран,
Веселый зверь позевывал слегка
И ударял хвостом державы ребра.

Когда ж повис над Вислою-рекой,
Неотвратимый, как любовь и голод,
Запахло конским потом и тоской
Кремлевского ученого монгола.

Средь гуда «Ундервудов», гроз и поз,
Под верным коминтерновым киотом —
Рябая харя выставляла нос,
И слышалась утробная икота.

Ему не нужно византийских слав,
Он знает меди сплав и прах сиротства,
Он общипал парадного орла
Со всей находчивостью домоводства.

А после — окопались, улеглись.
Скуластая земля захолодела.
И можно ль за какой-нибудь маис
Отдать тоску такого передела?

Ты о корысти мне не говори! —
Пусть у кремлевских стен могильный ельник,
На полчаса кабацкий материк
Напоминал великую молельню.

462

Медвежья колыбель — в железе.
Цынготная, сыпная смерть.
В года, где лебеда и тезис,
Ты возмужал, веселый зверь.

В столице, выглоданной паршой,
Глодая жалкие пайки,
Училась северная Спарта
Сжимать, немотствуя, клыки.

Великим выкормышам горя
Ремесла многие даны:
И всю Европу переспорить,
И выкроить себе штаны.

Жевать — горою вздыбив щеки,
Любить, чтоб было нипочем,
И, фыркая на солнцепеке,
Века проталкивать плечом.

Сторожка, таракан и дворник,
Над ним мохнатая звезда,
А под овчиной — Калифорний
Едва отрытая руда.

И в чреве, скрюченном осьмушкой,
Одной из этих баб снует
Нетерпеливо новый Пушкин —
Семнадцатый прославить год.

Недаром на балах Парижа,
Где дремлют нежно веера,
Всё чаще плечи модниц лижут
Урала жадные ветра.

Держись, отвергнутая ересь!
Не эта ль ярая стрела
В руно затравленного зверя
Державный пурпур подлила?

463

Что птице кроме щебета и лета?
Заглох овчарок лай, молчат бичи,
И ставят Мельпоменовы тенета.
Психея бедная, не щебечи!

Молчи, пока цветет безумный узел,
Когда сгорит веселая смола,
Ты поклонись невыносимой Музе
За то, что Муза вовремя пришла.

Вы, соглядатаи, молчите горше!
Иль мало вам торжественной смолы?
В горах Колхиды — остроклювый коршун,
И частые обвалы — тяжелы.

В семнадцатом сказали о победе,
И грозно грохотал короткий стих.
А если сердце всё же не из меди —
На губы — перст, и факел опусти!

Высокие Циклоповы затеи.
И впопыхах несли за гробом гроб.
Большой народ, в такие дни редея,
Поцеловал его глазастый лоб.

Часы повернуты, и всё забыто,
И не унять текучего песка.
Остались средь дворцовых малахитов
Солдатские окурки и тоска.

И сколько надобно живого леса
Для триумфальных арок средь отар?
Больной актер еще ведет пиесу —
Воистину великолепный дар!

Среди копеечного фейерверка,
Ты, Муза, призадумалась о чем? —
И медлишь взять его большое сердце,
Чтоб трудный узел разрубить мечом.

464

Звериная и ветреная грусть.
Шесть, чтоб создать, а сколько, чтоб додумать?
И я перебираю наизусть
Великие эпические шумы.

В набеге лет мне памятен разрыв —
Всё тех же нот старательная запись —
Атлантики тысячегорлыи рык,
И в рукомойнике журчанье капель.

Ты тихо в памяти перебирай
Вот эти свитки разноводых грамот.
Какой ни выдумаешь новый рай,
В него придет тяжелостопый мамонт.

А если над тобой беда стряслась —
Ну что ж, в последний раз еще ощерься,
Пока щербатая, тупая страсть
Не освежует розового сердца.

О вымыслах иных я не прошу.
Из шумов всех один меня смущает —
Под левой грудью твой угрюмый шум,
Когда ты ничего не отвечаешь.

465

Были года и года.
Осмолила сердце беда.

Человек умен и не слаб —
Хорошо оснащен корабль.

Ярок флаг, борт высок,
Под жесткой рукой — колесо.

Парус латан. Не говори!
Это зубов или мачты скрип?

Рейсы — за годом год.
Смейся! Переплывет.

Потом — шторм или течь —
Грузен узел сутулых плеч.

Одна из стольких измен —
Человек дал крен.

Вы, средь высоких вод,
Не поминайте его!

466

Остановка. Несколько примет.
Расписанье некоторых линий.
Так одно из этих легких лет
Будет слишком легким на помине.

Где же сказано — в какой графе,
На каком из верстовых зарубка,
Что такой-то сиживал в кафе
И дымил недодымившей трубкой?

Ты ж не станешь клевера сушить,
Чиркать ногтем по полям романа.
Это — две минуты, и в глуши
Никому не нужный полустанок.

Даже грохот катастроф забудь:
Это — задыханья, и бураны,
И открытый стрелочником путь
Слишком поздно или слишком рано.

Вот мое звериное тепло,
Я почти что от него свободен.
Ты мне руку положи на лоб,
Чтоб услышать, как оно уходит.

Есть в тебе льняная чистота,
И тому, кому не нужно хлеба, —
Три аршина грубого холста
На его последнюю потребу.

467

Я любил ветер верхних палуб,
Ремесло пушкаря,
Уличные скандалы
И двадцать пятое октября.

Я любил в кофейнях гулящих,
Дым, спирт, зной.
Меня положат в продолговатый ящик
Дышать прохладной сосной.

Чопорно лягу в жесткой манишке,
Свидетель стольких измен,
Подобно Самуилу, Саулу, мертвым и лишним,
Судить двенадцать колен.

За то, что лоцман, вспомнив пристань,
Рано повернул свое колесо
И все сердца ушедших на приступ
Остыли, как за ночь песок.

Тебя и вас, любимых и любивших,
За то, что вы, полюбив уют,
Осудили вот здесь, под этой манишкой,
Нежность и ревность мою.

Тогда, преисполнены страха,
В глубь земли и в глубины лет
Вы меня опустите, как тяжелый якорь,
Чтоб самим устоять на земле.

468

В ночи я трогаю, недоумелый,
Дорожной лихорадкою томим,
Почти доисторическое тело,
Которое еще зовут моим.

Оно живет своим особым бытом —
Смуглеет в жар и жадно ждет весны,
И — ком земли — оно цветет от пыток,
От чудных губ жестокой бороны.

Рассеянно перебираю ворох
Раскиданных волос, имен, обид,
Поймите эти путевые сборы,
Когда уже ничто не веселит!

В каких же слабостях еще признаться? —
Ребячий смех и благости росы.
Но уж за трапезою домочадцев
Томится гость и смотрит на часы.

Он золотого хлеба не надрежет,
И, как бы ни сиротствовала грудь,
Он выпустит в окно чужую нежность,
Чтоб даже нежность крикнула: не будь!

В глухую ночь свои кидаю пальцы —
Какие руки вдоволь далеки,
Чтоб обрядить такого постояльца,
И, руку взяв, не удержать руки?

Ищу покоя, будто зверь на склоне.
Седин уже немало намело.
В студеном воздухе легко затонет
Отпущенное некогда тепло.

Июль—август 1922
Binz a Rugen

469

Так умирать, чтоб бил озноб огни,
Чтоб дымом пахли щеки, чтоб курьерский:
«Ну ты, угомонись, уймись, нишкни», —
Прошамкал мамкой ветровому сердцу,
Чтоб — без тебя, чтоб вместо рук сжимать
Ремень окна, чтоб не было «останься»,
Чтоб, умирая, о тебе гадать
По сыпи звезд, по лихорадке станций, —
Так умирать, понять, что гам и чай,
Буфетчик, вечный розан на котлете,
Что это — смерть, что на твое «прощай!»
Уж мне никак не суждено ответить.

470

Не нежен, беженцем на тормоз,
И на рожон, забыв зады,
Вытряхивая ворох формул
О связи глаза и звезды,
О связи губ, тех, что голубят,
Что воркот льют, когда ты люб, —
Тарарабумбий на раструбе
Взбесившихся под утро труб.
Любовь — чтоб это было мясо,
Чтоб легче в гроб, чтоб глох, пока
Не станут вздохи астмой, басом
Матросского грузовика.
Врозь ноги. Пули тороваты.
На улице любой лови —
Он снова тянется, кильватер
Огульной крови и любви!
От жарких наволок, от славы
Вот в эту рань, где красный дом,
Средь форток, штор и мертвых лавок,
Орет, пробитый сквозняком.
Молочниц пар. Мороз. Но гарус,
Но роза — за угол, и вот
Она уж бомба, гомон, ярость
И хор у городских ворот.

На смену, ненависть! До пушек!
Крути фитиль, вой матом, пой!
Как та, врываясь в глушь подушек,
Тяжелой, теплой и слепой.

471

Не сухостой — живое тело резать,
Чтоб изошел слезой горячий сруб, —
Так мне ломать проклятое железо
Отлитых для молчальничества губ.
И по ночам отчаянье какое!
Скорей средь корректур и табака
Хлебнуть горячечных паров левкоя,
Запасть в подушечные облака!
Средь скуки штукатура, к стенке серой,
Когда любовь в любом окне горит,
Знать только капли крана, сердца меру
И смерть на самых подступах зари.
Остановись! Не то я вырву вожжи.
Я на земле еще не долюбил.
Из ночи в ночь короткий теплый дождик
Мои ладони бережно крестил.
Чтоб на спину, считая стаи галок,
Чтоб стала бытом даже эта мгла,
Чтоб фиолетовое веко пало
На дикий, рыбий, вылинявший глаз.

472

Я так любил тебя — до грубых шуток
И до таких пронзительных немот,
Что даже дождь, стекло и ветки путал,
Не мог найти каких-то нужных нот.

Так только варвар, бросивший на форум
Косматый запах крови и седла,
Богинь оледенивший волчьим взором
Занеженные зябкие тела,

Так только варвар, конь чей, дико пенясь,
Ветрами заальпийскими гоним,
Копытом высекал из сердца пленниц
Источники чистительные нимф,

И после, приминая мех медвежий,
Гортанным храпом плача и шутя,
Так только варвар пестовал и нежил
Диковинное южное дитя.

Так я тебя, без музыки, без лавра,
Грошовую игрушку, смастерил,
Нет, не на радость, как усталый варвар,
Ныряя в ночь, большую, без зари.

473

И дверцы скрежет: выпасть, вынуть.
И молит сердце: где рука?
И всё растут, растут аршины
От ваших губ и до платка.
Взмахнет еще и отобьется.
Зачем так мало целовал?
На ночь, на дождь, на рощи отсвет
Метнет железный катафалк.
Он ладаном обдышит липы,
Вздохнет на тысячной версте
И долго будет звезды сыпать
В невыносимой духоте.
Еще мостом задушит шепот,
Еще верстой махнет: молчи!
И врежется, и нем, и вкопан,
В вокзала дикие лучи.
И половой, хоть ночь и заспан,
Поймет, что значит без тебя,
Больной огарок ставя на стол
И занавеску теребя.

474

Страшный ящер и сивиллы в духе —
Рот вишневый. Солнце — о тебе.
Робко бьется зайчик огнеухий.
Только б руки не разжать в мольбе.

Ах, сусальная, пришла не рано.
И соседям, может быть, смешно,
Что, с такой тревогой глядя на ночь,
Застилаю я мое окно.

Как же выдать ту, что я закутал, —
Эту руку, если в ней одной
Мечется и льнет до муки лютой
Средиземный стопудовый зной?

Смерть-шатунья ходит, смотрит в оба.
Даже скважина страшна и та.
Будь он проклят, ледовитый кобальт,
Северная злая чистота!

Ведь любить — до выкрика, до хруста
Смоляных, прожженных насквозь рук,
До того, что — весело и пусто,
До того, что — «лягу и умру».

Здесь слова, как масляная сдоба,
Леденцами тает легкий вздох.
Где ж мне вызволить такую злобу,
Чтоб к гортани мой язык присох,

Чтоб, горячкой золота и Рима
Захворав и впопыхах дыша,
Возвеличить твой жестокий климат,
Страстью изнуренная душа?

475

Жалко в жизни мне еще дождя.
Тихо он на цыпочках разгуливал.
Косенький, зеленый, в гости заходя,
Заставал врасплох, гонял по улицам.
Тротуары полотером тер,
Прыскал, фыркал, наметавши, ласковый,
В комнату черемуховый вздор,
Он глаза мечтою ополаскивал.
Из трамвая делал птичий гам.
Обдавал шкафы листом смородины.
Был такой, чтоб целоваться нам,
Чтобы никогда не распогодилось.
Вел чечеткой свой любовный счет.
Заставлял, средь книжек, шпилек, наволок,
Таволгою отдавать плечо
И зрачкам захлебываться паводком.
Падал, прядал, прятался от нас,
Чтоб с сестрой его, как он, обманчивой,
Выбежавшей из счастливых глаз,
Я б и в ясную погоду нянчился.

476

Там телеграф и рахитик-подсолнечник,
Флюс у дежурного, в одури, в мякоти,
Храп аппарата, собака, до полночи
Можно заполнить листок и расплакаться.
Слезы врастут, станут памятью, матрицей,
Проволок током, звонком неожиданным.
Эту тоску с перепутанным адресом
Ты не узнаешь, ты примешь за выдумку.
Ты же была «на чаек» или краденой.
Вместо тебя пересадки, попутчики.
Муха брюзжит над оплывшей говядиной
Всё о таком же мушином, умученном.
Руки отучатся миловать милую,
Станут дорожными верстами, веслами.
Сердце хотело еще одну вылазку,
Ты мне ответила: надо быть взрослыми!
Что же прибавить мне к дребезгу чайника,
К мухе и к флюсу, чтоб ты не оставила,
Чтоб ты узнала походку отчаяния
В каждом нажиме ленивого клавиша?
Если ж не станет дыханья от нежности,
В зале, махоркой и кашлем замаянном,
Трубка, упавшая на пол, по-прежнему
Будет дымить еще после хозяина.
Нудный дежурный все жалобы выдавит,
Капнув на зуб, чтобы ты отозвался,
Чтобы тебя, что далеко, за тридевять,
Как-нибудь вызволить, вызвать, разжалобить.

477

Хотеть его. Чем реже крови дробь,
Чем гуще муть в пивном стеклянном глазе,
Чем сердце чаще, клячей меж оглобль,
Захлестанное, грохается наземь,
В слезах и чванясь, будто глупый бурш,
Когда летит на кегельбане сверстник,
Чем мне ясней, что из таких цезур
Одна окажется моей же смертью, —
Тем всё сильней хотеть его. Любовь —
Она наутро снимется как табор.
Твоя нигде не вытравлена бровь,
И этот поцелуй никем еще не набран.
Так даром жизнь и пропит целый свет,
Как в подворотне штоф, взасос и кончен.

Не мне достался этот теплый бред
Средь розовых грудей земных поденщиц.
Я ночью вскакиваю: нет, не мой!
Семь этажей. Чужое счастье плачет.
Он где-то есть, и ждут его домой,
Он шавкой под ноги, он в горе — мячик.
В игрушечьем миру, средь снежных баб,
Он в плюше хроменького медвежонка,
Он мог бы быть и прятаться за шкаф
И плакать оттого, что там потемки.
Он мог бы в этих номерах кричать,
Средь багажа, звонков, чаев, приезжих,
И каждой родинкой напоминать
О том, как я тебя любил и нежил.

ВЕРНОСТЬ

478

Верность — прямо дорога без петель,
Верность — зрелой души добродетель,
Верность — августа слава и дым,
Зной, его не понять молодым,
Верность — вместе под пули ходили,
Вместе верных друзей хоронили.
Грусть и мужество — не расскажу.
Верность хлебу и верность ножу,
Верность смерти и верность обидам,
Бреда сердца не вспомню, не выдам.
В сердце целься! Пройдут по тебе.
Верность сердцу и верность судьбе.

1939

479. БОЙ БЫКОВ

Зевак восторженные крики
Встречали грузного быка.
В его глазах, больших и диких,
Была глубокая тоска.
Дрожали дротики обиды.
Он долго поджидал врага,
Бежал на яркие хламиды
И в пустоту вонзал рога.
Не понимал — кто окровавил
Пустынь горячие пески,
Не знал игры высоких правил
И для чего растут быки.
Но ни налево, ни направо —
Его дорога коротка.
Зеваки повторяли «браво»
И ждали нового быка.
Я не забуду поступь бычью,
Бег напрямик томит меня,
Свирепость, солнце и величье
Сухого, каменного дня.

1939

480

Крепче железа и мудрости глубже
Зрелого сердца тяжелая дружба.
В море встречаясь и бури изведав,
Мачты заводят простые беседы.
Иволга с иволгой сходятся в небе,
Дивен и дик их загадочный щебет.
Медь не уйдет от дыханья горниста,
Мертвый, живых поведет он на приступ.
Не говори о тяжелой потере:
Если весло упирается в берег,
Лодка отчалит и, чуждая грусти,
Будет качаться, как люлька, — до устья.

1939

481

Не торопясь, внимательный биолог
Законы изучает естества.
То был снаряда крохотный осколок,
И кажется, не дрогнула листва.
Прочтут когда-нибудь, что век был грозен,
Страницу трудную перевернут
И не поймут, как умирала озимь,
Как больно было каждому зерну.
Забыть чужого века созерцанье,
Искусства равнодушную игру,
Но только чье-то слабое дыханье
Собой прикрыть, как спичку на ветру.

1939

482

Чем расставанье горше и труднее,
Тем проще каждодневные слова:
Больного сердца праздные затеи.
А простодушная рука мертва,
Она сжимает трубку или руку.
Глаза еще рассеянно юлят,
И вдруг ныряет в смутную разлуку
Как бы пустой, остекленелый взгляд.
О, если бы словами, но не теми, —
Быть может, взглядом, шорохом, рукой
Остановить, обезоружить время
И отобрать заслуженный покой!

В той немоте, в той неуклюжей грусти —
Начальная густая тишина,
Внезапное и чудное предчувствие
Глубокого полуденного сна.

1940

483

Нет, не зеницу ока и не камень,
Одно я берегу: простую память.
Так дерево — оно ветров упорней —
Пускает в ночь извилистые корни.
Пред чудом человеческой свободы
Ничтожны версты и минута — годы,
И сердце зрелое — тот мир просторный,
Где звезды падают и всходят зерна.

1940

ИСПАНИЯ

484

Тогда восстала горная порода,
Камней нагроможденье и сердец,
Медь Рио-Тинто бредила свободой,
И смертью стал Линареса свинец.
Рычали горы, щерились долины,
Моря оскалили свои клыки,
Прогнали горлиц гневные маслины,
Седой листвой прикрыв броневики,
Кусались травы, ветер жег и резал,
На приступ шли лопаты и скирды,
Узнали губы девушек железо,
В колодцах мертвых не было воды,
И вся земля пошла на чужеземца:
Коренья, камни, статуи, пески,
Тянулись к танкам нежные младенцы,
С гранатами дружили старики,
Покрылся кровью булочника фартук,
Огонь пропал, и вскинулось огнем
Всё, что зовут Испанией на картах,
Что мы стыдливо воздухом зовем.

1939

485

Сердце, это ли твой разгон?
Рыжий, выжженный Арагон.
Нет ни дерева, ни куста,
Только камень и духота.
Всё отдать за один глоток!
Пуля — крохотный мотылек.
Надо выползти, добежать.
Как звала тебя в детстве мать?
Красный камень. Дым голубой.
Орудийный короткий бой.
Пулеметы. Потом тишина.
Здесь я встретил тебя, война.
Одурь полдня. Глубокий сон.
Край отчаянья, Арагон.

1939

486

Парча румяных жадных богородиц,
Эскуриала грузные гроба.
Века по каменной пустыне бродит
Суровая испанская судьба.

На голове кувшин. Не догадаться,
Как ноша тяжела. Не скажет цеп
О горе и о гордости батрацкой,
Дитя не всхлипнет, и не выдаст хлеб.

И если смерть теперь за облаками,
Безносая, она земле не вновь.
Она своя, и знает каждый камень
Осколки глины, человека кровь.

Ослы кричат. Поет труба пастушья.
В разгаре боя, в середине дня,
Вдруг смутная улыбка равнодушья,
Присущая оливам и камням.

1939

487

Альбасете, тише! Альмаден, молчи!
Залегли, не дышат. Ночи горячи.
Нет у верности другого языка,
Кроме острого, как ненависть, штыка.

Орудийная тяжелая гроза.
Из железа веки, из стекла глаза.
Малага оглохла, и Мадрид ослеп.
На крови замешан этот едкий хлеб.
С кровью смешана солдатская вода.
Барабанной дробью говорят года.

1939

488

В кастильском нищенском селенье,
Где только камень и война,
Была та ночь до одуренья
Криклива и раскалена.
Артиллерийской подготовки
Гроза гремела вдалеке.
Глаза хватались за винтовки,
И пулемет стучал в виске.
А в церкви — экая морока! —
Показывали нам кино.
Среди святителей барокко
Дрожало яркое пятно.
Как камень, сумрачны и стойки,
Молчали смутные бойцы.
Вдруг я услышал — русской тройки
Звенели лихо бубенцы,
И, памятью меня измаяв,
Расталкивая всех святых,
На стенке бушевал Чапаев,
Сзывал живых и неживых.
Как много силы у потери!
Как в годы переходит день!
И мечется по рыжей сьерре
Чапаева большая тень.
Земля моя, земли ты шире,
Страна, ты вышла из страны,
Ты стала воздухом, и в мире
Им дышат мужества сыны.
Но для меня ты — с колыбели
Моя земля, родимый край,
И знаю я, как пахнут ели,
С которыми дружил Чапай.

1939

489. В ЯНВАРЕ 1939

В сырую ночь ветра точили скалы.
Испания, доспехи волоча,
На север шла. И до утра кричала
Труба помешанного трубача.
Бойцы из боя выводили пушки.
Крестьяне гнали одуревший скот.
А детвора несла свои игрушки,
И был у куклы перекошен рот.
Рожали в поле, пеленали мукой
И дальше шли, чтоб стоя умереть.
Костры еще горели пред разлукой,
Трубы еще не замирала медь.
Что может быть печальней и чудесней?
Рука еще сжимала горсть земли.
В ту ночь от слов освобождались песни
И шли деревни, будто корабли.

1939

490. ПОСЛЕ...

Проснусь, и сразу: не увижу я
Ее, горячую и рыжую,
Ее, сухую, молчаливую,
Одну под низкою оливою,
Не улыбнется мне приветливо
Дорога розовыми петлями,
Я не увижу горю почести,
Заботливость и одиночество,
Куэнку с красными обвалами
И белую до рези Малагу,
Ее тоску великодушную,
Июль с игрушечными пушками,
Мадрид, что прикрывал ладонями
Детей последнюю бессонницу.

1939

491

Бои забудутся, и вечер щедрый
Земные обласкает борозды,
И будет человек справлять у Эбро
Обыкновенные свои труды.

Всё зарастет — развалины и память,
Зола олив не скажет об огне,
И не обмолвится могильный камень
О розовом потерянном зерне.
Совьют себе другие гнезда птицы,
Другой словарь придумает весна.
Но вдруг в разгул полуденной столицы
Вмешается такая тишина,
Что почтальон, дрожа, уронит письма,
Шоферы отвернутся от руля,
И над губами высоко повиснет
Вина оледеневшая струя.
Певцы гитару от груди отнимут,
Замрет среди пустыни паровоз,
И молча женщина протянет сыну
Патронов соты и надежды воск.

1939

ДЫХАНИЕ

492

На ладони — карта, с малолетства
Каждая проставлена река,
Сколько звезд ты получил в наследство,
Где ты пас ночные облака.
Был вначале ветер смертоносен,
Жизнь казалась горше и милей.
Принимал ты тишину за осень
И пугался тени тополей.
Отзвенели светлые притоки,
Стала глубже и темней вода.
Камень ты дробил на солнцепеке,
Завоевывал пустые города.
Заросли тропинки, где ты бегал,
Ночь сиреневая подошла.
Видишь — овцы, будто хлопья снега,
А доска сосновая тепла.

1939

493

Как эти сосны и строенья
Прекрасны в зеркале пруда,
И сколько скрытого волненья
В тебе, стоячая вода!

Кипят на дне глухие чувства,
Недвижен темных вод покров,
И кажется, само искусство
Освобождается от слов.

1940

494

Где играли тихие дельфины,
Далеко от зелени земли,
Нарываясь по ночам на мины,
Молча умирают корабли.
Суматошливый, большой и хрупкий,
Человек не предает мечты,
Погибая, он спускает шлюпки,
Скидывает сонные плоты,
Синевой охваченный, он верит,
Что земля любимая близка,
Что ударится о светлый берег
Легкая, как жалоба, доска.
Видя моря горестную смуту,
Средь ночи, измученной волной,
Он еще в последнюю минуту
Бредит берегом и тишиной.

1940

495

Я знаю: будет золотой и долгий,
Как мед густой, непроходимый полдень,
И будут с гирями часы на кухне,
В саду гудеть пчела и сливы пухнуть.
Накроют к ужину, и будет вечер
Такой же хрупкий и такой же вечный,
И женский плач у гроба не нарушит
Ни чина жизни, ни ее бездушья.

1939

496

Жилье в горах — как всякое жилье:
До ночи пересуды, суп и скука,
А на веревке сушится белье,
И чешется, повизгивая, сука.

Но подымись — и сразу мир другой,
От тысячи подробностей очищен,
Дорога кажется большой рекой
И кораблем — убогое жилище.
О, если б этот день перерасти
И с высоты, средь тишины и снега,
Взглянуть на розовую пыль пути,
На синий дым последнего ночлега!

1939
Савойя

497

Не раз в те грозные, больные годы,
Под шум войны, средь нищенства природы,
Я перечитывал стихи Ронсара,
И волшебство полуденного дара,
Игра любви, печали легкой тайна,
Слова, рожденные как бы случайно,
Законы строгие спокойной речи
Пугали мир ущерба и увечий.
Как это просто всё! Как недоступно!
Любимая, дышать и то преступно...

1940

498. ДЫХАНИЕ

Мальчика игрушечный кораблик
Уплывает в розовую ночь.
Если паруса его ослабли,
Может им дыхание помочь,
То, что домогается и клянчит,
На морозе обретает цвет,
Одолеть не может одуванчик
И в минуту облетает свет,
То, что крепче мрамора победы,
Хрупкое, не хочет уступать,
О котором бредит напоследок
Зеркала нетронутая гладь.

1939

499

Самоубийцею в ущелье
С горы кидается поток,
Ломает вековые ели
И сносит камни, как песок.

Скорей бы вниз! И дни и ночи,
Не зная мира языка,
Грозит, упорствует, грохочет.

Так начинается река,
Чтоб после плавно и лениво
Качать рыбацкие челны
И отражать то трепет ивы,
То башен вековые сны.

Закончится и наше время
Среди лазоревых земель,
Где садовод лелеет семя
И мать качает колыбель,
Где летний день глубок и долог,
Где сердце тишиной полно
И где с руки усталый голубь
Клюет пшеничное зерно.

1939

ПЕРЕД ВОЙНОЙ

500

Как восковые, отекли камельи.
Расина декламируют дрозды.
А ночью невеселое веселье
И ядовитый изумруд звезды.
В туманной суете угрюмых улиц
Еще у стоек поят голытьбу,
А мудрые старухи уж разулись,
Чтоб легче спать в игрушечном гробу.
Вот рыболов с улыбкою беззлобной
Подводит жизни прожитой итог,
И кажется мне лилией надгробной
В летейских водах праздный поплавок.
Домов не тронут поздние укоры,
Не дрогнут до рассвета фонари.
Смотри — Парижа путевые сборы.
Опереди его, уйди, умри!

1939

501. МОНРУЖ

Был нищий пригород, и день был сер,
Весна нас выгнала в убогий сквер,
Где небо призрачно, а воздух густ,
Где чудом кажется сирени куст,
Где не расскажет про тупую боль,
Вся в саже, бредовая лакфиоль,
Где малышей сажают на песок
И где тоска вгрызается в висок.
Перекликались слава и беда,
Росли и рассыпались города,
И умирал обманутый солдат
Средь лихорадки пафоса и дат.
Я знаю, век, не изменить тебе,
Твоей суровой и большой судьбе,
Но на одну минуту мне позволь
Увидеть не тебя, а лакфиоль,
Увидеть не в бреду, а наяву
Больную, золотушную траву.

1939

502

Ногти ночи цвета крови,
Синью выведены брови,
Пахнет мускусом крысиным,
Гиацинтом и бензином,
Носит счастье на подносах,
Ищет утро, ищет небо,
Ищет корку злого хлеба.
В этот час пусты террасы,
Спят сыры и ананасы,
Спят дрозды и лимузины,
Не проснулись магазины.
Этот час — четвертый, пятый —
Будет чудом и расплатой.
Небо станет, как живое,
Закричит оно о бое,
Будет нежен, будет жаден
Разговор железных градин,
Город, где мы умираем,
Станет горем, станет раем.

1939

503. У ПРИЕМНИКА

Был скверный день, ни отдыха, ни мира.
Угроз томительная хрипота,
Всё бешенство огромного эфира,
Не тот обет, и жалоба не та.
А во дворе, средь кошек и пеленок,
Приемника перебивая вой,
Кричал уродливый, больной ребенок,
О стену бился рыжей головой,
Потом ребенка женщина чесала,
И, материнской гордостью полна,
Она его красавцем называла,
И вправду любовалась им она.
Не зря я слепоту зову находкой.
Тоску зажать, как мертвого птенца,
Пройти своей привычною походкой
От детских клятв до точки — до свинца.

1939

504

Я должен вспомнить — это было:
Играли в прятки облака,
Лениво теплая кобыла
Выхаживала сосунка,
Кричали вечером мальчишки,
Дожди поили резеду,
И мы влюблялись понаслышке
В чужую трудную беду.
Как годы обернулись в даты?
И почему в горячий день
Пошли небритые солдаты
Из ошалелых деревень?
Живи хоть час на полустанке,
Хоть от свистка и до свистка.
Оливой прикрывали танки
В Испании.
Опять тоска.
Опять несносная тревога
Кричит над городом ночным.
Друзья, перед такой дорогой
Присядем малость, помолчим,
Припомним всё, как домочадцы, —
Ту ре́зеду и те дожди,
Чтоб не понять, не догадаться,
Какое горе впереди.

1939

505

Есть в хаосе самом высокий строй,
Тот замысел, что кажется игрой,
И, может быть, начертит астроном
Орбиту сердца, тронутого сном.
Велик и дивен океана плач.
У инея учился первый ткач.
Сродни приливам и корням близка
Обыкновенной женщины тоска.
И есть закон для смертоносных бурь
И для горшечника, кладущего глазурь, —
То — ход страстей, и зря зовут судьбой
Отлеты птиц иль орудийный бой.
Художнику свобода не дана,
Он слышит, что бормочет тишина,
И как лунатик, выйдя в темноту,
Он осязает эту темноту.
Не переставить звуки и цвета,
Не изменить кленового листа.
И дружбы горяча тяжелая смола,
И вечен след от легкого весла.

1939

506

Ты вспомнил всё. Остыла пыль дороги.
А у ноги хлопочут муравьи,
И это — тоже мир, один из многих,
Его не тронут горести твои.
Как разгадать, о чем бормочет воздух?
Зачем закат заночевал в листве?
И если вечером взглянуть на звезды,
Как разыскать себя в густой траве?

1940

507

Белесая, как марля, мгла
Скрывает мира очертанье,
И не растрогает стекла
Мое убогое дыханье.
Изобразил на нем мороз,
Чтоб сердцу биться не хотелось,

Корзины вымышленных роз
И пальм былых окаменелость,
Язык безжизненной зимы
И тайны памяти лоскутной.
Так перед смертью видим мы
Знакомый мир, большой и смутный.

1941

508

Когда подымается солнце и птицы стрекочут,
Шахтеры уходят в глубокие вотчины ночи.
Упрямо вгрызаясь в утробу земли рудоносной,
Рука отбивает у смерти цветочные вёсны.
От сварки страстей, от металла, что смутен и труден, —
Топор дровосека и ропот тяжелых орудий.
Леса уплывают, деревьев зеленых и рослых
Легки корабельные мачты и призрачны весла.
На веслах дойдешь ты до луга. Средь мяты горячей
Осколок снаряда и старая женщина плачет.
Горячие зерна опять возвращаются в землю,
Притихли осины, и жадные ласточки дремлют.

1939

509

Крылья выдумав, ушел под землю,
Предал сон и погасил глаза.
И, подбитая, как будто дремлет
Сизо-голубая стрекоза.
Света не увидеть Персефоне,
Голоса сирены не унять,
К солнцу ломкие, как лед, ладони
В золотое утро не поднять.
За какой хлопочешь ты решеткой,
Что еще придумала спеша,
Бедная больная сумасбродка,
Хлопотунья вечная, душа?

1941

510. ЛОНДОН

Не туманами, что ткали Парки,
И не парами в зеленом парке,
Не длиной, а он длиннее сплина,
Не трезубцем моря властелина,

Город тот мне новым горем дорог.
По ночам я вижу черный город,
Горе там сосчитано на тонны,
В нежной сырости сирены стонут,
Падают дома, и день печален
Средь чужих уродливых развалин.
Но живые из щелей выходят,
Говорят, встречаясь, о погоде,
Убирают с тротуаров мусор,
Покупают зеркальце и бусы.
Ткут и ткут свои туманы Парки.
Зелены загадочные парки.
И еще длинней печали версты,
И людей еще темней упорство.

1941

511. ГОНЧАР В ХАЭНЕ

Где люди ужинали — мусор, щебень,
Кастрюли, битое стекло, постель,
Горшок с сиренью, а высоко в небе
Качается пустая колыбель.
Железо, кирпичи, квадраты, диски,
Разрозненные смутные куски.
Идешь — и под ногой кричат огрызки
Чужого счастья и чужой тоски.
Каким мы прежде обольщались вздором!
Что делала, что холила рука?
Так жизнь, ободранная живодером,
Вдвойне необычайна и дика.
Портрет семейный — думали про сходство.
Загадывали, чем обить диван.
Всей оболочки грубое уродство
Навязчиво, как муха, как дурман.
А за углом уж суета дневная,
От мусора очищен тротуар,
И в глубине прохладного сарая
Над глиной трудится старик-гончар.
Я много жил, я ничего не понял,
И в изумлении гляжу один,
Как повинуясь старческой ладони,
Из темноты рождается кувшин.

1939

512

Бомбы осколок. Расщеплены двери.
Всё перепуталось — боги и звери.
Груди рассечены, крылья отбиты,
Праздно зияют глазные орбиты.
Ломкий, истерзанный, раненый камень
Невыносим и назойлив, как память.
(Что в нас от смутного детства осталось,
Если не эта бесцельная жалость?)
В полуразрушенном брошенном зале
Беженцы с севера заночевали.
Средь молчаливых торжественных статуй
Стонут старухи и плачут ребята.
Нимф и кентавров забытая драма —
Только холодный поверженный мрамор.
Но не отвяжется и не покинет
Белая рана убитой богини.
Грудь обнажив в простоте совершенства,
Женщина бережно кормит младенца.
Что ей ваятели? Созданы ею
Хрупкие руки и нежная шея.
Чмокают губы, и звук этот детский
Нови невнятен в высокой мертвецкой.

1939

ПАРИЖ, 1940

513

Уходят улицы, узлы, базары,
Танцоры, костыли и сталевары,
Уходят канарейки и матрацы,
Дома кричат: «Мы не хотим остаться»,
А на соборе корчатся уродцы,
Уходит жизнь, она не обернется.
Они идут под бомбы и под пули,
Лунатики, они давно уснули,
Они идут, они еще живые,
И перед ними те же часовые,
И тот же сон, и та же несвобода,
И в беге нет ни цели, ни исхода:
Уйти нельзя, нельзя мечтать о чуде,
И всё ж они идут, не камни — люди.

1940

514

Глаза погасли, и холод губ,
Огромный город, не город — труп.
Где люди жили, растет трава,
Она приснилась и не жива.
Был этот город пустым, как лес,
Простым, как горе, и он исчез.
Дома остались. Но никого.
Не дрогнут ставни. Забудь его!
Ты не забудешь, но ты забудь,
Как руки улиц легли на грудь,
Как стала Сена, пожрав мосты,
Рекой забвенья и немоты.

1940

515

Упали окон вековые веки.
От суеты земной отрешены,
Гуляли церемонные калеки,
И на луну глядели горбуны.
Старухи, вытянув паучьи спицы,
Прохладный саван бережно плели.
Коты кричали. Умирали птицы.
И памятники по дорогам шли.
Уснув в ту ночь, мы утром не проснулись.
Был сер и нежен города скелет.
Мы узнавали все суставы улиц,
Все перекрестки юношеских лет.
Часы не били. Стали звезды ближе.
Пустынен, дик, уму непостижим,
В забытом всеми, брошенном Париже
Уж цепенел необозримый Рим.

1940

516

Номера домов, имена улиц,
Город мертвых пчел, брошенный улей.
Старухи молчат, в мусоре роясь.
Не придут сюда ни сон, ни поезд,
Не придут сюда от живых письма,
Не всхлипнет дитя, не грянет выстрел.
Люди не придут. Умереть поздно.

В городе живут мрамор и бронза.
Нимфа слез и рек — тишина, сжалься! —
Ломает в тоске мертвые пальцы,
Маршалы, кляня века победу,
На мертвых конях едут и едут,
Мертвый голубок — что ему снится? —
Как зерно, клюет глаза провидца.
А город погиб. Он жил когда-то,
Он бьется в груди забытых статуй.

1940

517

Над Парижем грусть. Вечер долгий.
Улицу зовут «Ищу полдень».
Кругом никого. Свет не светит.
Полдень далеко, теперь вечер.
На гербе корабль. Черна гавань.
Его трюм — гроба, парус — саван.
Не сказать «прости», не заплакать.
Капитан свистит. Поднят якорь.
Девушка идет, она ищет,
Где ее любовь, где кладбище.
Не кричат дрозды. Молчит память.
Идут, как слепцы, ищут камень.
Каменщик молчит, не ответит,
Он один в ночи ищет ветер.
Иди, не говори, путь тот долгий, —
Здесь весь Париж ищет полдень.

1940

518. У ПРИЕМНИКА

Над крышами Парижа весна не зашумит,
И жемчуг не нанижет кудрявая Мими.
Средь темной ночи слышишь (а ночь давно мертва),
Как умирают мыши и как растет трава.
И равнодушно диктор, не рад и не сердит,
На десяти языках о смерти говорит:
Как тонут тонны боли, как выполот народ,
И трупы — это только торговый оборот.
Но вдруг, как моря склянки, для мира и для нас
Кремлевские куранты вызванивают час.
Ты, может, из театра сейчас идешь домой...
И как мне непонятно, что этот город — мой,

Что над часами звезды, что я еще живой,
Что даже черный воздух становится Москвой.
Часы всё ближе, ближе, они томят меня.
Под крышами Парижа ни звуков, ни огня.

1940

519

Как дерево в большие холода,
Ольха иль вяз, когда реки вода,
Оцепенев, молчит и ходит вьюга,
Как дерево обманутого юга,
Что, к майскому готовясь торжеству,
Придумывает сквозь снега листву,
Зовет малиновок и в смертной муке
Иззябшие заламывает руки, —
Ты в эту зиму с ночью говоришь,
Расщепленный, как старый вяз, Париж.

1941

ОДИНОЧЕСТВО

520

Сочится зной сквозь крохотные ставни.
В беленой комнате темно и душно.
В ослушников кидали прежде камни,
Теперь и камни стали равнодушны.
Теперь и камни ничего не помнят,
Как их ломали, били и тесали,
Как на заброшенной каменоломне
Проклятый полдень жаден и печален.
Страшнее смерти это равнодушье.
Умрет один — идут, назад не взглянут.
Их одиночество глушит и душит,
И каждый той же суетой обманут.
Быть может, ты, ожесточась, отчаясь,
Вдруг остановишься, чтоб осмотреться,
И на минуту ягода лесная
Тебя обрадует. Так встанет детство:
Обломки мира, облаков обрывки,
Кукушка с глупыми ее годами,
И мокрый мох, и земляники привкус,
Знакомый, но нечаянный, как память.

1939

521

Додумать не дай, оборви, молю, этот голос,
Чтоб память распалась, чтоб та тоска раскололась,
Чтоб люди шутили, чтоб больше шуток и шума,
Чтоб, вспомнив, вскочить, себя оборвать, не додумать,
Чтоб жить без просыпу, как пьяный, залпом и на пол,
Чтоб тикали ночью часы, чтоб кран этот капал,
Чтоб капля за каплей, чтоб цифры, рифмы, чтоб что-то,
Какая-то видимость точной, срочной работы,
Чтоб биться с врагом, чтоб штыком — под бомбы, под пули,
Чтоб выстоять смерть, чтоб глаза в глаза заглянули.
Не дай доглядеть, окажи, молю, эту милость,
Не видеть, не вспомнить, что с нами в жизни случилось.

1939

522

Всё за беспамятство отдать готов,
Но не забыть ни звуков, ни цветов,
Ни сверстников, ни смутного ребячества
(Его другие перепишут начисто).
Вкруг сердцевины кольца наросли.
Друзей всё меньше: вымерли, прошли.
Сгребают сено девушки веселые,
И запах сена веселит, как молодость.
Всё те же лица, клятвы и слова:
Так пахнет только мертвая трава.

1940

523

Батарею скрывали оливы.
День был серый, ползли облака.
Мы глядели в окно на разрывы,
Говорили, что нет табака.
Говорили орудья сердито,
И про горе был этот рассказ.
В доме прыгали чашки и сита,
Штукатурка валилась на нас.
Что здесь делают шкаф и скамейка,
Эти кресла в чехлах и комод?
Даже клетка, а в ней канарейка,
И, проклятая, громко поет.

Не смолкают дурацкие трели.
Стоит пушкам притихнуть — поет.
Отряхнувшись, мы снова глядели:
Перелет, недолет, перелет.
Но не скрою — волненье пичуги
До меня на минуту дошло,
И тогда я припомнил в испуге
Бредовое мое ремесло:
Эта спазма, что схватит за горло,
Не отпустит она до утра, —
Сколько чувств доконала, затерла
Слов и звуков пустая игра!
Канарейке ответила ругань,
Полоумный буфет завизжал,
Показался мне голосом друга
Батареи запальчивый залп.

1939

524

В лесу деревьев корни сплетены,
Им снятся те же медленные сны,
Они поют в одном согласном хоре,
Зеленый сон, земли живое море.
Но и в лесу забыть я не могу:
Чужой реки на мутном берегу,
Один как перст, непримирим и страстен,
С ветрами говорит высокий ясень.
На небе четок каждый редкий лист.
Как, одиночество, твой голос чист!

1940

ОБИДЫ

525

Был бомбой дом как бы шутя расколот.
Убитых выносили до зари.
И ветер подымал убогий полог,
Случайно уцелевший на двери.
К начальным снам вернулись мебель, утварь.
Неузнаваемый, рождая страх,
При свете дня торжественно и смутно
Глядел на нас весь этот праздный прах.

Был мертвый человек, стекла осколки,
Зола, обломки бронзы, чугуна.
Вдруг мы увидели на узкой полке
Стакан и в нем еще глоток вина...
Не говори о крепости порфира.
Что уцелеет, если не трава,
Когда идут столетия на выруб,
И падают, как ласточки, слова?

1940

526

Умереть и то казалось легче,
Был здесь каждый камень мил и дорог.
Вывозили пушки. Жгли запасы нефти.
Падал черный дождь на черный город.
Женщина сказала пехотинцу
(Слезы черные из глаз катились):
«Погоди, любимый, мы простимся», —
И глаза его остановились.
Я увидел этот взгляд унылый.
Было в городе черно и пусто.
Вместе с пехотинцем уходило
Темное, как человек, искусство.

1940

527

Нет, не забыть тебя, Мадрид,
Твоей крови, твоих обид.
Холодный ветер кружит пыль.
Зачем у девочки костыль?
Зачем на свете фонари?
И кто дотянет до зари?
Зачем живет Карабанчель?
Зачем пустая колыбель?
И сколько будет эта мать
Не понимать и обнимать?
Раскрыта прямо в небо дверь,
И если хочешь, в небо верь,
А на земле клочок белья,
И кровью смочена земля.
И пушки говорят всю ночь,
Что не уйти и не помочь,

Что зря придумана заря,
Что не придут сюда моря,
Ни корабли, ни поезда,
Ни эта праздная звезда.

1939

528

Не для того писал Бальзак.
Чужих солдат чугунный шаг.
Ночь навалилась, горяча.
Бензин и конская моча.
Не для того — камням молюсь —
Упал на камень Делеклюз.
Не для того тот город рос,
Не для того те годы гроз,
Цветов и звуков естество,
Не для того, не для того!
Лежит расстрелянный без пуль.
На голой улице патруль.
Так люди предали слова,
Траву так предала трава,
Предать себя, предать других.
А город пуст и город тих,
И тяжелее чугуна
Угодливая тишина.
По городу они идут,
И в городе они живут,
Они про город говорят,
Они над городом летят,
Чтоб ночью город не уснул,
Моторов точен грозный гул.
На них глядят исподтишка,
И задыхается тоска.
Глаза закрой и промолчи —
Идут чужие трубачи.
Чужая медь, чужая спесь.
Не для того я вырос здесь!

1940

529

Бродят Рахили, Хаимы, Лии,
Как прокаженные, полуживые,
Камни их травят, слепы и глухи,
Бродят, разувшись пред смертью, старухи,

Бродят младенцы, разбужены ночью,
Гонит их сон, земля их не хочет.
Горе, открылась старая рана,
Мать мою звали по имени — Хана.

1941

530

Опять развалины, опять
Огня и жалоб не унять.
Расплата, говорят они,
За дым, за ветреные дни,
За сон одних, за кровь других,
За каждый дом, за каждый стих.
Опять холодная зола,
И плач разбитого стекла,
И та же девочка без ног,
И тот же бисерный венок.
За что ее? За век? За свет?
За пять, как снег, коротких лет?
И плачет мать, и всё опять.
И не понять, и не принять.

1940

531. ВОЗЛЕ ФОНТЕНБЛО

Обрывки проводов. Не позвонит никто.
Как человек, подмигивает мне пальто.
Хозяева ушли. Еще стоит еда.
Еще в саду раздавленная резеда.
Мы едем час, другой. Ни жизни, ни жилья.
Убитый будто спит. Смеется клок белья.
Размолот камень, и расщеплен грустный бук.
Леса без птиц, и нимфа дикая без рук.
А в мастерской, средь красок, кружев и колец,
Гранатой замахнулся на луну мертвец,
И синевой припудрено его лицо.
Как трудно вырастить простое деревцо!
Опять развалины — до одури, до сна.
Невыносимая чужая тишина.
Скажи, неужто был обыкновенный день,
Когда над детворой еще цвела сирень?

1940

532

Где камня слава, тепло столетий?
Европа — табор. И плачут дети.
Земли обиды, гнездо кукушки.
Рассыпан бисер, а рядом пушки.
Идут старухи, идут ребята,
Идут на муки кортежи статуй,
Вздымая корни, идут деревья,
И видно ночью — горят кочевья.
А дом высокий, как снег, растаял.
Прости, Европа, родной Израиль!

1941

533

Молча — короткий привал —
Ночью ее целовал,
И не на ласку был скуп
Жар запечатанных губ.
Молча и до дурноты
Утром глядел на цветы,
Молча курил он табак,
Молча он гладил собак,
И суетился у ног
Теплый мохнатый щенок.
С ним говорила трава.
Где потерял он слова?
Вот истребитель идет,
Скажет свое пулемет,
Летчик глядит и молчит:
Нет языка у обид.
Громкая ночь жестока,
Нет у нее языка.

1939

НЕНАВИСТЬ

534

По тихим плитам крепостного плаца
Разводят незнакомых часовых.
Сказать о возрасте? Уж сны не снятся,
А книжка — с адресами неживых.

Стоят, не шелохнутся часовые.
Друзья редеют, и молчит беда.
Из слов остались самые простые:
Забота, воздух, дерево, вода.
На мир гляжу еще благоговейней,
Уж нет меня. Покоя тоже нет —
Чужое горе липнет, как репейник,
И я не в силах дать ему ответ.
Хожу, твержу, ищу такое слово,
Чтоб выразить всю тишину, всю боль —
Чужого мне, родного часового
С младенчества затверженный пароль.

1939

535

Не здесь, на обломках, в походе, в окопе,
Не мертвых опрос и не доблести опись.
Как дерево, рубят товарища, друга.
Позволь, чтоб не сердце, чтоб камень, чтоб уголь!
Работать средь выстрелов, виселиц, пыток
И ночи крестить именами убитых.
Победа погибших, и тысяч, и тысяч —
Отлить из железа, из верности высечь —
Отрублены руки, и, настежь отверсто,
Не бьется, врагами расклевано, сердце.

1939

536

Пред зрелищем небес, пред мира ширью,
Пред прелестью любого лепестка
Мне жизнь подсказывает перемирье,
И тщится горю изменить рука.
Как ласточки летают в поднебесье!
Как тих и дивен голубой покров!
Цветов и форм простое равновесье
Приостанавливает ход часов.
Тогда, чтоб у любви не засидеться,
Я вспоминаю средь ночи огонь,
Короткие гроба в чужой мертвецкой
И детскую холодную ладонь.
Глаза к огромной ночи приневолить,
Чтоб сердце не разнежилось, грустя,
Чтоб ненависть собой кормить и холить,
Как самое любимое дитя.

1940

537. У ЭБРО

На ночь глядя выслали дозоры.
Горя повидали понтонеры.
До утра стучали пулеметы,
Над рекой сновали самолеты,
С гор, раздроблены, сползали глыбы,
Засыпали, проплывая, рыбы,
Умирая, подымались люди,
Не оставили они орудий,
И зенитки, заливаясь лаем,
Били по тому, что было раем.

Другом никогда не станет недруг,
Будь ты, ненависть, густой и щедрой,
Чтоб не дать врагам ни сна, ни хлеба,
Чтобы не было над ними неба,
Чтоб не ластились к ним дома звери,
Чтоб не знать, не говорить, не верить,
Чтобы мудрость нас не обманула,
Чтобы дулу отвечало дуло,
Чтоб прорваться с боем через реку
К утреннему, розовому веку.

1939

БОИ

538

Сбегают с гор, грозят и плачут,
Стреляют, падают, ползут.
Рассохся парусник рыбачий,
И винодел срубил лозу.
Закутанные в одеяла,
Посты застыли начеку.
Война сердца освежевала
И выпустила в ночь тоску.
Рука пощады не попросит.
Слова врага не обелят.
Зовут на выручку колосья,
Родные жадные поля.
Суров и грозен боя воздух,
И пулемета голос лют.
А упадешь — земля и звезды,
И путь один — как кораблю.

1939

539

Есть перед боем час — всё выжидает:
Винтовки, кочки, мокрая трава.
И человек невольно вспоминает
Разрозненные, темные слова.
Хозяин жизни, он обводит взором
Свой трижды восхитительный надел,
Всё, что вчера еще казалось вздором,
Что второпях он будто проглядел.
Как жизнь не дожита! Добро какое!
Пора идти. А может, не пора?..
Еще цветут горячие левкои.
Они цвели... Вчера... Позавчера...

1939

540

Всё простота: стекольные осколки,
Жар августа и духота карболки,
Как очищают от врага дорогу,
Как отнимают руку или ногу.
Умом мы жили и пустой усмешкой,
Не знали, что закончим перебежкой,
Что хрупки руки и гора проката,
Что договаривает всё граната.
Редеет жизнь, и утром на постое
Припоминаешь самое простое:
Не ревность, не заносчивую славу —
Песочницу, младенчества забаву.
Распались формы, а песок горячий
Ни горести не знает, ни удачи.
Осталась жизни только сердцевина:
Тепло руки и синий дым овина,
Луга туманные и зелень бука.
Высокая военная порука —
Не выдать друга, не отдать без боя
Ни детства, ни последнего покоя.

1939

541

Горят померанцы, и горы горят.
Под ярким закатом забытый солдат.
Раскрыты глаза, и глаза широки,
Садятся на эти глаза мотыльки.

Натертые ноги в горячей пыли,
Они еще помнят, куда они шли.
В кармане письмо — он его не послал.
Остались патроны, не все расстрелял.
Он в городе строил большие дома,
Один не достроил. Настала зима.
Кого он лелеял, кого он берег,
Когда петухи закричали не в срок,
Когда закричала ночная беда
И в темные горы ушли города?
Дымились оливы. Он шел под огонь.
Горела на солнце сухая ладонь.
На Сьерра-Морена горела гроза.
Победа ему застилала глаза.
Раскрыты глаза, и глаза широки,
Садятся на эти глаза мотыльки.

1939

542

Кончен бой. Над горем и над славой
В знойный полдень голубеет явор.
Мертвого солдата тихо нежит
Листьев изумительная свежесть.
О деревья, мира часовые,
Сизо-синие и голубые!
Под тобой пастух играл на дудке,
Отдыхал, тобой обласкан, путник.
И к тебе шутя пришли солдаты.
Явор счастья, убаюкай брата!

1940

543. РУССКИЙ В АНДАЛУЗИИ

Гроб несли по розовому щебню,
И труба унылая трубила.
Выбегали на шоссе деревни,
Подымали грабли или вилы.
Музыкой встревоженные птицы,
Те свою высвистывали зорю.
А бойцы, не смея торопиться,
Задыхались от жары и горя.
Прикурить он больше не попросит,
Не вздохнет о той, что обманула.

Опускали голову колосья,
И на привязи кричали мулы.
А потом оливы задрожали,
Заступ землю жесткую ударил.
Имени погибшего не знали,
Говорили коротко «товарищ».
Под оливами могилу вырыв,
Положили на могиле камень.
На какой земле товарищ вырос?
Под какими плакал облаками?
И бойцы сутулились тоскливо,
Отвернувшись, сглатывали слезы.
Может быть, ему милей оливы
Простодушная печаль березы?
В темноте все листья пахнут летом,
Все могилы сиротливы ночью.
Что придумаешь просторней света,
Человеческой судьбы короче?

1939

544

«Разведка боем» — два коротких слова.
Роптали орудийные басы,
И командир поглядывал сурово
На крохотные дамские часы.
Сквозь заградительный огонь прорвались,
Кричали и кололи на лету.
А в полдень подчеркнул штабного палец
Захваченную утром высоту.
Штыком вскрывали пресные консервы.
Убитых хоронили, как во сне.
Молчали.
Командир очнулся первый:
В холодной предрассветной тишине,
Когда дышали мертвые покоем,
Очистить высоту пришел приказ.
И, повторив слова: «Разведка боем»,
Угрюмый командир не поднял глаз.
А час спустя заря позолотила
Чужой горы чернильные края.
Дай оглянуться — там мои могилы,
Разведка боем, молодость моя!

1939

545. В БАРСЕЛОНЕ

На Рамбле возле птичьих лавок
Глухой солдат — он ранен был —
С дроздов, малиновок и славок
Глаз восхищенных не сводил.
В ушах его навек засели
Ночные голоса гранат.
А птиц с ума сводили трели,
И был щеглу щегленок рад.
Солдат, увидев в клюве звуки,
Припомнил звонкие поля,
Он протянул к пичуге руки,
Губами смутно шевеля.
Чем не торгуют на базаре?
Какой не мучают тоской?
Но вот, забыв о певчей твари,
Солдат в сердцах махнул рукой.
Не изменить своей отчизне,
Не вспомнить, как цветут цветы,
И не отдать за щебет жизни
Благословенной глухоты.

1939

546. У БРУНЕТЕ

В полдень было — шли солдат ряды.
В ржавой фляжке ни глотка воды.
На припеке — а уйти нельзя —
Обгорали мертвые друзья.
Я запомнил несколько примет:
У победы крыльев нет как нет,
У нее тяжелая ступня,
Пот и кровь от грубого ремня,
И она идет, едва дыша,
У нее тяжелая душа,
Человека топчет, как хлеба,
У нее тяжелая судьба.
Но крылатой краше этот пот,
Чтоб под землю заползти, как крот,
Чтобы руки, чтобы ружья, чтобы тень
Наломать, как первую сирень,
Чтобы в яму, к черту, под откос,
Только б целовать ее взасос!

1939

547

Рта и надбровья смутное строенье,
Все тени, что с младенчества легли, —
Есть в человеке мастера волненье
И тишина глубокая земли.
Когда земля в опасности, бесстрашней
К ней человек на выручку идет.
Не отличить бойца от жадной пашни,
И зёрна гнева мечет пулемет.
Где скошенные падали на землю
И мертвые еще живых вели,
Под светлым деревом победа дремлет,
Как слепок с темной и большой земли.

1940

НАДЕЖДА

548

О той надежде, что зову я вещей,
О вспугнутой, заплаканной весне,
О том, как зайчик солнечный трепещет
На исцарапанной ногтем стене.
(В Испании я видел, средь развалин,
Рожала женщина, в тоске крича,
И только бабочки ночные знали,
Зачем горит оплывшая свеча.)
О горе и о молодости мира,
О том, как просто вытекает кровь,
Как новый город в Заполярье вырос
И в нем стихи писали про любовь,
О трудном мужестве, о грубой стуже,
Как отбивает четверти беда,
Как сердцу отвечают крики ружей
И как молчат пустые города,
Как оживают мертвые маслины,
Как мечутся и гибнут облака
И как сжимает ком покорной глины
Неопытная детская рука.

1939

549. НА МИТИНГЕ

Судеб раздельных немота и сирость,
Скопление разрозненных обид,
Не человек, но отрочество мира
Руками и сердцами говорит.
Надежду видел я, и, розы тоньше,
Как мягкий воск, послушная руке,
Она рождалась в кулаке поденщиц
И сгустком крови билась на древке.

1939

550. «ГОВОРИТ МОСКВА»

Трибун на цоколе безумца не напоит,
Не крикнут ласточки средь каменной листвы.
И вдруг доносится, как смутный гул прибоя,
Дыхание далекой и живой Москвы.
Всем пасынкам земли знаком и вчуже дорог
(Любуются на улиц легкие стежки) —
Он для меня был нежным детством, этот город,
Его Садовые и первые снежки.
Дома кочуют. Выйдешь утром, а Тверская
Свернула за угол. Мостов к прыжку разбег.
На реку корабли высокие спускают,
И, как покойника, сжигают ночью снег.
Иду по улицам, и прошлого не жалко.
Ни сверстников, ни площади не узнаю.
Вот только слушаю всё ту же речь с развалкой
И улыбаюсь старожилу-воробью.
Сердец кипенье: город взрезан, взорван, вскопан,
А судьбы сыплются меж пальцев, как песок.
И, слыша этот шум, покорно ночь Европы
Из рук роняет шерсти золотой моток.

1939

551. ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА

Что было городом — дремучий лес,
И человек, услышав крик зловещий,
Зарылся в ночь от ярости небес,
Как червь слепой, томится и трепещет.
Ему теперь и звезды невдомек,
Глаза закрыты, и забиты ставни.

Но вдруг какой-то беглый огонек —
Напоминание о жизни давней.
Кто тот прохожий? И куда спешит?
В кого влюблен?
Скажи ты мне на милость!
Ведь огонька столь необычен вид,
Что кажется — вся жизнь переменилась.
Откинуть мишуру минувших лет,
Принять всю грусть, всю наготу природы,
Но только пронести короткий свет
Сквозь темные, томительные годы!

1940

552

В городе брошенных душ и обид
Горе не спросит и ночь промолчит.
Ночь молчалива, и город уснул.
Смутный доходит до города гул:
Это под темной больной синевой
Мертвому городу снится живой,
Это проходит по голой земле
Сон о веселом большом корабле,
Ветер попутен, и гавань тесна,
В дальнее плаванье вышла весна.
Люди считают на мачтах огни;
Где он причалит, гадают они.
В городе горе, и ночь напролет
Люди гадают, когда он придет.
Ветер вздувает в ночи паруса.
Мертвые слышат живых голоса.

1940

553

Город рос, как тайга, душный и частый.
Девушка в сапогах. Горячий заступ.
Сжат рот. Не поглядит. Слова не скажет.
Какой сон в груди? Какая тяжесть?
Боец шел под огонь. Где та могила?
Чья сухая ладонь глаза прикрыла?
Не раскроют, гордясь, полмира карты
Затаенную страсть северной Спарты.

1940

554

О чем молчат Моравии леса,
Фиордов воды густо-голубые,
Мадрида дым, альпийская роса
И сизые Парижа мостовые?
Как склянки затонувших кораблей,
Как с гор, как говор улея, что вымер,
Обходит мир пернатых и полей
Короткое торжественное имя.
Привет днепровской боевой воде,
Лугам Рязани, залежам Урала.
По васильках, по братству и руде
Земля измученная стосковалась.
Как веток бред, как рук взметенных хруст,
На тысяче наречиях — надейся.
Привет тебе, цветущий розы куст,
Винтовка юного красноармейца!

1941

555

Города горят. У тех обид
Тонны бомб, чтоб истолочь гранит.
По дорогам, по мостам, в крови,
Проползают ночью муравьи,
И летит, летит, летит щепа —
Липы, ружья, руки, черепа.
От полей исходит трупный дух.
Псы не лают, и молчит петух,
Только говорит про мертвый кров
Рев больных, недоеных коров.
Умирает голубая ель
И олива розовых земель,
И родства не помнящий лишай
Научился говорить «прощай»,
И на ста языках человек,
Умирая, проклинает век.
...Будет день, и прорастет она —
Из костей, как всходят семена, —
От сетей, где севера треска,
До Сахары праздного песка,
Всколосятся руки и штыки,
Зашагают мертвые полки,
Зашагают ноги без сапог,
Зашагают сапоги без ног,

Зашагают горя города,
Выплывут утопшие суда,
И на вахту встанет без часов
Тень товарища и облаков.
Вспомнит старое крапивы злость,
Соком ярости нальется гроздь,
Кровь проступит сквозь земли тоску,
Кинется к разбитому древку,
И труба поведает, крича,
Сны затравленного трубача.

1940

556

Ты тронул ветку, ветка зашумела.
Зеленый сон, как молодость, наивен.
Утешить человека может мелочь:
Шум листьев или летом светлый ливень,
Когда, омыт, оплакан и закапан,
Мир ясен — весь в одной повисшей капле,
Когда доносится горячий запах
Цветов, что прежде никогда не пахли.
...Я знаю всё — годов проломы, бреши,
Крутых дорог бесчисленные петли.
Нет, человека нелегко утешить!
И всё же я скажу про дождь, про ветви.
Мы победим. За нас вся свежесть мира,
Все жилы, все побеги, все подростки,
Всё это небо синее — на вырост,
Как мальчика веселая матроска.
За нас все звуки, все цвета, все формы,
И дети, что, смеясь, кидают мячик,
И птицы изумительное горло,
И слезы простодушные рыбачек.

1939

557. 1941

Мяли танки теплые хлеба,
И горела, как свеча, изба.
Шли деревни. Не забыть вовек
Визга умирающих телег,
Как лежала девочка без ног,
Как не стало на земле дорог.
Но тогда на жадного врага
Ополчились нивы и луга,
Разъярился даже горицвет,
Дерево и то стреляло вслед,
Ночью партизанили кусты
И взлетали, как щепа, мосты,
Шли с погоста деды и отцы,
Пули подавали мертвецы,
И, косматые, как облака,
Врукопашную пошли века.
Шли солдаты бить и перебить,
Как ходили прежде молотить,
Смерть предстала им не в высоте,
А в крестьянской древней простоте,
Та, что пригорюнилась, как мать,
Та, которой нам не миновать.
Затвердело сердце у земли,
А солдаты шли, и шли, и шли,
Шла Урала темная руда,
Шли, гремя, железные стада,
Шел Смоленщины дремучий бор,
Шел глухой, зазубренный топор,
Шли пустые, тусклые поля,
Шла большая русская земля.

1942

558. УБЕЙ!

Как кровь в виске твоем стучит,
Как год в крови, как счет обид,
Как горем пьян и без вина,
И как большая тишина,
Что после пуль и после мин,
И в сто пудов, на миг один,

Как эта жизнь — не ешь, не пей
И не дыши — одно: убей!
За сжатый рот твоей жены,
За то, что годы сожжены,
За то, что нет ни сна, ни стен,
За плач детей, за крик сирен,
За то, что даже образа
Свои проплакали глаза,
За горе оскорбленных пчел,
За то, что он к тебе пришел,
За то, что ты — не ешь, не пей,
Как кровь в виске — одно: убей!

1942

559. ВОЗМЕЗДИЕ

Она лежала у моста. Хотели немцы
Ее унизить. Но была та нагота,
Как древней статуи простое совершенство,
Как целомудренной природы красота.
Ее прикрыли, понесли. И мостик шаткий
Как будто трепетал под ношей дорогой.
Бойцы остановились, молча сняли шапки.
И каждый понимал, что он теперь — другой.
На Запад шел судья. Была зима как милость,
Снега в огне и ненависти немота.
Судьба Германии в тот мутный день решилась
Над мертвой девушкой у шаткого моста.

1942

560

Наступали. А мороз был крепкий.
Пахло гарью. Дым стоял тяжелый.
И вдали горели, будто щепки,
Старые насиженные села.
Догорай, что было сердцу любо!
Хмурились и шли еще поспешней.
А от прошлого остались трубы
Да на голом дереве скворешня.
Над золою женщина сидела, —
Здесь был дом ее, родной и милый,
Здесь она любила и жалела
И на фронт отсюда проводила.

Теплый пепел. Средь пустого снега
Что она припоминала?
И какое счастье напоследок
Руки смутные отогревало?
И хотелось бить и сквернословить,
Перебить — от жалости и злобы.
А вдали как будто теплой кровью
Обливались мертвые сугробы.

1942

561. НЕНАВИСТЬ

Ненависть — в тусклый январский полдень
Лед и сгусток замершего солнца.
Лед. Под ним клокочет река.
Рот забит, говорит рука.
Нет теперь ни крыльца, ни дыма,
Ни тепла от плеча любимой,
Ни калитки, ни лая собак,
Ни тоски. Только лед и враг.
Ненависть — сердца последний холод.
Всё отошло, ушло, раскололось.
Пуля от сердца сердце найдет,
Чуть задымится розовый лед.

1942

562

Знакомые дома не те.
Пустыня затемненных улиц.
Не говори о темноте:
Мы не уснули, мы проснулись.
Избыток света в поздний час
И холод нового познанья,
Как будто третий, вещий глаз
Глядит на рухнувшие зданья.
Нет, ненависть — не слепота.
Мы видим мир, и сердцу внове
Земли родимой красота,
Средь горя, мусора и крови.

1942

563

Они накинулись, неистовы,
Могильным холодом грозя,
Но есть такое слово «выстоять»,
Когда и выстоять нельзя.
И есть душа — она всё вытерпит,
И есть земля — она одна,
Большая, добрая, сердитая,
Как кровь, тепла и солона.

1942

564

...Подходит ночь. Я вижу немца,
Как молча он ее пытал,
Как он хозяйским полотенцем
Большие руки вытирал.
И вижу я в часы ночные,
Когда смолкают голоса,
Его холодные, пустые,
Его стеклянные глаза,
Как он пошел за нею следом,
Как он задвижку повернул,
Как он спокойно пообедал
И как спокойно он уснул.
И ходит он, дома обходит,
Убьет, покурит и уснет.
Жене напишет о погоде,
Гостинцы дочери пошлет.
И, равнодушные, сухие,
Его глаза еще глядят.
И до утра не спит Россия,
И до утра бойцы не спят.
И, жадно вглядываясь в темень,
Они ведут свой счет обид,
И не один уж мертвый немец
В земле окаменелой спит.
Но говорят бойцы друг другу,
Что немец тот — еще живой,
С крестом тяжелым за заслугу,
С тяжелой тусклой головой,
В пустой избе над ржавым тазом
Он руки вытянул свои
И равнодушно рыбьим глазом
Глядит на девочку в крови.

Глаза стеклянные, пустые
Не выражают ничего.
И кажется, что вся Россия
У пулемета ждет его.

1942

565. ПРОКЛЯТИЕ

Будь ты проклята, страна разбоя,
Чтоб погасло солнце над тобою,
Чтоб с твоих полей ушли колосья,
Чтобы крот и тот тебя забросил,
Чтоб сгорела ты и чтоб ослепла,
Чтоб ты ползала на куче пепла,
Чтоб ты грызла статуи победы,
Чтоб друг друга грызли людоеды,
Чтобы с Брокена спустились ведьмы,
Чтобы эта ночь была последней.
Будь ты проклята, земля злодея,
И твой Гитлер и твои аллеи,
Чтоб ты поросла чертополохом,
Чтоб ты почернела и засохла,
Чтобы волки получили волчье,
Чтоб хлебнула ты той самой жёлчи,
Чтобы страх твою утробу выел,
Чтоб ты вспомнила тогда про Киев.

1942

566. НЕМЕЦКИЙ СОЛДАТ

Он с детства был уныл и аккуратен,
Любил порядок, опасался пятен,
Копил гроши на скудное жилье.
Ему сказали: «Ныне всё — твое».
Он убивал старательно и тупо
И дальше шел — от трупа и до трупа.
Ему была обещана земля:
Колосья, золото и соболя.
Вот он лежит, и кровь на подбородке,
А в скрюченной руке земли щепотка,
Как будто он оставить не хотел
Чужой земли обманчивый надел.

1942

567

Настанет день, скажи — неумолимо,
Когда, закончив ратные труды,
По улицам сраженного Берлина
Пройдут бойцов суровые ряды.
От злобы побежденных или лести
Своим значением ограждены,
Они ни шуткой, ни любимой песней
Не разрядят нависшей тишины.
Взглянув на эти улицы чужие,
На мишуру фасадов и оград,
Один припомнит омраченный Киев,
Другой — неукротимый Ленинград.
Нет, не забыть того, что было раньше.
И сердце скажет каждому: молчи!
Опустит руки строгий барабанщик,
И меди не коснутся трубачи.
Как тихо будет в их разбойном мире!
И только, прошлой кровью тяжелы,
Не перестанут каменных валькирий
Когтить кривые прусские орлы.

1942

568

Привели и застрелили у Днепра.
Брат был далеко. Не слышала сестра.
А в Сибири, где уж выпал первый снег,
На заре проснулся бледный человек
И сказал: «Железо у меня в груди.
Киев, Киев, если можешь, погляди!..»
— «Киев, Киев! — повторяли провода. —
Вызывает горе, говорит беда».
— «Киев, Киев!» — надрывались журавли.
И на запад эшелоны молча шли.
И от лютой человеческой тоски
Задыхались крепкие сибиряки...

1942

569

Немцы вспоминали дом и детство,
Летний дождик их до слез растрогал.
И шутил фельдфебель по-немецки,
Что детей и под капустой много.

А потом остановились немцы.
У могилы выстроились дети.
Девочка спросила тихо: «Где мы?»
Немец поглядел, но не ответил.
Девочка к груди прижала куклу —
Всё, что в жизни у нее осталось.
А фельдфебель молча поднял руку,
Опустил, и кукла закричала.
Сосчитали — было их семнадцать.
И как взрослые молчали дети.
Немец крикнул: «Время собираться!»
Мальчик поглядел и не ответил.
Ров засыпали. А птичий щебет
За сердце хватал. Дрожали листья.
Пахло лесом. И вздыхал фельдфебель,
Что давно не приходили письма.
А семнадцать под землей бездушной
Задыхались и на помощь звали,
Девочка с поломанной игрушкой,
Сероглазый и упрямый мальчик.
В землю упирались их ладони,
Мать они искали, умирая.
Люди говорили: «Это стонет
Вся земля от края и до края».
Слушай, сердце! Если ты забудешь,
Если ты простишь, не будь, не бейся!
Только бомбой, только из орудий,
Только пулей меткого гвардейца.

1942

570. МОРЯКИ ТУЛОНА

Скажи мне, приятель, мы склянки прослушали?
Мы вахту проспали? Приятель, проснись!

А рыбы глядят, как всегда равнодушные,
И рыбы не знают, что значит «проснись».

Я помню в Тулоне высокое зарево,
Как нас захлестнула большая волна.
Скажи мне скорее: где наши товарищи?
Я слезы глотаю, а соль солона.

Куда мы ушли? И хватило ли топлива?
Чужие солдаты на борт не взошли.
Любимая Франция, нами потоплены
Большие, живые твои корабли.

В Бретани — старушка. Что с матерью станется?
Глаза дорогие проплачет она.
Скажи мне, где наша любимая Франция?
Какая ее захлестнула волна?

Но вот средь густого тумана, как в саване,
Со дна подымаются все корабли.

Идем мы, приятель, в последнее плаванье.
Идем за щепоткой французской земли.
Вот пена взлетает веселыми хлопьями,
Огонь орудийный врезается в ночь,
И, голос услышав эскадры потопленной,
Чужие солдаты кидаются прочь.
А девушки нам улыбаются с берега,
И сколько цветов, не смогу я сказать.
Ты знаешь, приятель, мне как-то не верится,
Что я расцелую родимую мать.
Скажу ей: три года я плавал на «Страсбурге»,
Там много осталось хороших ребят.

А рыбы вздыхают кровавыми жабрами,
И рыбы на нас равнодушно глядят.

1942

571

Большая черная звезда.
Остановились поезда,
Остановились корабли,
Травой дороги поросли,
Молчат бульвары и сады,
Молчат унылые дрозды,
Молчит Марго, бела, как мел,
Молчит Гюго, он онемел.
Не бьют часы. Застыл фонтан.
Стоит, не двинется туман.

Но вот опять вошла зима
В пустые темные дома.
Париж измучен, ночь не спит,
В бреду он на восток глядит:
Что значат беглые огни?
Куда опять идут они?
Ты можешь жить? Я не живу.
Молчи, они идут в Москву,
Они идут за годом год,
Они берут за дотом дот,

Ты не подымешь головы —
Они уж близко от Москвы.
Прощай, Париж, прощай навек!
Далекий дым и белый снег.

Его ты белым не зови:
Он весь в огне, он весь в крови.
Гляди — они бегут назад,
Гляди — они в снегу лежат.

Пылает море серых крыш,
И на заре горит Париж,
Как будто холод тех могил
Его согрел и оживил.

Я вижу свет и снег в крови.
Я буду жить. И ты живи.

1942

572. КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Было много светлых комнат,
А теперь темно,
Потому что может бомба
Залететь в окно.
Но на крыше три зенитки
И большой снаряд,
А шары на тонкой нитке
Выстроились в ряд.
Спи, мой мальчик, спи, любимец!
На дворе война.
У войны один гостинец —
Сон и тишина.
По дороге ходит ирод,
Немец и кощей,
Хочет он могилу вырыть,
Закопать детей;
Немец вытянул ручищи,
Смотрит, как змея,
Он твои игрушки ищет,
Ищет он тебя.
Если ночью все уснули,
Твой отец не спит,
У отца для немца пули,
Он не проглядит,
На посту стоит, не дышит,
Ночи напролет,
Он и писем нам не пишет
Вот уж скоро год.

Он стоит, не спит ночами
За дитя свое,
У него на сердце камень,
А в руке ружье.
Спи, мой мальчик, спи, любимец!
На дворе война.
У войны один гостинец —
Сон и тишина.

1942

573

Так ждать, чтоб даже память вымерла,
Чтоб стал непроходимым день,
Чтоб умирать при милом имени
И догонять чужую тень,
Чтоб не довериться и зеркалу,
Чтоб от подушки утаить,
Чтоб свет своей любви и верности
Зарыть, запрятать, затемнить,
Чтоб пальцы невзначай не хрустнули,
Чтоб вздох и тот зажать в руке.
Так ждать, чтоб, мертвый, он почувствовал
Горячий ветер на щеке.

1942

574

Он пригорюнится, притулится,
Свернет, закурит и вздохнет,
Что есть одна такая улица,
А улицы не назовет.
Врага он встретит у обочины.
А вдруг откажет пулемет,
Он скажет: «Жить кому не хочется» —
И сам с гранатой поползет.

1942

575

Когда закончен бой, присев на камень,
В грязи, в поту, измученный солдат
Глядит еще незрячими глазами
И другу отвечает невпопад.
Он, может быть, и закурить попросит,
Но не закурит, а махнет рукой.

Какие жал он трудные колосья,
И где ему почудился покой?
Он с недоверьем оглядит избушки
Давно ему знакомого села.
И, невзначай рукой щеки коснувшись,
Он вздрогнет от внезапного тепла.

1942

576

На небо зенитки смотрят зорко,
А весна — весной, грачи — грачами.
Девушка в линялой гимнастерке
С яркими зелеными зрачками.
Покричала, поворчала пушка
И замолкла. Тишина какая!
Только долгий счет ведет кукушка
И, сбиваясь, снова начинает.
Девушка про счастье загадала,
Сколько жить ей — много или мало.
И зенитки на небо смотрели.
А кукушка просто куковала,
И деревья просто зеленели.

1942

577

С ручной гранатой иль у пушки,
Иль в диком конников строю
Он слышит, как услышал Пушкин:
«Есть упоение в бою».
Он знает всё. Спокойно целясь,
Он к смерти запросто готов.
Но для него всё та же прелесть
В звучании далеких слов,
И, смутным гулом русской речи
Как бы наполнен до краев,
Он смерти кинется навстречу
И не почувствует ее.

1942

578

Когда враждебным небо стало,
Нарисовали мы дома,
Прикрыли зеленью каналы
И даже смерть свели с ума.
Кто вырастил густые рощи,
Кто город весь перевернул,

Кто превратил пустую площадь
В какой-то сказочный аул?
Не так ли ночью перед боем
Полуразбуженный солдат
Преображает всё былое
В один необозримый сад,
Чтоб не было того, что было,
Чтоб за минуту до конца
Зеленая листва прикрыла
Черты любимого лица.

1942

579. РОМАНС

Коптилка в землянке укромной
Чуть светится ночи назло.
Ты знаешь, коптилка, я помню,
Как было на свете светло.
Выходишь на улицу ночью,
Повсюду горят фонари,
И если гулять ты захочешь,
Гуляй хоть до самой зари.
Напали проклятые немцы.
Простился я с ней на крыльце,
И крупные слезы, как жемчуг,
Сверкали на милом лице.
Землянка моя неприметна,
И мраком одета земля.
Осталась от прежнего света
Одна ты, коптилка моя.
Я немцу пощады не знаю
За то, что на свете темно,
За то, что в ночи не мерцает
Одно дорогое окно.
Когда мы проклятых прогоним,
Домой поспешу я скорей,
Глаза я прикрою ладонью,
Увидев ряды фонарей.
Скажу я любимой про доты,
Про мины скажу, про войну,
А может быть, слов не найдется
И только в глаза загляну.
И будет в глазах ее милых
Знакомый мерцающий свет.
Я вспомню тогда про коптилку,
Подругу неласковых лет.

1942

580

Зайдешь к танкистам, и в чужой землянке
Сосед про то, про се поговорит,
А после вспомнит о подбитом танке
И на тебя украдкой поглядит.
В его глазах тогда не отразятся
Огни повисших вдалеке ракет,
Но ты увидишь боевого братства
Рассеянный и вдохновенный свет.
Ты всё поймешь — тот взгляд слова заменит,
И, вглядываясь в голубую тьму,
Ты улыбнешься незнакомой тени,
Как ты не улыбался никому.

1942

581

Был лютый мороз. Молодые солдаты
Любимого друга по полю несли.
Молчали. И долго стучали лопаты
В упрямое сердце промерзшей земли.
Скажи мне, товарищ... Словами не скажешь,
А были слова — потерял на войне.
Ружейный салют был печален и важен
В холодной, в суровой, в пустой тишине.
Могилу прикрыли. А ночью — в атаку.
Боялись они оглянуться назад.
Но кто там шагает? Друзьями оплакан,
Своих земляков догоняет солдат.
Он вместе с другими бросает гранаты,
А если залягут, он крикнет «ура»,
И место ему оставляют солдаты,
Усевшись вокруг золотого костра.
Его не увидеть. Повестку о смерти
Давно получили в далеком краю.
Но разве уступит солдатское сердце
И дружба, рожденная в трудном бою?

1942

582

Бывала в доме, где лежал усопший,
Такая тишина, что выли псы,
Испуганная, в мыле билась лошадь,
И слышно было, как идут часы.

Там на кровати, чересчур громоздкой,
Торжественно покойник почивал,
И горе молча отмечалось воском
Да слепотой завешенных зеркал.

В пригожий день, среди кустов душистых,
Когда бы человеку жить и жить,
Я увидал убитого связиста, —
Он всё еще сжимал стальную нить,
В глазах была привычная забота,
Как будто, мертвый, опоздать боясь,
Он торопливо спрашивал кого-то,
Налажена ли прерванная связь.
Не знали мы, откуда друг наш смелый,
Кто ждет его в далеком городке,
Но жизнь его дышала и гудела,
Как провод в холодеющей руке.
Быть может, здесь, в самозабвенье сердца,
В солдатской незагаданной судьбе,
Таится то высокое бессмертье,
Которое мерещилось тебе?

1942

583

Я помню — был Париж. Краснели розы
Под газом в затуманенном окне,
Как рана. Нимфа мраморная мерзла.
Я шел и смутно думал о войне.
Мой век был шумным, люди быстро гасли.
А выпадала тихая весна —
Она пугала видимостью счастья,
Как на войне пугает тишина.
И снова бой. И снова пулеметчик
Лежит у погоревшего жилья.
Быть может, это всё еще хлопочет
Ограбленная молодость моя?
Я верен темной и сухой обиде,
Ее не позабыть мне никогда,
Но я хочу, чтоб юноша увидел
Простые и счастливые года.
Победа — не гранит, не мрамор светлый, —
В грязи, в крови, озябшая сестра,
Она придет и сядет незаметно
У бледного погасшего костра.

1942

584

Была трава, как раб, распластана,
Сияла кроткая роса,
И кровлю променяла ласточка
На ласковые небеса,
И только ты, большое дерево,
Осталось на своем посту —
Солдат, которому доверили
Прикрыть собою высоту,
И были ветки в муке скрещены,
Когда огонь тебя подсек,
И умирало ты торжественно,
Как умирает человек.

1945

585. ЕВРОПА

Летучая звезда, и моря ропот,
Вся в пене, розовая, как заря,
Горячая, как сгусток янтаря,
Среди олив и дикого укропа,
Вся в пепле, роза поздняя раскопок,
Моя любовь, моя Европа!
Я исходил петлистые дороги
Твои, твое глубокое вчера,
С той пылью, что старее серебра.
Я знаю теплые твои берлоги,
Твои сиреневые вечера
И глину под ладонью гончара.
Надышанная тихая обитель,
Больших веков душистый сеновал.
Горшечник твой, как некогда Пракситель,
Брал горсть земли и жизнь в нее вдувал.
Был в Лувре небольшой невзрачный зал.
Безрукая доверчиво, по-женски,
Напоминала всем о красоте.

И плакал перед нею Глеб Успенский,
А Гейне знал, что все слова — не те.
В Париже, средь машин, по-деревенски
Шли козы. И свирель впивалась в день.
Был воздух зацелованной святыней.
И мастерицы простодушной тень
По скверу проходила, как богиня.
Твои черты я узнаю в пустыне,
Горячий камень дивного гнезда,
Средь серы, средь огня, в чаду потопа,
Летучая зеленая звезда,
Моя звезда, моя Европа!

586. В БЕЛОРУССИИ

Мы молчали. Путь на запад шел,
Мимо мертвых догоравших сел,
И лежала голая земля,
Головнями тихо шевеля.
Я запомню, как последний дар,
Этот сердце леденящий жар,
Эту ночь, похожую на день,
И средь пепла брошенную тень.
Запах гари едок, как беда,
Не отвяжется он никогда,
Он со мной, как пепел деревень,
Как белесая, больная тень,
Как огрызок вымершей луны
Средь чужой и новой тишины.

1943

587

Было в слове «русский» столько доброты,
Столько русой, грустной, чудной простоты.
Снег слезами обливался. Помним мы
Все проталины отходчивой зимы.
А теперь и у доверчивых берез,
Если сердце есть, ты не отыщешь слез.
Славы и беды холодная ладонь
В эту зиму обжигает, как огонь.

1943

588

Слов мы боимся, и всё же прощай.
Если судьба нас сведет невзначай,
Может, не сразу узнаю я, кто
Серый прохожий в дорожном пальто,
Сердце подскажет, что ты — это тот,
Сорок второй и единственный год.
Ржев догорал. Мы стояли с тобой,
Смерть примеряли. И начался бой...
Странно устроен любой человек:
Страстно клянется, что любит навек,
И забывает, когда и кому...
Но не изменит и он одному:
Слову скупому, горячей руке,
Ржевскому лесу и ржевской тоске.

1944

589. БАБИЙ ЯР

К чему слова и что перо,
Когда на сердце этот камень,
Когда, как каторжник ядро,
Я волочу чужую память?
Я жил когда-то в городах,
И были мне живые милы,
Теперь на тусклых пустырях
Я должен разрывать могилы,
Теперь мне каждый яр знаком,
И каждый яр теперь мне дом.
Я этой женщины любимой
Когда-то руки целовал,
Хотя, когда я был с живыми,
Я этой женщины не знал.
Мое дитя! Мои румяна!
Моя несметная родня!
Я слышу, как из каждой ямы
Вы окликаете меня.
Мы понатужимся и встанем,
Костями застучим — туда,
Где дышат хлебом и духами
Еще живые города.
Задуйте свет. Спустите флаги.
Мы к вам пришли. Не мы — овраги.

1944

590. В ГЕТТО

В это гетто люди не придут.
Люди были где-то. Ямы тут.
Где-то и теперь несутся дни.
Ты не жди ответа — мы одни,
Потому что у тебя беда,
Потому что на тебе звезда,
Потому что твой отец другой,
Потому что у других покой.

1944

591

За то, что зной полуденной Эсфири,
Как горечь померанца, как мечту,
Мы сохранили и в холодном мире,
Где птицы застывают на лету,
За то, что нами говорит тревога,
За то, что с нами водится луна,
За то, что есть петлистая дорога
И что слеза не в меру солона,
Что наших девушек отличен волос,
Не те глаза и выговор не тот, —
Нас больше нет. Остался только холод.
Трава кусается, и камень жжет.

1944

592

Есть время камни собирать,
И время есть, чтоб их кидать.
Я изучил все времена,
Я говорил: на то война,
Я камни на себе таскал,
Я их от сердца отрывал,
И стали дни еще темней
От всех раскиданных камней.
Зачем же ты киваешь мне
Над той воронкой в стороне,
Не резонер и не пророк,
Простой дурашливый цветок?

1943

593

Запомни этот ров. Ты всё узнал:
И города сожженного оскал,
И черный рот убитого младенца,
И ржавое от крови полотенце.
Молчи — словами не смягчить беды.
Ты хочешь пить, но не ищи воды.
Тебе даны не воск, не мрамор. Помни —
Ты в этом мире всех бродяг бездомней.
Не обольстись цветком: и он в крови.
Ты видел всё. Запомни и живи.

1943

594

Светлое поле. Вечер был светел.
В поле лежали мертвые дети.
Ветер метался, сердца бездомней.
Ветер улегся, ветер не помнит.
Камни забыли, как их дробили,
Камни не знают, кто здесь в могиле.
Нет, не бессмертье, не мрамор, не камень,
Дай мне другое — горькую память,
Чтоб, умирая, снова увидеть
Светлое поле в черной обиде!

1945

595

Скажи — здесь тоже жизнь была,
Дома в горячей зелени?
Молчат и небо, и зола,
И картузы расстрелянных.
И лишь повешенный, суров,
Как некий важный маятник,
Отмеривая ход часов,
Без устали качается.

1943

596

Белеют мазанки. Хотели сжечь их,
Но не успели. Вечер. Дети. Смех.
Был бой за хутор, и один разведчик
Остался на снегу. Вдали от всех

Он как бы спит. Не бьется больше сердце.
Он долго шел — он к тем огням спешил.
И если не дано уйти от смерти,
Он, умирая, смерть опередил.

1943

597. СТАТУЯ АФРОДИТЫ

Он много знал, во имя Бога
Он суетных богов ломал,
И всё же он душою дрогнул,
Когда тот мрамор увидал.
Не знаю, девкой деревенской
Иль домыслом она была
И чья догадка совершенство
Из глыбы камня родила,
Но плакал, как дитя, апостол,
Что слишком поздно увидал,
Зачем он был на землю послан
И по какой земле ступал.
Давно тот след на камне стерся.
И падал снег, и таял снег.
Но вижу я — к тому же торсу
В тоске подходит человек,
И та же красота земная
Вдруг открывается ему,
И смутно слезы он роняет,
Не понимая почему.

1945

598

Был час один — душа ослабла.
Я видел Глухова сады
И срубленных врагами яблонь
Уже посмертные плоды.
Дрожали листья. Было пусто.
Мы постояли и ушли.
Прости, великое искусство,
Мы и тебя не сберегли!

1943

599

Гляжу на снег, а в голове одно:
Ведь это — день, а до чего темно!
И солнце зимнее, оно на час,
Торопится — глядишь, и день погас.
Под деревом солдат. Он шел с утра.
Зачем он здесь? Ему идти пора.
Он не уйдет. Прошли давно войска,
И день прошел. Но не пройдет тоска.

1943

600

Когда я был молод, была уж война,
Я жизнь свою прожил — и снова война.
Я всё же запомнил из жизни той громкой
Не музыку марша, не грозы, не бомбы,
А где-то в рыбацком селенье глухом
К скале прилепившийся маленький дом.
В том доме матрос расставался с хозяйкой,
И грустные руки метались, как чайки.
И годы, и годы мерещатся мне
Всё те же две тени на белой стене.

1945

601

Я смутно жил и неуверенно,
И говорил я о другом,
Но помню я большое дерево,
Чернильное на голубом,
И помню милую мне женщину, —
Не знаю, мало ль было сил,
Но суеверно и застенчиво
Я руку взял и опустил.
И всё давным-давно потеряно,
И даже нет следа обид,
И только где-то то же дерево
Еще по-прежнему стоит.

1945

602

Ты говоришь, что я замолк,
И с ревностью, и с укоризной.
Париж не лес, и я не волк,
Но жизнь не вычеркнешь из жизни.
А жил я там, где, сер и сед,
Подобен каменному бору,
И голубой и в пепле лет,
Стоит, шумит великий город.
Там даже счастье нипочем,
От слова там легко и больно,
И там с шарманкой под окном
И плачет и смеется вольность.
Прости, что жил я в том лесу,
Что всё я пережил и выжил,
Что до могилы донесу
Большие сумерки Парижа.

1945

603

Были липы, люди, купола.
Мусор. Битое стекло. Зола.
Но смотри — среди разбитых плит
Уж младенец выполз и сидит,
И сжимает слабая рука
Горсть сырого теплого песка.
Что он вылепит? Какие сны?
А года чернеют, сожжены...
Вот и вечер. Нам идти пора.
Грустная и страстная игра.

1943

604

Было в жизни мало резеды,
Много крови, пепла и беды.
Я не жалуюсь на свой удел,
Я бы только увидать хотел
День один, обыкновенный день,
Чтобы дерева густая тень
Ничего не значила, темна,
Кроме лета, тишины и сна.

1943

605

Чужое горе — оно как овод:
Ты отмахнешься, и сядет снова,
Захочешь выйти, а выйти поздно,
Оно — горячий и мокрый воздух,
И, как ни дышишь, всё так же душно,
Оно не слышит, оно — кликуша,
Оно приходит и ночью ноет,
А что с ним делать — оно чужое.

1945

606

Мне было многое знакомо
И стало сердцу дорогим,
Но не было на свете дома,
Который бы назвал своим.
И только в час глухой и злобный,
Когда горела вся земля,
Я дверь одну ревниво обнял,
Как будто это дверь — моя.
И дым глаза мне ночью выел,
Но я не опустил руки,
Чтоб дети, не мои — чужие,
Играли утром у реки.

1945

607

Ракеты салютов. Чем небо черней,
Тем больше в них страсти растерзанных дней.
Летят и сгорают. А небо черно.
И если себя пережить не дано,
То ты на минуту чужие пути,
Как эта ракета, собой освети.

1944

608—611. В ФЕВРАЛЕ 1945

1

Будет солнце в тот день, или дождь, или снег,
Тишина удивит, к ней придет человек.
Тишиной начинается всё, как во сне,
Человек возвращается вновь к тишине.
О, победы последней салют! Не слова,
Нам расскажут о счастье вода и трава,
Не орудья отметят сражений конец,
А биение крохотных птичьих сердец.
Мы услышим, как тихо летит мотылек,
Если ветер улегся и вечер далек.

2

День придет, и славок громкий хор
Хорошо прославит птичий вздор,
И, смеясь, наденет стрекоза
Выходные яркие глаза.
Будут снова небеса для птиц,
А Медынь для звонких медуниц,
Будут только те затемнены,
У кого луна и без луны,
Будут руки, чтобы обнимать,
Будут губы, чтобы целовать,
Даже ветер, почитав стихи,
Заночует у своей ольхи.

3

Мне снился мир, и я не мог понять, —
Он и во сне казался мне ошибкой:
Был серый день, и на ребенка мать
Глядела с неуверенной улыбкой,
А дождь не знал, идти ему иль нет,
Выглядывало солнце на минуту,
И ветки плакали — за много лет,
И было в этом счастье столько смуты,
Что всех пугал и скрип, и смех, и шаг,
Застывшие не улетали птицы,
Притихло всё. А сердце билось так,
Что и во сне могло остановиться.

4

Прошу не для себя, для тех,
Кто жил в крови, кто дольше всех
Не слышал ни любви, ни скрипок,
Ни роз не видел, ни зеркал,
Под кем и пол в сенях не скрипнул,
Кого и сон не окликал, —
Прошу для тех — и цвет, и щебет,
Чтоб было звонко и пестро,
Чтоб, умирая, день, как лебедь,
Ронял из горла серебро, —
Прошу до слез, до безрассудства,
Дойдя, войдя и перейдя,
Немного смутного искусства
За легким пологом дождя.

1945

612

Мир велик, а перед самой смертью
Остается только эта горстка,
Теплая и темная, как сердце,
Хоть ее и называли черствой,
Горсть земли, похожей на другую, —
Сколько в ней любви и суеверья!
О такой и на небе тоскуют,
И в такую до могилы верят,
За такую, что дороже рая,
За лужайку, дерево, болотце,
Ничего не видя, умирают
В час, когда и птица не проснется.

1944

613

За что он погиб? Он тебе не ответит.
А если услышишь, подумаешь — ветер.
За то, что здесь ярче густая трава,
За то, что ты плачешь и, значит, жива,
За то, что есть дерева грустного шелест,
За то, что есть смутная русская прелесть,
За то, что четыре угла у земли,
И сколько ни шли бы, куда бы ни шли,
Есть, может быть, лучше, красивей, богаче,
Но нет вот такой, над которой ты плачешь.

1945

614. ЛЕНИНГРАД

Есть в Ленинграде, кроме неба и Невы,
Простора площадей, разросшейся листвы,
И кроме статуй, и мостов, и снов державы,
И кроме незакрывшейся, как рана, славы,
Которая проходит ночью по проспектам,
Почти незримая, из серебра и пепла, —
Есть в Ленинграде жесткие глаза и та,
Для прошлого загадочная, немота,
Тот горько сжатый рот, те обручи на сердце,
Что, может быть, одни спасли его от смерти.
И если ты — гранит, учись у глаз горячих:
Они сухи, сухи, когда и камни плачут.

1945

615—617. В МАЕ 1945

1

Когда она пришла в наш город,
Мы растерялись. Столько ждать,
Ловить душою каждый шорох
И этих залпов не узнать.
И было столько муки прежней,
Ночей и дней такой клубок,
Что даже крохотный подснежник
В то утро расцвести не смог.
И только — видел я — ребенок
В ладоши хлопал и кричал,
Как будто он, невинный, понял,
Какую гостью увидал.

2

О них когда-то горевал поэт:
Они друг друга долго ожидали,
А встретившись, друг друга не узнали
На небесах, где горя больше нет.
Но не в раю, на том земном просторе,
Где шаг ступи — и горе, горе, горе,
Я ждал ее, как можно ждать любя,
Я знал ее, как можно знать себя,
Я звал ее в крови, в грязи, в печали.
И час настал — закончилась война.
Я шел домой. Навстречу шла она.
И мы друг друга не узнали.

3

Она была в линялой гимнастерке,
И ноги были до крови натерты.
Она пришла и постучалась в дом.
Открыла мать. Был стол накрыт к обеду.
«Твой сын служил со мной в полку одном,
И я пришла. Меня зовут Победа».
Был черный хлеб белее белых дней,
И слезы были соли солоней.
Все сто столиц кричали вдалеке,
В ладоши хлопали и танцевали.
И только в тихом русском городке
Две женщины как мертвые молчали.

1945

618

Умру — вы вспомните газеты шорох,
Проклятый год, который всем нам дорог.
А я хочу, чтоб голос мой замолкший
Напомнил вам не только гром у Волги,
Но и деревьев еле слышный шелест,
Зеленую таинственную прелесть.
Я с ними жил, я слышал их рассказы,
Каштаны милые, оливы, вязы —
То не ландшафт, не фон и не убранство;
Есть в дереве судьба и постоянство,
Уйду — они останутся на страже,
Я начал говорить — они доскажут.

1945

619. ФРАНЦУЗСКАЯ ПЕСНЯ

Свободу не подарят,
Свободу надо взять.
Свисти скорей, товарищ,
Нам время воевать.
Мы жить с тобой бы рады,
Но наш удел таков,
Что умереть нам надо
До первых петухов.
Нас горю не состарить,
Любви не отозвать.
Свисти скорей, товарищ,
Нам время воевать.
Другие встретят солнце
И будут петь и пить,
И, может быть, не вспомнят,
Как нам хотелось жить.

1946

620

«Во Францию два гренадера...»
Я их, если встречу, верну.
Зачем только черт меня дернул
Влюбиться в чужую страну?
Уж нет гренадеров в помине,
И песни другие в ходу,
И я не француз на чужбине, —
От этой земли не уйду,
Мне всё здесь знакомо до дрожи,
Я к каждой тропинке привык,
И всех языков мне дороже
С младенчества внятный язык.
Но вдруг замолкают все споры,
И я — это только в бреду, —
Как два усача гренадера,
На запад далекий бреду,

И всё, что знавал я когда-то,
Встает, будто было вчера,
И красное солнце заката
Не хочет уйти до утра.

1947

621

К вечеру улегся ветер резкий,
Он залег в тенистом перелеске,
Уверяли галки очень колко,
Что растет там молодая елка.
Он играл с ее колючей хвоей,
Говорил: «На свете есть другое,
А не только эти елки-палки,
А не только глупенькие галки»,
Говорил, что он бывал на Тибре,
Танцевал с нарядными колибри,
Обнимал высокую агаву,
Но нашлась и на него управа.
Отвечала молодая елка:
«Я в таких речах не вижу толка,
С вами я почти что незнакома,
Нет у вас ни адреса, ни дома,
Может, по миру гулять просторней,
Но стыдитесь — у меня есть корни,
Я стою здесь с самого начала,
Как моя прабабушка стояла.
Я не мельница. Зачем мне ветер?
У меня, наверно, будут дети.
На мои портреты ротозеи
Смотрят в краеведческом музее».
Вздрогнули деревья на рассвете —
Это поднялся внезапно ветер,
И завыла на цепи собака
Оттого, что ветер выл и плакал,
Оттого, что без цепи привольно,
Оттого, что даже ветру больно.

1948

622

Был тихий день обычной осени.
Я мог писать иль не писать:
Никто уж в сердце не запросится,
И тише тишь, и глаже гладь.

Деревья голые и черные —
На то глаза, на то окно, —
Как не моих догадок формулы,
А всё разгадано давно.
И вдруг, порывом ветра вспугнуты,
Взлетели мертвые листы,
Давно истоптаны, поруганы,
И всё же, как любовь, чисты,
Большие, желтые и рыжие
И даже с зеленью смешной,
Они не дожили, но выжили
И мечутся передо мной.
Но можно ль быть такими чистыми?
А что ни слово — невпопад.
Они живут, но не написаны,
Они взлетели, но молчат.

1957

623

Ошибся — нужно повторить:
Ребенка учат говорить.
К чему леса? К чему трава?
Пред ним дремучие слова,
И он в руке зажать готов
Добычу дня — охапку слов.
До смерти их не перечесть.
А попугай — тот любит есть,
А водолей — тот воду льет,
И человек средь слов живет.
Кто открывал, и кто крестил,
И кто кого когда любил?
Ведь он не нов, ведь он готов,
Уютный мир заемных слов.
Лишь через много-много лет,
Когда пора давать ответ,
Мы разгребаем груду слов —
Ведь мир другой, он не таков.
Слова швыряем мы в окно
И с ними славу заодно.
Как ни хвали, как ни пугай,
Молчит облезший попугай, —
Слова ушли, как сор, как дым,
Он хочет умереть немым.

1957

624

Есть надоедливая вдоволь повесть,
Как плачет человеческая совесть.
Она особенно скулит средь ночи,
Когда никто с ней говорить не хочет,
Когда подсчитаны давно балансы
И оттанцованы и сны и танцы,
Когда глаза, в которых жизнь поблекла,
Похожи на замызганные стекла
Большого недостроенного дома,
Где всё необжито и всё знакомо.
Она скулит, что день напрасно прожит
И что никто не лезет вон из кожи,
Что убивают лихо изуверы
И что вздыхают тихо маловеры,
Что никому сегодня неохота
Примерить шлем дурацкий Дон Кихота,
Что классиков неоспоримо слово,
Дубасят ведь не мертвого — живого.
Она скулит от жалости и страха,
Как на цепи дворовая собака.
Она скулит, никто ее не слышит —
Ни ангелы, ни близкие, ни мыши.
Да что тут слушать? Плачет, и не жалко.
Да что тут слушать? Есть своя смекалка.
Да что тут слушать? Это ведь не дело.
И это всем смертельно надоело.

1957

625

Я не знаю, тигра мучают ли тигры,
Обижают выдру ль царственные выдры,
Хочется ль верблюду друга опорочить,
Шепчутся ли карпы средь тревожной ночи,
Носят ли сороки домыслы и толки,
Пишут ли доносы с голодухи волки,
На далеком Марсе есть ли тоже люди,
С кем они воюют, как рядят и судят,
В гроб кладут ли мертвых, и верна ль до гроба
Друга-марсианца клевета и злоба?
Знаю, на любимой, на моей планете
Жизни доверяют крохотные дети.
Просвещают в школе, обучают речи,
Взвешивают, холят, заболеет — лечат.

А потом тихонько или очень громко
Тонкая веревка, атомная бомба.
Можно и без бомбы, ведь бывает всяко,
Умирают дома от простого рака.
Пусть живет бедняга, жить, конечно, лучше.
А пока не умер, можно и помучить.
О любви и братстве произносят речи,
Утром обнимают, вечером клевещут.
Позвонят, что умер, — век его недолог —
Вспомнят, продиктуют маленький некролог,
Скажут о почившем ласковое слово
И помчатся быстро добивать живого.

1957

626

Есть в севере чрезмерность, человеку
Она невыносима, но сродни —
И торопливость летнего рассвета,
И декабря огрызки, а не дни,
И сада вид, когда приходит осень:
Едва цветы успели расцвести,
Их заморозки скручивают, косят,
А ветер ухмыляется, свистит,
И только в пестроте листвы кричащей,
Календарю и кумушкам назло,
Горит последнее большое счастье,
Что сдуру, курам на смех, расцвело.

1957

627

Я смутно помню шумный перекресток,
Как змей клубок, петлистые пути.
Я выбрал свой, и всё казалось просто:
Коль цель видна, не сбиться и дойти.
Одна судьба — не две — у человека,
И как дорогу ту ни назови,
Я верен тем, с которыми полвека
Шагал я по грязи и по крови.
Один косился на другого, мучил
Молчанием, томила сердце тень,
Что рядом шла — не друг и не попутчик,
А только тень.
Ни зелень деревень,
Ни птицы крик нам не несли отрады.

Страшнее переходов был привал.
Порой один, чуть покачнувшись, падал,
Всё дальше шли, он молча умирал.
Но, кажется, и в час предсмертной стужи,
Когда пойму — мне больше не идти,
Нахлынет нежность, сердце скрутит ужас
При памяти о пройденном пути.

1957

628. ДОЖДЬ В НАГАСАКИ

Дождь в Нагасаки бродит, разбужен, рассержен.
Куклу слепую девочка в ужасе держит.
Дождь этот лишний, деревья ему не рады,
Вишня в цвету, цветы уже начали падать.
Дождь этот с пеплом, в нем тихой смерти заправка,
Кукла ослепла, ослепнет девочка завтра,
Будет отравой доска для детского гроба,
Будет приправой тоска и долгая злоба,
Злоба — как дождь, нельзя от нее укрыться,
Рыбы сходят с ума, наземь падают птицы.
Голуби скоро начнут, как вороны, каркать,
Будут кусаться и выть молчальники карпы,
Будут вгрызаться в людей цветы полевые,
Воздух вопьется в грудь, сердце высосет, выест.
Злобу не в силах терпеть, как дождь, Нагасаки.
Мы не дадим умереть тебе, Нагасаки!
Дети в далеких, в зеленых и тихих скверах, —
Здесь не о вере, не с верой, не против веры,
Здесь о другом — о простой человеческой жизни.
Дождь перейдет, на вишни он больше не брызнет.

1957

629. ТОВАРИЩАМ

В любой трущобе, где и камню больно,
В Калькутте душной, в чопорном Стокгольме,
В японском домике, пустом от страха,
Глухой в Нью-Йорке и на ощупь в шахте,
У Миссисипи, где и снам не выжить,
В заласканном, заплаканном Париже,
И в брюхе птицы, прорезавшей небо, —
Все сорок лет — когда бы, с кем бы, где бы —
Я вижу их, я узнаю их сразу,
Не по затверженным знакомым фразам,

По множеству примет, едва заметных,
По хмурости и по усмешке светлой,
По мужеству, по гордости, по горю,
Которых не унять, не переспорить,
И по тому, как промолчат о главном,
Как через силу выговорят «ладно»,
Как не расскажут про беду и смуту
И как доверчиво пожмут мне руку.
Я с ними в сговоре — мы вместе жили,
В одно мы верили, одно любили,
И пуд мы съели — не по нашей воле —
Такой соленой, что не скажешь, соли.
Суровый, деловой и всё же нежный
Огромный заговор одной надежды.

1957

630. СПУТНИК

Есть нечто милое в самом том слове
С далеких, незапамятных времен,
Хоть многим кажется, что это — внове,
Хоть ошарашен мир и окрылен.
Не знаю, догадаются, поймут ли,
Увидев искру в голубой дали,
Какой невидимый и близкий спутник
Уж сорок лет кружит вокруг Земли.
В глухую осень из российской пущи,
Средь холода и грусти волостей,
Он был в пустые небеса запущен
Надеждой исстрадавшихся людей.
Ему орбиты были незнакомы,
Он оживал в часы сухой тоски,
О нем не говорили астрономы,
За ним следили только бедняки.
Что испытал он, в спехе пролетая,
Запущен рано, нестерпимо нов,
Над горем стародавнего Китая,
Над голодом бразильских пастухов?
Его боялись на допросе выдать,
Он был судим, и был он осужден.
Я помню — пролетал он над Мадридом,
И люди улыбались: это — он!
Он осветил последние минуты
Заложников, он мчался вкруг Земли,
Его видали тени Равенсбрука,

Индийцы разговоры с ним вели.
Он вспыхивал и пропадал надолго,
Никто его путей не объявлял,
Но в смертный час над потрясенной Волгой
Он будущее мира отстоял.
Его не признавали: «Это — опыт»,
В сердцах твердили: «Это — русских дурь»,
Пока не увидали в телескопы
Его кружение средь звездных бурь.
Не знаю, догадаются, поймут ли...
Он сорок лет бушует надо мной,
Моих надежд, моей тревоги спутник,
Немыслимый, далекий и родной.

1957

631

Был пятый час среди январских сумерек.
На улице большой и незнакомой
Она бумажку вынула из сумочки, —
Быть может, позабыла номер дома,
А может, просто улыбнулась почерку
Измятой, зацелованной записки.
Где друг ее, в какой далекой области?
Иль, может быть, спешила на свиданье?
Но губы дрогнули, и, будто облако,
Взлетело к небу легкое дыханье.
Когда мы говорим на громких сборищах
Про ненависть, про бомбы и про стронций,
Когда слова, в которых столько горечи,
Горячим пеплом заслоняют солнце,
Я вспоминаю улицу морозную
И облако у каменного зданья,
Огромный мир с бесчисленными звездами
И крохотное, слабое дыханье.

1958

632. ВЕРНОСТЬ

Жизнь широка и пестра.
Вера — очки и шоры.
Вера двигает горы,
Я — человек, не гора,
Вера мне не сестра.
Видел я камень серый,
Стертый трепетом губ.

Мертвого будит вера.
Я — человек, не труп.
Видел, как люди слепли,
Видел, как жили в пекле,
Видел — билась земля,
Видел я небо в пепле,
Вере не верю я.
Скверно? Скажи, что скверно.
Верно? Скажи, что верно.
Не похвальбе, не мольбе,
Верю тебе лишь, Верность,
Веку, людям, судьбе.
Если терпеть, без сказки,
Спросят — прямо ответь,
Если к столбу, без повязки, —
Верность умеет смотреть.

1958

633. САМЫЙ ВЕРНЫЙ

Я не знал, что дважды два — четыре,
И учитель двойку мне поставил.
А потом я оказался в мире
Всевозможных непреложных правил.
Правила менялись, только бойко,
С той же снисходительной улыбкой,
Неизменно ставили мне двойку
За допущенную вновь ошибку.
Не был я учеником примерным
И не стал с годами безупречным,
Из апостолов Фома Неверный
Кажется мне самым человечным.
Услыхав, он не поверил просто —
Мало ли рассказывают басен?
И, наверно, не один апостол
Говорил, что он весьма опасен.
Может, был Фома тяжелодумом,
Но, подумав, он за дело брался,
Говорил он только то, что думал,
И от слов своих не отступался.
Жизнь он мерил собственною меркой,
Были у него свои скрижали.
Уж не потому ль, что он «неверный»,
Он молчал, когда его пытали?

1958

634

Да разве могут дети юга,
Где розы плещут в декабре,
Где не разыщешь слова «вьюга»
Ни в памяти, ни в словаре,
Да разве там, где небо сине
И не слиняет ни на час,
Где испокон веков поныне
Всё то же лето тешит глаз,
Да разве им хоть так, хоть вкратце,
Хоть на минуту, хоть во сне,
Хоть ненароком догадаться,
Что значит думать о весне,
Что значит в мартовские стужи,
Когда отчаянье берет,
Всё ждать и ждать, как неуклюже
Зашевелится грузный лед.
А мы такие зимы знали,
Вжились в такие холода,
Что даже не было печали,
Но только гордость и беда.
И в крепкой, ледяной обиде,
Сухой пургой ослеплены,
Мы видели, уже не видя,
Глаза зеленые весны.

1958

635

Вчера казалась высохшей река,
В ней женщины лениво полоскали
Белье. Вода не двигалась. И облака,
Как простыни распластаны, лежали
На самой глади. Посреди реки
Дремали одуревшие коровы.
Баржа спала. Рыжели островки,
Как поплавки лентяя рыболова.
Вдруг началось. Сошла ль река с ума?
Прошла ль гроза? Иль ей гроза приснилась?
Но рвется прочь. Земля, поля, дома —
Всё отдано теперь воде на милость.
Бывает — жизнь мельчает. О судьбе
Не говори — ты в выборе свободен.
И если есть судьба, она в тебе —
И эти отмели и половодье.

1958

636. В ГРЕЦИИ

Не помню я про ход резца —
Какой руки, какого века, —
Мне не забыть того лица,
Любви и муки человека.
А кто он? Возмущенный раб?
Иль неуступчивый философ,
Которого травил сатрап
За прямоту его вопросов?
А может, он бесславно жил,
Но мастер не глядел, не слушал
И в глыбу мрамора вложил
Свою бушующую душу?
Наверно, мастеру тому
За мастерство, за святотатство
Пришлось узнать тюрьму, суму
И у царей в ногах валяться.
Забыты тяжбы горожан,
И войны громкие династий,
И слов возвышенный туман,
И дел палаческие страсти.
Никто не свистнет, не вздохнет —
Отыграна пустая драма, —
И только всё еще живет
Обломок жизни, светлый мрамор.

1958

637. В ЗООПАРКЕ ЛОНДОНА

До слез доверчива собака,
Нетороплива черепаха,
Близка к искусству обезьяна,
Большие чувства у барана,
Но говорят, что только люди —
И дело здесь не в глупом чуде,
А дело здесь в природе высшей,
А дело здесь в особой мышце,
И не скворец в своей скворешне
И никакой не пересмешник,
Не попугай или лисица
Не могут этого добиться,
Но только люди — это с детства, —
Едва успеют осмотреться,
Им даже нечего стараться —
Они умеют улыбаться.

Я много жил и видел многих,
Высокомерных и убогих,
И тех, что открывают звезды,
И тех, что разоряют гнезда.
Есть у людей носы и ноги
Для любопытства, для тревоги,
Есть настороженные уши
Для тишины, для малодушья,
Есть голова для всякой прыти,
Кровопролитий и открытий,
Чтоб расщепить, как щепку, атом,
Чтоб за Луну был всяк просватан,
Чтоб был Сатурн в минуту добыт,
Чтоб рифмовал и плакал робот.
Умеют люди зазнаваться,
Но разучились улыбаться.
И только в вечер очень жаркий
В большом и душном зоопарке,
Где, не мечтая о победе,
Лизали кандалы медведи,
Где были всяческие люди —
И дети королевских судей,
И маклеры, а с ними жены,
И малолетние Ньютоны,
Где люди громко гоготали,
А звери выли от печали,
Где даже тигр пытался мямлить,
Как будто он не тигр, а Гамлет,
Да, только там, у тесных клеток,
Средь мудрецов и малолеток,
Я видел, как один слоненок,
Быть может, сдуру иль спросонок,
Взглянув на дамские убранства,
На грустное, пустое чванство,
Наивен будучи и робок,
Слегка приподнял тонкий хобот,
И словно от природы высшей,
И словно одарен он мышцей,
К слонихе быстро повернулся,
Не выдержал и улыбнулся.

1958

638

Про первую любовь писали много, —
Кому не лестно походить на Бога,

Создать свой мир, открыть в привычной глине
Черты еще не найденной богини?
Но цену глине знает только мастер —
В вечерний час, в осеннее ненастье,
Когда всё прожито и всё известно,
Когда сверчку его знакомо место,
Когда цветов повторное цветенье
Рождает суеверное волненье,
Когда уж дело не в стихе, не в слове,
Когда всё позади, а счастье внове.

1958

639. СЕРДЦЕ СОЛДАТА

Бухгалтер он, счетов охапка,
Семерки, тройки и нули.
И кажется, он спит, как папка
В тяжелой голубой пыли.
Но вот он с другом повстречался.
Ни цифр, ни сплетен, ни котлет.
Уж нет его, пропал бухгалтер,
Он весь в огне прошедших лет.
Как дробь, стучит солдата сердце:
«До Петушков рукой подать!»
Беги! Рукой подать до смерти,
А жизнь в одном — перебежать.
Ты скажешь — это от контузий,
Пройдет, найдет он жизни нить,
Но нити спутались, и узел
Уж не распутать — разрубить.

Друзья и сверстники развалин
И строек сверстники, мой край,
Мы сорок лет не разувались,
И если нам приснится рай,
Мы не поверим.
Стой, не мешкай,
Не для того мы здесь, чтоб спать!
Какой там рай! Есть перебежка —
До Петушков рукой подать!

1958

640. СОСЕД

Он идет, седой и сутулый.
Почему судьба не рубнула?
Он остался живой, и вот он,
Как другие, идет на работу,
В перерыв глотает котлету,
В сотый раз заполняет анкету,
Как родился он в прошлом веке,
Как мечтал о большом человеке,
Как он ел паечную воблу
И в какую он ездил область.
Про ранения и про медали,
Про сражения и про печали,
Как узнал он народ и дружбу,
Как ходил на войну и на службу.
Как ходила судьба и рубала,
Как друзей у него отымала.
Про него говорят «старейший»,
И ведь правда — морщины на шее,
И ведь правда — волос не осталось.
Засиделся он в жизни малость.
Погодите, прошу, погодите!
Поглядите, прошу, поглядите!
Под поношенной, стертой кожей
Бьется сердце других моложе.
Он такой же, как был, он прежний,
Для него расцветает подснежник.
Всё не просто, совсем не просто,
Он идет, как влюбленный подросток,
Он не спит голубыми ночами,
И стихи он читает на память,
И обходит он в вечер морозный
Заснеженные сонные звезды,
И сражается он без ракеты
В черном небе за толику света.

1958

641

Мы говорим, когда нам плохо,
Что, видно, такова эпоха,
Но говорим словами теми,
Что нам продиктовало время.

И мы привязаны навеки
К его взыскательной опеке,
К тому, что есть большие планы,
К тому, что есть большие раны,
Что изменяем мы природу,
Что умираем в непогоду
И что привыкли наши ноги
К воздушной и земной тревоге,
Что мы считаем дни вприкидку,
Что сшиты на живую нитку,
Что никакая в мире нежить
Той тонкой нитки не разрежет.
В удаче ль дело, в неудаче,
Но мы не можем жить иначе,
Не променяем — мы упрямы —
Ни этих лет, ни этой драмы,
Не променяем нашей доли,
Не променяем нашей роли, —
Играй ты молча иль речисто,
Играй героя иль статиста,
Но ты ответишь перед всеми
Не только за себя — за Время.

1958

642

Я слышу всё — и горестные шепоты,
И деловитый перечень обид.
Но длится бой, и часовой, как вкопанный,
До позднего рассвета простоит.
Быть может, и его сомненья мучают,
Хоть ночь длинна, обид не перечесть,
Но знает он — ему хранить поручено
И жизнь товарищей, и собственную честь.
Судьбы нет горше, чем судьба отступника,
Как будто он и не жил никогда,
Подобно коже прокаженных, струпьями
С него сползают лучшие года,
Ему и зверь и птица не доверятся,
Он будет жить, но будет неживой,
Луна уйдет, и отвернется дерево,
Что у двери стоит, как часовой.

1958

643. В РИМСКОМ МУЗЕЕ

В музеях Рима много статуй,
Нерон, Тиберий, Клавдий, Тит,
Любой разбойный император
Классический имеет вид.
Любой из них, твердя о правде,
Был жаждой крови обуян,
Выкуривал британцев Клавдий,
Армению терзал Траян.
Не помня давнего разгула,
На мрамор римляне глядят
И только тощим Калигулой
Пугают маленьких ребят.
Лихой кавалерист пред Римом
И перед миром виноват:
Как он посмел конем любимым
Пополнить барственный сенат?
Оклеветали Калигулу —
Когда он свой декрет изрек,
Лошадка даже не лягнула
Своих испуганных коллег.
Простят тому, кто мягко стелет,
На розги розы класть готов,
Но никогда не стерпит челядь,
Чтоб высекли без громких слов.

644

Когда зима, берясь за дело,
Земли увечья, рвань и гной
Вдруг прикрывает очень белой
Непогрешимой пеленой,
Мы радуемся, как обновке,
Нам, простофилям, невдомек,
Что это старые уловки,
Что снег на боковую лег,

Что спишут первые метели
Не только упраздненный лист,
Но всё, чем жили мы в апреле,
Чему восторженно клялись.
Хитро придумано, признаться,
Чтоб хорошо сучилась нить,
Поспешной сменой декораций
Глаза от мыслей отучить.

645. В КОПЕНГАГЕНЕ

Кому хулить, а прочим наслаждаться —
Удой возрос, любое поле тучно,
Хоть каждый знает — в королевстве Датском
По-прежнему не всё благополучно.
То приписать кому? Земле?
Векам ли?
Иль, может, в Дании порядки плохи?
А королевство ни при чем, и Гамлет
Страдает от себя, не от эпохи.

646

Из-за деревьев и леса не видно.
Осенью видишь, и вот что обидно:
Как было много видно, но мнимо,
Сколько бродил я случайно и мимо,
Видеть не видел того, что случилось,
Не догадался, какая есть милость —
В голый, пустой, развороченный вечер
Радость простой человеческой встречи.

647

Всё призрачно, и свет ее неярок.
Идти мне некуда. Молчит беда.
Чужих небес нечаянный подарок,
Любовь моя, вечерняя звезда!
Бесцельная и увести не может.
Я знаю всё, я ничего не жду.
Но долгий день был не напрасно прожит —
Я разглядел вечернюю звезду.

648

Морили прежде в розницу,
Но развивались знания.
Мы, может, очень поздние,
А может, слишком ранние.
Сидел писец в Освенциме,
Считал не хуже робота —
От матерей с младенцами
Волос на сколько добыто.

Уж сожжены все родичи,
Канаты все проверены,
И вдруг пустая лодочка
Оторвалась от берега,
Без виз, да и без физики,
Пренебрегая воздухом,
Она к тому приблизилась,
Что называла звездами.

Когда была искомая
И был искомый около,
Когда еще весомая
Ему дарила локоны.
Одна звезда мне нравится.
Давно такое видано,
Она и не красавица,
Но очень безобидная.

Там не снует история,
Там мысль еще не роздана,
И видят инфузории
То, что зовем мы звездами.

Лети, моя любимая!
Так вот оно, бессмертие, —
Не высчитать, не вымолвить,
Само собою вертится.

649

Не время года эта осень,
А время жизни. Голизна,
Навязанный покой несносен:
Примерка призрачного сна.
Хоть присказки, заботы те же,
Они порой не по плечу.

Всё меньше слов, и встречи реже.
И вдруг себе я бормочу
Про осень, про тоску. О Боже,
Дойти бы, да не хватит сил.
Я столько жил, а всё не дожил,
Не доглядел, не долюбил.

650. КОРОВЫ В КАЛЬКУТТЕ

Как давно сказано,
Не все коровы одним миром мазаны:
Есть дельные и стельные,
Есть комолые и бодливые,
Веселые и ленивые,
Печальные и серьезные,
Индивидуальные и колхозные,
Дойные и убойные,
Одни в тепле, другие на стуже,
Одним лучше, другим хуже.
Но хуже всего калькуттским коровам:
Они бродят по улицам,
Мычат, сутулятся —
Нет у них крова,
Свободные и пленные,
Голодные и почтенные,
Никто не скажет им злого слова —
Они священные.

Есть такие писатели —
Пишут старательно,
Лаврами их украсили,
Произвели в классики,
Их не ругают, их не читают,
Их почитают.
Было в моей жизни много дурного,
Частенько били — за перегибы,
За недогибы, за изгибы,
Говорили, что меня нет — «выбыл»,
Но никогда я не был священной коровой,
И на том спасибо.

651

Молодому кажется, что в старости
Расступаются густые заросли,
Всё измерено, давно погашено,
Не пойти ни вброд, ни врукопашную,
Любит поворчать, и тем не менее
Он дошел до точки примирения.

Всё не так. В моем проклятом возрасте
Карты розданы, но нет уж козыря,
Страсть грызет и требует по-прежнему,
Подгоняет сердце, будто не жил я,
И хотя уже готовы вынести,
Хватит на двоих непримиримости,
Бьешься, и не только с истуканами,
Сам с собой.
Еще удар — под занавес.

652. В САМОЛЕТЕ

Носил учебники я в ранце,
Зубрил латынь, над аргонавтами
Зевал и, прочитав «Каштанку»,
Задумался об авторе.
Передовые критики
Поругивали Чехова:
Он холоден к политике
И пишет вяло, нехотя,
Он отстает от века
И говорит как маловер,
Зауважают человека,
Но после дождика в четверг;
Он в «Чайке» вычурен, нелеп,
Вздыхает над убитой птичкою,
Крестьян, которым нужен хлеб,
Лекарствами он пичкает.

Я жизнь свою прожить успел,
И, тридцать стран объехав,
Вдруг в самолете поглядел
И вижу — рядом Чехов.
Его бородка и пенсне,
И говорит приглушенно.
Он обращается ко мне:
«Вы из Москвы? Послушайте,

Скажите, как вы там живете?
Меня ведь долго не было.
Я оказался в самолете,
Хоть ничего не требовал.
Подумать только — средь небес
Закусками нас потчуют!
Недаром верил я в прогресс,
Когда нырял в обочину...»
Волнуясь, я сказал в ответ
Про множество успехов,
Сказал о том, чего уж нет.
И молча слушал Чехов.
«Уж больше нет лабазников,
Сиятельных проказников,
Помещиков, заводчиков
И остряков находчивых,
Уж нет Его Величества,
Повсюду перемены,
Метро и электричество,
Над срубами антенны,
Сидят у телевизора,
А космонавты кружатся —
Земля оттуда мизерна,
А океаны — лужица,
И ваша медицина
На выдумки богата —
Глотают витамины,
Есть пищеконцентраты.
Живу я возле Вознесенска,
Ваш дом — кругом слонялись куры —
Сожгли при отступленьи немцы.
Построили Дворец культуры.
Как мирно воевали прадеды!
Теперь оружье стало ядерным...»
Молчу. Нам до посадки полчаса.
«Вы многое предугадали:
Мы видели в алмазах небеса,
Но дяди Вани отдыха не знали...»

Сосед смеется, фыркает,
Побрился, снял пенсне.
«Что видели во сне?
Сон прямо богатырский.
Лечу я в Лондон — лес и лен,
Я из торговой сети,
Лес до небес, и лен — как клен,
Всё здорово на свете!»

653. ЗВЕРИНЕЦ

Приснилось мне, что я попал в зверинец,
Там были флаги, вывески гостиниц,
И детский сад, и древняя тюрьма,
Сновали лифты, корчились дома,
Но не было людей. Огромный боров
Жевал трико наездниц и жонглеров,
Лишь одряхлевший рыжий у ковра
То всхлипывал, то восклицал «ура».
Орангутанг учил дикообраза,
Что иглы сделаны не для показа,
И, выполняя обезьяний план,
Трудился оскопленный павиан.
Шакалы в страхе вспоминали игры
Усатого замызганного тигра,
Как он заказывал хороший плов
Из мяса дрессированных волков,
А поросята «с кашей иль без каши»
На вертел нацепляли зад мамаши.
Над гробом тигра грузный бегемот
Затанцевал, роняя свой живот,
Сжимал он грозди звезд в коротких лапах
И розы жрал, хоть осуждал их запах.
Потом прогнали бегемота прочь
И приказали воду истолочь.
«Который час?» — проснулся я, рыдая,
Состарился, уж голова седая.
Очнуться бы! Вся жизнь прошла, как сон.
Мяукает и лает телефон:
«Доклад хорька: луну кормить корицей», —
«Все голоса курятника лисице», —
«А носорог стал богом на лугу».
Пусть бог, пусть рог. Я больше не могу!

654. В ТЕАТРЕ

Хоть славен автор, он перестарался:
Сложна интрига, нитки теребя,
Крушит героев. Зрителю не жалко —
Пусть умирают. Жаль ему себя.
Герой кричал, что правду он раскроет,
Сразит злодея. Вот он сам — злодей.
Другой кричит. У нового героя
Есть тоже меч.
Нет одного — людей.

Хоть бы скорей антракт! Пить чай в буфете.
Забыть, как ловко валят хитреца.
А там и вешалка.
Беда в билете:
Раз заплатил — досмотришь до конца.

655. СТИХИ НЕ В АЛЬБОМ

Смекалист, смел, не памятлив, изменчив,
Увенчан глупо, глупо и развенчан,
На тех, кто думал, он глядел с опаской —
Боялся быть обманутым, но часто,
Обманут на мякине, жил надеждой —
Всеведущ он, заведомый невежда.
Как Санчо, грубоват и человечен,
Хоть недоверчив, как дитя беспечен,
Не только от сохи и от утробы
Он власть любил, но не было в нем злобы,
Охоч поговорить, то злил, то тешил,
И матом крыл, но никого не вешал.

656. ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ

Календарей для сердца нет,
Всё отдано судьбе на милость.
Так с Тютчевым на склоне лет
То необычное случилось,
О чем писал он наугад,
Когда был влюбчив, легкомыслен,
Когда, исправный дипломат,
Был к хаоса жрецам причислен.
Он знал и молодым, что страсть
Не треск, не звезды фейерверка,
А молчаливая напасть,
Что жаждет сердце исковеркать,
Но лишь поздней, устав искать,
На хаос наглядевшись вдосталь,
Узнал, что значит умирать
Не поэтически, а просто.
Его последняя любовь
Была единственной, быть может.
Уже скудела в жилах кровь
И день положенный был прожит.

Впервые он узнал разор,
И нежность оказалась внове...
И самый важный разговор
Вдруг оборвался на полслове.

657

Мое уходит поколение,
А те, кто выжил, — что тут ныть, —
Уж не людьми, а просто временем,
Лежалые, уценены.
Исхода нет, есть только выходы,
Одни, хоть им уйти пора,
Куда придется понатыканы,
Пришамкивают «чур-чура»,
Не к спеху им — коль так заведено,
И старость чем не хороша?
По дворику ступают медленно
И умирают не спеша.
Хоть мне осточертели горести,
Хоть я обмерз и обожжен,
Я с теми, кто по-детски борется,
Кто прет дурацки на рожон,
Кто не забыл, как свищет молодость,
Кто жизнь продрог, а не продрых,
И хоть хлебал, да всё не солоно,
Хоть бит, не вышел из игры.

658. ЛЮДИ, ГОДЫ, ЖИЗНЬ

Пять лет описывал не пестрядь быта,
Не короля, что неизменно гол,
Не слезы у разбитого корыта,
Не ловкачей, что забивают гол.
Нет, вспоминая прошлое, хотел постичь я
Ходы еще не конченной игры.
Хоть Янус и двулик, в нем нет двуличья,
Он видит в гору путь и путь с горы.
Меня корили — я не знаю правил,
Болтлив, труслив — про многое молчу...
Костра я не разжег, а лишь поставил
У гроба лет грошовую свечу.
На кладбище друзей, на свалке века
Я понял: пусть, принижен и поник,
Он всё ж оправдывает человека,
Истоптанный, но мыслящий тростник.

659. НАД РУКОПИСЬЮ

Если слово в строке перечеркнуто,
А поверх уж другое топорщится,
Значит, эти слова — заменители,
Невесомы они, приблизительны,
Значит, каждое слово уж выспалось,
Значит, это — слова, а не исповедь,
Значит, всё раздобыто, не добыто,
Продиктовано роботом роботу.

660

Устала и рука. Я перешел то поле.
Есть му́ка и мука́, но я писал о соли.
Соль истребляли все. Ракеты рвутся в небо.
Идут по полосе и думают о хлебе.
Вот он, клубок судеб. И тишина средь песен.
Даст Бог, родится хлеб. Но до чего он пресен!

661. НАДЕЖДА

Любой сутяга или скаред,
Что научился тарабарить,
Попы, ораторы, шаманы,
Пророки, доки, шарлатаны,
Наимоднейшие поэты,
Будь разодеты иль раздеты,
Предатели и преподобья
Всучают тухлые снадобья.
Но надувают все лекарства,
Оказывалось хлевом царство,
От неудачника, как шкура,
Бежит нежнейшая Лаура,
И смертнику за час до смерти
Приятель говорит «поверьте»,
Когда он все помои вылил,
Когда веревку он намылил.
Но есть одна — она не кинет,
Каким бы жалким ни был финиш,
Она растерянных и наглых,
Без посторонних, с глазу на глаз,
Готова не судить, не вешать,
А всем наперекор утешить.

О чем печалилась Пандора?
Не стало славы и позора,
Убрались ангелы и черти,
Никто не говорит «поверьте»,
Но где-то в темном закоулке,
На самом дне пустой шкатулки,
Хоть всё доказано, хоть режь ты,
Чуть трепыхала тень Надежды.

662. В ДОМЕ ЛИТЕРАТОРОВ

Для золота — старатели,
Для полок — собиратели,
Для школ — преподаватели,
Чтоб знали кто и что,
Но для чего писатели,
Не ведает никто.
Завалены заказами,
Классическими фразами
Иль ударяясь в стих,
Умеют пересказывать,
Что сказано до них.
Пораспрощался с музами,
Ну чем тебе не бог,
И хоть не связан узами,
Но знает свой шесток.
Оракулы, ораторы,
Оратели и патеры
Кричат про экскаваторы
И прославляют труд
В том Доме литераторов,
Где и богов секут.
Исхлестаны, взлелеяны,
Подкованы, подклеены,
Вздыхают юбилеями
Душистый дерматин,
И каждому по блеянью
Положен сан и чин.
Но вот поэту томному,
Прозаику скоромному
Старуха шепчет: «Стоп!»
Приносят в Дом тот, в комнату,
Двуличен был, в огромную,
Был высечен, — в укромную —
Вполне приличный гроб.

У ног иль изголовия
С глазищами коровьими
Становятся друзья,
Один принес пословицу,
Другому нездоровится,
А третьему нельзя.
Четвертый молвит вежливо:
«Скажи, любимый, где же ты?
Уж нет зубов для скрежета
И скорбь легла на грудь.
Мы будем жить по-прежнему,
А ты, назло всей нежити,
Ступай в последний путь!
Мы из того же семени,
Мы все пойдем за премией,
Как ты ходил вчера.
Иди путями теми... Нет,
Тебе уж спать пора!»

663. НАД СТИХАМИ ВИЙОНА

«От жажды умираю над ручьем».
Водоснабженцы чертыхались:
«Поклеп! Тут воды ни при чем!
Докажем — сделаем анализ».
Вердикт гидрологов, врачей:
«Вода есть окись водорода,
И не опасен для народа
Сей оклеветанный ручей».
А человек, пускавший слухи,
Не умер вовсе над ручьем, —
Для пресечения разрухи
Он был в темницу заключен.
Поэт, ты лучше спичкой чиркай
Иль бабу снежную лепи,
Не то придет судья с пробиркой
И ты завоешь на цепи.
Хотя — и это знает каждый —
Не каждого и не всегда
Излечит от жестокой жажды
Наичистейшая вода.

664. СЕМ ТОБ И КОРОЛЬ ПЕДРО ЖЕСТОКИЙ

То было время раннее,
И не было в Испании
Ни золота, ни пороха,
Ни флота Христофорова.
Тогда еще горшечники
Не рвались к бесконечности,
Не ведали святители,
Что значит относительность.
Король тягался с грандами,
Корпел он над финансами,
Слал против мавров конницу
И заболел бессонницей.
Все медики с примочками
Не знали, как помочь ему.
Коль спишь, так спишь, а иначе
Лежишь один среди ночи.
Сем Тоб, бедняк, юродствовал,
Мудрил и стихоплетствовал,
Ходил с большими пейсами —
Был рода иудейского.
А всё ж король попробовал
И приказал Сем Тобу он:
«Ты знаешь всё нечистое,
Раскрой такую истину,
Чтоб я уж не тревожился,
А спал, как спать положено».
Забыв про трон и титулы,
Сем Тоб приказ тот выполнил:
«На свете всё случается,
На свете всё кончается.
Луна бывает месяцем,
Потом растет и светится,
Она такая полная,
Такая безусловная,
Что не убавят толики
Ни мавры, ни католики.
Но вот луна уж нервная,
Как говорят, ущербная,
Отгрызена, отъедена —
На свете так заведено».
Король взревел неистово:
«Ты не поэт, а выскочка! —
И застучал он по столу: —
Читаешь Аристотеля?
Ах, морда ты жидовская,
Не били уж давно тебя.

Луна луной останется,
А вот тебе достанется...»
Сем Тобу крепко всыпали,
Но он, как встарь, пописывал.
А короля Кастилии
Ближайший родич вылечил:
Рубать умея смолоду,
Отсек больную голову.
Не мучаясь вопросами,
Король заснул без просыпу.

665. ОЧКИ БАБЕЛЯ

Средь ружей ругани и плеска сабель,
Под облаками вспоротых перин,
Записывал в тетрадку юный Бабель
Агонии и страсти строгий чин.
И от сверла настойчивого глаза
Не скрылось то, что видеть не дано:
Ссыхались корни векового вяза,
Взрывалось изумленное зерно.
Его ругали — это был очкастый,
Он вместо девки на ночь брал тетрадь,
И петь не пел, а размышлял и часто
Не знал, что значит вовремя смолчать.
Кто скажет, сколько пятниц на неделе?
Все чешутся средь зуда той тоски.
Убрали Бабеля, чтоб не глядели
Разбитые, но страшные очки.

666

Позабыть на одну минуту,
Может быть, написать кому-то,
Может, что-то убрать, передвинуть,
Посмотреть на полет снежинок,
Погадать — додержусь, дотяну ли,
Почитать о лихом Калигуле.
Были силы, но как-то не вышло,
А теперь уже скоро крышка.
Не додумать, быть очень твердым,
Просидеть над дурацким кроссвордом, —
Что от правды и что от кривды,
Не помогут ни мысли, ни рифмы.

Это дальше теперь или ближе?
Нужно выбраться, вытянуть, выжить.
Время мешкает, топчется глухо,
Не взлетает, как поздняя муха.
Есть черед, а хотелось бы через.
Нужно жить, а уж нет суеверий.
Если держит еще — не надежда,
А густая и цепкая нежность,
Что из сердца не уберется.
Если сердце всё еще бьется.

667

Пора признать — хоть вой, хоть плачь я,
Но прожил жизнь я по-собачьи,
Не то что плохо, а иначе, —
Не так, как люди, или куклы,
Иль Человек с заглавной буквы:
Таскал не доски, только в доску
Свою дурацкую поноску,
Когда луна бывала злая,
Я подвывал и даже лаял
Не потому, что был я зверем,
А потому, что был я верен —
Не конуре, да и не плети,
Не всем богам на белом свете,
Не дракам, не красивым вракам,
Не злым сторожевым собакам,
А только плачу в темном доме
И теплой, как беда, соломе.

668

Свет погас.
Говорят — через час
Свет дадут
Или нет.
Слишком много мне лет,
Чтобы ждать и гадать —
Будет шторм или гладь.
Далеко далека
Та живая рука.
А включат или нет,
Будут врать или драть,
Больше нет тех монет,
Чтоб в орлянку играть.

669. СОНЕТ

Давно то было. Смутно помню лето,
Каналов высохших бродивший сок
И бархата спадающий кусок —
Разодранное мясо Тинторетто.
С кого спадал? Не помню я сюжета.
Багров и ржав, как сгусток всех тревог
И всех страстей, валялся он у ног.
Я всё забыл, но не забуду это.
Искусство тем и живо на века —
Одно пятно, стихов одна строка
Меняют жизнь, настраивают душу.
Они ничтожны — в этот век ракет,
И непреложны — ими светел свет.
Всё нарушал, искусства не нарушу.

670. ВЕТХАЯ ИСТОРИЯ

Не говори о маловерах,
Но те, что в сушь, в обрез, в огрыз
Не жили — корчились в пещерах,
В грязи, в крови, средь склизких крыс,
Задрипанные львы их драли,
Лупили все, кому не лень,
И на худом пайке печали
Они твердили всякий день,
Пусты, обобраны, раздеты,
Пытаясь обмануть конвой,
Что к ним придет из Назарета
Хоть и распятый, но живой.

Пришли в рождественской сусали,
Рубинами усыпав крест.
Тут кардинал на кардинале
И разругались из-за мест,
Кадили, мазали елеем,
Трясли божественной мошной,
А ликовавшим дуралеям,
Тем всыпали не по одной.
Так притча превратилась в басню:
Коль петь не можешь, молча пей.
Конечно, можно быть несчастней,
Но не придумаешь глупей.

671

У человека много родин,
Разноречивым жизнь полна,
Но если жить он непригоден,
То родина ему одна.
И уж не золотом по черни,
А пальцем слабым на песке
Короче, суше, суеверней
Он пишет о своей тоске.
Душистый разворочен ворох,
Теперь не годы, только дни,
И каждый пуще прежних дорог:
Перешагни, перегони,
Перелети, хоть ты объедок,
Лоскут, который съела моль, —
Не жизнь прожить, а напоследок
Додумать, доглядеть позволь.

672

Называли нас «интеллигентщиной»,
Издевались, что на книгах скисли,
Были мы, как жулики, развенчаны
И забыли, что привыкли мыслить.
Говорили и ногами топали,
Что довольно нашей праздной гнили,
Нужно воз вытаскивать безропотно,
Мы его как милые тащили,
Нас топтали — не хватало опыта,
Мы скакали, будто лошадь в мыле.
Но на кухню не дали нам пропуска
И без нас ту кашу заварили.
Было много пройдено и добыто,
Оказалось, что ошибся повар,
И должны мы кашу ту расхлебывать
Без интеллигентских разговоров.

673

«Конечно, есть у вас загибы,
Вы правильней писать могли бы,
Вы зря винили нас в молчанье,
Для нас блеяние баранье —

Вы вслушаться не захотели —
Звучит как соловьины трели.
Поскольку возраст ваш преклонный,
Мы говорим вам благосклонно:
Коль слух ослаб и нет наитий,
Вы напоследок помолчите.
А мы вас очень уважаем
И угостим вас сладким чаем».
Как в старости противны сласти!
Будь то в моей бараньей власти,
Я бы сказал: «Ругайся крепче,
Побереги твой ветхий чепчик.
Ты, не стыдясь, зубами щелкай,
Как это подобает волку,
И загрызи, хоть я и грубый,
Хоть у тебя ослабли зубы,
Хоть хочешь ты на самом деле,
Чтоб все бараны уцелели».
Мне, право, не до чаепитий,
А вы немного погодите,
Вы не останетесь в обиде —
Расскажете на панихиде
Про то, что был баран и сплыл он
С весьма неподходящим рылом,
Что всем баранам в назиданье
Он даже сдох не по-бараньи.

СТИХОТВОРЕНИЯ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ В АВТОРСКИЕ СБОРНИКИ

674

Я ушел от ваших ярких, дерзких песен,
От мятежно поднятых знамен, —
Оттого, что лагерь был мне слишком тесен,
А вдали мне снился новый небосклон.

Отдал я всю радость, солнечные битвы,
Бранные доспехи, грозные права —
За одни, как вечер, тихие молитвы,
За одни, как сказка, тихие слова.

Да, я знал, что песни бранные могучи
И что весь ваш лагерь радостно суров,
Но меня пленили дальние созвучья,
Но меня пленила тайна новых слов.

Я ушел, далекий, в облачные страны,
Я ушел молиться сказочным богам,
Я забыл про горе, я забыл про раны,
Я забыл про клятвы, данные врагам.

Но когда подслушал я в далеком храме
Странную, как море, тихую тоску —
Понял я, что слишком долго был я с вами
И что петь другому я уж не могу.

1910

675. ДОВОЛЬНО!..

Как долго Вы, Муза, за новенькой маской
Скрывали морщины старушки,
Довольно, принцесса, оставьте же сказки
И бросьте свои погремушки.

Вы новые страны открыть мне хотели,
Шептали о солнечном Боге,
Но старые, дряхлые сказки лишь пели
И в старые кутались тоги.

Довольно! Я знаю и гордые позы,
И ваши картонные латы,
Я бросил обманы и жалкие грезы,
К минувшему нет мне возврата!

На землю! На землю! Сражаться с врагами!
Я снова запыленный воин.
Меня вы примите. Я с вами! Я с вами!
Я старых доспехов достоин.

Я буду вам петь. Моя песня, как пламя,
Зажжет необъятное поле.
О, выше вздымайся, кровавое знамя,
Кричи о завещанной Воле!

1910

676. ГОРОДСКИЕ ДЕТИ

Вы видали в комнате цветики полей?
Вы видали в городе маленьких детей?
Может, не заметили — вам не до того, —
Сколько горя детского, горя своего.
Ножки слишком тонкие, щеки так бледны.
Не видать им радости, не видать весны.
Ходят, точно сделаны, точно не живы:
Видно, что под ножками не было травы.
Пробежаться в лес бы им, в прятки поиграть.
Наломать бы прутиков, цветиков нарвать.
Вы бы не узнали их, чахленьких ребят:
Растрепались волосы, а глаза блестят.
Вы — большие, взрослые, вам их не понять,
Как им бедным хочется просто поиграть.

Вы хоть раз натешились, вы хоть раз цвели,
Так поймите: тесно им в уличной пыли.
Так они закроются, солнца не видав,
Без цветов голубеньких, без зеленых трав.

1910

677. ЯМА

Как ни старался я искусно
Вернуть забытые года,
Мне все-таки, как раньше, грустно,
И сердце плачет, как всегда.

Я так устал от маскарада,
Но маски я не смею снять.
В костюме, взятом для парада,
Я буду вечно щеголять.

На мне не рыцарские латы,
Со мной не полчища знамен,
А только порванный, измятый,
Слегка подкрашенный картон.

В монмартрских улицах есть яма,
Среди других веселых ям,
Из замка сказочная дама
Там заседает по ночам.

Мы оба ищем там обмана,
Вдыхая яркие духи:
Она кладет свои румяна.
А я пишу свои стихи.

1910

678

Печальны и убоги,
Убогие в пыли,
Осенние дороги,
Куда вы привели?
Открытые туманам,
Пустые тополя;
Поросшие бурьяном
Изрытые поля.
Печальны и убоги,
Убогие в пыли,
Осенние дороги,
Куда вы привели?

1911

679

Чтоб истинно звучала лира,
Ты должен молчаливым быть,
Навеки отойти от мира,
Его покинуть и забыть.

И Марс, и Эрос, и Венера,
Поверь, они не стоят все
Стиха ослепшего Гомера
В его незыблемой красе.

Как математик логарифмы,
Как жрец законы волшебства,
Взлюби ненайденные рифмы
И необычные слова.

Ты мир обширный и могучий
С его вседневной суетой
Отдай за таинство созвучий,
Впервые познанных тобой.

Ты не проси меча у Музы,
Не уводи ее во храм
И помни: всяческие узы
Противны истинным певцам.

Пред Музой будь ты ежечасно,
Как ожидающий жених.
Из уст ее прими бесстрастно
Доселе не звучащий стих

1911

680—682. В БРЮГГЕ

1

В этих темных узеньких каналах
С крупными кругами на воде,
В одиноких и пустынных залах,
Где так тихо-тихо, как нигде,
В зелени, измученной и блеклой,
На пустых дворах монастырей,
В том, как вечером слезятся стекла
Кованых чугунных фонарей,
Скрыто то, о чем средь жизни прочей
Удается иногда забыть,
Что приходит средь бессонной ночи
Темными догадками томить.

2

Ночью в Брюгге тихо, как в пустом музее,
Редкие шаги звучат еще сильнее,
И тогда святые в каждой черной книге,
Черепичные законченные крыши
И каналы с запахом воды и гнили,
С черными листами задремавших лилий,
Отраженья тусклых фонарей в канале,
И мои надежды, и мои печали,
И любовь, которая, вонзивши жало,
Как оса приникла и потом упала.
Всё мне кажется тогда музеем чинным,
Одиноким, важным и таким старинным,
Где под стеклами лежат камеи и эмали,
И мои надежды, и мои печали,
И любовь, которая, вонзивши жало,
Как оса приникла и упала.

3

Мельниц скорбные заломленные руки
И каналы, уплывающие вдаль,
И во всем ни радости, ни муки,
А какая-то неясная печаль.
Дождик набежал и брызжет, теплый, летний,
По каналу частые круги пошли,
И еще туманней, и еще бесцветней
Измельченные квадратики земли.
У старушки в белом головном уборе
Неподвижный и почти стеклянный взгляд,
Если в нем когда-то отражалось горе,
То оно забылось много лет назад.
В сердце места нет ни злу, ни укоризне,
И легко былые годы вспоминать,
Если к горечи, к тревоге, даже к жизни
Начинаешь понемногу привыкать.

1913

683. ПЛЮЩИХА

Значит, снова мечты о России —
Лишь напрасно приснившийся сон;
Значит, снова дороги чужие,
И по ним я идти обречен!..

И бродить у Вандомской колонны
Или в плоских садах Тюильри,
Где над лужами вечер влюбленный
Рассыпает, дрожа, фонари,
Где, как будто веселые птицы,
Выбегают в двенадцать часов
Из раскрытых домов мастерицы,
И у каждой букетик цветов.
О, бродить и вздыхать о Плющихе,
Где, разбуженный лаем собак,
Одинокий, печальный и тихий
Из сирени глядит особняк,
Где, кочуя по хилым березкам,
Воробьи затевают балы
И где пахнут натертые воском
И нагретые солнцем полы...

Март 1913

684. ДЕВИЧЬЕ ПОЛЕ

Уж слеза за слезою
Пробирается с крыш,
И неловкой ногою
По дорожке скользишь.
И милей и коварней
Пооттаявший лед,
И фабричные парни
Задевают народ.
И пойдешь от гуляний —
Вдалеке монастырь.
И извозчичьи сани
Улетают в пустырь.
Скоро снег этот слабый
И отсюда уйдет
И веселые бабы
Налетят в огород.
И от бабьего гама,
И от крика грачей,
И от греющих прямо
Подобревших лучей
Станет нежно-зеленым
Этот снежный пустырь,
И откликнется звоном,
Загудит монастырь.

Март 1913

685. ОСЕНЬЮ

О чем-то скучно и лениво
Досказывает мокрый лес.
Обрывки туч дрожат пугливо
И жмутся на краю небес.
Кой-где дубки, орешник мелкий,
А за кустами тишь и глушь,
Лишь слышен шорох юркой белки
Да ноги хлюпают меж луж.
Что я скажу тебе сегодня,
Когда еще желтей листва,
Когда темней и безысходней
Мои ненужные слова?
А там уж кружит птичья стая.
Куда она летит опять?
И высь такая голубая,
Что не измерить, не понять.
И, слыша крик, душа, как птица
С дробинкой маленькой в крыле,
Еще наверх взлететь стремится
И грузно падает к земле.

1913

686. ВЕЧЕРОМ

Ветер разогнал серебряные тучи,
Ослабел и в низеньких кустах залег.
Я иду вдоль зелени колючей,
Мокрая трава дрожит у ног.
Сжатые поля — как шашечные доски.
Падает снопами золотой овес.
И, цепляясь за кустарник хлесткий,
По дороге вязнет полный воз.
И под лай собаки розовое стадо
Тянется с поросших вереском холмов.
Может, сердцу ничего не надо,
Кроме песни дальней бубенцов,
Кроме голосов мальчишек, там, в селенье,
Где над крышами ползет и тает дым,
Кроме позднего недоуменья
Перед миром детским и простым.

1913

687—688. ФЛАМАНДСКИЕ СТИХИ

1

Растопыренные юбки,
Старомодные чепцы,
И раскуривают глиняные трубки
Бритые смешные продавцы.
Девушки, монахини и вдовы
Тонких кружев заплетают нить,
Чтобы, глядя на узор суровый,
Плакать и грустить.
А над черепичными домами,
До зари,
Плачут медными тяжелыми слезами
Старенькие звонари.
Я не в силах жить иначе,
Я от шума и от радости отпал,
Только в этом долгом и пристойном плаче
Я себя узнал.
Так сухое, мертвое растенье,
В утренней росе,
Привстает и хоть одно мгновенье
Плачет, плачет, как и все.

2

На картинах старых мастеров
Жизнь текла покойно и лениво.
Несколько забавных стариков
Пили из огромных кружек пиво.
Изразцами желтыми горела печь,
Медные кастрюли золотом блистали,
И ребята, перед тем как лечь,
Тихие молитвы повторяли...
Почему ж какой-то яд проник
В темные, тягучие каналы,
И в заставки желтых монастырских книг,
И в готические залы?
Почему у бледных, выцветающих Мадонн
Взгляд недобрый, томный и унылый,
Точно он невольно упоен
Чьей-то чуждой и тревожной силой?

А у девушек глаза светлей воды,
Но легли под ними тягостные тени,
Точно еле видные следы
Жалоб, вздохов и сомнений.

1913

689

Тихий вечер, как ты долгим днем заслужен,
В тесной кухне как ты сладок, сытный ужин.
Дым от трубки тихо тянется в окошко,
И на стуле ласково мурлычет кошка...
Где-то скрипнет дверь и всё затихнет снова,
Слышно только, как в хлеву жует корова.
Я прошу тебя, родная, ради Бога,
В этот вечер помолись со мной немного,
Повтори за мною: «Всё, что в жизни было,
Было слишком трудным, было не под силу,
Двое нас, потерянных и темных, двое,
И мы молим о покое, о покое...»

1913

690

Гаснет день чахоточный и хилый,
На щеках румянец злой горит.
Боль и злоба — это раньше было,
А теперь — теперь покой и стыд.
Но минута длится слишком мало,
Если б несколько таких минут...
Вот толпа поспешно заурчала
И трамваи дальние поют.
День уходит — ночь, как будто смена
Лютых и жестоких сторожей,
Не дают они уйти из плена
Суеты и тягостных страстей.
А заката миг и замиранье,
Стыд и голос: «Больше не греши!» —
Лишь случайное напоминанье
Не о мире для земной души,
А о той, что смотрит, но таится,
Что в такой же вечер подойдет
И тяжелые замки темницы
Дуновеньем легким отомкнет.

1913

691

День засыпает навеки,
Стихло дыханье машин,
Опустились железные веки
Ярко блиставших витрин.
Душа навек отлетела,
И слепо глядит на меня
Одно убогое тело
Страстно изжитого дня.
Как будто дома и скверы,
Закоулки темных трущоб —
Один огромный, серый,
Заколоченный наглухо гроб.

1914

692. БОЖЬЯ ЛЮЛЬКА

По дороге в ад кромешный
Шел Прохор и щелкал орешки.
А в аду самогубы истово охали
И готовили комнату Прохору,
Ибо Прохор любил уют,
Баб и жареный лук.
Построил два храма,
Родил сорок дочек
И любил ночью,
Пьяным-пьяный,
Валяться в ногах у Моньки,
Одноухого конюха:
«Вы меня простите Соломон Иваныч!
И в своем уме и не пьяны мы.
Вот подарю тыщу Казанской —
Господа люблю,
А тебя, нехристя, в банку
И посолю».
Покряхтит в углу у икон
Да как закричит петухом:
«Я сам себе и Павел и Петр.
Отрекаюсь от Твоих щедрот!
У меня четыре дома в Лефортове,
Непристойно мне сидеть на корточках!»
Перед смертью стал икать,
Девку Машу звать:
«Маш, а, Маш!
Скоро мне шабаш.

В последний разок-то
Побалуй работой!..»
Помирая, сказал: «Грешный я!
Эх, Прошка!..
Дайте мне на дорогу орешков,
А то очень тошно...»

Видит Прохор, идут по дороге
Рябой угодник,
Баба кухонная с общипанным гусем
И еще гулящая одна, Маруська.
«Ты куда, угодник?»
— «В рай, голубчик, в Господен».
Стало Прохора трясти:
«Сбился я с пути —
Мне б к своим, к чертикам —
Поболтать о Лефортове».
А угодник смеется: «Знай!
Ты еще поболтай!
Одна дорога всем, одна, миленький,
Другой не проложили еще...»

Пришел Прохор к Господу в новой паре,
Рубаха белая.
Думает: «Ну! Начнут сейчас жарить,
Не отделаешься».
А Господь говорит сподручным:
«Замучился он.
Умойте его, да только хорошенько, с мочалкой,
И в люльку уложите малую».
Лежит Прохор и ждет,
Как и кто его ущипнет.
А Господь говорит: «Проша,
Хороший Мой,
Уж как ты, родненький,
Устал греховодничать.
Съел ты все свои орешки,
Управился.
От жизни, от жизни кромешной
Избавился.
Повернись на правый бок,
Проша маленький!
Спи, сынок!
Баю-баиньки!»

Ноябрь 1915
Париж

693. БАЛЛАДА ОБ ИСАКЕ ЗИЛЬБЕРСОНЕ

Бим! бом! бом!
Когда родился Исак Зильберсон,
Высоко над домом
Ранние звезды зацветали,
А внизу в тесной комнате
Шесть маленьких Зильберсонов
Визжали.
Сам Зильберсон бегал в ломбард и в какое-то правленье —
Искал пять рублей.
Увидев сына, сказал: «Седьмой... ах, если б не деньги!..
Но, слава Богу, все-таки с детьми веселей...»
А маленький Исак, красный, смешной,
Еще не знал, что он седьмой,
И только пищал: «Ой-ой-ой!»

Исака взял дядя на воспитанье.
Дядя любил поговорить вечерами:
«Вот пальто тебе купил, не какое-нибудь,
Знаешь, сколько стоит?
Двенадцать с полтиной!
Пожалел бы для сына.
А ты его не порви! А ты его не замажь!
Опять на коленках ерзал!
Я из тебя выгоню эту блажь!
В пятницу — порка...
Твой отец всю жизнь по передним околачивался,
У родственников клянчил трешницу.
Что ты? Еще плачешь?
Ложись-ка! Я тебя поучу немножко...
Твой отец шалопай — семь детей изготовил!
Я тебя выведу в люди!
Не смей хныкать! Должен быть веселым!
Запорю, если плакать будешь!..»
Но Исак не плакал — он не умел плакать,
В коридоре со старым шкафом,
Уткнувшись в угол головой,
Он тихо стонал: «Ой-ой-ой!»

В школе зубрил прилежно:
«Крайняя точка — мыс Доброй Надежды...»
А Зайцев Иван и Захаров Геннадий
Жужжали сзади:
«Сидит жидок на лавочке,
Мы посадим жидочка на булавочку»,
Дергали, щипали, били не ремнем — пряжкой.
Исак не просил, не жаловался, не спрашивал,

Под скамьей
Он только визжал: «Ой-ой-ой!»

А потом Исак Зильберсон поступил в контору,
Считал: «Подшипников отправлено сто восемь...»
Вот зима скоро —
У Елизарова есть шапка, совсем под котика,
Только дорого!..
В комнате убрал открытками стены —
«Господи, какая есть на свете роскошь!
Какой закат в Сорренто!
Какие плечи у Венеры Милосской!»
По праздникам душился духами «Запах маркизы»,
Надевал воротничок самый высокий
И осторожно (а то брюки забрызгаешь)
Шагал в городскую Оперу.
Бим! бом! бом!
На сцене любили, ревновали, стреляли.
И думал Исак Зильберсон:
«Хорошо бы родиться в Италии...»
А ночью у себя, мечтая,
Напевал, только тихо, чтоб не разбудить хозяев:
«Женщины, женщины,
Как вы изменчивы!»
Но никогда женщин не знал,
Ибо страдал
Застенчивостью...

Исак Зильберсон влюбился в старшую дочь бухгалтера —
Надежду Павловну.
Чертил везде
«Н. П. Д.».
«Надежда Павловна, как глядит!
Какой вид! Какой шик!»
Однажды осмелел, явился, сел на кончик кресла.
«Надежда Павловна, вам ничего не известно?..
Я... Я — Исак Зильберсон...
Нет, я лучше скажу потом...
Простите, я не то хотел сказать... Я ошибся...
Я служу в конторе “Американские подшипники”...»
Надежда Павловна смеялась: «Бедный,
Сядьте же хоть как следует.
Вы не умеете говорить комплименты...
Папа мне насплетничал, что вы душитесь...
У вас такой забавный акцент...
Ну, я слушаю...»
Но Исак Зильберсон только тряс головой
И, закрыв глаза рукой,
Вздыхал: «Ой-ой-й!»

Исак Зильберсон в летнем саду «Венеция»,
Глядя на четыре пыльных деревца,
Пил ананасовую воду.
«Я люблю природу!
Как хорошо бы жить тихо, просто
Вот под такой липой».
(Это была тощая березка,
Но он все деревья звал липами.)
Пил и глядел на пышную даму
В оранжевом платье.
...«Экстренные телеграммы!
Высочайший указ... Призыв ратников...»
Исак прочел, тихо пикнул.
«Как хорошо бы жить под этой липой...»
Бом! бом! бом!
Гремел граммофон.
И читал Исак Зильберсон,
Что он, Исак Зильберсон,
Должен идти на войну.
И пела «этуаль» про луну,
И пела про то и про это,
И кричали и хлопали где-то...
Исак подумал: «Кружится голова...
Я покраснел... Все смотрят, даже дамы...
На войну — это значит: раз-два! Раз-два!
И пушки... Все-таки странно...»

Исак Зильберсон лежал на животе, окопавшись.
«Не так страшно.
Только скорей бы идти, а то... Боже,
Как болит под ложечкой».
А солдаты смеялись: «Понюхай пороху!..
Да только труса даст, жидовская морда!..»
Потом бежали — и он бежал,
Кричали — и он кричал,
Стреляли — и он стрелял.
Бум! Бум! Бом!
Пушки тяжело вздыхали, охали.
И видел Исак Зильберсон,
Как на него кинулся кто-то,
Он хотел что-то сделать, но вспомнишь разве?
Он выронил штык свой наземь.
Заслонил лицо рукой
И завопил: «Ой-ой-ой!»
Пушки все охали грозные:
Бом! бум! Бом!

И — долго глядел Исак Зильберсон,
Как гасли далекие звезды.

К Господу Богу пришел Исак Зильберсон.
Сияли звезды, звенели лютни.
И от райского света зажмурился он
И прятал, стыдясь, свои руки.
Господь Бог спросил Исака:
«Скажи, как ты жил?
Как грешил, как радовался, как плакал
И как любил?»
Исак смутился: «Что отвечу?
И даже выдумать нечего...
Ведь я же жил, служил, ходил, бегал,
А кажется, будто ничего не было...»
Господь Бог долго ждал ответа,
Долго глядел он на бедного человека.
Но молчал Исак Зильберсон.
Лютни звенели — бим! бом!
Ангелы пели: «Слава Всевышнему!»
Но Господь Бог сказал им: «Тише!»
И Господь Бог закрыл свои очи рукой,
И Господь Бог сказал: «Ой-ой-ой!»

1916
Eze

694. ДОРОГА

Мир велик — дорога.
Дорог много,
Вокзалы, поезда.
Голубые воды, пароходы,
И чужие города.
И в каждом городе люди
Куда-то торопятся, кого-то ищут,
Плачут, спорят, любят,
И в каждом городе кладбище.
А в небе звезды, звезд много.
По какой идти и куда?
Если б была одна дорога
Или одна звезда!

Боже, был у меня вечер,
Я видел — вот ты, вот звезды,
Вот жизнь. И я знал, куда мне идти.
Но как труден горный воздух,
И дышать нечем...
Прости!

Вот по земле ползаю,
Кричу о свете райском,
Но кто поверит?
Полно!
Это я забавляюсь...
Бубню о Боге, а после беспутствую,
Просто жалкий человек.
Но я был там одну минуту,
И ее не забыть вовек.

Дни, дни и годы,
И звезд много,
Но какая моя звезда?
И эта дорога
Куда?
Боже, я истомился! Боже!
Кличет сын своего Отца.
Видишь — больше идти не может
Твоя овца.
Там позади дороги —
Столько дорог!
Путник убогий,
По одной идти я не смог.
Добрый Пастырь! Боже строгий!
Затруби в призывной рог.
В смертный час увижу жизнь мою бедную,
И куда я шел, того не ведая,
И радости, и тревоги,
И все земные дороги,
И одну. Одну дорогу —
От Бога и к Богу.

1916

695. ОСЕЛ

Дорога длинная, пустая,
И не видно ни конца, ни края.
Стал осел. Стоит. Не идет.
Хозяин кричит: «Вперед!»
И гладит его, и бьет,
Но осел не идет.
Думают люди: «Упрямый осел».
Хочет ослик сказать: «Я всё утро шел.
На спине бочонок тяжелый,
И кусают спину оводы,
От острых камней болят копыта.
Хозяин сердитый,

А у хозяина палка,
И никому меня не жалко.
А когда я был маленьким осленком,
Я кувыркался в траве зеленой,
Не знал ни поклажи, ни седла,
Не знал я про долю осла.
У меня были розовые мягкие копытца.
Я жил на воле.

Не надо на меня сердиться,
Я не могу больше...»

1919

696. ЗАЯЧЬЯ ЕЛКА

Снег падает, падает.
Теперь зима надолго,
И зайцы в лесу радуются,
А у зайцев елка.
Зайчихи на елку шишки повесили,
Привели малых зайчат.
Всем очень весело,
И все кричат:
«Мы вкруг елки прыгаем, прыгаем,
Мы не боимся рыжей Лисицы,
Мы не боимся самой Тигры,
А Тигра нас боится».
Снег на хвосте, снег на носу,
Одна беда — темно в лесу.
Старый Заяц повел ушами,
Хвостик поджал, прыг на небо
И звезду сорвал.
Теперь на елке звезда огромная, зеленая,
И в лесу светло, как в комнате.

1919

697. В РАЮ

Есть у Бога ясный сад,
Всех садов зеленей —
Это рай для ребят
И для зверей.

Там щенята, котята, мышата играют,
А взрослых туда не пускают.
У входа Заяц,
Он совсем не пугается,
Смотрит в щелку
И кричит Волку:
«Войди, не стесняйся,
Здесь все свои, зайцы».
Мышки, выбежав из норки,
Играют со старым Котом,
За усы его дергают
И ездят на нем верхом.
Медведи танцуют на площадке,
И прыгают на одной лапе (а это очень трудно).
Слоны играют в прятки
И прячутся друг от друга.
Волчиха у колыбели,
А в колыбели Зайчик беленький.
Волчиха его убаюкивает,
Лапой машет, хвостом постукивает:
«Бай-бай, малый Зай, засыпай, засыпай!»
А Иринка кормит Волчиху травой пахучей,
В школу не ходит, уроков не учит.
Ездит у Слона на спине,
Сосет леденцы, даже во сне.

И считает, сколько на небе звезд,
Сколько у Бога в бороде волос.

1919—1920

698

Птица полевая,
Ты тоску спровадь.
Нам судьба такая —
Век провоевать.
Разоряет гнезда
Недруга рука.
Застилают звезды
Дыма облака.
Не пытал я славы,
Не искал врага.
Вытоптала травы
Не моя нога.
Не на злой дороге
В трудную страну,

На своем пороге
Встретил я войну.
Тишина сурова.
Ноша тяжела.
Не сказав ни слова,
За руку взяла.
Золото июля.
Голубой зенит.
Кажется, не пуля,
Но оса звенит.
Тонкие осоки
Говорят с судьбой
Про покой глубокий.
Про короткий бой.

1939

699

Рядила нас в путь обида
От Пресни и до Мадрида.
Не май мы нашли — маевку.
Сжимали во сне винтовку.
Хотели любить берлогу —
Пришлось полюбить дорогу,
И смолоду знали руки
Про холод большой разлуки.
Ревнива и зла победа
До крика, до сна, до бреда,
До ливней косых, как счастье,
До дивной росы безучастья.

1940

700

Мы жили в те воинственные годы,
Когда, как джунглей буйные слоны,
Леса ломали юные народы
И прорывались в сон, истомлены.
Такой разгон, такое непоседство,
Что в ночь одну разгладились межи,
Растаял полюс, будто иней детства,
И замерли, пристыжены, стрижи.
Хребту приказано, чтоб расступиться,
Русло свое оставила река,
На север двинулись полки пшеницы,
И розы зацвели среди песка.

Так подчинил себе высокий разум
Лёт облака и смутный ход корней.
И стала ночь, обглоданная глазом,
Еще непостижимей и черней.
Стихи писали про любви уловки,
В подсумок зарывали дневники,
А женщины рожали на зимовке,
И уходили в море моряки.

1940

701

Потеют сварщики, дымятся домны,
Всё высчитано — поле и полет,
То век, как карлик с челюстью огромной,
Огнем плюется и чугун жует.
А у ворот хозяйские заботы:
Тысячелетий, тот, что в поте, хлеб,
Над трубами пернатые пилоты,
И возле шлака яркий курослеп.
А женщина младенца грудью кормит,
Нема, приземиста и тяжела,
Не помышляя о высокой форме,
О торжестве расчета и числа.
Мне не предать заносчивого века,
Не позабыть, как в огненной ночи
Стихии отошли от человека
И циркуль вывел новые лучи.
Но эта мать, и птицы в поднебесье,
И пригорода дикая трава —
Всё удивительное равновесье
Простого и большого естества.

1940

702

Умрет садовник, что сажает семя,
И не увидит первого плода.
О, времени обманчивое бремя!
Недвижен воздух, замерла вода,
Роса, как слезы, связана с утратой,
Напоминает мумию кокон,
Под взглядом оживает камень статуй,
И ящерицы непостижен сон.

Фитиль уснет, когда иссякнет масло,
Ветра сотрут ступни горячий след.
Но нежная звезда давно погасла,
И виден мне ее горячий свет.

1940

703

Та заморская чужая сырость,
Желтизна туманов заводских.
Он по щучьему веленью вырос
И с рожденья походил на стих.
До чего прекрасен он и страшен!
Двух столетий слава и порфир,
И чахоточных чиновниц кашель,
Что, как песня, обошел весь мир.
Пробирались по земле промерзлой,
Не видали в темноте ни зги,
И стучали азбукою Морзе
Первые путиловцев шаги.
Город, вытканный из длинных линий.
Кони вздыблены, им не помочь.
Их до времени состарил иней,
И поводья подхватила ночь.

1941

704

Замерзшее окно как глаз слепца.
Я не забуду твоего лица.
А на окне — зеленый стебелек,
Всё, что от времени я уберег:
В краю, где вьется легкая лоза,
Зеленые туманные глаза.

1941

705

По рытвинам, средь мусора и пепла,
Корова тащит лес. Она ослепла.
В ее глазах вся наша темнота.
Переменились формы и цвета.

Пойми, мне жаль не слов — слова заменят,
Мне жаль былых высоких заблуждений.
Бывает свет сухих и трезвых дней,
С ним надо жить, он темноты темней.

1943

706

Над пепелищем показались звезды.
Иссякли слезы. В тишине морозной
Детей окоченевших синева.
И если были у тебя слова,
Молчи. Тебе изменит даже голос.
Дошел до сердца тот последний холод,
Что выше жалости и вне обид.
Его и смерть сама не размягчит.

1943

707

Светлоглазый молодой пруссак
Нес чужую девочку в овраг,
Шел он весело и громко пел:
«Мой крыжовник вовремя поспел,
У меня на родине есть сад,
У меня есть добрый автомат».
Дерево для девочки нашел
И ударил головой о ствол,
А потом ее в овраг швырнул
И под светлым деревом уснул.
Далеко идти, но я дойду,
Я его увижу в том саду.
Будет утро, будет дождь, гроза.
Остановятся его глаза.

1943

708

Был дом обжит; надышан мной,
Моей тоской и тишиной.
Они пришли, и я умру.
Они сожгли мою нору.

Кричал косой, что он один,
Что он умрет, что есть Берлин.
Кому скажу, как я одна,
Как я темна и холодна?
Моя любовь, моя зола,
Согрей меня! Я здесь жила.

1943

709

В росчерк спички он, глумясь, вложил
Всю тоску своих звериных сил.
Темный, он хотел поджечь века.
Жадная обуглена рука.
Он сгорел в осенней тишине
На холодном голубом огне.

1943

710

Всё взорвали. Но гляди — средь щебня,
Средь развалин, роз земли волшебней,
Розовая, в серой преисподней,
Роза стали зацвела сегодня.
И опять идет в цехах работа.
И опять тебя томит забота.
Что ж, родная, будем жить сначала, —
Сердцу, видно, и такого мало.

1943

711

Скребет себя на пепле Иов,
И дым глаза больные выел,
А что здесь было — нет его,
И никого, и ничего.
Зола густая тихо стынет.
Так вот она, его пустыня.
Он отнял не одно жилье —
Он сердце обобрал мое.
Сквозь эту ночь мне не пробраться.
Зачем я говорил про братство?
Зачем в горах звенел рожок?
Зачем я голос твой берег?

Постой. Подумай. Мы не знали,
В какое счастье мы играли.
Нет ничего. Одна зола
По-человечески тепла.

1943

712. РОССИЯ

Когда в пургу ворвутся кони,
Она благословит бойца,
Ее горячие ладони
Коснутся смутного лица.
Она для сердца больше значит,
Чем все обеты, все пути.
И если дерево — на мачты,
И если камень — улети,
И если не пройти — тараном,
И если смерть — переступи
И стой один седым курганом
В пустой заснеженной степи.
Ты видишь, выйдя из окопа, —
Она, оснащена тобой,
Пересекает ночь Европы.
И сквозь тяжелый, долгий бой,
Сквозь зарева туман кровавый
Ты видишь под большой луной
Броню тяжелую державы
И хлопья пены кружевной.

1943

713

В окопе или в маленькой землянке,
Когда коптилка тихо догорит,
Товарищ вспомнит о подбитом танке
И на тебя украдкой поглядит.
О, в тех глазах нет места укоризне,
И нет в них даже отсвета побед, —
Начало в них большой и новой жизни,
Самозабвения горячий свет.
И есть в войне такое утвержденье,
Что, вглядываясь в голубую тьму,
Ты улыбнешься одинокой тени,
Как ты не улыбался никому.

1945

714

Россия — в слове том не только славы
Наперсники — великие года,
В нем строгая приподнятость державы
И теплота родимого гнезда.
И что ты вспомнишь, повторив то слово:
Адмиралтейство и гранит реки,
Иль накануне утра рокового
Стыдливый жар девической реки?
Но в каждом холмике и в каждой елке
Черты того же милого лица,
И в смехе простодушной комсомолки,
И в тихом скрипе ветхого крыльца.

1945

715

Прости — одна есть рифма к слову «смерть»,
Осточертевшая, как будто в стужу
Могилу роют, мерзлая земля
Упорствует, и твердь не поддается.
Ты рифмы не подыщешь к слову «жизнь»,
Ни отклика, ни даже отголоска.
А сколько слез, признаний, сколько просьб!
Все говорят, никто не отвечает.

1945

716

Я не завидую ни долголетью дуба,
Ни журавлям, ни кораблям, ни человеку,
Чьи ослепительные зубы
Уже сверкают на экранах
Будущего века.
В музеях плачут мраморные боги.
А люди плакать разучились. Всем
Немного совестно и как-то странно.
Завидую я только тем,
Кто умер на пороге
Земли обетованной.

1945

717

О, дайте вечность мне, и вечность я отдам
За равнодушие к обидам и годам.

И. Анненский

В печальном парке, где дрожит зола,
Она стоит, по-прежнему бела.
Ее богиней мира называли,
Она стоит на прежнем пьедестале.
Ее обидели давным-давно.
Она из мрамора, ей всё равно.
Ее не тронет этот день распятый,
А я стою, как он стоял когда-то.
Нет вечности, и мира тоже нет,
И не на что менять остаток скверных лет.
Есть только мрамор и остывший пепел.
Прикрой его, листва: он слишком светел.

1945

718—719. ФРАНЦИЯ

1

Дорога вьется, тянет, тянется.
Заборы, люди, города.
И вдруг одно: а где же Франция?
Запряталась она куда?
Бретань, и море в злобе щерится,
И скалы рвет огромный вал.
Разлука ли? Мне всё не верится,
Что эти руки целовал.
Не улыбнешься, не расплачешься,
А вспомнишь — закричишь со сна.
Парижа позднее ребячество,
Его туманная весна —
В цветах, в огнях, в соленой сырости...
Я не спрошу, что стало с ним.
Другие девушки там выросли
И улыбаются другим.
Так сделан человек: расстанется,
Всё заметет тяжелый снег.
И я как все. А где же Франция?
Я выдумал ее во сне.

Но ты не говори о верности,
Я верен, только не себе —
Тому, что бьется, вьется, вертится, —
Своей тоске, своей судьбе.

2

Читаешь, пишешь, говоришь,
И вдруг встает былой Париж,
Огромный, огненный, живой,
С горячей, мокрой синевой.
Как он сумел прийти сюда?
Ходить — не ходят города,
Им тяжело, у них дома.
И кто из нас сошел с ума?
Тот город, что, забыв про честь,
Готов в любое сердце влезть,
Готов смутить любой покой
Своей шарманочной тоской, —
Сошел ли город тот с ума,
Сошли ли с мест своих дома?
Иль, может, я в бреду ночном,
Когда смолкает всё кругом,
Сквозь сон, сквозь чащу мутных лет,
Сквозь ночь, которой гуще нет,
Сквозь снег, сквозь смерть, сквозь эту тишь
Бреду туда — всё в тот Париж?

1948

720. СЕЛО ЛЕРМОНТОВО

Тарханы это не поэма —
Большое крепкое село.
Давно в музей безумный Демон
Сдал на хранение крыло.
И посетитель видит хрупкий,
Игрушечный, погасший мир —
Изгрызанную в муке трубку
И опереточный мундир.
И каждому немного лестно,
Что это — Лермонтова кресло.
На стенах множество цитат
О происшедшей перемене.
А под окном заглохший сад,
И «счастье», скрытое в сирени.

Машины облегчили труд.
В селе теперь десятилетка.
Колхозники исправно чтут
Дела прославленного предка.
И двадцать пятого июля,
Когда его сразила пуля,
В Тарханах праздник. Там с утра
Вся приодета детвора.
Уж кумачом зардели арки,
Уж сдали государству рожь,
И в старом лермонтовском парке
Танцует дружно молодежь.
Здесь нет ни топота, ни свиста...
Давно забыт далекий выстрел,
И только в склепе, весь продрог,
Стоит обшитый цинком гроб.
Мотор заглох. Шофер хлопочет.
А девушка в избе бормочет
Всё тот же сердцу страшный стих,
И страсть в ее глазах пустых,
Приподняты углами брови,
А ночь, как никогда, темна.
Поют и пьют, стихи читают, сквернословят.
А сердце в цинк стучит. Всё выпито до дна.
«Люблю отчизну я, но странною любовью...»
А что тут странного? Она одна.

1948

721—723. У РЖЕВА

1

Трагедия закончена — так пишут,
И это правда, — строят города,
Влюбляются и по ночам не слышат,
Как голосит железная беда.
Но вот война — окопы, танк подбитый,
Оборван провод и повисла нить,
Как будто после той ужасной битвы
Здесь занавес забыли опустить.
Торчит стена расщепленного дома,
В глубоких ямах желтая вода.
Как это всё мучительно знакомо,
Мне кажется, что я здесь жил всегда.
Обломаны, обрублены деревья,
Черны они, в них битв минувших страсть,

И, руки заломив в последнем гневе,
Они ни жить не могут, ни упасть.

2

Могила солдата, а имени нет,
Мы дату едва разобрали, —
Здесь в сорок втором, не дождавшись побед,
Погиб неизвестный товарищ.
Тогда отступали, и он отступал.
Потом был приказ закрепиться.
В Москве не раздался торжественный залп —
Погиб он в проигранной битве.
Откуда шли танки? Хватило ль гранат?
В газете никто не поведал,
Как в сорок втором неизвестный солдат
Увидел впервые победу.
О том не узнали ни мать, ни жена,
С похода друзья не вернулись.
Он спит одиноко, и только сосна
В почетном стоит карауле.

3

Прохожий, подойди. Лежим в могиле
братской.
Нас было четверо, любили мы смеяться,
Цвела тогда сирень, мы были влюблены,
Ходили в школу мы за месяц до войны.
Прохожий, пели мы. Потом запели пули.
Ты знаешь жизнь, в нее мы только заглянули.
Мы жить хотели, но была беда:
Мы отступали и сдавали города.
В то лето было много горя и развалин.
Кукушки коротко в то лето куковали,
Мы в поле залегли, касалась щек трава.
Была пред нами смерть, а позади — Москва.
Есть нечто, вечности оно дороже:
Погибли мы, но ты живешь, прохожий,
Ты смотришь, говоришь, и этот день живой
Стоит, как облако, над розовой Москвой.

1948

724

Я в море вижу не свободу,
А некий исполинский труд,
Как будто яростные воды
Повинность тяжкую несут,
С ожесточеньем терпеливым
Прилив сменяется отливом,
Стихия пробует восстать,
Закону темному покорна,
Шумит, грозит. А после шторма
Всё та же тишина и гладь.
Скажи мне, сколько нужно странствий,
Как отвергал, как был отвергнут,
Чтоб говорило море сердцу
О верности, о постоянстве,
Чтоб стало всё, чем жил и жив,
Как тот прилив, как тот отлив?

1948

725

Мне всё мерещится одна
Большого полдня тишина,
И те же блики от каштана,
И тот же зной, как мед, густой,
Кувшин, а рядом два стакана,
Один с вином, другой пустой.
Обычно отвечают: «Ба,
Что тут пропишешь, не судьба...»
Уж больше ничего не будет,
Теперь и говорить смешно,
А всё мерещится одно:
Так и ушел и не пригубил...

1948

726

У маленькой речушки на закате,
Закинув удочку, сидел мечтатель,
И, отдыхая от пустых тревог,
Глядел на неподвижный поплавок.

Он смутно думал: «Тонет луг в тумане,
Возможно, завтра и меня не станет,
Но будет снова тот же летний день,
И та же рябь реки, и та же лень».
О вечности он думал нехотя и вяло.
А рядом на песочке трепетала
Им пойманная рыбка. Где вода?
Ее не будет больше никогда.
Дышать она пыталась. Слишком поздно:
Не для нее сухой и грозный воздух.
Вздымались жабры. Белый жег песок.
Мечтатель всё глядел на поплавок.

1948

727

Что за дурацкая игра?
Всё только слышится и кажется.
А стих пристанет — до утра
Не замолчит и не отвяжется.
Другие спят, а ты не спи,
Как кот ученый на цепи.
Всю жизнь прожить в каком-то поезде,
Разгадывая стук колес,
Откроется и сразу скроется,
И ночью доведет до слез,
Послышится и померещится
Тень на стене, разводы, трещина.
Песчинки, сжатые в руке, —
Слова о доблести, о храбрости.
А ты, как рыба на песке,
Всё шевели сухими жабрами.

1948

728

Быть может...
Тогда мечта повелевала мной,
И я про всё забыл; но поневоле
Вдруг поражен был радостной весной,
Смеявшейся на всем широком поле.

Темно-зеленые листы
Из лопавшихся почек прорастали,
А желтые и красные цветы
Полям живую радость придавали.

Был дождь похож на сотни ярких стрел,
В листве играло солнце так задорно,
И тополь зачарованно смотрел
На гладь реки, спокойной и просторной.

Пройдя так много тропок и дорог,
В весну я лишь теперь вглядеться мог.
Я ей сказал: «Ты, к счастью запоздала,
И вот могу я на тебя взглянуть!»
Потом, предавшись новой, небывалой
Мечте, добавил тихо: «Снова в путь!
И юность нагоню когда-нибудь».

<1948>

729

Ты помнишь, жаловался Тютчев:
«Мысль изреченная есть ложь».
Ты не пытался думать — лучше
Чужая мысль, чужая ложь.
Да и к чему осьмушки мысли?
От соски ты отвык едва,
Как сразу над тобой нависли
Семипудовые слова.
И было в жизни много шума,
Пальбы, проклятий, фарсов, фраз.
Ты так и не успел подумать,
Что набежит короткий час,
Когда не закричишь дискантом,
Не убежишь, не проведешь,
Когда нельзя играть в молчанку,
А мысли нет, есть только ложь.

1957

730

В их мире замкнутом и спертом
И логика была простой,
Она была того же сорта,
Что окрик часового: «Стой!»

«Стой!» — и построй себе жилище,
«Стой!» — и свивай себе уют,
«Стой!» — и работай ради пищи,
Живи, как прочие живут.

Да кто вы? Люди или птицы?
Сыны богов или кроты?
«Мы? Жители. Жильцы, жилицы,
Квартиросъемщики. А ты,

А ты, что вечно споришь с веком?»
— «Я был собою до конца:
Неполноценным человеком,
Пытавшимся пожечь сердца».

«Ну как, поджег? — И все смеются,
Все полноценны и тихи: —
Прошла эпоха революций.
А сколько платят за стихи?»

1957

731

Однажды черт меня сподобил:
Я жил в огромном небоскребе.
Скребутся мыши, им не снится,
Что есть луна над половицей.
Метались этажи в ознобе.
Я не был счастлив в небоскребе,
Я не кивал пролетной птице,
Я жил, как мышь под половицей.
Боюсь я слов больших и громких,
Куда тут «предки» и «потомки»,
Когда любой шальной мышонок,
Как сто веков, высок и громок.
В ознобе бьются линотипы,
Взлетают яростные скрипы.
И где уж догадаться мыши,
Что незачем скрестись на крыше?

1957

732. ПАРИЖ — ТОКИО

(Мысли в пути)

Были когда-то небеса для влюбленных,
Плыли облака от луны до солнца,
Звезда с звездой встречались, прощались,
И одна на землю падала в печали.
Стали небеса проезжей дорогой,
От взлета до посадки четыре бутерброда.
Говорят о делах, деловито дремлют,
Порой, зевая, смотрят на землю.
Господа вселенной от взлета до посадки
Хвастают успехами, клянут неполадки,
Вспоминают расходы, расставляют цифры,
Спорщики спорят, ревнуют ревнивцы.
Облака над ними — грязная вата,
Под ватой и они живали когда-то.
Что им звезды? Незачем ломаться.
Видели они немало декораций.

Если радисту радист не ответит,
Если сядет самолет на чужой планете,
Слегка удивятся, спросят кого-то,
Сколько им дивиться — от посадки до взлета,
А потом займутся своими делами —
Пуском машин или грустными глазами
Той, что осталась на другой планете,
Что вчера провожала, а завтра не встретит.
Вынуты блокноты — догадки, подсчеты.
Споры продолжаются — от посадки до взлета.
Четыре бутерброда... летят на Землю.
Падает звезда. Великое племя!
Страшное племя! До чего ты знакомо.
Господа вселенной! Туча насекомых!

1957

733

Летают самолеты через полюс.
Бежит на карте тоненькая нить.
И путник видит ледяное поле,
Его никто не вздумал растопить.
И видит он — ракета небо режет,
Прокладывает зыбкие пути.
А люди строят тысячи убежищ,
Чтоб жизнь свою кротовую спасти.

И путник раскрывает пухлую газету:
Рябят, стрекочут сотни телеграмм —
Ожесточение большого света
И тишина обыкновенных драм.
Есть в самолете запасная дверца,
Он к ней подходит — вниз легко лететь.
Всё кажется продумано. А сердце?
Его никто не вздумал отогреть.

1957

ИЗБРАННЫЕ ПЕРЕВОДЫ

Народные песни

734. ПЕРНЕТТА

(XV век)

Пернетта слова не скажет,
Она до зари встает,
Тихо сидит за пряжей,
Слезы долгие льет.

Жужжит печальная прялка.
Пернетта молчит и молчит.
Отцу Пернетту жалко,
Пернетте отец говорит:

«Скажи, что с тобою, Пернетта?
Может быть, ты больна,
Может быть, ты, Пернетта,
В кого-нибудь влюблена?»

Отвечает Пернетта тихо:
«Я болезни в себе не найду.
Но бежит за ниткою нитка,
А я всё сижу и жду».

«Пернетта, не плачь без причины,
Жениха я тебе найду,
Приведу прекрасного принца,
Барона к тебе приведу».

На дворе уж вечер темный,
Задувает ветер свечу.
«Не хочу я глядеть на барона,
На принца глядеть не хочу.

Я давно полюбила Пьера
И буду верна ему,
Я хочу только друга Пьера,
А его посадили в тюрьму».

«Никогда тебе Пьера не встретить,
Ты скорее забудь про него —
Приказали Пьера повесить,
На рассвете повесят его».

«Пусть тогда нас повесят вместе,
Буду рядом я с ним в петле.
Пусть тогда нас зароют вместе,
Буду рядом я с ним в земле.

Посади на могиле шиповник —
Я об этом прошу тебя,
Пусть прохожий взглянет и вспомнит,
Что я умерла, любя».

735. ПО ДОРОГЕ ПО ЛОРРЭНСКОЙ

(XVI век)

По дороге по лоррэнской
Шла я в грубых, в деревенских —
Топ-топ-топ, Марго,
В этаких сабо.

Повстречала трех военных
По дороге по лоррэнской —
Топ-топ-топ, Марго,
В этаких сабо.

Посмеялись три военных
Над простушкой деревенской —
Топ-топ-топ, Марго,
В этаких сабо.

Не такая я простушка,
Не такая я дурнушка —
Топ-топ-топ, Марго,
В этаких сабо.

Не сказала им ни слова,
Что я встретила другого, —
Топ-топ-топ, Марго,
В этаких сабо.

Шла дорогой, шла тропинкой,
Шла и повстречала принца —
Топ-топ-топ, Марго,
В этаких сабо.

Он сказал, что я всех краше,
Он мне дал букет ромашек —
Топ-топ-топ, Марго,
В этаких сабо.

Если расцветут ромашки,
Я принцессой стану завтра —
Топ-топ-топ, Марго,
В этаких сабо.

Если мой букет завянет,
Ничего со мной не станет —
Топ-топ-топ, Марго,
В этаких сабо.

736. РЕНО

(XVI век)

Ночь была, и было темно,
Когда вернулся с войны Рено.
Пуля ему пробила живот.
Мать его встретила у ворот:
«Радуйся, сын, своей судьбе —
Жена подарила сына тебе».
— «Поздно, — ответил он, — поздно, мать.
Сына мне не дано увидать.
Ты мне постель внизу приготовь,
Не огорчу я мою любовь,
Вздох проглоти, слезы утри,
Спросит она — не говори».
Ночь была, и было темно,
Ночью темной умер Рено.

«Скажи мне, матушка, скажи скорей,
Кто это плачет у наших дверей?»
— «Это мальчик упал ничком
И разбил кувшин с молоком».
— «Скажи мне, матушка, скажи скорей,
Кто это стучит у наших дверей?»
— «Это плотник чинит наш дом,
Он стучит своим молотком».
— «Скажи мне, матушка, скажи скорей,
Кто поет это у наших дверей?»
— «Это, дочь моя, крестный ход,
Это певчий поет у ворот».
— «Завтра крестины, скорей мне ответь,
Какое платье мне лучше надеть?»

— «В белом платье идут к венцу,
Серое платье тебе не к лицу,
Выбери черное, вот мой совет,
Черного цвета лучше нет».

Утром к церкви они подошли.
Видит она холмик земли.
«Скажи мне, матушка, правду скажи,
Кто здесь в могиле глубокой лежит?»
— «Дочь, не знаю, с чего начать,
Дочь, не в силах я больше скрывать.
Это Рено — он с войны пришел,
Это Рено — он навек ушел».

— «Матушка, кольца с руки сними,
Кольца продай и сына корми.
Мне не прожить без Рено и дня.
Земля, раскройся, прими меня!»

Земля разверзлась, мольбе вняла.
Земля разверзлась, ее взяла.

737. ВОЗВРАЩЕНИЕ МОРЯКА

(XVII век)

Моряк изможденный вернулся с войны,
Глаза его были от горя черны.
Он видел немало далеких краев,
А больше он видел кровавых боев.

«Скажи мне, моряк, из какой ты страны?»
— «Хозяйка, я прямо вернулся с войны.
Судьба моряка — всё война и война.
Налей мне стаканчик сухого вина».

Он выпил стаканчик и новый налил.
Он пел, выпивая, и с песнями пил.
Хозяйка взирает на гостя с тоской,
И слезы она утирает рукой.

«Скажите, красотка, в чем гостя вина?
Неужто вам жалко для гостя вина?»

— «Меня ты красоткой, моряк, не зови.
Вина мне не жалко, мне жалко любви.
Был муж у меня, он погиб на войне,
Покойного мужа напомнил ты мне».

— «Я слышал, хозяйка, от здешних людей,
Что муж вам оставил двух малых детей.
А время бежит, будто в склянках песок,
Теперь уже третий, я вижу, сынок».

— «Сказали мне люди, что муж мой убит,
Что он за чужими морями лежит.
Вина мне не жалко, что осень — вино,
А счастья мне жалко, ведь счастье одно».

Моряк свой стаканчик поставил на стол,
И молча он вышел, как молча пришел,
Печально пошел он на борт корабля,
И вскоре в тумане исчезла земля.

738. ВРАКИ

(XVII век)

— Я видела — лягушка
Дала солдату в зубы.
У зуба на макушке
Росли четыре чуба,
И каждый чуб был выше,
Чем эти вот дома,
И даже выше мыши.

— Не врете ль вы, кума?

— Я видела — два волка
Петрушкой торговали,
Кричали втихомолку
И щуку отпевали,
Король влюблен был в щуку,
От щуки без ума,
Он предложил ей руку.

— Не врете ль вы, кума?

— Я видела — улитка
Двух кошек обряжала,
В иглу вдевала нитку,
А нитка танцевала,
Баран был очень весел,
И шум, и кутерьма,
Их чижик всех повесил.

— Не врете ль вы, кума?

739. ГОСПОДИН ЛЯ ПАЛИСС

(XVII век)

Кто ни разу не встречал
Господина Ля Палисса,
Тот, конечно, не видал
Господина Ля Палисса.
Но скрывать тут нет причин,
Мы об этом скажем прямо:
Ля Палисс был господин
И поэтому не дама.

Знал он с самых ранних лет,
Что впадают реки в море,
Что без солнца тени нет
И что счастья нет без горя.
Жизнь была ему ясна,
Говорил он, строг и точен:
«Чтоб проверить вкус вина,
Нужно отхлебнуть глоточек».

Если не было дождя,
Выходил он на прогулку.
Уходил он, уходя,
Булкой называл он булку.
Жизнь прожив холостяком,
Не сумел бы он жениться,
И поэтому в свой дом
Ввел он чинную девицу.

У него был верный друг,
И сказал он сразу другу,
Что, поскольку он — супруг,
У него теперь супруга.
По красе и по уму,
Будь бы он один на свете,
Равных не было б ему
Ни в мечтах, ни на примете.

Был находчив он везде,
Воле Господа послушен,
Плавал только по воде
И не плавал он по суше.
Повидал он много мест,
Ездил дальше, ездил ближе,
Но когда он ездил в Брест,
Не было его в Париже.

Чтил порядок и закон;
Никаким не верил бредням.
День, когда скончался он,
Был и днем его последним.
В пятницу он опочил.
Скажем точно, без просчета, —
Он на день бы дольше жил,
Если б дожил до субботы.

Франсуа Вийон

740. БАЛЛАДА ПОЭТИЧЕСКОГО СОСТЯЗАНИЯ В БЛУА

От жажды умираю над ручьем.
Смеюсь сквозь слезы и тружусь, играя.
Куда бы ни пошел, везде мой дом,
Чужбина мне — страна моя родная.
Я знаю всё, я ничего не знаю.
Мне из людей всего понятней тот,
Кто лебедицу вороном зовет.
Я сомневаюсь в явном, верю чуду.
Нагой, как червь, пышней я всех господ.
Я всеми принят, изгнан отовсюду.

Я скуп и расточителен во всем.
Я жду и ничего не ожидаю.
Я нищ, и я кичусь своим добром.
Трещит мороз — я вижу розы мая.
Долина слез мне радостнее рая.
Зажгут костер — и дрожь меня берет,
Мне сердце отогреет только лед.
Запомню шутку я и вдруг забуду,
Кому презренье, а кому почет.
Я всеми принят, изгнан отовсюду.

Не вижу я, кто бродит под окном,
Но звезды в небе ясно различаю.
Я ночью бодр, а сплю я только днем.
Я по земле с опаскою ступаю,
Не вехам, а туману доверяю.
Глухой меня услышит и поймет.
Я знаю, что полыни горше мед.
Но как понять, где правда, где причуда?
А сколько истин? Потерял я счет.
Я всеми признан, изгнан отовсюду.

Не знаю, что длиннее — час иль год,
Ручей иль море переходят вброд?
Из рая я уйду, в аду побуду.
Отчаянье мне веру придает.
Я всеми принят, изгнан отовсюду.

741. ИЗ «БОЛЬШОГО ЗАВЕЩАНИЯ»

Я знаю, что вельможа и бродяга,
Святой отец и пьяница поэт,
Безумец и мудрец, познавший благо
И вечной истины спокойный свет,
И щеголь, что как кукла разодет,
И дамы — нет красивее, поверьте,
Будь в ценных жемчугах они иль нет,
Никто из них не скроется от смерти.

Будь то Парис иль нежная Елена,
Но каждый, как положено, умрет.
Дыханье ослабеет, вспухнут вены,
И желчь, разлившись, к сердцу потечет,
И выступит невыносимый пот.
Жена уйдет и брат родимый бросит,
Никто не выручит, никто не отведет
Косы, которая, не глядя, косит.

Скосила — и лежат белее мела,
Нос длинный заострился, как игла,
Распухла шея, и размякло тело.
Красавица, нежна, чиста, светла,
Ты в холе и довольстве век жила,
Скажи, таков ли твой ужасный жребий —
Кормить собой червей, истлеть дотла?
— Да, иль живой уйти, растаять в небе.

742. БАЛЛАДА И МОЛИТВА

Ты много потрудился, Ной,
Лозу нас научил сажать,
При сыновьях лежал хмельной.
А Лот, отведав кружек пять,
Не мог понять, где дочь, где мать.
В раю вам скучно без угара,
Так надо вам похлопотать
За душу стряпчего Котара.

Он пил, и редко по одной,
Ведь этот стряпчий вам под стать,
Он в холод пил, и пил он в зной,
Он пил, чтоб лечь, он пил, чтоб встать,
То в яму скок, то под кровать.
О, только вы ему под пару,
Словечко надо вам сказать
За душу стряпчего Котара.

Вот он стоит передо мной,
И синяков не сосчитать,
У вас за голубой стеной
Небось вода и тишь да гладь,
Так надо стряпчего позвать,
Он вам поддаст немного жара,
Уж постарайтесь постоять
За душу стряпчего Котара.
Его на небо надо взять,
И там, по памяти по старой,
С ним вместе бочку опростать
За душу стряпчего Котара.

743. ИЗ ЖАЛОБ ПРЕКРАСНОЙ ОРУЖЕЙНИЦЫ

Где крепкие, тугие груди?
Где плеч атлас? Где губ бальзам?
Соседи и чужие люди
За мной бежали по пятам,
Меня искали по следам.
Где глаз манящих поволока?
Где тело, чтимое как храм,
Куда приходят издалёка?

Гляжу в тоске — на что похожа?
Как шило нос, беззубый рот,
Растрескалась, повисла кожа,
Свисают груди на живот.
Взгляд слезной мутью отдает,
Вот клок волос растет из уха.
Самой смешно — смерть у ворот,
А ты всё с зеркалом, старуха.

На корточках усевшись, дуры,
Старухи все, в вечерний час
Мы раскудахчемся, как куры,
Одни, никто не видит нас,
Всё хвастаем, в который раз,

Когда, кого и как прельстила.
А огонек давно погас —
До ночи масла не хватило.

744. БАЛЛАДА ПРЕКРАСНОЙ ОРУЖЕЙНИЦЫ ДЕВУШКАМ ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ

Швея Мари, в твои года
Я тоже обольщала всех.
Куда старухе? Никуда.
А у тебя такой успех.
Тащи ты и хрыча и шкета,
Тащи блондина и брюнета,
Тащи и этого и тех.
Ведь быстро песенка допета,
Ты будешь как пустой орех,
Как эта стертая монета.

Колбасница, ты хоть куда,
Колбасный цех, сапожный цех —
Беги туда, беги сюда,
Чтоб сразу всех и без помех!
Но не зевай, покуда лето,
Никем старуха не согрета,
Ни ласки ей и ни утех,
Она лежит одна, отпета,
Как без вина прокисший мех,
Как эта стертая монета.

Ты, булочница, молода,
Ты говоришь — тебе не спех,
А прозеваешь — и тогда
Уж ни прорух, и ни прорех,
И ни подарков, ни букета,
Ни ночи жаркой, ни рассвета,
Ни поцелуев, ни потех,
И ни привета, ни ответа,
А позовешь — так смех и грех,
Как эта стертая монета.

Девчонки, мне теперь не смех,
Старуха даром разодета,
Она как прошлогодний снег,
Как эта стертая монета.

745. БАЛЛАДА, В КОТОРОЙ ВИЙОН ПРОСИТ У ВСЕХ ПОЩАДЫ

У солдата в медной каске,
У монаха и у вора,
У бродячего танцора,
Что от Троицы до Пасхи
Всем показывает пляски,
У лихого горлодера,
Что рассказывает сказки,
У любой бесстыжей маски
Шутовского маскарада —
Я у всех прошу пощады.

У девиц, что без опаски,
Без оттяжки, без зазора
Под мостом иль у забора
Потупляют сразу глазки,
Раздают прохожим ласки,
У любого живодера,
Что свежует по указке, —
Я у всех прошу пощады.

Но доносчиков не надо,
Не у них прошу пощады.
Их проучат очень скоро —
Без другого разговора
Для показки, для острастки,
Топором, чтоб знали, гады,
Чтобы люди были рады,
Топором и без отласки.
Я у всех прошу пощады.

746. ИЗ «БОЛЬШОГО ЗАВЕЩАНИЯ»

Я душу смутную мою,
Мою тоску, мою тревогу
По завещанию даю
Отныне и навеки Богу
И призываю на подмогу
Всех ангелов — они придут,
Сквозь облака найдут дорогу
И душу Богу отнесут.

Засим земле, что наша мать,
Что нас кормила и терпела,
Прошу навеки передать
Мое измученное тело,

Оно не слишком раздобрело,
В нем черви жира не найдут,
Но так судьба нам всем велела,
И в землю все с земли придут.

747. ПОСЛАНИЕ К ДРУЗЬЯМ

Ответьте горю моему,
Моей тоске, моей тревоге.
Взгляните: я не на дому,
Не в кабаке, не на дороге
И не в гостях, я здесь — в остроге.
Ответьте, баловни побед,
Танцор, искусник и поэт,
Ловкач лихой, фигляр хваленый,
Нарядных дам блестящий цвет,
Оставите ль вы здесь Вийона?

Не спрашивайте почему,
К нему не будьте слишком строги,
Сума кому, тюрьма кому,
Кому роскошные чертоги.
Он здесь валяется, убогий,
Постится, будто дал обет,
Не бок бараний на обед,
Одна вода да хлеб соленый,
И сена на подстилку нет,
Оставите ль вы здесь Вийона?

Скорей сюда, в его тюрьму!
Он умоляет о подмоге,
Вы не подвластны никому,
Вы господа себе и боги.
Смотрите — вытянул он ноги,
В лохмотья жалкие одет.
Умрет — вздохнете вы в ответ
И вспомните про время оно,
Но здесь, средь нищеты и бед,
Оставите ль вы здесь Вийона?

Живей, друзья минувших лет!
Пусть свиньи вам дадут совет.
Ведь, слыша поросенка стоны,
Они за ним бегут вослед.
Оставите ль вы здесь Вийона?

748. БАЛЛАДА ИСТИН НАИЗНАНКУ

Мы вкус находим только в сене
И отдыхаем средь забот,
Смеемся мы лишь от мучений,
И цену деньгам знает мот.
Кто любит солнце? Только крот.
Лишь праведник глядит лукаво,
Красоткам нравится урод,
И лишь влюбленный мыслит здраво.

Лентяй один не знает лени,
На помощь только враг придет,
И постоянство лишь в измене.
Кто крепко спит, тот стережет,
Дурак нам истину несет,
Труды для нас — одна забава,
Всего на свете горше мед,
И лишь влюбленный мыслит здраво.

Коль трезв, так море по колени,
Хромой скорее всех дойдет,
Фома не ведает сомнений,
Весна за летом настает,
И руки обжигает лед.
О мудреце дурная слава,
Мы море переходим вброд,
И лишь влюбленный мыслит здраво.

Вот истины наоборот:
Лишь подлый душу бережет,
Глупец один рассудит право,
И только шут себя блюдет,
Осел достойней всех поет,
И лишь влюбленный мыслит здраво.

749. СПОР МЕЖДУ ВИЙОНОМ И ЕГО ДУШОЮ

— Кто это? — Я. — Не понимаю, кто ты?
— Твоя душа. Я не могла стерпеть.
Подумай над собою. — Неохота.
— Взгляни — подобно псу, — где хлеб, где плеть,
Не можешь ты ни жить, ни умереть.
— А отчего? — Тебя безумье охватило.
— Что хочешь ты? — Найди былые силы.
Опомнись, изменись. — Я изменяюсь.

— Когда? — Когда-нибудь. — Коль так, мой милый,
Я промолчу. — А я, я обойдусь.

— Тебе уж тридцать лет. — Мне не до счета.
— А что ты сделал? Будь умнее впредь.
Познай! — Познал я всё, и оттого-то
Я ничего не знаю. Ты заметь,
Что нелегко отпетому запеть.
— Душа твоя тебя предупредила.
Но кто тебя спасет? Ответь. — Могила.
Когда умру, пожалуй, примирюсь.
— Поторопись. — Ты зря ко мне спешила.
— Я промолчу. — А я, я обойдусь.

— Мне страшно за тебя. — Оставь свои заботы.
— Ты — господин себе. — Куда себя мне деть?
— Вся жизнь — твоя. — Ни четверти, ни сотой.
— Ты в силах изменить. — Есть воск и медь.
— Взлететь ты можешь. — Нет, могу истлеть.
— Ты лучше, чем ты есть. — Оставь кадило.
— Взгляни на небеса. — Зачем? Я отвернусь.
— Ученье есть. — Но ты не научила.
— Я промолчу. — А я, я обойдусь.
— Ты хочешь жить? — Не знаю. Это больно.
— Опомнись! — Я не жду, не помню, не боюсь.
— Ты можешь всё. — Мне всё давно постыло.
— Я промолчу. — А я, я обойдусь.

750. РОНДО

Того ты упокой навек,
Кому послал ты столько бед,
Кто супа не имел в обед,
Охапки сена на ночлег,
Как репа гол, разут, раздет —
Того ты упокой навек!

Уж кто его не бил, не сек?
Судьба дала по шее, нет,
Еще дает — так тридцать лет.
Кто жил похуже всех калек —
Того ты упокой навек!

751. ЭПИТАФИЯ, НАПИСАННАЯ ВИЙОНОМ ДЛЯ НЕГО И ЕГО ТОВАРИЩЕЙ В ОЖИДАНИИ ВИСЕЛИЦЫ

Ты жив, прохожий. Погляди на нас.
Тебя мы ждем не первую неделю.
Гляди — мы выставлены напоказ.
Нас было пятеро. Мы жить хотели.
И нас повесили. Мы почернели.
Мы жили, как и ты. Нас больше нет.
Не вздумай осуждать — безумны люди.
Мы ничего не возразим в ответ.
Взглянул и помолись, а Бог рассудит.

Дожди нас били, ветер тряс и тряс,
Нас солнце жгло, белили нас метели.
Летали вороны — у нас нет глаз.
Мы не посмотрим. Мы бы посмотрели.
Ты посмотри — от глаз остались щели.
Развеет ветер нас. Исчезнет след.
Ты осторожней нас живи. Пусть будет
Твой путь другим. Но помни наш совет:
Взглянул и помолись, а Бог рассудит.

Господь простит — мы знали много бед.
А ты запомни — слишком много судей.
Ты можешь жить — перед тобою свет,
Взглянул и помолись, а Бог рассудит.

752. БАЛЛАДА ПРИМЕТ

Я знаю, кто по-щегольски одет,
Я знаю, весел кто и кто не в духе,
Я знаю тьму кромешную и свет,
Я знаю — у монаха крест на брюхе,
Я знаю, как трезвонят завирухи,
Я знаю, врут они, в трубу трубя,
Я знаю, свахи кто, кто повитухи,
Я знаю всё, но только не себя.

Я знаю летопись далеких лет,
Я знаю, сколько крох в сухой краюхе,
Я знаю, что у принца на обед,
Я знаю — богачи в тепле и в сухе,
Я знаю, что они бывают глухи,
Я знаю — нет им дела до тебя,

Я знаю все затрещины, все плюхи,
Я знаю всё, но только не себя.

Я знаю, кто работает, кто нет,
Я знаю, как румянятся старухи,
Я знаю много всяческих примет,
Я знаю, как смеются потаскухи,
Я знаю — проведут тебя простухи,
Я знаю — пропадешь с такой, любя,
Я знаю — пропадают с голодухи,
Я знаю всё, но только не себя.

Я знаю, как на мед садятся мухи,
Я знаю смерть, что рыщет, всё губя,
Я знаю книги, истины и слухи,
Я знаю всё, но только не себя.

753. БАЛЛАДА О ДАМАХ БЫЛЫХ ВРЕМЕН

Скажите, где, в какой стране
Таис и Флоры сладостные тени?
И где приявшая конец в огне
Святая Девственица — дщерь Лоррени?
Где нимфа Эхо, чей напев весенний
Тревожил речки тихий брег,
Чья красота всех совершенней?
Но где же прошлогодний снег?

Где Берта и Алиса — где они?
О них мои томительные пени.
Где дама, плакавшая в тишине,
Что Буридана утопила в Сене?
О, где, подобны легкой пене?
Где Элоиза, из-за коей век
Окончил Пьер под схимой отречений?
Но где — где прошлогодний снег?

Я королеву Бланш узрю ль во сне?
По песням равная сирене,
Что запевала на морской волне
В каком краю каких пленений?
Еще спрошу о сладостной Елене.
О, дева дев, кто их расцвет пресек?
И где они — владычицы видений?
Но где же — где прошлогодний снег?

Послание

Принц, всё проходит в быстрой смене,
Но пусть припев сей прозвучит навек —
Тщетой припоминаний и томлений:
Но где же — где прошлогодний снег?

754. БАЛЛАДА ВИЙОНА К ТОЛСТОЙ МАРГО

Люблю красотку я, служу ей страстно,
Но не дурак я, не простец смешной.
Она на всякий вкус, для всех прекрасна,
Обут и сыт из-за нее одной.
Приходит гость — беру кувшин большой,
Несу воды, не говоря ни слова,
Им хлеб даю, плоды, вина густого.
Коль платит хорошо — кричу потом:
«Как захотите, приходите снова
В блудилище, где вместе мы живем»

Но иногда взглянуть на нас опасно —
Коль без гроша Марго придет домой.
Я видеть не могу ее! Она ужасна!
Беру наряды все ее — постой!
Коль так, я всё отдам за золотой!
Тут начинается, она средь рева
Кричит, что не отдаст свои обновы.
Я ей даю по морде кулаком
И ставлю на щеке пятак багровый
В блудилище, где вместе мы живем.

. . . . . .
Потом мир заключен, она рукой
Мне ляжку гладит — «Ты милашка мой».
. . . . . .
И пьяные мы спим мертвецким сном.
Всю ночь мычит проклятая корова
В блудилище, где вместе мы живем.

Послание

Что ветер, снег? Мне хлеб всегда готовый.
Я жулик, и она нашла такого.
Кто лучше? Хороши они вдвоем!
И, верьте, рыбка стоит рыболова
В блудилище, где вместе мы живем.

755. ЧЕТВЕРОСТИШИЕ, КОТОРОЕ НАПИСАЛ ВИЙОН, ПРИГОВОРЕННЫЙ К ПОВЕШЕНИЮ

Я — Франсуа, чему не рад.
Увы, ждет смерть злодея,
И сколько весит этот зад,
Узнает скоро шея.

Пьер де Ронсар

756

Старухой после медленного дня,
Над пряжей, позабывши о работе,
Вы нараспев стихи мои прочтете:
— Ронсар в дни юности любил меня.

Служанка, голову от сна клоня
И думая лишь о своей заботе,
На миг очнется. Именем моим вспугнете
Вы двух старух у зимнего огня.

Окликнете — ответить не сумею;
Я буду мертвым, под землей истлею.
И, старая, вы скажете, грустя:

— Зачем его любовь я отвергала?
Вот роза расцветает, час спустя
Ее не будет — доцвела, опала

Жоакен Дю Белле

СОНЕТЫ ИЗ КНИГИ «ОЛИВА»

757

Голубка над кипящими валами
Надежду обреченным принесла —
Оливы ветвь. Та ветвь была светла,
Как весть о мире с тихими садами.

Трубач трубит. Несет знаменщик знамя.
Кругом деревни сожжены дотла.

Война у друга друга отняла.
Повсюду распри и пылает пламя.

О мире кто теперь не говорит?
Слова красивы и посулы лживы.
Но я гляжу на эту ветвь оливы:

Моя надежда, мой зеленый щит,
Раскинь задумчивые ветви шире
И обреченным ты скажи о мире!

758

Уж ночь на небо выгоняла стадо
Своих блуждающих косматых звезд,
И ночи конь, вздымая черный хвост,
Уж несся вниз, в подземную прохладу.

Уж в Индии, встревожены и рады,
Перекликались сонмы сонных звезд.
Всё розовело. Трав был слышен рост.
Туманов плотных дрогнула ограда.

Тогда, вся в жемчуге, светясь, горя,
Вдруг показалась новая заря.
И день, пристужен смутным ожиданьем,

Далекой Индии большой Восток
И пыль анжуйских голубых дорог
Залил своим как бы двойным сияньем.

СОНЕТЫ ИЗ КНИГИ «ДРЕВНОСТИ РИМА»

759

Увидев Рим с холмами неживыми,
Безмолвствует в смятенье пилигрим:
Нагромождение камней пред ним.
Напрасно Рим найти он тщится в Риме.

Был пышен Рим и был непобедим,
Он миром правил. В серо-синем дыме —
Обломки славы, щебень. Где же Рим?
Уж Рима нет, осталось только имя.

Он побеждал чужие города,
Себя он победил — судьба солдата.
И лишь несется, как неслась когда-то,

Большого Тибра желтая вода.
Что вечным мнилось, рухнуло, распалось.
Струя поспешная одна осталась.

760

Повсюду славен, повсеместно чтим,
С поверженными, праздными богами,
С убогим мусором в разбитом храме,
Нам открывается великий Рим.

Был блеск его уму непостижим,
Беседовали башни с небесами,
И вот, расщеплен, он лежит пред нами,
Он нас томит ничтожеством своим.

Где слава цезарей, рабов работа,
Побед кровавых пышные ворота,
Героев рой, бессмертия ключи?

Всё унесли века. Страшней нет власти.
Я говорю себе: коль эти страсти
Испепелило время, промолчи.

761

Пришельца потрясает запустенье.
Те арки, что страшили небеса,
И дерзкий мост, и мрамора леса —
Пожарище, камней нагроможденье.

Но этот прах — источник вдохновенья;
Еще звучат былого голоса,
И зодчий, открывая чудеса,
Возносит к небу дивные строенья.

Не думайте, что всё окрест мертво,
Колонны рухнули, не мастерство.
Обманчивому облику не верьте;

Вот он — веками истребленный Рим,
Он воскресает, он неистребим,
Рожденный страстью, он сильнее смерти.

762

Я не берусь проникнуть в суть природы,
Уму пытливому подать совет,
Исследовать кружение планет,
Архитектуру мира, неба своды.

Не говорю про битвы, про походы.
В моих стихах высоких истин нет,
В них только сердца несколько примет,
Рассказ про радости и про невзгоды.

Не привожу ни доводов, ни дат.
Потомкам не твержу, как жили предки.
Негромок я, цветами не богат.

Мои стихи — случайные заметки.
Но не украшу, не приглажу их —
В них слишком много горестей моих.

763

Льстецы покажут нам искусство лести,
Влюбленные раскроют сердца страсть,
Хвастун свой подвиг приукрасит всласть,
Вздохнет пройдоха о доходном месте.

Ревнивец будет бурно жаждать мести,
Ханжа докажет, что от бога власть,
Подлиза скажет, как к стопам припасть,
Вояка бравый помянет о чести,

Хитрец откроет мудрость дурака,
Дурак его похвалит свысока,
Моряк расскажет, как он плавал в море,

Злословить будут злые языки,
Шутить не перестанут шутники.
Я в горе вырос и прославлю горе.

764

В лесу ягненок блеет — знать,
Овцу зовет. Меня вскормила
Ты, Франция. Кого мне звать?
Ты колыбель, и ты могила.

Меня ты нянчила, учила.
Меняют стих, меняют стать.
Но как найти другую мать?
Кому ты место уступила?

Зову, кричу, а толка нет:
Лишь эхо слышу я в ответ.
Другим тепло, другим отрада,

А мне зима, а мне сума,
И волчий вой сведет с ума.
Я — тот, что отстает от стада.

765

Служу — я правды от тебя не прячу, —
Хожу к банкирам, слушаю купцов.
Дивишься ты — на что я годы трачу,
Как петь могу, где время для стихов.

Поверь, я не пою, в стихах я плачу,
Но, сам заворожен звучаньем слов,
Я до утра слагать стихи готов,
В слезах пою, и не могу иначе.

Так за работою поет кузнец,
Иль, веслами ворочая, гребец,
Иль путник, вдруг припомнив дом родимый,

Так жнец поет, когда невмочь ему,
Иль юноша, подумав о любимой,
Иль каторжник, кляня свою тюрьму.

766

Счастлив, кто, уподобясь Одиссею,
Исколесит полсвета, а потом,
В чужих порядках сведущ, зрел умом,
На землю ступит, что зовет своею.

Когда ж узрю Луару, что лелею,
Мою Луару, мой убогий дом
И дым над крышей в небе голубом?
Я не хочу величья Колизея.

Не мил мне мрамор. Как ни дивен Рим,
Он не сравнится с домиком моим.
На что бы ни глядел и ни был где бы,

Передо мной не боги на горе,
Не быстрый Тибр, а милая Лире
И Франции единственное небо.

767

Хочу я верить, а кругом неверье.
Свободу я люблю, но я служу.
Слова чужие нехотя твержу,
Который год ряжусь в чужие перья.

Льстецы трусливо шепчутся за дверью,
Вельможа лжет вельможе, паж — пажу.
Не слышу правды, правды не скажу,
Хожу, твержу уроки лицемерья.

Ищу покоя, а покоя нет.
Я из одной страны спешу в другую
И тотчас о покинутой тоскую.

Стихи люблю, а мне звучит в ответ
Всё та же речь фальшивая, пустая, —
Святоши ложь, признанья краснобая.

768

Зачем глаза им? Ведь посмотрит кто-то,
Доложит. Уши им зачем? Для сна?
Они не видят горя, им видна
Доспехов и трофеев позолота.

Кто плачет там? Им воевать охота.
Страна измучена, разорена,
Но между ними и страной стена.
Еще поцарствовать — вот их забота.

Страна в слезах. У них свои игрушки:
Знамена, барабаны, трубы, пушки.
Приказ готов. Оседлан быстрый конь.

Так, на холме король троянский стоя
Глядел, как перед ним горела Троя,
И, обезумев, прославлял огонь.

Поль Верлен

769. СЕНТИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОГУЛКА

По небу струились закатные чары,
И ветер, слабея, качал ненюфары,
Большие цветы на уснувших прудах
Печально белели в густых тростниках.

Я шел одинокий и думал тоскливо,
Меня провожали плакучие ивы.
Туман безнадежный над темной водой
Свивался, как призрак, усталый, больной.

Сливаясь с туманом, с моими слезами,
Пугливые птицы звенели крылами.
Я шел одинокий с печалью моей,
И ивы клонили верхушки ветвей.

Вечерние тени сбегали безмолвно
На черное небо, на блеклые волны,
Одни ненюфары в густых тростниках
Печально белели на тихих прудах.

770. СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР

В покинутом парке, печальном, пустом,
Две скорбные тени проходят вдвоем.

Глаза их погасли, уста побледнели,
Их тихие речи звучат еле-еле.

В покинутом парке, печальном, пустом,
Две тени, встречаясь, грустят о былом.

— Скажи мне, ты помнишь ли счастье былое?
— Зачем вы хотите, чтобы помнил его я?..

— Душа моя снится тебе, и тогда,
Скажи мне, ты плачешь во сне? — Никогда.

— О, прошлая радость тебя не тревожит
И первых признаний восторги? — Быть может...

— И синее небо и вера в сердцах?
— Но вера исчезла в ночных небесах...

Так тихо проходят две скорбные тени,
И ночь только слышит их речи сомнений.

771. СВЕТ ЛУНЫ ТУМАННОЙ...

Свет луны туманной
Серебрит леса.
И стихают странно,
Где-то замирая,
Птичьи голоса.

Нежная, родная!

И под ветром мрачным,
Тихо и лениво,
Над прудом прозрачным
Скорбною листвою
Наклонилась ива.

Погрусти со мною!

Помечтаем вместе,
С высоты небесной
К нам доходят вести
Мира и прощенья.
Это миг чудесный!

Это миг забвенья!

772. ТЕНЬ ДЕРЕВЬЕВ...

Тень деревьев, склоненных над ручьем неживым,
Умирает, как призрак, как дым,
А в кустах, наклонившись над зеркалом вод,
Соловей, засыпая, поет.

Расскажи мне, прохожий, этот вечер, скорбя,
Заставляет скорбеть и тебя;
И как жалобно плачут средь ночной тишины
И твои безнадежные сны?

773. РУКА ПЕЧАЛЬНАЯ ЛАСКАЕТ ПИАНИНО...

Рука печальная ласкает пианино,
И звуки льются медленной волной
И в пахнущей ее духами маленькой гостиной
Летают тихо надо мной.

Какой напев знакомый, но забытый
Так ласково баюкает меня?
Окно в уснувший сад полуоткрыто.
И звуки тихо, плача и звеня,
Как будто умирают на закате дня...

774. СЕРДЦЕ ТИХО ПЛАЧЕТ...

Il pleut doucement sur la ville.

A. Rimbaud

Сердце тихо плачет,
Точно дождик мелкий,
Что же это значит,
Если дождик плачет?

Падая на крыши,
Плачет мелкий дождик,
Плачет тише, тише,
Падая на крыши.

И, дождю внимая,
Сердце тихо плачет.
Отчего — не зная,
Лишь дождю внимая.

И ни зла, ни боли!
Всё же плачет сердце,
Плачет оттого ли,
Что ни зла, ни боли?

775. ПОЛЕЗНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

В марте (знак Овена) начинают сеять
Каротель, капусту и пахучий клевер.
Боронить кончают и в садах навозом
Удобряют землю, подстригают лозы.
Для животных зимний корм окончен, в селах
Матери прилежно лижут пухлых телок.
День на час и пятьдесят минут длиннее,
И, когда по вечерам едва темнеет,
Козьи пастухи, отставши на опушке,
Надувая щеки, что-то трубят в дудки,
И овчарка, стадо коз оберегая,
Машет поднятым хвостом и громко лает.

В марте вербное выходит воскресенье.
В детстве мне давали в этот день печенье.
Я к вечерне шел послушный, молчаливый...
Перед службой мать мне говорила:
«У меня на родине цветут оливы...
Под оливами Христос тогда молился...
И за Ним пришла толпа. В Иерусалиме
Люди, плача, повторяли Божье имя,
И Его осленок семенил ногами
По дороге, густо устланной ветвями.
Злые нищие кричали от восторга,
Потому что веровали в Бога,
Женщины дурные делались другими,
Оттого лишь, что Он ехал перед ними...
И Его за солнце люди принимали...
Он умерших воскрешал... Его распяли...»
Тихо плачу я, сжимая зубы,
Вспоминая о вечерней службе,
Как держал кадильницу я в сельском храме
В крестном ходе меж хоругвями, крестами,
И как тихо слушал я кюре седого,
Говорившего нам о страстях Христовых.

Будет хорошо тебе с подругой в марте,
На лугу, где вы найдете темные фиалки,
Вы в тени увидите барвинок, раньше
Цвет его любил Руссо, и одуванчик...
Куреслепы, лютики, густые кашки,
Золотые или белые ромашки.
Анемон, жонкильи, снежные нарциссы
Вас заставят думать о швейцарских высях!
Плющ, полезный для страдавших астмой...

Если у подруги тонкие колени,
Для твоей любви прекрасен свет весенний.
Плечи нежные покажутся светлее,
С головы до ног ее простое тело
Будет как ручей, разлитый в бедрах, белый.

От любви уставши, можно на охоте
Несколько бекасов подстрелить в болоте.

Друг, от городской работы утомленный,
Я зову тебя в приют мой скромный.
Мы не будем спорить об искусстве, жизни,
Но, взглянув в окно на черный сад, на горы
И на стадо коз, идущих мимо,
Ты прочтешь хорошие стихи, в которых
Мне расскажешь о своей любимой.

776

Кто-то тащит на убой телят,
И они на улице мычат.

Пробуют, веревку теребя,
На стене лизать струю дождя.

Боже праведный, скажи сейчас,
Что прощенье будет и для нас,

Что когда-нибудь у райских врат
Мы не станем убивать телят,

А, напротив, изменившись там,
Мы цветы привесим к их рогам.

Боже, сделай, чтоб они, дрожа,
Меньше б чуяли удар ножа.

777

Вот кто славным трудится трудом!
Тот, кто наливает молоко в кувшин,
Тот, кто стережет коров среди долин,
Тот, кто жнет усатый и прямой овес,
Тот, кто рубит тонкий ствол берез,
Тот, кто чинит старый, порванный башмак

Пред семьей счастливой и паршивым псом,
Мирно задремавшим пред огнем,
Тот, кто ткет, чей ночью низкий стук
Раздается, точно крик сверчка вокруг,
Тот, кто выжимает виноградный сок,
Тот, кто сеет в огороде лук, чеснок,
Тот, кто собирает яйца кур...

778

Я читал романы, сборники стихов,
Писанные умными людьми в Париже.
Ах, они не жили у моих ручьев,
Где бекас, купаясь, шелестит и брызжет.
Пусть они приедут поглядеть дроздов,
На пруду опавшие сухие листья,
Маленькие двери брошенных домов,
Ласковых крестьян и уток серебристых
И тогда, с улыбкой трубку закурив,
От тоски своей излечатся, наверно,
Слушая глухой пронзительный призыв
Ястреба, повисшего над ближней фермой.

779. МОЛИТВА, ЧТОБ ВОЙТИ В РАЙ С ОСЛАМИ

Когда Ты, Господи, прикажешь мне идти,
Позволь мне выбрать самому пути;
Я выйду вечером в воскресный день
Дорогой пыльной, мимо деревень,
И, встретивши ослов, скажу: «Я Жамм,
И в рай иду. — И я скажу ослам: —
Пойдемте вместе, нежные друзья,
Что, длинными ушами шевеля,
Отмахивались от ударов мух,
Назойливо кружившихся вокруг».

Позволь к Тебе прийти среди ослов —
Средь тех, что возят фуры паяцов,
Средь тех, что тащат на спине тюки
Иль в маленьких повозочках горшки.
Среди ослиц, что ноги ставят так,
Что трогает вас их разбитый шаг,
Что, пчелами ужалены, должны
На ножках раненых носить штаны.

Позволь прийти мне с ними в райский сад,
Где над ручьями яблони дрожат,
И сделай, Господи, чтоб я в него вошел,
Как много поработавший осел,
Который бедность кроткую несет
К прозрачной чистоте небесных вод

Андре Спир

780. ФРАНЦИИ

О прелестная страна,
Поглотившая столько народов,
Неужели ты хочешь поглотить меня?
Твой язык меняет мою душу;
Ты делаешь мои мысли ясными.
Ты слагаешь уста в улыбку.
И твои выхоленные поля,
И оберегаемые леса,
Леса, в которых больше никому не страшно,
И нежность твоих очертаний,
И плавные реки, и дома, и виноградники...
Я уже почти твой!..
Полюблю ли я скоро твои словесные бои,
Безделушки и ленты,
Кафе и маленькие театры,
Изысканные салоны?
Стану ли я размеренным, как твои огороды?
Томным и расслабленным,
Как стриженные дубы твоих изгородей?
Приникну ли я к земле,
Как твои послушные яблони?
Начну ли я слагать рифмованные стишки
Для милых дам, покрытых кружевами?

Вежливость, ты и меня хочешь сделать пресным!
Шутка, ты хочешь и мою душу сделать удобной!
О скорбь, о гнев, о безумье,
Чем я буду без вас?
Придите, спасите меня
От рассудка этой счастливой страны!

781

Много погибло прекрасных грез
Это над ними плачут ивы
Сладкий Пан любовь и Христос
Умерли Кошки мяучат тоскливо
И я не в силах сдержать своих слез

Я знающий лэ для шателен
И рабов страшные гимны
Для огромных мурен
И злые хвалы для любимой
И романсы для грустных сирен

Я верен как хозяину собака
Как побеги плюща стволам
Как верны запорожские казаки
Набожные в грабеже и в драке
Вере родной и степям

Султан им писал «придите
Склонитесь скорей предо мной
О казаки я ваш повелитель
И мой полумесяц златой
Вы как иго на шее влачите

Станьте моими верными слугами
Покоритесь приказу моему»
Они встретили смехом посланье
И ответили тотчас ему
При огарка тусклом мерцанье

782. КРОКУСЫ

Долина осенью пышна но ядовита
И медленно бредут по ней коровы
Вбирая темный и тягучий яд
От крокусов долины той лиловой
Как крокус пышен и лилов твой взгляд
И в жизнь мою из глаз твоих струится
Такой же медленный и страшный яд

Шумя проходят школьники
В передниках играя на гармонике

Срывают крокусы играющие дети
Срывают крокусы похожие по цвету на твои бо́льшие веки
Которые дрожат под ветром злым
Пастух поет тихонько и покинутые им
Ступая медленно бросают навсегда коровы
Долину зло расцвеченную осенью лиловой

783

Я смело взглянул назад
На трупы моих дней
Они обозначали пройденную мной дорогу
Одни из них сгнили средь флорентийских церквей
Или в лимонных рощах
Которые во всякое время года
Цветут и дают плоды
Другие плакали в тавернах умирая
Где дрожали яркими лепестками
Большие зрячие мулатки
И электрические розы еще раскрываются
В садах моих воспоминаний

Робер Деснос

784. КУПЛЕТЫ УЛИЦЫ СЕН-МАРТЕН

Улица Сен-Мартен у меня была,
Улица Сен-Мартен мне теперь не мила,
Улица Сен-Мартен даже днем темна,
Не хочу от нее и глотка вина.

У меня был друг Платар Андре,
Платара Андре увезли на заре.
Крышу и хлеб мы делили года.
Увезли на заре, кто знает куда.
Улица Сен-Мартен, много крыш и стен.
Но Платар Андре не на Сен-Мартен...

785

Взгляни — у бездны на краю трава,
Послушай песнь — она тебе знакома,
Ее ты пела на пороге дома,
Взгляни на розу. Ты еще жива.

Прохожий, ты пройдешь. Умрут слова,
Глава уйдет разрозненного тома.
Ни голоса, ни жатв, ни водоема.
Не жди возврата. Ты блеснешь едва.
Падучая звезда, ты не вернешься,
Подобно всем, исчезнешь, распадешься,
Забудешь, что звала собой себя.
Материя в тебе себя познала.
И всё ушло, и эхо замолчало,
Что повторяло: «Я люблю тебя».

786

Я так мечтал о тебе,
Я столько шел, столько говорил,
Я так любил твою тень,
Что у меня ничего не осталось от тебя,
Я теперь тень,
Тень среди теней,
Во сто крат больше
Тень всех теней,
Только тень,
Тень будет ходить,
Тень будет приходить
В твой солнечный день...

ИЗ ПОЭЗИИ ИСПАНИИ И ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ

Гонсало из Берсео

787. ЯВЛЕНИЯ БОГОРОДИЦЫ, ЗАПИСАННЫЕ МОНАХОМ ГОНСАЛО ИЗ БЕРСЕО
(ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ)

Близ Толедо жил священник, верил в Бога,
Божьи заповеди соблюдал он строго.
По ночам молился Деве пресвятой,
Звал Христа он солнцем, Мать его — звездой.
Но один порок имел священник рьяный:
Он вино любил и часто шлялся пьяный,
Потеряв рассудок, в кабаках лежал,
Речи безрассудные пастве держал.
Раз зашел священник в кабачок соседний,
И кувшин вина он выпил пред обедней.
На ногах едва стоял, услышав звон,
Тщетно в Божий дом идти пытался он.
Черт решил прикончить пастыря дурного,
Стал быком — рогатый и весьма здоровый,
Кинулся на пьяницу издалека,
И священник вскрикнул, увидав быка:
«Матерь Божия, всех грешников жалея,
Пожалей меня, плохого иерея!»
Богородица сошла на этот крик,
Как ягненок, замер перед нею бык.
Дьявол, обозлившись, гордый и унылый,
Обратился в пса с клыками страшной силы,
На священника он прянул, разъярен.
Иерей издал тогда великий стон:
«Матерь Божия, ты панцирь наш от века!
Пожалей меня, дурного человека!»
Богородица сошла, и пес пред ней
Лег смущенный, малого щенка смирней.
Дьявол обратился в льва, ревя, как трубы,
На священника пошел, оскалив зубы.
И когда приблизился ужасный лев,
Завопил священник, чудище узрев:
«Матерь Божия, звезда и луч единый,
Пожалей, жалея всех, дурного сына!»

Богородица сошла, и грозный лев
Кроток, точно кот, забыл вражду и гнев.
Богоматерь иерею путь казала,
Увела его, свое накинув покрывало,
Пьяного покрыла, уложила спать,
Как ребенка всепрощающая мать.
Молвила ему, исполнена любви:
«Помни — мать печалит каждый грех сыновий,
Не покину я вовек твоей души,
Ради матери опомнись, не греши!»
Плакал иерей: «О свет, из тьмы влекущий!
Дева! Искупленье всякой твари сущей!
Нестыдящая наставница сердец!
О не знающая, где любви конец!»

Хуан Руис

788. О НАРУЖНОСТИ ПРОТОИЕРЕЯ И О ВСТРЕЧЕ С ДОНЬЕЙ ГАРОСОЙ

«О госпожа, — старуха ей сказала.—
Таких красавцев в наше время мало;
Высокий, крепкий, ходит он степенно,
Ступает важно, как павлин надменный,
Большая голова на низкой шее,
Крутые волосы угля чернее,
Нос маленький, а рот большой и алый,
Две алые губы — как два коралла.
Глаза, признаться надо, небольшие,
Но грудь навыкат, ноги молодые,
Широкоплечий, крепконогий, статный,
Всегда любезный и всегда приятный,
Играет на гитаре, знает песни,
Он шутками всех шутников известней.
Кругом мужчин видала я немало,
Но равного ему я не видала.
Люби ж, люби скорей протоиерея!»
Гароса слушала ее, краснея,
И после молвила неосторожно:
«Но где ж его самой увидеть можно?»
Старуха засмеялась: «Как я рада!
Бегу! Ему всё передать мне надо!
Любовь не терпит долгих ожиданий,
Он будет завтра здесь на мессе ранней».
Гароса молвила: «Но, ради Бога,
Пусть будет скромен он, я буду строгой.

О Господи, спаси от хитрой лести!
Я буду завтра здесь, на этом месте».
.....
Во имя Господа, как подобало,
Я был на мессе ранней, и она стояла!
Монахиня молилась, розовея.
О, цвет граната! Дикой серны шея!
О, в грубой рясе нежная черница!
На белой розе эта власяница!
Увы, неотразимо искушенье —
Я согрешил и каялся в смущенье.
Она взглянула, очи — точно свечи.
А сердце плакало от жданной встречи.
Я говорил, она мне говорила,
Я уж любил, она уже любила.
Любовь ее была чиста пред Богом,
Она меня вела и помогла во многом.
Своим постом она меня спасала,
Меня своей молитвой ограждала.
Два месяца спустя моя подруга
Скончалась от тяжелого недуга.
Но слаще смерть сей суеты постылой,
О Боже, душу грешную помилуй!

Хорхе Манрике

789. НА СМЕРТЬ ДОНА РОДРИГО, РЫЦАРЯ ОРДЕНА СВ. ИАКОВА, ЕГО ОТЦА

(Строфы из поэмы)

I

Годы проходят, годы уходят,
Меняется высь, колеблется твердь.
Зри кругом,
Как жизнь проходит,
Как приходит смерть
Тайком,
Как мало мы радости знаем,
Как быстро приходит расплата,
Гляди —
Как мнится нам раем
Всё, что было когда-то
Позади.

III

Наша жизнь — лишь реки,
А смерть берет, точно море,
Столько рек,
Туда уходят навеки
Наша радость и горе —
Чем жил человек.
Туда уходит богатый,
И нищий уходит тоже.
Средь этих вод
Они, что были иными когда-то,
Как капли друг с другом схожи,
И кто разберет?

V

Сей мир — лишь дорога
К иному, где нет тревоги
И нет забав.
Тщись же пройти его мудро и строго,
Не спутав дороги
И не упав.
Рождаясь, мы путь начинаем,
Мы идем в годы жизни,
Мы кончаем путь
Лишь тогда, когда умираем,
Умирая, приходим к некой отчизне,
Чтоб уснуть.

VII

Всё, что мы жаждем, всё, что мы ищем,
Мгновенно и тленно,
Всё это прах.
И мы подобны безумным нищим,
Которые ищут струи сокровенной
В песках.
Вот старец! Где его гибкость стана,
Легкий смех и забавы,
Юные года?
Они увяли слишком рано,
Как вянут молодые травы
В холода.

XII

Все утехи и радости плоти,
Всё, что нам надо

Для сердец, —
Что это, если не стая гончих на охоте,
А впереди засада
И конец.
Мы несемся, друг друга обгоняем,
Спешим напрасно
Жить.
Когда же ловушку мы замечаем,
То места нет, чтоб сей бег ужасный
Остановить.

XIV

Были короли великой власти,
О которых мы знаем по изображеньям
Былым.
Были судьбы их полны страсти.
Они исчезли, как над селеньем
Дым.
Были императоры и Папы Рима.
Смерть вошла, когда надо,
В дворец
И увела их от власти мнимой,
Как будто пасли они только стадо
Овец.

XV—XVII

Где столь прославленные герои?
Рыцари в сече? Короли на троне?
Где их стан?
Где победители Трои?
Где инфанты Арагонии?
Где дон Хуан?
Где звонкие песни и лиры?
Где певцы, что бродили, храбрых прославляя,
По всей стране?
Где пиры? И где турниры?
Что они, если не зелень сухая
На гумне?
Дам великолепные наряды,
Пена кружев и горностая
Снега,
Дворцов порфировых фасады,
Короны, что горели, золотом блистая,
И жемчуга,

Камни цены небывалой,
Кони, взращенные в холе,
Садов краса, —
Что с ними ныне стало?
Что это, если не в поле
Роса?

XXIII

Столько именитых баронов,
Графов, полных отваги,
Князей, —
Как смерть не побоялась стражи и заслонов,
Их богатств, их славы, их верной шпаги,
Их друзей?
Заключавшие мир, начинавшие войны,
Сеявшие грозы
И страх
Столь прославлены, столь достойны.
Что они, если не высохшие слезы
На очах?

XXV

Вот храбрый рыцарь дон Родриго,
Он горел великой любовью
И враждой.
Свергая мавров проклятое иго,
Он кропил поле своей кровью.
Жизнь его — бой.
Пусть недруги вспомнят в испуге,
Как он Крест прославил
Огнем побед,
И мы да вспомним про его заслуги
Теперь, когда он навеки оставил
Сей свет.

XXVI

Какой друг друзьям верным,
Какой глава семье обширной
И слугам,
Какой враг неверным,
Какой защитник обители мирной
И дам,
Какая мудрость для молчаливых,
Для коварных, честь потерявших,

Какой гнев,
Какой язык для болтливых и всё испытавших —
Лев!

XXIX

Не богатство сплело ему лавры,
Он золота не искал на чужбине,
Был пуст его дом.
Но пред ним трепетали мавры,
Ибо он брал города и твердыни
Мечом.
Кому не известна его отвага?
Он смело кидался навстречу неверным,
Не сгоряча,
Но зная, что в этом высшее благо,
Ибо он был рыцарем верным
Меча.

XXXIII

Итак, столько пешек передвинув
На шахматном поле
И страсть утоля,
Итак, низвергнув столько властелинов,
Сражаясь по доброй воле
За короля,
Итак, изведав разные испытанья,
Которых перечислить нет сил
Теперь,
Он заперся в своем замке Оканье,
И смерть тогда его посетила,
Стукнув в дверь.

<XXXIV>

Смерть

Сказала б, Рыцарь, смелый,
Ты сражался храбро и исступленно,
Ты побеждал,
Ныне ты кончил земное дело,
Гляди, как путь, тобой завершенный,
Жалок и мал.
Оставь сей мир и его утехи,
Как жалкие бредни,
Как сон ночной.

Откинь свой меч, сними доспехи
И, полон веры последней,
Иди за мной!

<XXXVIII>

Рыцарь отвечает:

Я в этой жизни знал немного,
Брел, как ночью черной,
Слепцом.
Но крепко верил я в Бога,
И воля моя была Ему покорна
Во всем.
Я умираю с верой чудной,
Ибо человеку безумно
Хочется жить,
Когда Господь его хочет от жизни скудной,
Трудной и шумной
Освободить.

<XXXIX> Молитва

Ты, ради нашего спасенья,
Принял человеческое имя,
Чтоб смерть оборотъ,
Ты принял земное успенье
И сам слился с делами людскими,
И познал плоть.
Ты выдержал все мучения
Без единого крика,
Не стеня.
Не за дела мои или моленья,
Но по твоей милости великой
Прости меня!

<XL> Заключение

Так, при полном сознанье,
Он после тяжкого недуга
Собрал всех вокруг.
И были при последнем прощанье
Его сыновья, его супруга
И много слуг.
Тогда мудро и покойно
Он тому отдал душу обратно,
Кто ее дал
И кто, если она достойна,
Для жизни ныне незакатной
Ее взял.

790. МАДРИД (1936)

Мадрид, одинокий и гордый,
июль напал на твое веселье
бедного улья,
на твои светлые улицы,
на твой светлый сон.

Черная икота военщины,
прибой яростных ряс,
грязные воды
ударились о твои колени.
Раненый,
еще полный сна,
охотничьими ружьями, камнями
ты защищался,
ты бежал,
роняя кровь, как след корабля,
с ревом прибоя,
с лицом, навеки изменившимся
от цвета крови,
подобный звезде из свистящих ножей.
Когда в полутемные казармы, когда в ризницы измены
вошел твой клинок,
ничего не было, кроме тишины рассвета,
кроме шагов с флагами,
кроме кровинки в твоей улыбке.

791. ОБЪЯСНЕНИЕ

Вы спросите: где же сирень,
где метафизика, усыпанная маками,
где дождь, что выстукивал слова,
полные пауз и птиц?
Я вам расскажу, что со мною случилось.

Я жил в Мадриде, в квартале, где много колоколен,
много башенных часов и деревьев.

Оттуда я видел
сухое лицо Кастилии:
океан из кожи.

Мой дом называли «домом цветов»:
повсюду цвела герань.
Это был веселый дом
с собаками и с детьми.

Помнишь, Рауль?
Помнишь, Рафаэль?
Федерико — под землей, — помнишь балкон?
Июнь метал цветы в твой рот.
Всё окрест было громким:
горы взволнованных хлебов,
базар Аргуэльес и памятник,
как чернильница, среди рыбин.

Оливковое масло текло в жбаны.
Сердцебиение ног заполняло улицы.
Метры, литры. Острый настой жизни.
Груды судаков. Крыши
и усталая стрелка на холодном солнце.
Слоновая кость картошки,
а помидоры до самого моря.

В одно утро всё загорелось.
Из-под земли вышел огонь.
Он пожирал живых.
С тех пор — огонь,
с тех пор — порох,
с тех пор — кровь.

Разбойники с марокканцами и бомбовозами,
разбойники с перстнями и с герцогинями,
разбойники с монахами, благословлявшими убийц,
пришли,
и по улицам кровь детей
текла просто, как кровь детей.

Шакалы, от которых отступятся шакалы,
гадюки — их возненавидят гадюки,
камни — их выплюнет репейник.

Я видел, как в ответ поднялась кровь Испании,
чтобы потопить вас
в одной волне
гордости и ножей.

792

Полковники из терракоты,
Политиков темный лай,
Булочка с маслом и кофе.
Гитара моя, играй!

Чиновники все на месте,
Берут охотно на чай
Двести долларов в месяц.
Гитара моя, играй!

Янки дают нам кредиты,
Они купили наш край —
Родина всего превыше.
Гитара моя, играй!

Болтают вовсю депутаты,
Сулят горемыке рай,
А за всем этим сахар и сахар...
Гитара моя, играй!

793. МОЯ РОДИНА КАЖЕТСЯ САХАРНОЙ

Моя родина кажется сахарной,
Но сколько горечи в ней!
Моя родина кажется сахарной,
Она из зеленого бархата,
Но солнце из желчи над ней.
А небо над ней — как чудо:
Ни грома, ни туч, ни бурь.
Ах, Куба, скажи мне, откуда,
Ах, Куба, скажи мне, откуда
Взяла ты эту лазурь?

Птица прилетела неживая,
Прилетела с песенкой печальной.
Ах, Куба, тебя я знаю!
На крови растут твои пальмы,
Слезы — вода голубая.

За твоей улыбкой рая —
Ах, Куба, тебя я знаю —
За твоей улыбкой рая
Вижу я слезы и кровь,

За твоей улыбкой рая —
Слезы и кровь.

Люди работают в поле,
Похоронены в темной могиле,
Они умерли до того, как жили,
Люди, что работают в поле.
А те, что живут в городах,
Бродят вечно голодные,
Просят: «Подайте грош», —
Без гроша и в раю умрешь.
Они бродят вечно голодные,
Те, что живут в городах,
Даже если носят шляпы модные
И танцуют на светских балах.

Была испанской,
Стала — янки.
Да, сударь, да.
Была испанской,
Стала — янки.
Для бедных — беда,
Земля родная и голая,
Земля чужая и голодная.

Если протягивают руку
Робко или смело,
На радость или на муку,
Черный или белый,
Индеец или китаец —
Рука руку знает,
Рука руке отвечает.

Американский моряк —
Хорошо! —
В харчевне порта—
Хорошо! —
Показал мне кулак —
Хорошо!
Но вот он валяется мертвый—
Американский моряк,
Тот, что в харчевне порта
Показал мне кулак.
Хорошо!

794. ВЕНЕСУЭЛА

Она — как сало,
белее мела,
луна большая
Венесуэлы.
И тот же голос
поет усердно
про тот же голод
того же негра
и про рубашку —
она из пепла,
про печь без углей —
она ослепла.
Земля — и койка
и одеяло.
Как это грустно!
Начнем сначала:
она устала
и побледнела,
луна большая
Венесуэлы.

ПРИМЕЧАНИЯ

Стихотворное наследие Эренбурга включает около 800 стихотворений (из них примерно 240 написаны после 1938 г.). При жизни Эренбурга вышло 23 книги стихов и поэм, которые в большинстве своем не дублировали друг друга; исключения таковы: сборник «В смертный час» (полностью включал «Молитву о России»), сборник «Кануны» (избранное 1915—1921 гг.), сборники «Стихи о войне», «Дерево» и «Стихи 1938—1958» (содержали в себе часть стихов из предыдущих книг, начиная с «Верности»). Дважды Эренбург включал свои строго отобранные стихи в собрания сочинений (42 стихотворения 1939—1947 гг. в 1953 г. — СС-53 и 132 стихотворения 1915—1958 гг. в 1964 г. — СС-62[1]). Значительная часть подготовленной Эренбургом книги «Новые стихи» была напечатана в СС-62 (т. 9).

Наиболее полно после смерти Эренбурга изданы его поэтические переводы: 185 стихотворений вошли в книгу ТД. Первое посмертное избранное, включавшее 130 стихотворений Эренбурга 1919—1966 гг., вышло в серии «Библиотека советской поэзии» (*Эренбург И.* Стихотворения. М.: Худож. лит., 1972) с предисловием Б. А. Слуцкого (редактор И. Ю. Чеховская). Этот сборник составлен из стихов, включенных в тт. 3 и 9 СС-62 (его редактором также была Чеховская), причем в него вошло всего 5 стихотворений, написанных до 1939 г. В 1977 г. после изнурительной многолетней борьбы, включавшей личное обращение дочери писателя И. И. Эренбург к генсеку ЦК КПСС Л. И. Брежневу, было выпущено издание поэтического наследия Эренбурга БП-77. Эта книга тщательно и долго готовилась составителем Б. М. Сарновым и первоначальным ее комментатором Е. И. Ландау (Алма-Ата), который сразу по завершении работы над примечаниями в 1971 г. покончил с собой после произведенного у него КГБ обыска; рукопись комментариев после этого «исчезла». Комментарии были заказаны редакцией заново, эту работу выполнила библиограф Государственной Публичной библиотеки в Ленинграде Н. Г. Захаренко, пользуясь как выпущенной ГПБ (ныне РНБ) неполной библиографией сочинений Эренбурга (Русские советские писатели. Прозаики: Библиографический указатель. Т. 6, ч. 2. М., 1969) и материалами его личного архива (не все они сохранились до нынешнего времени), так и рядом материалов Е. И. Ландау, предоставленных редакции без права ссылки на них. В книге выдержаны жанровый, а в пределах жанра — строго хронологический принципы составления. После идеологической и жесткой цензуры в книге напечатали 332 стихотворения 1910—1966 гг. (из них 28 впервые), 4 поэмы, трагедию в стихах «Ветер» (1919) и 66 переводов. Текстологическая работа была тщательной; в ней использовались материалы

---

[1] Список условных сокращений см. на с 643—645.

личного архива писателя; в примечаниях к стихам впервые сообщались необходимые сведения о них. Книгу подписали в печать 14 ноября 1977 г.; ее тираж был 40000 экземпляров. В 1982 г. в издательстве «Советская Россия» вышел сборник Эренбурга «Стихотворения», составленный и прокомментированный Г. А. Белой (211 стихотворений 1911—1966 гг. из БП-77; в примечаниях использованы комментарии БП-77 и мемуары ЛГЖ). Из опубликованного после 1985 г. следует выделить представительную подборку 320 избранных стихов Эренбурга (1910—1966 гг.) в т. 1 СС-90, напечатанную без вмешательства цензуры (составление И. И. Эренбург и Б. М. Сарнова, комментарий Б. Я. Фрезинского).

Настоящее издание включает в себя все поэтические книги Ильи Эренбурга, большинство которых давно уже стало библиографической редкостью. В томе напечатано 730 стихотворений (1910—1966 гг.), никогда не переиздававшийся роман в стихах «В звездах» (1919) и 61 переводное стихотворение. (В издание включены лишь избранные поэтические переводы Эренбурга.) Впервые в полном объеме и в соответствии с авторским замыслом публикуется по рукописи книга «Стихи о канунах» (1916). Восстановлены подготовленные Эренбургом, но не изданные книги «Noli me tangere» (1914), «Не переводя дыхания» (1924) и «Новые стихи» (1967). 20 стихотворений публикуются впервые. Все известные нам стихи Эренбурга, как опубликованные, так и неопубликованные, написанные начиная с 1915 г., в настоящий том вошли.

За пределами данного издания, в силу ограниченности его объема, остались драматические произведения в стихах: мистерия «Золотое сердце» (1918), пьеса «Рубашка Бланш» (1918; в соавторстве с А. Н. Толстым), трагедия «Ветер» (1919), поэмы 1943 г., а также ряд опубликованных в периодике стихотворений, главным образом 1910—1912 гг. (читатель легко найдет сведения о них на с. 271—272 указанной выше библиографии Эренбурга и в статье: *Попов В., Фрезинский Б.* Материалы к библиографии И. Г. Эренбурга // De visu. 1993. № 5. С. 75—80). Не вошел в настоящее издание и ряд неопубликованных ранних стихотворений, рукописи которых находятся в архивах РГАЛИ, ИРЛИ, РГБ, РНБ и ГЛМ.

В тех случаях, когда имели место несколько авторских редакций текста, предпочтение отдавалось последней редакции (за исключением случаев очевидного подчинения автора требованиям идеологической цензуры). Тексты печатаются по правилам современной орфографии и пунктуации, за исключением тех случаев, когда особенности авторского правописания имеют стилистическое, смыслоразличительное или орфоэпическое значение. Во многих случаях уточнена датировка произведений, к которой сам Эренбург относился своеобразно, если не сказать небрежно; исправлены и иные ошибки в примечаниях издания БП-77.

В преамбулах к примечаниям приводятся сведения об истории создания книг, об откликах на них критики. Примечания к каждому стихотворению начинаются с текстологической справки, в которой последовательно перечисляются все прижизненные и основные посмертные публикации (включая простые перепечатки), рукописи и

авторизованные машинописи; указывается наличие вариантов (наиболее существенные из них приводятся в примечаниях); даются сведения о творческой истории стихотворения, историко-литературный комментарий, поясняются имена собственные, устаревшие реалии, малопонятные слова и выражения.

В работе над книгой использованы материалы личного архива Эренбурга и его библиотека, его внушительный архив, хранящийся в РГАЛИ (фонд 1204), и архив ГЛМ, а также материалы других архивов и частных собраний. Были использованы также материалы библиографических изысканий Я. З. Бермана, Е. И. Ландау и В. В. Попова (публикации Эренбурга) и В. В. Манукяна (критика). Составитель благодарит Н. Я. Лейбошиц за помощь в толковании французских сюжетов этого тома, а также В. П. Купченко и М. Д. Яснова за полезные сведения. Эта работа в значительной степени основана на результатах продолжавшихся в течение трех с лишним десятилетий разысканий, в ходе которых составитель неизменно пользовался советами, помощью и поддержкой покойной И. И. Эренбург.

Список условных сокращений

АРСП — Антология русской советской поэзии. М., 1957. Т. 1.

АСоК — Авторский экземпляр издания: *Эренбург И.* Стихи о канунах. М., 1916, с восстановлением от руки цензурных изъятий.

АШ — Архив М. М. Шкапской (РГАЛИ. Ф. 2182. Оп. 1. Ед. хр. 543).

Б — *Эренбург И.* Будни. Париж, 1913.

БВЛ — Библиотека всемирной литературы: В 200 т. М.: Худож. лит., 1967—1977. Т. 32: Европейские поэты Возрождения. 1974; Т. 50: Русская поэзия начала XX века. 1977; Т. 52: Советская поэзия. 1977.

БиК — Переписка В. Я. Брюсова с И. Г. Эренбургом // Валерий Брюсов и его корреспонденты (Лит. наследство. Т. 98. Кн. 2. М., 1994).

БП-77 — *Эренбург И.* Стихотворения / Вступ. статья С. С. Наровчатова; Сост. Б. М. Сарнова; Примеч. Н. Г. Захаренко. Л., 1977 (Б-ка поэта, БС).

В — *Эренбург И.* Верность. М., 1941.

ВВГ — Во весь голос: Сб. стихов советских поэтов. М.: Прогресс, 1967.

Веч. — журнал «Вечера». Париж, 1914. № 1, 2.

ВЗ — *Эренбург И.* В звездах. Киев, 1919.

ВЛ — журнал «Вопросы литературы»,

ВСП — альманах «Весенний салон поэтов». М., 1918.

ВСЧ — *Эренбург И.* В смертный час. Киев, 1919.

ГАРФ — Государственный архив Российской Федерации.

ГИХЛ — Государственное издательство «Художественная литература».

ГЛМ — Государственный литературный музей (Москва). Ф. 217. ОФ 3686.

Д — *Эренбург И.* Дерево. М., 1946.

Дет. — *Эренбург И.* Детское. Париж, 1914.

ЕШ — *Штерн Евг.* Сб. русской лирики. СПб., 1913.

Зв. — журнал «Звезда».
Зн. — журнал «Знамя».
ЗР — *Эренбург И.* Зарубежные раздумья. М., 1922.
ЗТ — *Эренбург И.* Звериное тепло. М.; Берлин, 1923.
ИЛ — журнал «Иностранная литература».
ИМЛИ — Институт мировой литературы им. А. М. Горького РАН (Москва).
ИРЛИ — Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН (С.-Петербург).
ИСРП — Избранные стихи русских поэтов. СПб., 1914. Период III. Выпуск II.
ИСРП-Р — Избранные стихи русских поэтов. СПб., 1914. Серия «Россия».
К — *Эренбург И.* Кануны. Берлин, 1921.
КдВ — *Эренбург И.* Книга для взрослых. М., 1992.
КМ — газета «Киевская мысль».
Ков. — альманах «Ковчег». Феодосия, 1920.
Кос. — альманах «Костры». М., 1922. Кн. 1.
КрА —Крымский альбом 1998. Феодосия, 1998. С. 152—163.
ЛГ — Литературная газета.
ЛГЖ — *Эренбург И.* Люди, годы, жизнь. М., 1990. Т. 1—3.
Лд. — журнал «Ленинград».
ЛР — газета «Литературная Россия».
ЛЭ — личный архив И. Г. Эренбурга.
Мн. — Менора: Еврейские мотивы в русской поэзии. М.; Иерусалим, 1993.
Мс. — журнал «Москва».
МоР — *Эренбург И.* Молитва о России. М., 1918.
НМ — журнал «Новый мир».
НРК — журнал «Новая русская книга» (Берлин).
О — *Эренбург И.* Огонь. Гомель, 1919.
Ог. — журнал «Огонек».
Од. — *Эренбург И.* Одуванчики. Париж, 1912.
Окт. — журнал «Октябрь».
ОЛ — *Эренбург И.* Опустошающая любовь. Берлин, 1922.
ПБД — Поэзия большевистских дней. Берлин, 1921.
ПИ — авт. машинопись подборки стихов «Парижская исповедь» (СК).
Пр. — журнал «Простор» (Алма-Ата).
ПРМ — Поэзия революционной Москвы. Берлин, 1922.
ПФ — Поэты Франции. 1870—1913 / Переводы И. Эренбурга. Париж: Гелиос, 1914.
Р-1 — *Эренбург И.* Раздумия. Рига, 1921.
Р-2 — *Эренбург И.* Раздумия. Пг., 1922.
РБ — журнал «Русское богатство».
РГАЛИ — Российский государственный архив литературы и искусства (Москва).
РГБ — Отдел рукописей Российской государственной библиотеки (Москва).
РГИА — Российский государственный исторический архив (С. Петербург).

РМ — журнал «Русская мысль».

РНБ — Отдел рукописей Российской национальной библиотеки (С.-Петербург).

РСП-1 — Русская советская поэзия. М.: ГИХЛ, 1948.

РСП-2 — Русская советская поэзия. М.: ГИХЛ, 1954.

РЦХИДНИ — Российский центр хранения и изучения документов новейшей истории (Москва).

С-10 — *Эренбург И.* Стихи. Париж, 1910.

С-59 — *Эренбург И.* Стихи. 1938—1958. М., 1959.

Св. — *Эренбург И.* Свобода. М., 1943.

СиП — Стихи и поэмы. М.: Правда, 1947.

СК — собрание комментатора.

С-к — журнал «Современник».

СоВ — *Эренбург И.* Стихи о войне. М., 1943.

СоК — *Эренбург И.* Стихи о канунах. М., 1916.

СС-53 — *Эренбург И.* Сочинения: В 5 т. Т. 4. М., 1953.

СС-62 — *Эренбург И.* Собрание сочинений: В 9 т. Т. 3. М., 1964; Т. 5. М., 1965; Т. 9. М., 1967.

СС-90 — *Эренбург И.* Собрание сочинений: В 8 т. Т. 1. М., 1990; Т. 5. М., 1996; Т. 6. М., 1996.

ст. — стих, строка.

ст-ние — стихотворение.

СтСк — *Эренбург И.* Старый скорняк и другие произведения / Составление, послесловие, примечания М. Вайнштейна. Тель-Авив, 1983. Кн. 1.

ТД — Тень деревьев: Стихи зарубежных поэтов в переводе И. Эренбурга / Сост. Л. А. Зониной; Предисл. Б. А. Слуцкого; Примеч. Н. Полянского. М., 1969.

УР — газета «Утро России» (М.).

ФБ — РГБ. Ф. 386 (В. Я. Брюсова). 110. 10.

ФВ-1 — Отрывки из Большого завещания, баллады и разные стихотворения Франсуа Вийона в переводе И. Эренбурга. М., 1916.

ФВ-2 — *Вийон Ф.* Стихи. М., 1963.

ФВ-3 — *Вийон Ф.* Лирика. М., 1981.

ФВ-4 — *Вийон Ф.* Я знаю все, но только не себя. М., 1999.

ФТ-1 — *Эренбург И.* Французские тетради. М., 1958.

ФТ-2 — *Эренбург И.* Французские тетради. М., 1959.

ЦГАЛИ СПб. — Центральный государственный архив литературы и искусстве в С.-Петербурге.

ЦГИА МО — Центральный государственный исторический архив Московской области.

ЦГИА Украины — Центральный государственный исторический архив Украины в Киеве.

Я — *Эренбург И.* Я живу. СПб., 1911.

СТИХИ

Книга «Стихи» (С-10) написана в Брюгге летом 1910 г. (к тому времени в различных российских газетах и журналах было напечатано 16 ст-ний Эренбурга). О возникновении идеи издать написанные в Брюгге стихи отдельной книгой Эренбург рассказал в мемуарах: «Один из приятелей, которому мои стихи понравились, сказал: "В России их вряд ли напечатают — там в каждой редакции свои поэты, но почему тебе не издать книжку в Париже? Это стоит недорого..." Я пошел в русскую типографию на улице Фран-Буржуа. К моему удивлению, хозяин типографии не заинтересовался содержанием книги; хотя он был бундовцем, мои стихи, обращенные к папе Иннокентию VI, его не смутили; он сосчитал строки и сказал, что двести экземпляров обойдутся в полтораста франков. Я поспешил возразить: зачем двести? Я — начинающий автор, с меня хватит и сотни. Типограф объяснил, что самое дорогое — набор, но согласился скинуть двадцать пять франков. <...> Сборник "Стихи" вышел в конце 1910 года. Пятьдесят экземпляров я сдал на комиссию в русский магазин; другие постепенно отправлял различным поэтам в Россию — марки стоили дорого. Вообще расходы были значительными, а приход ничтожным — продано было всего шестнадцать экземпляров» (ЛГЖ. Т. 1. С. 107). В списке книг Эренбурга, напечатанном в декабре 1918 г. в сб. «В смертный час», сообщалось, что «Стихи» еще продаются «у Вольфа», в то время как более поздние изданные в Париже сб. распроданы. Книгу «Стихи» напечатали в парижской типографии «Данциг» не позже августа 1910 г. Как и все последующие парижские издания Эренбурга, «Стихи» предназначались для московского книжного магазина М. О. Вольфа (на книгах печаталась русская цена и в качестве адреса склада издания — московский адрес магазина Вольфа). Как зарубежное издание «Стихи» должны были получить цензурное разрешение на распространение в России. 3 сентября 1910 г. цензор Киевского Временного комитета по делам печати представил сб. Эренбурга в Петербург в Центральный Комитет Иностранной Цензуры, и 7 сентября книга была дозволена к обращению (см.: ЦГИА Украины. Ф. 295. Оп. 1. Ед. хр. 304. Л. 7). Отметим, что вся печатная продукция, поступавшая из-за границы, рассматривалась по представлению цензоров в заседаниях отделов по иностранной цензуре в Варшаве, Риге и Киеве, и эти решения утверждались в Петербурге; небольшая часть печатной продукции рассматривалась цензором в Москве, и соответствующая рец. направлялась на утверждение в Петербург. Случайно ли книга Эренбурга, числившегося в Москве под следствием, рецензировалась не в Москве, а в Киеве — неизвестно, но, судя по документам РГИА, цензуре тогда подвергались тексты, а не авторы.

В письме В. Я. Брюсову (не позднее сентября 1910 г.), сопровождавшем посылку книги «Стихи», Эренбург признавал, что «это лишь ученические опыты, полные ошибок, часть которых я уже осознаю. Целый ряд стихотворений печатать не следовало бы. Во многих — прямое подражание (Вам, Роденбаху, Кузмину и нек. др.). Наконец, ряд неправильностей обезображивает язык стихов». Затем следовал

главный вопрос: «Все же я прошу Вас ответить — есть ли в этих стихах мое? Есть ли в них raison d'ktre (смысл. — *Б. Ф.*)?» (БиК. С. 526). Ответное письмо Брюсова неизвестно, но печатный отклик поэта, в котором он, обозревая тридцать с лишним книг молодых авторов, выделил этот сб. Ильи Эренбурга и «Вечерний альбом» Марины Цветаевой, был несомненно доброжелательным: «Обещает выработаться в хорошего поэта И. Эренбург, дебютирующий небольшой книжкой стихов, изданных в Париже. В его стихах сказывается не столько непосредственное дарование, сколько желание и умение работать. Появляясь в печати в первый раз, он уже обнаруживает настоящее мастерство стиха. Среди молодых, разве одному Гумилеву уступает он в умении построить строфу, извлечь эффект из рифмы, из сочетания звуков. В отличие от большинства начинающих, И. Эренбург не исключительно лирик, он охотно берется за полу-эпические темы, обрабатывая их в форме баллады (в этом отношении тоже напоминая Гумилева). Пока И. Эренбурга тешат образы средневековья, культ католицизма, сочетание религиозности с чувственностью, но эти старые темы он пересказывает изящно и красиво. Строгость его манеры, обдуманность эпитетов, отчетливость и ясность его изложения показывают, что у него есть все данные, чтобы в поэзии достигать поставленных себе целей. Но, вероятно, его стихам всегда останутся присущи два недостатка, которые портят и его первый сборник: холодность и манерность. Довольно резкую противоположность И. Эренбургу представляет Марина Цветаева. Эренбург постоянно вращается в условном мире, созданном им самим, в мире рыцарей, капелланов, трубадуров, турниров; охотнее говорит не о тех чувствах, которые действительно пережил, но о тех, которые ему хотелось бы пережить. Стихи Марины Цветаевой напротив, всегда отправляются от какого-нибудь реального факта, от чего-нибудь действительно пережитого» (РМ. 1911. № 2. С. 232—233). Н. С. Гумилев, не скрывавший, что является учеником Брюсова (см. посвящение на книге «Жемчуга» 1910 г.), публично оспорил его утверждение насчет «всех данных» у автора парижских «Стихов»: «И. Эренбург поставил себе ряд интересных задач: выявить лик средневекового рыцаря, только случайно попавшего в нашу обстановку, изобразить католическую влюбленность в Деву Марию, быть утонченным, создать четкий, изобразительный стих. И ни одной из этих задач не исполнил даже отдаленно, не имея к тому никаких данных» (Аполлон. 1911. № 5. С. 78). Задетый сравнением Эренбурга с собой в статье Брюсова, Гумилев в письме мэтру высказался еще резче: «Меня смутил только Ваш отзыв об Эренбурге. Сколько я его ни читал, я не нашел ничего, кроме безграмотности и неприятного снобизма» (БиК. С. 501). Брюсов ответил на это, напомнив Гумилеву о его собственном недавнем дебюте: «В Эренбурга я поверил по его первым стихам. Продолжаю еще верить. Что у него много слабого — меня не смущает, у кого нет слабого в дебютах?» (БиК. С. 504).

Ничтожный тираж «Стихов», изданных в Париже, не помешал заметить эту книгу в России. Возможно, критиков привлекло именно место издания. «Лучшим комментарием к книжке служит слово "Париж" на ее этикетке. Русская книжка, написанная в Париже...», —

писал по аналогичному случаю — в связи с «Романтическими цветами» Гумилева — И. Анненский (Речь. 1908. 15 декабря). Молодой поэт, выпустивший первую книжку в Париже, и в ней — ни слова о России; явно еврейская фамилия автора и католический культ Девы Марии в его стихах; несомненная религиозность, сочетающаяся со столь же несомненной эротичностью, — тут было на что обратить внимание. Не менее двадцати рецензий появилось на «Стихи» в Петербурге, Москве, Харькове, Киеве, Иркутске, Минске, Томске. «Московская газета», к тому времени трижды печатавшая стихи Эренбурга, 13 сентября 1910 г. первой откликнулась на его книгу, не забывая похвалить себя: «"Московская газета" одной из первых стала печатать стихи талантливого юноши, одною из первых отметила его и, видимо, не ошиблась». Автор рецензии запальчиво утверждал: «Из всего, что появилось за последнее пятилетие на горизонте русской поэзии («Нечаянная радость» и «Снежная Маска» Блока, «Пепел» Белого, «Жемчуга» Гумилева, «Эрос» Вяч. Иванова, «Сети» Кузмина, «Змий» Сологуба... — *Б. Ф.*), я назову самым значительным только что выпущенную небольшую книжку стихов И. Эренбурга». Рецензенты щедро цитировали стихи Эренбурга, соревнуясь в определении источников подражания — и русских, и зарубежных. Первым по справедливости был назван бельгийский символист Жорж Роденбах — автор «Грустных стихов», «Царства молчания» и знаменитого тогда романа «Мертвый Брюгге». В стихах Эренбурга, как писал рецензент, «очень много уныния, мистики и слез и еще больше загробных теней и предсмертных предчувствий. Но вся его тихая меланхолия целиком заимствована у автора "Мертвого Брюгге". <...> Я озаглавил бы всю эту книгу: Под влиянием Роденбаха. <...> К сожалению, очарование, произведенное Роденбахом, чересчур уж долго не покидает автора, и он в тех же роденбаховских тонах начинает оплакивать и Марию Стюарт, и Иннокентия, и свою любовь к Изабелле Оранской. И эта бельгийская стилизованная слезинка, постоянно дрожащая у него на ресницах, придает потешный и наивный характер его напудренным Изабеллам и детскому романтизму их замоскворецкого автора» (Войтоловский Л. Н. Парнасские трофеи // КМ. 1910. 1 октября). Затем в качестве объектов подражания назывались В. Соловьев, Блок, Брюсов, Бальмонт, Сологуб, Кузмин и даже В. Гофман и Ратгауз («заметно сильное влияние» последнего установил в стихах Эренбурга рецензент петербургской газеты «Обозрение театров» — 31 августа 1911). Безымянные, скрывавшиеся за не раскрываемыми литерами, рецензенты «Стихов» высказывались сообразно собственному вкусу и литературным пристрастиям: за что одни хвалили, за то другие бранили, что одни находили в стихах начинающего автора, того другие не видели. «Бесспорно интересный поэт и несомненный художник слова», — писали в приложении к «Ниве» (1910. № 10. С. 296); «Пустота и жеманство в русской поэзии не привьются — это наносное, не наше, а главное вовсе не поэзия», — утверждали в приложении к «Свободным художествам» (Против течения. (СПб.)., 1910. 24 декабря). Отметим в потоке рецензий статью М. А. Волошина «Позы и трафареты» (УР. 1911. 12 февраля), в которой начинающие русские поэты делились на две школы — учеников

Бальмонта («наивная и навязчивая откровенность») и последователей Брюсова («искусственность и холодно-формальный романтизм»). Назвав в качестве типичного ученика брюсовской школы Н. Гумилева, Волошин отнес к ней и еще не знакомого ему лично И. Эренбурга, придав тем самым недостаткам его стихов черты пороков школы: «Типом пошедшим от Брюсова может служить поэт Гумилев, сосредоточивший в себе настолько все типичные черты брюсовской школы, что все остальные представители ее кажутся лишь ослабленными Гумилевыми. Таков И. Эренбург, стихи которого вышли недавно в Париже (точно так же, как "Романтические цветы" Гумилева)». «Впрочем, — завершал разбор стихов Эренбурга Волошин, — как ни смешны позы, идущие от Брюсова, всё же эти поэты никогда не безнадежны настолько, как те, что пошли от Бальмонта. Этот же самый И. Эренбург, — очевидно, еще очень юный человек, — не производит совсем плохого впечатления. У него сильны увлечения дурным стилем, но в его стихах нет вопиющего безвкусия. Он может выписаться, и в смысле техники его нынешние стихи не будут ему бесполезны». Доброжелательную надежду на то, что автору «Стихов» предстоит «серьезное будущее», в тех или иных словах выразило большинство рецензентов.

Ст-ния, вошедшие в С-10 (кроме № 21), опубликованы в ней впервые; в дальнейшем не перерабатывались. Рукописи не сохранились. В наст. изд. печатаются по С-10 с исправлением опечаток в №№ 27, 41 и 45. В примеч. указываются перепечатки.

1. ЕШ -- СС-90. Первая строфа приводится в ЛГЖ (Т. 1. С. 107), предваряемая комментарием: «Русский юноша девятнадцати лет, жадно мечтавший о будущем, оторванный от всего, что было его жизнью, решил, что поэзия — костюмированный бал. Мне действительно тогда казалось, что я создан, скорее, для крестовых походов, нежели для Высшей школы социальных наук. Стихи получались изысканные; мне теперь неловко их перечитывать, но писал я их искренне». Ст-ние цитировалось в семи рец. на С-10; в рец. харьковской газ. «Утро» (1910. 1 октября), подписанной Вл. В., и Н. Чужака «Воскресший рыцарь бледный» (Восточная заря. (Иркутск). 1910. 31 октября), а также в статье М. Волошина «Позы и трафареты» (УР. 1911. 12 февраля) — с постройными комментариями. *Швабы* — германское племя, жившее в Швабии (территория нынешних Швейцарии и Баварии), распавшейся во 2-й пол. XIII в.

2. Цитату из этого ст-ния М. Волошин в статье «Позы и трафареты» предварил рассуждением: «В этот стиль входит, конечно, и культ Прекрасной Дамы. Родоначальником этой моды был, конечно, А. Блок, но та церемонная фамильярность, это обращение к Богоматери на "Вы", это — уже позднейшие приобретения стиля» (УР. 1911. 12 февраля). Н. Чужак в рец. также упоминал в связи с этим ст-нием блоковскую Прекрасную Даму, заметив, что Эренбург «часто смешивает эту Даму с "непостижимым уму" видением» (Восточная заря. (Иркутск). 1910. 31 октября).

3. *Брюгге* — бельгийский город и порт на Северном море; возник между VII и IX вв., в XIII в. стал портом мирового значения, уступив

в XV в. это место Антверпену. Город-музей: готическая архитектура, музей Мемлинга, музей «Грунинге» с полотнами Ван Эйка, Брейгеля, Ван дер Гуса. В 1913 г. Эренбург вернулся к этой теме и написал цикл из трех ст-ний «В Брюгге» (№№ 680—682). Л. Войтоловский оценил это ст-ние как одно из лучших в сб., заметив, что «красотою этого "тихого места" зачарована вся фантазия автора» (КМ. 1910. 1 октября); рецензент харьковского «Утра», приведя ст-ние полностью, назвал его «небольшой и такой убедительно-печальной картинкой умирающего города Брюгге» (1910. 1 октября); ст-ние приводилось и в рец. М. Д. (Обозрение театров. (СПб.). 1911. 31 августа) как иллюстрация тезиса, что «в каждом почти стихотворении Эренбурга наблюдается значительное настроение, т. е. то, что принято называть "внутренней мотивацией"».

4. ЕШ.

5. В письме Эренбурга В. Я. Брюсову (не позднее сентября 1910 г.) это и следующие два ст-ния были названы среди тех, которые «печатать не следовало бы» (БиК. С. 526). Критики отмечали явное влияние Блока на это ст-ние: «Форму своих стихов и их довольно богатые размеры г. Эренбург заимствует по большей части у Блока, влияние которого не ограничивается, впрочем, только в области формы. У г. Эренбурга есть даже своя "Незнакомка", воспетая не менее звучно, чем ее первообраз» (рец. Л. Войтоловского — КМ. 1910. 1 октября). Ст-ние цитировали рецензенты Н. Чужак (Восточная заря. (Иркутск). 1910. 31 октября), Вл. Волькенштейн (Современный мир. 1910. № 10. С. 159), А. Бартенев (Жатва. 1912. № 1).

6. Рецензент газ. «Минский голос» М. К-ий привел четыре последние строфы этого ст-ния, предварив их так: «Среди той безвкусицы и бездны бесталанности, какое создало последнее время, искорки небольшого, правда, но все же таланта И. Эренбурга, выделяют его сборничек стихов, среди которых встречаются изредка и прекрасные» (1910. 27 ноября).

7. «Устало-предзакатной форме стихов И. Эренбурга, — писал Н. Чужак, — вполне соответствуют их сюжеты: более всего поэт говорит о смерти; но она рисуется им убранной "поникшими цветами" и странным образом символизирует его собственную поэзию» (Восточная заря. (Иркутск). 1910. 31 октября). «Главный недостаток поэта — ошибки в ударениях», — отмечал, цитируя начало этого ст-ния, рецензент М. Д. (Обозрение театров. (СПб.). 1911. 31 августа).

10. Студенческая жизнь. (СПб.). 1910. 28 августа -- Московская газета. 1910. 4 октября -- ИСРП. Л. Войтоловский привел четыре строфы этого ст-ния как пример «очень изысканных» стихов у Эренбурга (КМ. 1910. 1 октября). *Ненюфары* — цветы желтой водяной лилии.

11. Ст-ние приведено в рец. Н. Чужака (см. примеч. 1) как пример «настоящих маленьких пьесок» в сб. Эренбурга.

13. *Труверы* — французские средневековые (XII—XIII вв.) придворные барды, писавшие также и куртуазную прозу.

14. В рец. Б. (Московская газета. 1910. 13 сентября) ст-ние названо «севрской статуэткой в стихах». Разбирая это ст-ние, М. Волошин заметил, что «с тех пор, как А. Белый когда-то срифмовал "Бестужев" и "кружев", это стало потребностью поэтов, заботящихся о своей элегантности. У Гумилева тоже "сыпалось золото с кружев, с розоватых брабантских манжет"» (УР. 1911. 12 февраля). *Сен-Жермен* — Сен-Жерменское предместье Парижа, занятое преимущественно аристократическими домами; М. Волошин о строчке «В аллеях Сен-Жермена» иронично заметил: «Надо понимать на Сен-Жерменском бульваре» (УР. 1911. 12 февраля), но в ст-нии идет речь не о начале XX в. *Saint-Sulpice* — парижская церковь в квартале Сен-Жермен (закончена в 1745 г.)

15. В письме В. Я. Брюсову (не позднее сентября 1910 г.) это ст-ние Эренбург назвал среди тех, которые «печатать не следовало бы» (БиК. С. 526).

16. Беловой автограф, с вар. в ст. 12 — РГАЛИ. Ф. 1204. Оп. 2. Ед. хр. 54. Л. 2. Полностью приведено в рец. «Московской газеты» (1910. 13 сентября), предваренное так: «Эренбург во многом парнасец, он умеет заволакивать дымкой красивого тумана самые обыденные вещи. Вот, например, салонный узор». Третью строфу привел С. А. Ауслендер (племянник М. Кузмина) в статье «Литературная демагогия» в ответ на ироническое упоминание Эренбургом Кузмина: «Любитель банщиков и шабли во льду» (Возрождение. (М.). 1918. 5 июня), сопроводив цитату инвективой: «А сам Илья Эренбург по какой партийной программе сочинял стишки для услады беспартийных молодых лакеев <...>. Сочинитель подобных стишков смеет считать себя арбитром вкуса и внутренней содержательности» (Жизнь. (СПб.). 1918. 11 июня).

17. Беловой автограф — РГАЛИ. Ф. 1204. Оп. 2. Ед. хр. 54. Л. 14. Ст-ние отмечено среди тех, что «хороши», в рец. Вл. В. (Утро. (Харьков). 1910. 1 октября).

18. Беловой автограф — РГАЛИ. Ф. 1204. Оп. 2. Ед. хр. 54. Л. 2. *Святая Цецилия* — христианская дева, умершая мученицей около 230 г.; считается изобретательницей органа.

19. Беловой автограф — РГАЛИ. Ф. 1204. Оп. 2. Ед. хр. 54. Л. 1.

20. «Эти великолепные строки мы с большим удовольствием процитируем», — говорится в рец. И. Иванова (Сибирская жизнь. (Томск). 1912. 21 марта).

21. Московская газета. 1910. 2 мая. Вторую и пятую строфы процитировал Н. Чужак (см. примеч. 1), подчеркнув, что герой Эренбур-

га «любит всегда платонически: ведь Дама для него это — прекрасная, недосягаемо-высокая и почему-то непременно голубая мечта».

23. *Колет* — род широкого отложного воротника в средневековой одежде.

24. *Мария Стюарт* (1542—1587) — с рождения унаследовала шотландский престол; после смерти своего мужа, французского короля Франциска II, в 1560 г. вернулась на шотландский трон; в 1568 г. в результате восстания бежала в Англию, где 18 лет ее держали в заточении (из опасения претензии на английский престол), а затем она была обезглавлена.

25—29. *Изабелла Оранская* — вероятно, управлявшая Брабантом дочь испанского короля Филиппа II, жена эрцгерцога Альберта, невестка Вильгельма Оранского, возглавившего антииспанскую оппозицию в Нидерландах (2-я пол. XVI в.) *Сарацины* — в средние века название арабов, магометан и вообще всех иноверцев.

30. *Вандея* — департамент на западе Франции; главный очаг мятежа роялистов во время революции 1793 г. *Тюльери* (Тюильри) — парк и дворец в Париже, с начала XVII в. — местожительство французских королей. *Пусть на стальную гильотину / Король безропотно взошел.* Имеется в виду Людовик XVI, казненный в 1793 г.

31. В письме В. Я. Брюсову (не позднее сентября 1910 г.) Эренбург назвал это ст-ние среди тех, которые «печатать не следовало бы» (БиК. С. 526). М. Волошин назвал это ст-ние «почти пародией на брюсовские исторические стихи» (УР. 1911. 12 февраля).

32. Имея в виду это ст-ние, Вл. Волькенштейн заметил, что воображение Эренбурга «блуждает по средневековым монастырям, — иногда кощунствуя» (Современный мир. 1910. № 10. С. 159). В этой же связи М. Волошин заметил, что «идеалом Эренбургу должны были бы послужить католический дэндизм и элегантные кощунства Барбе д'Оревильи, но он либо не дошел до этого первоисточника, либо плохо ознакомился с ним» (УР. 1911. 12 февраля). *Варвара* — великомученица, пострадавшая в Гелиополе около 306 г.

33. А. Бартенев отметил это ст-ние «как лучшую пьесу из всего сборника. И по сжатости характеристики, и по силе поэтической изобразительности стихотворение это выделяется из общей массы других» (Жатва. 1912. № 1. С. 223). *Иннокентий VI* занимал папский престол в 1352—1362 гг. в Авиньоне. А. Мейер (Стэнфорд) высказала предположение, что в ст-нии на самом деле речь идет о Папе Иннокентии IV, занимавшем престол в 1243—1254 гг. и боровшемся с германским королем и императором Священной Римской империи Фридрихом II (устное сообщение). В этой связи уместно привести высказывание из рец. М. Волошина: «Вообще, плохое знакомство с литературой и историей составляет отличительную черту этих поэтических дэнди брюсовской школы, хотя их "мэтр" вовсе не страда-

ет этим недостатком. Но апломб, в связи с перепутанными фактами из школьных учебников истории, составляет особенность как Гумилева, так и повторяющего его путь Эренбурга» (УР. 1911. 12 февраля).

34. Видимо, в ст-нии речь идет о Папе Григории VII, занимавшем престол с 1073 по 1085 г. и поднявшем папскую власть на невиданную до того высоту.

35. В письме В. Я. Брюсову (не позднее сентября 1910 г.) Эренбург назвал это ст-ние среди тех, которые «печатать не следовало бы» (БиК. С. 526).

38. ИСРП.

41. М. Волошин заметил, что Прекрасная Дама, изображенная в этом ст-нии, «рисуется Эренбургу как характер сдержанный и мстительный» (УР. 1911. 12 февраля).

44. «Дилетантизм стихосложения местами искупается свободой и простотой языка, природным вкусом автора. Изящно стихотворение "В темный храм с невольною тревогою"» (рец. В. Волькенштейна — Современный мир. 1910. № 10. С. 160).

45. Беловая машинопись с правкой автора — РГАЛИ. Ф. 1204. Оп. 2. Ед. хр. 54. Л. 12. В письме В. Я. Брюсову (не позднее сентября 1910 г.) Эренбург назвал это ст-ние среди тех, которые «печатать не следовало бы» (БиК. С. 526). М. Волошин цитировал это ст-ние, иллюстрируя тезис о том, что «эротическое кощунство представлено у г. Эренбурга со всеми подобающими аксессуарами» (УР. 1911. 12 февраля)

46. БП-77 -- СС-90. «Еще больше аристократического вкуса и благородной пресыщенности обнаруживает г. Эренбург, когда мысленно ставит самого себя на место Христа», — утверждал М. Волошин, предваряя длинную цитату из этого ст-ния, которую прокомментировал так: «В этой позе нетрудно угадать различные воспоминания о поэзии Гиппиус (ее "В ладье Харона", "Распятье"). Такого рода религиозность не может не сочетаться с эротическим кощунством» (УР. 1911. 12 февраля).

47. Обращено от лица Христа к Марии Магдалине.

Я ЖИВУ

О замысле сборника «Я живу» (Я) Эренбург писал Брюсову в конце мая 1911 г.: «За последний месяц мной был написан ряд стихотворений, которые как по своим темам, так и по строению стиха, как мне кажется, отличаются от написанных мною раньше. Вслед-

ствие этого у меня возникло желание издать новый сборник стихов. Я очень хотел бы знать Ваше мнение как об этих стихах, так и о моем намерении издать их. Должен оговорить, что я этим стихам придаю значение ученических работ, и поэтому меня гл<авным> обр<азом> интересует вопрос о том, насколько они интереснее и содержательнее, совершеннее по форме стихов, составляющих мой первый сборник» (БиК. С. 527). Ответа Брюсова Эренбург не дождался. «В течение последнего месяца я откладывал печатание книги, ожидая Вашего ответа», — писал Эренбург Брюсову 3 сентября 1911 г., посылая только что вышедшую книгу (БиК. С. 527). «Я живу» была напечатана без указания изд-ва в Петербурге в августе 1911 г. типографией т-ва «Общественная Польза». Обложку, в которой использованы элементы традиционной орнаментальной еврейской графики, выполнил художник В. Равич («Обложка с изображением кошки и собаки — неподобающая», — считал С. Городецкий — УР. 1911. 3 октября). Как значится в вышедшей в декабре 1918 г. книге «В смертный час», к тому времени тираж «Я живу» еще не был распродан.

В новом сб. Эренбург по-прежнему считал себя учеником Брюсова. Это констатировала и критика: «Над И. Эренбургом, как видно почти из всех стихов его книги, отяготело сильнейшее влияние Валерия Брюсова. Нет спору, это — прекрасная школа, но надо поэту искать себя, и эта задача лежит перед г. Эренбургом почти нетронутой» (рец. С. Кречетова — УР. 1912. 12 апреля). Судя по письмам Эренбурга Брюсову, он до осени 1912 г. ждал суждений мэтра о своей книге (БиК. С. 528); это суждение было высказано публично уже после выхода третьего сб. Эренбурга, «Одуванчики», и оказалось очень резким: «Г. Эренбург, вызвавший внимание к себе своим первым сборником, не оправдал пока надежд двумя своими новыми книгами. Особенно неудачна вторая — "Я живу", крикливая и непродуманная» (РМ. 1912. № 7. С. 24). Н. Гумилев, резко и безапелляционно оспоривший доброжелательный отзыв Брюсова о первом сб. Эренбурга и не оставивший для начинающего парижского автора никаких надежд, по второй его книге также существенно разошелся во взглядах со своим учителем: «И. Эренбург сделал большие успехи со времени выхода его первой книги. Теперь в его стихах нет ни детского богохульства, ни дешевого эстетизма, которые, к сожалению, уже успели отравить некоторых начинающих поэтов. Из разряда подражателей он перешел в разряд учеников и даже иногда вступает на путь самостоятельного творчества. В его терцинах есть подлинное ощущение язычества, по-земному милого и слегка чудесного. Он умело соединяет лирический подъем с историзмом тем и почти никогда не возвышает голос до крика. Конечно, мы вправе требовать от него еще большой работы, и прежде всего над языком, но главное уже сделано: он знает, что такое стихи» (Аполлон. 1911. № 10. С. 74).

Критика в общем оценила второй сб. Эренбурга как «шаг вперед». «Книжка оправдывает свое название, — писал коллега Гумилева по «Цеху поэтов» С. Городецкий. — В тридцати стихотворениях действительно чувствуются следы какого-то жизненного процесса. По сравнению с первой книжкой вторая гораздо содержательнее. Вместо мертвых обликов появляются живые образы, и хотя ритмика

остается такой же бедной и однообразной, все-таки "с трудом добытые из лиры", по нескладному выражению автора, слова образуют сочетания в художественном смысле боле правдивые и убедительные. <...> Какая-то внимательная, сосредоточенная работа совершена автором. Муза его решительно сбросила с себя фальшивый, жеманный наряд. <...> Во всяком случае, на заглавие можно ответить: Vivat, пусть живет» (Речь. (СПб.). 1911. 3 октября). Отметим еще два отклика на «Я живу» критиков, рецензировавших и первую книгу Эренбурга. «Во втором сборнике стихов г. Эренбург отрешился от прежней манерности; его стих окреп. Правда, его индивидуальность еще не определилась, во многих стихотворениях нет художественной законченности, но в книге чувствуется жизненная сила, напряжение творческой мысли», — писал В. Волькенштейн (Современный мир. 1911. № 10. С. 333). «В сборнике "Я живу" г. Эренбург пробует свои силы на полуэпических, полулирических темах. Таковы терцины, посвященные Флоренции, стихотворения: "Париж", "Авиатор", "Еврейскому народу", "Христу" и другие. Быть может, самое название сборника "Я живу" является ответом на упреки критики в неподвижности и холодности, но надо сказать, что и в поэзии этого сборника еще мало жизни. Образы его ярче красками, отчетливы, звучны, но как будто ждут еще пробуждения», — отмечал Л. Войтоловский (КМ. 1912. 14 июля).

В мемуарах «Люди, годы, жизнь», где Эренбург коротко рассказал и о своих наиболее значительных, как он считал, книгах (о книгах стихов в том числе), сб. «Я живу» не упоминается и стихи, в него входившие, не цитируются.

Все ст-ния, вошедшие в «Я живу» (кроме №№ 65, 67), опубликованы в ней впервые; в дальнейшем не перерабатывались. В наст. изд. печатаются по тексту книги. В примеч. указываются перепечатки и рукописи.

48. *Юлиан* (331—363*)* — римский император, за свое отпадение от христианства прозван «Отступником»; известен гонениями на христиан.

49—52.

3. Беловые автографы — РГАЛИ. Ф. 1204. Оп. 1. Ед. хр. 63. Л. 1 и Оп. 2. Ед. хр. 55. Л. 2. Отмечено и процитировано в рец. В. Волькенштейна как одно из лучших в сб. (Современный мир. 1911. № 1. С. 333).

4. Беловой автограф — РГАЛИ. Ф. 1204. Оп. 2. Ед. хр. 55. Л. 3. «Ст-ние "Аполлон" как нельзя лучше вскрывает творческую психологию самого поэта и, наряду с этим, прекрасно характеризует его стих», — написал, процитировав две последние строфы ст-ния, критик «Вестника литературы» (1911. № 11).

53. Беловой автограф — РГАЛИ. Ф. 1204. Оп. 2. Ед. хр. 55. Л. 6 (второй лист, начиная со с. 19); автограф ранней ред. (деление на строфы, без ст. 5—8, с вар. ст. 33—36) — РГАЛИ Ф. 1204. Оп. 1. Ед. хр. 63. Л. 2, 3. Ст. «Греческого бога Диониса» С. Кречетов назвал

«досадной наивностью», заметив: «Не думает ли Эренбург, что без такого пояснения читатели примут Диониса за бога готтентотов?» (УР. 1912. 12 апреля).

54. Беловой автограф — РГАЛИ Ф. 1204. Оп. 2. Ед. хр. 55. Л. 4. Предлагалось автором для «Антологии» изд-ва «Мусагет», но не вошло в нее (см.: БиК. С. 527).

55—56. Беловой автограф цикла (с вар.) из трех ст-ний под назв. «Флорентийские стихи» — ФБ. Л. 10,12; в нем вторым идет публикуемое ниже впервые ст-ние «Мосты над Арно»:

Мосты над Арно. Навсегда
Каменья дряхлые столетий,
У них играющие дети
И мутно желтая вода.
Так чуждо всё. Но в полусвете
Взошла старинная звезда,
Вернулись прежние года
И в них легенда о поэте.
Пусть опочили, задремали
Дворцы у неподвижных вод,
Остатки славы и величий,
В своем пурпурном покрывале
Он к водам Арно подойдет
И тихо скажет: «Беатриче».

В рец. «Вестника литературы» этот цикл (как и «Времена года» и «Сандро Боттичелли») назван «ясным доказательством поэтической неотразимости слов г. Эренбурга» (1911. № 11. С. 296—297). «Очень хороши "Флорентийские терцины"», — отметил, процитировав первое ст-ние, С. Кречетов (УР. 1912. 12 апреля); «наиболее удачными стихотворениями сборника», наряду с «Савонаролой» и «Христом», их назвал рецензент журнала «Жатва» (1912. № 2). *Терцина* — трехстишная строфа, ряд которых дает непрерывную цепь тройных рифм aba bcb cdc; таким стихом написана «Божественная комедия» Данте.

1. Беловой автограф — РГАЛИ. Ф. 1204. Оп. 2. Ед. хр. 55. Л. 5. Сан-*Миниато* — холм на левом берегу реки Арно в окрестностях Флоренции. Сандро *Боттичелли* (наст. имя и фамилия — Алессандро Филипепи; 1445—1510) — итальянский живописец эпохи Раннего Возрождения; был близок к правителям Флоренции Медичи. «Рождение Венеры» (ок. 1483—1484) — одно из самых знаменитых его полотен. Эренбург писал о себе: «1910 г. Одет в бархатную куртку. Провожу целые дни в музеях. Мне нравится Боттичелли» (КдВ. С. 314). В мемуарах Эренбург писал об этом подробнее: «В 1911 году меня покорили художники кватроченто (итал. название XV века. — *Б. Ф.*) и прежде всего Боттичелли. Бог ты мой, сколько часов я простоял перед "Рождением Венеры" и "Весной"! Фрески Рафаэля казались мне скучными; Джотто напоминал иконы. Женщины Боттичел-

ли не были грубыми, толстыми, розовыми, как на картинах венецианцев; не были бесплотными и чересчур одухотворенными, как у Мемлинга или Ван-Эйка. Венера стыдливо, чуть печально глядела на мир; примерно так же я глядел на Венеру... Я пытаюсь теперь разобраться, чем меня подкупал Боттичелли. Вероятно, сочетанием жизненной радости с горечью, началом эпохи неверия, умением придать смятению гармонию. Два года спустя, приехав во Флоренцию, я первым делом отправился на свидание с картинами Боттичелли и растерялся: конечно, они были прекрасны, но я ими любовался вчуже; они больше не соответствовали моему душевному состоянию. Мне уже не хотелось поэтизировать смуту» (ЛГЖ. Т. 1. С. 131).

57—60. Беловой автограф — ФБ. Л. 14—17; беловой автограф ранней ред., с вар. — РГАЛИ. Ф. 1204. Оп. 1. Л. 4—7, где др. ред. ст-ния «Осень»:

Когда в саду у липы ярко золотой
Цвели настурции и в брошенной беседке
Запахло осенью душистой и простой.
Когда листы дерев, задумчивы и редки,
Срывались медленно на бурые луга,
И плакали о них оставленные ветки,
Я встретил женщину — недавнего врага,
С душой усталой, словно траурная птица,
Она теперь была мне только дорога.
Я знал, что взор ее по-новому лучится.
Она сказала мне: «Я вижу жизнь мою
И я хочу себе самой молиться,
Себе самой сказать последнее баю».

1. Было отобрано В. Я. Брюсовым для публикации в РМ, но к тому времени книга уже вышла (см.: БиК. С. 527).

3. С. Городецкий процитировал последнюю строфу ст-ния в подтверждение того, что в стихах второй книги Эренбурга «уже чувствуется благотворное влияние простоты, к которой, по-видимому, устремился автор» (Речь. (СПб.). 1911. 3 октября); В. Волькенштейн назвал это ст-ние одним из лучших в книге (Современный мир. 1911. № 10. С. 333).

4. Чтец-декламатор. Киев, 1911. С. 559.

61. Обращено к Екатерине Оттовне Шмидт (1889—1977) — первой жене Эренбурга (с 1910 по 1913 г., когда она ушла к Т. И. Сорокину), матери Ирины Ильиничны Эренбург (1911—1997). В. Волькенштейн назвал это ст-ние одним из лучших в сб. (см.: Современный мир. 1911. № 10. С. 333).

62. Беловой автограф, с вар. — РГАЛИ. Ф. 1294. Оп. 1. Ед. хр. 63. Л. 8. Сочувственно процитировано в рец. В. Волькенштейна (Современный мир. 1911. № 10. С. 333).

63. Беловой автограф — РГАЛИ. Ф. 1204. Оп. 2. Ед. хр. 55. Л. 7.

64. Два беловых автографа — РГАЛИ. Ф. 1204. Оп. 2. Ед. хр. 55. Л. 8 и Ед. хр. 54. Л. 6.

65. Новая жизнь. 1911. № 8.

67. Новая жизнь. 1911. № 8 -- Чтец-декламатор. Киев, 1911. С. 559 (где было ст-ние С. Надсона с тем же названием).

69. СтСк.

70. Беловой автограф — ФБ. Л. 20. Отметив, что «некоторая манерность еще остается» в стихах Эренбурга, С. Городецкий написал, что «особенно неприятна она в стихотворении "Сегодня вы слегка усталый..."» (Речь. (СПб.) 1911. 3 октября).

72—75. Беловой автограф трех ст-ний цикла, а именно: 1. Невошедшее в книгу и публикуемое ниже впервые «Посвящение»:

Когда играет на вечерней лире
Душа поэта, горестью полна,
И тесно ей в необозримом мире,
Она к тебе идет, любви страна,
В которой жили Данте и Петрарка.
Слетает молчаливая весна
На кипарисы дремлющего парка.
И мнится все неясно голубым
И белый замок и фонтан, и арка.
Ночное небо стелется как дым.
И Данте здесь, без злобы и отличий,
Сказал стихом певучим и простым
И гвельфов войны и конец величий
И там — у Залетайских берегов
Немую тень умолкшей Беатриче.
Душа поэта примет твой покров,
И унесет сквозь горе и обиды,
Средь правильно законченных холмов
Твой облик розовеющей Киприды.

2. «Нимфа» и 3. «Рождение Венеры»; последние, с незначительными вар. — РГАЛИ. Ф. 1204. Оп. 1. Ед. хр. 63. Л. 17—20. В ФБ. (Л. 18—20) цикл стихов о Боттичелли состоит из трех ниже публикуемых впервые ст-ний:

1

Когда он встал у Симоннеты
В душе изысканно больной

Возникли странные обеты.
Подслушав пламенной весной,
Как волны в море шелестели
И ускользали стороной,
Он создал — Грустный Боттичелли —
Того, о ком в глуши лесов
Поют усталые свирели,
Он сотворил из облаков
Свою несбыточную веру —
Среди ласкающих ветров
Златоволосую Венеру.

2

Есть странный мир, где звезды догорели,
А новый день еще не возникал
В его долинах бледный Боттичелли
Мне кажется молился и блуждал.
Озера в нем туманны и бездонны,
Их молча окружают камыши
И там блуждают грустные мадонны
Его непостигаемой души.

3

Создатель скорбной Примаверы
Устало женский Боттичелли,
Как жаждал он могучей веры.

Когда неясно розовели
Поля и дальние вершины
И листья тихо шелестели,

Как будто ропот лебединый,
Слова молитвы замирали
Среди тоскующей долины.

И он ушел. Оставил дали,
Покинул радостные долы,
Чтобы сомненья и печали

Сложить у ног Савонаролы.

Сохранилась также рукопись неопубликованного ст-ния Эренбурга «Триолет» («Ты как Венера Боттичелли...»), написанного в то же время (РГАЛИ. Ф. 1204. Оп. 2. Ед. хр. 54. Л. 1).

1. *Сатиресса*в (греч. миф.) — от сатира (лесное божество, демон плодородия в свите Диониса).

2. *Тоскана* — область Италии, административным центром которой является Флоренция. *Паладин* — здесь: человек, беззаветно преданный Христу. *Пятница* — имеется в виду пятница на страстной, предшествующей пасхальной, неделе.

3. *Фавонята* — маленькие фавны (в рим. миф. фавн — бог плодородия, покровитель скотоводства, полей и лесов; соответствует греческому Пану); на «невозможность» этого слова указано в рец. С. Городецкого (Речь. (СПб.). 1911. 3 октября).

4. Джироламо *Савонарола* (1452—1498) — итальянский реформатор церкви, проповедник аскетизма, противник тирании Медичи, обличитель папства. После изгнания Медичи из Флоренции в 1494 г. способствовал установлению республики; отлучен от церкви, казнен. *Пьяцца Синьориа* — площадь во Флоренции со знаменитой позднеготической лоджией.

76—77. СтСк.

1. В основе ст-ния евангельский сюжет о первом чуде Христа: Иисус, приглашенный на свадьбу в Кане Галилейской, по просьбе своей матери претворяет воду в вино, которого не хватило гостям (Ин. 2, 1—11). *Рошешон* (Рош 'ашана) — Новый год по древнееврейскому календарю (отмечается осенью).

78—80. Предлагалось автором для «Антологии» изд-ва «Мусагет», но не вошло в нее (см.: БиК. С. 527). «Даже такие сложные темы, как "Авиатор", "Париж", "Еврейскому народу", "Возврат" (из городов на волю), исполнены не без достоинства», — отметил С. Городецкий (Речь. (СПб.). 1911. 3 октября). С. Кречетов, напротив, писал: «Слабее всего в книге длинное стихотворение "Авиатор" и все стихи о Христе» (УР. 1912. 12 апреля).

1. Беловой автограф пяти строф, начиная со ст. 17, ранняя ред., сохранена строфика; после ст. 32 было: «Вельзевул смеется: "От позора / Хитрый план обратно ты возьми / Вспомни только думы Христофора / И Америку, покрытую людьми"» — в кн. заменено) — РГАЛИ. Ф. 1204. Оп. 2. Ед. хр. 54. Л. 10.

81. СтСк. -- Мн. Записанный рукой сестры Эренбурга Изабеллы текст другого его ст-ния с тем же назв., относящийся примерно к тому же 1911 г., публикуется ниже впервые:

Ты знаешь: я рожден в изгнанье
Я к новой родине привык.
И чужды мне твои преданья,
И твой обряд, и твой язык.
Но ветхий посох мой запылен,
И ветер плащ мой оборвал.
Ты видишь — я, как ты, бессилен,
Как ты, блуждая я устал.

Народ вдовец! Какая сила
Тебя все далее влечет

От солнца золотого Нила
До этих тлеющих болот.
Костры и пытки, пытки снова,
И дым разгромленных домов.
Ты избранный — и это слово
Тебя гнетет сильней оков.
Прости меня, но в этой боли
Ни отдыха, ни цели нет.
Как он язвит, на чуждом поле
Запекшийся кровавый след.

(РГАЛИ. Ф. 1204. Оп. 1. Ед. хр. 62. Л. 3, 4).

82. БП-77 -- СС-90. Беловой автограф, с вар. и последней строфой, не вошедшей в кн.: «Стоишь, пока к подъезду и к решетке / Не подойдет озябший человек, / А в улицах безжалостны и четки / Повиснут звуки рыночных телег» — РГАЛИ. Ф. 104. Оп. 1. Ед. хр. 63. Л. 12—14. В связи с «парижскими бульварами» в стихах Эренбурга критик А. Станкевич писал о «стилизации»: «Разве мы это уже не читали у Макса Волошина и десятков (? — *Б. Ф.*) других русских "парижан"?» (Юго-Западный край. (Винница). 1913. 11 июля).

83. БП-77 -- СС-90. Беловой автограф (с вар.) — РГАЛИ. Ф. 1204. Оп. 2. Ед. хр. 55. Л. 25—26.

ОДУВАНЧИКИ

Третий сб. стихов Ильи Эренбурга «Одуванчики» (Од) открывался стихотворным обращением к читателю; остальные 54 ст-ния (только 6 из них имели назв.) были пронумерованы латинскими цифрами.

Од напечатаны в Париже в 1912 г. без указания изд-ва и даже типографии — только место и год издания, русская цена и адрес склада издания: магазин М. О. Вольфа в Москве. Книга вышла, видимо, в конце марта — начале апреля. Как отпечатанное за границей издание, она поступила в иностранную цензуру (в Киеве) 20 апреля 1912 г. и была дозволена к распространению в России (ЦГИА Украины. Ф. 295. Оп. 1. Ед. хр. 428). Тем же постановлением дозволена была и книга Амари (М. О. Цетлина) «Лирика», вышедшая в Париже в это же время. Именно Амари принадлежит первая рец. на Од (Заветы. СПб. № 1. 1912. Апрель), написанная в Париже; Од — единственная книга библиотеки М. О. Цетлина, уцелевшая при разграблении его квартиры гитлеровцами в Париже в 1940 г., так как находилась в нетронутом шкафу детских книг его дочери (сообщено А. М. Цетлин-Доминик; экземпляр подарен ею комментатору в 1993 г.). Небольшой тираж Од расходился у Вольфа долго: в апреле 1914 г. Эренбург писал, что издание «почти распродано (осталось 15 экз.)» (РГАЛИ. Ф. 2554. Оп. 1. Ед. хр. 78. Л. 1); к 1916 г. издание разошлось (СоК. С. 171).

В мемуарах история Од изложена приблизительно: «Вскоре (1911 год? — *Б. Ф.)* я уже не мог без презрительной усмешки вспоминать первую книгу. Я попытался стать холодным, рассудительным — подражал Брюсову (видимо, имеется в виду книга «Я живу», которую Эренбург не упоминает. — *Б. Ф.*). Но от таких стихов мне самому было скучно, и я начал мечтать о лиричности, обратился к своему недавнему прошлому. <...> Книга называлась "Одуванчики". Едва она успела дойти до моих московских друзей, как я понял, что не вылечился от стилизации, только вместо картонных лат взял напрокат в костюмерной гимназическую форму» (ЛГЖ. Т. 1. С. 108).

Эренбург судит себя очень строго — критика была куда снисходительнее. Очевидную перемену поэтического лица парижского поэта отмечали все рецензенты, а «выводы» были разные. «Книга "Одуванчики" содержит немало милых стихов, определенно в пушкинском духе. <...> Это ряд картин современной действительности, написанных осторожно и не без вкуса», — отклик Брюсова (РМ. 1912. № 7). «Гораздо менее претенциозной, чем его предыдущие сборники», посчитал Од В. Ф. Ходасевич (Альциона. 1914. № 1. С. 209). В связи с Од впервые о стихах Эренбурга высказался О. Э. Мандельштам: «Очень простыми средствами он достигает подчас высокого впечатления беспомощности и покинутости. Он пользуется своеобразным "тютчевским" приемом, вполне в духе русского стиха, облекая наиболее жалобные сетования в ритмически-суровый ямб. Приятно читать книгу поэта, взволнованного своей судьбой, и осязать небольшие, но крепкие корни неслучайных лирических настроений. Эпитеты бледны, но обдуманны, неожиданности нет, но нет и скуки. Одним из немногих г. Эренбург понял, что от поэта не требуется исключительных переживаний. Тем ценнее общеобязательность лирического события. Однако несколько застенчивое, несвободное отношение автора к явлениям своей душевной жизни передается читателю, между тем, как истинное поэтическое целомудрие делает ненужным стыдливое отношение к собственной душе» (Гиперборей. 1912. № 3. С. 30; в этом же номере журнала были напечатаны два стния Эренбурга). Прямо противоположную позицию высказал рецензент петербургского «Дня» Г.: «Воспроизведение будничной, "домашней" стороны поэзии придает стихам г. Эренбурга задушевность, но неразвитость художественного чутья допускает его часто переходить ту границу автобиографичности, за которой поэзия интимности превращается в личную нескромность» (1913. 18 марта). В этом же духе высказывался и Л. Войтоловский: «В поэзии "Одуванчиков" — много интимности, но как-то мало тепла и кровности <...>. Незаметно для себя он впадает в такие биографические детали, которые никому не интересны и ничего поэтического не представляют» (КМ. 1912. 14 июля). В целом, суждения критики были доброжелательны: «Для этих песен-воспоминаний, слагавшихся в чужом краю, где-то в "мансарде полутемной, под шум парижской мостовой", поэт нашел иные, непохожие на прежние его стихи, формы, — простые, строгие, лишенные прежнего ритмического изящества и изысканности рифм. Конечно, этот стиль более отвечает тому настроению интимности и

задушевности, которыми овеяны страницы книжки. И выбор его обнаруживает у Эренбурга полный художественный вкус и подлинное чувство меры» (рец. А. Юж-ина (Южанин) — Новый журнал для всех. 1912. № 7. С. 121—122).

Все ст-ния, вошедшие в книгу Од, опубликованы в ней впервые; в дальнейшем не перерабатывались. Рукописи не сохранились. В наст. изд. печатаются по тексту книги. В примеч. указаны перепечатки.

84. «Скромная, серьезная быль г. Эренбурга гораздо лучше и пленительней его "сказок"», — написал в связи с этим ст-нием О. Э. Мандельштам (Гиперборей. 1912. № 3. С. 30). Комментируя первые строчки, поэт Амари писал: «Действительно, эта книга совсем не похожа на его прежние, все же автор движется и движется быстро» (Заветы. 1912. № 1). Критик А. Юж-ин писал, что первые «пять строк вполне определяют книжку Эренбурга, и со стороны содержания, и со стороны формы» (Новый журнал для всех. 1912. № 7. С. 122). Полностью приведено в рец. Т. Сапожниковой (Сибирская жизнь. (Томск). 1914. 20 мая).

85. ИСРП -- БП-77 -- СС-90. Цит. во многих рец. и в первом романе К. Паустовского «Романтики»: «Разбудил меня Семенов — наш газетный художественный критик. Мягкий, влюбленный в Москву, он за последние дни все чаще сидел у меня, пил чай с коньяком и читал стихи Эренбурга. "У Эренбурга есть изумительные вещи! — говорил он, словно оправдываясь, и вытаскивал из кармана книжку. — Вот послушайте... Ведь это же редкие вещи, как вы не понимаете! Вам нужна всякая чертовщина — драки, тропическая жара, кругосветные рейсы. А мы попроще. Сядем с ногами на диван, самовар шумит, читаем Лескова — и хорошо"». (Паустовский К. Собр. соч.: В 6 т. М., 1967. Т. 1. С. 78). *Мама* — Анна Борисовна (Хана Берковна) Эренбург (1857—1918).

86. БП-77 -- СС-90. *Сестры* — Мария Григорьевна (1881 — 1940?; пропала без вести в Париже во время гитлеровской оккупации), Евгения Григорьевна, по мужу Каган (1883—1965), и Изабелла Григорьевна (1886—1965), особенно много помогавшая брату, когда он находился в эмиграции (1909—1917); вернувшись после Второй мировой войны в СССР, две сестры жили на даче у Эренбурга.

87. Авт. машинопись — ФБ. Л. 30 (прислано автором для публикации в РМ).

88. Вспоминая в КдВ, как домой к нему приходил его гимназический друг Николай Бухарин, Эренбург писал: «Когда он приходил в квартиру моих родителей, от его хохота дрожали стекла, а мопс Бобка неизменно кидался на него, желая покарать нарушителя порядка» (С. 130—131). *Мама* — см. примеч. 85. *Папа* — Григорий Григорьевич (Герш Гершанович) Эренбург (1852—1921).

90. БП-77 -- СС-90. Цит. в ЛГЖ (Т. 1. С. 108). Комментируя это ст-ние, Амари писал об авторе: «Один из его путей к простоте и интимности — это перенесение в стихи реальной обстановки с ее мелочами — путь Марины Цветаевой» (Заветы. 1912. № 1).

91. Мать: Сб. избр. произведений русской литературы. Полтава, 1915. Беловой автограф — ФБ. Л. 33 (послано автором для публикации в РМ).

92. Приведено в рец. Т. Сапожниковой (Сибирская жизнь. (Томск). 1914. 20 мая).

93. ИСРП -- БП-77 -- СС-90. Цит. в ЛГЖ. (Т. 1. С. 108). Цит. в рец. Б. Залесского с комментарием: «Как бы в этом тоненьком сборнике вмещается целая история молодой жизни. За детством в нем приходит юность и бурные годы больших событий» (Заветы. 1912. № 2, май). *Как скучно в «одиночке».* Эренбург находился в заключении с 30 января по 24 июня 1908 г. по обвинению в участии в подпольной социал-демократической организации учащихся Москвы; с 30 мая его содержали в одиночной камере Бутырской тюрьмы. *Остоженка* — улица в Москве и прилегающие к ней переулки; в Савеловском (ныне — Потемкинском) переулке (д. 7, кв. 82) жила семья Эренбурга.

95. ИСРП. Обращено к Екатерине Оттовне Шмидт (см. примеч. 61), как и ст-ния 96—100. Цит. в рец. Б. Залесского (см. примеч. 93) и Т. Сапожниковой (см. примеч. 92), приведшей и цитату из ст-ния 100: «О ней или не о ней, о той же ли самой говорят другие стихотворения, не все ли равно, они обволакивают этот образ. Пахнущий землей и лесом, нежной материнской лаской, теплым домашним уютом... не все ли равно, две их было или одна; приятно слушать нежную музыку слов, чувствовать ту особую интимную ласковость, которая всегда прячется, ускользает от людского взгляда».

96. «Малозначительными брызгами пера» назвал это ст-ние С. Кречетов, заметив: «В этом самовлюбленном старании довести до публики всякое написанное слово, в этой боязни: чтобы не пропал малый отрывок из 4 строк, есть какая-то назойливая нецеломудренность» (УР. 1912. 22 сентября).

97. ИСРП.

99. Отмечено в рец. Амари (см. примеч. 90) среди тех, что «хороши»; полностью приведено в рец. Сапожниковой (см. примеч. 92) с комментарием: «Кажется, что эти стихи написала женщина — столько в них теплоты и нежной ласки».

102. Обращено к Е. О. Шмидт (см. примеч. 61), как и ст-ния 103—104.

105. РМ. 1912. № 4 (напечатано уже после выхода книги) -- Пре-

красное далеко. 1913. № 14. Послано В. Я. Брюсову 3 сентября 1911 г. вместе с другими ст-ниями для РМ; на сохранившемся в архиве Брюсова конверте с этими ст-ниями — его помета: «Взято стих. "Флоренция"» (БиК. С. 528). Эренбург вспоминал: «В молодости я особенно нежно любил Флоренцию; ее сельский дух, сочетание скульптуры Донателло и крестьян в широких соломенных шляпах, керамики дела Роббиа и холмов вокруг города, садов, огородов, одиноких кипарисов, лавочек на Старом мосту, базаров, мутной реки, ясного неба и тени Данте, встретившего здесь свою Беатриче» (ЛГЖ. Т. 1. С. 133). Отмечено в рец. Амари (см. примеч. 90) среди тех, что «хороши». *Кампанила* (итал. campanile) — колокольня. *Фьезоле* — городок возле Флоренции, где сохранились остатки древнего римского театра; Эренбург побывал там впервые летом 1909 г. (см. также ст-ние 430); посещение Фьезоле нашло отклик также в ст-ниях Блока и Вяч. Иванова.

106. *Беато* — прозвище итальянского художника Анджелико Фра Джованни де Фьезоле (1387—1455). В КдВ: «Когда Фра Беато писал свои фрески, он перед ними молился. Он умел водить кистью, но то, что он писал, для него было не композицией, не фактурой, не мазками, но святыней» (С. 179). Эренбург вспоминал, что, приехав в Италию в 1913 г., «полюбил фра Беато: его живопись была действием, он не только писал Мадонну, он молился перед своим холстом... Вскоре после этого я забыл о фра Беато. Я увидел удлиненные тела Греко...» (ЛГЖ. Т. 1. С. 131).

107. Цит. в ЛГЖ (Т. 1. С. 131). *Сьенцев пристальные взгляды.* Эренбург впервые был в Сьенне в 1911 г. Монастырь *Чертозы* — монастырь картезианского ордена в Павии (Италия).

108. Рецензент петербургской газ. «День» (1913. 18 марта) отметил, что это ст-ние и ст-ние 117 «указывают на способность автора к наблюдательности, <...> но в целом, небольшое дарование г. Эренбурга не обещает яркого расцвета».

110. ИСРП. Ст. 5—8 цит. С. Бобровым с пожеланием, «чтобы скорее исполнилось желание г. Эренбурга» (С-к. 1914. № 13—15. С. 303).

111. СтСк -- Мн. Послужило эпиграфом к ст-нию А. Соболя «Родине» (Ежемесячный журнал. 1914. № 8).

112. ИСРП-Р -- БП-77 -- СС-90. Приведено в рец. Т. Сапожниковой (см. примеч. 92) в подтверждение слов: «Когда вместо детства, дома и мамы выступает Россия, тогда сразу надвигается что-то не только серьезное, но и суровое, мужественное».

113. БП-77 -- СС-90.

114. ИСРП-Р -- Родное. Париж, 1921 -- БП-77 -- СС-90. Цит. в ЛГЖ (Т. 1. С. 102—103) как свидетельство тогдашних чувств автора, при этом стихи были названы «ученическими бледными».

115. Беловой автограф, под назв. «Февраль», в цикле «Месяцы года», предложенном автором изд-ву «Мусагет» для его «Антологии» (из цикла остались неопубликованными ст-ния «Апрель» и «Июнь»), — РГАЛИ. Ф. 1204. Оп. 1. Ед. хр. 64. Л. 2, 3. «Очень хороши краткие и четкие стихотворения, большей частью описания природы. В них автор нашел нечто свое», — писал в рец. на Од Амари (см. примеч. 90), перечисляя помимо этого ст-ния еще и №№ 118, 120, 121, 124 и 125.

117. ЕШ.

119. БП-77 -- СС-90.

120. БП-77 -- СС-90. Беловой автограф, под назв. «Март», в цикле «Месяцы года» (см. примеч. 115) — РГАЛИ. Ф. 1204. Оп. 1. Ед. хр. 64. Л. 3. Цит. в ЛГЖ (Т. 1. С. 103).

121. ИСРП. Беловой автограф — ФБ. Л. 31.

122. Беловой автограф — ФБ. Л. 32.

123. ИСРП -- БП-77. Беловой автограф — ФБ. Л. 35—36.

126. Беловой автограф, под назв. «Май», в цикле «Месяцы года» (см. примеч. 115) — РГАЛИ. Ф. 1204. Оп. 1. Ед. хр. 64. Л. 4.

127. БП-77 -- СС-90. Приведено в рец. Т. Сапожниковой (см. примеч. 92). Вариация на тему ст-ния Ф. Сологуба «Я ухо приложил к земле» (1900).

128. Беловой автограф, под назв. «Июль», в цикле «Месяцы года» (см. примеч. 115) — РГАЛИ. Ф. 1204. Оп. 1. Ед. хр. 64. Л. 5.

130. Беловой автограф, под назв. «Август», в цикле «Месяцы года» (см. примеч. 115) — РГАЛИ. Ф. 1204. Ол. 1. Ед. хр. 64. Л. 5—6.

132. Новая жизнь. 1912. № 8. Беловой автограф, под назв. «Сентябрь», в цикле «Месяцы года» (см. примеч. 115) — РГАЛИ. Ф. 1204. Оп. 1. Ед. хр. 64. Л. 6.

133. Беловой автограф, под названием «Октябрь», в цикле «Месяцы года» (см. примеч. 115), с второй строфой: «И уязвленные дыханьем / Его болезненной красы / Мертвы, проникнуты молчаньем / Мои полночные часы» — РГАЛИ. Ф. 1204. Оп. 1. Ед. хр. 64. Л. 7.

134. Беловой автограф, под назв. «Ноябрь», в цикле «Месяцы года» (см. примеч. 115) — РГАЛИ. Ф. 1204. Оп. 1. Ед. хр. 64. Л. 7.

135. Беловой автограф, под назв. «Январь», в цикле «Месяцы года» (см. примеч. 115) — РГАЛИ. Ф. 1204. Оп. 1. Ед. хр. 64. Л. 2. Перепеч. в рец. Т. Сапожниковой (см. примеч. 92), а также в рец.

Л. Войтоловского как иллюстрация того, что на ст-ниях Од «лежит печать бледного увядания» (КМ. 1912. 14 июля).

136. Беловой автограф, под назв. «Декабрь», в цикле «Месяцы года» (см. примеч. 115) — РГАЛИ. Ф. 1204. Оп. 1. Ед. хр. 64. Л. 8.

138. БП-77 -- СС-90. Авт. машинопись — ФБ. Л. 27—28 (послано для РМ). Фрагмент об осени приводился в рец. Т. Сапожниковой (см. примеч. 92).

БУДНИ

Книга «Будни» (Б) упоминается в мемуарах после рассказа о парижской типографии Рираховского, где, как пишет Эренбург, он чуть ли не каждый год издавал очередной сборничек на бумаге верже в ста экземплярах. «Книга "Будни" продавалась в Москве в книжном магазине Вольфа, и, насколько я помню, разошлось около сорока экземпляров» (ЛГЖ. Т. 1. С. 110). Здесь несколько неточностей. Б действительно напечатаны в Париже (видимо, в апреле 1913 г.), причем без грифа «издание автора», но с указанием типографии: «Imp. "Union". 46, Bd St-Jacques, Paris». Указание «Печатано в типографии И. Рираховского» появилось впервые на книге Эренбурга «Детское» (1914); знак этой типографии стоит еще на двух книгах Эренбурга: «Поэты Франции. 1571—1913. Переводы И. Эренбурга» (1914) и «О жилете Семена Дрозда» (1917), причем везде с одинаковым адресом: «50, Bd St-Jacques, Paris». Имел ли И. Рираховский отношение к типографии «Юнион», расположенной через дом от него, неизвестно. Далее — адрес московского книжного магазина М. О. Вольфа, как на всех парижских книгах Эренбурга, указан на Б в качестве «склада издания», но поступить туда книга не могла — она была запрещена к распространению в России. Московский цензор свои рекомендации Центральному Комитету Иностранной Цензуры мотивировал, в частности, и тем, что «книжка идет не только для отдельных лиц, но и в торговлю: склад издания — как показано на обложке — должен быть в книжном магазине Вольфа». Единственное же обоснование запрета по существу (словесно, впрочем, не сформулированное в рец. и. о. цензора Генца) выявляется подбором цитат из семи ст-ний (всё эротические сюжеты из «парижской жизни», вроде «И глумливо струю нечистот / В это, все же прекрасное тело / Уж сегодня никто не вольет...»). Цитаты обосновывали сомнение цензора в допустимости «дозволить» книжку. Его вывод: «Половина сборника, правда, в цензурном отношении возражений не вызывает, но изложенное выше вынуждает меня во всяком случае представить о книжке на усмотрение Комитета». 8 мая 1913 г. последовала резолюция: «Запретить. Пред. Гр. А. Муравьев» (РГИА. Ф. 779. Оп. 4. Ед. хр. 324. Л. 39; заметим, что в тот же день было запрещено распространение в России вышедшего во Франкфурте немецкого перевода романа Б. В. Савинкова «То, чего не было» — Л. 38).

Несмотря на запрет книги, по крайней мере шесть рец. на нее появилось в России. О книге высказался В. Я. Брюсов (спустя неполных два десятилетия с тех пор, как он сам эпатировал читающую публику России эротическими и демоническими стихами): «И. Эренбург, который года два назад дебютировал очень недурными стихами, целую книжку ("Будни") посвятил таким вещам, о которых не только в поэзии, но и в обществе принято "не говорить". <...> Может быть, и доступно такие темы обратить в поэзию, но для этого надо быть поэтом-титаном, вроде Бодлера; стихи же И. Эренбурга только вызывают сожаление о молодом поэте, уклонившемся со своего пути» (РМ. 1913. № 8. С. 74). Эта точка зрения не была единственной. Скорей всего, именно Б имел в виду в августе 1913 г. А. Н. Толстой в письме ярославскому книгоиздателю К. Ф. Некрасову: «Хочу сосватать Вам очень хорошего поэта — Эренбурга, он выпустил три книжки, и последняя из них очень интересна, нова и примечательна. Сам Эренбург проживает постоянно в Париже (эмигрант), я его знаю и жду от него еще более интересного» (Переписка А. Н. Толстого. М., 1969. Т. 1. С. 267). Рецензии на «Будни» спорили друг с другом. А. Ачкасов писал: «Необычный предмет избрал г. Эренбург для своей музы. Пафос его — миазмы, не только в переносном смысле, а и в самом прямом. Бодлер и Верлен первые стали касаться в поэзии этих некрасивых сторон земного существования, но делали это все-таки мимоходом, г-н же Эренбург из этой атмосферы положительно не выходит» (КМ. 1913. 11 мая). «Как хорошо неожиданно в потоке стихов встретить подлинную поэзию. Мы говорим о новой книжке И. Эренбурга, поэта, которому равно подвластны и экстаз рыцарства, и вычурность маркиза, и ужас современных городов.<...> Мусорщики, публика баров, ночных кабачков, метрополитенов, — все это только лишний раз растравляет больное сердце, и Эренбург, не щадя никого, не замечая ничего, вскрывает весь этот ужас в выразительных стихах и заставляет пережить то же чувство читателей» (В. Лоб-нов (Лобанов). Замалчиваемый поэт // Руль. (М.). 1913. 13 мая). В рец. за подписью С. З. говорилось: «Фривольностью и серостью, нудностью и скукой явлений и предметов обыденной жизни, вызывающей на циничные выражения и высказывания, не возьмешь патента на мастера изящной словесности и не достигнешь красоты тех, кто умел обрабатывать грязь и скудость повседневного быта людей мелких и жалких, униженных и оскорбленных для сокровищницы всечеловеческой поэзии... За исключением двух-трех поэтических вещиц, вся книжка г. Эренбурга заслуживает отрицательного отношения» (Московские ведомости. 1913. 14 июля). Б. Никонов: «Для чтения вслух "Будни" не всегда удобны, но про себя читаешь их с невольным сочувствием к автору. И несомненно, что это сочувствие — результат таланта и искренности» (Литерат. и попул.-научн. прилож. Нивы. 1913. № 7. К. 466).

Ст-ния, вошедшие в Б (кроме №№ 172 и 173), опубликованы в ней впервые; в дальнейшем не перерабатывались. Рукописи не сохранились. В наст. изд. печатаются по тесту книги с исправлением опечатки в № 160.

139. БП-77 -- СС-90. Цит. в мемуарах Эренбурга с комментарием: «Стихи плохие, неловко их переписывать, но они довольно точно выражают душевное состояние тех лет» (ЛГЖ. Т. 1. С. 103). Цит. в рец. и. о. цензора Генца как вызывающее «в цензурном отношении возражения» (РГИА. Ф. 779. Оп. 4. Ед. хр. 324. Л. 39), в рец. Т. Сапожниковой (см. примеч. 92), в рец. журн. «Современный мир» (1913. № 6. С. 18) и в рец. В. Лоб-нова: «Этот порою отталкивающий реализм, часто даже неминуемый там, станет понятен, если мы поймем его постоянную скорбь, его неустанное стремление к родине, к России, которой он посвящает лучшее стихотворение своей новой книги» (Руль. (М.). 1913. 13 мая). *Вержболово* (ныне Вирбалис, Литва) — до 1917 г. железнодорожная станция и таможня на границе России и Пруссии.

I. В ПАРИЖЕ

Эпиграф из ст-ния Поля Верлена «Парижский ноктюрн» (сб. «Сатурнические стихотворения», 1866; не переводилось на русский язык — см.: Verlaine Paul. Choix de Poesies. Paris, 1912. P. 54).

140. Цитата из этого ст-ния предварена в мемуарах так: «В годы, когда я складывался, мне было трудно рассуждать о Париже; я его и страстно любил, и не менее страстно ненавидел» (ЛГЖ. Т. 1. С. 116).

141. ИСРП.

143. ИСРП.

144. БП-77 -- СС-90. Цит. в рец. В. Лоб-нова (Руль. (М.). 1913. 13 мая).

145. В 1914 г. в ст-нии, обращенном к Эренбургу, Оскар Лещинский писал: «Когда я выхожу на Montparnasse / Я знаю, что в кафе увижу.Вас / И в ранний час, и в вечерний час / Вы пишете кому-то, что-то, — / И на лице у Вас всегда забота...» (Лещинский О. Серебряный пепел. Париж, 1914). «Кошмарная, будничная суета "чужого и непонятного Парижа" только острее бередит больные раны, только мучительнеей напоминает родину», — писал, цитируя это ст-ние, В. Лоб-нов (см. примеч. 139).

147. Цит. в рец. и. о. цензора Генца как вызывающее «в цензурном отношении возражения» (см. примеч. 139).

148. Цит. в рец. и. о. цензора Генца как вызывающее «в цензурном отношении возражения» (см. примеч. 139).

149. БП-77 -- СС-90.

150. Цит. в рец. и. о. цензора Генца как вызывающее «в цензурном отношении возражения» (см. примеч. 139).

151. Цит. в рец. и. о. цензора Генца как вызывающее «в цензурном отношении возражения» (см. примеч. 139).

153. «Воспетый автором на 20-й ненумерованной странице "Канализационный обоз" в значительной степени напоминает своеобразную музу г. Эренбурга, поскольку она проявляется в этом собрании его стихов», — писал и. о. цензора Генц (см. примеч. 139).

154. БП-77 -- СС-90. Эренбург вспоминал о 1912—1913 гг. в Париже: «Впервые я напал на томик Верлена; его певческий дар, его печальная и нелепая судьба меня взволновали. В кафе на бульваре Сен-Мишель официант с благоговением показал мне продавленный диван: "Здесь всегда сидел господин Верлен..." Я писал о "бедном Лелиане" (так называли Верлена в старости)...» (ЛГЖ. Т. 1. С. 109); далее цит. ст. 5—8 этого ст-ния. Поль *Верлен* (1844—1896) — французский поэт (см. с. 770).

156. Цит. в рец. и. о. цензора Генца как вызывающее «в цензурном отношении возражения» (см. примеч. 139).

157. Цит. в рец. и. о. цензора Генца как вызывающее «в цензурном отношении возражения» (см. примеч. 139).

160. *Франсис Жамм* (1868—1938) — французский поэт, (см. о нем. с. 771). Цит. в рец. В. Лоб-нова (см. примеч. 144) и Т. Сапожниковой (см. примеч. 92). *Первого народ, на кладбищах толпясь...* У католиков 1 ноября — День всех святых, 2 ноября — день поминовения усопших. *Люксембург* — Люксембургский сад в Париже.

162. Цит. в рец. Т. Сапожниковой (см. примеч. 92).

163. *Айседора Дункан* (1878 —1929) — американская танцовщица, основоположница новой школы танца; использовала древнегреческую пластику, танцевала без обуви, в хитоне. Эренбург писал: «Вспоминаю себя в 1908 г. Меня только что выпустили из тюрьмы. <...> Гляжу непримиримо на родителей, на эсеров, на декадентские стихи, на танцы Дункан...» (КдВ. С. 313—314). Эренбург лично познакомился с А. Дункан в 1922 г. в Берлине в пору ее скандального брака с С. Есениным.

II. ВОСПОМИНАНИЯ

Эпиграф из ст-ния Бальмонта «Можно жить с закрытыми глазами...». Эренбург познакомился с К. Д. Бальмонтом в Париже в феврале 1911 г.; Бальмонту посвящены одноименный очерк Эренбурга (Понедельник. (М.). 1918. 19 марта) и глава в ЛГЖ (Т. 1. С. 122—127).

164. Цит. в рец. Т. Сапожниковой (см. примеч. 92).

165. БП-77 -- СС-90. Беловой автограф, под назв. «Воспоминание о Москве» — РГАЛИ. Ф. 1204. Оп. 2. Ед. хр. 54. Л. 3. Цит. в ЛГЖ (Т. 1. С. 103) и (неточно) в первом романе К. Г. Паустовского «Романтики» (Паустовский К. Собр. соч.: В 8 т. М., 1967. Т. 1. С. 78).

169. БП-77 -- СС-90. Цит. в рец. В. Лоб-нова (см. примеч. 144).

171. БП-77 -- СС-90. Цит. в рец. журн. «Современный мир» (1913. № 6. С. 18) и Т. Сапожниковой (см. примеч. 92).

172. Гиперборей. 1912. № 3. Обращено к Е. О. Шмидт (см. примеч. 61). *Тоскана* — область в Италии с административным центром во Флоренции.

173. Новая жизнь. 1912. № 9. С. 57 -- ИСРП -- БП-77 -- СС-90.

III

Эпиграф из ст-ния Ф. Сологуба «Елисавета, Елисавета, приди ко мне!..» (1902).

174. В ЛГЖ ошибочно датируется временем после встречи с Сологубом в Париже весной 1914 г.; цит. после рассказа об этой встрече: «Сологуб в Париже меня любезно принял, выслушал мои стихи, говорил о музыке, о тайне и снова о Дульцинее. А я тогда писал не о Дульцинее, но о мусорщиках, о грязи и смраде парижских улиц» (Т. 1. С. 112). *«Навьи чары»* — скандально известный тогда роман-трилогия Ф. Сологуба, печатавшийся в альм. «Шиповник» в 1907—1909 гг.; Эренбург писал о русской интеллигенции того времени: «Никто из них не предвидел, что через десять лет появятся пшенная каша и анкеты; жизнь казалась чересчур спокойной, люди искали в искусстве несчастья, как дефицитного сырья. Начиналась эпоха богоискательства, скандинавских альманахов, "Навьих чар"» (ЛГЖ. Т. 1. С. 81).

178. Об этом ст-нии — в рец., подписанной С. З.: «Прочитаешь стихотворение "Осень", помещенное в сборнике последним, и не поверишь, что все остальные стихи также принадлежат перу его автора. Несмотря на остроумие и на способность к версификации, г. Эренбург плоск и прозаичен в содержании своего творчества, слеп в подражании известным образцам и не стесняется мертворожденностью своих произведений» (Московские ведомости. 1913. 14 июля).

ДЕТСКОЕ

«Детское» (Дет) — самый маленький по объему сб. стихов Эренбурга (24 ст-ния) — был напечатан в парижской типографии И. Рираховского (орнаментальная картонная обложка без текста работы Е. Ширяева) в декабре 1913 г., но на титульном листе обозначили 1914 г. В декабре же московский и. о. цензора Генц нашел, что «сочинение не содержит ничего противного цензурному Уставу», и 18 декабря 1913 г. (по ст. ст.) председатель Центрального Комитета Иностранной Цензуры граф А. Муравьев подписал разрешение к распространению Дет в России (РГИА. Ф. 779. Оп. 4. Ед. хр. 325. Л. 657). Книга была отправлена В. Я. Брюсову с парижским штемпелем: 12. 1. 1914 (БиК. С. 529—530); нам известны также экземпляры А. А. Блока (см.: Библиотека А. А. Блока: Описание. 1984. Т. 1. № 1029), М. А. Волошина (СК) и М. И. Цветаевой, посланный на коктебельский адрес Волошина (см.: Цветаева М. Неизданное. Семья: История в письмах. М., 1999. С. 169—170; в комментариях ошибочно утверждается, что речь идет о «Буднях», — с. 476).

Несколько рецензий отозвались на Дет как на очередной поворот поэзии парижского автора. Л. Войтоловский, в частности, писал: «И. Эренбург увлечен простотой и детскостью. Внешний мир ему хочется воспринимать сквозь призму наивной свежести. Всюду он ищет чистоты, примитива; пишет маленькие полустихотворные поэмы, похожие на скромные полевые цветочки. <...> За вычетом двухтрех стихотворений книжечка г. Эренбурга проникнута чистым и трогательным настроением» (КМ. 1914. 25 января). «Маленькая, изящная книжка И. Эренбурга еще раз указывает, что в его лице мы имеем тонкого талантливого поэта, радующего всем, что он создает. Стихи прелесть, их форма, гибкая простота и содержательность иногда неотразимо волнуют» (Златоцвет. 1914. № 10. С. 18). Почти все рецензенты Дет говорили о влиянии на Эренбурга поэзии Франсиса Жамма, тем более что в апреле 1913 г. прежде мало известный в России Жамм появился по-русски в переводе Эренбурга. «В ней есть аромат — в этой маленькой поэтической книжечке. Но аромат чужих французских листов. Всего больше, кажется, аромат из книг буколического французского поэта Франсиса Жамма» (Войтоловский Л.). Н. Венгров: «"Детское" Эренбурга нельзя не поставить в связь с Франсисом Жаммом... Поэт хорошо воспринял жаммовское понимание искусства, и Жамм остался и в оригинальных вещах Эренбурга. Я говорю это не в осуждение Эренбургу. Французский поэт помог окончательно выявиться тому, что жило в Эренбурге, потому что "жаммовское" в душе поэта звучало достаточно явственно и раньше» (С-к. 1914. Кн. 13—15. С. 300). «В книге Эренбурга "Детское" слишком мало самостоятельности — на поэта оказывает громадное подчиняющее влияние Франсис Жамм» (Очарованый странник. 1914. Вып. 3. С. 117). С. Городецкий: «Посвящение Жамму очень теплое, дает возможность увидеть именно в этом поэте школу или направление, приведшее И. Эренбурга к отличным результатам» (Речь. 1914. 10 марта). «Очень большое и творчески благотворное влияние имел

на Эренбурга Франсис Жамм, — писал в 1916 г. М. Волошин. — Книга "Детское", отмеченная его знаком, является самой гармоничной и трогательной из книг Эренбурга» (Речь. (СПб.). 1916. 31 октября).

Все ст-ния, вошедшие в книгу Дет, опубликованы в ней впервые; в дальнейшем не перерабатывались. Рукопись не сохранилась. В наст. изд. печатаются по тексту книги. В примеч. указываются перепечатки.

Франсис Жамм — см. с. 771.

179. БП-77 -- СС-90. Цит. в мемуарах Эренбурга, после рассказа о поездке к Жамму: «Франсис Жамм разрешил мне приехать к нему; жил он в Ортезе, около испанской границы. У него была уютная борода и ласковый голос; он принял меня по-отечески, попросил почитать стихи по-русски, угостил домашней наливкой <...>. Я ждал наставлений, а Жамм показал себя снисходительным, радушным. Он мне понравился, но я понял, что он не Франциск Ассизский и не отец Зосима, а только поэт и добрый человек; уехал я от него с пустым сердцем. Я посвятил Жамму сборничек стихов "Детское"; вспоминал день, проведенный в Ортезе». Далее Эренбург привел отрывок из ст-ния, записанный в виде двух строф, и прокомментировал их: «Так вспоминают не об учителе жизни, а о милом дядюшке в деревне...» (ЛГЖ. Т. 1. С. 109—110).

181. БП-77.

184. БП-77. Приведено в рец. Л. Войтоловского с комментарием: «Конечно, роль буколического пастушка, водящего на розовой ленточке свою козочку и угощающего ее леденцами и солью, — имеет в себе много заманчивого для мечтательного воображения г. Эренбурга, но не следует забывать, что со времени Валерия Брюсова коза пользуется очень щекотливой репутацией в русской литературе» (КМ. 1914. 25 января).

186. Приведено в рец. Л. Войтоловского с таким комментарием: «Простыми и тихими словами жалуется г. И. Эренбург на людей, на Бога, а может быть, на себя. О чем-то рассказывает усталым голосом с оттенком детской наивности. И если это не всегда получается поэтично, то все-таки видно, что у автора имеется способность грезить и мечтательно улыбаться» (КМ. 1914. 25 января).

188. БП-77. Приведя это ст-ние, С. Городецкий написал: «Совершенно обезоруживающая красота этих вещиц — победительна. В их наготе есть целомудрие статуи. Эти крупинки малы как атомы, но как атомы настоящего искусства. У нас еще так пишет Марина Цветаева, но у нее бывает примесь жеманства» (Речь. (СПб.). 1914. 10 марта).

189. Альманах для детей и юношества. М., 1924 (библ. «Красной нови». Вып. 3), под назв. «Колыбельная» -- БП-77.

194. «Хорошо передан "весной дождик шальной"», — написал в рец. Н. Венгров, цитируя это ст-ние (С-к. 1914. Кн. 13—15. С. 300).

195. Колокольчики: (Сб. стихов для детей). Пг., 1918.

197. Начало ст-ния приведено в рец. Н. Венгрова как пример «удачного образа» (см. примеч. 194); перепеч. в рец. альм. «Очарованный странник» (1914. Вып. 3. С. 17—18) как пример «интересных и свежих сравнений».

201, 202, 203. БП-77.

NOLI ME TANGERE

В издательских планах И. Эренбурга 1914 г. значатся по крайней мере три книги его стихов.

В «Детском» напечатана реклама: «Готовятся: 1. "Когда я курю трубку". Стихи. 2. "Антология современных поэтов Франции"» (далее приводится список переведенных авторов). Это информация конца 1913 г. В январе 1914 г. Эренбург писал П. Н. Зайцеву об антологии «Поэты Франции»: «К сожалению, мне кажется не удастся издать эту книгу» (РГАЛИ. Ф. 1610. Оп. 1. Ед. хр. 38. Л. 1). В феврале антология все-таки в Париже вышла (по объему это была самая большая книга Эренбурга с 1910 г.), но от сб. «Когда я курю трубку» автору пришлось отказаться.

В середине апреля 1914 г. Эренбург отправил письмо в московское изд-во «Лирика» на имя С. Боброва, с которым не был лично знаком (Бобров — «идеологическая» фигура, финансовые вопросы обеспечивал Ю. Анисимов; письмо поступило в изд-во 7 апреля по ст. ст.), с предложением выпустить сб. его стихов «Ранние сумерки», который «должен объединить стихи за три года (12—14), именно: часть стихотворений из сборника "Одуванчики" <...>, часть из "Будней"», в Россию не допущенных цензурой, "Детское", которое издано в очень малом количестве экземпляров <...> и около 60 новых стихотворений. Всего будет около 120 стихотв. 4—5 печатных листов (больших). Книгу я хочу издать в 1000 экз. <...> Главное затруднение с моей стороны денежная сторона — я не имею возможности выложить сейчас за типографские расходы нужной суммы. Конечно (я сужу по опыту моих прошлых сборников) они покроются в течение года продажей, но нужно, чтобы издательство оказало на этот срок кредит. Не знаю русских типографских цен, здесь такая книга должна бы обойтись около 200 рублей (на alfa или vergé)» (РГАЛИ. Ф. 2554. Оп. 1. Ед. хр. 78. Л. 1—2). Эренбург не знал, что Бобров (вместе с Асеевым и Пастернаком) уже рассорился с Анисимовым и покинул «Лирику». Письмо Эренбурга, скорее всего, осталось без ответа, и «Ранние сумерки» света не увидели. (Заметим попутно, что к апрелю 1914 г. шестидесяти новых ст-ний у Эренбурга еще, как кажется, не было — он и тогда, и часто потом «планировал» свою работу вперед.)

В мае 1914 г. в Париже вышел первый номер поэтического журн. «Вечера» (редактировал его Эренбург, деньги предоставил молодой поэт В. Немиров). В журнале было напечатано 11 ст-ний Эренбурга под общим заголовком «Стихи из книги "Noli me tangere"». Название книги было достаточно популярным — см. одноименные ст-ния Брюсова (1906) и Балтрушайтиса (до 1906; вошло в его кн. «Земные ступени», 1911). Это было не просто название цикла, издание такой книги действительно предполагалось — 19 июля 1914 г. Эренбург писал поэту А. Альвингу: «Осенью выходит моя новая книга "Noli me tangere" — я с ней связываю много. В первый раз говорю о себе. Верю, что она понравится больше моих риз-маркиз и соборов-сеньоров» (РГАЛИ. Ф. 21. Оп. 1. Ед. хр. 43. Л. 2). Первая мировая война лишила Эренбурга средств к существованию (прекратились денежные переводы из России), и замысел книги остался невоплощенным.

В периодике Эренбург двумя блоками напечатал 17 ст-ний из «Noli me tangere», два неопубликованных ст-ния сохранились в архиве В. Я. Брюсова. Как и в «Детском», несмотря на присутствие в ст-нии рифм, Эренбург записывал их как прозу, без соблюдения строфики (она была восстановлена в тех ст-ниях, что включены в СоК). Не только это формальное свойство, но и определенное внутреннее единство позволяет выделить эти стихи из раздела «несобранных» и представить их (в соответствии с авторским замыслом) книгой, которая служит естественным мостом между «Детским» и «Стихами о канунах».

Впервые опубликовано: ст-ния 204 —214 — Вечера. (Париж). 1914. № 1; ст-ния 215—220 — С-к. 1914. Кн. XIII—XV (№№ 218, 219, с вар.).

204. СоК. Авт. машинопись — ФБ. Л. 59.

205. СоК, под назв. «Как умру» -- БП-77.

212. Последний абзац входил последней строфой в ст-ние «Ars» (№ 313). *Но в душе не осталось золота, / Чтоб отлить иного тельца.* Имеется в виду ветхозаветный сюжет о золотом тельце: золотой идол быка был отлит Аароном по требованию народа, обеспокоенного долгим отсутствием Моисея, говорившего на Синае с Яхве. Народ «сказал ему: встань и сделай нам Бога, который бы шел перед нами» (Исх. 32, 1; золотому тельцу поклонялись, как воплощению самого Бога).

214, 215, 216, 217. БП-77.

218. Последняя строка ошибочно напечатана как первая строка следующего ст-ния; эта ошибка повторена и в БП-77. Печ. по автографу — ИРЛИ. Ф. 185 (В. С. Миролюбова). Оп. 1. № 1442. Л. 1.

219. БП-77 (вместе со ст-нием 218, как одно ст-ние из двух частей). *Пиза* — итальянский город на реке *Арно*.

220. СоК -- БП-77, обе публ. — без второго абзаца, стихотворными строками, под назв. «До конца». Печ. по С-к с исправлением

пунктуации по СоК. Беловой автограф в составе рукописи СоК — ГЛМ. ОФ 3686. Исправленные строчки: «Но жизнь *твоя* просторная дорога...» (курсив мой. — *Б. Ф.*) Эренбург цит. в письме Б. В. Савинкову из Парижа 30 декабря 1915 г. после слов, что ему «не понравился» портрет Савинкова в ст-нии М. Волошина «Ропшин» (Зв. 1996. № 2. С. 175).

221. Печ. впервые по авт. машинописи — ФБ. Л. 57. Было послано Брюсову 5 апреля 1914 г. для РМ вместе со ст-ниями 204 и 222. (БиК. С. 530).

222. Печ. впервые по авт. машинописи — ФБ. Л. 58.

СТИХИ О КАНУНАХ

Замысел новой книги, которая включала бы стихи 1914—1915 гг., возник у Эренбурга, видимо, весной 1915 г. План книги постепенно формировался, и вскоре Эренбург вновь написанные стихи видел уже в определенных разделах будущего сб. В сознании немногочисленных парижских слушателей его стихов устоялось: Эренбург пишет именно книгу, а не просто стихи, и слово «Кануны», которое так или иначе звучало в связи с этой книгой, отражало общую смуту и потому впечатляло. Так, Максимилиан Волошин, проводивший тогда много времени с Эренбургом, спустя 17 лет вспоминал: «В этот период Илья писал книгу о "Канунах". Это был ряд набросков и настроений первого года войны, со всей чудовищностью и ложью, которая тогда уже начинала кристаллизоваться в атмосфере и личностях» (Волошин М. История моей души. М., 1999. С. 366).

В 1915 г., как и раньше, Эренбург посылал свои новые стихи в Россию: в журн. «Современник», где в 1914 г. напечатали подборку из «Noli me tangere», Брюсову — для «Русской мысли», Короленко — для «Русского богатства». Журналы и прежде (в 1913—1914 гг.) печатали его не слишком часто, теперь же, в пору вызванного началом войны шовинистического угара, стихи Эренбурга оказались совсем не ко двору. «Современник» отсылал их назад; Короленко записывал, что «все это изложено не стихами, а каким-то модернистским, вялым полустишьем, <...> слишком натуралистично, без одушевления, скучно. Стихи тяжелые, неуклюжие, хотя и своеобразные» (ГЛМ. Ф. 125. Оп. 1. № 8. ОФ 7818. Л. 3); Брюсов, не сотрудничая больше в «Русской мысли», оставил стихи у себя. В итоге за весь 1915 г. в российской печати появилось только два ст-ния Эренбурга (в «Новом журнале для всех»).

Тем настоятельнее становилась потребность в новой книге. Ее структуру Эренбург тщательно продумал; он разместил стихи по семи разделам, дав им нетривиальные названия (то, что было правилом для символистов, Эренбург применил фактически впервые). Беловая рукопись книги сохранилась в ГЛМ, но происхождение ее неизвест-

но. Возможно, она попала в музей из какого-либо изд-ва. В рукописи 97 ст-ний и одна поэма, написанные до июля 1915 г. включительно (в изд. 1916 г. есть стихи, датированные июлем, которые в рукописи отсутствуют). Видимо, именно в июле книга была переписана Эренбургом набело и отправлена в изд-во. Выпустить книгу, как все предыдущие его сб., за свой счет Эренбург уже не мог — с началом войны его финансовое положение, и прежде весьма скромное, стало катастрофическим. В письмах Эренбурга Волошину прослеживается ситуация с изданием «Стихов о канунах» (СоК) 11 августа 1915 г.: «Веду переговоры с юными португальцами об издании сборника стихов, но пока ничего определенного» («португальцы» означает «русские» — это явный отсыл к ст-нию парижского приятеля Эренбурга Оскара Лещинского: «Нас принимают все за португальцев / Мы говорим на русском языке...»). Скорей всего, речь идет об изд-ве в России (так, в 1914 г. Эренбург обращался, правда безуспешно, в московское изд-во «Лирика»). 14 сентября: «С моей книгой дело не лучше, чем с Болгарией, и, надо думать, ничего не состоится» (Болгария как раз тогда, вопреки надеждам славянского мира, вступила в союз с Германией). 27 сентября: «Ко всему безденежье и бесплодные поиски заработка. Книгу, кажется, издать не удастся, и это тоже печально». Видимо, после этого Волошин, имея в виду новую поэтическую манеру Эренбурга, посоветовал ему издать книгу у футуристов. 3 октября Эренбург ответил ему: «К футуристам писать, кажется, не стоит. Денег у них нет, а фирму мне все дают. Нужно 200 р. на издание, которых, конечно, у меня нет» (Зв. 1996. № 2. С. 164, 167, 170, 172). Тем не менее надежды сохранялись, и, отправляя 12 октября Брюсову 6 ст-ний для публикации, Эренбург написал: «Посылаю Вам несколько стихов из книги "Стихи о канунах", которую я собираюсь издать в течение зимы» (БиК. С. 530). Возможно, правда, этим Эренбург просто хотел поторопить Брюсова с публикацией). И после отправки рукописи СоК Эренбург свои новые ст-ния предполагал поместить в книге (в письмах Волошину, переписывая ему только что сочиненные стихи, он иногда указывал, какому «отделу» сб. они предназначаются).

Издание книги стало реальным только в ноябре, когда Волошин уговорил живших тогда в Париже московских меценатов Цетлиных помочь Эренбургу. Чтение книги устроили в особняке Цетлиных на авеню Анри-Мартен. 29 ноября 1915 г. Волошин сообщал Б. В. Савинкову: «Эренбург бывает часто в отеле на Avenue Henri-Martin — любим и оценен. Его книга покорила себе сердца: в субботу (субботу!) он читал стихи, сидя в кресле среди персидского ковра, окруженный светскими дамами, "точно козел — величественный, гнусный и смрадный" (трубка), как я уверял его. <...> Но стихи его, читанные в первый раз у меня только М. О. и М. С. (Цетлиным. — *Б. Ф.*) вторично на людной субботе произвели очень сильное впечатление. <...> Я сам был ими потрясен как совсем новыми. В Ротонде они звучали как одно из выявлений общего хаоса, а тут я имел возможность оценить их общий художественный размах, захват и пафос. Мои стихи, которые я читал перед ним, совершенно стерлись, померкли, потерялись. Я очень этому порадовался, т. к. этот контраст

еще подчеркнул в глазах Цетлиных художественный размах его книги. Ее издание решено окончательно <...>. Словом, Эренбургу не придется искать места в трамвае, ни выгружать по ночам ящиков на Вожираре, о чем он очень мечтал последнее время» (Зв. 1996. № 2. С. 173—174; см. также: ЛГЖ. Т. 1. С. 143—145). Савинков, по-видимому, это назвал «лакейством», во всяком случае, Эренбург писал ему в середине декабря: «Дела моего "лакейства" еще не выяснились», а через несколько дней: «Результаты следующие — издательство "Иверни" (слово извлечено, конечно, Волошиным) и издание немедленное ряда книг, в том числе моих стихов. <...> Рукопись отослана, и я молюсь за цензоров и пр.» (Зв. 1996. № 2. С. 175—176). Изд-во, созданное в Москве на деньги Цетлиных, назвали «Зерна» (слово «Иверни» Волошину пригодилось в 1918 г. для его избранного); оно просуществовало до 1918 г., когда выпустило альм. «Весенний салон поэтов». В 1916 г. в нем вышли книги Волошина, Амари (т. е. самого М. О. Цетлина) и Эренбурга. Рукопись СоК, отосланная в «Зерна», была дополнена (по сравнению с хранящейся в ГЛМ) стихами, написанными в июле—ноябре 1915 г.; она не сохранилась, и точный состав ее неизвестен. В апреле 1916 г. изд-во «Зерна» одновременно выпустило в Москве четыре книги — СоК и переводы Эренбурга из Вийона, «Anno mundi ardentis» Волошина и «Глухие слова» Амари (27 апреля М. А. Волошин сдал в феодосийский книжный магазин Р. А. Берлин по 8 экземпляров этих книг — сообщено В. П. Купченко). СоК были отпечатаны в московской скоропечатне А. А. Левенсона без указания изд-ва; книга вышла в мягкой обложке с парижским рисунком работы М. Б. Воробьевой-Стебельской (Маревны). В конце книги на отдельном листе сообщалось: «Многие строки и стихи не могли быть напечатаны в этой книге. Пропуски отмечены точками». «Царская цензура, — вспоминал Эренбург, — не позволяла мне произносить слово "Бог", она заменяла его четырьмя точками» (КдВ. С. 325), — имеется в виду вымаранное всюду в СоК слово «Господи»; вообще, вымарки касались в основном религиозной лексики и сюжетов. Цензурных купюр, честно обозначенных отточиями, оказалось много. Сколько именно ст-ний цензура удалила из книги, неизвестно. Из 97 ст-ний рукописи ГЛМ в СоК напечатано 50 ст-ний и поэма; из добавленного в книге осталось 15 ст-ний и 3 поэмы (деление на ст-ния и поэмы здесь условно и определяется скорее размерами текста). Структура сборника («отделы») в издании не сохранилась, но порядок следования ст-ний рукописи ГЛМ примерно выдерживался. Полностью исчез раздел «Ручные тени» (осталось только ст-ние о Модильяни), сильно пострадали также разделы «Тяжкая плоть» и «Хворая тварь». Основная масса ст-ний, написанных в августе—ноябре 1915 г., располагалась в конце книги.

Стихи, запрещенные московской цензурой, Эренбург намеревался издать литографированной книжкой в Париже (об этом он 7 августа 1916 писал Брюсову, см.: БиК. С. 532); но план этот не осуществился. В 1919 г. в Киеве Эренбург предпринял попытку выпустить полное издание СоК (о его подготовке см.: ВЗ. С. 58) — но и это не осуществилось.

Эренбург рассылал СоК писателям (известны экземпляры Блока, Брюсова, Ремизова). Получив книгу, Брюсов написал статью для «Русских ведомостей». 5 (18) июля 1916 г. он сообщал Эренбургу: «Недавно я написал то, что думаю о Вас, сделал из этого рецензию (причем, разумеется, многим пришлось пожертвовать, оставить только мнения без доказательств)» (БиК. С. 531). Эта статья вышла на следующий день, 6 (19) июля. Отметив «серьезное отношение» Эренбурга к поэзии, искренность, невыдуманность его стихов, Брюсов писал: «Сознательно избегая трафаретной красивости, И. Эренбург впадает в противоположную крайность, и его стихи не звучны, не напевны.<...> Боясь всякого лицемерия, всякой условности, И. Эренбург тоже заходит слишком далеко и почти исключительно изображает лишь отвратительное и в своей душе, и в окружающих. Всего более привлекают внимание И. Эренбурга гнойники верхов современной культуры. Выследить все позорное и низменное, что таится под блеском современной европейской утонченности, — вот задача, которую (сознательно или бессознательно) ставит себе молодой поэт. И он с решительностью хирурга, вскрывающего злокачественный нарыв, обнажает в своих непоющих стихах и тайные порывы собственной души, в которых не каждый решится сознаться, и все то низменное и постыдное, что сокрыто под мишурой нашей благовоспитанности и культурности».

СоК вызвали немногочисленные отклики — война вступала уже в тяжелую для России фазу, внимание общества было занято военно-политическими проблемами, да и книга Эренбурга была отнюдь не легким и ясным чтением. Из постоянных критиков Эренбурга, помимо Брюсова, на СоК откликнулся Волошин. Его статья «Илья Эренбург — поэт», содержащая выразительный портрет Эренбурга на фоне парижского запустения военных лет и посвященная не только СоК, но и его переводам из Вийона и «Повести о жизни некой Наденьки...», приводила к выводам, основанным не только на внимательном анализе текста, но и на глубоком, изнутри, понимании его автора: «Исступленные и мучительные книги, местами темные до полной непонятности, местами судорожно-искаженные болью и жалостью, местами подымающиеся до пророческих прозрений и глубоко-человеческой простоты. Книги, изуродованные цензурными ножницами и пестрящие многоточиями. Книги большой веры и большого кощунства. К ним почти невозможно относиться как к произведениям искусства, хотя в них есть и высокие поэтические достижения. Это — лирический документ. И их надо принимать, как таковой. В них меньше, чем надо, литературы, в них больше исповеди, чем возможно принять от поэта. <...> Основная идея Эренбурга, проходящая через всю книгу, это то, что земная жизнь и есть настоящий, подлинный ад, и что "всякий, кто жизнь отработал — в раю". Проникнутый христьянскими символами и образом, он в каждой строке остается исполненным глубокого иудейского, непримиримого духа. Богоборчество — один из родников его поэзии» (Речь. (СПб.). 1916. 31 октября). 15 (28) декабря 1916 г. М. О. Цетлин писал из Парижа Волошину о его статье «Илья Эренбург — поэт»: «Фельетон (так сам Волошин именовал свои статьи в «Речи». — *Б. Ф.*) об Эренбурге

сыграет, верно, большую роль в его литературной карьере. Русская публика любит знать реальную личность художника» (Зв. 1996. № 2. С. 188). Из других откликов отметим статью Юлия Айхенвальда, написавшего, что Эренбург «как будто специально хочет быть безобразным» и что от «густой вуали точек» «впечатление тягостной бессмыслицы только усиливается». «Впрочем, — заметил Айхенвальд, — сквозь нее там и здесь проступает и прежний Эренбург; а иногда привлекает к себе дерзкая и ядовитая мысль, умственная белена» (Речь. (СПб.). 1916. 25 апреля). 1 августа 1916 г. М. О. Цетлин, жалуясь М. А. Волошину на то, что пресса молчит о книгах изд-ва «Зерна», сообщил: «Айхенвальд испортил мне настроение отзывом об Эренбурге» (Зв. 1996. № 2. С. 184). Отметим также суждение Д. Выгодского: в СоК «намечается и отчасти уже заявляются совершенно новые черты, как со стороны формальной, так и идеологической» (Летопись. 1917. № 1. С. 250).

В наст. изд. книга СоК печатается по составу авторской рукописи ГЛМ (ОФ 3686, беловой автограф, из 47 произведений которого, не вошедших в изд. 1916 г., только 18 опубликованы в БП-77), за исключением 6 ст-ний, включенных автором в рукопись из неизданной книги «Noli me tangere» (№№ 204, 205, 208, 213, 215, 220). В разделе «Дополнения» помещены произведения, отсутствующие в рукописи ГЛМ, но вошедшие в издание 1916 г., в том числе ст-ние «Пугачья кровь», исключенное из него цензурой. В примеч. к каждому ст-нию указаны хронологически все публикации и источник, по которому печатается текст, если автор позднее вносил в него исправления.

Эпиграф 1. *Второзаконие* — пятая книга Пятикнижия Моисеева, содержащая законодательную часть Библии.

РАЙСКАЯ ГАРЬ

223. СоК (с изъятием двух последних строк) -- К -- БП-77 -- СС-90. Печ. по АСоК. Цит. в КдВ после рассказа о жизни автора в Париже военных лет: «Иногда я ходил к русским меценатам (Цетлиным. — *Б. Ф.*). Они торговали чаем и называли себя эсерами. Они кормили поэтов и художников; навынос они ничего не давали. Я писал тогда "Стихи о канунах". Они спрашивали: "Кануны — чего?". Я не умел ответить. Я злобно щерился, ел жаркое, глядел на этажерку с безделушками (мне хотелось разбить все вазы), а потом начинал выть...» (С. 327). Цит. в рец. М. Волошина (см.: Речь. (СПб.). 1916. 31 октября). *Успение* — день смерти Богородицы (15 августа).

224. СоК.

225. Новый журнал для всех. 1915. № 7. С. 3, под назв. «На войну» -- СоК -- ВСП -- К -- СС-62 -- БП-77 -- БВЛ Т. 50 -- СС-90. Печ. по СС-62. Цит. в рец. М. Волошина (см. примеч. 223). *Зуавы* — вид легкой пехоты во французских колониальных войсках, формировав-

шихся в Северной Африке из французов и арабов.

226. СоК. Цит. в рец. М. Волошина (см. примеч. 223).

227. СоК -- БП-77 -- СС-90. Беловой автограф — РГАЛИ. Ф. 1720. Оп. 1. Ед. хр. 405. Мария Людвиговна *Моравская* (1889—1947) — поэтесса, детская писательница; после 1917 г. эмигрировала в США. В 1946 г., когда Эренбург приезжал в США, она написала ему, напомнив о посвященном ей ст-нии: «Вы теперь славный политический деятель, но я о Вас думаю как о молодом поэте в Париже» (РГАЛИ. Ф. 1204. Оп. 2. Ед. хр. 1931. Л. 1).

228. СоК, с делением на строфы (Ст. 1—6, 7—16, 17—21) и вар. ст. 20: «иссякнет» -- К -- СС-62 -- БП-77 -- СС-90. Беловой автограф, без назв.— ГЛМ. Печ. по СС-62.

229. Печ. впервые по рукописи — ГЛМ. Л. 11. *Неман, Днестр, Висла, Стрый, Сан* — реки на западе Российской империи в зоне боевых действий Первой мировой войны. *Нида* — населенный пункт на Куршской косе (Литва).

230. СоК, с цензурным пропуском ст. 12 -- СС-62 (по АСоК полностью) -- БП-77 -- СС-90. *Семьдесят пять* — калибр пушки.

231. СоК.

232. СоК, с делением на две строфы и вар.: ст. 3 — «покойно», ст. 9 — «При Марне» -- К -- СС-62 -- БП-77 -- СС-90. Беловой автограф — ФБ. Л. 65 (прислано автором В. Я. Брюсову 12 октября 1915 г. вместе с другими 5 ст-ниями для РМ). Печ. по СС-62. Цит. в рец. М. Волошина (см. примеч. 223). *Шарль Пеги* (1873—1914) — французский поэт, погибший в сражении на реке Марне в сентябре 1914 г. Эренбург вспоминал: «Поэт Шарль Пеги писал о Жанне д'Арк и считался католиком. Мне нравились его стихи: он повторял сто раз одно и то же и каждый раз отступал от прежнего, его ритм напоминал бег охотничьей собаки, которая идет туда же, что и ее хозяин, но все время петляет. Мне привелось однажды с ним беседовать в редакции "Кайе де ля кэнзэн". Я думал, что он будет говорить о религии, о Бергсоне, о мессианстве, но он заговорил о России» (ЛГЖ. Т. 1. С. 118). Эренбург писал о Пеги в статьях «Убитые поэты» (Биржевые ведомости. (СПб.). 1916. 8 июля) и «На костре» (Понедельник. (М.). 1918. 28 мая, 10 июня); переводил его стихи (см.: ТД. С. 178).

233. БП-77 -- СС-90.

234. СоК, с многоточиями вместо ст. 9—12 -- К (полностью, ст. 12 исправлен, в АСоК — «Окаменевшего отца») -- БП-77 -- СС-90. *Реймский собор* — памятник французской готики XIII в., был варварски разрушен немецкой артиллерией в 1914 г. В статье «Французская поэзия и война» Эренбург писал: «Сотни стихотворений написаны о разрушении Реймского собора. Но все они повторяют укоры и дово-

ды любой газетной статьи» (УР. 1916. 19 марта). *Лишь обратив на запад стылый и пустынный / Последний суд...* «В готических соборах изображение последнего суда всегда на западном фасаде» (Эренбург И. На костре // Понедельник. (М.). 1918. 10 июня). *...плачет Каин / Над пеплом жертвенных даров.* По Библии, Каин принес в жертву Богу плоды земли, а брат его Авель — ягнят; Бог отверг жертву Каина, а жертву Авеля принял, тогда Каин убил брата.

235. СоК -- СС-62 -- БП-77 -- БВЛ Т. 50 -- СС-90. Цит. в ЛГЖ (Т. 1. С. 114).

236. СоК -- СС-62 -- СС-90. Беловой автограф, без назв. — ГЛМ. Автограф первонач. ред. — в письме Эренбурга в Биарриц М. А. Волошину 19 июля 1915 г., с вар.: ст. 4 «Убегали в погреба»; после ст. 4— «Стреляли те или эти? В папахах или, может быть, в кепи?»; ст. 12 — «Соской зажимает рот»; ст. 17 — «Снега дымятся» (ИРЛИ. Ф. 562. Оп. 3. Ед. хр. 1338. Л. 14). Редакция не пропустила это ст-ние в БП-77 (обоснование гл. ред. Ф. Я. Приймы: автор не включил это ст-ние в прижизненное издание сочинений, не относя к «числу значительных» (СК), — не соответствовало действительности, так как в СС-62 ст-ние вошло; подлинной причиной запрета была еврейская тема ст-ния, но это официально не признавалось). 19 июля 1915 г. Б. В. Савинков писал Волошину из Ниццы: «Два раза был у меня Эренбург <...>. Говорили и о литературе. Эренбург читал свои стихи. Мне кажется, что он очень даровит. Или, может быть, мне это только так кажется, — потому что я его полюбил, несмотря на непонимание, на длинные волосы, желтую куртку и "цып-цып-цып" в стихах» (Зв. 1996. № 2. С. 162). Цит. в рец. М. Волошина (см. примеч. 223).

237. Печ. впервые по рукописи — ГЛМ. Л. 21.

238. СоК, с отточиями вместо ст. 17—22, вар. ст. 15: «Сжалься, сжалься!» и пропуском слова «Господи» -- Зв. 1996. № 2. С. 159 (по тексту письма Эренбурга Волошину — июнь 1915 г.). Печ. по АСоК.

239. СоК, с отточиями вместо ст. 7—10. Печ. по АСоК. Беловой автограф — ФБ. Л. 62 (послан В. Я. Брюсову 12 октября 1915 г., с вар. ст. 7—10: «Черепахи и иные розовые твари / Рвали и глотали мужнины бока — / Святой Кир и ты, Иоанн, / Смойте кровь с его темных ран»); ГЛМ, без назв. *Святой Кир* — христианский великомученик, врач, казненный язычниками в Александрии в 361 г.

240. Зв. 1996. № 2. С. 159 (по тексту письма Эренбурга Волошину, июнь 1915 г.). Печ. по рукописи — ГЛМ. Л. 24.

241—242. Арион. 1999. № 3.

243. СоК -- БП-77. *Грум* — конюх или лакей, правящий экипажем.

БОЖИЙ ХЛЕБ

244. СоК. Мария Брониславовна *Воробьева-Стебельская* (Маревна; 1892—1984) — художница, парижская подруга Эренбурга, Волошина (также посвятившего ей стихи), Савинкова и Диего Риверы; автор воспоминаний «Life in two words» (London, 1962. Предисловие О. Цадкина). В Париже Эренбург общался с Маревной, главным образом, в кафе «Ротонда», где собиралась художественная и литературная богема 1910-х гг. (см.: ЛГЖ. Т. 1. С. 159, 200; Зв. 1996. № 2. С. 157—201).

245. БП-77. Артюр *Рембо* (1854—1891) — французский поэт, гениально одаренный юноша; писал стихи до 19 лет, затем бросил, скитался по Африке, осев в эфиопском городе *Харрара*; тяжело больной (опухоль ноги), вернулся во Францию и вскоре умер; слава к нему пришла посмертно. *Пьяный корабль* — одно из самых знаменитых ст-ний Рембо. Переводы Эренбурга из Рембо см.: ТД. С. 86, 87.

246. СоК, с отточиями вместо ст. 3, 4 и 9—14 (ст. 9—14 не вписаны и в АСоК). Печ. по рукописи — ГЛМ. Л. 38 (где последняя строка: «Не нарушила низкая тьма»), с учетом правки АСоК.

247. СоК.

248. СоК -- СС-62 -- БП-77 -- БВЛ Т. 50 -- СС-90. Печ. по СС-62.

249. БП-77.

250. Печ. впервые по рукописи — ГЛМ. Л. 43.

251. Печ. впервые по рукописи — ГЛМ. Л. 44.

252. СоК, под назв. «Nature morte» -- К -- СС-62 -- БП-77 -- БВЛ Т. 50 -- СС-90. Первые две строфы цит. в КдВ, предваренные словами о Париже 1910-х гг.: «Я влюбился в натюрморты; вещи начали меня томить. Я ходил по Парижу — от площади Денфер-Рошеро к Восточному вокзалу — это прямой, длинный путь; шагая, я сочинял стихи» (КдВ. С. 218).

РУЧНЫЕ ТЕНИ

253. БП-77 (Примечания. С. 422). Печ. по рукописи — ГЛМ. Л. 47.

254. БП-77 -- СС-90. *Е. Ш.* — Екатерина Оттовна Шмидт (см. примеч. 61).

255. БП-77 -- СС-90. *М. Н.* — Мария Марковна Немирова (урожд. Милославская), жена поэта В. Немирова, впоследствии жена бельгийского писателя Ф. Элленса, переводчица русской литературы на

французский и наоборот; Эренбург писал о ней (см.: ЛГЖ. Т. 1. С. 375—376).

256. Гиперборей. 1912. № 3. С. 21, под назв. «Н. М-ой» -- БП-77 -- СС-90. Наталья Алексеевна *Милюкова* — танцовщица, парижская приятельница Эренбурга и Волошина (к ней обращено его ст-ние «То в виде девочки...», 1911). Ей посвящено в СоК также ст-ние № 271.

257. БП-77 -- СС-90. *Вера* Михайловна *Инбер* (1890—1972) — поэтесса, парижская знакомая Эренбурга, напечатавшего ее стихи в журн. «Вечера». В СоК Инбер посвящено также ст-ние № 278. *«Ленотра и смотра»* — рифмы из ст-ния Инбер «Раны Версаля». *...не хмельную печаль, не чужое вино...* — намек на образы первой книги Инбер «Печальное вино» (Париж, 1914). В. Инбер, посвятившая Эренбургу несколько ст-ний, вспоминала: «И. Эренбург взял на себя заботу о моей первой книге "Печальное вино". В Давос (там В. Инбер в 1914 г. лечилась от туберкулеза. — *Б. Ф.*) приходили его письма. Он писал мне о том, что мое "Печальное вино" он запивал с русскими рабочими типографии веселым французским вином, чтобы те быстрее набирали мои стихи. Надо сказать, что редкий издатель относился с такой заботой к начинающему поэту, как Эренбург ко мне. Это он привлек к оформлению "Печального вина" такого же молодого Осипа Цадкина, впоследствии известного скульптора» (Инбер В. Страницы дней перебирая. М., 1977. С. 377).

258. БП-77 -- СС-90. *Маревна* — см. примеч. 244.

259. Печ. впервые по рукописи — ГЛМ. Л. 53. *И. С.* — неустановленная парижская знакомая Эренбурга.

260. Печ. впервые по рукописи — ГЛМ. Л. 54. *Е. Р.* — неустановленное лицо.

261. БП-77 -- С-90. *...вкруг жара его волос.* Эренбург писал о Бальмонте: «Вот он проходит меднолицый, из-под шляпы выползают рыжие языки пламени, пальто будто плащ развевается, ноги едва касаются мостовой, а глаза смотрят не на меня, не на вас — мимо, в сторону» (Понедельник. (М.). 1918. 19 марта).

262. БП-77 -- СС-90 -- Образ поэта: Максимилиан Волошин в стихах и портретах современников. Феодосия; Москва, 1997. С. 31. Беловой автограф, с датой: «14 марта 1915 г.» — Дом-музей Волошина, Коктебель. Эренбург познакомился с М. А. Волошиным в Париже в сентябре 1911 г.; Волошину посвящена глава в ЛГЖ (Т. 1. С. 140—147). Переписку Эренбурга с Волошиным см.: Волошин М. Избранное: (Стихотворения. Воспоминания. Переписка). Минск, 1993. С. 384—405; Зв. 1996. № 2. С. 157—201.

263. ЛГЖ. Т. 1. С. 585 (комментарии; публикация Б. Я. Фрезинского) -- Зв. 1996. № 2. С. 160. В. *Ропшин* — литературный псевдоним

Бориса Викторовича Савинкова (1879—1925), знаменитого эсера-террориста и литератора. Эренбурга познакомил с Савинковым в Париже Волошин. Эренбург посвятил Савинкову главу в ЛГЖ (Т. 1. С. 193—195). Письма Эренбурга Савинкову см.: Зв. 1996. № 2. С. 157—201.

264. СоК -- СС-62 -- БП-77 -- БВЛ Т. 50 -- СС-90. Цит. в ЛГЖ (Т. 1. С. 165). Печ. по СС-62. Амедео *Модильяни* (1884—1920) — итальянский художник, работавший в Париже. Эренбург познакомился с ним в 1912 г. Модильяни посвящена глава ЛГЖ (Т. 1. С. 165—170). Это ст-ние упоминает Ахматова в своих воспоминаниях о Модильяни (Ахматова А. Стихи и проза. Л., 1976. С. 570—571). *И вдруг я услышал страшного Данта...* Эренбург вспоминал: «Редко я беседовал с Модильяни без того, чтобы он не прочитал мне несколько терцин из "Божественной комедии": Данте был его любимым поэтом» (ЛГЖ. Т. 1. С. 165).

265. ЛГЖ. Т. 1. С. 579 (комментарии; публикация Б. Я. Фрезинского). *Т. С.* — Тихон Иванович Сорокин (1879, *Ливны* —1959, Москва), литератор, искусствовед, друг Эренбурга; в 1913 г. к нему ушла первая жена Эренбурга Е. О. Шмидт (по ее просьбе при ее жизни не публиковалась глава о Т. И. Сорокине — ЛГЖ. Т. 1. С. 127—130). Сорокину посвящено также ст-ние № 293. *Тихон Задонский* — епископ Воронежский Тихон, причисленный в 1885 г. к лику святых, жил с 1781 по1783 г. в Задонском монастыре. *Вандомская колонна* — поставлена в Париже в 1805 г. Наполеоном, отлита из 425 пушек, отнятых у неприятеля, восстановлена после разрушения во время Коммуны. Антуан *Ватто* (1684—1721) — французский живописец, мастер изысканных, галантных бытовых сюжетов. *Виллы Фраскати* — Вилла Альдобрандини архитектора Джакомо делла Порта, построенная в 1598—1603 гг., и вилла Фальконери архитектора-декоратора Борромини (середина XVII в.) во Фраскати (близ Рима). Сергей Николаевич *Булгаков* (1871—1944) — философ, экономист. Николай Александрович *Бердяев* (1874—1948) — философ, Эренбург писал в ЛГЖ: «Он <Сорокин> пробовал меня приобщить к философии Соловьева, Бердяева, Флоренского, но здесь я заупрямился — сомнения Модильяни или Гийома Аполлинера были мне куда ближе, чем "Столп и утверждение истины" (так называлась книга Флоренского)» (Т. 1. С. 127).

266. БП-77 -- СС-90. *В. Н.* — поэт Валентин Немиров, автор книги стихов «В аду вечернем» (Париж, 1914); вместе с ним и на его средства Эренбург выпустил в 1914 г. в Париже два номера поэтического журн. «Вечера». *Королева Матильда* — королева Англии (1141—1153). Анри *Бергсон* (1859—1941) — французский философ.

267. БП-77 -- СтСк -- СС-90. В рукописи ГЛМ ошибочно: «Ж. Цадкин». *Осип Цадкин* (1890—1967) — французский скульптор, выходец из России, приятель Эренбурга и Маревны (см. примеч. 244) *...краснуло кожу* — см. в письме Маревны Волошину 1 сентября 1915 г.:

«В Париже <...> все (кроме Цадкина — восторженного и красного) производят убийственное впечатление» (Зв. 1996. № 2. С. 166). *Как сросся ты со своей неуклюжей собакой.* Эренбург вспоминал: «Скульптор Цадкин появлялся в рабочей спецовке, его сопровождал огромный датский дог, славившийся крутым нравом» (ЛГЖ. Т. 1. С. 159). *Саломея* — дочь царицы Иродиады; как рассказано в Евангелии, плясала перед царем Иродом и потребовала в награду голову Иоанна Крестителя (Мф. 14, 6—11).

268. БП-77 -- СтСк -- СС-90.

269. СоК (ст. 3 «прельстил»). Беловой автограф, без назв. — ГЛМ. Печ. по АСоК.

ЕЛЕЙ И ЖЕЛЧЬ

270. Печ. впервые по рукописи — ГЛМ. Л. 65.

271. СоК. *Н. А. Милюкова* — см. примеч. 256.

272. Новый журнал для всех. 1915. № 7 -- СоК.

273. Печ. впервые по рукописи — ГЛМ. Л. 68. *Марселина* Деборд-*Вальмор* (1786—1859) — французская поэтесса; оказала большое влияние на Поля Верлена.

274. Зв. 1996. № 2. С. 159—160 (по тексту письма Эренбурга Волошину — июнь 1915).

275. Печ. впервые по рукописи — ГЛМ. Л. 70.

276. Печ. впервые по рукописи — ГЛМ. Л. 71.

277. Арион. 1999. № 3.

278. СоК. *Вера Инбер* — см. примеч. 257.

279. Печ. впервые по рукописи — ГЛМ. Л. 75.

280. СоК -- БП-77 -- СС-90. *...малая птичка / Будет клевать мою печень* — намек на миф о Прометее.

281. СоК -- СС-62 -- БП-77 -- БВЛ Т. 50 -- СС-90. Беловой автограф, без назв. — ГЛМ. Печ. по СС-62.

282. СоК.

283. СоК. Навеяно воспоминаниями о путешествии по Италии с Е. О. Шмидт. *Часовня св. Розы* — видимо, восьмиугольная мраморная

капелла готического собора св. Мартина, главной достопримечательности города *Лукка* (область Тоскана)

284. СоК. Печ. впервые по рукописи — ГЛМ. Л. 81.

285. СоК. Беловой автограф, без назв. — ГЛМ.

287. Арион. 1999. № 3. *Бедекер* — путеводитель (по названию издательской фирмы).

288. БП-77 -- СС-90.

289. СоК, с цензурными вымарками. В АСоК не восстановлен конец ст-ния. Печ. по рукописи — ГЛМ. Л. 88—89.

290. СоК.

291. Печ. впервые по рукописи — ГЛМ. Л. 91.

292. Печ. впервые по рукописи — ГЛМ. Л. 92—103. *Куст Моисея горел...* — ветхозаветный миф о неопалимой купине (горящий, но не сгорающий терновый куст, в котором Бог Яхве явился Моисею, пасшему овец в пустыне, и призвал его вывести народ из Египта). *Кошница* — корзина.

293. Цит. в ЛГЖ с комментарием: «Конечно, это — поэзия или, говоря точнее, искажение истины. Тихон меня не мучил, даже не стыдил (а было за что); он порой будил во мне совесть, и не карими глазками и не именем мученика, а сердечной чистотой, и я за это ему признателен» (Т. 1. С. 129). *Тихон Сорокин* — см. примеч. 265.

294. Арион. 1999. № 3.

295. СоК. Беловой автограф, без назв. — ГЛМ.

296. СоК. Беловой автограф, без назв. — ФБ. Л. 67, послан автором 12 октября 1915 г.

297. СоК. Беловой автограф — ИРЛИ. Ф. 562 (М. А. Волошина). Оп. 3. Ед. хр. 1338. Л. 9 об. Последние 4 строки здесь опущены (взяты автором из ст-ния 214).

298. СоК -- БП-77 -- СС-90. Автограф, под назв. «Двадцать пятое марта» и с датой: «Февраль 1915» — ГЛМ. Л. 109. *Двадцать пятого марта* — Праздник Благовещения.

299. СоК -- БП-77 -- СС-90. Беловой автограф, с датой: «Февраль 1915» — ГЛМ. Л. 110.

300. СоК, под назв. «Еще колыбельная», с посвящ. Белле (сестре поэта Изабелле Григорьевне Эренбург (1885—1965), в 1910-х гг. много помогавшей ему в публикациях его стихов в московских издани-

ях) -- ВСП -- К -- СС-62, без назв. и посвящ. -- БП-77 -- СС-90. Беловой автограф, без назв. и посвящ. — ГЛМ. Печ. по СС-62.

301. СоК -- БП-77 -- СС-90. Беловой автограф, с датой: «январь 1915» — ГЛМ. Л. 112. Франсуа *Вийон* (1431—1463?) — французский поэт, был связан с воровскими шайками, сидел в тюрьмах; по обвинению в убийстве приговорен к повешению, затем помилован и изгнан из Парижа. См. также с. 763. *На твоем Завещании / Три повешенных.* Имеется в виду гравюра работы неизвестного художника, помещенная на первом печатном издании произведений Вийона, включавшем его «Большое Завещание», в Париже в 1489 г.; эту гравюру воспроизвел художник И. Лебедев на обложке книги Вийона в переводе Эренбурга (М., 1916); на ней изображены трое повешенных. *...Туренское вино* — вино из Турени, западной провинции Франции.

302. СоК. Беловой автограф, без назв. — ГЛМ. *Базилика* — один из главных типов христианского храма (прямоугольный в плане; колонны делят его внутри на продольные части — нефы).

303.СоК, с отточиями вместо ст. 18, не раскрытыми и в АСоК.

304. СоК. *...подпевает Митя / О маленьком буре.* Имеется в виду одна из популярных песен времен англо-бурской войны 1899—1902 гг.; Эренбург вспоминал время своего детства в Москве: «Наслышавшись разговоров о героизме буров, я <...>, стащив у матери десять рублей, отправился на театр военных действий. Ночью меня поймали...» (ЛГЖ. Т. 1. С. 57).

305. СоК.

306. СоК, с отточиями вместо последней строки -- СС-62, с незначительной правкой -- БП-77 -- БВЛ Т. 50 -- СС-90. Беловой автограф, под назв. «Гоголь в Риме» — ФБ. Л. 69 (послан автором 12 октября 1915 г.). Печ. по СС-62. *Пьяцца Спанья* — площадь Испании в Риме. Гоголь любил Италию и с конца 1830-х гг. подолгу жил в Риме.

ХВОРАЯ ТВАРЬ

307. СоК, под назв. «Хворая тварь», с отточиями вместо ст. 4. Беловой автограф, с тем же назв. — ФБ. Л. 66, послан автором 12 октября 1915 г.; с вар. ст. 5—8: «Хворала она, линяла, / И одна на мусор / Подвывала». Печ. по рукописи — ГЛМ. Л. 125. Цит. в рец. М. Волошина (см. примеч. 223).

308. БП-77 -- СС-90.

309. Печ. впервые по рукописи — ГЛМ. Л. 127.

310. БП-77.

311. Печ. впервые по рукописи — ГЛМ. Л. 130.

312. БП-77 -- СС-90.

313. СоК, с добавлением в качестве последней строфы последнего абзаца из ст-ния 212 -- БП-77 -- СС-90. *Ars* — искусство *(лат.)*.

314. СоК.

ДОПОЛНЕНИЯ

315. СоК, с отточиями после ст. 18 -- К, как в АСоК, включая первые 8 строк цензурной вымарки, снятые автором из СС-62: «Но горька, горька, горька / Матки полная река. / Отхлебни, сынок, / Золотой сосунок. / Господи, вот мое вымя / Полное — и никого! / Своими перстами сухими / Выжми его!» -- БП-77 -- СС-90. Печ. по СС-62. Автограф — ИРЛИ. Ф. 562 (М. А. Волошина). Оп. 3. Ед. хр. 1338. Л. 30 и 28 об. в письме Эренбурга в октябре 1915 г.; Цит. в ЛГЖ (Т. 1. С. 161). *Реймский собор* — см. примеч. 234. *«И презревши все прегрешения...»* — из молитвы об умерших.

316. СоК. Беловой автограф — ФБ. Л. 63—64, послан автором 12 октября 1915 г.

317. СоК, в ст. 8 пропуск слова «Преподобная».

318. СоК, с цензурными отточиями. Печ. по АСоК.

319. СоК. Автограф, под назв. «Из отдела "Елей и желчь"», с незначительной правкой — ИРЛИ. Ф. 562 (М. А. Волошина). Оп. 3. Ед. хр. 1338. Л. 12, 15.

320. СоК.

321. Зв. 1996. № 2. С. 164—165 (по тексту письма Эренбурга Волошину от 23 августа 1915 г., с ремаркой: «Из отдела "Насмешник"»).

322. СоК -- БП-77 -- СС-90. *«Ротонда»* — кафе на углу парижских бульваров Монпарнас и Распай, где Эренбург в 1910-е гг. проводил время в среде художественной богемы.

323. СоК.

324. СоК, с цензурными отточиями в тексте. Печ. по АСоК. В рец. на СоК (см. примеч. 223) М. Волошин отмечал, что «прорывы в действительности текущей истории заслоняются исступленными ви-

дениями извечной человеческой мерзости. Местами он, пренебрегая логической связью реальных и символических образов, становится совсем темен и непонятен, как например, в "Повести о странствиях блудной души"». *Ныне девятое Або* (Аба) — день поста и траура у иудеев в память о разрушении первого и второго Храмов вавилонянами и римлянами.

325. СоК.

326. СоК. Беловой автограф — ГАРФ. Ф. 5831(Б. В. Савинкова). Оп. 1. Ед. хр. 235. Л. 24—29. Эренбург вспоминал: «Модильяни мне рассказал, как некогда римляне праздновали карнавал: еврейская община обязана была поставлять еврея-рысака, который раздевался догола и под улюлюканье веселящейся толпы, епископов, послов, дам трижды рысью обегал город. (Я тогда написал об этом поэму)» (ЛГЖ. Т. 1. С. 167). 28 ноября 1915 г. Савинков писал из Ниццы в Париж Волошину: «Думаю о "Ротонде", об униженных и оскорбленных, о тех, которые подпрыгивая от холода, бегут греться к кабацкой печке, о Маревне, об Эренбурге и о его иудее римском» (Зв. 1996. № 2. С. 173). Отметив, что в этой вещи Эренбург «достигает потрясающей драматической четкости», М. Волошин писал в рец. (см. примеч. 223): «Эпизод об иудее, которого во время римского карнавала по историческому обычаю раздевали и травили, принадлежит к лучшим страницам "Канунов". Его хочется процитировать целиком, чтобы дать понятие о силе эренбурговского реализма».

327—332. СоК, с цензурными отточиями -- БП-77 -- СС-90. Беловой автограф, под назв. «Шесть молитв» и с незначительными разночтениями — ГАРФ. Ф. 5831 (Б. В. Савинкова). Оп. 1. Ед. хр. 235. Л. 18—23. Стихи были посланы автором Б. В. Савинкову, видимо, около 15 декабря 1915 г. с письмом: «Еще посылаю стихи, переписанные пока позировал Ривере. Может быть, если что-нибудь разберете, доставит Вам удовольствие» (Зв. 1996. № 2. С. 175). Печ. по АСоК.

1. *Озирис* (Осирис) (др.-егип. миф.) — бог умирающей и воскресающей природы.

2. *Так делили твои ризы воины.* Согласно Евангелию, воины, распявшие Христа, разделили между собой его одежду. *Тернии* — терновый венок, надетый Христу перед казнью.

5. Цит. в рец. Волошина (см. примеч. 223) как пример «исступленной молитвы-самобичевания».

6. *Ты простил того... кто тебя целовал.* Имеется в виду Иуда Искариот, один из двенадцати учеников Христа, предавший его в руки первосвященников за тридцать сребренников со словами: «Кого я поцелую, Тот и есть» (Мф. 26,48).

333—337. СоК, с цензурными отточиями. Печ. по АСоК. Второе ст-ние цикла отсутствует. По-видимому, посвящено дочери поэта *Ирине* (см. примеч. 61). Возможно, к этому циклу относится фраза из письма Маревны Волошину о вечере у Цетлиных в Париже 22 сентября 1915 г.: «Читал и Эренбург свой эпилог к книге. Очень, очень

хороши. Ропшин (Б. В. Савинков. — *Б. Ф.*) тоже хвалит, и мне только странно — почему? Действительно ли он понимает и чувствует их оригинальную красоту и силу?» (Зв. 1996. № 2. С. 169).

338. МоР, с ремаркой: «Париж. Ноябрь 1915» -- ВСЧ -- К («Париж, 1915») -- СС-62, с ошибочной датой «1916» и явно цензурной правкой (вместо «И от нашей родины останется...» напечатано «И от мира божьего останется...»), повторенной в последующих изд. -- БП-77 -- БВЛ Т. 50 -- СС-90 (ошибка в дате указана в примеч., но не исправлена в тексте). Печ. по МоР с учетом синтаксической правки в СС-62. В КдВ Эренбург рассказывал об осени 1915 г. в Париже: «Я не умел глядеть вперед, я шел по следам, как зверь. Приходили русские газеты: трупы Галиции, балы Петербурга, объявления ресторанов, рассказы о безоружных "героях". Я видел снег, желтый от лошадиной мочи, твердые тулупы, кровь: это казнь Пугачева. Голова Емельяна на шесте» (С. 328). Цит. в ЛГЖ (Т. 1. С. 114); там же — рассказ о чтении этого ст-ния зимой 1918 г. в Москве: «Однажды у Толстого я прочел свои стихи о казни Пугачева, написанные еще в Париже в 1915 году; там были строки: "И останется от русского царства икра рачья Да на высоком колу голова Пугачья..." Бунин встал, сказал Наталье Васильевне (Крандиевской. — *Б. Ф.*): "Простите, подобного я слушать не могу" — и ушел» (С. 277). В 1919 г. М. Волошин писал: «"Пугачья кровь" в сущности не относится к книге "Молитва о России": оно единственное стихотворение этого сборника, написанное до революции — в 1915 году в Париже. Оно относится к его книге "Стихи о канунах", варварски искромсанной цензурой в 1916 году. "Пугачья кровь" — это потрясающее пророчество о великой разрухе русской земли, и, конечно, сам автор не ожидал, что оно осуществится так быстро и в такой полноте, что этот шабаш вокруг Пугачьей Головы, посаженной на кол — "уж пойдем, пойдем твою мать! по пугачьей крови плясать" — воплотится немедленно» (Камена. (Харьков). 1919. № 2. С. 21). *Пугач* — Емельян Иванович Пугачев (1742—1775), предводитель крестьянского восстания 1773—1775 гг.; казнен в Москве четвертованием. *Болото* — Болотная площадь в Москве (ныне пл. Репина), на которой в январе 1775 г. при большом стечении народа казнили Пугачева.

ПОВЕСТЬ О ЖИЗНИ НЕКОЙ НАДЕНЬКИ И О ВЕЩИХ ЗНАМЕНИЯХ, ЯВЛЕННЫХ ЕЙ

Написана Эренбургом в Париже 25—29 января (н. ст.) 1916 г. Беловая рукопись воспроизведена тиражом 100 нумерованных экземпляров в феврале 1916 г. литографически с портретом автора и шестью иллюстрациями работы Диего Риверы: книга «была оттиснута литографским способом — я писал, а Ривера рисовал» (ЛГЖ. Т. 1. С. 198). 21 февраля (н. ст.) 1916 г. Эренбург отправил подписной экземпляр (№ 2) своей матери в Москву; известны также экземпляры Блока, Ахматовой и др.

В 1919 г. в Киеве Эренбург предпринял попытку переиздать «Повесть»; объявление о том, что 2-е изд. печатается, опубликовано в книге «Огонь» (с. 40). 26 марта 1919 г. киевская газ. «Борьба» сообщила: «На днях выйдет книга стихов поэта И. Эренбурга. Называется она "Повесть о некой Наденьке"». Однако 2-е изд. так и не вышло.

Парижское издание в продажу не поступало, и в России книга прошла практически незамеченной. Ю. Айхенвальд написал, что она издана «футуристически» и что от этого «футуристического облика впечатление тягостной бессмыслицы только усиливается» (Речь. (СПб.). 1916. 25 апреля). М. Волошин справедливо отметил, что повесть «нельзя рассматривать отдельно от "Канунов"» (Речь. (СПб.). 1916. 31 октября); процитировав авторское предисловие к повести, он написал: «Строками этими определяется позиция поэта: пусть он ничтожен и мерзок, но он верует так же, как "бесы веруют и трепещут", и сознает, что "сроки настали» и перед ним разверзается видение города — великого человеческого гноища, освещенного молниями Господня гнева и заревом разверзшихся времен. Но с его перспективной точки и молнии, и зарево только задний фон картины, а на первом плане корчатся и гримасничают пошлые человеческие маски, карикатурно освещенные огнями Страшного Суда. Отсюда сарказм и ирония, пронизывающие всю книгу».

339. ВСП (фрагменты) -- К (фрагменты) -- БП-77. Печ. по парижскому литографированному изд. *Любовь никогда не перестает...* — цитата из Библии (1 Кор.13, 8.) *Ультралучизм, светопоэзы* — пародийно от «лучизма» (направление в живописи, созданное М. Ларионовым) и «поэз» И. Северянина. *Ты дал нам холодную воду / Из копьем пронзенного ребра.* Ср.: Ин. 19, 34. *Савл* — имя апостола Павла в пору, когда он был еще рьяным гонителем христиан. *Прогимназия* — неполная, без двух последних классов, гимназия. *Шакон* — модный танец начала века. *Над своими птенцами, Рахиль, плачь!* — перефразированное «Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться о детях своих, ибо их нет» (Иер., 31, 15). Рахиль — одна из праматерей всего дома Израилева. *И в той же губке тот же уксус* — т. е. в губке с уксусом, которую поднесли распятому Христу, когда он попросил пить. *Иосиф Благолепный* (Иосиф Прекрасный) — младший и любимый сын Иакова и Рахили, которого возненавидели братья и задумали погубить (Быт. 37*). Иакова я возлюбил, Исава возненавидел.* Старший из близнецов и наследник рода Исав продал свое первородство младшему — Иакову за чечевичную похлебку, чем разгневал Бога (Быт. 25, 29—34). *Много Марий у крестов.* «При кресте Иисуса стояли Матерь Его, и сестра Матери Его Мария Клеопова, и Мария Магдалина» (Ин. 19, 25).

О ЖИЛЕТЕ СЕМЕНА ДРОЗДА. МОЛИТВА

Книга напечатана в парижской типографии И. Рираховского в декабре 1916 г. (на экземпляре, подаренном В. Я. Брюсову, дата рукой Эренбурга: «9 декабря 1916» — БиК. С. 531) с грифом: «Отпечатано на правах рукописи сто номерованных экземпляров». Фронтиспис работы Диего Риверы (видимо, исполнен во время работы над иллюстрациями к «Повести о жизни некой Наденьки...»). В библиофильском смысле это самая редкая поэтическая книга Эренбурга, отсутствующая во всех государственных библиотеках России.

1 августа 1916 г. М. О. Цетлин писал М. А. Волошину, что Эренбург ему «прислал 3 поэмы и стихотворение "Молитва". Стихотворение очень хорошо. Поэмы — много хуже. В одной описание нашего "салона" и кто-то вроде меня, дилетанта-эстета. И потом наивная и глупая история о том, как некий уголовник Семен Дрозд хотел убить эстета, но потом погнался и, увидев его голым в ванне, прикрыл своим жилетом. Умиление перед подвигом "Дрозда" и молитва за него... Не знаю, м. б., эта крайняя наивность сознательна! <...> Много верных штрихов, но в общем скучно и немного смешно. Я думаю, что рассказ в стихах — вообще трудная вещь. А эти повести написаны спешно. После "Наденьки" большой шаг назад. Не подумай, что во мне говорит обида на мое изображение (если это я)» (Зв. 1996. № 2. С. 183—184). О М. О. Цетлине — прототипе героя поэмы И. С. Михеева см.: ЛГЖ Т. 1. С. 143—145.

6 февраля 1917 г. появилась первая рец. на книгу в газ. «Речь». Ю. Айхенвальд, отметив «очень изысканную и причудливую форму, с намеренной грубостью, которая именно превратилась в тонкость» этой книги, написал: «Тот стиль барокко, в котором выдержаны обе пьесы И. Эренбурга, может иных оттолкнуть, но сквозь него проступает нечто очень серьезное, и глубокое, и трогательное. Одновременно простые и сумбурные, ухищренные и вульгарные, странные и замечательные, слова поэта волнуют; сам небрезгливый и другим брезговать не позволяющий, он действительно извлек с самого дна человеческого какую-то святость» (рец. свидетельствует в большей степени об эволюции критика, нежели автора стихов). Рецензент «Современного мира» (1917. № 7—9), отметив, что в «Молитве» «у автора есть свои переживания и он находит *свои* слова для их передачи», и назвав книгу «ультрамодернистской», делает вывод: «Что-то мешает автору стать настоящим поэтом».

В записной книжке Эренбурга, начатой по возвращении в Россию летом 1917 г. (РГАЛИ. Ф. 1204. Оп. 2. Ед. хр. 386. С. 3), есть план книги из восьми новых ст-ний и поэм, которую Эренбург, видимо, хотел издать: «Божья люлька», «Пугачья кровь», «На лестнице» (текст этой поэмы неизвестен), «Повесть о жизни некой Наденьки», «О жилете Семена Дрозда», «Молитва», «Дни Давидовы» (с примеч.: «Восстановить и исправить»; текст этого произведения неизвестен), «Суета» (с примеч.: «Переделать»; текст этой поэмы неизвестен). Книга не вышла.

В 1922 г. в Берлине Эренбург предпринял попытку переиздать книгу (у него не сохранилось экземпляра парижского издания, и

15 апреля он запрашивал парижскую приятельницу Г. Издебскую: «Нет ли у Вас "Жилета Семена Дрозда", или у каких-либо знакомых одолжите на несколько дней для перепечатки?», а 11 июня отвечал ей: «"Дрозд" еще нужен (перепечатывают). Недели через две верну» (цит. по: Russian Studies. 2000. Т. III, № 2. С. 245, 247); переиздание осуществить не удалось.

340. БП-77. Цит. в КдВ с комментарием: «Я писал стихи <...>. Я не понимал, что мне хочется писать прозу. Впрочем, дело не в прозе и не в стихах. Я искал, что можно противопоставить миру денег, спеси и лжи» (С. 329—330) и в ЛГЖ (Т. 1. С. 144—145). Печ. по изд. 1917 г. Эпиграф из Первого послания апостола Павла Коринфянам: «Любовь <...> все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит» (1 Кор. 13, 4—7). *«Отдохнешь и ты»* — цитата из ст-ния Лермонтова «Из Гете» («Горные вершины»). Семен Яковлевич *Надсон* (1862—1887) — поэт, чьи гражданские сентиментальные ст-ния оказали значительное влияние на поколение конца века. *Бальмонт* — см. с. 684. *Неожиданно взглядывал на Солнце* — намек на книгу Бальмонта «Будем как солнце» (1903). Поль *Гоген* (1848—1903) — французский художник. *Сезанчик* — Поль Сезанн (1839—1906), французский художник. Рудольф *Штейнер* (1861—1925) —немецкий теософ; близ *Базеля* в Дорнахе ученики и последователи Штейнера (в том числе и М. Волошин) строили храм. *Ловчен* — населенный пункт в Герцеговине. *Об ухе Ван-Гога.* Голландский художник Винсент Ван-Гог (1853—1890) отрезал себе ухо в припадке безумия. Колэн *Мюзэ* — французский трувер XIII в., автор куртуазных, ироничных песен.

341. В парижском изд. с незначит. вар. и датой: «Июнь 1915». Печ. по ВСП.

МОЛИТВА О РОССИИ

О замысле собрать в книгу стихи, написанные в Москве в 1917 г., Эренбург 13 (26) декабря 1917 г. писал в Коктебель М. Волошину: «Пишу стихи на современные темы. Хотелось бы их даже теперь же выпустить популярной книжечкой для широкой публики (содержания ради), не знаю, удастся. Предложила Мария Самойловна (Цетлин. — *Б. Ф.*), у которой я был два раза, да не знаю, укрепится ли в намерении» (Зв. 1996. № 2. С. 196). 15 января 1918 г. московская газ. «Мысль», напечатав ст-ние Эренбурга «Судный день», сообщила: «Поэт И. Эренбург выпускает в ближайшие дни небольшую книжку стихов о последних революционных событиях. Книжка уже печатается издательством "Северные дни"».

«Молитву о России» (МоР) составили 14 ст-ний, написанные в ноябре—декабре 1917 г. и частично опубликованные в периодике, а также ст-ние «Пугачья кровь» (см. № 338), написанное в Париже в 1915 г., которое автор счел тематически соответствующим стихам 1917 г. МоР вышла в Москве в январе 1918 г. без указания изд-ва

(«Северные дни» обозначены в книге только в качестве склада издания). МоР переиздана с дополнениями в Киеве в декабре 1918 г. (на книге обозначен 1919-й) под назв. «В смертный час» (ВСЧ). 24 февраля 1919 г. Эренбург писал из Киева в Москву поэтессе В. Меркурьевой: «Вышла в декабре моя книга "В смертный час" (это "Молитва"+ восемь новых)» (Минувшее. СПб.,1997. Вып. 22. С. 308). Восемь новых — это семь ст-ний, написанных в Москве в январе—сентябре 1918 г., и одно, написанное в Киеве в ноябре 1918 г.

МоР вызвала многочисленные отклики критики. Суждения о ней были прежде всего политическими. Спектр их определялся мерой тогдашнего «плюрализма» печати; разброс эстетических оценок определялся литературными пристрастиями печатаемых критиков. «Красная» критика встретила МоР в целом враждебно. В. Маяковский, незадолго до того обруганный Эренбургом в статье «Большевики в поэзии» (см.: Понедельник. (М.). 1918. 25 февраля), назвал МоР «скушной прозой, печатанной под стихи», а ее автора «перепуганным интеллигентом» (Газета футуристов. 1918. 15 марта). В. Шершеневич утверждал: «Совершенно недопустима книга Эренбурга "Молитва о России". Это сборник до тошноты истерических, я бы сказал, бабьих причитаний <...>. Впрочем, перечитывая с трудом и отвращением эту книжонку, вспоминаешь, что во времена оны пел Эренбург католических аббатов и средневековье. Затем славил "греческого бога Диониса", потом пустился в интимизм. Будем надеяться, что и эта стадия не последняя для переимчивого поэта. Потому что все-таки маленькие способности у Эренбурга есть и жалко будет, если он так и погибнет в псевдореволюционном (или псевдо-контр-революционном) патриотическом кликушестве» (Без муз. 1918. № 1. С. 39—40). Критик «Нашего пути» поучал: «Не любовь бесплодного сострадания, но зовущая к жертве и подвигу, не слезы, но пылающий взор, скрещенный с блеском плавильных огней, жрущих осколки прошлого для постройки будущего — вот новая родина, новая Россия. Поймите, примите и полюбите ее» (Скальд. Книга бессильного плача // Наш путь. 1918. № 1. С. 55). Итоги через восемь лет подвел Семен Родов, написавший, что МоР «останется одним из самых ярких литературных памятников контрреволюции нашей эпохи» (Родов С. В литературных боях. М., 1926. С. 104).

Критики «не красного» лагеря, еще имевшие возможность печататься в Советской России, оценили в МоР прежде всего глубокую и выстраданную боль за все, что происходит в стране. «Чтобы так говорить о России, как говорит Эренбург, надо любить ее глубоко и мучительно, и надо с острой сердечной болью переживать то, что сейчас происходит в ней. Пишущий эти строки далеко не разделяет отчаяния, звучащего в книжечке Эренбурга, но нельзя не признать, что самим поэтом это отчаяние пережито подлинно <...>. В Эренбурге человек точно схватил за волосы художника — и таскает его, гнетет, терзает. И потому "Молитва о России" — стон, плач, вопль, что угодно, только это или *уже* не стихи, или *еще* не стихи» (Русские ведомости. (М.). 1918. 20 февраля). «Книжка является чрезвычайно точным отражением сумбура наших дней. Хаос мыслей, поток мало вяжущихся друг с другом слов и полное отсутствие метра, несмотря

на то, что напечатана она в виде стихов, таковы ее главные достоинства. Можно сказать, что если поэт хотел выразить сущность обстановки, окружающей его именно в этих формах, то он достиг своей цели. Кошмарный бред, которым теперь страдает Россия, чувствуется в каждой строчке» (Мысль. (М.). 1918. 25 февраля) «Эта напряженнейшая истерика в творчестве, судорожное восприятие нашего исторического октября производит, несомненно, тот эффект, которого добивался поэт: убедительно и заряжает» (Дело народа. (М.) 1918. 28 апреля). Подводя итог «зимнего поэтического сезона», поэт К. Большаков написал о МоР: «Это не совсем стихи, это даже совсем не стихи, это "*Молитва о России*" *И. Эренбурга*. Но это самое сильное и самое острое, что было написано» (Жизнь. 1918. 7, 8 июня). А через три дня в той же газете постоянный эренбурговский антагонист С. Ауслендер назвал автора МоР «надевшим маску дешевого кликушества и столь же безвкусно и бессильно воспевающим разбитый Кремль и зверства большевиков, как недавно описывал изысканные гостиные и шоколад в лиловых чашечках». Живший в Москве член РКП(б) В. Я. Брюсов, всегда внимательно следивший за поэтическим путем своего «крестника», о МоР публично не высказался. Лишь в 1922 г., когда новые эренбурговские стихи определенно перестали быть выражением политического противостояния с советским режимом, Брюсов в статье «Вчера, сегодня и завтра русской поэзии» упомянул Эренбурга, ограничившись упреком, что он усвоил «за последние годы, вместо своего прежнего четкого стиха, манеру писать нарочито неряшливо» (Брюсов В. Собр. соч.: В 7 т. Т. 6. М., 1975. С. 511). Напротив, М. А. Волошин, столь же внимательно следивший за работой Эренбурга, посвятил МоР часть большой статьи «Поэзия и революция. Александр Блок и Илья Эренбург» (Камена. (Харьков). 1919. № 2. С. 10—28).

Ст-ния, составившие МоР, вошли в ВСЧ (№№ 342 —355, кроме № 344, не включенного «по независящим обстоятельствам» — ВСЧ. С. 53), вместе со ст-ниями №№ 356—363. В дальнейшем не перерабатывались. Рукописи не сохранились. В наст. изд. печатаются по ВСЧ. В примеч. указываются первые публикации и перепечатки. В МоР все ст-ния (кроме «Пугачьей крови») не датированы, датируются по ВСЧ.

342. ПБД -- СС-90. Текст был послан автором М. Волошину в Коктебель 13 (26) декабря 1917 г. Цит. в рец. в московской газ. «Дело народа» (1918. 28 апреля).

343. ПБД. *Шато д'Икем* — французский ликер. *Открылись на ладонях язвы гвоздиные* — намек на Иисуса Христа.

344. Мысль. (М.). 1918. 15 января -- ПБД -- СС-90. *Сань* —город в Австро-Венгрии. *Савл* — см. примеч. 339. *Бедные куцые девушки.* Имеется в виду женский батальон смерти, охранявший Зимний дворец. *Плакал патриарх.* Имеется в виду патриарх Московский и всея Руси Тихон (1865—1925), призывавший в годы Гражданской войны к прекращению кровопролития; канонизирован православной церко-

вью. *Наполеоновы дни* — дни занятия Москвы войсками Наполеона в 1812 г. *Гороховая* — улица в Петрограде, где располагалась ВЧК. *Циммервальд.* Имеется в виду проходившая в 1915 г. в Циммервальде (Швейцария) Международная социалистическая антивоенная конференция.

345. Труд. (М.). 1917. 24 декабря, без назв. -- ПБД -- СС-90. *Когда те делили клочья / Ее омраченных риз.* Большевики, победившие в Москве, сравниваются с воинами, распявшими Христа (см. примеч. 327—332(2)).

346. К.

347. К -- Книга для чтения по истории новейшей русской литературы. Ч. V. Л., 1926 -- БП-77 -- СС-90. *«Вставай! подымайся...»* — начальные слова припева «Новой песни» («Отречемся от старого мира...») П. Л. Лаврова (на мотив «Марсельезы»).

348. Власть народа. (М.). 1917. 25 декабря -- ВСП. В связи с обложкой этого сб. работы Г. Якулова рецензент газ. «Понедельник» А. Смородин писал, что «взглянув на девицу, шагающую по обложке», не может потом читать помещенные под этой обложкой стихи Эренбурга о том, как распинали московские соборы. «Мне начинает казаться, что и Эренбург пишет об этом не всерьез, а так только, чтобы поинтереснее выглядеть». (1918. 3 июня). Ст-ние открывало сб. ВСЧ.

350. ПБД.

351. ПБД.

353. Стихи и проза о русской революции. Сб. 1. Киев, 1919 -- ПБД -- БП-77.

354. ПБД. *Если б я мог / Заслонить вас молитвой...* Эти слова Эренбург написал на экземпляре МоР, который он пытался переслать в начале 1919 г. из Киева на Северный Кавказ Е. О. Шмидт (см. примеч. 61) и дочери Ирине (сообщено Б. А. Букиник, 1976 г.).

356. Вечер Москвы. 1918. 19 мая.

357. СС-90.

358—362.

1. Московский вечер. 1918. 22 марта.

2. Обращено к художнице Шанталь Кенневиль (1897—1969), роман Эренбурга с которой прервался с его отъездом из Парижа в Россию в июле 1917 г.; в записной книжке Эренбурга 1917—1918 гг. есть записи: «Написать Шанталь», «Стихи Кате (Е. О. Шмидт. — *Б. Ф.*) и Шанталь» (РГАЛИ. Ф. 1204. Оп. 2. Ед. хр. 386. Л. 113). «"Ты уедешь и не вернешься", — сказала мне Шанталь. Мы долго ходили

по пустым темным улицам; накрапывал теплый весенний дождь<...> Помню последний вечер в Париже. Я шел с Шанталь по набережной Сены, глядел кругом и ничего больше не видел. Я уже не был в Париже... Она меня утешала, сказала: "До свиданья!" <...> Как-то с оказией пришло письмо от Шанталь, она писала, что ждет меня. На минуту передо мной встал Париж — Сена, каштаны, друзья и маленькая улочка Кур де Роан, где жила Шанталь. Ответ я писал долго — хотел объяснить, что война продолжается, что у меня нет денег, а главное, я не могу уехать из России, не поняв, что здесь происходит <...> Письмо получилось глупое, и я его порвал...» — вспоминал, рассказывая про 1917 и 1918 гг. Эренбург (ЛГЖ. Т. 1. С. 217, 221, 222, 281). Сюжет ст-ния не точно соответствует реальным событиям — роман был более продолжительным: длился с 1914 г. (см.: ЛГЖ. Т. 1. С. 161,193). *Montparnasse* — бульвар в Париже, где до своего отъезда в июле 1917 г. жил Эренбург и где размещались посещаемые им кафе.

4. К. Имеется в виду Софийский собор в Киеве, сооруженный в период расцвета Киевской Руси при княжении Ярослава Мудрого.

5. Понедельник. (М.). 1918. 26 марта.

В ЗВЕЗДАХ

Написанный в апреле—мае 1918 г. роман в стихах «В звездах» (ВЗ) напечатать в Москве Эренбургу не удалось, как и мистерию «Золотое сердце», и новые стихи. Список написанного и неопубликованного в 1918 г. Эренбург 30 октября 1918 г. послал из Полтавы в Коктебель М. Волошину (Зв. 1996. № 2. С. 200). Обосновавшись в Киеве, Эренбург предпринял попытки напечатать свои последние произведения. 7 мая 1919 г., рассказывая в письме московской поэтессе В. Меркурьевой о жизни в «красном» Киеве, он сообщил, что роман «В звездах» печатается (см.: Минувшее. СПб., 1997. Вып. 22. С. 313). Книга вскоре вышла без обозначения изд-ва; вместо него на титульном листе было указано: «Типография Школы-Мастерской Печатного Дела». Обозначен был и оформитель: «Обложка работы художника Диего-Мария Ривера» (для украшения обложки Эренбург использовал парижскую литографию Риверы 1916 г., которую привез в Россию и наклеивал на свои книги, даря их близким и друзьям).

Книга вышла в разгар Гражданской войны в Киеве еще при красных, которых в конце лета выбили из города белые. Но и в этих условиях литературная жизнь продолжалась, имя Эренбурга постоянно мелькало в киевских и харьковских газетах, о его выступлениях, планах, о книге «Огонь» писали, но о романе «В звездах» не было ни слова (только в харьковской «Новой России» 2 ноября (ст. ст.) 1919 г. он назван в перечне последних книг Эренбурга). 26 декабря 1919 г. ВЗ упомянул в статье «Романтик в роли импрессарио (О последних произведениях И. Г. Эренбурга)» бежавший из деникинского Киева в Одессу литератор Г. Крыжицкий. Перечислив последние издания Эренбурга, он написал: «В этом потоке строк совершенно утонуло последнее произведение Эренбурга, его стихотворный ро-

ман "В звездах", вещь на редкость слабая и бесцветная. Содержание ее наивно до странности» (Современное слово. (Одесса). 1919. 26 декабря).

364. Фрагменты: Понедельник. (М.). 1918. 10 июня. (под назв. «Париж») и 18 июля (без назв.) -- Возрождение. 1918. 16 июня (под назв. «Февральская революция») -- Ипокрена. 1919. № 4. С. 15 (с уведомлением редакции, что все материалы получены от авторов еще в 1918 г.; №№ 1, 2/3 вышли в Петрограде в 1918 г.; № 4 — возможно, был напечатан в Полтаве, где тогда находился гл. редактор М. Штромберг) -- О (см. примеч. 367; этот фрагмент гл. 28 печ. здесь по О). *Шанталь* — см. примеч. 358—362 (2). *Святой Пантелеймон* — врач, целитель; христианский великомученик, казненный в Греции в 305 г. *Мирра* — ладан, применявшийся в парфюмерии и для воскурений при религиозных обрядах. *«L'Intran», «La Presse»* — названия французских газет. *Погибла Мессина.* Порт на острове Сицилия был разрушен землетрясением в 1908 г. *«Я встретил Марго из Лоррени...»* — вариация на тему французской песни XVI в., переведенной Эренбургом, — см. № 739. *Oh, ça ira! Ça ira !*— припев популярной песни французской революции: «Дело пойдет на лад! Аристократов — на фонарь». *Святая Женевьева* (423—512) — покровительница Парижа, предсказавшая, что он не погибнет от Аттилы. *Miserere* — восходит к 50-му псалму Давида. *Allons enfants de la Patrie* — слова французского революционного гимна «Марсельеза». *Иностранный легион* — французские наемные военные формирования из иностранцев. *Это 75* — калибр пушки. *Зуавы* — см. примеч. 225. *Каина поцелует сияющий брат* — см. примеч. 234. *Верден* — город во Франции, место ожесточенных боев в Первую мировую войну. *Епитрахиль* — часть облачения священника в виде длинной полосы ткани, надеваемая при богослужении. *Страстной монастырь* — монастырь в центре Москвы, разрушенный в 1920-х гг. *Смердящий Лазарь, /На четвертый день ты воскрес.* Имеется в виду воскрешение Христом Лазаря через четыре дня после его погребения (Ин. 11, 1—45). *Ектения* — молитва с амвона, на которую певчие отвечают: «Господи, помилуй».

ОГОНЬ

10 апреля 1919 г. Эренбург писал из Киева в Москву поэтессе Вере Меркурьевой: «В течение марта я написал с десяток стихотворений, кажется, в них есть что-то новое. Грядущая книга должна именоваться "Прославление Жизни и Смерти", и действительно прославлять ныне я, кажется, могу все» (Минувшее. СПб., 1997. Вып. 22. С. 311). А уже 7 мая 1919 г. Эренбург сообщал Меркурьевой: «Здесь печатаются одни, другие, м. б., будут печататься следующие мои книги <...> и книжечка новых стихов под заглавием "Огонь" ("Огонь пришел Я низвесть на землю" от Луки)» (Там же. С. 313).

Договоренность об издании сб. «Огонь» (О) была достигнута с гомельским изд-вом «Века и Дни», «мозгом» которого был критик

Д. И. Выгодский, вернувшийся в родной город из Петрограда, где в 1917 г. окончил филологический факультет университета. Выгодский в 1916 г. писал о стихах и переводах Эренбурга в горьковской «Летописи»; особый интерес он проявлял к переводам испанской литературы и, познакомившись с публикациями эренбурговских переводов из старых испанских поэтов, предложил ему участвовать в планах изд-ва «Века и Дни» (27 апреля 1919 г. Выгодский писал Брюсову: «Основой нашего издательства будет серия иностранных поэтов в русских переводах. <...> Испанских поэтов мы надеемся получить от Эренбурга, у которого готова к печати целая антология» (РГБ. Ф. 386. К. 81. Ед. хр. 21) В ходе этих переговоров Эренбург и предложил Выгодскому издать книжку своих новых стихов.

В книге, отпечатанной в «4-й советской типографии» с двумя вариантами обложки, поместили программу изд-ва (сотрудничать с ним согласились: В. Брюсов, М. Гершензон, В. Ходасевич, Г. Шенгели, И. Эренбург и др.), в которой была названа и так и не вышедшая антология «Поэты старой Испании» в переводах Эренбурга.

О попал в Россию не скоро, и рецензий на него не было, а в Киеве он появился при белых, в сентябре 1919 г., и тогда же о нем напечатали две заметки. 12 (25) сентября в газ. «Русь» поэт З. Давыдов писал: «Жить в испепеляющие годы мировой войны и страшной революции и по-прежнему "сюсюкать стройными строфами" — для этого Эренбург и слишком силен и слишком слаб. <...> Он один (может быть, разве только еще и З. Гиппиус) был тем избранником, который обречен был испепелять свою душу на жертвенном огне. Он молился за Россию, "когда распинали московские соборы", так, как ни один из русских поэтов не молился. И этого Россия никогда не забудет». 19 сентября (2 октября) критик «Вечерних огней», приведя две цитаты из О, сделал вывод: «При всем своем желании мы не могли найти в претенциозной книжечке ничего пророческого, юродства же в ней сколько угодно».

В О вошло 17 ст-ний (5 — написанных в Москве в январе—феврале 1918 г., 2 — в Киеве в ноябре 1918 г., 7 — в Киеве в марте 1919 г. и 3 — в Киеве в апреле 1919 г.). Все ст-ния (кроме №№ 366, 369, 370, 374 и 376) напечатаны в О впервые. Рукопись не сохранилась. В наст. изд. печатаются по О (кроме оговоренных случаев). В примеч. указаны первые публикации и перепечатки.

365. Минувшее. СПб., 1997. Вып. 22. С. 313—314, по автографу в письме Эренбурга В. Меркурьевой от 7 мая 1919.

366. Однодневная газ. «День пролетарской культуры». (Киев). 1919. 6 апреля -- К -- Изборник литературно-художественных произведений. М., 1922 -- Русская поэзия XX века. М., 1925 -- СС-62 (с синтаксической правкой) -- БП-77 -- СС-90. Печ. по СС-62. Цит. в ЛГЖ (Т. 1. С. 296).

367. О, как последние 24 строки ст-ния из 75 строк, начинавшегося так: «Не знаю, кто прав иль виновен. / Они разные носят знамена. / Но той же злобой и той же любовью / Полны сердца исступ-

ленные, / Но той же теплой кровью / Святится земля неуемная». Далее следовали 45 строк из ВЗ (ст. 37—79 гл. 28 с вставкой после ст. 75: «Я слышу песни, я вижу ружья, / Но я не знаю, кому они служат») -- Книга для чтения по истории новейшей русской литературы. Ч. V. Л., 1926 -- К (24 строки) -- СС-62 -- БП-77 (в примеч. в качестве первой публикации ошибочно назван ВЗ, а не О) -- СС-90 -- Минувшее. СПб., 1997. Вып. 22. С. 311—312, по автографу из письма Эренбурга В. Меркурьевой от 10 апреля 1919 г.. Печ. по СС-62. Цит. в рец. З. Давыдова (Русь. (Киев). 1919. 25 октября (7 ноября)).

368. *Претворяет воду в вино* — евангельский сюжет (см. примеч. 76—77 (1)).

369. Революционное искусство. Киев: Бюро пропаганды Всеукраинского Наркомпроса, 1919 -- Изборник литературно-художественных произведений. М., 1922 -- БП-77.

370. ВСП, под назв. «О себе» -- БП-77 -- СС-90. Первая строфа цит. в рец. киевской газ. «Вечерние огни» после слов: «Новоявленный мессия обжигает нас такими лучами своего огненного вдохновения» (1919. 19 сентября (2 октября)). *Лишь когда запоет труба Архангела* — т. е. в день Страшного суда. *И ослиные копыта прозвенят на площади* — намек на пришествие Иисуса Христа, въехавшего в Иерусалим на осле (Мф. 21, 7).

371—373.

1. БП-77 -- СС-90. Цит. в: Утренники. Пг., 1922. Кн. 2.

2. *Твое грустное нормандское имя.* Шанталь (см. примеч. 358—362 (2)) родилась в городке Критбёфе в Нормандии (север Франции).

374. Альм. «Огни». М.,1918. С. 36, под назв. «Еще о себе» -- БП-77 -- СС-90. Первая строфа цит. в рец. киевской газ. «Вечерние огни» после слов: «Общее же впечатление от его поэзии прекрасно сформулировано самим автором в следующих стихах» (1919. 19 сентября (2 октября)). Цит. в рец. при воспоминаниях о «прежних» книжках Эренбурга: «Там билось и страдало живое сердце» (Утренники. Пг., 1922. Кн. 2.). *Газэла* (газель) — стихотворная форма в восточной лирике (5—12 двустиший с однозвучной рифмой). *Рондо* — французская стихотворная форма в 15 строк.

375. К, фрагмент (ст. 77—94). Этот же фрагмент Эренбург послал в письме В. Меркурьевой 24 февраля 1919 г. (Минувшее. СПб, 1997. Вып. 22. С. 308). *Каин* — см. примеч. 234. *О, как может любить земное сердце, / Чуя разлуку навек, навек!* Эти строки Эренбург написал на книге О, даря ее Б. А. Букиник в Киеве в 1919 г.

376. Ипокрена. 1919. № 4. С. 14—15, под назв. «Благодарю», с датой: «декабрь 1918». *Ты отнял у меня родную мать.* Мать поэта

Анна Борисовна Эренбург скончалась в Полтаве 13 октября 1918 г. *Азраил* — ангел смерти у мусульман.

377. Минувшее. СПб., 1997. Вып. 22. С. 310—311, по автографу в письме Эренбурга В. Меркурьевой из Киева от 10 апреля 1919 г. *Только святое «да»* — ср. статью Эренбурга «Святое "нет"» (Камена. (Харьков). 1919. № 2; перепеч.: Минувшее. СПб., 1997. Вып. 22. С. 271—275).

379. К.

381. Фрагмент — в письме Эренбурга В. Меркурьевой 7 мая 1919 г. (Минувшее. СПб., 1997. Вып. 22. С. 312).

РАЗДУМИЯ

Из всех ст-ний, написанных в Коктебеле в 1920 г., Эренбургу тогда же удалось напечатать (с массой опечаток) лишь два — в маленьком феодосийском альм. «Ковчег». В Москве Эренбург продолжал писать стихи, но издать неортодоксальную книгу оказалось невозможно. Сб. «Раздумия» (Р-1) вышел в середине 1921 г. в Риге, где автор ждал визы в Париж. «Однажды пришел печальный человечек, сказал, что он открывает издательство, хочет печатать советских авторов, показал мне различные рукописи и купил мой сборник "Раздумья"» (ЛГЖ. Т. 1. С. 369—370). Книга вышла без обозначения изда; ее отпечатали в типографии «Дзинтарс». Только недавно установлено, что издателем был журналист К. А. Башкиров, его изд-во называлось «Лира» (см.: Русская мысль. (Париж). 1999. № 4272).

Перед отъездом в Ригу Эренбург оставил рукопись «Раздумий» также для издания в Петрограде М. М. Шкапской. 9 декабря 1921 г. она сообщала в Коктебель М. А. Волошину: «В марте проводила в Париж Илью Григорьевича, вожусь здесь с изданием его последней книжки "Раздумья"» (Русская мысль. (Париж). 1996. № 4147. С. 10). Сб. «Раздумия» (Р-2) вышел в Петрограде тиражом 2000 экз. (50 нумерованных, с вклеенной литографией) в изд-ве «Неопалимая купина» в апреле 1922 г. Помимо издательской правки он отличался от Р-1 отсутствием двух «путевых» ст-ний. Часть напечатанных в нем ст-ний поместили также московские альм. «Трилистник» и «Возрождение». В БП-77, наряду с двумя здесь описанными, ошибочно указано еще одно издание «Раздумий» (Пг., 1921).

Еще раньше (ноябрь 1921 г.) в берлинском изд-ве «Мысль» вышло Избранное Эренбурга под назв. «Кануны», куда наряду со стихами 1915—1919 гг. вошли 7 ст-ний из «Ночей в Крыму», 4 —из «Московских раздумий» и 2 — из «Путевых раздумий» (из ст-ний этого времени в «Канунах» впервые печаталось лишь 2 ст-ния, помещенные здесь в качестве дополнения), а также весь цикл «Зарубежные раздумья», вышедший в Москве отдельным изданием в 1922 г. (см. с. 708). Сб. «Кануны» открывался авторским предисловием: «В эту

книгу вошли некоторые стихи, написанные мной в течение последних шести лет. Я выбрал не лучшие, не любимые мной, но те, в которых с достаточной ясностью я передаю мое основное восприятие нашей эпохи, как великих канунов. Иной читатель, быть может, сравнив различные строки, упрекнет меня в разноголосице. Нет! Менялись зыбкие идеи, мгновенья, суждения, мысли, образы, слова. Но голос оставался неизменным, выражая все те же восторг и ужас пред современностью. Я чту в ней величье и убожество, подвижничество и гнусность. Как у нее, как у всех нас, детей рокового века, у меня два лица, две любви, два горя. Давно я полюбил Пушкина и Рублева, Вильона и Протоиерея из Ита. Любить дважды так я не смогу. Но с богомольным ужасом гляжу я на железные судороги нового дня. Я не жалуюсь, не скорблю. Я счастлив, что жил в эту суровую, угрюмую Субботу. Светел и быстр воскресный сон, тихи, мудры и блаженны вечные будни земли. Но не слаще ль всего томиться, выть и трепетать в наши дни Канунов? Об этой сладости, смертной до слез, до потери всего — моя книга.

Июль 1921. La Panne. Илья Эренбург».

«Раздумия» имели относительно большую прессу. «Красная» критика уже выработала свою убойную лексику; называя новые стихи Эренбурга «сменовеховскими», она в целом одобрила «робкое» признание автором «Раздумий» советской власти. Выводы делались разные — от вполне доброжелательных — «Нам дорога искренность в поэте, колеблющемся перед полным приятием свершившегося» (рец. И. Оксенова — Книга и революция. 1922. № 6. С. 59); «Книжка стихов Ильи Эренбурга <...> нужна во всех библиотеках повышенного типа» (Бюллетень книги. М., 1922. № 3—4. С. 86) до сдержанных — «"Раздумья", которым Эренбург мог вволю предаться у Врангеля за границей, заставили его убедиться в надвигающейся гибели буржуазного мира. Он еще "не встретил дня и не обрел дороги", но уже чувствует "радость жить на рубеже, когда чисты скрижали". Большего от поэта-индивидуалиста навряд ли можно ожидать» (Родов С. В литературных боях. М., 1926. С. 104).

В рядах «белой» критики еще не произошло полной политической консолидации, и Роман Гуль, тогда симпатизировавший Эренбургу, написал рец. на «Кануны», где в основном писал о цикле «Раздумья»: «В подлинном приятии революции поэтом, приятии до конца, есть трагедия "человека" — предчувствие своего умирания, тоска предсмертности. Она не скрываема Эренбургом, напротив — обнажена. С любовью к былому, пронесенной сквозь годы жизни, сгорает поэт на костре во имя будущего» (НРК. 1922. № 2). В. Чернов в этой же связи писал о нецелостности, двойственности восприятия и, как следствие, о поэтической неубедительности (см.: Голос России. (Берлин). 1922. 16 апреля).

В Р-1 три раздела: «Ночи в Крыму» — 18 ст-ний с общей датой: «Коктебель. Январь—Март 1920» (хотя по крайней мере одно (№ 383) написано в Киеве в сентябре 1919 г.); «Московские раздумия» — 6 ст-ний с общей датой: «Москва. Январь—Февраль 1921» и «Путевые раздумья» — 2 ст-ния, подписанные «Вагон Москва—Рига. Март 1921». 24 из них (кроме №№ 394, 395, 404) публиковались в Р-1 впер-

вые. Ст-ния №№ 383—405 вошли в Р-2 (некоторые с издательской правкой). Беловые автографы — в рукописном сб. Эренбурга «Полдень», посвященном Б. Л. Пастернаку (РГАЛИ. Ф. 1344. Оп. 2. Ед. хр. 434). В наст. изд. печ. по Р-1 (кроме специально оговоренных случаев). В примеч. указываются первые публикации и перепечатки.

НОЧИ В КРЫМУ

382. К -- альм. «Трилистник». 1922. № 1, под назв. «Раздумия» -- БП-77 (по Р-2) -- СС-90. Беловой автограф? с датой — в сб. «Полдень» (Л. 12). Цит. в рец. Р. Гуля на К, как «звучное и убежденное» (НРК. 1922. № 2), в рец. Э. Миндлина на Р-2 (см.: Возрождение. 1923. № 2) и в кн.: Родов С. В литературных боях. М., 1926. С. 104.

383. БП-77 -- СС-90. Беловой автограф, с датой — в сб. «Полдень» (Л. 9). Цит. в рец. И. Оксенова (Книга и революция. 1922. № 6. С. 59) и, как пример «горечи и пафоса смирения», в рец. Э. Миндлина (см. примеч. 382), а также в кн.: Гусман Б. Сто поэтов. Тверь, 1923. С. 289. *Марсий* (греч. миф.) — один из спутников Диониса; состязался в игре на флейте с Аполлоном — за эту дерзость Аполлон содрал с Марсия кожу, повесил ее на дереве, и при звуках флейты она трепетала.

384. БП-77 -- СС-90 (по Р-2).

385. Цит. в рец. на Р-2 (Литературная неделя. (Пг.). 1923. 18 февраля).

386. Цит. в рец. И. Оксенова (см. примеч. 383). *Капище* — языческий храм.

387. КрА. Беловой автограф, с датой — в сб. «Полдень» (Л. 3). Цит. в рец. И. Оксенова (см. примеч. 383). *Солнцеворот* — народное название солнцестояния (летнего и зимнего), т. е. периодов времени, когда полуденная высота солнца остается практически постоянной. Образ, часто встречающийся в публицистике Эренбурга (см.: Эренбург И. Солнцеворот. М., 1942).

388. КрА. Беловой автограф, с датой — в сб. «Полдень» (Л. 6).

389. К -- СС-62, с правкой -- БП-77 -- СС-90. Печ. по СС-62; дата — по БП-77.

390. Альм. «Возрождение». М., 1922. № 1, вместе со ст-ниями №№ 397, 399, 400, 401, 402, под общим назв. «Строфы мятежной души»; объявленное продолжение публикации не последовало. Обращено к Любови Михайловне Козинцевой-Эренбург (1899—1970), художнице, в 1919 г. ставшей женой поэта.

391. Обращено к Л. М. Козинцевой-Эренбург (см. примеч. 390).

392. КрА. Посвящено памяти матери (см. примеч. 376).

393. К. Цит. в рец. Р. Гуля на К (см. примеч. 382) после слов: «С любовью к былому, пронесенный сквозь годы жизни, сгорает поэт на великом костре во имя будущего» и в рец. И. Оксенова (см. примеч. 383). Написав о коктебельских месяцах 1920 г.: «Меня страшили и бессмысленные жертвы, и свирепость расправ, и упрощение сложного мира эмоций; но я понял, что мои оценки спорны», Эренбург привел ст. 13 этого ст-ния (ЛГЖ. Т. 1. С. 307).

394. Ков. С. 58—60, с датой -- альм. «Трилистник». М., 1922. № 1 -- Красная новь. 1922. № 4 -- КрА. «Похоронной песней над европейской цивилизацией» назвал это ст-ние Г. Лелевич, процитировав его с комментарием: «Полной безнадежностью, какой-то апатией дышит все стихотворение Эренбурга. Это настроение упадочного интеллигента, разочаровавшегося в буржуазной цивилизации, но не способного приблизиться к пролетарской революции, это абсолютная пустота, слегка подкрашенная не то "евразийством", не то сменовеховским славянофильством» (Молодая гвардия. 1923. № 1).

395. Ков. С. 56—58, с датой -- К -- Красная новь. 1922. № 4. Цит. в рец. И. Оксенова (см. примеч. 383).

396. Р-1, без назв. -- К, с назв. -- СС-62 -- БВЛ Т. 52 -- СС-90. Было исключено редакцией из БП-77 на том основании, что «ассоциации, возникающие при чтении этого ст-ния, снижают представление читателя об очистительной роли революционного переворота» (СК). Цит. в ЛГЖ с комментарием: «Стихи слабые, но они выражают мои мысли не только той зимы, а и следующих лет. Меня теперь коробит от нарочито книжного языка "гноище", "чрево", "борозды". Удивительно, как после "Стихов о канунах" и восхищения кубизмом я вдруг сбился на словарь символистов!» (Т. 1. С. 307). Печ. по СС-62.

397. Альм. «Возрождение». М., 1922. № 1 -- КрА.

398. КрА.

399. К -- альм. «Возрождение». М., 1922. № 1 -- БП-77 -- СС-90. Печ. по К. Цит. в рец. Р. Гуля на К (см. примеч. 382) после слов: «Весь Эренбург теперь с красной Россией сегодняшнего дня и ее неведомый путь — свят ему».

МОСКОВСКИЕ РАЗДУМИЯ

400. К -- ПРМ -- альм. «Возрождение». М., 1922. № 1. «Живой летописью наших дней» назвал это ст-ние И. Оксенов (см. примеч. 383).

401. К, с вар. -- ПРМ -- альм. «Возрождение». М., 1922. № 1 -- Петербург в стихотворениях русских поэтов. Берлин, 1923. Цит., как пример «перепевов из прежнего Брюсова», в рец. на ПРМ В. Черновым, назвавшим Эренбурга «человеком с двоящимися мыслями»: «Эренбург подобен грешнику, идущему на две стези. Он то влечется к скепсису и отрицанию, то вдруг натянуто восклицает: но я не отрекусь...» (Эолова арфа революции // Голос России. (Берлин). 1922. 16 апреля). *Евгений* — герой поэмы Пушкина «Медный всадник». *Усмешку глаз и лик монгольский* — намек на Ленина.

402. К -- ПРМ -- Р-2 -- альм. «Возрождение». М., 1922. № 1. Печ. по К. Цит. в рец. И. Оксенова (см. примеч. 383).

403. К, с вар. -- ПРМ -- БП-77 -- СС-90. Ст. 13—16 цит. в романе «Необычайные похождения Хулио Хуренито и его учеников» (1921) персонажем по имени Илья Эренбург после слов: «Мечтал я и просто и в стихах, причем получались скучноватые ямбы» (СС-90. Т. 1. С. 436). *Мой век среди растущих вод...* — намек на всемирный потоп, когда Ной выпустил из ковчега голубку, чтобы узнать, обнажилась ли суша, и голубка вернулась с масличной ветвью в клюве (см.: Быт. 8, 10—11).

404. Автографы. М., 1921 -- ПРМ. *Рамена* — плечи *(церк.-слав.). Великий Инквизитор* — герой «Легенды о Великом инквизиторе» в романе Достоевского «Братья Карамазовы», пытающийся насильственно утвердить счастье всего человечества. Сатирические реминисценции этой «Легенды» проявились в романе Эренбурга «Хулио Хуренито».

405. *Атлас* (греч. миф.) — титан, превращенный Зевсом в гору и осужденный поддерживать на своих плечах небо; в рец. «Бюллетеня книги» прообразом Атласа в этом ст-нии названа Советская Россия (1922. № 3—4. С. 86).

ПУТЕВЫЕ РАЗДУМИЯ

406. К -- ЗР -- Кос. С. 86 -- СС-90. Исключено Ф. Приймой из БП-77 вопреки настоянию И. И. Эренбург, на том основании, что это ст-ние «не может не вызвать недоумения и внутреннего сопротивления современного читателя» (СК). «Великолепным образом Москвы времен коммуны и блокадного голода» назвал это ст-ние В. Князев (Красный журнал для всех. 1923. № 1—2). В 1954 г. ст-ние было по бумажке прочитано М. Шолоховым на совещании в ЦК КПСС перед открытием II съезда писателей как иллюстрация устойчиво антисоветских взглядов Эренбурга в связи с критиковавшейся тогда его повестью «Оттепель» (см.: ЛГЖ. Т. 3. С. 267, 402—404). *На виноватый стук* — «просящегося домой эмигранта», — заметил, процитировав это ст-ние, Н. Мещеряков (Правда. 1922. 2 апреля). А. Неверов писал, что «в стихах Эренбурга слышится "виноватый стук" в Россию, в Москву» (НМ. 1922. № 1. С. 277).

407. К (с исправлением опечатки в Р-1). Печ по К. Строчки этого ст-ния варьируются в ст-нии, напечатанном в романе «Хулио Хуренито» от имени главного героя:

Нет, в России не бунт, нет, в России не смута!
Ее знамена — державный порфир,
И она закладывает, тысячерукая,
Новый мир.
Пусть черна вседневная работа,
Пусть кровью восток осквернен —
Исполинская бабочка судорожно бьется,
Пробивая жалкий кокон.
Так, в бумагах скудных Совнархоза,
Под штыком армейца, средь чернил и крови,
В великом томленье готова раскрыться дивная роза
Неодолимой любови...

(СС-90. Т. 1. С. 436—437).

Цит. в статье Н. Мещерякова «Кривое зеркало» (Правда. 1922. 2 апреля). *И Господь уж привык в своей кассе / К бесконечным хвостам Карамазовых.* Речь идет о намерении Ивана Карамазова вернуть «билет» Творцу: «Да и слишком дорого оценили гармонию, не по карману нашему вовсе столько платить за вход. А потому свой билет на вход спешу возвратить обратно» («Братья Карамазовы», гл. «Бунт»).

ДОПОЛНЕНИЕ

408. К -- БП-77. Печ. по К. Беловой автограф — РГБ, рукописная книга «Блузник» с надписью поэтессе А. Чумаченко; в нем вместо ст. 17—20:

Победитель, слеп и светел,
Ты глядишь на этот гроб пустой.
Не прельстись наследием столетий,
Мира мавзолейной лепотой.
Будь творцом, презрей свои творенья
И, дары земли легко даря,
Претвори властителя былое бремя
В утреннюю песню косаря.
Пусть пышен гроб и вечер золот,
Суровы первые часы земного дня.
Ты, взявши жезл, припомни тяжкий молот,
Весну средь дыма и огня.

Багряница — дорогая красная мантия, символ власти. *Потир* — церковная чаша.

409. К -- БП-77. Печ. по К.

Все 11 ст-ний цикла включены в Избранное Эренбурга, вышедшее в ноябре 1921 г. в берлинском изд-ве «Мысль» под назв. «Кануны» (см. с. 702 наст. изд.). Перепечатаны (с некоторой авторской правкой и в другом порядке) в Кос. (с. 83—98) с добавлением двух «Путевых» (о выходе номера сообщила «Правда» 11 марта 1922 г.). Этот же типографский набор использован для выпуска отдельного издания ЗР (М.: Костры, 1922; вышло 15 августа 1922 г.).

Публикация цикла вызвала несколько откликов в Советской России. «Стихотворения Эренбурга — это единственно интересные вещи во всем сборнике "Костры"», — писал в «Правде» 2 апреля 1922 г. зав. Госиздатом Н. Мещеряков. «В стихах Эренбурга гневная нежность, но больше нежности, чем гнева, — так, отдаленный от лика России, он не знает, прекрасен или страшен этот лик. Знает одно: мучительно ему быть не с нею в эти окровавленные, жертвенные дни», — писала А. Рашковская (Литературные записки. 1922. № 2). В. Князев говорил об «идеологической стороне» ЗР: «Поэт понял правду пролетарской революции, осознал ее, и, если не принял целиком, то исключительно только из-за органической своей глубоко интеллигентской неспособности приобщиться к новой жизни» (Красный журнал для всех. 1923. № 1—2).

Ст-ния, вошедшие в ЗР, в дальнейшем не перерабатывались. Рукописи не сохранились. В наст. изд. печатаются по тексту книги. В примеч. указываются перепечатки.

410. К, с вар. -- БП-7 -- СС-90. *У Вердена лимонад в киосках.* Имеется в виду превращение места кровопролитных боев 1914—1918 гг. в турист-ский центр. Эренбург вспоминал свои впечатления по возвращении в Париж в 1921 г.: «Я уехал из Парижа в лето жестоких боев, и мне трудно было понять, что парижане как будто забыли годы войны; о недавнем прошлом напоминали только рекламы туристических компаний — "Дешевые экскурсии в Верден. Осмотр полей сражения"» (ЛГЖ. Т. 1. С. 371).

411. СС-62 -- БП-77 -- СС-90. Цит. в рец. В. Князева как пример «великолепных образов» (Красный журнал для всех. Пг., 1923. № 1—2).

412. Цит. Р. Гулем в рец. на К (НРК. 1922. № 2). *Лурд* — город во французских Пиренеях, место паломничества к «Лурдской Богоматери», явившейся в 1858 г. местной пастушке.

413. СС-90. Несмотря на противодействие И. И. Эренбург, было категорически отклонено в БП-77 Ф. Приймой, поскольку-де «неопровержимо свидетельствует о непонимании его автором существа новой экономической политики» (СК). Цит. в рец. А. Рашковской с комментарием: «Но ведь она, Россия, не только тянет "дрожащую ладонь" за этой краюхой — она убивает. И душу убивает и тело. Об этом знают все, кто здесь» (Литературные записки. 1922. № 2) и в рец. В. Князева как пример «великолепных образов» (см. примеч.

411). *Сивиллы* — легендарные прорицательницы, упоминаемые античными авторами. *Святого Эльма огоньки* — свечение электрических разрядов вблизи высоких предметов: башен, мачт и т. д. *Исав* — см. примеч. 339.

414. *Оссий* (Осия) — израильский пророк, предсказавший покорение израильского царства. *«Олимпия»* — название кафе. *Кассиопея* — созвездие в Северном полушарии.

415. БП-77 -- СС-90. *Бест* — право убежища в помещении иностранных посольств *(перс.)*.

416. К, с вар. ст. 1—3 (О, радио — Синай неистовства, / С благими сводками и нотами! / Над картой мира с детской кисточкой). Печ. по ЗР, с исправлением ст. 15 по К.

417. Автограф— АШ. Л. 1 (в письме Эренбурга М. М. Шкапской 27 ноября 1921 г.). *Подземный мост* — здесь: могила.

418. БП-77 -- СС-90. *Суламита* (Суламифь) — возлюбленная царя Соломона, который не мог добиться ее любви: она тосковала о своем возлюбленном — пастухе (Песнь Песней).

419. В сентябре или октябре 1921 г. Эренбург послал в письме это ст-ние М. И. Цветаевой; она ответила ему 21 октября (ст. ст.) 1921 г.: «Стихи о каторге Вами у меня предвосхищены, это до того *мое*...» и переписала свое ст-ние «На што мне облака и степи» (Цветаева М. Собр. соч.: В 7 т. Т. 6. М.,1995. С. 213). *Пикадилли* — респектабельная улица в западном районе Лондона. *Эльдорадо* — мифическая страна, богатая золотом; испанцы искали ее в Америке.

ОПУСТОШАЮЩАЯ ЛЮБОВЬ

13 января 1922 г. Эренбург писал М. М. Шкапской: «Кончаю книгу стихов "Опустошающая любовь"» (АШ. Л. 3). Цикл ст-ний был написан в январе 1922 г. А уже 7 марта Эренбург сообщал Шкапской: «Скоро (дня через три) выйдут здесь мои: "Опустошающая любовь" и "Портреты русских поэтов"...» (Л. 5). Книга вышла 10 марта 1922 г. в берлинском изд-ве «Огоньки»; обложка работы Ал. Арнштама. В книге 23 ст-ния без назв. (пронумерованных).

Отметим три отклика на «Опустошающую любовь» (ОЛ). «Мне его новые стихи решительно не нравятся, — писал В. Брюсов. — Но тема книги — наша революция, стихи, сделанные умело, — для взгляда, не слишком изощренного, — чуть не мастерские.<...> Общий смысл книги дан в ее заглавии. Октябрьская революция была для России "опустошающей любовью"; эта любовь спасает и спасет Россию, тогда как для "испепеленной" Европы спасения нет. Но с этой основной мыслью сплетены в стихах И. Эренбурга разные мистические (и чи-

сто религиозные) представления» (Печать и революция. 1923. № 1). Рец. берлинского «Веретеныша» называлась «Книга ненависти»: «Эту книгу трудно вынести. Ибо она лжет и служит лжи: названная святым именем Любви, она пронизана ненавистью.<...> Дух ненависти — дух бесплодия, и новая книга Эренбурга воистину книга "порожнего сердца". Человек, ждущий от поэзии просветления, с негодованием отвернется от нее, ибо найдет в ней черный хаос бунта и ненависти и не найдет поэзии» (1922. № 1. С. 14). Из анонимной рец. петроградских «Утренников»: «Что-то случилось с Эренбургом; невольно вспоминаешь его недавние книжки, в особенности изумительный "Огонь" и "Молитву о России". Там билось и страдало живое сердце и в самую глубину души проникали мучительные слова, срывающиеся с губ человека, кричащего от тоски и отчаяния, смешанных с какой-то одновременно тихой радостью. <...> В этой изящной книжечке, с ятями и твердыми знаками, со страниц толстой меловой бумаги, смотрит какой-то совсем другой Эренбург, спокойный, холодный, бесконечно-рассудочный и необыкновенно туманно-многословный. Простота и ясность языка утрачены. Стихи полны атрибутами дешевого символизма, прежде Эренбургу совсем не свойственного. <...> Не "Опустошающая любовь", а "Опустошенная душа", так хочется назвать ее. Разочарование, принесенное сборником, особенно грустно для тех, кто привык любить Эренбурга и радостно встречать его новые книги» (1922. Кн. 2). 4 июля 1922 г. Эренбург писал об этой рец. М. М. Шкапской: «Конечно, "жаль Эренбурга" (вы слышите — я плачу растроганный). Был такой милый, откровенный, перед всеми сподники скидывал и душу вытаскивал и вдруг — дверь заперта, ничего нельзя понять. Если Вы знаете этих дядей лично, скажите, что подобные казусы бывают — плакаться нечего. Сподников на свете много помимо моих, а в запертые двери приличным людям нечего зря ломиться. Все равно ничего не поймут. А между нами, все же хорошо, что я пишу теперь не "Огонь" для Алексея Спиридоновича (Тишина, малохольного героя романа «Хулио Хуренито». — *Б. Ф.*), а "Опустошающую любовь"» (АШ. Л. 16).

421. БП-77 -- СС-90. Автограф — АШ. Л. 3 (в письме Эренбурга М. М. Шкапской от 13 января 1922 г.). Цит. в рец. журн. «Веретеныш» (1922. № 1. С. 14). В. Брюсов привел это ст-ние в рец. и проанализировал его (Печать и революция. 1923. № 1). *Весталка* — жрица Весты, римской богини домашнего очага, олицетворение девственности (ср. у Пастернака: «Грех думать — ты не из весталок...»; книгой Пастернака «Сестра моя жизнь» Эренбург едва ли не бредил в тот год).

422. Цит. и анализировалось в статье В. Брюсова (см. примеч. 421).

426. Русская поэзия XX века. М., 1925. *Верденских иль карпатских язв / Незарастающие плеши.* Имеются в виду районы боев в годы Первой мировой войны. *Карманьола* — революционная французская песня с пляской, сложенная в 1792 г.

429. Русская поэзия XX века. М., 1925. *...огонь / Лижет новых протопопов* — намек на протопопа Аввакума, сожженного за еретичество.

430. БП-77 -- СС-90. В авторском экземпляре зачеркнута строфа 5. *Дикий шкипер* — император Петр I.

432. В рец. журн. «Утренники» это ст-ние приведено полностью и названо единственным, которое запомнилось из всего сб. (1922. Кн. 2). *И плоть клеймит густым нагаром / Дипломатический сургуч.* Здесь отразилась тяжелая поездка Эренбурга в 1920 г. из Тифлиса в Москву с мешками диппочты, которые толпы пассажиров по дороге пытались потеснить (см.: ЛГЖ. Т. 1. С. 322).

433. Русская поэзия XX века. М., 1925.

435. Печ. по автографу в письме Эренбурга М. М. Шкапской от 13 января 1922 г. с исправлением опечатки в строфе 2 — АШ. Л. 3.

436. БП-77 -- СС-90. Строфы 3, 5 и 6 в авторском экземпляре зачеркнуты. *Великий Давид* — легендарный иудейский царь, автор псалмов. *Грош вдовицы зацвел* — евангельский сюжет о двух лептах бедной вдовы, которые оказались угоднее Богу, нежели богатые дары, ибо вдова отдала последнее (Лк. 21, 1—4). *Азраил* — см. примеч. 376.

437. Русская поэзия XX века. М., 1925 -- БП-77 -- СС-90.

438. БП-77 -- СС-90. *От любви в плетенке Фьезоле.* Этой строчкой в память их поездки по окрестностям Флоренции летом 1909 г. Е. Г. Полонская, получив от автора ОЛ в мае 1922 г., надписала ему 11 мая 1923 г. в Петрограде свою вторую книгу «Под каменным дождем».

439. БП-77 -- СС-90. Первые 20 строк зачеркнуты в авторском экземпляре. *Вестминстерское сердце скрипнуло сердито.* Речь идет о часах на здании английского парламента в Вестминстере. *Тустеп* — модный в начале 1920-х гг. танец. Леон *Равашоль* (1860—1892) — французский анархист. *Пикардская земля* — Пикардия, провинция на севере Франции. *Оглушенный царь метался за смуглянкой.* Возможно, имеется в виду царь Соломон, воспылавший любовью к Суламифи (см. примеч. 418). *Мессина* — см. примеч. 364.

440. Автограф — АШ. Л. 4 (в письме Эренбурга М. М. Шкапской от 16 февраля 1922, с припиской: «А это будет Вам ответом на Ваше стихотворение об Агари, которое очень хорошо и очень возмутительно!»). В том же году Эренбург дважды просил Полонскую прислать ее ст-ние об Агари (вошло в ее вторую книгу: Под каменным дождем. Пг., 1923). *Агарь* — египтянка, рабыня Сарры и наложница Авраама, родила *Измаила,* родоначальника бедуинского племени агарян. *Всю жизнь с неистовым эпиграфом / И с недодышанной строкой* — эти строки Эренбург надписал Е. Г. Полонской на ОЛ в Берлине 3 мая 1922 г. (СК).

442. СС-62 (строфы 3 и 4) -- БП-77 -- СС-90. *Мирта* (мирт) — вечнозеленый кустарник, листья которого содержат эфирные масла. *Молю, о Ненависть...* — эти строки Эренбург думал поставить эпиграфом к роману «Жизнь и гибель Николая Курбова» (1922). *Рубенсовских тел* — т. е. пышнотелых героев полотен фламандского живописца Питера Рауля Рубенса (1577—1640).

443. БП-77 -- СтСк -- СС-90. У Я. Ивашкевича хранился экземпляр ОЛ, на котором автор написал строфу 3 этого ст-ния (адресата этой надписи, друга Эренбурга композитора Людомира Роговского, Ивашкевич не знал). Строфу 2 этого ст-ния Я. Ивашкевич назвал «жизненной программой Эренбурга, которую он выполнял всю свою долгую и трудную жизнь... В этих строчках заключается тайна, а может быть, и трагедия Эренбурга. Считая себя поэтом, он разменял — ибо считал это своим гражданским долгом — золотые цимбалы на пращу» (ВЛ. 1984. № 1. С. 197). *Филистимляне* — древний народ смешанного семитско-египетского происхождения, населявший юго-западный берег Палестины и постоянно враждовавший с израильтянами; филистимлянского великана Голиафа победил, бросив в него камень из пращи, юноша Давид, ставший легендарным израильским царем.

ЗВЕРИНОЕ ТЕПЛО

12 июля 1922 г. Эренбург писал М. М. Шкапской с острова Рюген на Балтийском море, где проводил летние каникулы: «Начал писать стихи. К осени будет книжонка. Назову ее "Звериное тепло"» (АШ. Л. 35). Книга стихов действительно была написана в июле — августе 1922 г.; название ее возникло из строки ст-ния: «К устам припав, высасывают пчелы / Звериное тепло под чудный гуд» (см. № 422). Уже в ноябре 1922 г. сб. «Звериное тепло» (ЗТ) был выпущен берлинским изд-вом «Геликон» (там в 1921—1922 гг. вышло много книг Эренбурга), но на титульном листе обозначен 1923 г.

«Я рад, что тебе понравилось "Звериное тепло"... Кажется, стихи неплохие. Хотя, конечно, "капитуляционные". Что-то смахивающее на Ходасевичей, и эта часть самая плохая», — писал 7 января 1923 г. Эренбург Е. Г. Полонской (ксерокопия, СК).

Рец. на ЗТ были только в Берлине. 17 декабря 1922 г. в берлинской газ. «Дни» появилась рец. Андрея Белого. Эренбург в тот же день писал М. М. Шкапской: «Напишите о "Зверином тепле". Белый о ней напечатал восторженную статью. Я относительно люблю эти стихи. Они, верно, мои. Зверь я во всяком случае, хотя сильно цивилизованный» (АШ. Л. 57). Отметив, что Илья Эренбург «то привлекает, то ударяет очень больно, отталкивая», А. Белый написал о «безукоризненно, четко изваянном стихе Эренбурга»: «Здесь не место формально анализировать строки строгого ямба, которым писано большинство стихотворений Эренбурга, где встречает нас такое разнообразие пэонов, пауз, внутренних перебоев, дающих скульптуру

обычной плоскости ямба и создающих в нем третье измерение <...> что-то от Микельанджело чувствуется и в форме стиха и в образе живописания тела... Называя любовь "звериным теплом", он "самое звериное тепло жизни" очеловечивает, потому что субъект поэзии здесь не человек-зверь, а *зверь*, трогательно пробуждающийся к человечности <...>. Оригинальную по теме, по разработке темы, по цельности книгу дал нам поэт в великолепной конструкции мраморно изваянных строк» (Дни. (Берлин). 1922. 17 декабря). В рец. Романа Гуля отмечены перемены в эренбурговском стихе: «Что же изменилось? Напев, звон стиха. Ранее свободный, он замкнулся в строгие гранёные квадраты строф. Сковался. Музыка forte! Сгустились краски образов. Они неожиданно ярки в торжественном аккомпанементе. Пафос любви и музыкальная патетичность определили крошечную книжку и заставят ждать от музы новых больших неожиданностей» (НРК. 1923. № 1. С. 17). Рецензент Ю. О. берлинской газ. «Руль» писал: «Эренбург — поэт-мастер-конструктор. Он скуп и бережлив на слова и образы — в иные строки приходится вчитываться по несколько раз — но тем сильнее захватывают они и западают в памяти музыкой, иногда удивительные по своей строгой, лаконичной выразительности и законченности. В "Зверином тепле" своем Эренбург опять проявил характерную особенность: он талантливейший эклектик. В стихах его и Мандельштам, и Пастернак, и, казалось бы, кто еще дальше от Эренбурга? — Кузмин, мотивы которого ясно сквозят в иных строках. Но это вовсе не значит, что Эренбург "под влиянием", идет от кого-то. Вот настоящий мастер, он настолько умело мог впитать чужие настроения, что они звучат у него неподдельно своими и вся его книжка — свое лицо» (1923. 21 января).

Все ст-ния, вошедшие в ЗТ, опубликованы в этой книге впервые (с общей датой в конце книги); в дальнейшем не перерабатывались. В наст. изд. печатаются по тексту книги. В примеч. указываются перепечатки.

444. Автограф — АШ. Л. 35 (в письме Эренбурга М. М. Шкапской от 12 июля 1922 г.)

445. Из новых поэтов. Берлин, 1923. *В землю уходящей Прозерпины.* Миф об уходе и возвращении Прозерпины Эренбург использовал в публицистике (см. раздел «Возвращение Прозерпины» и одноименную статью: Эренбург И. Война. М., 1944).

447. «О любви у Эренбурга хочется сказать. Ее лицо смугло до черноты. Только чувствуешь дыхание», — писал, предваряя цитату двух строф этого ст-ния, Р. Гуль (НРК. 1923. № 1. С. 17).

448. Цит. в рец. А. Белого (Дни. (Берлин). 1922. 17 декабря).

449. Цит. в рец. Р. Гуля (см. примеч. 447). *Зебу* — подвид крупного рогатого скота.

450. Видимо, обращено к Е. О. Сорокиной (Шмидт) (см. примеч. 61).

451. Автограф — СК (в письме Эренбурга Е. Г. Полонской от 20 августа 1922 г.). Цит. в рец. А. Белого (см. примеч. 448). *Ведь, полюбив, унылый Псалмопевец...* — реминисценция из Первого послания к коринфянам святого апостола Павла: «Если я говорю словами человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я — медь звенящая, или кимвал звучащий» (1 Кор. 13, 1).

452. Строфу 5 цит. З. Гиппиус, иллюстрируя свой тезис, что «старый Эренбург» («когда-то не без способностей — ныне разлагающийся»), в отличие от «новейших поэтов», «понимает, с кем смыкается». «Что выиграет для себя Эренбург или даже "невинные" поэты — менее важно, чем то, что начинаем проигрывать мы, русские, благодаря роковой "смычке" и "подпискам верности"» (Последние новости. (Париж). 1925. 22 февраля). Цит. в рец. А. Белого (см. примеч. 448).

454. Цит. в рец. А. Белого. *Андиомена* (Анадиомена, греч. — всплывшая) — прозвание богини любви Афродиты, родившейся из пены морской.

456. Цит. в рец. Р. Гуля (см. примеч. 447). *Мать осенней ночью / Ушла* — см. примеч. 376. *Лирник* — здесь имеется в виду А. С. Пушкин; вообще же, лирники — бродячие певцы на Украине (ср. у Мандельштама «лирники слепые» в ст-нии «На каменных отрогах Пиэрии» (1919) также не в украинском контексте).

457. БП-77 -- СС-90. *Стяжатель истины* — Исаак Ньютон, которого, по легенде, на открытие закона тяготения натолкнуло падение с дерева плода яблока.

458. БП-77 -- СС-90. Автограф — СК (в письме Эренбурга Е. Г. Полонской от 13 сентября 1922 г., с датой: «VII 1922» и незначительными разночтениями). Цит. в рец. Р. Гуля (см. примеч. 447). Приведя ст. 17, рецензент газ. «Руль» написал: «И как не пожалеть, что "впопыхах" оказывается подчас губительным, заставляет идти часто от удачной строки, выражения в ущерб общей цельности» (1923. 21 января). *«Свободен от постоя»* — формула, освобождавшая владельца частного дома от временного вселения военных «на постой» *...Но есть ладони — много губ / Им заменяло гвозди* — намек на распятие.

460. БП-77 -- СС-90. Посвящ. Пушкину. Строчку из этого ст-ния Эренбург привел в письме Е. Г. Полонской от 29 октября 1922 г.: «Почему ты не присылаешь мне своих новых стихов? Я люблю в них свое, то, чего нет в русских стихах, где "славянских дев как сукровица кровь". Твоя не такая» (СК). Возможно, это обсуждалось Эренбургом с В. Б. Шкловским; отголосок этого — в письме к Полонской от 25 декабря 1922 г.: «В. Б. сказал обо мне прекрасно "Павел Савлович", но в книге («Сентиментальное путешествие». — *Б. Ф.*) написал,

что у меня "кровь еврея-имитатора", а у тебя нет — хорошая, густая» (СК). *...был он «камергер»* — ошибка: Пушкин имел младший придворный чин камер-юнкера (внимание на эту погрешность обратили еще в рец. газ. «Руль» от 21 января 1923 г.: «Дикий "лирник" — Пушкин — оказался у Эренбурга "камергером". Правда, это для рифмы, но все же...»). *Мариула* — персонаж поэмы «Цыганы».

461. Цит. в рец. А. Белого (см. примеч. 448). *Кремлевского ученого монгола* — намек на Ленина (ср. № 401). *«Ундервуд»* — марка пишущей машинки.

463. *Высокие Циклоповы затеи* — мифические сооружения из громадных камней без цемента в древней Греции; у Гомера циклопы — великаны с одним глазом на лбу. *...средь дворцовых малахитов / Солдатские окурки* — после штурма Зимнего дворца в 1917 г.

464. Цит. в рец. А. Белого (см. примеч. 448). *Шесть, чтоб создать.* Имеются в виду музыкальные ноты.

466. Из новых поэтов. Берлин, 1923 --СС-62 -- БП-77 -- СС-90. Обращено к Л. М. Козинцевой-Эренбург (см. примеч. 390).

467. Из новых поэтов. Берлин, 1923 -- БП-77 -- СС-90. Полностью приведено в рец. газ. «Руль» (см. примеч. 458). *Самуил* — древнееврейский пророк, верховный жрец израильский; ему приписывают авторство двух Книг Царств, Книги Руфи и Судей. *Саул* — первый израильский царь, помазан на царство Самуилом в 1040 г. до н. э., погиб в войне с филистимлянами. *Двенадцать колен* — потомки двенадцати сыновей Иакова, иносказательное наименование еврейского народа.

468. Очевидные реминисценции из ст-ния Мандельштама «Дано мне тело — что мне делать с ним» (1909).

НЕ ПЕРЕВОДЯ ДЫХАНИЯ

План сборника «Не переводя дыхания» возник летом 1923 г. во время отдыха Эренбурга в Гарце. 12 июня он сообщал Е. Г. Полонской: «Пишу стихи (впервые после годового перерыва). Это моя слабость. Писать трудно, т. к. плохо здоровье. Написал уж два» (здесь и далее — СК), а 13 июля последовала просьба: «Если тебе удастся найти издателя м. б. соединить в одну книгу новые и "Звериное тепло"». 18 июля Эренбург писал М. М. Шкапской: «Книга стихов будет называться "Не переводя дыхания" (это без иронии)» (АШ. Л. 40), а 18 августа: «Не работал. Впрочем, к зиме верно наберется крохотная книжица стихов, о которой я писал Вам. В ней, как и во многом ином, я являюсь робким учеником Пастернака. Посылаю Вам одно

стихотворение» (АШ. Л. 42). 23 августа в письме Полонской Эренбург вернулся к вопросу: «Ты мне ничего не пишешь о моей просьбе. А теперь это особенно важно для меня, т. к. в связи с репарациями и прочим здесь тиснуть книжку вряд ли удастся. А 1) мне хочется, чтоб она была издана. 2) даже малая сумма здесь была бы крайне полезна. Словом, пожалуйста, выясни этот вопрос. Книга будет на днях окончательно готова. Если отдельно, то 20 стихотворений, если вместе с "Звериным Теплом", то около 40. Напиши мне об этом скорей». 2 сентября Эренбург снова пишет Полонской: «Очень жду твоего письма касательно стихов. Книгу я кончил. Причины: 1) мне хочется, чтоб они вышли, а здесь все издательства закрылись и напечатать их никак нельзя. 2) мои финансовые дела плохи и даже гонорар за стихи для меня теперь весьма существен. Если можешь, устрой это и не сердись, что тебе надоедаю». 3 октября, получив письмо Полонской, Эренбург немедленно ответил: «Издателю: я согласен ему дать одну или даже несколько прозаических книг <...>. Условие кроме того: немедленное издание моей книги стихов. Рукопись последней я пошлю тебе со следующей почтой, она в переписке. В книгу должно также войти почти все "Звериное тепло", значит, в общем около сорока стихотворений».

6 октября Эренбург выслал Полонской рукопись: «Посылаю тебе при сем стихи. Раньше всего прошу очень написать мне о них чистосердечно свое мнение, не смущаясь словами: подражание, пастерначество и пр. Далее: если издатель примет условия, пусть немедленно пускает книгу в набор. Общее заглавие "Не переводя дыхания", так называется и первый отдел, второй "Звериное тепло". У тебя есть книга (я пришлю другую, сейчас спешу). Выкинь из нее стихотворения: 1, 5, 12, 19, 22. Кроме того исправь единственную опечатку <...>. Вот и все. Да, еще великая просьба. Если стихи будут печататься в Питере, возьми на себя корректуру. У меня ужас пред опечатками, особенно в стихах и мне на сей счет не везет. Хорошо?». Еще в трех октябрьских письмах обсуждаются варианты плана при неизменном условии: коммерчески выгодная издательству проза выпускается вместе с книжкой стихов: «Если он не согласится и вообще если ты найдешь это лучшим, предложи ту же историю "Атенею" или другому издательству, какому хочешь. Только помни, что обязательным является и издание стихов» (из письма от 22 октября).

В начале января 1924 г. Эренбург приехал в Россию; дальнейшие переговоры он вел сам. В марте, перед возвращением на Запад, была достигнута договоренность с Ленгизом об издании еще только задуманного романа о нэповской России и книги стихов. 19 апреля Эренбург просит М. М. Шкапскую «поговорить в Госиздате с Ионовым или с кем, кто его замещает. Узнать, приступлено ли к изданию моих стихов. Если да, то попросить корректуру дать Б. К. Лившицу. Если нет, то сказать, что я дал стихи не на хранение. Вопрос о том, дам ли я им мой новый роман, находится в тесной связи с тем, быстро ли они издадут "Не переводя дыхания"» (АШ. Л. 49).

18 июня Эренбург запрашивает Ленгиз: «Вышел ли, если не вышел, то когда выйдет сборник моих стихов "Не переводя дыхания"?»

(ЦГАЛИ СПб. Ф. 2913. Оп. 1. Д. 237. Л. 67). 21-го он просит в письме М. М. Шкапскую запросить об этом же зав. Ленгизом И. И. Ионова. 6 июля Эренбург повторяет запрос лично Ионову (Л. 66). Ему отвечают: «Что же касается сборника стихов "Не переводя дыхания", то из-за учебного сезона печатание сборника отложено». 8 июля Эренбург продолжал настаивать: «Прошу сообщить мне предельный срок выпуска сборника стихов "Не переводя дыхания"» (Л. 53). 16 ноября Эренбург пишет Ионову: «Пожалуйста, издайте мою книжицу стихов, как Вы обещали! Крохотная и Госиздат не разорит» (Л. 45). В конце декабря 1924 г. Эренбург выслал в Ленгиз конец рукописи романа «Рвач» и через месяц на очередной свой запрос получил официальный ответ: «Тов. Ионов, ознакомившись с содержанием Вашего романа, пришел к заключению, что выпуск его в пределах СССР невозможен» (Л. 34).

Так решилась судьба «Рвача», а заодно и книги стихов «Не переводя дыхания». Рукопись ее Эренбургу не вернули; она не разыскана до сих пор. При жизни автора из двадцати новых ее ст-ний было напечатано два (№№ 469, 472), к 2000 г. обнаружено и опубликовано еще семь ст-ний.

469. Поэты наших дней. М., 1924. С. 101, где вместо ст. 5—8:

Родства непомнящим — пойди, сыщи —
Под храп подрядчика, под трефы, черви,
Грызя туннелем вязкие хрящи,
Громя мосты, летя, кружась как дервиш,
Все с ночью взапуски, от глаз, от бед,
От поцелуя булочника, мимо,
Чтоб вместо имени прощелканный билет
Еще луна облапленная дымом,
Чтоб — без тебя, чтоб вместо рук сжимать
Ремень окна, чтоб не было «останься»,
Чтоб били козырем, — так умирать,
Средь этих двух равно ненужных станций,
Чтоб сразу в астме стал ошеломлен,
В толпе носильщиков, в поту платформы,
Росою стряхивая полусон,
И сердце чтобы замерло под тормоз.

-- СС-62 -- БП-77 -- СС-90. Печ. по СС-62. В письме Е. Г. Полонской от 13 июля 1923 г. Эренбург просил внести поправки в текст этого ст-ния (СК). Включено в КдВ как ст-ние героини Надежды Кроль (с. 96, 200, 262—263). Цит. в ЛГЖ в главе о Берлине 1923 г. (Т. 1. С. 421).

470—471. БП-77 -- СС-90.

472. Лд. 1924. № 5. С. 6 -- БП-77 -- СС-90. Цит. в романе Эренбурга «В Проточном переулке» (1926) как сочиненное одним из персонажей (СС-90. Т. 2. С. 617). Обращено к Л. М. Козинцевой-Эренбург (см. примеч. 390).

473. Арион. 1999. № 3.

474. Альм. «Поэзия». М., 1984. № 40. С. 142—143 (публ. Б. Я. Фрезинского) -- СС-90. Автограф — СК (в письме Эренбурга Е. Г. Полонской от 12 июня 1923 г.). *Сивилла* — см. примеч. 413.

475. Альм. «Поэзия». М., 1984. № 40. С. 143 -- СС-90. Авт. машинопись — СК. 1 августа 1956 г. Полонская в письме Эренбургу напомнила об этом ст-нии: «Я в этом году все вспоминаю твои строки "Жалко в жизни мне еще дождя Тихий, он по камушкам попрыгивал". Прости, если цитирую неточно, листочки корректуры где-то лежат у меня дома. Хорошие стихи!» (РГАЛИ. Ф. 1204. Оп. 2 Ед. хр. 2055. Л. 8). *Таволга* (лабазник) — многолетняя трава семейства розоцветных.

476. Альм. «Поэзия». М., 1984. № 40. С. 143—144 -- СС-90. Авт. машинопись — СК.

477. Альм. «Поэзия». М., 1984. № 40. С. 144 -- СС-90. Авт. машинопись — СК.

ВЕРНОСТЬ

Хронология поступления текстов ст-ний Эренбурга в 1939 г. из Парижа в Москву и Ленинград, а также порядок их публикования в журналах (1939—1941) позволяет, в частности, уточнить датировку ст-ний сб. «Верность» (В).

Первая информация об испанских ст-ниях Эренбурга поступила в СССР 28 апреля 1939 г. в его письме Е. Г. Полонской; в этом же письме были посланы и 7 ст-ний без назв. — 2-й экз. напечатан на эренбурговской машинке «Корона» без прописных букв (№№ 545, 537, 504, 541, 527, 485, 489). 15 мая большой цикл «Испанские стихи» отослан Эренбургом главному редактору «Знамени» Вс. Вишневскому (знакомство с ним состоялось в Испании в 1937 г.), и, скорей всего, в тот же день — Н. С. Тихонову для «Звезды». Это 23 пронумерованных ст-ния без назв. (№№ 504, 487, 538, 485, 539, 697, 486, 527, 484, 511, 512, 544, 537, 488, 543, 523, 545, 533, 537, 541, 540, 489, 491; сюда вошли все ст-ния, посланные Полонской). Вишневский прочел стихи «залпом». Его резолюция была предельно лапидарной: «Знамя № 7 идет. Вс. Вишневский. 18/V-39»; на следующий день к ней присоединились члены редколлегии журнала: «Нужно печатать. 19/V-39 Исбах» и «Хорошая вещь. Я за. А. Тарасенков. 19/V-39» (РГАЛИ. Ф. 618. Оп. 2. Ед. хр. 1057. Л. 55). Вишневский, не теряя времени, написал Эренбургу. Он назвал испанский цикл поэмой и сообщил: «Даю ее целиком в набор для № 7» (Вишневский Вс. Собр. соч.: В 6 т. М., 1961. Т. 6. С. 514). В ответном письме от 25 мая Эренбург поблагодарил Вишневского за решение печатать стихи и просил «присмот-

реть, чтобы их случайно не "отредактировали" и не исказили чрезмерно опечатками» (РГАЛИ. Ф. 1038. Оп. 1. Ед. хр. 3212. Л. 1). 5 июня Эренбург ответил Полонской на ее обрадовавший его отклик и сообщил о стихах: «Испанские кончил, отослал. Был немало удивлен, что они у нас понравились: выйдут в седьмом номере "Знамени" и отдельной книжкой (в издательстве «Советский писатель». — *Б. Ф.*) <...> Теперь пишу другие стихи, посылаю тебе несколько, почитай и на досуге напиши» (это были ст-ния без назв. №№ 549, 521 и 498). Тихонов откликнулся на присланные Эренбургом ст-ния только в начале июня; 11 июня Эренбург написал ему: «Вы мне долго не отвечали. За это время стихи взяли в Москве — "издательство писателей". Они будут также напечатаны в седьмом номере "Знамени"» (копия письма — в СК). В этом же письме Эренбург сообщал, что продолжает писать стихи; здесь же приложена машинопись шести ст-ний (№№ 490, 480, 498, 535, 478 и 481). 7 июля Эренбург написал Полонской: «Вот тебе целый пук стихов» (СК; это были лирические стихи парижского цикла; их машинопись не сохранилась). В тот же день весь цикл Эренбург отправил Вишневскому: «Вы столь дружески встретили мои "Испанские стихи", что я посылаю Вам новую пачку <...>. Не корите за пессимизм: испанские стихи — война, эти — Париж 1939 года и в добавку субъективная лирика» (РГАЛИ. Ф. 1038. Оп. 1. Ед. хр. 3212. Л. 2). 22 июля «Ленинградская правда» публикует два ст-ния Эренбурга (№№ 489 и 491), с подачи Тихонова или Полонской. Это первая публикация ст-ний 1939 г. В августе 1939 г. выходит сдвоенный номер «Знамени» (7—8), в котором полностью напечатан цикл «Испанские стихи» (все 23 ст-ния) — «подарок» к подписанию 23 августа советско-германского пакта. С тех пор до конца августа 1940 г. имя Эренбурга исчезает из советской прессы (его политические корреспонденции не печатались уже с 12 апреля 1939 г.); издво «Советский писатель» выкидывает из плана книгу его испанских стихов. По возвращении в СССР из оккупированного гитлеровцами Парижа (29 июля 1940 г.) Эренбург составил для журнальной публикации подборку из 26 ненапечатанных ст-ний «Парижская исповедь» (ПИ) (в комментарии к БП-77 она названа сборником, но вряд ли Эренбург не включил бы в сборник опубликованные в «Знамени» ст-ния); 26 августа он отправил в Ленинград Полонской несколько ст-ний из нее (2-й экз. «Короны» — №№ 702, 547, 478, 543).

Авт. экземпляр машинописи ПИ (1-й экз. «Короны») сохранился (ЛЭ); в него вошли 26 пронумерованных ст-ний без назв. в следующем порядке: №№ 548, 500, 503, 502, 549, 490, 501,701, 534, 521, 495, 535, 550, 480, 479, 478, 522, 699, 492, 700, 702, 505, 508, 481, 498, 556. Такая публикация не появилась в печати (только половина стихов из ПИ напечатана в разных журналах, остальные вошли в книги или напечатаны посмертно).

Официальный статус Эренбурга прояснился в конце августа 1940 г., когда газете «Труд» позволили напечатать его очерки о падении Парижа. Видимо, тогда же Эренбург представил машинопись сб. ст-ний В в ГИХЛ. Журнальные публикации стихов последовали одна за другой (при том что помимо обычной цензуры ст-ния Эренбурга,

как и все его выступления в печати, должны были в условиях действовавшего советско-германского пакта получать «добро» Комиссариата иностранных дел):

Зн. № 9: «Стихи из книги "Верность"» — это первое упоминание в печати названия готовящейся книги. Вишневский располагал ее машинописью; для журн. отобрали 16 ст-ний, разбив их на три раздела: «Надежда» (№№ 478, 534, 548, 549, 536, 553, 547, 481, 556), «Размышления» (№ 508, 482. 506), «Война во Франции» (№№ 531, 542, 517, 518). Журн. «30 дней» № 9—10: «Парижские стихи» (№№ 494, 493, 514). Зв. №10: 12 ст-ний цикла «Парижские стихи», разбитые на два раздела с нейтральными заголовками: «1938» (№№ 479, 483, 501, 492, 520, 480) и «1940» (№№ 530, 525, 526, 528, 516, 552); заголовок «1938» относился к содержанию ст-ний, но не к дате их написания. Зн. № 11—12: 5 ст-ний «Война в Европе» (№№ 551, 513, 516, 494, 555).

В начале января 1941 г. Эренбург, закончив первую часть романа «Падение Парижа» и еще не начав вторую, снова сочинял стихи и подготовил еще две журнальные публикации — Зв. № 4: 5 ст-ний (№№ 502, 510, 519, 497, 524) и НМ № 5: 3 ст-ния (№№ 535, 545, 554).

ГИХЛ, готовя В к печати, исключил из него 10 ст-ний (№№ 487, 495, 497, 502, 509, 521, 530, 532, 553 и 554). Видимо, тогда же Эренбург отпечатал для себя на «Короне» полный текст В в формате маленькой книжки и переплел ее в синюю кожу (именно ее состав принят нами здесь как авторский). Сомнения, что В издадут, оставались у Эренбурга вплоть до ее выхода: 22 марта 1941 г. он писал Полонской: «Книга стихов будто бы выйдет в апреле. Не верится».

1 апреля 1941 г. ГИХЛ подписал В в печать; 10000 экземпляров ее тиража были готовы 30 апреля 1941 г. Из 66 ст-ний, к тому времени появившихся в периодике, в книге напечатали 58, 11 ст-ний публиковались в ней впервые.

Известны экземпляры В, подаренные автором А. А. Ахматовой и М. И. Цветаевой; на экземпляре Е. Г. Полонской надпись: «Дорогой Лизе с любовью и с благодарностью за "Пылают Франции леса". Илья Эренбург. Май 1941. Ленинград»; на экземпляре О. Г. Савича надпись по-испански: «Al camarade Jose Garsia su amigo I. Ehrenburg» («Товарищу Хосе Гарсия (псевдоним Савича для статей из Испании. — *Б. Ф.*) ваш друг И. Эренбург»); на экземпляре секретаря Эренбурга: «Валентине Ароновне Мильман немало способствовавшей выходу этой книги! И. Эренбург 21 V 1941» (СК).

Первая рецензия на В была написана за полгода до выхода книги. Ее автор, И. Сельвинский, машинопись сборника получил от Вишневского в сентябре 1940-го. Сельвинский писал, что это не совсем стихи — у Эренбурга нет той виртуозной поэтической техники, которая только и позволяет не думать о ней в момент подлинного творчества (некоторые ст-ния он тем не менее похвалил). От анализа техники поэтических текстов Сельвинский перешел к вопросам идеологическим и здесь был суров: «Эренбург возвратился из своих странствий разбитым и опустошенным, утратившим веру в революционную искру трудящихся и совершенно забывшим, что кроме слов "поздно" и "никогда" — в мире существуют слова "будущее" и

"коммунизм». <...> Что же происходит с Эренбургом? Неужели этот человек построил свою жизнь по двухпалубной системе и, опубликовывая статьи "для нас", стихи-то пишет "для себя"?» (РГАЛИ. Ф. 1204. Оп. 2 Ед. хр. 3641. Л. 4). Замечено в основном метко, но в условиях сталинского режима такой пассаж означал если не политический донос, то уж всяко политическую бестактность по отношению к Эренбургу. Прокурорская логика вела дальше: если стихи для себя, то почему Эренбург их печатает, делая всеобщим достоянием? Ответ Сельвинского поначалу эстетический, но подкладкой эстетики оказывается все та же политическая бестактность: «Эренбург — раб тонкого вкуса.<...> Он может позволить себе шамкающую рифму, пустую строку, даже банальное выражение, но никогда не включит в стихи такие непоэтогеничные слова, как *капитализм*, единый фронт, *партия*» (Л. 4, 5). Окончательный вывод Сельвинского впечатляет и сегодня: «Однако не будем слишком строги к беллетристу, который 17 лет не садился на Пегаса. Он достаточно уже наказан тем, что любой пионер старшего возраста, не разбирающийся в наших церемониях со словарем, вправе учить его азбуке коммунизма. Будем признательны Эренбургу за то, что, хотя он и не сумел на безумие и ужас империализма отозваться голосом Страны Советов, тем не менее самый этот ужас он показал искренно и правдиво» (Л. 5). Вишневский сначала одобрил эту рецензию (его резолюция: «Идет. Вс. Вишневский. 1/X 40» — Л. 1), — может быть, не читая, но потом написал Сельвинскому резкое и умное письмо: «Сейчас прочел твою статью о книге И. Эренбурга "Верность" <...>. Все время, контрастируя, в твоей статье: злоба и спокойствие; удары и поглаживание; ирония и всерьез; благодарность и месть... Как все неровно, нервно, измученно... Придет время и стихи Эренбурга и твою статью будут читать рядом, — сливая эти нервические, единосущные строки военной эпохи XX века. И тут и там: и нескладные обороты, и простота, и находки, и ожидания, и обиды... Мне почему-то кажется, что у Эренбурга минутами, — много, очень много внутренней духовной и душевной сострадательности, понимания... Жестокий опыт войн здесь как-то раскрыт и в книге много нежности... Мы стосковались по ней... Ты пишешь очень резко, желчно. <..> Лейтмотив книги, и очерков и прозы Эренбурга, — остается надежда, движение вперед — к заре, к будущему... Это неразрывно, — как в миллионах душ, — сплетено с усталостью, с приступами отчаяния, с пессимизмом... Так это все понятно... Зачем же *ножом* отрезать одно от другого? <...> И бегает твой карандаш почему-то у мест "сумнительных", — печальных... Что — Главлит запретил тоску об Испании, запретил думать над могилами?..» (ЛЭ; с купюрами и неверной датировкой событий — Нева. 1984. № 5. С. 181).

Рецензенты реагировали уже на журнальные публикации ст-ний из В. Сначала, как положено, внутренние рецензенты (так, сотрудник «Знамени» Ю. Севрук писал о № 11—12: «Новый цикл И. Эренбурга мне больше нравится, чем предыдущий. Он понятнее, проще, еще человечнее. Наркоминдельские трудности, я думаю, можно будет преодолеть» — РГАЛИ. Ф. 1038. Оп. 1. Ед. хр. 3466. Л. 143), потом и «внешние». Хотя антифашистская направленность В была очевид-

на, писать об этом до 22 июня 1941 г. не дозволялось. Критики, замороченные зигзагами политической конъюнктуры, доказывали, что Эренбург видит события в Европе глазами западного обывателя, и в качестве подлинного героя противопоставляли ему образы советских участников военных операций в «бывшей Польше». С началом Отечественной войны лексика рецензий изменилась, их заголовки — тоже: «Голос народа» (НМ. 1941. № 9—10), «Верность человечеству» (Зв. 1941. № 9). Первый критик (М. Красноставский) ограничился патетикой: «Каждое стихотворение рождалось по велению жизни, по законам суровой борьбы. Здесь каждая строка прочувствована и написана кровью сердца»; второй (И. Оксенов) помнил о долгом литературном пути автора: «Быть может, именно такому поэту, каким раньше был Эренбург, необходимо было отрешиться от своего лирического эгоцентризма и вплотную прикоснуться к исторической реальности, чтобы вновь найти себя уже на новой ступени творчества. Как и следовало ожидать, Эренбург при этом не только сохранил все лучшие особенности своей старой поэтической "манеры", но и достиг того художественного своеобразия, которое является результатом тесного общения поэта с окружающим его миром».

В первые дни войны опубликовал статью о В Леонид Мартынов. В его отзыве о «скромной, напечатанной чуть ли не ноншарелью, книге в желтовато-серой обложке, похожей на обложку дорожного блокнота» много цитат, и — как бы в ответ Сельвинскому — утверждение о неразрывности творчества писателя (его прозы и стихов; есть и прямое сравнение парижского цикла ст-ний с романом «Падение Парижа»). Статья написана, скорей всего, до начала войны и напечатана с добавлением слов о «кровожадных фашистских правителях Германии» и оптимистичного финала: «Европа, столь любимая поэтом Европа, не погибнет. Ночь сменится рассветом. Рассвет близок» (Омская правда. 1941. 25 июня). Итоговым суждением советской критики о В можно считать написанное в 1972 г. Борисом Слуцким: «Недаром лучший из своих сборников Эренбург назвал "Верность". Верность Родине, верность отечественной и мировой культуре, верность товарищам по борьбе за Родину и культуру — все это живет в стихах Эренбурга» (в кн.: Эренбург И. Стихотворения. М., 1972. С. 9).

В наст. изд. В печ. по составу авт. машинописи 1941 г. (ЛЭ), тексты даются по последним прижизненным публикациям; ст-ния, не вошедшие в СС-62, печ. по предыдущим изданиям, что оговорено в примеч. Ст-ния датируются по наиболее точному в этом отношении источнику — машинописи 1941 г. Потом Эренбург часто менял даты ст-ний, но не ради их уточнения, а по иным соображениям, иногда цензурным, политическим (так, некоторые стихи он стал датировать 1938 г., чтобы увести момент их написания от цензурно сложного 1939 г.; не исключено, что какие-то замыслы или наброски ст-ний могли возникнуть у него еще и в 1938 г., но писать стихи Эренбург стал только после поражения Испанской республики). Уточнить датировку позволяет также приведенная выше хронология пересылки ст-ний и их журнальные публикации. К указанию под ст-нием географического места Эренбург относился столь же небрежно, как и к датам, — ставил их, снимал, менял (название ст-ния могло

переместиться к дате, как в случае с «Савойей», и т. д.); здесь мы также следуем последним прижизненным публикациям. Ст-ния из В Эренбург включал во все последующие свои сборники и собрания сочинений, не раз меняя порядок их расположения и составляя новые циклы. Перечислим здесь основные публикации ст-ний из В (прочие приводятся в примеч.) в порядке их следования:

СоВ: №№ 485, 488, 527, 489, 513, 514, 517,516, 518, 528, 526. 529, 510, 511, 512, 481, 539, 544, 540, 512, 541, 515, 494, 551, 543, 478, 547, 499, 546.

Д: №№ 542, 503, 545, 544, 485, 486, 527, 543, 489, 490, 500, 528, 515, 514, 519, 531, 555, 556, 478, 537, 521, 501, 534, 531, 494, 497, 523, 526, 546, 541, 551, 511, 499, 520, 524, 498, 496, 507, 493, 481.

СС-53: №№ 485, 488, 544, 545, 543, 527, 546, 537, 523, 511, 489, 514, 517, 516, 528, 504, 531, 519, 526, 478, 498, 499.

С-59: №№ 485, 486, 479, 545, 541, 544, 523, 488, 527, 546, 537, 543, 539, 511, 489, 490, 548, 549, 556, 503, 501, 496, 534, 521, 481, 478, 498, 499, 500, 504, 535, 551, 497, 542, 526, 528, 514, 515, 516, 517, 519, 531, 510, 494, 555.

СС-62: все, кроме №№ 480, 483, 487, 502, 505, 506, 508, 512, 525,532, 533, 536, 538, 542, 547, 550, 553, 554.

БП-77: все, кроме №№ 487, 502, 530, 532.

СС-90: все, кроме №№ 487, 502, 508, 530, 532, 538, 553, 554.

ВЕРНОСТЬ

478. Зн. 1940. № 9, без назв. -- В. Печ. по С-59. Трижды цит. в ЛГЖ — в рассказе о тяжелых переживаниях в Париже после поражения Испанской республики и в преддверии советско-германского сговора («...я не мог разобраться в происходящем. Цель мне была ясна давно; но дороги стали такими запутанными, что порой трудно было понять, какая куда ведет. А в лирических стихах можно передать свои чувства») (Т. 2. С. 200); — в рассказе о последней встрече в Праге в 1949 г. со своим другом, вскоре расстрелянным министром иностранных дел Чехословакии В. Клементисом: «...печально улыбнувшись, он прочитал мои стихи...») (Т. 3. С. 122); — в связи со стнием «Верность» 1957 г. (Т. 3. С. 346). Цит. в статье И. Сельвинского: «Автор говорит тихим глуховатым голосом, но голосом, лишенным тени фальши; говорит, не задумываясь о том, какое производит впечатление; говорит так, как говорят, не замечая этого и думая, что мыслят. Вот почему некоторые стихи этой книги производят впечатление бормотания или отрывочных фраз. Как иначе можно назвать строки, которыми открывается книга» (РГАЛИ. Ф. 1204. Оп. 2. Ед. хр. 3641. Л. 1). Во внутр. рец. на «Дерево» предлагалось изъять это стние из-за «очень неясной заключительной строфы» (РГАЛИ. Ф. 1234. Оп. 11. Ед. хр. 151. Л. 31).

479. Зв. 1940. № 10. Печ. по С-59. В машинописи ПИ др. ред.:

Зеваки восхищенным ревом
Встречали грузного быка.
В его глазу, уже багровом
Была глубокая тоска.
Один, не зная про измену,
Он долго поджидал врага,
Грустя пересекал арену
И в пустоту вонзал рога.
Дрожали дротики обиды,
И бык собой не дорожа,
Бежал на яркие хламиды,
На холод точного ножа,
И ни налево, ни направо —
Его дорога коротка.
Зеваки повторяли «браво»
И ждали нового быка.
Я не забуду шею бычью,
И глаз в крови — как головня,
И всё ненужное величье
Горячего сухого дня.

Положено на музыку И. Неймарком.

480. Зв. 1940. № 10.

481. Зн. 1940. № 9 -- В, с вар. после ст. 4: «Что передать? Неконченную фразу, / Гримасу иль кисет для табака? / Он годы колесил. Застыла сразу, / Вся желтая от курева, рука». Печ. по С-59.

482. Зн. 1940. № 9. Печ. по БП-77.

483. Зв. 1940. № 10. Ст. 5 и 6 Эренбург процит. в надписи Б. А. Букиник 4 мая 1941 г., даря ей в Харькове сб. В.

ИСПАНИЯ

484. Зн. 1939. № 7—8, с вар. ст. 11 и 12; после ст. 20: «Затворница защиты не попросит, / Молчальница о горе промолчит, / Но ненавистью налились колосья, / И темнота глушит, как динамит». Печ. по В. Цит. в рец. И. Оксенова (Зв. 1941. № 9). *Рио-Тинто, Линарес* — центры металлургической промышленности на юге Испании. В ЛГЖ Эренбург вспоминал об участии добытчиков свинца — горняков Линареса в боях у Пособланко (их «батальоном имени Сталина» командовал известный командир республиканцев Габриэль Годой — см.: Т. 2. С. 137).

485. Зн. 1939. № 7—8 -- Д, под назв. «Лето 1936» -- СС-53, без первых двух строк. Печ. по С-59. Положено на музыку И. Неймар-

ком. *Арагон* — историческая область на северо-востоке Испании в бассейне р. Эбро с центром в г. Сарагоса.; район долговременных боев в период гражданской войны в 1936—1938 гг. Эренбург вспоминал свою первую поездку туда в 1936 г.: «Мы ехали по каменной рыже-розовой пустыне Арагона. Стоял нестерпимый зной: для меня это было первое испанское лето» (ЛГЖ. Т. 2. С. 86—87).

486. Зн. 1939. № 7—8, с вар. ст. 9—12: «Что ей гроза, артиллерийский пламень, / Наводчиков высокие труды? / Узнает не впервые знойный камень / Осколки кувшина и плеск воды». -- Д, под назв. «Испания», с вар. ст. 9, 11, 12: как в Зн., ст. 10: «Стратегов хитроумные труды». Печ. по С-59. *Эскуриала грузные гроба.* Во дворце-монастыре Эскуриал (памятник архитектуры XVI в. в 49 км к западу от Мадрида) расположен пантеон королей Испании; их мраморные с бронзовыми украшениями гробы не погребены, а установлены на открытых полках, построенных вдоль стен зала сверху донизу.

487. Зн. 1939. № 7—8, с вар. перед ст.1: «Трупы. Грубые гроба. На кукле кровь. /Трубачи трубят и барабана дробь. / Овиедо с динамитом говорит, / И победой бредит раненый Мадрид. / Взывает раскаленный Арагон. / На дорогах грохот и моторов гон». Печ. по авт. машинописи В. *Альбасете, Альмаден* — города в испанской автономии Кастилия-Ла-Манча; в Альбасете во время гражданской войны был центр формирования интербригад. *Малага* — приморский город в автономии Андалусия на юге Испании, центр одноименной провинции; республиканцы оставили Малагу 8 февраля 1937 г. под совместными ударами франкистов и итальянских войск.

488. Зн. 1939. № 7—8, с вар. после ст. 24: «Победы величавый недуг — / Зараза подлинных сердец. / И вот глядит в глаза победы / Сухой Кастилии боец» -- В -- СиП -- РСП-1 -- РСП-2 -- АРСП, под назв. «Кино». В авт. машинописи С-59 — под назв. «Возле Мадрида». Печ. по СС-53. Эренбург вспоминал, как осенью 1936 г. ездил по фронтам Испании с кинопередвижкой: «Мы устраивали киносеансы и на площадях — белая стена служила экраном, и в чудом уцелевшей церкви и в столовых. Анархисты обожали Чапаева. После первого вечера мы сняли конец фильма: молодые бойцы не могли примириться с гибелью Чапаева» (ЛГЖ. Т. 2. С. 109). Цит. в рец. Л. Мартынова на В («Трудно забыть это стихотворение о простом киносеансе...» — Омская правда. 1941. 25 июня), в рец. М. Красноставского (НМ. 1941. № 9—10) и в рец. И. Оксенова («Это стихотворение — одно из самых значительных в творчестве Эренбурга» — см. примеч. 484).

489. Ленинградская правда. 1939. 22 июля -- Зн. 1939. № 7—9 -- В, под назв. «Январь 1939» -- СиП -- РСП-1 -- РСП-2 -- АРСП. Печ. по С-59. Цит. в главе ЛГЖ, где рассказывается об исходе республиканцев из Испании: «Проходили нескончаемые толпы беженцев. Кричали ослики. Плакали дети. Прошел отряд бойцов, и солдат почему-то трубил в трубу. Бомбили. Один крестьянин взял горсть земли и

завязал ее в большой красный платок. Потом я написал стихи; в них были различные детали, о которых я упоминаю в этой главе, но был еще тот второй план, то волнение, что можно выразить только в стихах» (Т. 2. С. 195). Включено Эренбургом в пластинку его стихов в авторском чтении, записанную Всесоюзной студией грамзаписи в 1960 г. (три издания). «Траурной музыкой реквиема звучат эти стихи Эренбурга», — писал С. Наровчатов (БП-77. С. 23).

490. В, без назв. -- Д, под назв. «Воспоминание об Испании». Печ. по С-59. Машинопись — ПИ, где после ст. 14:

Ты увидишь, как победа
Соберется налегке,
И приедешь ты в Толедо
На простом грузовике.
Будут нежные осины,
Как по проводу кричать:
Бородатый Кампесино
К нам пожаловал опять!
Заржавелые винтовки
Откопают старики,
А веселые плутовки,
Те подымут кулаки.
Ты увидишь снова нивы
Где колосья раздвигал,
Ты узнаешь те оливы,
Где товарищ умирал,
От воды ты будешь пьяным,
И кастильская вода,
Почему она близка нам
Не расскажет никогда.

Исключенный отрывок опубликован: Арион. 1999. № 3; возможно, был снят из-за имени генерала испанской республиканской армии Кампесино (исп. — крестьянин) — Валентино Гонсалеса (1904—1979), приехавшего после поражения Испанской республики в СССР, где он был арестован и заключен в концлагерь, откуда ему удалось бежать за границу и там написать воспоминания обо всем пережитом. *Куэнка* — город в центральной Испании.

491. Ленинградская правда. 1939. 22 июля -- Зн. 1939. № 7—8. *Эбро* — река на северо-востоке Испании («Эбро — Волга Испании», — так начал Эренбург статью «Эбро» — Известия. 1938. 20 сентября).

ДЫХАНИЕ

492. Зв. 1940. № 10.

493. 30 дней. 1940. № 9—10.

494. 30 дней. 1940. № 9—10; Зн. 1940. № 11—12. Печ. по С-59.

495. День поэзии. М., 1971 (публ. Б. А. Слуцкого по машинописи ПИ). Первоначальная машинопись с правкой — ЛЭ, др. ред. (опубл.: БП-77. С. 433):

Всё сложено. Никто не скажет «сжалься».
Минуты смутные скользят меж пальцев.
Скорей бы крик колес, вся одурь шума, —
Чтоб только не очнуться, не подумать!
Уеду, как ушел, как засиделся.
Не поперхнется горем эта стрелка.
Останутся привычные заботы,
И на паркете солнца позолота,
Накроют к ужину, и будет вечер
Такой же хрупкий и такой же вечный.
К чему слова, докука и примерка?
Давно привыкло к расставанью сердце.
Я знаю: будет золотой и долгий,
Как мед густой, непроходимый полдень,
И будут с гирями часы на кухне,
В саду гудеть шмели и сливы пухнуть,
И женский плач молчанья не нарушит,
Избытка жизни и ее безумья.

496. В, под назв. «В Савойе». Печ. по БП-77. Цит. в статье И. Сельвинского (см. примеч. 478): «Совершенно классическое по ясности стиля и высоте идеи стихотворение, в котором мысль как бы расправляет крылья перед полетом, направления которого мы еще не можем угадать. <...> Чудесное стихотворение!»

497. Зв. 1941 -- БП-77, с датой: «январь 1941». Печ. по С-59. Авт. машинопись, где после ст. 2: «Узнав долготерпенье человека / Огни ракет и затемненье века» — СК. В ЛГЖ Эренбург цит. это ст-ние и говорит, что оно написано в 1940 г. в Париже (см.: Т. 2. С. 380). «Стихотворение сильное, но раскрывающее лишь одну строну взаимоотношений искусства и войны. Подчеркивая их враждебность, несовместимость, взаимоотторженность», — нравоучительно писал С. Наровчатов, имея в виду «наступательную функцию искусства, его боевое значение» (БП-77. С. 25). Пьер де *Ронсар* (1524—1585) — французский поэт; Эренбург переводил его стихи (см. № 756).

498. В -- СС-53, без назв. -- БВЛ Т. 52. Печ. по С-59.

499. В -- СиП -- РСП-1 -- АРСП -- ВВГ. Печ. по С-59. Включено Эренбургом в пластинку его ст-ний в авторском чтении. Цит. в ЛГЖ: «Писал я об эпохе, о бурном горном потоке, который потом становится широкой плавной рекой; пытался утешить себя» (Т. 2. С. 182).

500. В -- Д, под назв. «Париж 1938». В авт. машинописи С-59 — под назв. «Париж 1938»; везде с вар. ст. 15: «Гляди, Парижа путевые сборы». Печ. по С-59. В ст-нии передана тревожная атмосфера предвоенного Парижа после подписания мюнхенских «мирных» соглашений европейских демократий с Гитлером.

501. Зв. 1940. № 10, под назв. «В парижском предместье». Печ. по С-59. Последние 6 строк цит. в главе ЛГЖ о месяцах перед заключением советско-германского пакта: «Меня тянуло к деревьям, к реке, к чему-то постоянному, и, сидя в сквере парижского пригорода, я не мог удержаться от признаний...» (Т. 2. С. 201). *Монруж* — район в южной части Парижа.

502. Зв. 1941. № 4, под назв. «Рассвет в Париже (1938)». Не перепечатывалось.

503. В -- Д, под назв. «У радиоприемника». Печ. по С-59. Цит. в ЛГЖ (Т. 2. С. 77).

504. Зн. 1939. № 7—8 -- В, под назв. «Май 1939», вместо ст. 22—25:

Как в старину, как домочадцы,
Пока еще горит окно,
И пчелы в пчельнике роятся,
И винодел несет вино.
Потом вскричит горнист, как лебедь,
И в песню громкую бойца
Вмешается жестокий щебет
Невыносимого свинца.

Печ. по С-59.

КРУГ

505. В -- БП-77, с неверной датой: 1941. Датируется по авт. машинописи (ЛЭ). Ст-ние цит. И. Сельвинский (см. примеч. 478), заметив, что Эренбург признал мир муравьев единственным символом веры (Л. 4).

506. Зн. 1940. № 9.

507. Зв. 1941. № 4. Печ. по СС-62 (дата — по БП-77).

508. Зн. 1940. № 9. Печ. по В (дата — по авт. машинописи).

509. День поэзии. М., 1971 (публ. Б. А. Слуцкого).

510. Зв. 1941. № 4. -- В, без назв. Печ. по С-59. Авт. машинопись — ЛЭ. Ст-ние написано в пору, когда СССР был союзником

гитлеровской Германии и выражение сочувствия Англии и Франции в советской печати не разрешалось. Только Эренбургу удалось напечатать ст-ние о Лондоне до начала Отечественной войны; написанные в то же время ст-ния о Лондоне Ахматовой («Лондонцам»), Тихонова («Сквозь ночь, и дождь...»), Берггольц («Европа. Война 1940 года») были опубликованы, соответственно, в 1943, 1956 и 1967 гг. Приведено в главе ЛГЖ о Москве 1940 г.: «По ночам я слушал передачи из Лондона на французском языке; помню позывные, похожие на короткий стук в дверь. Новости были невеселыми: немцы сильно бомбили Лондон. В одну из ночей я написал стихотворение, в котором признавался что судьба Лондона мне близка... Я дал стихотворение Вишневскому (тогда гл. редактор «Знамени». — *Б. Ф.*). Он сказал: "Про Лондон никому не читайте, — и тотчас добавил: — Сталин лучше нас понимает..."» (Т. 2. С. 225).

511. Зн. 1939. № 7—8, без назв. -- СС-53, без назв. Печ. по СС-62. Включено Эренбургом в пластинку его ст-ний в авторском чтении. В ЛГЖ Эренбург вспоминал: «В Хаэне меня заставили рассказывать о Маяковском; началась бомбежка, никто не двинулся с места, продолжали слушать. А бомбили Хаэн сильно. <...> На одной из улиц Хаэна я долго глядел на старого гончара, который делал кувшины. Кругом были развалины домов, а он спокойно мял глину» (Т. 2. С. 137). «Одним из кульминационных взлетов поэтического творчества И. Эренбурга» назвал это ст-ние С. Наровчатов, подчеркнувший, что эти «простые и мудрые стихи» проникнуты «печальным оптимизмом» (БП-77. С. 22, 23). В рец. М. Красноставского родословная «традиционного образа гончара» в ст-нии Эренбурга ведется от четверостиший Омара Хайяма (см. примеч. 488). «Во всем этом апокалипсисе, в этом всемирном пустыре планеты — единственной надеждой на возрождение цивилизации оказывается первобытное искусство гончара», — писал по-марксистски оценивавший поэзию И. Сельвинский (см. примеч. 478) и, процитировав последнее четверостишие, делал вывод: «Так поднимаясь к снеговым высотам от будней, насыщенных тысячью подробностей, Илья Эренбург вырос, наконец, до... философии истории Макиавелли, Кампанеллы и Вико. Стоило ли после этого родиться Гегелю? Стоило ли появляться Марксу?». *Хаэн* — город на юге Испании, центр одноименной провинции.

512. Зн. 1939. № 7—8. Цит. в рец. М. Красноставского: «Ублюдок Гитлер сделал из Европы "мертвецкую", в которой против его воли все же искрится жизнь» (см. примеч. 488).

ПАРИЖ, 1940

513. Зн. 1940. № 11—12. Цит. в рец. Л. Мартынова (см. примеч. 488) и в рец. З. Кедриной, как изображение «паники, охватившей город» (Окт. 1941. № 4). *А на соборе корчатся уродцы* — химеры на соборе Парижской Богоматери.

514. 30 дней. 1940. № 9—10, с опечатками; после ст. 12: «Гуляли мыши. Был день, как клей. / Старухи вышли из всех щелей, / Забрали сахар — за делом шли, / Омыли тело, потом ушли. / От камня в воду еще круги. / Как заступ оземь, чужих шаги. / Идут за гробом, и горе тут. / А камень розов и розы лгут». Отметив, что парижские стихи Эренбурга полностью посвящены переживанию «данной минуты» и что «это переживание, целостное и глубокое, придает стихам большую убедительность и силу», И. Оксенов процитировал это ст-ние в рец. на В (см. примеч. 484).

515. НМ. 1941. № 5, после ст. 16: «Пусть как деревья, рушатся народы, / Пусть ломок сон, как посиневший лед. / Сильнее гнева мертвая природа, / В ней человек себя переживет». Цит. в ЛГЖ (Т. 2. С. 218), как попытка «понять значение происшедшего».

516. Зв. 1940. № 10, под назв. «Памятники Парижа» -- Зн. 1940. № 11—12, под назв. «Памятники» -- СС-53, без назв. Печ. по С-59. Последние строки вызывали сомнение редакции «Знамени» (см.: РГАЛИ. Ф. 1038. Оп. 1. Ед. хр. 3466. Л. 144).

517. Зн. 1940. № 9, под назв. «Rue Cherche-Midi» («Улица Ищу полдень»). Печ. по С-59. *Улицу зовут «Ищу полдень».* Парижская rue Cherche-Midi расположена в районе бульвара Монпарнас, где долгое время жил Эренбург. Действие его романа «Падение Парижа» начинается на этой улице: «Мастерская Андре помещалась на улице Шерш-Миди. Это старая улица с дымчатыми домами, на которых ставни оставили черные переплеты. Здесь много лавок древностей. <...> На углу улицы — кафе с продажей табачных изделий, под вывеской "Курящая собака". <...> Наискосок — ресторан "Анри и Жозефина". <...> Рядом — мастерская сапожника. <...> Еще дальше — цветочная лавка.<...> Тротуары расчерчены мелом: "рай" и "ад" или "Италия" и "Эфиопия" — это играют ребята...» (СС-90. Т. 5. С. 7). Л. Мартынов, приведя полностью это ст-ние в связи с «Падением Парижа», писал в рец. на В: «Этого нет в романе. И это не стихи "среднего достоинства". Много можно было бы сказать об этих стихах, хотя бы об удачной попытке передать на русском языке ритмические особенности французской поэтической речи, словом, о том, что упорно не удается самым старательным переводчикам-профессионалам. Но, конечно, не это главное. А главное, что в этих и во многих других стихотворениях романист, превратившийся в поэта, еще раз, но поиному показывает нам трагедию французского народа» (см. примеч. 488).

518. Зн. 1940. № 9. После 1943 г. не включалось автором в сборники и подборки.

519. Зв. 1941. № 4, с вар. ст. 9: «Ты в эту зиму с ветром говоришь» -- СС-53, с вар. ст. 9—10: «Ты в эту зиму спишь и ты не спишь, / Как старый вяз, большой чужой Париж». Печ. по С-59. Цит. в рец. И. Оксенова: «Любовь поэта к великому городу находит выра-

жение и в неожиданных на первый взгляд, но звучащих какой-то глубоко вскрытой художественной истиной образах, как, например, в сравнениях опустошенного Парижа со старым деревом» (см. примеч. 484).

ОДИНОЧЕСТВО

520. Зв. 1940. № 10 -- АРСП.

521. Д. Печ. по С-59. Полностью приведено в 4-й книге ЛГЖ в рассказе о ст-ниях, написанных после поездки в Москву в 1937—1938 гг.: «Писал я и о том, о чем не мог, не хотел никому рассказать, о том, что увидел и пережил в Москве» (Т. 2. С. 182); цит. и в 7-й книге, где названо «полным отчаяния» (Т. 3. С. 344). Включено Эренбургом в пластинку ст-ний в авторском чтении. Нравственная сторона позиции Эренбурга в этом ст-нии оспаривалась Б. М. Сарновым (см.: ЛГЖ. Т. 1. С. 40—41).

522. В -- СС-62, с ошибочной датой: 1945 г., в разделе «1941—1945». Авт. машинопись без даты — ЛЭ.

523. Зн. 1939. № 7—8, после ст. 8: «Только б этих горластых не слушать! / (Раскричалась в то утро война.) / А хозяйка, та пальцами уши / Затыкала, и выла она»; после ст. 12: «О каких говорит она веснах, / О каком канареечном сне? / Этот свист, этот грохот несносный / Для нее только голос извне». Печ. по Д. Цит. в ЛГЖ (Т. 2. С. 182). *...канарейка, / И, проклятая, громко поет.* Об этом см. в репортаже Эренбурга «День в Каса-дель-Кампо»: «Перевязочный пункт — дом возле окна; клетка с канарейкой, канарейка поет. Невыносимый для человеческого уха грохот пробуждает в ней желание чирикать» (Известия. 1937. 10 апреля).

524. Зв. 1941. № 4. Печ. по СС-62.

ОБИДЫ

525. Зв. 1940. № 10, под назв. «После бомбардировки» -- В, без назв.

526. Зв. 1940. № 10, под назв. «Армия отходит» -- В, без назв. В ЛГЖ рассказывается история этого ст-ния: «Тринадцатого июня я шел по улице Ассас. Не было ни одного человека — не Париж — Помпея... Пошел черный дождь (жгли нефть). На углу улицы Ренн молодая женщина обнимала хромого солдата. По ее лицу катились черные слезы. Я понимал, что прощаюсь со многим... Потом я написал об этом стихи» (Т. 2. С. 216), затем приведено полностью ст-ние. Рассказывая о встрече с А. Н. Толстым по возвращении в Москву из

Парижа, Эренбург написал: «Он расспрашивал о Франции; рассказ, конечно, был невеселым. Потом я читал стихи, написанные в Париже после прихода немцев. Одна строка остановила его внимание, он несколько раз повторил: "Темное, как человек искусство..."» (Т. 1. С. 151—152).

527. Зн. 1939. № 7—8 -- В, с вар. после ст. 6: «Над лихорадкой век и стен / Ночные жалобы сирен», после ст. 10: «Чужая птица — бомбовоз. / Мадрид без птиц, Мадрид без слез», после ст. 14: «Стекла злосчастного озноб / И улица ведет в окоп, / Идет к концу любой трамвай, / Идет, поет "не забывай"») -- СоВ -- Д -- АРСП — везде под назв. «Мадрид». Печ. по С-59. Включено Эренбургом в пластинку его ст-ний в авторском чтении. «Как немного иногда нужно поэзии, чтоб ввести вас внутрь события», — писал И. Сельвинский, предваряя цитату из этого ст-ния (см. примеч. 478). *И сколько будет эта мать / Не понимать и обнимать?* Во время одной из бомбежек в Испании Эренбург увидел сцену, которую мучительно вспоминал даже после Отечественной войны: «Осколок бомбы сорвал голову девочки. Мать сошла с ума — не хотела отдавать тело девочки, ползала по земле, искала голову, кричала: "Неправда! Она живая..."». (ЛГЖ. Т. 2. С. 137). *Карабанчель* — рабочий район Мадрида.

528. Зв. 1940. № 10, под назв. «18 марта» (т. е. День Парижской Коммуны 1871 г.) -- В. Авт. машинопись В, под назв. «Париж» и авт. машинопись С-59, под назв. «Июнь 1940» — ЛЭ. Цит. в ЛГЖ в главе об оккупации гитлеровцами Парижа: «Я отводил душу в стихах <...>. Это было криком» (Т. 2. С. 218). «Эти взволнованные ямбы» цитировались в рец. Л. Мартынова: «Едва ли можно забыть эти короткие строфы» (см. примеч. 488). «Эренбург достигает законченной, афористической простоты в этом своем ощущении большого исторического несчастья целой страны», — писал И. Оксенов, предваряя цитату из этого ст-ния (см. примеч. 484). Шарль *Делеклюз* (1809—1871) — член Парижской коммуны, погибший на баррикадах.

529. В -- СтСк -- Мн. *Мать мою звали по имени — Хана* — см. примеч. 85.

530. Зв. 1940. № 10, под назв. «Опять». Авт. машинопись В, без назв. — ЛЭ. Не перепечатывалось.

531. Зн. 1940. № 10, под назв. «Иль де Франс» (провинция Франции XV в. со столицей в Париже; ныне входит в состав шести департаментов) -- С-59, под назв. «Возле Фонтенебло». Печ. по СС-62. Цит. в рец. И. Оксенова: «Близкий свидетель самого мрачного периода нынешней войны в Западной Европе, Эренбург отразил всю безысходную тоску страны, опустошенной и порабощенной германским фашизмом» (см. примеч. 484). *Фонтенбло* — загородная резиденция французских королей с дворцовым ансамблем и парком.

532. Арион. 1999. № 3. *Израиль* — здесь: прародина; обращено к

Европе. Публикации ст-ния мешало именно употребление этого слова (до 1948 г. имевшего сугубо библейский смысл, а после — устойчиво воспринимаемого как название иностранного государства, с которым у СССР были непростые отношения).

533. Зн. 1939. № 7—8, с вар. перед ст. 1: «Ночью бомбят и бомбят. / Слушаешь крики ребят. / Кто теперь пишет стихи? / Глупо орут петухи. / Грохот и всхлипы стекла. / Громкие наши дела. / Громок торжественный век. / Только молчит человек. / Молча берет на прицел, / Молча идет под расстрел».

НЕНАВИСТЬ

534. Зн. 1940. № 9, с вар. после ст. 8: «На век гляжу еще благоговейней, / Освобожден и от себя отвык. / Чужое горе липнет, как репейник, / И тщится в смуте обрести язык. / Но вдруг, услышав боевые марши, / К винтовке снова тянется рука. / Не всё ль равно, моложе или старше / Горниста крик и тишина штыка? / Порука вяжет нас — от снов подростка / До адресов (не я их растерял). / И часовой рукой сжимает жесткой / К теплу еще доверчивый металл.)» -- В -- Д, вместо ст. 9—16: «Чужое горе липнет, как репейник, / Торчит, старается найти язык. / А что сказать? Не осуждай, не смейся — / Я от себя и то уже отвык». Печ. по С-59. Цит. в ЛГЖ: «Где-то на полустанке жизни, между двумя войнами, не зная, что нам предстоит, я задумался над своей судьбой...» (Т. 2. С. 200).

535. НМ. 1941. № 5, с вар. после ст. 10: «Дожди огрызаются, щерятся розы, / И ласточки вьют пулеметные гнезда, / А дети находят на небе заката, / Как ягоды горя, ручные гранаты» -- В, под назв. «В Перпиньяне» (видимо, по цензурным соображениям, чтобы сюжет не связывался с событиями в СССР). Печ. по С-59. 23 мая 1941 г. М. И. Цветаева писала своей дочери А. С. Эфрон в Севжелдорлаг: «Вчера Мур (сын М. Цветаевой. — *Б. Ф.*) купил для тебя "Новый мир" <...>, в нем парижские стихи Эренбурга» (Цветаева М. Неизданное. Семья: История в письмах. М., 1999. С. 427—428).

536. Зн. 1940. № 9. Цит. в рец. И. Оксенова (см. примеч. 484).

537. Зн. 1939. № 7—8 -- Д, под назв. «Эбро» -- СС-53, без назв. Печ. по С-59. Финал ст-ния цит. в рец. И. Оксенова: «И мы повторяем вслед за поэтом его стихи, звучащие как клятва в неугасимой ненависти к врагу всех мирных народов» (см. примеч. 484), М. Красноставского: «В ярости, в ненависти приходит грозное слово» (см. примеч. 488) и Н. Венгрова (Зн. 1942. № 1—2). *Эбро* — см. примеч. 491. 25 июля 1938 г. республиканская армия успешно форсировала в двух местах р. Эбро и тем сорвала наступление франкистов на Валенсию; это была последняя крупная победа республиканцев в гражданской войне. Эренбург дважды выезжал в район боев у Эбро.

538. Зн. 1939. № 7—8, с вар. перед ст. 1: «Мост взорван. Грохот. Крики ружей. / Бинтов снега. Поля в огне. / Опять тоска с железом дружит, / И землю вспахивает гнев». Печ. по авт. машинописи В. Цит. в статье И. Сельвинского: «Ведущей линией в зрелищной стороне этой книги является кино-документ. Это сухие короткие фразы, регистрирующие факты, где рядом с общеизвестным и давно знакомым — обязательная характерная деталь» (см. примеч. 478).

539. Зн. 1939. № 7—8 -- В -- СоВ, с вар. вместо ст. 10—12: «Расцеловать бы всех! Какой покой! / Как пахнут разогретые левкои! / А детский гомон звонок за рекой. / Все это было жизнью, и вчера лишь / Он баловал, он обнимал детей. / Но в сердце скрыта истинная залежь /Непримиримых и больших страстей — / Чтоб выпрямиться. Жизнь не отдается, / Как высота. И вот поет труба. / Любовь ведет под пули полководца / И прикрывает знаменем гроба». Цит. в рец. Н. Венгрова: «Страницы этой книги создавались в значительной своей части в суровом воздухе боя» (см. примеч. 537).

540. Зн. 1939. № 7—8. Печ. по СС-62.

541. Зн. 1939. № 7—8. Печ. по С-59. Положено на музыку И. Неймарком. *Сьерра-Морена* — горы на юге Испании.

542. Зн. 1940. № 9 -- В, с вар. после ст. 6: «Темя дерева, как город горний, /В ночь уходят медленные корни». Печ. по С-59. В ЛГЖ рассказывается, что начало этого ст-ния смущало зав. отделом печати НКИД Н. Г. Пальгунова, без разрешения которого ст-ние нельзя было напечатать: "Пальгунов спрашивал: «Скажите откровенно, кого вы подразумеваете под явором?" Я клялся, что явор — дерево, разновидность клена, что у Пушкина тоже есть явор. Я видел, что Пальгунов мне не очень-то верит. Он сказал: "Вы понимаете, какая на мне ответственность?.." В итоге он согласился пропустить и лирику» (Т. 2. С. 225). Цит. в статье И. Сельвинского (см. примеч. 478).

543. Зн. 1939. № 7—8 -- В, под назв. «В Андалузии» -- Д, под назв. «Русский в Андалузии» (в СССР после 1945 г. участие советских военных в испанской гражданской войне перестали считать тайной). Печ. по С-59. Цит. в ЛГЖ: «Я писал о похоронах советского летчика в испанской деревне» (Т. 2. С. 182). *Андалузия* (Андалусия) — крупнейшая автономия на юге Испании.

544. Зн. 1939. № 7—8 -- СиП -- РСП-1 -- АРСП -- БВЛ Т. 52 -- ВВГ. Авт. машинопись С-59, под назв. «В Испании» — ЛЭ. Включено Эренбургом в сб.: Мое лучшее стихотворение (Стихи московских поэтов) М., 1961, и в пластинку его ст-ний в авторском чтении. Цит. в ЛГЖ : «Я писал стихи о различных событиях, которые до того описывал в газете <...> писал, конечно, по-другому. Возле Мората-де-Тахунья бригада Лукача произвела разведку боем; это была трудная операция, стоившая многих жертв...» (Т. 2. С. 181).

545. Зн. 1939. № 7—8, без назв. Назв. — в Д. Во внутр. рец. на Д было приведено полностью в подтверждение мысли: «Стихи об Испании лишены риторики, они очень пластичны, в них — пот и кровь боя, горечь утрат, свет надежды» (РГАЛИ. Ф. 1234. Оп. 11. Ед. хр. 151. Л. 30). *Рамбла* — главный бульвар Барселоны; на нем и поныне много киосков, торгующих птицами.

546. Зн. 1939. № 7—8, без назв. -- Д, под назв. «Брунете» -- С-59, под назв. «У Брунете». Печ. по СС-62. *Брунете* — городок в 28 км к западу от Мадрида; в июле 1937 г. республиканская армия предприняла большое наступление на франкистов у Брунете. Эренбург приезжал в Брунете во время наступления — см. его статью «Брунете» (Эренбург И. Испанские репортажи. М., 1986. С. 218—219) и ЛГЖ (Т. 2. С. 144—145). *У победы крыльев нет как нет.* Древнегреческую богиню победы Нику изображали в виде крылатой девы с лавровым венком.

547. Зн. 1940. № 9, под назв. «Родина».

НАДЕЖДА

548. Зн. 1940. № 9 -- АРСП. Печ. по С-59.

549. Зн. 1940. № 9, с вар. перед ст. 1: «Люблю я духоту народных сборищ, / Косноязычной речи голизну, / Литейщиков расплавленную горечь / И землекопов грубую весну»; после ст. 8: «Как будто перед боем пехотинцу / Протягивает женщина кувшин — / Та теплота простого побратимства, / Его суровый и короткий чин. / Притихли ярусы. Молчат подмостки. / Свинцовая свалилась тишина. / Мужают обреченные подростки, / И порох вспоминает седина» -- В, под назв. «Митинг». Цит. в ЛГЖ в главе о 1935 г. в Париже: «Я часто бывал на различных митингах, собраниях; требовали освобождения Тельмана, протестовали против расправ с горняками Астурии, против нападения Италии на Абиссинию, говорили о разном и вместе с тем об одном: нельзя прожить жизнь на одной земле с фашистами... Несколько лет спустя я писал о митингах 1935 года...» (Т. 2. С. 69).

550. В. Это же лишенное ностальгии отношение к Москве его детства как к сонному царству, которое наконец-то просыпается, было выражено Эренбургом и в гл. 4 КдВ. *Дома кочуют.* Имеется в виду генеральная реконструкция Москвы в 1930-х гг.

551. Зн. 1940. № 11—12, без назв. -- В, под назв. «Ночная тревога» -- Д, без назв. Печ. по С-59. Цит. в рец. З. Кедриной: «Так воспринимает войну обыватель, человек капиталистического мира, отъединенный от массы, живущий в себе и для себя» (см. примеч. 513).

552. Зв. 1940. № 10, под назв. «У приемника». Печ. по СС-62.

553. Зн. 1940. № 9. Не перепечатывалось. *Затаенную страсть северной Спарты.* Имеется в виду мужество советских энтузиастов 1930-х гг.

554. НМ. 1941. № 5. Печ. по авт. машинописи В.

555. Зн. 1940. № 11—12 -- В, обе публикации под назв. «Красное знамя». Авт. машинопись В, под назв. «Надежда» и авт. машинопись С-59, под назв. «В 1940 году» — ЛЭ. Печ. по С-59. Назв. было изменено редакцией Зн. В отзыве члена редколлегии С. Вашенцева: «Послед-нее стихотворение "Надежда" звучит реваншистски, если не подчеркнуть, что речь идет не о реванше, а о революции. Может быть изменить заголовок. Что-нибудь вроде "Красное знамя"» (РГАЛИ. Ф. 1038. Оп. 1. Ед. хр. 3466. Л. 144). Цит. в ЛГЖ. (Т. 2. С. 224) и в рец. Л. Мартынова (см. примеч. 488). В рец. З. Кедриной цит. в связи с назв.: «Так из разрозненных единиц воссоединятся вокруг красного знамени в одно неразрывное целое разбитые, измученные люди, насильно втравленные в губительную несправедливую войну (немцы? — нет, французы! — *Б. Ф.*)» (см. примеч. 513). «Стихами о грядущем возмездии, которое постигнет преступных виновников войны, заливших кровью полмира», — имея в виду уже немцев, смог назвать это ст-ние И. Оксенов 5 месяцев спустя (см. примеч. 484), а в начале 1942 г. (в рец. Н. Венгрова) оно квалифицировалось как «воспевание верности тому непобедимому Красному Знамени, с которым идут в бой с фашизмом героические сыны нашего народа» (см. примеч. 537).

556. Зн. 1940. № 9, под назв. «Старому другу» -- В, под назв. «Друзьям» -- Д, без назв. -- СС-53, под назв. «Мы победим» -- АРСП, под назв. «Друзьям». Печ. по С-59. Цит. в ЛГЖ, в рассказе об отдыхе летом 1939 г. в деревне Жюльена: «Меня приободряли не только деревья, но и люди — вот такие виноделы. Если прибегнуть к ярлыкам критиков, то можно сказать, что мои стихи не были лишены оптимизма...» (Т. 2. С. 201).

СТИХИ О ВОЙНЕ

11 января 1943 г. Эренбург рассказывал в творческом отчете для Союза писателей: «Из того, что мне удалось сделать в области чистой литературы — я в относительно свободное время в течение нескольких дней и ночей написал около 30 стихотворений на военные темы. Для меня это было внутренней необходимостью после такого количества статей, в смысле чисто словесном какая-то необходимая баня... Должна выйти книжка, в которой будет часть стихотворений из "Верности" и поэма под названием "О войне". Там стихотворения трех войн» ГЛМ. ОФ 13023. Л. 5, 6). От этого первоначального плана книги Эренбург отказался, включив в нее новые ст-ния вперемежку со ст-ниями из «Верности», а поэмы из ст-ний составлять не стал.

30 января 1943 г. Эренбург писал Е. Г. Полонской: «Завтра еду на фронт. Работаю, как битюг — две-три статьи в день. Чудом написал десятка два стихотворений. Когда книга выйдет, пришлю...» (СК); в этом же письме Эренбург послал «заключительное стихотворение книжки» (№ 583), т. е. ее структура и состав определились окончательно.

«Стихи о войне» (СоВ) подписали к печати в изд-ве «Советский писатель» 10 февраля 1943 г. (тираж 10000 экз).

3 апреля 1943 г. Вс. Вишневский писал Эренбургу из Ленинграда: «Благодарю за книгу "Стихи о войне". Читал ее с внимательной душой... Испанские стихи чем-то свежее, раскрытее ("Как жизнь не дожита! Добро какое!.. Расцеловать бы всех!"), чеканнее... Потом через Парижский цикл к циклу 1941—1942-го все горше, сумрачнее — при внутреннем единстве всей книги. Солнце Арагона меркнет. Светят только ракеты или коптилки в землянках — в снегах России... И верно, — и досадно... Книга прямая, горькая. Душевная» (Вишневский Вс. Собр. соч.: В 6 т. Т. 6. М., 1961. С. 514—515). Рец. на СоВ не было.

В СоВ вошло 27 ст-ний 1942 г. (из них 9 — впервые) и 29 ст-ний из В. Первые публикации новых стихов появились в «Красной звезде» и «Правде» (ноябрь—декабрь 1942 г.), а затем в журналах — Зн., Окт., НМ. (Публикации в дивизионных, армейских, фронтовых и других военных газетах изучены недостаточно; некоторые эти публикации указаны в примеч. В НМ, Зн. и Зв. Эренбург печатал ст-ния всю войну, а в Окт. лишь один раз — редакции была представлена подборка «Стихи о войне»: №№ 712, 567, 562, 582, 569, а напечатали только № 582.).

Основные перепечатки ст-ний 1942 г. из СоВ: Д — 13 ст-ний в следующем порядке: №№ 557, 563, 568, 569, 564, 561, 572, 571, 567, 582, 577, 573, 583; С-59 и СС-62 — 6 ст-ний: №№ 557, 563, 568, 582, 573 и 583; БП-77 и СС-90 — все, кроме 7 ст-ний: №№ 559, 564, 565, 566, 569, 572, 579. Рукописи не сохранились. В наст. изд. печатаются по тексту книги (кроме специально оговоренных случаев). Первые публикации и перепечатки с изменениями указываются в примеч.

557. Правда. 1942. 7 декабря, под назв. «Русская земля», с вар. после ст. 10: «Подымались камни и стога, / И с востока двинулась пурга»; после ст. 12: «Била немца каждая клюка, / Их топила каждая река, / Их закапывал, кряхтя, мороз, / И луна их жгла, как купорос»; ст. 17: «Шли солдаты немца колотить»; после ст. 28: «Шла винтовка, верная сестра, / Шло глухое смутное "ура"» -- Д, под назв. «Сорок первый» -- СС-53 -- Военная публицистика и фронтовые очерки. М., 1966. Печ. по С-59. Авт. машинопись (в цикле «Стихи 1942 года») — ЛЭ.

558. Зн. 1943. № 1, без назв.

559. Правда. 1942. 4 декабря.

561. Зн. 1943. № 1.

562. Авт. машинопись — РГАЛИ. Ф. 619 (Окт.). Оп. 1. Ед. хр. 3559.

563. Ленинский путь (8-я армия Волховского фронта). 1943. 7 января -- НМ. 1943. № 2—3 -- СС-53. В БП-77 (С. 435, примеч.) приводится первоначальная редакция:

Опившись винами Бургундии,
В дорожной голубой пыли,
Кичась, что все границы сдунули
И вытоптали полземли,
Они накинулись, неистовы,
Огнем и холодом грозя,
Но есть такое слово «выстоять»,
Когда и выстоять нельзя.
И, целомудрием прикрытая
В пустой заснеженной степи,
Она и не такое вытерпит,
Когда ей скажут «претерпи»,
И всё отдаст, и всем поступится,
Не жалуясь и не дыша,
Но не предаст и не отступится
Большая русская душа.

564. Красная звезда. 1942. 28 ноября, под назв. «Немец», с вар. перед ст. 1: «Она погибла, как играла — / С улыбкой детской на лице, / И только ниточка кораллов / Напоминала о конце». -- Вперед на врага (Калининский фронт). 1942. 30 ноября -- Красный Балтийский флот. (Л). 1942. 2 декабря. Печ. по Д. 11 января 1943 г. Эренбург читал это ст-ние на творческом отчете в Союзе писателей с таким комментарием: «Вот стихотворение, которое было напечатано. "Немец". На меня очень страшное впечатление произвел дневник Фридриха Шмидта. К сожалению, только 1/6 была напечатана из этого документа и затем много нельзя напечатать. Это слишком патологично. Но это потрясающая книжка. Это стихотворение связано с этим дневником» (ГЛМ. ОФ 13023. Л. 6); о дневнике Ф. Шмидта см. статью Эренбурга «Немец» (Красная звезда. 1942. 13 ноября) и ЛГЖ (Т. 2. С. 288).

565. *Брокен* — вершина в горах Гарца (Германия); с Брокеном связаны поверья о шабашах ведьм в Вальпургиеву ночь и др. *Чтоб ты вспомнила тогда про Киев.* Киев — родина Эренбурга.

566. Ленинский путь (8-я армия Волховского фронта). 1943. 7 января, под назв. «Немец» -- НМ. 1943. № 2—3.

567. Авт. машинопись — РГАЛИ. Ф. 619 (Окт.). Оп. 1. Ед. хр. 3559. Печ. по Д. *Валькирии* (сканд. миф.) — воинствующие девы, распоряжавшиеся судьбою битв.

568. Ленинский путь (8-я армия Волховского фронта). 1943. 7 января, под назв. «Киев» -- НМ. 1943. № 2—3. Печ. по С-59. Цит. в ЛГЖ, в главе, посвященной Киеву: «Не берусь доказывать, что я добротный, потомственный киевлянин. Но у сердца свои законы, и о Киеве я неизменно думаю, как о моей родине. Осенью 1941 года мы теряли город за городом, но не забуду день 20 сентября — тогда мне сказали в "Красной звезде", что по Крещатику идут немецкие дивизии» (Т. 1. С. 282).

569. Ог. 1943. № 17 -- газ. Коммунар. (Тула). 1943. 19 декабря. Авт. машинопись — РГАЛИ. Ф. 619 (Окт.). Оп. 1. Ед. хр. 3559. Печ. по Д.

570. В 1942 г. в *Тулоне* (порт на Средиземном море) французские моряки потопили свой флот, чтобы он не достался немцам, которые, нарушив соглашение о перемирии 1940 г., оккупировали Тулон с согласия коллаборационистского правительства маршала Петэна; было затоплено свыше ста кораблей. *Бретань* — полуостров на северо-западе Франции.

571. Литература и искусство. (М.) 1942. 12 декабря, под назв. «Декабрь 1941», с вар. после ст. 4: «Давно погасли фонари. / И немец говорит: умри, / И немец с немцем говорит. / И, как мертвец, Париж молчит»; после строки 28: «Глаза из мутного стекла / Заполнила густая мгла». Печ. по Д.

572. Красная звезда. 1942. 10 декабря, с вар. после ст. 20: «Хочет он у нас согреться, / Душу взять твою, / Хочет крикнуть по-немецки: / "Я тебя убью"». Печ. по Д.

573. СоВ, с вар. после ст. 4: «Чтоб и дышать рывками, письмами, / Чтоб видеть за калиткой бой / И, засыпая, слышать выстрелы, / Как сердца яростный прибой, / Чтоб стала бомбами бессонница, / Чтоб жить — на приступ — и ни зги, / Чтоб не земля взлетела комьями, / А ненавистные враги» -- Д, из этих строк оставлены первые четыре -- ВВГ -- Песнь любви. М., 1967. Печ. по С-59.

574. Ленинский путь (8-я армия Волховского фронта). 1943. 30 марта.

575. Зн. 1943. № 1.

577. Зн. 1943. № 1 -- Зв. 1945. № 7. Авт. машинопись (в цикле «Стихи 1942 года») — ЛЭ. *Есть упоение в бою* — строка из пушкинского «Пира во время чумы».

579. НМ. 1943. № 2—3 -- Краснофлотец. 1943. № 5—6 -- Красноармеец. 1943. № 4, под назв. «Коптилка». Положено на музыку Е. Сущенко.

580. Зн. 1943. № 1.

581. Красная звезда. 1942. 29 ноября.

582. Ленинский путь (8-я армия Волховского фронта). 1943. 7 января, с вар.: «Они, с любимым существом прощаясь, / Припоминали формы и цвета, / Но прошлое казалось им случайным, / А достоверной только пустота» -- Окт. 1943. № 2 -- НМ. 1943. № 2—3 -- СС-53. Печ. по С-59.

583. Ленинский путь (8-я армия Волховского фронта). 1943. 7 января, с вар. ст. 1: «Был мир, и был Париж») -- НМ. 1943. № 2—3. Печ. по С-59. Беловой автограф — СК (в письме Е. Г. Полонской от 30 января 1943, где после строк о молодости, которая «придет и сядет незаметно / У бедного погасшего костра», Эренбург написал: «Я хотел бы с тобой скорей встретиться у этой теплой золы. Сил меньше и дней меньше»). Весной 1963 г., когда Эренбург подвергся грубым нападкам аппарата ЦК КПСС и лично Хрущева, Полонская писала ему: «Сейчас читаю твои стихи "Был мир и был Париж. Краснели розы Под газом в затуманенном огне как рана..." и еще <...> "Но я хочу, чтоб юноша увидел Простые и счастливые года". Я тоже хочу этого и хочу я, чтобы ты перенес боль и стряхнул ее прочь. Я хочу увидеть тебя, ну хоть бы таким, каким встретила, когда ты приехал из Парижа» (РГАЛИ. Ф. 1204. Оп. 2. Ед. хр. 2056. Л. 5).

ДЕРЕВО

Ст-ния, написанные в 1943—1945 гг., Эренбург печатал в газетах и журналах (главным образом, НМ и Зв.). Вот протокол заседания редколлегии НМ от 16 января 1945 г.: «Слушали: О стихах Эренбурга. Федин: Стихи публицистичны. Печатать их можно. Резник: Стихи ощущаются с обликом Эренбурга как публициста. Щербина: Стих. "Был час один" опустить. Автор в этих стихах часть вины мировой войны как бы берет на себя. Постановили: Стихи тов. Эренбурга печатать» (РГАЛИ. Ф. 1702. Оп. 2. Ед. хр. 15. Л. 13).

В «Дерево» (Д) наряду со ст-ниями из «Верности» и «Стихов о войне» Эренбург включил и новые ст-ния 1943—1945 гг. (39 опубликованных в периодике и 7 не печатавшихся). Изд-во «Советский писатель», получив от Эренбурга машинопись Д, заказало внутреннюю рец. редактору «Стихов о войне» А. Митрофанову. В его рец. много стихотворных цитат и мало замечаний («Сборник не разбит ни на какие отделы. Но в потоке стихотворений (где и "хронологический" принцип не выдержан) радостных и суровых, преисполненных горечи или надежды и уверенности в конечном торжестве правого дела, есть свой поэтический, эмоциональный смысл»; копия — ЛЭ). Митрофанов порекомендовал исключить 2 ст-ния — «Верность» и «В гетто», но изд-во их оставило. Книгу сдали в набор 21 марта 1946 г., а 18 апреля 1946 г. подписали к печати (тираж 10000 экз.). Эренбург вспоминал: «Я сдал в издательство "Советский писатель" две книжицы: путевые очерки "Дороги Европы" и сборник стихов "Дерево".

Судьбы книг были столь же неисповедимы, сколь судьбы людей. Очерки не вызвали никаких возражений <...> А стихи смущали издательство: "Чересчур пессимистично..." <...> "Дерево" вышло в свет в июле 1946 года. Фадеев потом мне рассказывал, что книгу хотели упомянуть в одной из разгромных статей, но я был за границей, и меня оставили в покое. Словом, "Дереву" повезло» (ЛГЖ. Т. 3. С. 32). Д не разгромили, его замолчали — на него не было ни одной рец.; но молодое поколение поэтов его прочло. «Ценили мы и поэзию Эренбурга, — писал от лица поэтов военного поколения С. Наровчатов. — Среди нас отнюдь не прививался скептический взгляд на нее, который был свойствен некоторым сверстникам писателя. Сборник "Дерево" был нами внимательно прочтен, и многие стихи вызвали ответные отклики в наших строках» (Воспоминания об Илье Эренбурге. М., 1975. С. 119).

Ст-ния 1943—1945 гг. из Д вошли в С-59 в следующем порядке: №№ 596, 586, 598, 604, 592, 585, 599, 612, 589, 590, 588, 607, 613, 584, 610, 600, 616, 617, 601, 597, 605, 602. В СС-53 вошли ст-ния №№ 589, 616, 617, 585, 602, 584, 605, 601, 600, 618. В СС-62 не вошли ст-ния №№ 587, 591, 593, 594, 608, 614. В БП-77 не вошло ст-ние № 595. В СС-90 не вошли ст-ния №№ 594, 595 и 615. В этот раздел наст. изд. включены ст-ния из Д, кроме входивших в В и СоВ. Печатаются по тексту книги, за исключением специально оговоренных случаев. Первые публикации и перепечатки с изменениями указываются.

584. АРСП -- ВВГ. Печ. по СС-62. Цит. в ЛГЖ: «В то лето (1945 г. — *Б. Ф.*) я написал несколько стихотворений, и все про деревья» (Т. 3. С. 11).

585. Св, под назв. «Посвящение» -- Советский патриот (Париж). 1946. 2 августа. Начиная с Д — под назв. «Европа». *Праксителъ* (ок. 390 г. — ок. 330 г. до н. э.) — древнегреческий скульптор. *Безрукая* — всемирно известная статуя Венеры Милосской, хранящаяся в Лувре. *И плакал перед нею Глеб Успенский, / А Гейне знал, что все слова не те* — отзвук сюжета очерка Г. И. Успенского (1843—1902) «Выпрямила», в котором герой, со слов сторожа Лувра, рассказывает, как Генрих Гейне «сидел по целым часам и плакал» перед нею.

586. НМ. 1944. № 8—9, без назв., с вар. после ст. 12: «Как тифозной бредовой беды / Красные и черные скирды» -- Зв. 1945. № 7. Начиная с Д — под назв. «В Белоруссии». В главе ЛГЖ о фронтовых поездках лета 1943 г. цит. с этими строчками, начиная со ст. 5: «Вспоминаю, как ехал из Васильевки в Тереховку. Еще тлели головни; бродила женщина; мы ее окликнули, она не ответила. Потом мы заночевали в хате. Я положил под голову шинель, она пахла дымом...» (Т. 2. С. 317). Печ. по С-59.

587. Литература и искусство. (М.). 1944. 19 августа -- Зв. 1945. № 7.

588. НМ. 1945. № 9. Печ. по С-59. Авт. машинопись ЛЭ, где после ст. 6: «Можно себе изменить и жене, / Только не той неживой тишине — / Перед атакой. А после был бой... / Ржев догорал. Там мы были с тобой. / Ты не прохожий и ты не герой, / Ты и не призрак, ты — сорок второй». Цит. в ЛГЖ в главе о фронтовых встречах 1942 г. (Т. 2. С. 295).

589. НМ. 1945, № 1, без назв., с вар. ст. 19: «Я говорю за мертвых. Встанем» -- СС-53, без ст. 23 —24. -- СтСк. -- Мн. Печ. по С-59. В 1962 г. использовано газетой «Литература и жизнь» в антисемитской полемике с одноименным ст-нием Евг. Евтушенко, что Эренбург смог опротестовать в ЛГ только после личного обращения к Хрущеву (см.: ВЛ. 1999. № 3. С. 293—296). Цит. в ЛГЖ: «Я хочу, чтобы мои слова о «несметной родне» были бы правильно поняты. Мне чужд любой национализм, будь он французский, английский, русский или еврейский. Я испытываю глубокое отвращение к расовой спеси, все равно к какой — к немецкой или к американской. Притом я не верю в таинственные свойства крови <...> Над тем, что я еврей, меня заставили задуматься не воображаемые зовы моей крови, а вполне реальные антисемиты» (Т. 2. С. 352). *Бабий Яр* — овраг в Киеве, где гитлеровцы и их украинские помощники в сентябре 1941 г. расстреляли около 70 тыс. евреев, мирных жителей Киева. Это в 1947 г. было описано в романе Эренбурга «Буря»; материалы о расстреле в Бабьем Яру были включены в подготовленную под редакцией И. Эренбурга и В. Гроссмана «Черную книгу», опубликованную в СССР только в пору перестройки. В советское время не разрешалось указывать национальное происхождение жертв Бабьего Яра (см., например: БП-77. С. 437).

590. Гранки Д, под назв. «В польском гетто» (см.: БП-77. С. 437) -- СтСк. -- Мн. Печ. по С-59.

591. СтСк. -- Мн. *Эсфирь* — в Библии еврейская красавица, ставшая женой персидского царя Артаксеркса, героически спасшая свой народ от грозившего ему поголовного истребления.

592. Печ. по С-59. *Есть время камни собирать...* — перефразированное изречение Екклесиаста «Всему свое время... Время разбрасывать камни, и время собирать камни» (Еккл. 3, 1 и 15).

593. Литература и искусство. (М.). 1944. 19 августа -- НМ. 1944. № 8—9 -- Красноармеец. 1945. № 3—4 -- Лд. 1945. № 17—18 -- СтСк -- Мн. Авт. машинопись (в цикле «Стихи 1943 года») — ЛЭ.

594. НМ. 1945. № 9, с вар. Авт. машинопись (в цикле «Стихи последних месяцев») — ЛЭ.

595. Литература и искусство. (М.). 1944. 19 августа. Цит. в ЛГЖ: «Я писал (это было вскоре после того, как я увидел виселицу, бородатого предателя)» (Т. 2. С. 318).

596. НМ. 1944. № 8—9. Печ. по С-59.

597. Зв. 1945. № 7. Печ. по С-59.

598. Зв. 1945. № 7. В ЛГЖ Эренбург дважды писал об этом сюжете — в 1-й части: «Осенью 1943 года в Глухове, накануне освобожденном нашей армией, я увидел фруктовый сад, а в нем аккуратно подпиленные яблони; листья еще зеленели, на ветках были плоды. И наши солдаты ругались, как французы на Шоне» (Т. 1. С. 205) и в 5-й части: «Я писал в этой книге, как немцы, отступая, подпиливали или рубили плодовые деревья; это я видел в 1916 году в Пикардии и снова увидел на Украине <...> Много лет спустя редактор моей книги, дойдя до этого восьмистишия, уговаривал меня изменить последнюю строку: "Почему «и»? Хорошо, не сберегли искусство, но сберегли другое...". Да, но и много, очень много потеряли. Почему я вспомнил про искусство? Да потому, что яблоню нужно вывести, вырастить, это не дичок, потому что думал не только о развалинах Новгорода, но и о молодых поэтах, погибших на фронте, потому что для меня искусство связано с подлинным счастьем, с тем высшим миром, где даже печаль светла» (Т. 2. С. 318). О слове «уже» в ст. 1 этого ст-ния поэт А. Межиров говорил: «Я всю жизнь был влюблен в это слово, которое литконсультант подчеркнул бы. Это одухотворяющая небрежность, великая сила поэзии Эренбурга»; его же замечание о всем ст-нии: «Насколько здесь отсутствует эгоизм культурной элиты!» (Стенограмма вечера в Центральном доме литераторов к 90-летию Эренбурга — СК). *Глухов* — город на Украине.

599. Печ. по С-59.

600. НМ. 1945. № 9 -- Лд. 1945. № 17—18 -- БВЛ Т. 52. Печ. по С-59. В примеч. к БП-77 приводится более ранний вар.:

Когда я был молод, была уж война,
Я жизнь мою прожил — и тоже война,
И что мне припомнить, сказать мне о чем бы,
О том, что весною чирикают бомбы,
О том, что всю жизнь простучал напролет
Один очень громкий и злой пулемет?
А тихо бывало — я знал: ненадолго,
Мне каждая радость казалась обмолвкой,
Казалась отсрочкой и сна тишина,
А точной и прочной одна лишь война.
Но что я запомнил из жизни той громкой,
Не зорю горниста и, право, не бомбы,
А где-то в рыбацком селенье одном
Повисший над морем бушующим дом,
И как там матрос расставался с хозяйкой,
И грустные руки кружились, как чайки,
И годы и годы мерещатся мне
Всё те же две тени на белой стене.

601. НМ. 1945. № 9 -- ВВГ -- ББЛ Т. 52. Авт. машинопись (в цикле «Стихи последних месяцев») -- ЛЭ. Печ. по С-59. Цит. в ЛГЖ с комм.: «Вспоминал молодость» (Т. 3. С. 11).

602. НМ. 1945. № 9 -- ББЛ. Т. 52. Авт. машинопись (в цикле «Стихи последних месяцев») — ЛЭ. Печ. по СС-62. Цит. в ЛГЖ (Т. 2. С. 283—284). 11 марта 1963 г. после резких нападок Н. С. Хрущева на Эренбурга Вяч. Вс. Иванов прислал Эренбургу оттиск своей работы «с благодарностью от всего сердца за четверостишие, кончающееся строкой: "Большие сумерки Парижа", которое я повторяю уже много лет» (ЛЭ).

603. НМ. 1944. № 8—9. Цит. в ЛГЖ: «В Козельце я видел маленького мальчика, среди развалин он играл в песочек — хотел что-то вылепить. На его лице были то напряжение, то слабая, туманная улыбка. Я долго стоял возле него. Никогда люди не смотрели, кажется, с такой жадной нежностью на детей, как в годы войны, глядели и не могли наглядеться. Может быть, потому, что всем хотелось заглянуть в будущее и ни у кого не было уверенности, что он дотянет хотя бы до завтрашнего дня» (Т. 2. С. 319).

604. Красноармеец. 1945. № 3—4 -- ВВГ. Цит. в ЛГЖ (Т. 2. С. 318).

605. НМ. 1945. № 1 -- С-59, с вар. ст. 8: «А как утешишь — оно чужое». -- ВВГ -- ББЛ Т. 52. Авт. машинопись — ЛЭ. Печ. по СС-62. Ст-ние полемично по отношению к риторическим строкам К. Симонова: «Чужого горя не бывает...». По поводу ст. 8 (С-59) Эренбург писал 15 января 1961 г. Э. Р. Гольдернессу о своих поправках к стихам: «Почти все они продиктованы чисто литературными соображениями, кроме строчки в стихотворении "Чужое горе". Иначе оно не было бы напечатано» (РГАЛИ. Ф. 1204. Оп. 2. Ед. хр. 552).

606. Зв. 1945. № 7 -- НМ. 1945. № 9. Печ. по СС-62. Перепечатано: Юность. 1965. № 5, под именем С. Гудзенко. В № 7 мать поэта О. И. Гудзенко, извиняясь перед читателями и Эренбургом за ошибку, писала: «Рукопись стихотворения без фамилии автора хранилась среди черновиков и рукописей моего сына, поэта Семена Гудзенко. Зная, что мысль, выраженная в стихотворении, была очень близка моему сыну, я, естественно, не усомнилась в том, что стихотворение принадлежит его перу...».

607. НМ. 1945. № 1. Машинопись — ЛЭ. Я. Ивашкевич в связи с этим ст-нием написал об Эренбурге: «Это действительно был человек, который освещал пути другим людям» (ВЛ. 1984. № 1. С. 201).

608—611.

1. НМ. 1945. № 1 -- Красноармеец. 1945. № 3—4.

2. НМ. 1945. № 1 -- Красноармеец. 1945. № 3—4. *Медынь* — райцентр в Калужской обл.

3. Зв. 1945. № 7 -- С-59, под назв. «В феврале 1945».
4. НМ. 1945. № 1 -- СС-62, в составе цикла «9 мая 1945».

612. Зв. 1945. № 7. Печ. по С-59.

613. НМ. 1945. № 9 -- Лд. 1945. № 17—18. Печ. по С-59, с исправлением по Д явно цензурованного вар. в ст. 9: «Есть может быть, звонче, нарядней, богаче». *...четыре угла и земли* — реминисценция из Ш. Пеги (см.: ТД. С. 178).

614. НМ. 1945. № 9, без назв. Авт. машинопись (в цикле «Стихи последних месяцев») — ЛЭ. В БП-77 (С. 439) указана авт. машинопись без назв. в составе цикла «Ленинградские стихи» вместе со ст-нием № 712. Ст-ние написано в результате поездки в Ленинград в 1945 г. «В конце июня я поехал в Ленинград, я там не был с июня 1941-го <...> Повсюду виднелись следы страшных лет, что ни дом — то рана или рубец <...> Однако не дома наводили грусть — люди. Я всматривался в толпу: до чего мало коренных ленинградцев! В большинстве это приехавшие из других городов, городков, деревень. А пережившие блокаду часами рассказывали о ее ужасах...» (ЛГЖ. Т. 3. С. 7).

615—617.

1. Зв. 1945. № 7, под назв. «Май 1945» -- НМ. 1945. № 9, без назв.
2. НМ. 1945. № 9 -- Лд. 1945. № 17—18. Цит. в ЛГЖ: «А. А. Фадеев как-то спросил меня, когда я написал эти стихи. Я ответил, что в День Победы. Он удивился: "Почему?" Я честно ответил: "Не знаю". Да и теперь, вспоминая тот день, я не понимаю, почему именно такой увидел долгожданную Победу. Вероятно, в природе поэзии чувствовать острее, да и глубже; в стихах я не пытался быть логичным, не утешал себя, я передавал недоумение, тревогу, которые таились где-то в глубине» (Т. 2. С. 396). *О них когда-то горевал поэт.* Имеется в виду ст-ние Лермонтова «Они любили друг друга так долго и нежно...» (вольный перевод из Гейне).
3. НМ. 1945. № 9 -- Лд. 1945. № 17—18 -- ВВГ. Авт. машинопись (в цикле «Стихи последних месяцев») — ЛЭ.

618. Д, с вар. ст. 2: «Ужасный год...», повторенным во всех последующих изд. Отметим аналогичную цензурную правку ст. «Будь проклят сорок первый год» в ст-нии С. Гудзенко «Перед атакой». Печ. по авт. машинописи — ЛЭ. Черновик — ЛЭ. Цит. в ЛГЖ (Т. 3. С. 12).

СТИХИ

(1938—1958)

Сб. был составлен Эренбургом из 87 ст-ний, размещенных по десяти разделам, которые только нумеровались, а не именовались, как в «Верности»; хронологической последовательности автор не

придерживался. Новые (и в частности — неопубликованные) ст-ния были «утоплены» среди старых. Состав разделов: I. 9 ст-ний (условно раздел может быть назван «Мы победим»); видимо, из цензурных соображений Эренбург открыл сборник самыми оптимистическими ст-ниями: №№ 548, 555, 549, 629, 641, 640, 630, 652 и 639. II. 9 ст-ний (условное название — «Верность»): №№ 478, 627, 632, 545, 633, 503, 544, 546, 584. III. 13 ст-ний (условное название — «Есть время камни собирать...»): №№ 504, 501, 648, 541, 599, 592, 494, 531, 583, 610, 616, 628, 499. IV. 5 ст-ний (условное название — «Испания»): №№ 485, 486, 527, 546, 489. V. 9 ст-ний (условное название — «Париж»): №№ 500, 514, 517, 516, 497, 519, 619, 602, 620. VI. 7 ст-ний (условное название — «Война»): №№ 612, 488, 563, 567, 613, 543, 617. VII. 11 ст-ний (условное название — «Горе»): №№ 496, 635, 534, 605, 528, 521, 589, 586, 624, 625, 537. VIII. 6 ст-ний (условное название — «Кончен бой»): №№ 542, 596, 582, 551, 498, 535. IX. 8 ст-ний (условное название — «Север»): №№ 600, 634, 573, 601, 624, 626, 638, 481. X. 10 ст-ний (условное название — «Искусство»): №№ 597, 636, 523, 623, 526, 598, 617, 493, 626, 511.

Некоторые ст-ния Эренбург озаглавил по-новому, некоторым дал названия специально для этого сб. (Машинопись была подарена автором Л. Мэр и хранилась у нее в Стокгольме; предоставлена составителю Дж. Рубенстайном.)

Рукопись была сдана в изд-во «Советский писатель» в пору напряженного конфликта Эренбурга с председателем правления изд-ва Н. Лесючевским из-за книги «Французские тетради» (Лесючевский доносил в ЦК КПСС 5 ноября 1958 г. о «серьезных идейных изъянах» книги и сопротивлении автора попыткам изд-ва их выправить — см.: РЦХИДНИ. Ф. 5. Оп. 36. Ед. хр. 61. Л. 77; печатание книги, подписанной в печать еще 7 октября 1958 г., было приостановлено. Лесючевский знал, что отдел культуры ЦК КПСС выступал против многих публикаций Эренбурга того времени и организовывал кампании против них, поэтому «хозяин» изд-ва действовал безбоязненно). Редактором сб. «Стихи» был назначен П. И. Чагин, влиятельный партийный и издательский деятель, до 1956 г. заведовавший изд-вом. Чагин добивался от Эренбурга предельной политической ясности в стихах, и это тяжкое редактирование Эренбург запомнил, дважды помянув его в ЛГЖ (Т. 2. С. 318 и Т. 3. С. 32). В итоге от Эренбурга добились изменения структуры книги — стихи расположили хронологически, теперь сб. открывался циклом из 16 ст-ний «Испанские стихи»; парижские ст-ния также были объединены в цикл из 7 ст-ний «Париж, 1940». Три стихотворения сняли: уже опубликованные (№№ 493 и 611) и неопубликованное (№ 625.). Правда, Эренбургу позволили дополнительно включить в сб. 12 ст-ний (№№ 479, 490, 510, 515, 539, 568, 585, 588, 590, 607, 631, 637). Всего в книгу вошло 96 ст-ний; 17 из них печатались впервые. Сб. «Стихи 1938—1958» (С-59) сдали в набор 23 июля 1959 г., его тираж (20000 экз.) подписали к печати 8 октября 1959 г.

Рецензий на книгу не было, хотя разошлась она мгновенно и была замечена и рядовыми читателями, и поэтами. 27 декабря 1959 г. Е. Г. Полонская писала Эренбургу (в ответ на присланную книгу с

надписью: «Дорогой Лизе с любовью И. Эренбург»): «Книга великолепная, в ней двадцать лет твоей жизни, она как послужной список, если бы в послужные списки отмечали раны, например — "огнестрельные под Гравелотом" (в сражении возле Меца, где немцы победили французов в 1870 г. — *Б. Ф.*). Этим твоим сборником я горжусь. Непримиримые, верные, превосходные стихи» (РГАЛИ. Ф. 1204. Оп. 2. Ед. хр. 2055. Л. 13).

В СС-62 из послевоенных ст-ний С-59 не вошли ст-ния №№ 619, 637 и 638. В БП-77 и СС-90— напечатаны все.

Поскольку здесь печатаются лишь те ст-ния, которые не входили в более ранние сб. Эренбурга, следовать его первоначальной воле и печатать С-59 по авт. машинописи не имело смысла; ст-ния 1946—1958 гг. печатаются по изданию С-59 (кроме оговоренных в примеч. случаев). Первые публикации и перепечатки указываются.

619. НМ. 1947. № 8. С. 120, 126—127, без назв., в тексте романа «Буря» (вошло во все издания романа, в частности — СС-62. Т. 5. С. 537, 547, 594, 753), с вар. после ст. 4: «Умрем с тобой мы рано — / Задолго до зари, / На то мы партизаны, / И первые в цепи». Навеяно песней французских партизан-маки. В ЛГЖ есть рассказ о поездке Эренбурга во Францию летом 1946 г.: «В Лимузене познакомился со многими участниками маки. Они меня водили по лесам, рассказывали о стычках — в моей голове рождались многие герои "Бури" <...>. Я услышал песню "Свисти, свисти, товарищ..."» (Т. 3. С. 76). Это ст-ние наизусть знала Ахматова и в конце 1940-х гг. читала его своим гостям в Москве, на Ордынке у Ардовых (письмо поэтессы С. Сомовой комментатору 7 июня 1985 г.).

620. СС-53. Беловой автограф — в письме Эренбурга Е. Г. Полонской 17 июля 1949 г. («Прошлым летом писал стихи. Вот одно...» — см.: ВЛ. 2000. № 2). Строки «Зачем только черт меня дернул / Влюбиться в чужую страну» Эренбург назвал «горьким признанием» («Но это сказано в сердцах — я не мог, да и не могу относиться к Франции как к чужой мне стране; слишком долго прожил в Париже, слишком многому там научился» — ЛГЖ. Т. 2. С. 284). *«Во Францию два гренадера...»* — начало ст-ния «Гренадеры» из первой книги Г. Гейне (1822; перевод М. Михайлова).

621. СС-53, без ст. 29 — 30, с вар. ст. 4: «Что остался он у юной елки», с датой: 1947 -- С-59, с вар. ст. 29: «Оттого, что ветру очень вольно» -- СтСк. Печ. по СС-62. Ст-ние отражает раздумья Эренбурга первых послевоенных лет, когда он, вопреки прежним планам вернуться после войны в Париж, в силу как внутренних, так и внешних обстоятельств, остался в Москве.

622. Машинопись — ЛЭ. Первое ст-ние Эренбурга после десятилетнего перерыва. Цит. в ЛГЖ (Т. 3. С. 343).

623. Авт. машинопись — ЛЭ, с вар. после ст. 24: «Хочу оставить только те, / Что необычны в простоте, / Что предо мной везде, всегда, / Как ветер, вечер и вода». В рассказе И. Грековой «За проход-

ной» описано, как тихий голос Эренбурга, читающего по радио это ст-ние, органично входит в громкий спор молодых сотрудников научно-технической лаборатории начала 1960-х гг. и решает его (см.: НМ. 1962. № 7); этот эпизод Эренбург упомянул в ЛГЖ (Т. 3. С. 347).

624. С-59, с вар., без ст. 15—20 (впервые опубликованы: БП-77. С. 441, примеч.), с указанием, кроме года, также и места написания: «Нагасаки». Авт. машинопись С-59 под назв. «Ночь в Нагасаки» — СК. Авт. машинописи с правкой и без, черновая рукопись — ЛЭ. Текст печ. по авт. машинописи С-59. Цит. в главе о стихах 1957—1958 гг. 7-й книги ЛГЖ: «Я писал о том, что казалось мне воздухом в шахте, глотком воды в каменной пустыне...» (Т. 3 С. 345).

625. Печ. впервые по беловому автографу — ЛЭ. Черновая рукопись, авт. машинописи с правкой и без — ЛЭ. Авт. машинопись С-59, под назв. «Охота за ведьмами» — СК. Это клише советской печати 1940—1950-х гг., явно относившееся к США, должно было успокоить и отвлечь цензуру от мысли, что ст-ние передает грустные раздумья автора об окружавшей его жизни. Такой прием часто удавался Эренбургу, но в данном случае ст-ние все-таки было запрещено.

626. С-59. Черновая рукопись (2 вар.) — ЛЭ. Авт. машинопись С-59, с датой: 1958 г. Ст-ние обращено к последней любви Эренбурга — Лизлотте Мэр (1917—1983), жившей в Стокгольме. Цит. в ЛГЖ (Т. 3. С. 347).

627. С-59, с вар. ст. 20: «Нахлынут нежность, гордость, грусть и ужас». Черновая редакция и авт. машинопись — ЛЭ. Печ. по авт. машинописи С-59 — СК. Цит. в ЛГЖ: «Вспоминая пути и перепутья моей жизни, я видел в них некоторую единую линию, — писал Эренбург, и далее, успокаивая цензуру: — "Грязь и кровь" для меня были не логическим следствием идей Октября, а их попранием. Я не мог понять некоторых зарубежных друзей, которые еще недавно прославляли не только Сталина, но его опричников, одописцев и богомазов, а услышав правду о недобрых годах, усомнились в самой возможности более справедливого общества» (Т. 3. С. 346).

628. ЛГ. 1959. 21 июля. Навеяно поездкой И. Г. и Л. М. Эренбургов в Японию в апреле 1957 г.

629. ЛГ. 1959. 21 июля. Печ. по СС-62. Черновая рукопись (два вар.) и авт. машинопись, с правкой (назв. приписано позднее) — ЛЭ.

630. Цит. в ЛГЖ: «Я сам привязал себя к той идее, которая казалась мне вначале крылатой гоголевской тройкой, а потом государственной колесницей, танком, спутником...» (Т. 3. С. 252). Первый в мире искусственный спутник Земли был запущен в СССР 4 октября 1957 г.; это колоссальное техническое достижение СССР вызвало тогда потрясение во всем мире. Самая возможность реализации космической программы СССР, основанной на индустриализации страны, представлялась тогда несомненно связанной с революцией 1917 г.

Равенсбрук (Равенсбрюк) — женский концлагерь в гитлеровской Германии возле г. Фюрстенберг, где в 1939—1945 гг. было уничтожено около 100 тыс. узниц.

632. Включено Эренбургом в пластинку ст-ний в авт. чтении. Трижды цит. в ЛГЖ: («Хотя я воспитывался на вольнодумстве XIX века и написал "Хулио Хуренито", в котором высмеивал все догмы, я оказался не вполне защищенным от эпидемии культа Сталина. Вера других не зажгла мое сердце, но порой она меня подавляла, не давала всерьез призадуматься над происходившим» (Т. 3. С. 231); «Обожествление человека тогда мне казалось цементом нашего общества, порукой, что идеи Октября будут ограждены от врага. Я не думал оправдывать себя: не веруя, я поддался всеобщей вере. Я проклинал слепую веру...» (Т. 3. С. 345); «Что меня поддерживало? Верность» (Т. 3. С. 346).

633. Авт. машинопись — ЛЭ. В БП-77 со ссылкой на ЛЭ указано наличие экз. машинописи этого ст-ния без назв. с эпиграфом: «Фомой-неверным называют человека, который не сразу верит тому, что ему рассказывают. Словарь» (С. 442). *Фома Неверный* — один из 12 апостолов; не поверил в воскресение Христа, пока не вложил персты в его раны (Ин. 20, 27—28).

634. ЛГ. 1959. 21 июля, под назв. «Северная весна». Черновой набросок на обороте машинописного протокола из Оргкомитета СП РСФСР от 29 октября 1957 г. — ЛЭ. Печ. по С-59, где рядом с датой указано место: «Новый Иерусалим». Включено в пластинку ст-ний Эренбурга в авт. чтении. Положено на музыку С. Никитиным. Дважды цит. в ЛГЖ (Т. 3. С. 37, 345).

635. Черновая рукопись — ЛЭ.

636. Авт. машинопись С-59, под назв. «В Дельфах», с вар. перед ст. 1: «Мне не забыть того лица, / В нем столько гордости и света, / Что забываешь ход резца / И видишь горе человека» и ст. 21 и 22: «Никто не вспомнит, не поймет, / Что шла и здесь большая драма» — СК.

637. В БП-77 указано наличие в ЛЭ машинописи этого ст-ния с назв. «Почти басня» (С. 442).

638. Рукописный вариант на обороте машинописного протокола из Оргкомитета СП РСФСР от 29 октября 1957 г. — ЛЭ. Тема поздней любви в ст-нии Эренбурга связана с его чувством к Лизлотте Мэр (см. примеч. 626).

640. Авт. машинопись С-59, где после ст. 34: «За мечту о большом человеке, / Про которую пишет в анкете» — СК. Цит. в ЛГЖ в главе о ст-ниях 1957—1958 гг.: «Мои стихи не ограничивались теми сложными и трудными вопросами, которые стояли перед всеми нами после 1956 года. Я впервые ощутил свой возраст. Нужно было много-

му научиться в той науке, которой не преподают ни в какой школе. Я говорил о «соседе», которого знал слишком хорошо» (Т. 3. С. 347).

642. С-59, с вар. ст. 5: «раздумья мучают», в ст. 6: «потерь не перечесть» (видимо, цензурная правка). Печ. по СС-62. В БП-77 указано наличие в ЛЭ авт. машинописи этого ст-ния под назв. «Отступники» (С. 443). Цит. в ЛГЖ: «Стихи я писал не в 1956 году, а в 1957—1958 годы, когда наступили заморозки, когда Н. С. Хрущев перед Мао Цзедуном восхвалял Сталина, когда любой расторопный газетчик выливал на меня ушаты грязи; и все-таки я знал, что земля вертится, что к прошлому нет возврата» (Т. 3. С. 346).

НОВЫЕ СТИХИ

(1964—1966)

Основой настоящей реконструкции не вышедшей при жизни автора книги служит машинописный список и авт. машинописи 31 ст-ния с авт. правкой (ЛЭ). В списке рукой Эренбурга звездочками отмечены ст-ния, вошедшие в СС-62 (Т. 9). Они идут не подряд, следовательно, список был составлен до выхода тома 9, и, значит, все эти ст-ния написаны не позднее 1966 г. В то же время это не хронологический (по времени написания ст-ний) список, поскольку черновые наброски новых ст-ний, сделанные на обороте уже выправленных машинописей, позволяют хронологически упорядочить ряд ст-ний, и эта хронологизированная последовательность не соответствует списку. Таким образом, список можно считать планом новой книги, а не перечнем ст-ний в порядке их создания. Все сохранившиеся авт. правленые машинописи ст-ний 1964—1966 гг. примерно одного вида: одинаковые — бумага, цвет пасты шариковой ручки, голубая лента машинки; исключение составляет лишь ст-ние № 662 (черная лента, первоначальный вар. — на машинке «Корона», которой автор в послевоенные годы пользовался крайне редко), однако это ст-ние включено Эренбургом в список новых ст-ний, куда, скажем, не вошло неопубликованное ст-ние № 625, написанное в 1958 г.

Стихи эти не датированы (дат нет ни в окончательных машинописях ст-ний, ни в списке). Они писались после завершения работы над 6-й кн. ЛГЖ (лето 1964 г.) и до начала работы над 7-й кн. (конец 1966 г.); работа над стихами всегда требовала от Эренбурга душевного сосредоточения, и начиная с 1921 г. он писал стихи только будучи свободным от больших замыслов прозы. Первая публикация новых ст-ний — Зн. 1965. № 11 (8 ст-ний с раздосадовавшими Эренбурга опечатками; его попытка опубликовать исправления была отклонена редакцией). Подборка называлась «Стихотворения 1964 года» (скорей всего, это точная дата, хотя «легкомысленность» Эренбурга в части датирования ст-ний, начиная со сб. «Верность», не позволяет утверждать этого с абсолютной точностью). Следом 6 ст-ний напечатал алма-атинский «Простор» (1966. № 1), поздравляя Эренбурга с 75-летием (по-видимому, из редакции «Простора» эти ст-ния попали

в редакцию газ. «Индустриальная Караганда», напечатавшей 12 ноября 1965 г. 3 ст-ния без разрешения автора). Отметим, что Эренбург не предлагал свои ст-ния в НМ, где с 1959 г. печатал эссе и мемуары, так как знал об узкой поэтической избирательности главного редактора НМ поэта А. Твардовского. Наконец, 25 ст-ний без дат под назв. «Из новых стихов» вошли в СС-62 (Т. 9). Отбор ст-ний, надо думать, проводила совместно с Эренбургом доброжелательная к нему редактор тома И. Ю. Чеховская, скорей всего, отклонившая лишь заведомо не проходимые из-за цензуры вещи. Директор изд-ва «Художественная литература» В. А. Косолапов разрешил напечатать стихи после текста ЛГЖ вопреки первоначально утвержденному плану собрания сочинений. Том 9 был сдан в набор 7 октября 1966 г. и подписан в печать 16 января 1967 г. В подборке 10 ст-ний (№№ 647, 651, 671, 660, 666, 667, 646, 649, 668 и 657) были объединены в цикл «Старость». Оставшиеся 6 политически самых острых ст-ний удалось напечатать лишь в 1988 г.: Окт. № 7 (публикация И. И. Эренбург, вступ. статья Б. М. Сарнова; датировка ст-ний №№ 665, 671 и 672 в этой публикации была явно неверной). Книга ст-ний 1964—1966 гг. готовилась посмертно, но не вышла. В БП-77 включено 24 ст-ния из тома 9 (кроме № 664; начало ст-ния 671 напечатано в примеч.); все ст-ния в БП-77 датированы, причем мотивирована только датировка ст-ний, напечатанных в Зн. В СС-90 включены все ст-ния 1964—1966 гг., в датировке устранены явные несообразности дат в БП-77 (например, исправлена дата «1967»).

В наст. изд. ст-ния 1964—1966 гг. печатаются в основном по первым публикациям, без индивидуальной датировки, за отсутствием основательной аргументации на этот счет. Перепечатки и вар. указываются.

643. Индустриальная Караганда. 1965. 12 ноября -- Пр. 1966. № 1. Черновые рукописи (два вар.) с иным окончанием: «Простят тому, кто мягко стелет, / Кто сыплет яд в стакан вина, / Но никогда не стерпит челядь, / Чтоб ей сказали, кто она» — ЛЭ. Ст-ние навеяно свержением Н. С. Хрущева в октябре 1964 г.

644. Индустриальная Караганда. 1965. 12 ноября -- Пр. 1966. № 1. Ст-ние навеяно мерами руководства, сместившего Н. С. Хрущева, по ликвидации последствий его «волюнтаризма».

645. Индустриальная Караганда. 1965. 12 ноября -- Пр. 1966. № 1. *...в королевстве Датском / По-прежнему не всё благополучно* — перефразированная реплика Горацио из трагедии Шекспира «Гамлет».

646. Зн. 1965. № 11. Авт. машинопись с правкой — ЛЭ.

647. Зн. 1965. № 11. Авт. машинопись — ЛЭ. Положено на музыку О. Муминым. Обращено к Л. Мэр (см. примеч. 626).

648. Зн. 1965. № 11 -- Мн. Авт. машинопись с правкой (три вар.) — ЛЭ.

649. Зн. 1965. № 11. Авт. машинопись с правкой (три вар.) — ЛЭ.

650. Зн. 1965. № 11. Печ. по СС-62. Авт. машинопись (два вар. с правкой и без) — ЛЭ. Цит. в ЛГЖ (Т. 3. С. 287). В связи с этим ст-нием Б. М. Сар-нов писал: «В устах человека, обделенного официальными лаврами, это жалостливое презрение к тем, кого при жизни "произвели в классики", было бы более понятно. Но Эренбург, как известно, и сам обладал всеми атрибутами "живого классика". Лавров в его жизни тоже было немало. Но он никогда не склонен был обольщаться насчет их истинной ценности» (ЛГЖ. Т. 1. С. 9).

651. Зн. 1965. № 11. Авт. машинопись с правкой (на обороте машинописи ст-ния № 658), с вар. перед ст. 1: «Говорят порой — и это под руку: / "Дело, милый мой, совсем не в бодрости, / Но о жизни лучше не судите вы, / Жизнь вы прожили, теперь дожитие"»; и после ст. 8: «Хочется задуматься по-честному, / Да мешает жизненная бестолочь» — ЛЭ.

652. Зн. 1965. № 11. Авт. машинопись (три вар.) с правкой (один — под назв. «Перед посадкой») и черновые рукописи — ЛЭ. Печ. по СС-62. В связи с последними строками этого ст-ния Л. Мартынов писал: «Я читаю эти строки из стихотворения, завершающего эренбурговскую подборку в "Знамени", и вздыхаю с облегчением. Раз Илья Григорьевич устами своего героя сказал о том, что все здорово на свете, — значит, все так и есть! Я верю замечательному поэту Илье Эренбургу» (Поэзия Ильи Эренбурга // ЛР. 1966. 28 января). *Вознесенск* — город в Московской области, вблизи которого в селе Бабкино А. П. Чехов жил в 1885 г. *Мы видели в алмазах небеса* — перефразированные слова Сони из пьесы Чехова «Дядя Ваня».

653. Окт. 1988. № 7. Авт. машинопись с правкой и две черновые рукописи (на обороте машинописи с ст-ниями №№ 655 и 657) — ЛЭ. Это ст-ние в наиболее концентрированной, сатирической и аллегорической форме выражает отношение Эренбурга к абсурду советского режима, как сталинского (*«тигр»* — Сталин, *«бегемот»* — Берия и т. д.), так и последующих периодов.

654. СС-62. Авт. машинопись с правкой и черновая рукопись — ЛЭ. Ст-ние навеяно обстоятельствами советской истории, в частности — свержением Н. С. Хрущева.

655. Окт. 1988. № 7. Авт. машинопись (два вар.), с вар. после ст. 10: «С которой кесарь, ловкий на уловку, / Намыливает, будто кат, веревку»; и черновик, с вар. ст. 7: «В добре и зле сугубо человечен» — ЛЭ. Ст-ние посвящено Н. С. Хрущеву (1894—1971). *Санчо* Панса — персонаж романа Сервантеса «Дон Кихот».

656. Пр. 1966. № 1. Авт. машинопись и черновая рукопись (на обороте машинописи ст-ния № 650) — ЛЭ. *Так с Тютчевым на склоне лет / То необычное случилось.* Речь идет о «последней любви» Ф. И. Тют-

чева к Е. А. Денисьевой. Вместе с тем это ст-ние и автобиографично — в нем читается сюжет «последней любви» Эренбурга к Лизлотте Мэр (см. примеч. 626). *Уже скудела в жилах кровь...* — неточная цитата из ст-ния Тютчева «Последняя любовь».

657. СС-62. Авт. машинопись (четыре вар.: два с правкой и два — без) — ЛЭ. Печ. по последней авт. машинописи. Факсимиле черновой рукописи опубликовано в БП-77. С. 234—235.

658. СС-62, без назв. Авт. черновая машинопись (два вар.) с правкой, две черновые рукописи (на оборотах машинописи ст-ний №№ 643 и 650) — ЛЭ. *Пять лет описывал...* Имеется в виду работа над первыми шестью книгами мемуаров ЛГЖ (конец 1959 г. — весна 1964 г.). *Янус* (рим. миф.) — бог времени, изображался в виде человека с двумя лицами: одно обращено в прошлое, другое — в будущее. *Мыслящий тростник* — любимый Эренбургом образ из «Мыслей» Блеза Паскаля, символизирующий непрочность, зыбкость разума во Вселенной.

659. Зн. 1965. № 11. Авт. машинопись с правкой — ЛЭ.

660. СС-62.

661. СС-62, с пропуском ст. 11. Авт. машинопись с правкой (три вар.: один — на обороте авт. машинописи ст-ния № 667; два — без назв.) — ЛЭ. Печ. по авт. машинописи.

662. Окт. 1988. № 7. Авт. машинопись (три вар.) с правкой и вар. — ЛЭ.

663. СС-62. Авт. машинопись (два вар.) с правкой и фрагмент черновой рукописи (на обороте машинописи ст-ния № 646) — ЛЭ. *От жажды умираю над ручьем* — первая строка «Баллады поэтического состязания в Блуа» Франсуа Вийона в переводе Эренбурга (см. № 744).

664. СС-62. Ст-ние, в котором поэт, к тому же еврей, одерживает победу над государственной властью, было сознательно пропущено редактором и чудом прошло официальную цензуру на «пересменке» режимов в 1966 г. Однако в 1977 г. оно было уже абсолютно не проходимым. Главный редактор «Библиотеки поэта» Ф. Прийма исключил его из БП-77, мотивировав свое решение невразумительно. «Мы включаем в сборник стихотворения, поддающиеся строго объективному комментированию, — объяснял он 17 июня 1977 г. причины отказа в письме И. И. Эренбург. — Стихотворение "Сем Тоб и король Педро Жестокий" объективному комментированию не поддается. Отсутствие точной даты написания этой баллады и ее иносказательный стиль дают повод для самых различных, в том числе и превратных, ее толкований. В силу сказанного, включение этого стихотворения в состав тома мы считаем нецелесообразным» (СК). *Сем Тоб* — испанский поэт XIV в., автор сб. морально-дидактических

пословиц. *Педро* Первый (*Жестокий*; 1334—1369) — с 1350 г. король Кастилии и Леона, имевший репутацию «надменного Нерона»; убит братом. ...*Ни флота Христофорова* — флот Христофора Колумба.

665. Окт. 1988. № 7, с неверной датой: 1957. Авт. машинопись (три вар. с правкой) — ЛЭ. Печ. по авт. машинописи.

666. СС-62. Авт. машинопись с правкой и черновик, с вар. после ст. 4: «Прочитать о событьях в Судане, / Виноваты, конечно, мы сами» — ЛЭ.

667. СС-62, с вар. после ст. 7: «Не за награду — за побои / Стерег закрытые покои»; ст.14—15: «Не конуре, да и не палке, / Не драчунам в горячей свалке...». Авт. машинопись (три вар.; два — с правкой) — ЛЭ. Печ. по авт. машинописи. В связи с этим Б. М. Сарнов писал: «Настоящую исповедь Эренбурга следует искать не в мемуарах его, а в стихах. Стихи были для него возможностью остаться один на один со своей совестью. Тут он не оправдывался. С грубой, ничем не прикрытой прямотой он "признавал пораженье"» (Окт. 1988. № 7. С. 163). Всяко, это — одно из самых исповедальных ст-ний Эренбурга.

668. СС-62. Черновая рукопись и авт. машинопись, с вар. после ст. 10: «Больше нет тех монет / В чет и нечет играть. / Больше нет ничего. / Только холод и мгла. / Я хочу одного — / Хоть немного тепла») — ЛЭ.

669. Пр. 1966. № 1, без назв. Печ. по СС-62. Авторизованная машинопись с правкой — ЛЭ. Якопо *Тинторетто* (1518—1594) — итальянский художник. Вспоминая свою поездку 1911 г. в Италию, Эренбург писал: «В Венеции я не мог уйти из длинного зала школы Сан-Рокко, где находятся холсты Тинторетто. Дело снова не в сюжетах — они те же, что на картинах множества других художников. Но Тинторетто, который видел, ощущал, понимал мир трагически, сумел это выразить; ему было достаточно пальцев ноги, складок бархата, сползающего вниз, облака, куска стены, чтобы рассказать миру то, о чем начал вскоре писать Шекспир» (ЛГЖ. Т. 1. С. 132).

670. СС-62, под назв. «В костеле». Черновая рукопись и авт. машинопись (четыре вар.: два — без назв., один — под назв. «Старая история») — ЛЭ. Печ. по 4-й, беловой, машинописи. В ст-нии очевидны аллюзии на историю Октябрьской революции. *Но те, что в сушь, в обрез, в огрыз* — ранние христиане.

671. СС-62, без ст. 1—4, впервые напечатанных в примеч. к БП-77 (С. 444) -- Окт. 1988. № 7.

672. Окт. 1988. № 7, с неверной датой: 1953.

673. Окт. 1988. № 7. Авт. машинопись (два вар.), с вар. после ст. 2: «Но мы вас ценим, как солдата, / Который воевал когда-то» — ЛЭ. Печ. по правленой машинописи.

СТИХОТВОРЕНИЯ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ В АВТОРСКИЕ СБОРНИКИ

Большинство опубликованных, но не вошедших в прижизненные сборники ст-ний приходится на ранний период творчества Эренбурга (1910—1914) — их около 70. Из них в настоящий раздел отобрано 18. Немало ранних, в общем-то ученических, ст-ний остаются неопубликованными.

Ст-ния периода 1915—1966 гг. публикуются в наст. изд. практически полностью; неопубликованные прежде ст-ния 1915 г. (за исключением № 692) включены, в соответствии с авторским планом, в сб. «Стихи о канунах»; значительная часть не опубликованных при жизни автора ст-ний 1941—1957 гг. вошла в БП-77 и здесь перепечатывается. В примеч. указываются все прижизненные публикации.

674. Северные зори. СПб., 1910. № 8. Цит. в ЛГЖ: «Эти стихи (на редкость беспомощные) помогли мне вспомнить терзания далеких дней. Я "бунтовал"» (Т. 1. С. 105). Ст-ние описывает переживания автора, порвавшего с социал-демократической колонией в Париже в 1909 г.; в нем, как точно отметил Л. И. Лазарев, приведя это ст-ние, «очень наглядно соединились два определивших жизнь Эренбурга мотива — верности и отречения, без которых невозможно понять и пафос его поэзии, и природу его сатиры, и пламень публицистики, и повторявшиеся на протяжении всей его жизни упреки справа и слева в непоследовательной, недостаточно "ангажированной" позиции» (СС-90. Т. 1. С. 12).

675. Возрождение. 1910. № 4. Цит. в ЛГЖ (Т. 1. С. 106).

676. Жизнь для всех. СПб., 1910. № 4. Машинопись этого и двух других ст-ний 1910 г. Эренбург получил в 1959 г. вместе с письмом помощника Н. С. Хрущева по культуре и идеологии В. С. Лебедева: «19 февраля 1959 г. Дорогой Илья Григорьевич! Посылаю Вам, как условились, три Ваши стихотворения, опубликованные в журнале "Жизнь для всех". Об одном из них (как я понял о "Городских детях") очень тепло отзывался Н. С. Хрущев, вспоминая свои юношеские годы, когда он работал на одной из шахт в Донбассе рабочим... <...> Глубоко уважающий Вас В. Лебедев» (СК).

677. Московская газета. 1910. 27 сентября.

678. Новая жизнь. СПб., 1911. № 3. Цит. в ЛГЖ: «Я чувствовал, что сбился с пути, и в весну своей жизни твердил об осени» (Т. 1. С. 106). Ст-ние отмечено в газ. «Алтай»(Бийск, 19 апреля 1911 г.) в обзоре № 3 «Новой жизни».

679. Арион. 1999. № 3.

680. Гелиос. (Париж). 1913. № 2 -- Арион. 1999. № 3, по рукописи — рукой сестры поэта Из. Г. Эренбург (РГАЛИ. Ф. 1204. Оп. 1. Ед. хр. 62). Ст-ние отмечено в обзоре второго номера «Гелиоса» (УР. 1914. 1 февраля).

681. Арион. 1999. № 3. Навеяно грустными воспоминаниями о счастливой поездке в Брюгге в 1910 г. с Е. О. Шмидт, покинувшей Эренбурга в 1913 г.

682. Арион. 1999. № 3.

683. РБ. 1913. № 4. Вместе со ст-нием № 684 под общим заголовком «Вздохи из чужбины», предложенным В. Г. Короленко, на чье имя ст-ния были посланы автором -- БП-77 -- СС-90. Ст-ние вызвано неосуществившейся надеждой на амнистию к 300-летию дома Романовых в 1913 г. В. Г. Короленко 16 марта 1913 г. писал из Полтавы в Петербург А. Г. Горнфельду: «Посылаю Вам два стихотворения И. Эренбурга <...>. Как видите, я приделал общее заглавие. Может быть в таком виде напечатаете. По-моему очень хороши и ко времени первые строчки <...>. Конец как-то слабее. Но, может быть, характерно и это: на чужбине мечта не о каких-нибудь возвышенностях. Хоть бы опять побывать на Плющихе, да на Девичьем поле <...>. Некоторые недостатки стихов публика простит за трогательность темы» (Короленко В. Г. Собр. соч.: В 10 т. Т. 10. М., 1956. С. 491). Ст-ние и письмо Короленко цит.: ЛГЖ. Т. 1. С. 110. В письме в редакцию РБ Эренбург просил «выкинуть заглавие "Вздохи из чужбины" совершенно» и сообщил, что исключил оба ст-ния из выходящего на днях сб. «Будни», чтобы не помешать их публикации (РНБ. Ф. 884. № 27). Ст-ние было отмечено в обзоре четвертого номера РБ (Южное слово. Киев, 1913. № 9. С. 23). *Плющиха* — улица в Москве. *Вандомская колонна* — см. примеч. 265. *Тюильри* — королевский дворец в Париже рядом с Лувром; большая его часть сгорела во время Парижской коммуны, и теперь на этом месте находится сад.

684. РБ. 1913. № 4, в составе цикла «Вздохи из чужбины» -- БП-77 -- СС-90. *Девичье поле* — район Москвы, где расположен Новодевичий монастырь.

685. РБ. 1913. № 11 -- БП-77 -- СС-90. Посылая это ст-ние и ст-ние № 686 А. Г. Горнфельду, В. Г. Короленко писал 24 сентября 1913 г. «Прилагаю два стихотворения Эренбурга. Он у нас уже печатался ("Вздохи с чужбины"). На мой взгляд у него есть кое-что свое, и я бы два эти стихотворения напечатал. Если согласны, известите автора и, при случае, меня...» (Письма В. Г. Короленко к А. Г. Горнфельду. Л., 1924. С. 106). 29 сентября 1913 г. Горнфельд ответил Короленко: «Эренбурговы стихи, конечно, приемлемы. Только конец "Осени", особенно после Вашей поправки: "Душа, как раненая птица, Еще наверх взлететь стремится" слишком уж близок к Тютчевскому: "Мысль, как подстреленная птица Подняться хочет и не может". Написал ему об этом — может сочинит вариант» (РГБ. Ф. 135. П. 21. 37). Эренбург ответил Горнфельду, что заметил совпадение с Тютчевым еще до отсылки ст-ния в редакцию («Но мне казалось, что уместность в данном случае образа души — раненой птицы, может до некоторой степени, конечно, искупить этот грех») и послал для выбора редакции иной вариант ст-ния (РНБ. Ф. 211).

686. РБ. 1913. № 11 -- БП-77 -- СС-90.

687—688. Хмель. 1913. № 7—9.

689. Современный мир. 1913. № 12. Обращено к Е. О. Шмидт (см. примеч. 61).

690. Гелиос. Париж, 1913. № 1.

691. Современный мир. 1914. № 4.

692. Сполохи. 1918. Кн. 12. Авт. машинопись — РГАЛИ. Ф. 577. Оп. 2. Ед. хр. 51. Л. 3—4. Не перепеч.

693. Альм. «Еврейский мир». М., 1918. № 1 — СтСк. -- СС-90. *А Зайцев Иван и Захаров Геннадий / Жужжали сзади...* — ср. в ЛГЖ: «Когда я пришел впервые в гимназию, какой-то приготовишка начал петь: "Сидит жидок на лавочке, посадим жида на булавочку". Не задумавшись, я ударил его по лицу...» (Т. 1. С. 56). Отметим, что сын дворянина Зайцев Иван действительно учился с Эренбургом в одном классе 1-й Московской мужской гимназии (см.: ЦГИА МО. Ф. 371. Оп. 1. Ед. хр. 580). *«Этуаль»* — от франц. etoile — звезда. *Eze* —деревушка под Ниццей, где в 1915—1916 гг. Эренбург подолгу жил со своими близкими.

694. Альм. «Путь». М., 1918. № 1.

695. Ковер-самолет. Киев, 1919. № 1. Одно из детских ст-ний, написанных в Киеве в 1919 г.

696. Заячья ёлка: Автографическое издание Московской книжной лавки писателей. 1920. Переписал и картинку нарисовал Илья Эренбург (РГБ) -- Русская филология: 3-й сб. научных студенческих работ. Тарту, 1971 (публикация М. Левина) -- Веселые картинки. М., 1985. № 1. 7 мая 1919 г. Эренбург сообщал из Киева в Москву поэтессе В. Меркурьевой, что печатается книжка его детских ст-ний «Заячья елка» (см.: Минувшее. СПб., 1997. Вып. 22. С. 313). Книга не вышла ни в Киеве, ни в Берлине в 1921—1922 гг., где также готовилась к изданию.

697. В раю: Автографические издания Лавки писателей. Переписал и картинки нарисовал Илья Эренбург в Москве двенадцатого ноября тысяча девятьсот двадцатого года (РО ИМЛИ. Ф. 146. Оп. 1. № 1) -- Русская филология: 3-й сб. научных студенческих работ. Тарту, 1971. *А Иринка кормит Волчиху...* — мысленное обращение к дочери (Ирина Ильинична Эренбург; 1911—1997), находившейся тогда с матерью Е. О. Шмидт и отчимом Т. И. Сорокиным на Северном Кавказе; судьба ее волновала Эренбурга и была ему неизвестна.

698. Зн. 1939. № 7—8.

699. БП-77. Включено в ПИ.

700. День поэзии. М., 1971 (публикация Б. А. Слуцкого). Включено в ПИ.

701. Арион. 1999. № 3. Включено в ПИ.

702. БП-77, без даты -- СС-90. Включено в ПИ. Черновая авт. машинопись (два вар.; один — с правкой) — ЛЭ.

703. НМ. 1971. № 1 -- БП-77 -- СС-90. Написано после декабрьской поездки в Ленинград (1940).

704. БП-77 -- СС-90.

705. НМ. 1963. № 2. С. 124, в тексте 5-й книги ЛГЖ, в рассказе о поездке в 1943 г. по освобожденным от немцев районам: «Точнее всего я передал свое душевное состояние в стихотворении, видимо связанном с причитаниями колхозницы над коровой...» (Т. 2. С. 319) -- БП-77.

706. НМ. 1944. № 8—9.

707. Литература и искусство. (М.). 1944. 19 августа -- Красноармеец. 1945. № 3—4.

708. БП-77. Беловая машинопись — РГАЛИ. Ф. 618. Оп. 14. Ед. хр. 583. Л. 16.

709. ЛР. 1971. 29 января -- БП-77.

710. БП-77. Беловая машинопись — РГАЛИ. Ф. 618. Оп. 14. Ед. хр. 583. Л. 20.

711. День поэзии. М., 1962 -- БП-77 -- СС-90 -- Мн. *Скребет себя на пепле Иов.* Книгу о многострадальном Иове Эренбург упоминал не раз, например — в главе о смерти Сталина (ЛГЖ. Т. 3. С. 230).

712. НМ. 1971. № 1 -- БП-77, с ошибкой в дате -- СС-90. Беловая авт. машинопись — РГАЛИ. Ф. 619. Оп. 1. Ед. хр. 3559. Л. 1. В 1943 г. предложено автором в журн. «Октябрь», но отвергнуто редакцией.

713. ЛР. 1971. 29 января -- БП-77 -- СС-90.

714. ЛР. 1971. 29 января -- БП-77 -- СС-90. Беловая авт. машинопись — ЛЭ. *...утро роковое* — утро 22 июня 1941 г.

715. БП-77 -- СС-90. Авт. машинопись с правкой (вместе со стнием № 605) — ЛЭ. Редкий случай белого стиха у Эренбурга.

716. БП-77 -- Мн. Авт. машинопись (три вар.; два — с правкой) — ЛЭ; в одной из них — вар:

Я не завидую ни кораблям,
Ни журавлям,
Ни древним грекам,
Ни сердцевине дуба,
Ни синеве пернатых,
Ни человеку, чьи зубы
Уже сверкают на плакатах
Задуманного века.
Как все, я знал любимый край,
Как все, я ждал, что будет рай.
В музеях плакали былые боги,
Рыдали истуканы.
А человек был нем.
И вот теперь в конце дороги
Завидую я только тем,
Кто умер на пороге
Земли обетованной.

717. НМ. 1971. № 1 -- БП-77 -- СС-90. Эпиграф из ст-ния И. Анненского «"Расе". Статуя мира». Ст-ние написано после посещения летом 1945 г. Царского Села, где много лет жил и работал И. Ф. Анненский. В ЛГЖ Эренбург вспоминал об этом: «В Пушкине на стенах разбитого дворца я увидел испанские надписи — здесь забавлялись наемники из "голубой дивизии" <...> Статую Пушкина нашли в земле — ее успели закопать: нашли в стороне и треуголку. Статуя богини мира лежала опрокинутая. О ней когда-то писал Иннокентий Анненский, и я часто повторяю эти строки...» (Т. 3. С. 9).

718—719. НМ. 1971. № 1, с неверной датой -- БП-77 -- СС-90.

720. НМ. 1965. № 2. С. 46, в тексте 6-й кн. ЛГЖ -- БП-77, с ошибкой в дате -- СС-90. Беловая рукопись и машинопись с правкой (под назв. «Село Тарханы») — ЛЭ. Записано и тиражировано в авторском чтении фирмой «Мелодия». Рассказывая о поездках 1948 г. по литературным местам России, Эренбург писал, что больше всего ему запомнились дни (12—17 июня 1948 г.), проведенные в селе Тарханы (ныне село Лермонтово Пензенской области), бывшем имении бабки Лермонтова Е. А. Арсеньевой, где он встретился с учительницей литературы В. А. Дарьевской (их переписка продолжалась много лет): «Мы пошли в склеп. Там стоял гроб, в котором привезли тело Лермонтова из Пятигорска. Было сыро, и на гроб громко падали капли. Музей был смешанным: отдельные вещи, связанные с поэтом, и различные плакаты, диаграммы, посвященные крепостному праву, революции, успехам колхозников Пензенской области. В одной комнате я увидел трубку Лермонтова и рисунки к "Демону", в другой висел портрет Сталина. Ночью я написал стихотворение <...> оно — клочок обещанной исповеди» (ЛГЖ Т. 3. С. 88). *Здесь нет ни топо-*

та, ни свиста — см. в ст-нии Лермонтова «Родина»: «Смотреть до полночи готов / На пляску с топотом и свистом...». *«Люблю отчизну я, но странною любовью...»* — первая строка того же ст-ния Лермонтова.

721—723. ЛР. 1971. 29 января -- БП-77.

724. БП-77. Авт. машинопись с правкой и две черновые рукописи — ЛЭ, с черновой редакцией:

Признаться — море мне сродни:
Его томительные дни,
Когда с усердьем кропотливым
Прилив сменяется отливом,
И то, как всякий раз упорно
Оно пытается восстать,
Шумит, грозит, а после шторма
Всё та же бирюза и гладь.
Ему должно быть отвратительно,
Когда поэты и ценители,
Припомнив лет своих тюрьму,
Стоят, завидуют ему,
Когда дурак клянется женщине,
Что если море переменчиво,
То он незыблем, как гранит,
А море слышит и шумит.
Скажи мне, сколько нужно странствий,
Как отвергал, как был отвергнут,
Чтоб море говорило сердцу
О верности, о постоянстве,
Чтоб стало всё, чем жил и жив,
Как тот прилив, как тот отлив?

725. НМ. 1971. № 1, с неверной датой -- БП-77. Авт. машинопись с правкой — ЛЭ.

726. НМ. 1971. № 1 -- БП-77 -- СС-90. Авт. машинопись с правкой — ЛЭ.

727. НМ. 1971. № 1, с неверной датой -- БП-77, без даты. Авт. машинопись с правкой (на одном листе со ст-нием № 722) — ЛЭ.

728. БП-77, без даты.

729. День поэзии. М. 1962 -- БП-77 -- СС-90. Авт. машинопись (два вар.) — ЛЭ. Цит. в ЛГЖ: «Мне казалось, что я чувствую природу слова, его цвет, запах, нежность или грубость оболочки, но любое слово падало в бессилии, повышавшее или принижавшее. Я видел, что не могу сказать того, что хочется...» (Т. 3. С. 347). *Мысль изреченная есть ложь* — цитата из ст-ния Ф. И. Тютчева «Silentium!».

730. БП-77 -- СС-90. Машинопись — ЛЭ.

731. БП-77, без даты -- СС-90. Машинопись — ЛЭ.

732. НМ. 1971. № 1 -- БП-77 -- СС-90. Авт. машинопись (два вар.; один — без назв.) — ЛЭ.

733. Публикуется впервые. Авт. машинопись (два вар. с правкой) — ЛЭ.

ИЗБРАННЫЕ ПЕРЕВОДЫ

Первый опубликованный перевод Ильи Эренбурга относится к 1912 г. — рассказ Анри де Ренье «Тайна графини Варвары» (УР. 1912. 13 января). Эренбург переводил с двух языков — французского и испанского, которые знал, и переводил, как правило, только то, что было ему душевно близко, — ни подстрочников, ни заказов он не признавал. Основные переводы с французского были выполнены во Франции в 1912—1916 гг. (книга Ф. Жамма, антология «Поэты Франции» (ПФ), книга Ф. Вийона), к некоторым из этих переводов Эренбург вернулся в 1956—1957 гг.

Книга ПФ была задумана в 1913 г. Первоначальные ее временные рамки Эренбург обозначил в письме Брюсову: 1880—1910 (см.: БиК. С. 529), затем в письме Волошину уточнил: 1875—1910 (см.: Волошин М. Избранное. Минск, 1993. С. 388), в окончательном варианте даты приобрели исторический смысл: 1870—1913. Антология содержала 74 ст-ния 29 поэтов — от Малларме до Дорсенюса (включая переведенного с французского Маринетти). Она вышла в конце февраля 1914 г. в изд-ве «Гелиос» (по имени парижского журнала, где Эренбург вел отдел поэзии); отпечатана в типографии И. Рираховского и открывалась предисловием автора, подчеркнувшего, что переводы объединены «скорее личными пристрастиями, чем каким-либо планом». 24 февраля (ст. ст.) 1914 г. антология была дозволена цензурой к распространению в России (см.: ЦГИА Украины. Ф. 295. Оп. 1. Ед. хр. 533) и, судя по десятку рецензий, вызвала несомненный интерес. «Хотя у нас уже есть и антология, составленная Брюсовым, и "Книга масок", и еще кое-что, тем не менее антология И. Эренбурга не может не привлечь к себе широкого интереса», — писал С. Городецкий (Речь. (СПб.). 1914. 10 марта). 55 лет спустя Б. Слуцкий напишет: «Еще юношей, перед первой мировой войной, Илья Эренбург переводит своих друзей — парижских поэтов, столь же молодых, голодных и безвестных, как и он сам. Аполлинера, Жакоба, Сальмона, Жамма русский поэт открывает задолго до того, как их открыли французские критики» (ТД. С. 5).

Переводами с испанского Эренбург начал заниматься в 1915—1916 гг., открыв для себя неизвестных в России поэтов старой Испании. Книга этих переводов неоднократно готовилась к изданию и анонсировалась (например, в книгах Эренбурга СоК и О, в газ. «Новая Россия» ((Харьков). 1919. 2 ноября) и др.), но так и не была изда-

на. Впоследствии Эренбург много переводил латиноамериканских поэтов П. Неруду и Н. Гильена. Работая над мемуарами, Эренбург перевел для них кое-что из любимых поэтов — стихами и прозой (так, скажем, прозой переведен Поль Элюар, поэзию которого Эренбург считал непереводимой). Из этих работ здесь представлены переводы ст-ний Р. Десноса.

Наиболее полно переводы И. Эренбурга собраны в антологии «Тень деревьев» (ТД).

ИЗ ФРАНЦУЗСКОЙ ПОЭЗИИ

Народные песни

Все переводы впервые напечатаны: Мс. 1957. № 3, в сопровождении статьи Эренбурга «Старая французская песня». Вошли в ФТ-1 и ФТ-2 и в их составе в СС-62 и СС-90.

734. Французские стихи в переводах русских поэтов. М., 1973 -- Мастера поэтического перевода. СПб., 1997 (Новая Библиотека поэта). «Одна из самых старых песен Франции, дошедших до нас, "Пернетта", родилась в XV веке; ее пели друзья Франсуа Вийона в кабаках и в тюрьмах. Вийон, наверно, любил "Пернетту"...» (СС-90. Т. 6. С. 85).

735. БП-77. Вар. строфы этой песни приведен в гл. XX. № 364. *Лоррэн* — Лотарингия. *Сабо* — башмаки французских крестьян с деревянными подошвами

736. Биржевые ведомости. (СПб.). 1916. 16 июля, под назв. «Старая французская песня», др. ред. -- Французские стихи в переводах русских поэтов. М., 1973 -- БП-77 -- Мастера поэтического перевода. СПб., 1997 (Новая Библиотека поэта).

737. Биржевые ведомости. (СПб.). 1916. 25 декабря (в статье «Моряки Франции», др. ред.:

Когда с войны пришел моряк,
Он зашел у дороги в кабак,
Хозяйка дала ему ковш вина.
— Скажи, хозяйка, отчего ты грустна?
— «Мой муж был молод, пригож,
Моряк, на тебя похож».
— Что ж он обманул свою жену?
— «Пять лет как он ушел на войну».
У тебя тогда было трое ребят,
Теперь четыре на меня глядят?
— «Три года я была верной женой,
Я пошла за другого прошлой весной

Мне сказали, что муж мой погиб на войне,
Что спит он в море, на самом дне...»
Моряк в ответ не сказал ничего,
Не допил он вина своего,
Грустя, на корабль он вернулся назад,
Чтоб слушать, как ночью мачты скрипят...).

737. БП-77.

738. БП-77.

739. БП-77. «Героические песни порой превращались в шутливые. Капитан Ля Палисс был убит в битве при Павии. Его солдаты сложили песню, прославляя отвагу своего капитана:

«Он за час до смерти жил
Ля Палисс отважный»!

Потомкам эти строки показались смешными; они сочинили другую песенку, которая обошла всю Францию Никто не вспоминал о храбрости капитана. Ля Палисс стал олицетворением ходячей морали, общих мест, трюизмов...» (СС-90. Т. 6. С. 85).

Франсуа Вийон

Франсуа Вийон (1431 —1463?) — один из самых любимых поэтов Эренбурга, посвятившего ему эссе во «Французских тетрадях» (см.: СС-90. Т. 6. С. 61—70). В феврале 1915 г. Эренбург написал ст-ние «Над книгой Вийона» (см. № 301) и в том же году начал работать над переводами из Вийона. «Франсуа Вийона я полюбил за то, что он возвысил человеческую слабость. Он еще дышал воздухом средневековья: запахом чумных кладбищ и церковных лилий. Но анонимному аду прежних веков он противопоставлял свой собственный, и его ад мог потягаться с раем. Он был первым поэтом гуманизма, я еще застал сумерки этого длинного дня. Много времени я провел над переводами Вийона. Я работал в библиотеке Сан-Женевьевы или в кафе: дома было чересчур холодно. Баллады Вийона сливались с рыжими корешками книг или с глазами пьяниц, блестящими, как бисер, — трудно сказать, что больше шло к ним. Я переводил для того, чтобы не писать. У меня было слишком много чувств и слишком мало опыта, я понимал, что мои стихи монотонны. Я не хотел писать, всякий раз я сопротивлялся желанию, но стихи побеждали» (КдВ. С. 320—322). 11 августа 1915 г. Эренбург писал М. А. Волошину: «Перевел еще ряд баллад Вийона, вместе получилось около 25 — целая книжка» (Зв. 1996. № 2). 29 ноября 1915 г. М. А. Волошин сообщал Б. В. Савинкову, что меценаты Цетлины согласились издать на свои средства ряд книг и, в частности, сборник Вийона в переводе Эренбурга (Там же).

Книга вышла весной 1916 г. в Москве (изд-во «Зерна»; обложка — гравюра по дереву И. Лебедева с гравюры неизвестного художника, помещенной в первом печатном издании Вийона: Париж, 1489). В предисловии к ней Эренбург писал: «Я перевел несколько отрывков из "Большого Завещания", большую часть баллад, как включенных в него, так и написанных Вийоном в другое время. В ряде стихотворений ("Баллада толстой Марго", "Жалобы кабатчицы" и др.) по внешним причинам пришлось сделать выпуски. Переводя баллады, составленные из отдельных образов или определений ("Баллады примет", "Баллада противоречий" и т. п.), я, сохраняя, мне кажется, общий дух и форму, был принужден часто заменять выражения, картины другими, более или менее им соответствующими». Сохранился экземпляр этого издания, подаренный Эренбургом О. Э. Мандельштаму, чью статью о Вийоне (1913) он несомненно читал (см.: Книги и рукописи в собрании М. С. Лесмана. М., 1989. С. 236).

Откликов на перевод Эренбурга было много (более десяти рецензий). Культурное значение первой в России книги Вийона, представительность ее состава отмечали почти все рецензенты. «Книга г. Эренбурга содержит всё наиболее интересное из Вийона», — утверждал В. Жирмунский (РМ. 1916. № 7). «Хорошо сделал И. Эренбург, что хорошо перевел некоторые стихотворения Франсуа Вийона», — писал Ю. Айхенвальд (Речь. (СПб.). 1916. 25 апреля). Рецензенты, сравнивавшие перевод с подлинником, критиковали своеволие переводчика. Д. Выгодский: «Ничем не оправданные пропуски, не всегда уместные вставки, перенесение строк из одной строфы в другую» (Летопись. СПб., 1916. № 8). В. Жирмунский: «Большей частью он дает вместо переводов красивые переложения». М. Альдов ограничился выписыванием буквальных несовпадений (УР. 1916. 28 мая). Некоторые критики писали, что предпочитают переводы нескольких ст-ний Вийона, незадолго до того сделанные Гумилевым (В. М. Жирмунский; А. А. Смирнов — см.: Северные записки. 1916. № 7). Резко не принял переводы Эренбурга В. Я. Брюсов, в 1913 г. сам переведший стихи Вийона: «Вийон заслуживает лучшего перевода и лучшей биографии на русском языке. <...> Переводы сделаны крайне небрежно и отнюдь не знакомят с оригинальным стилем подлинника. Интересный (хотя еще совсем не установившийся) поэт И. Эренбург — плохой переводчик. Он слишком удаляется от оригинала, заменяет целые стихи своими измышлениями, стремится смелость, грубость и своеобразие "воровского" жаргона французского стихотворца XV в. заместить аналогичными русскими выражениями <...>. Будем ждать другого перевода» (Известия литературно-художественного кружка. 1916. Вып. 14—15). М. Волошин, напротив, переводы Эренбурга одобрил: «Даже переводы Франсуа Вийона (Виллона), прекрасные в своей субъективности, не менее, чем оригинальные стихи Эренбурга, говорят об эпохе, в которую они были сделаны» (Речь. (СПб.). 1916. 31 октября)

Эренбург изменил транскрипцию имени поэта (до него писали Виллон или Вильон). Один только А. А. Смирнов оспорил это. С тех пор новое написание утвердилось, хотя следующая книга Вийона в России вышла почти полвека спустя.

Десять переводов из книги 1916 г. были включены в антологию «Поэты французского Возрождения» (Л., 1938).

В 1956 г. Эренбург вернулся к переводу Вийона: написал новый очерк о любимом поэте и заново перевел ряд его ст-ний (авторский экземпляр сб. 1916 г. испещрен позднейшими исправлениями Эренбурга); эта работа была опубликована (ИЛ. 1957. № 10), включена в ФТ-1 и ФТ-2 и вместе с ними в СС-62 и СС-90. Все новые переводы и часть старых перепечатаны в ТД и БП-77. Лучшие переводы Эренбурга из Вийона остаются непревзойденными — они передают самый дух подлинника.

740. ФВ-1, под назв. «Баллада состязания в Блуа» -- Зарубежные поэты в русских переводах. М., 1968 -- БВЛ Т. 32 -- Мастера поэтического перевода. СПб., 1997 (Новая Библиотека поэта). Перевод ст-ния «Ballade du concours de Blois». Историю ст-ния Эренбург привел в статье «Поэзия Франсуа Вийона»: «Однажды принц Карл Орлеанский устроил в своем замке, в Блуа, поэтический турнир. Такие занятия были любимой забавой просвещенной знати. Карл Орлеанский предложил своим гостям написать балладу, которая должна была начинаться словами: "От жажды умираю над ручьем...". Для принца это было нелепицей, забавной шуткой.<...> Вийон, однако, принял всерьез предложенную тему и в свою балладу вложил многое: это — исповедь человека, освобожденного от догмы, да и от веры, его сомнения, его противоречия, его сложность» (СС-90. Т. 6. С. 66). Цит.: КдВ (С. 321; старая редакция) и ЛГЖ (Т. 1. С. 118).

741. Перевод строф XXXIX — XLI из «Testament». Строфу XXXIX Эренбург привел в статье «Стихи о смерти» (Понедельник. (М.). 1918. 29 апреля).

742. ФВ-4, под назв. «Баллада-молитва». Перевод ст-ния «Ballade et oraison». *...Ной, / Лозу нас научил сажать, / При сыновьях лежал хмельной.* Согласно Библии, патриарх Ной, спасшись от потопа, возделывал виноградники и изготовлял вина. Однажды его сыновья обнаружили отца спящим в опьянении обнаженным (Быт. 9, 21—23). *...А Лот <...> / Не мог понять, где дочь, где мать.* Имеется в виду библейский сюжет о дочерях Лота, напоивших его вином и спавших с ним (Быт. 19, 33—35). Жан *Котар* (?—1461) — каноник церквей Сент-Пьер и Сент-Этьен, в 1455 г. числился прокурором церковного суда и за какую-то провинность наложил на Вийона штраф. Знаменитый своим пьянством, Котар скончался за год до написания «Завещания» Вийона, и эта баллада-молитва включена в него.

743. ФВ-1, под назв. «Из жалоб прекрасной кабатчицы» (у других переводчиков: «прекрасной шлемницы» — см. ФВ-4. С. 86, 91) -- ФВ-3 -- ФВ-4. Перевод строф LIII—LVI из ст-ния «Les regrets de la belle heaumierre».

744. ФВ-1, под назв. «Баллада прекрасной кабатчицы к девицам» -- ФВ-3 -- ФВ-4. Перевод ст-ния «Ballade de la belle heaumiere aux filles déjoiées».

745. ФВ-1, с др. вар. ред., под назв. «Баллада, в которой Вийон благодарит каждого».

Бенедиктинцам, всем отцам,
Прохвосту, жулику и вору,
Служанкам, паре пышных дам,
Замысловаты чьи уборы,
Фигляру с сусликом, актеру,
Таверне и монастырю,
Ночных кутил хмельному хору
Я всем кричу — благодарю!
Ребятам и большим глупцам,
Чьи мне приелись разговоры.
И девкам, что за грош юнцам
Всё оголяют без зазора.
Безбожнику и бабке хворой,
И прощелыге — в эту пору
Я всем кричу — благодарю!
. . . . . .
Но не предателям, не псам
. . . . . .
Эх, чтоб теперь оставить споры,
Я всем кричу —благодарю!

Послание

Им ребра сосчитают скоро
Дубинкой, тут я посмотрю,
Как их поучат у забора.
Я всем кричу — благодарю!

-- ФВ-4. Перевод ст-ния «Ballade de merci».

746. ФВ-1 (вар.). Перевод строф LXXXV—LXXXVI из «Testament».

747. ФВ-1, под назв. «Послание к друзьям в форме баллады» -- ФВ-4; в БП-77 не вошло. Перевод ст-ния «Ballade-epitre aux amis».

748. ФВ-1 -- ФВ-2 -- ФВ-3 -- ФВ-4 -- БВЛ Т. 32. Первая ред. перевода цит. в романе Эренбурга «Буря» (СС-62. Т. 5. С. 681) Перевод ст-ния «Ballade de contre-vérités».

749. ФВ-1, под назв. «Спор между сердцем и телом Вийона. В форме баллады» -- Зарубежная поэзия в русских переводах. М., 1968. -- ФВ-4. Перевод ст-ния «Le débat du coeur et du corps de Villon». Эренбург писал, что эту балладу «трудно без волнения читать» (СС-90. Т. 6 С. 69).

750. ФВ-1. Перевод десяти заключительных строк ст-ния «L'Epitaphe et rondeau».

751. ФВ-1, под назв. «Эпитафия, написанная Вийоном в форме баллады для него и его сотоварищей перед повешением» -- Зарубеж-

ная поэзия в русских переводах. М., 1968. Перевод ст-ния «L'Epitaphe de Villon en forme de ballade».

752. ФВ-1 -- ФВ-2 -- ФВ-3 -- ФВ-4 -- Европейские поэты Возрождения. М., 1974 -- БВЛ Т. 32 -- Мастера поэтического перевода. СПб., 1997 (Новая Библиотека поэта). Перевод ст-ния «Ballade des menus propos».

753. ФВ-1 -- ФВ-4. Печ. по авт. экземпляру ФВ-1 с учетом карандашной правки. Перевод ст-ния «Ballade des dames du temps jadis». *Таис* Афинская —гетера, сопровождавшая Александра Македонского в его азиатских походах. *Флора* (рим. миф.) — богиня цветения и юности; в средние века это имя стало синонимом куртизанки. *Святая Девственница — дщерь Лорени* — Жанна д'Арк, уроженка провинции Лорень. *Эхо* (греч. миф.) — нимфа, высохшая от неразделенной любви к Нарциссу настолько, что от нее остался только голос. *Берта* — жена короля Пипина Короткого, мать Карла Великого. *Алиса* — персонаж рыцарских романов. *Где дама, плакавшая в тишине, / Что Буридана утопила в Сене?* Жан Буридан (ок. 1300—1358) — французский философ-схоласт; был брошен в Сену в наказание за любовь к королеве. *Элоиза* (1101—1162) — возлюбленная философа, богослова и поэта *Пьера* Абеляра (1079—1142), которого родичи Элоизы оскопили, чтобы сделать невозможным их брак; любовная переписка Пьера и Элоизы вдохновляла многих поэтов. *Бланш* — видимо, Бланка Кастильская (1188—1252), жена Людовика VIII, мать Людовика IX Святого.

754. ФВ-1. Печ. по авт. правленому экземпляру. Перевод ст-ния «Ballade de la grosse Margot». Ст. «В блудилище, где вместе мы живем» Эренбург приводил в письме к Б. В. Савинкову от 10 января 1916 г. (Зв. 1996. № 2).

755. ФВ-1, под назв. «Четверостишие, сложенное Вийоном, когда он был приговорен к смерти» -- ФВ-2 -- ФВ-3 -- ФВ-4 -- БВЛ Т. 32. Перевод ст-ния «Quatrain». «Помню, как Маяковский, когда ему бывало не по себе, угрюмо повторял четверостишие Вийона...» (СС-90. Т. 6. С. 70).

Пьер де Ронсар

О Пьере Ронсаре (1524—1585) в 1956 г. Эренбург писал: «Сорок лет назад я зачитывался Ронсаром и перевел тогда один из его сонетов, обращенных к Елене <...>. Радость жизни, которую вернуло Франции Возрождение, была связана с мыслями о быстротечности всего, с легкой печалью, свойственной искусству Древней Греции. Однако по своему душевному складу Ронсар был поэтом полудня, лета, душевного веселья» (СС-90. Т. 6. С. 102). В романе «Падение Парижа» приводится строфа другого ст-ния Ронсара в переводе Эренбурга:

Признает даже смерть твои владенья,
Любви не выдержит земля,
Увидим вместе мы корабль забвенья
И Елисейские поля...

(СС-90. Т. 5. С. 285).

756. ФТ-1 (в статье «Поэзия Иоахима Дю Белле») -- ТД -- БП-77. Авт. машинопись с вар. после ст. 8: «Я буду мертв, и преданный забвенью, / Среди теней я стану легкой тенью. / Мою любовь и гордость прошлых лет / Вы вспомните, перебирая нити. / А дни идут. О, верьте мне — живите, / Срывая роз необлетевший цвет». (Копия. СК). Перевод ст-ния «Quand vous serez bien vieille, au soir a la chandelle...».

Жоакен Дю Белле

Жоакен (Иоахим) Дю Белле (1522—1560) — самый любимый Эренбургом поэт французского Возрождения. Вместе со своим другом Ронсаром дю Белле возглавил новую школу французских поэтов, названную «Плеядой». «Величье Ронсара как бы мешало рассмотреть тихого и чрезвычайно скромного Дю Белле, — писал Эренбург в 1957 г. — <...> Дю Белле был одним из первых французских поэтов, выразивших в стихах себя, а люблю я его потому, что в его стихах нахожу многое из того, что сам прочувствовал и о чем думал» (СС-90. Т. 6. С. 102—103). Гл. 33 1-й кн. ЛГЖ начинается так: «Это было утром. Я сидел, как всегда, в пустой "Ротонде" и бился над переводом сонета Дю Белле, который из Рима взывал к Франции...» (Т. 1. С. 216). Действительно, первый перевод из Дю Белле Эренбург напечатал в «Биржевых ведомостях» еще 18 сентября 1916 г.:

Коль есть скиталец, детище уныний,
Что вечно чуждым воздухом дыша,
От пристани до пристани спеша
И открывая новые святыни —
Не вспоминал о брошенной долине,
О речке, о затонах камыша,
Чья жадная не плакала душа,
Скорбя, не изнывала на чужбине —
То это сын скалы, волчихи злой,
Сосавший грудь подстреленной тигрицы.
Но нет! И дикое зверье и птицы
Ползут, бегут, летят к земле родной.
А пойманы порой глядят с тревогой
Туда, где их гнездо, нора, берлога.

Новые переводы сонетов Дю Белле, выполненные в 1957 г., Эренбург опубликовал в ФТ-1. Они перепечатаны в ФТ-2, СС-62, БП-77, СС-90. Получив от Эренбурга ФТ-1 с надписью: «Дорогой Лизе многострадальную мою книгу И. Эренбург. ...Зачем только черт меня

дернул / Влюбиться в чужую страну?», Е. Г. Полонская написала ему 26 декабря 1958 г.: «С удовольствием перечла некоторые твои переводы Дю Белле, которые давно знаю и люблю "Счастлив, кто уподобясь Одиссею"» (РГАЛИ. Ф. 1204. Оп. 2. Ед. хр. 2055. Л. 11).

757. Перевод сонета LIX. *Голубка над кипящими валами* — см. примеч. 403.

758. Перевод сонета LXXXIII. *Анжу* — историческая область на северо-западе Франции, родина поэта.

759. Перевод сонета III. Цит.: ЛГЖ. Т. 2. С. 207.

760. Перевод сонета VII.

761. Перевод сонета XXVII.

762. Перевод сонета I.

763. Перевод сонета V.

764. Перевод сонета IX. Цит: ЛГЖ. Т. 1. С. 216.

765. Перевод сонета XII.

766. Мастера поэтического перевода. СПб., 1997 (Новая библиотека поэта). Перевод сонета XXXI. Первая ред.:

Счастлив, как будто мудрый Одиссей,
Дотоле в странствиях неутомимый,
Закончит путь, и посох пилигрима
Поставит возле хижины своей.
Когда увижу я родных полей
Селения, над очагами дымы,
И отчий кров, тот уголок родимый,
Что — жизнь моя и жизни мне милей?
Не променяю я на Рим огромный
Лирэ родного красоты укромной.
Не мрамором я пышным дорожу,
Но сизым аспидом на кровле старой.
Я не отдам за Тибр моей Луары.
Нет воздуха мне слаще, чем Анжу.

(Копия. СК).

Лире — деревушка, где родился Дю Белле.

767. Перевод сонета XXXIX.

768. Перевод сонета CVI. *Король троянский* — Приам.

Поль Верлен

Поль Верлен (1844—1896) неоднократно упоминается в ЛГЖ. Рассказывая о Париже 1912 г., Эренбург написал: «Впервые я напал на томик Верлена; его певческий дар, его печальная и нелепая судьба меня взволновали. В кафе на бульваре Сен-Мишель официант с благоговением показал мне продавленный диван: "Здесь всегда сидел господин Верлен..."» (ЛГЖ. Т. 1. С. 109; в КдВ есть уточнения: кафе называлось «Вашетт», а диван был «сальным» — с. 212). Тогда же было написано ст-ние № 154.

Переводы из Верлена выполнены для книги «Поэты Франции», в предисловии к которой, говоря о том, что «70—80 годы являются для французской поэзии эпохой истинного возрождения», Эренбург первым назвал имя Верлена. Сказав, что переводить стихи французов для него «высокое наслаждение», Эренбург воскликнул: «Думать, что, быть может, за неловкими и бедными строками читатель почует слезы Верлена, опьяненного иным миром, <...> — как это радостно!». В антологии было напечатано восемь ст-ний Верлена, которым Эренбург предпослал прочувствованный биографический очерк о «бедном Лелиане».

Антология ПФ вызвала многочисленную прессу. Эренбурга и хвалили, и бранили. Переводы из Верлена за поэтический произвол, нарушение буквальной точности особенно яростно ругали В. Я. Брюсов (РМ. 1914. № 4) и Б. М. Эйхенбаум (Северные записки. 1914. № 7), считавший, что «с Верленом, вообще, переводчик прямо беспощаден».

Все переводы впервые опубликованы в ПФ и печатаются по ней; вошли в ТД и БП-77.

769. Перевод ст-ния «Promenade sentimentale» из первой кн. Верлена «Poémes saturniens» (1866). *Ненюфары* — см. примеч. 10.

770. Перевод ст-ния «Colloque sentimentale» из кн. «Fktes Galantes» (1869).

771. Перевод ст-ния «La lune blanche...» из кн. «La Bonne Chanson» (1870). В очерке о Верлене Эренбург рассказал, что в ответ на вопрос, что он любит больше всего из своих книг, «Верлен назвал написанную в дни своей любви к молоденькой и наивной девушке песенку "Свет луны туманной"» (ПФ. С. 16). Брюсов считал перевод Эренбургом названия этого ст-ния неверным: «луна этих стихов не туманная, а белая» (РМ. 1914. № 4. С. 132).

772. Перевод ст-ния «L'ombre des arbres...» из кн. «Romances sans Paroles» (1874). По этому ст-нию озаглавили итоговый сб. переводов Эренбурга ТД.

773. Перевод ст-ния «Le piano que baise une main frkle» из кн. «Romances sans Paroles»

774. Верлен П. Лирика. М., 1969 (Сокровища лирической поэзии) -- Французские стихи в переводе русских поэтов М., 1973. Перевод ст-ния «Il pleure dans mon coeur...». Эпиграф («Тихо идет дождь над городом») из неизвестного ст-ния А. Рембо. «Литературным преступлением» назвал (за отсутствие буквальной точности) этот перевод Б. М. Эйхенбаум (Северные записки. 1914. № 7. С. 193). Положено на музыку О. Муминым.

Франсис Жамм

Творчество Франсиса Жамма (1868 — 1938) оказало несомненное влияние на Эренбурга в начале 1910-х гг. он писал об этом: «Я прочел стихи Франсиса Жамма. Это было сочетанием языческого пантеизма с инфантильным христианством. Жамм писал о растениях, о свежести обыкновенного утра, об ослах. <...> В стихах Жамма оправдывался не только голубь, но и коршун. Я годами бился над тем, откуда происходит зло. Я не мог принять двойственность мира. Я ухватился за бога ослов и трав» (КдВ. С. 319—320). В мемуарах Эренбург писал о Жамме: «Его католицизм был свободен и от аскетизма, и от ханжества: он хотел, например, войти в рай с ослами. Я переводил его стихи и начал ему подражать: пантеизм показался мне выходом» (ЛГЖ. Т. 1. С. 109). О своей поездке к Жамму в Ортез Эренбург рассказал в статье «У Франсиса Жамма» (Новь. (М.) 1914. 26 февраля).

Над переводами Жамма Эренбург работал в 1912 г. 19 октября 1912 г. он писал В. Я. Брюсову: «Я посылаю Вам несколько сделанных мной переводов стихов Франсиса Жамма. Не думая, чтобы они были достаточно совершенны для помещения в "Русской мысли", я очень прошу Вас просто высказать Ваше мнение о них. Я продолжаю работать над переводами стихов Жамма, и Ваши указания помогли бы мне в этом» (БиК. С. 528); к письму были приложены автографы и машинописи восьми переводов, семь из которых Эренбург в 1913 г. напечатал в кн. Жамма. В письме Брюсову от 21 октября Эренбург дополнительно сообщил, что имеет разрешение Жамма на публикацию его переводов (Там же). Эренбурговский перевод двадцати трех ст-ний Жамма составил «поэтическую» часть кн.: Жамм Ф. Стихи и проза. М., 1913 (прозу перевела Е. О. Шмидт). В предисловии к ней Эренбург писал: «Для совершенного перевода стихотворений необходимо, чтобы переводчик перестал быть самим собой, перевоплотился, стал автором. Этого сделать мне не удалось. Простота, детская наивность, уклад жизни, наконец, вера в Бога и в Церковь Жамма почти всегда являлись для меня лишь недостижимым идеалом. <...> Форма стихов Жамма крайне своеобразна и найти соответствующую ей в русском стихе мне удалось лишь в слабой степени. Ближе других к оригиналу, по форме, стихи, переведенные мной за последнее время ("Полезный календарь" и другие...)».

Критика встретила издание малоизвестного в России Жамма благосклонно. «Переводы И. Эренбурга, — писал В. Нарбут, — почти

безупречны. Намеренно неполные формы — прелестны» (Новый журнал для всех. СПб., 1913. № 5); «Переводы Эренбурга подчас близко подходят к подлиннику» (рец. В. Ирецкого — Речь. (СПб.)., 1913. 27 мая); «Благодаря Эренбургу, томик этот может вызвать у читателей интерес к Жамму» (Русская молва. (СПб.)., 1913. 20 июля); «В переводах Эренбург сумел передать дух поэзии Жамма» (рец. Н. Венгрова. — С-к. 1914. № 13—15); «И через неудачные и слишком общие обороты перевода мы видим и чувствуем истинную сущность поэта», — писал тогда же переводивший Жамма Д. Крючков (День. (СПб.)., 1913. 16 декабря); «Перевод прекрасный, выбраны очень характерные для Жамма произведения» (Голос Москвы. 1914. 19 февраля). Один только пушкинист Н. Лернер написал: «Отчасти из-за робкого благоговения переводчиков перед подлинником, отчасти по милости их плохого знакомства с русским языком, переводы сбиваются на гимназический подстрочник» (Нива. 1913. № 9. Прилож.)

Все переводы из кн. 1913 г. вошли в ТД; четыре из них включены в ПФ, пять — в БП-77.

775. Перевод ст-ния «Le calendrier utile» из кн. «De l'Angelus de l'Aube à l'Angelus du Soir» («От утреннего благовеста до вечерни» — пер. Эренбурга; 1888—1897; из этой же кн. следующие три перевода). Анри *Руссо* (1844—1926) — французский художник-примитивист.

776. Перевод ст-ния «C'était affreux ce pauvre petit veau...».

777. Перевод ст-ния без назв.

778. Хмель. 1913. № 7—9 (в статье Эренбурга «Заметки о французской поэзии») -- Новь. (М.) 1914. 26 февраля (в статье И. Эренбурга «У Франсиса Жамма» с комментарием о Жамме: «Начиная с 1888 г., почти каждый год посылал он в Париж новый сборник стихов и, получая вместе с насмешливыми отзывами стихи общепризнанных поэтов, в свою очередь недоумевал»). Перевод ст-ния «L'eau coule dans la boue...».

779. Новь. (М.) 1914. 26 февраля (в статье «У Франсиса Жамма»), где названо «лучшей молитвой» Жамма. Перевод ст-ния «Priére pour aller au Paradis avec les ânes» из кн. «Le Deuil des Primaveres» («Траур весен» — пер. Эренбурга; 1899—1900).

Андре Спир

Проживший почти 100 лет Андре Спир (1868—1966) был одним из первых поэтов и теоретиков верлибра. Он остается неизвестным в России, где переведены только три его ст-ния (ПФ); в кратком предисловии к той публикации Эренбург писал: «Среди французских поэтов А. Спир занимает совершенно особенное место. Еврей по происхождению и по душе, вечно неудовлетворенный, блуждаю-

щий и мятежный, он кажется каким-то иностранцем, варваром, случайно вошедшим в светский салон». В 1919 г. в Киеве Эренбург написал об А. Спире статью «Святое "нет"» (Камена. (Харьков). 1919. № 2; перепечатана — Минувшее. СПб., Вып. 22. 1997); мысли, выраженные в ней, (например: «Отрицанием жить нельзя, но без него замер бы мир, без соли стал бы пресным»), Эренбург повторял даже в самых последних своих ст-ниях (например, в № 660).

780. Перевод ст-ния «A la France» из кн. «Poèmes juifs». Цит. в статье Эренбурга о Спире (Камена. (Харьков). 1919. № 2).

Гийом Аполлинер

Для кн. «Поэты Франции» Эренбург перевел три ст-ния Гийома Аполлинера (1880—1918). Тогдашнее его отношение к поэзии Аполлинера было смешанным: «Пресыщенный всем, поэт напрасно старается развлечь себя грудой самых неожиданных и ярких образов, с безверьем и пустотой он глядит на все окружающее, на жизнь, на людей и даже на Христа. Нам дороги эти, быть может, пустые (как и наши души) стихи, эти судорожные зевки усталой души» (ПФ. С. 108). В КдВ Эренбург писал: «Гийом Аполлинер нес в себе смуту и лирическое начало прошлого столетия; его жизнерадостность прерывалась внезапными паузами; он был последним из "проклятых поэтов"» (С. 219). В ЛГЖ Эренбург рассказал, как в начале 1914 г. познакомился с Аполлинером в «Ротонде»: «Легко догадаться, как я волновался. Я ничего не мог выговорить, и даже не следил за беседой, а на Аполлинера глядел, видимо, с таким восхищением, что он смеясь сказал: "Я не красивая девушка, а мужчина средних лет" <...> Стихи Аполлинера мне казались чересчур гармоничными...». Но итог его раздумий вполне определенен: «А к стихам Аполлинера я был несправедлив: он был не только большим поэтом, но и человеком нового века, чуть припудренным серебряной пылью древних европейских дорог» (Т. 1. С. 163—164). Аполлинеру Эренбург посвятил не только главу в ЛГЖ, но и статью «О Гийоме Аполлинере» (Мс. 1965. № 7), в которой написал, что рефрен ст-ния «Мост Мирабо», «непереводимый на другой язык, не может оставить в покое человека, прочитавшего оригинал, настолько он прост, точен, поэтичен и печален»; в ЛГЖ Эренбург все же привел в своем переводе отрывок из этого ст-ния (Т. 2. С. 209).

Критика не отметила переводов Эренбурга из Аполлинера — их отметили молодые читатели. Леонид Мартынов вспоминал, как он «наткнулся на шершавую квадратную книгу», в которой прочел перевод «неведомого еще мне тогда Ильи Эренбурга из неведомого мне Аполлинера». «Эти строки, прочтенные темным слякотным вечером в годы германской войны, когда старшие толковали о смертях, поражениях и изменах, как-то меня утешили, пришлись мне по вкусу и в то же время напомнили мне чем-то Маяковского... И мне кажется, что это детское восприятие было точным» (Мартынов Л. Воздушные

фрегаты. М., 1974. С. 22—23). От лица следующего поколения русских поэтов, участников Отечественной войны, Борис Слуцкий написал: «Антология "Поэты Франции" нашла свое место на книжных полках нескольких поколений русских поэтов от Маяковского до Николая Майорова, Павла Когана и Михаила Кульчицкого. Двадцатилетний Илья Эренбург сделал то, что не довелось сделать несравненно более опытным в то время Валерию Брюсову и Федору Сологубу. В толпе двадцатилетних, как и он сам, французских поэтов Илья Эренбург отличил и перевел на русский язык именно тех, кто стал будущим французской поэзии, — Аполлинера, Сальмона, Вильдрака» (ТД. С. 10). Перепеч. в ТД.

781. Перевод ст-ния без назв. из цикла «La chanson dumal d'aimes» («Песнь несчастного в любви») в кн. «Alcools» (Алкоголи; 1913; следующие два ст-ния также из этой кн.). Цит. в кн.: Мартынов Л. Воздушные фрегаты. М.,1974. С. 22. *Лэ* (франц. lai) — здесь: средневековые песни на бретонские мелодии. *Шателен* (франц. chatelain) — владелец замка. *Мурены* — большие рыбы, водившиеся в Средиземном море; их укусы смертельно опасны, а их мясо высоко ценилось римлянами.

782. Перевод ст-ния «Le colchique» (безвременник, или шафран, луговая разновидность крокусов). В ЛГЖ Эренбург привел новый перевод первой строфы:

Долина осенью пышна, но ядовита,
И медленно бредут по ней коровы,
Вбирая темный и тягучий яд.
От крокусов долины той лиловой,
Как крокус, пышен и лилов твой взгляд,
И в жизнь мою из глаз твоих струится
Такой же медленный и страшный яд.

(Т. 1. С. 163).

783. Перевод второго ст-ния без назв. из цикла «Les fiançailles» («Обручение»), посвященного Пикассо.

Робер Деснос

Стихи Робера Десноса (1900—1945) Эренбург перевел для главы о нем в мемуарах ЛГЖ (впервые — НМ. 1961. № 10. С. 137—138). Деснос начинал как ярый приверженец сюрреализма, но в 1930 г. с сюрреализмом порвал, так что ссора Эренбурга в середине 1930-х гг. с вождем сюрреалистов Бретоном не повлияла на его отношения с Десносом (они познакомились в 1927 г.; друзьями не стали, но время от времени встречались). В мемуарах Эренбург процитировал своего друга Поля Элюара, полностью с ними согласившись: «Из всех поэтов, которых я знал, Деснос был самым непосредственным, самым свободным, он был поэтом, неразлучным с вдохновением, он мог го-

ворить, как редко кто из поэтов может писать. Это был самый смелый из всех...» (Т. 1. С. 488). Перепеч. в ТД.

784. Из кн. «Etat de veille» («Бодрствование», 1943); написано в 1942 г. в оккупированном гитлеровцами Париже, где 22 февраля 1944 г. Десноса арестовало гестапо. На парижской *улице Сен-Мартен* Деснос родился.

785. Сонет из посмертной книги «Calixto, suivi de Contrée» («Калисто», 1962); написан в концлагере. «Этот сонет написан в той обстановке, когда ложь или поза бесполезны. Деснос видел газовые камеры, куда уводили каждый день партию заключенных. Размышляя в стихах о близкой смерти, он повторил то, что сказал мне в дни своего счастья...» (ЛГЖ. Т. 1. С. 492).

786. Ст-ние, написанное в 1926 г., было найдено среди бумаг Десноса в концлагере и тогда же напечатано по-чешски; воспринятое как последнее ст-ние Десноса, оно было переведено на французский. Эренбург также считал его последним ст-нием Десноса (ЛГЖ. Т. 1. С. 489).

ИЗ ИСПАНСКОЙ И ЛАТИНОАМЕРИКАНСКОЙ ПОЭЗИИ

Гонсало из Берсео

Гонсало из Берсео — испанский поэт XIII в. «Первый испанский поэт в начале XIII века Гонсало де Берсео <...> писал, как и все его современники, о чудесах, но те чудеса, которые у французов выглядели изложением догматов церкви, в стихах де Берсео — изображения действительности: Богоматерь становится повитухой, чтобы помочь монахине, нарушившей обет целомудрия» (СС-62. Т. 6. С. 668).

787. Гермес. Киев, 1919. Сб. 1-й -- ТД -- БП-77. Перевод фрагмента поэмы «Los Milagros de Nuestra Señora».

Хуан Руис

Хуан Руис (Протопресвитор Итский; 1283—ок. 1350) — испанский поэт, автор «Книги благой любви» («Libro de buen amor»). Эренбург писал о себе: «1915 г. Мне 24 года, на вид дают 35. Рваные башмаки, на штанах бахрома. Копна волос. Читаю Якоба Беме, Арсипресто де Ита, русские апокрифы» (КдВ. С. 315).

788. Гермес. Киев, 1919. Сб. 1-й -- ТД -- БП-77 -- Испанская поэзия в русских переводах. М., 1978. Перевод ст-ния «De las figuras del Arcipreste» из «Libro de buen amor». «Первым русским поэтом, обратившемся к творению Хуана Руиса, — писал переводчик всей книги М. А. Донской, — был Илья Эренбург. Но тогда, в 1919 г., он, очевидно, ставил перед собой ограниченную задачу: хотел познако-

мить читающую Россию с никому не известным дотоле средневековым испанцем, оставляя в стороне своеобычие его версификации, — переведенный Эренбургом отрывок выполнен пятистопным ямбом, двустишиями» (Руис Хуан. Книга благой любви. Л., 1991. С. 379).

Хорхе Манрике

Хорхе Манрике (1440—1479) — испанский поэт. «Свои знаменитые стихи он написал после смерти отца, Родриго Манрике, славного рыцаря, победителя 22 битв, одно имя которого рождало страх в Гренаде, — рассказывал Эренбург во вступительной заметке к своим переводам Хорхе Манрике. — <...> В "Стихах на смерть отца" все удивительно и совершенно. Это не общие рассуждения о смерти, это сдержанный стон, страстная молитва. Христианский аскетизм, стойкость в смирении порождают не ужас перед смертью, но достойную человека скорбь. Сам стих с короткими заключительными строками, падающими резко, то как лязг мечей, то как похоронный звон, то как стук земли о гроб, выявляет содержание» (Понедельник. (М.) 1918. 29 апреля). Впервые фрагмент из «Строф» Хорхе Манрике в своем переводе Эренбург привел в статье «В испанском кафе» (УР. 1916. 15 января).

789. Понедельник. (М.) 1918. 29 апреля. Строфа III цит.: Эренбург И. Умер Антонио Мачадо // Известия. 1939. 24 февраля (см. также: Эренбург И. Испанские репортажи. М., 1986. С. 367); ЛГЖ. Т. 1. С. 526, вар.: «Наша жизнь — это реки, / А смерть — это море, / Берет оно столько рек, / Туда уходят навеки / Наша радость и горе, / Все, чем жил человек..» (так же в: Т. 2. С. 188, в главе об Антонио Мачадо, где рассказывается, в частности, как Мачадо читал Эренбургу строфы Хорхе Манрике). Строфа XXIX цит.: УР. 1916. 15 января. Строфа XXXIII (с разночтениями) цит.: ЛГЖ. Т. 1, С. 527). Строфы I, III, VII, XXV, XXVI, XXXIII и XL — Испанская поэзия в русских переводах. М.,1978. Перевод строф поэмы «Coplas por la muerte de su padre».

Пабло Неруда

Пабло Неруда (1904—1973) — чилийский поэт и политический деятель, лауреат Нобелевской премии, друг Эренбурга. Их знакомство состоялось в Мадриде весной 1936 г. В 1938 г. Эренбург перевел книгу ст-ний Неруды «Испания в сердце» («España en el corasón»), и этот перевод был издан в Москве в 1939-м. В начале 1950-х гг. Эренбург перевел главу книги Неруды «Всеобщая песнь» (М., 1954). Несколько книг Неруды вышли в СССР с предисловиями Эренбурга; Неруде посвящена глава в ЛГЖ. В свою очередь, Неруда не раз писал об Эренбурге (в 1942 г. в Мексике, в воспоминаниях «Признаюсь: я жил», вышедших посмертно, М., 1978 и т. д.). «Очарование поэзии Неруды в органической связи слов, образов, чувствований; они не нуждаются ни в корсете стихотворного размера, ни в бубен-

цах рифм», — написал Эренбург в предисловии к книге Неруды «Плаванья и возвращения» (М., 1964. С. 16).

Впервые: Неруда П. Испания в сердце. М., 1939, перепеч.: Неруда П. Стихи. М., 1949; ТД, БП-77.

790. Перевод ст-ния из кн. «España en el corasón». *Июль напал на твое веселье.* Имеется в виду начавшийся 18 июля 1936 г. и поддержанный католической церковью военно-фашистский мятеж в Испании против республиканского правительства.

791. Перевод ст-ния из кн. «España en el corasón». *Рауль* Гонсалес-Туньон (1905—1974) — аргентинский поэт, участник гражданской войны в Испании. *Рафаэль* Альберти (род. 1902) — испанский поэт, участник гражданской войны в Испании. *Федерико* Гарсия Лорка (1898—1936) — испанский поэт, убит фашистами в начале мятежа в Гранаде. *Бомбовозы* — тогдашнее наименование бомбардировщиков.

Николас Гильен

Николас Гильен (1902—1989) — кубинский поэт. Эренбург познакомился с Гильеном во время гражданской войны в Испании. Его ст-ния он переводил в тяжелое для себя время — в начале 1949 г. В ЛГЖ Эренбург рассказывает, как встретился с Гильеном на Парижском конгрессе сторонников мира в мае 1949 г.: «После пресс-конференции я пошел с Гильеном в маленький ресторан на левом берегу Сены. В феврале я перевел десяток коротких стихотворений Гильена <...>. Мы говорили о сути поэзии — о непонятном притяжении и отталкивании слов» (Т. 3. С. 110). В 1952 г. в Москве вышла книга ст-ний Гильена с предисловием Эренбурга. Переводы Эренбурга перепечатывались во всех сб. ст-ний Гильена, выходивших в СССР. После смерти Эренбурга Гильен написал о нем воспоминания (см.: Гильен Н. Избранное. М., 1982. С. 447—449). «В Гильене вообще много детского. Он любит аплодисменты, медали; слава для него — елка с блестящими звездами и хлопушками <...>. Его стихи очень музыкальны. Они связаны с песнями кубинских негров и мулатов» (ЛГЖ. Т. 3. С. 175).

Девять переводов Эренбурга из Гильена вошло в ТД, шесть — в БП-77.

792. Зн. 1949. № 8. Перевод 2-го ст-ния «Coroneles de terracota...» поэмы «West-Indies Ltd» (1934).

793. В борьбе за мир. М.; Л., 1949. Цит.: ЛГЖ. Т. 3. С. 110, 175. Перевод ст-ния без назв. из кн. «El son entero» («Все песни», 1947).

794. Зн. 1949. № 8. Перевод ст-ния «Barvolento (Venezuela)» из сб. «El son entero» («Все песни», 1947).

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Августу 141
Авиатор 121
«Авиатор плавает бесцельно...» (Авиатор, 3) 123
«"Аврора" дулась, дулась и река...» 448
«Альбасете, тише! Альмаден, молчи!..» 463
Амстердам 134
Аполлон (Барельефы, 4) 107
Арес (Барельефы, 2) 106
«"Атаки отбиты... победа..."» 185
Афродита (Барельефы, 1) 105

Бабий Яр 512
Баллада 93
Баллада, в которой Вийон просит у всех пощады. *Из Вийона* 603
Баллада Вийона к толстой Марго. *Из Вийона* 609
Баллада и молитва. *Из Вийона* 600
Баллада истин наизнанку. *Из Вийона* 605
Баллада о дамах былых времен. *Из Вийона* 608
Баллада об Исаке Зильберсоне 567
Баллада поэтического состязания в Блуа. *Из Вийона* 599
Баллада прекрасной оружейницы девушкам легкого поведения. *Из Вийона* 602
Баллада примет. *Из Вийона* 607
<Тень> Бальмонта. («Пляши вкруг жара его волос!..») 203
Барельефы 105
«Батарею скрывали оливы...» 479
«Бежим куда-нибудь...» 172
«Белесая, как марля, мгла...» 472
«Белеют мазанки. Хотели сжечь их...» 514
Беременная женщина 154
«Бесшумно пролетают сани...» 142
Благовещенье (Сандро Боттичелли, 3) 118
Благодарю 114
«Блузник, на лбу твоем пот...» 415
Богу 115
«Боже, милый, ласковый...» 166
«Боже, Ты мне, неумелому...» 166
Божье Слово 311
Божья люлька 565
«Бои забудутся, и вечер щедрый...» 465
Бой быков 460
«Большая черная звезда...» 503
«Бомбы осколок. Расщеплены двери...» 475
«Боролись с ветрами, ослабли...» 410
«Бродят Рахили, Хаимы, Лии...» 482
Брюгге 78
«Будет день и станет наше горе...» 422
«Будет солнце в тот день, или дождь, или снег...» (В феврале 1945, 1) 519
«Бунтом не зовите годы высокой работы...» 409

«Бывала в доме, где лежал усопший...» 508
«Был бомбой дом как бы шутя расколот...» 480
«Был дом обжит, надышан мной...» 577
«Был лютый мороз. Молодые солдаты...» 508
«Был пятый час среди январских сумерек...» 530
«Был тихий день обычной осени...» 524
«Был час один — душа ослабла...» 515
«Была трава, как раб, распластана...» 510
«Были вокруг меня люди родные...» 79
«Были года и года...» 451
«Были липы, люди, купола...» 517
«Было в жизни мало резеды...» 517
«Было в слове "русский" столько доброты...» 511
«Быть может...» 586
«Бьется пташка, в траву ныряет...» 399

В августе 1914 года 181
В Барселоне 490
В Белоруссии 511
В больнице 217
В Брюгге 559
В вагоне 197
«В вечер долгий, в вечер зимний...» 134
В гетто 513
«В глухую ночь ты распят был...» 105
«В городе брошенных душ и обид...» 493
В Греции 533
«В деревенском кафе я ходячий вдовец...» 198
В детской 186
В Доме литераторов 548
В звездах 330
«В зените бытия любовь изнемогает...» 437
«В знакомых пятнышках обои...» 132
В зоопарке Лондона 533
«В их мире замкнутом и спертом...» 587
В кабаке 152
«В кастильском нищенском селенье...» 464
В кафе 194
«В кафе пустынном плакал газ...» 190
«В книге оставляют закладку...» 176
В Копенгагене 539
«В лесу деревьев корни сплетены...» 480
«В лесу ягненок блеет — знать...». *Из Дю Белле* 614
В мае 1945 521
<Тень> В. Н. («Собирает кинжалы, богов китайских...») 205
«В нежном свете гаснущего газа...» 175
«В ночи я трогаю недоумелый...» 453
В ночном баре 152
В ноябре 1917 309
«В одежде гордого сеньора...» 77
«В окопе или в маленькой землянке...» 579
В переулке 317
«В печальном парке, где дрожит зола...» 581
В пивной 183
«В поздний час...» (Прославление земной любви, 3) 384

В раю 572
В Римском музее 538
«В росчерк спички он, глумясь, вложил...» 578
В саду 225
В самолете 542
В смертный час 311
В солнцевороте 209
В Софиевском соборе (О любви, 4) 327
«В сумерках всё темней и значительней...» 174
В театре 544
«В темный храм с невольною тревогой...» 102
«В тихих прудах печали...» 210
«В тяжелый свод ушли тяжелые колонны...» 103
В феврале 1945 519
В февральскую ночь 212
«В шестнадцать лет мы любим прелесть...» 129
«В этих темных узеньких каналах...» (В Брюгге, 1) 559
«В этот вечер звезды замирали...» (Авиатор, 1) 121
В январе 1939 465
«Вам всё понятно в мире...» 395
Вандея 91
«Вдруг — среди дня — послушай...» 441
Венесуэла. *Из Гильена* 638
Верлен в старости 153
Верность («Верность — прямо дорога без петель...») 460
Верность («Жизнь широка и пестра...») 530
<Тень> Веры Инбер («Были слоны из кипарисового дерева...») 201
Веселый день 196
Весеннее 216
Весна («Первый теплый день сегодня...») 157
Весна (Времена года, 1) 110
«Весна снега ворочала...» 414
«Весна такая тяжелая...» 209
«Весной дождик шальной...» 169
«Весной душа моя наивней...» 139
«Ветер летит и стенает...» 397
Ветхая история 553
Вечер 162
«Вечера, тенистые, как пальмы...» 176
«Вечерний свет был матово-зеленый...» 85
Вечером 562
«Вечером ты ляжешь...» 167
«Взвился рыжий, ближе! Ближе!..» 429
«Взгляни — у бездны на краю трава...». *Из Десноса* 624
«Вздуй, трубач, серебряные щеки...» 445
«Видишь, любить до чего тяжело...» 439
«Видишь: я с тобою близко...» 131
«Висел старинный щит на мраморных колоннах...» 87
Вместо письма 149
«Во Францию два гренадера...» 523
Возврат 126
Возвращение 323
Возвращение моряка. *Из французских народных песен* 596
Воздушная тревога 492
Возле Фонтенбло 483

Возмездие 497
«Волос черен и золот...» 440
«Воробьи прыгают по березам...» 168
Воскресный вечер 151
«Вот кто славным трудится трудом!..». *Из Жамма* 620
«Враги, нет, не враги, просто многие...» 386
Враки. *Из французских народных песен* 597
Времена года 110
«Всё взорвали. Но гляди — средь щебня...» 578
«Всё за беспамятство отдать готов...» 479
«Всё призрачно, и свет ее неярок...» 539
«Всё простота: стекольные осколки...» 487
«Вчера казалась высохшей река...» 532
«Вы жить обречены...» 199
«Вы приняли меня в изысканной гостиной...» 84
«Выбралась свинья из запуток...» 170

«Гаснет день чахоточный и хилый...» 564
«Где задремавший Тибр плывет средь гордых зданий...» 96
«Где играли тихие дельфины...» 467
«Где камня слава, тепло столетий...» 484
«Где солнце, как желток, белы потемки...» 447
Где-то в Польше 186
«Глаза погасли, и холод губ...» 476
«Глупая, тише...» 168
«Гляжу на снег, а в голове одно...» 516
«Говорит Москва» 492
«Говорят и глядят...» 177
Гоголь 231
Год 143
«Голубка над кипящими валами...». *Из Дю Белле* 610
Гончар в Хаэне 474
Гордыня (Обретенное, 4) 275
«Город рос, как тайга, душный и частый...» 493
«Города горят. У тех обид...» 494
Городские дети 557
«Горят померанцы, и горы горят...» 487
Господин Ля Палисс. *Из французских народных песен* 598
«Громорыкого Хищника...» 433
«Гудит и плещет стихия...» 391

«Да разве могут дети юга...» 532
«Далеко, на милой могиле...» 404
Двадцать пятое марта 226
«Две-три песчинки на ладони...» 423
Девичье поле 561
«Девушки печальные о Вашем царстве пели...» 78
Девье слово 209
Деметра (Барельефы, 3) 107
«День засыпает навеки...» 565
«День придет, и славок громкий хор...» (В феврале 1945, 2) 519
«Детство, одуванчик нежный...» 128
Дионис 108
Добрый Пастырь 228
Довольно!.. 556

«Догоревшие свечи так сонны...» 100
«Додумать не дай, оборви, молю, этот голос...» 479
«Дождик гадкий идет да идет...» 169
Дождь в Нагасаки 528
Дорога 570
«Дорога вьется, тянет, тянется...» (Франция, 1) 581
Другу 224
«Душа весною суеверней...» 139
Дыхание («Мальчика игрушечный кораблик...») 468

<Тень> Е. Р. («Не забыть твоего лица...») 202
<Тень> Е. Ш. («Каторжница, и в минуты злобы...») 200
«Евреи, с вами жить не в силах...» 135
Еврейскому народу 123
Европа 510
Его рука (О любви, 3) 326
«Если б сегодня пророк пришел...» 233
«Если бы ты была козой...» 166
«Если был бы Твоим паладином...» (Изабелла Оранская, 3) 90
«Если ночью не уснешь, бывало...» (О маме, 1) 160
«Если ты к земле приложишь ухо...» 140
«Есть в севере чрезмерность, человеку...» 527
«Есть в хаосе самом высокий строй...» 472
«Есть время камни собирать...» 513
«Есть жизни, точно тонкие тропинки...» 176
«Есть задыханья, и тогда...» 427
«Есть надоедливая вдоволь повесть...» 526
«Есть перед боем час — всё выжидает...» 487
«Ехал воз...» 169
Еще в кафе 196
Еще колыбельная («Ни к богатым, ни к косматым...») 227

«Жалко в жизни мне еще дождя...» 457
Ждала 188
«Жилье в горах, как всякое жилье...» 467

«За то, что губы мои черны от жажды...» 402
«За то, что зной полуденной Эсфири...» 513
«За что он погиб? Он тебе не ответит...» 520
«Заезжий двор. Ты сердца не щади...» 446
«Зайдешь к танкистам, и в чужой землянке...» 508
Заключительное представление, или снова в моем веселом кафе 238
«Замерзшее окно как глаз слепца...» 576
«Запомни этот ров. Ты всё узнал...» 514
«Зачем глаза им? Ведь посмотрит кто-то...». *Из Дю Белле* 615
«Зачем ты меня покинула...» 173
«Заяц большеглазый...» 132
Заячья елка. 572
«Звезд у Бога много...» 167
«Звезда средь звезд горит и мечется...» 428
«Звезды?..» (Прославление земной любви, 2) 382
«Звериная и ветреная грусть...» 450
Зверинец 544
«Здравствуй, осень темно-золотая!..» 141
«Земля лепка могильной вязью...» 421
Зима (Времена года, 4) 111

Зимой в Версале 198
«Знакомые дома не те...» 498
«Зол и зноен мой горестный полдень...» 401

<Тень> И. С. («Тебя сушили низких дюн пески...») 202
«...И вот уж на верхушках елок...» 214
«И дверцы скрежет: выпасть, вынуть...» 456
«...И кто в сутулости отмеченной...» 437
«...И наступит миг заката...» 133
«Иду, и долгими слезами...» 142
«Идут и тонут в ночи вьюжной...» 376
Из «Большого завещания» («Я душу смутную мою...»). *Из Вийона* 603
Из «Большого завещания». («Я знаю, что вельможа и бродяга...»). *Из Вийона* 600
Из жалоб прекрасной оружейницы. *Из Вийона* 601
«Из желтой глины, из праха, из пыли...» 398
«Из земной утробы Этновою печью...» 429
Изабелла Оранская 88
«Из-за деревьев и леса не видно...» 539
Иннокентий VI 95
«Иногда вспоминаю костры на снегу...» 175

«К вечеру улегся ветер резкий...» 524
Кадриль 183
«Каждый вечер в городе кого-нибудь хоронят...» 80
«Каждый вечер пустынными залами...» (Изабелла Оранская, 1) 88
Как Антип за хозяином бегал 319
«Как восковые, отекли камельи...» 469
«Как дерево в большие холода...» 478
«Как заспанному глазу...» 137
«Как мало мать мы в детстве ценим...» 129
«Как нехотя весна родная...» 140
«Как радостна весна родная...» 138
«Как скучно в "одиночке" вечер длинный...» 129
«Как странно жить не дома...» 130
«Как хорошо, когда нисходит плавно...» 113
«Как эти сосны и строенья...» 466
«Как ясен день у золотого Арно...» (Флорентийские терцины, 2) 110
«Какая жалкая рассада!..» 413
«Какой восторженный и дикий холод...» 174
«Какой прибой растет в угрюмом сердце...» 433
«Камин погасший раздувая...» 143
Канализационный обоз 153
Канун 179
«Когда березы разбухают...» 137
«Когда в веках скудеет звук свирельный...» 425
«Когда в Париже осень злая...» 136
«Когда враждебным небо стало...» 506
«Когда встают туманы злые...» 135
«Когда вы уйдете навек...» 171
«Когда еще не совсем стемнело...» 207
«Когда задумчивая Сена...» 83
«Когда закончен бой, присев на камень...» 505

«Когда замолкает грохот орудий...» 189
«Когда замолкнет суесловье...» 438
«Когда зима, берясь за дело...» 538
«Когда над урнами церковными...» 79
«Когда о смерти мыслю я угрюмый...» 112
«Когда она пришла в наш город...» (В мае 1945, 1) 521
«Когда подымается солнце и птицы стрекочут...» 473
«Когда приходите Вы в солнечные рощи...» 82
«Когда ты ждешь меня, снимая покрывало...» 102
«Когда ты с грустью терпеливой...» 139
«Когда я был молод, была уж война...» 516
Колыбельная («Было много светлых комнат...») 504
Колыбельная. («Спи моя русалка косенькая!..») 208
«Комната в отеле...» 172
«Кому предам прозренья этой книги?..» 412
«Конечно, есть у вас загибы...» 554
«Кончен бой. Над горем и над славой...» 488
Коровы в Калькутте 541
«Крепче железа и мудрости глубже...» 461
Крокусы. *Из Аполлинера* 623
«Крылья выдумав, ушел под землю...» 473
«Кто-то тащит на убой телят...». *Из Жамма* 620
Куплеты улицы Сен-Мартен. *Из Десноса* 624
«Курица зовет петуха по делу...» 168
«Куцый за цыплятами гонялся (в шутку)...» 169

Легкий сон (О любви, 5) 327
Ленинград 521
Лень (Обретенное, 2) 272
Летним вечером 212
«Летают самолеты через полюс...» 589
Лето (Времена года, 2) 110
«Лишь только войду я в Ваш сумрачный храм...» 101
«Лишь только высоко над задремавшим садом...» 87
Лондон 473
«Льстецы покажут нам искусство лести...». *Из Дю Белле* 613
«Люблю немецкий старый городок...» 197
Любовь («Вчера на улице шальная девка...») 242
Любовь. («В часы бессонницы...») 207
«Любовь не в пурпуре побед...» 433
Люди, годы, жизнь 546
«Люди девушку похоронили...» 132

<Тень> М. Н. («В маленькой клетке щебечет и мечется...») 200
Мадрид. *Из Неруды* 634
«Майское утро и плачет шарманка...» 195
<Тень> Максимилиана Волошина («Елей как бы придуманного имени...») 203
<Тень> Маревны («Ты смеешься весьма миловидно и просто...») 201
Мария Стюарт 88
«Медвежья колыбель — в железе...» 449
«Медвяное небо...» 233
«Между серых полей я печальный Христос...» 104
«Мельниц скорбные заломленные руки...» (В Брюгге, 3) 560

«Меня тревожит блеск весенний...» 140
Метрополитен 155
«Мир велик, а перед самой смертью...» 520
«Мне было многое знакомо...» 518
«Мне всё мерещится одна...» 585
«Мне двадцать первый год. Как много!..» 127
«Мне кажется, что Вас я увидал недавно...» 85
«Мне никто не скажет за уроком "слушай"...» 128
«Мне снился мир, и я не мог понять...» (В феврале 1945, 3) 519
«Могила солдата, а имени нет...» (У Ржева, 2) 584
«Много погибло прекрасных грез...» *Из Аполлинера* 623
<Тень> Модильяни. («Ты сидел на низенькой лестнице...») 204
«Мое уходит поколение...» 546
«Может, можно отойти, вернуться...» 160
Мои слова 227
«Мои стихи не исповедь певца...» 402
«Мой маленький Бобка...» 128
Молитва 296
Молитва за Россию 189
Молитва Ивана 312
Молитва о детях 315
Молитва о России 299
Молитва, чтоб войти в рай с ослами. *Из Жамма* 621
«Молодому кажется, что в старости...» 542
«Молча — короткий привал...» 484
Монруж 470
«Морили прежде в розницу...» 540
Моряки Тулона 502
«Москва! Москва! Безбытье необжитых будней...» 410
«Моя любовь взошла в декабрьский вечер...» 211
Моя молитва 318
«Моя родина кажется сахарной...». *Из Гильена* 636
«Мы говорим, когда нам плохо...» 536
«Мы жили в те воинственные годы...» 574
«Мы плясали с тобой долго...» 176
«Мэри, о чем Вы грустите...» 83

<Тень> Н. А. Милюковой. («Твои манеры милой тетки...») 200
На войну 181
На вокзале 161
На даче 187
«На даче было темно и сыро...» 215
На закате 182
«На картинах старых мастеров...» (Фламандские стихи, 2) 563
На кладбище 114
«На ладони — карта, с малолетства...» 466
На митинге 492
«На небе выцветшем ни тучи...» 140
«На небе зенитки смотрят зорко...» 506
На окраине 155
«На площадях столиц был барабанный бой и конский топот...» 406
На смерть дона Родриго, рыцаря ордена св. Иакова, его отца (Строфы из поэмы). *Из Маприке* 628
«На травы сохлые свой первый отблеск кинув...» 112
На холму 226

«На холму унынье и вереск...» 234
Над книгой Вийона 228
«Над миром дождь, горючий дождь...» 394
«Над Парижем грусть. Вечер долгий...» 477
«Над пепелищем показались звезды...» 577
Над рукописью 547
Над стихами Вийона 549
Надежда («Любой сутяга или скаред...») 547
«Называли нас "интеллигентщиной"...» 554
«Нарекли тебя люди Любовью...» 404
Напутствие 216
«Настанет день, скажи — неумолимо...» 501
«Наступали. А мороз был крепкий...» 497
«Наступили дни грибные...» 141
Натюрморт 199
«Наши внуки будут удивляться...» 374
«Не время года эта осень...» 540
«Не вспоминай с улыбкой милой...» 135
«Не для того писал Бальзак...» 482
«Не думал я, что даже уксус лаком...» 445
«Не здесь, на обломках, в походе, в окопе...» 485
«Не ищите в этой книге...» 127
«Не мы придумываем казни...» 443
«Не нежен, беженцем на тормоз...» 454
«Не осуди — разумный виноградарь...» 446
«Не раз в те грозные, больные годы...» 468
«Не спрошу я, зачем молчаливый сеньор...» (Изабелла Оранская, 2) 89
«Не сумерек боюсь — такого света...» 438
«Не сухостой — живое тело резать...» 455
«Не торопясь, внимательный биолог...» 461
«Не уйти нам от теплой плоти...» 398
«Не шуми ты, зеленый листочек...» 130
«Небо становилось мутно-белым...» (Авиатор, 2) 122
«Нежное железо — это скрепы...» 440
Немецкий солдат 500
«Немцы вспоминали дом и детство...» 501
Ненависть 498
«"Нет" для смерти и сеч...» 391
«Нет, не забыть тебя, Мадрид...» 481
«Нет, не зеницу ока и не камень...» 462
«Нет, не сухих прожилок мрамор синий...» 426
«Нет, я не поэт, я или пророк...» 379
«Никто не смел сказать Вам о вечернем часе...» 84
Нимфа (Сандро Боттичелли, 1) 116
«Ногти почи цвета крови...» 470
«Номера домов, имена улиц...» 476
«Ночь была. И на Пикегу падал длинный снег...» 436
Ночью 214
«Ночью в Брюгге тихо, как в пустом музее...» (В Брюгге, 2) 560
«Ночью такие звезды!..» (Прославление земной любви, 1) 380
Ноябрь 156

«О, горе, горе убежавшим с каторги!..» 422
О жилете Семена Дрозда 291

«О, дочерь блудная Европы!..» 431
«О, как мой сад пустынен ночью...» 142
«О, как тускло под спудом горит утаенное солнце!..» 409
О лете 159
О любви 324
О маме 160
О Москве («Есть город с пыльными заставами...») 159
О Москве («Хорошо, когда оттепель чуется...») 229
О наружности протоиерея и о встрече с донной Гаросой. *Из Руиса* 627
«О них когда-то горевал поэт...» (В мае 1945, 2) 521
«О, проще возвести невиданные пирамиды...» 413
О русской весне 159
О соборе Реймса 185
«О той надежде, что зову я вещей...» 491
О Тоскане 161
«О чем молчат Моравии леса...» 494
<Тень> О. Цадкина. («Люблю твое лицо — оно непристойно и дико...») 205
«О, эта тусклая весна...» 138
Об «Одуванчиках» 158
Обретенное 270
Объяснение. *Из Неруды* 634
Ода 328
«Однажды черт меня сподобил...» 588
«Он пригорюнится, притулится...» 505
«Он скорбел, а небо голубое...» (Христос, 2) 121
«Она была в линялой гимнастерке...» (В мае 1945, 3) 522
«Она умерла, не рыдая...» (Изабелла Оранская, 5) 91
«Они накинулись, неистовы...» 499
«Опять развалины, опять...» 483
Осел 571
Осень («Когда, измучена любовью...») 163
Осень (Времена года, 3) 111
Осенью под Парижем 162
Осенью 1918 года 323
Осенью («И течет, течет с небесной гнили...») 157
Осенью («О чем-то скучно и лениво...») 562
«Остались — монументов медь...» 427
«Остались на снегу заячьи следы...» 170
«Остановка. Несколько примет...» 451
«От лампы ровный круг...» 170
Отпущение 259
Отрывок из неопечатанной «Оды». («Секите сердца златогрудые!..») 416
Отторжение 243
Отходное 244
Очки Бабеля 551
«Ошибся — нужно повторить...» 525

«Пали листья желтые каштанов...» (Христос, 1) 119
«Пало капище Ра, пусты Иеговы скинии...» 400
Пан 109
«Парадных лож потертый бархат...» 421
Париж 125

Париж-Токио 589
Парижу 146
«Парча румяных жадных богородиц...» 463
Первая любовь 153
Первая ночь («Она скрывала дрожь испуга...») 154
Первая ночь («Горьким соком налились твои щеки...») 218
Перед зеркалом 206
Перед причастием 180
Перед Флоренцией 133
Пернетта. *Из французских народных песен* 593
Песенка («Гладила мать сына...») 230
«Печальны и убоги...» 558
Письмо 149
«Плачу я втихомолку...» 167
Плющиха 560
«По дороге по Лоррэнской...». *Из французских народных песен* 594
«По рытвинам, средь мусора и пепла...» 576
«По тихим плитам крепостного плаца...» 484
Повесть о жизни некой Наденьки и о вещих знамениях, явленных ей 279
Повесть о странствиях блудной души 246
«Повсюду славен, повсеместно чтим...». *Из Дю Белле* 612
«Под осиной подосиновики...» 167
Подруге 147
«...Подходит ночь. Я вижу немца...» 499
«Позабыто многое и многое...» 174
«Позабыть на одну минуту...» 551
«Позади ты, и всё же со мною...» 414
«Покинутых церквей темнели силуэты...» 85
«Полдевятого, пора в школу...» 170
Полдень 150
Полезный календарь. *Из Жамма* 619
«Полковники из терракоты...». *Из Гильена* 636
«Полярная звезда и проседь окон...» 442
«Пора признать — хоть вой, хоть плачь я...» 552
Послание к друзьям. *Из Вийона* 604
После... 465
После битвы 184
После вечера Айседоры Дункан 158
«После вчерашней попойки легко...» 172
После родов 243
После смерти Шарля Пеги 184
Последняя любовь 545
«Потеют сварщики, дымятся домны...» 575
Похороны 309
«Пред зрелищем небес, пред мира ширью...» 485
Предутренний сон 236
«Предчувствую я близкую кончину...» 232
«Привели и застрелили у Днепра...» 501
Пригород 177
«Пришедший вновь, гляди — мертва свобода...» 418
«Пришельца потрясает запустенье...». *Из Дю Белле* 612
«Про первую любовь писали много...» 534
Пробуждение 245
Провижу грозный город-улей...» 411

Прогулка 235
«Продолжен мною давний пафос...» 419
Проклятие 500
«Прорвется — что ж! — свиреп и крепок вздох...» 443
Прославление земной любви 380
Прости! 270
«Прости — одна есть рифма к слову "смерть"...» 580
Прости меня — блудливого 263
Прости меня — богохульника 264
Прости меня — злобного 269
Прости меня — нерадивого 267
Прости меня — поэта 266
«Прохожий, подойди. Лежим в могиле братской...» (У Ржева, 3) 584
«Прошу не для себя, для тех...» (В феврале 1945, 4) 520
«Птица полевая...» 573
Пугачья кровь 278
«Пчела над кашкой снует...» 166
«Пятно на карте — места хватит...» 419

«"Разведка боем" — два коротких слова...» 489
«Разграбив житницы небес...» 420
«Ракеты салютов. Чем небо черней...» 518
Рано утром 208
Рассвет («Посветлело небо над домами...») 134
Рассвет («Рассветает... И внизу, и над домами...») 148
Рассказ одержимого об его греховной жизни, о масляной в городе Риме и о дивном муже, его исцелившем 260
Расставанье («Перед входом на кладбище...») 147
Расставанье («Смуглые беспомощные руки...») 213
«Растопыренные юбки...» (Фламандские стихи, 1) 563
Рено. *Из французских народных песен* 595
Риму 235
Рождение Венеры (Сандро Боттичелли, 2) 117
Романс («Коптилка в землянке укромной...») 507
Рондо («Того ты упокой навек...»). *Из Вийона* 606
<Тень> Ропшина («Лицо подающего надежды дипломата...») 203
России («В тебе тоска и лицемерие!..») 229
России («Смердишь, распухла с голоду, сочится кровь и гной из ран отверстых...») 408
России («Как часто под вечер тяжелый...») 113
России («Ты прости меня, Россия, на чужбине...») 146
Россия («Когда в пургу ворвутся кони...») 579
«Россия — в слове том не только славы...» 580
«Рта и надбровья смутное строенье...» 491
Рука печальная ласкает пианино... *Из Верлена* 618
Русский в Андалузии 488
«Рядила нас в путь обида...» 574

«С куличами, с пасхами...» 128
«С ручной гранатой иль у пушки...» 506
«С той поры, как ушла я в бегинки...» 99
Савонарола (Сандро Боттичелли, 4) 119
Самый верный 531
Сандро Боттичелли 116
«Самоубийцею в ущелье...» 468

«Сбегают с гор, грозят и плачут...» 486
Свадьба на площади 190
Свет луны туманной... *Из Верлена* 617
«Свет погас...» 552
Светлая весть (Обретенное, 5) 276
«Светлоглазый молодой пруссак...» 577
«Светлое поле. Вечер был светел...» 514
Свеча (О любви, 1) 324
<Тень> Своя («Горбится, мелкими шажками бежит...») 206
Себе 163
«Сегодня от житейских дел...» 116
«Сегодня я видел, как Ваши тяжелые слезы...» 81
Село Лермонтово 582
Сем Тоб и король Педро Жестокий 550
Сентиментальная прогулка. *Из Верлена* 616
Сентиментальный разговор. *Из Верлена* 616
Сердце солдата 535
Сердце тихо плачет... *Из Верлена* 618
«Сердце, это ли твой разгон?..» 463
Сердцу 114
«Сияли ризы неземные...» 115
«Скажи — здесь тоже жизнь была...» 514
Сказка 301
«Скребет себя на пепле Иов...» 578
«Скрипки, сливки, книжки, дни, недели...» 417
Скука (Обретенное, 1) 270
Слава труду 377
«Слов мы боимся, и всё же прощай...» 512
«Служу — я правды от тебя не прячу...». *Из Дю Белле* 614
«Слышишь, как воет волчиха...» 182
«Снега, снега в полях унылых...» 142
«Со временем — одиночество...» 442
«Солнце — золотой шмель...» 169
«Солнце спину греет...» (О русской весне, 1) 159
Сологуб 162
«Сон твой легок и светел...» 403
Сонет («Давно то было. Смутно помню лето...») 553
Сосед 536
«Сочится зной сквозь крохотные ставни...» 478
«Спи, мой заинька...» 168
«Спи, неугомонная...» 168
Спор между Вийоном и его душою. *Из Вийона* 605
Спутник 529
«Средь мотоциклетовых цикад...» 441
«Средь снегов, дыша тоской и дымом...» 411
«Стали сны единой достоверностью...» 435
«Стало мне трудно и мало...» 173
Старику 143
«Старухой после медленного дня...». *Из Ронсара* 610
Статуя Афродиты 515
«Стены буйным светом залиты...» (О русской весне, 2) 159
Стихи не в альбом 545
«Стойте и пойте! Пусть руки бьются, безумные птицы...» 392
«Стол обеденный со старым...» (О маме, 2) 160
Страсти господни (Обретенное, 3) 273

«Страшен свет иного века...» 426
«Страшный ящер и сивиллы в духе...» 456
Судный День 304
Сумерки 150
«Счастлив, кто, уподобясь Одиссею...». *Из Дю Белле* 614

<Тень> Т. С. («Жил бы в Ливнах, в домике с маленькими оконцами...») 204
«Та заморская чужая сырость...» 576
«Так ждать, чтоб даже память вымерла...» 505
«Так умирать, чтоб бил озноб огни...» 454
«Так устали согнутые руки...» 103
«Там, где темный пруд граничит с лугом...» 82
«Там телеграф и рахитик-подсолнечник...» 458
«Твари темной, твари гордой...» 231
«Тело нежное строгает стругом...» 430
Тень деревьев... *Из Верлена* 617
«Тепла роса оставленной земли...» 447
«Тихий вечер, как ты долгим днем заслужен...» 564
Товарищам 528
«Тогда восстала горная порода...» 462
«Трагедия закончена — так пишут...» (У Ржева, 1) 583
«Ты вспомнил всё. Остыла пыль дороги...» 472
«Ты говоришь, что разлюбила...» 99
«Ты говоришь, что я замолк...» 517
«Ты знаешь, Он не Добрый пастырь!..» 175
«Ты Канадой запахла, Тверская...» 432
«Ты красавица, Мадонна...» 101
«Ты любила утром приходить ко мне...» 132
«Ты отнял у меня родину...» 390
«Ты пишешь: очнулись березы...» 137
«Ты помнишь, жаловался Тютчев...» 587
«Ты приходишь ко мне, как угроза...» (Изабелла Оранская, 4) 90
«Ты пуглива, словно зайчик...» 131
«Ты сидишь, душа, скрестивши ноги...» 175
«Ты тронул ветку, ветка зашумела...» 495
«Тяжелы несжатые поля...» 425
У Брунете 490
У вороньего пугала 188
«У маленькой речушки на закате...» 585
У окна 310
У приемника («Был скверный день, ни отдыха, ни мира...») 471
У приемника («Над крышами Парижа весна не зашумит...») 477
У Ржева 583
У Сухаревой башни 315
«У человека много родин...» 554
У Эбро 486
Убей! 496
«Увидев Рим с холмами пеживыми...». *Из Дю Белле* 611
«Уж в небе вспыхнула звезда...» 130
«Уж ночь на небо выгоняла стадо...». *Из Дю Белле* 611
«Уж рдеет золотой калач...» 431
«Уж сердце спизилось, и как!..» 434
«Умер, глаз не закрыли, не положили в гроб...» 407
«Умереть и то казалось легче...» 481

«Умрет садовник, что сажает семя...» 575
«Умру — вы вспомните газеты шорох...» 522
«Упали окон вековые веки...» 476
Упование 237
«Устала и рука. Я перешел то поле...» 547
«Утром на поляне гладкой...» 165
«Уходят улицы, узлы, базары...» 475

«Февральский ветер еле-еле...» 136
Фламандские стихи 563
Флорентийские терцины 109
Франсису Жамму 165
Франции. *Из Спира* 622
Франция 581
Французская песня. («Свободу не подарят...») 523

Хвала смерти 387
«Хотеть его. Чем реже крови дробь...» 458
«Хочу я верить, а кругом неверье...». *Из Дю Белле* 615
Христос 119
Христу 116

Чай пила с постным сахаром 225
Часовня св. Розы 212
«Чем расставанье горше и труднее...» 461
«Черной ночью гляжу на звезды вещие...» 373
Четверостишие, которое написал Вийон,
приговоренный к повешению. *Из Вийона* 610
«Читаешь, пишешь, говоришь...» (Франция, 2) 582
«Что за дурацкая игра?..» 586
«Что любовь? Нежнейшая безделка...» 439
«Что птице кроме щебета и лета?..» 449
«Чтоб истинно звучала лира...» 558
«Чужое горе — оно как овод...» 518
«Чуть заметные тени лампады...» 98

Шалун 226

Эпитафия, написанная Вийоном для него и его товарищей в
ожидании виселицы. *Из Вийона* 607
«Эти бледные сжатые губы...» 78

«Я бы мог прожить совсем иначе...» 148
«Я в мир пришел накануне...» 405
«Я в море вижу не свободу...» 585
«Я в тени своей ногами путался...» 210
«Я должен вспомнить — это было...» 471
«Я знаю, что Вы, светлая, покорно умираете...» 80
«Я знаю: будет золотой и долгий...» 467
«Я знаю: ты глядишь часами...» 138
«Я знаю: циркуль — дик и хмур...» 444
«Я любил ветер верхних палуб...» 452
«Я люблю над Парижем зимние сумерки...» 173
«Я люблю тебя за запах жесткий...» 131
«Я не берусь проникнуть в суть природы...». *Из Дю Белле* 613
«Я не завидую ни долголетью дуба...» 580

«Я не знаю грядущего мира ...» 375
«Я не знаю, тигра мучают ли тигры...» 526
«Я не трубач — труба. Дуй, Время!..» 417
«Я плачу о весне, о маленькой гостиной...» 86
«Я подошел к вершинам Миниато...» (Флорентийские терцины, 1) 109
«Я поклялся: над Гробом Господним я воздвигну священное знамя...» 97
«Я помню — был Париж. Краснели розы...» 509
«Я помню серый, молчаливый...» 136
«Я помню, давно уже я уловил...» 81
«Я ребенком любил по пустынным полям...» 97
«Я сегодня вспомнил о смерти...» 232
«Я сегодня припомнил, как встретил я Вас...» 86
«Я скажу вам о детстве ушедшем, о маме...» 127
«Я скажу, что ты смугла, как лето...» 130
«Я слышу всё — и горестные шепоты...» 537
«Я смело взглянул назад...». *Из Аполлинера* 624
«Я смутно жил и неуверенно...» 516
«Я смутно помню шумный перекресток...» 527
«Я так любил тебя — до грубых шуток...» 455
«Я так мечтал о тебе...». *Из Деспоса* 625
«Я телом немощен, и дух недужен...» 217
«Я ушел от ваших ярких, дерзких песен...» 556
«Я читал романы, сборники стихов...». *Из Жамма* 621
Явления Богородицы, записанные монахом из Берсео (Явление седьмое). *Из Гонсало из Берсео* 626
Яма 557

1941 496

A toi aimee (О любви, 2) 325
Ars 234
Nocturne 150
Notre-Dame 92
P. S. 211

СОДЕРЖАНИЕ

Из слов остались самые простые. *Вступительная статья Б. Я. Фрезинского* 5

СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ

СТИХИ

1. «В одежде гордого сеньора...» 77
2. «Девушки печальные о Вашем царстве пели...» 78
3. Брюгге 78
4. «Эти бледные сжатые губы...» 78
5. «Когда над урнами церковными...» 79
6. «Были вокруг меня люди родные...» 79
7. «Каждый вечер в городе кого-нибудь хоронят...» 80
8. «Я знаю, что Вы, светлая, покорно умираете...» 80
9. «Я помню, давно уже я уловил...» 81
10. «Сегодня я видел, как Ваши тяжелые слезы...» 81
11. «Там, где темный пруд граничит с лугом...» 82
12. «Когда приходите Вы в солнечные рощи...» 82
13. «Мэри, о чем Вы грустите...» 83
14. «Когда задумчивая Сена...» 83
15. «Никто не смел сказать Вам о вечернем часе...» 84
16. «Вы приняли меня в изысканной гостиной...» 84
17. «Покинутых церквей темнели силуэты...» 85
18. «Вечерний свет был матово-зеленый...» 85
19. «Мне кажется, что Вас я увидал недавно...» 85
20. «Я плачу о весне, о маленькой гостиной...» 86
21. «Я сегодня припомнил, как встретил я Вас...» 86
22. «Лишь только высоко над задремавшим садом...» 87
23. «Висел старинный щит на мраморных колоннах...» 87
24. Мария Стюарт 88
25—29. Изабелла Оранская 88
    1. «Каждый вечер пустынными залами...» 88
    2. «Не спрошу я, зачем молчаливый сеньор...» 89
    3. «Если был бы Твоим паладином...» 90
    4. «Ты приходишь ко мне, как угроза...» 90
    5. «Она умерла, не рыдая...» 91
30. Вандея 91
31. Notre-Dame 92
32. Баллада 93
33. Иннокентий VI 95
34. «Где задремавший Тибр плывет средь гордых зданий...» 96
35. «Я поклялся: над Гробом Господним я воздвигну священное знамя...» 97
36. «Я ребенком любил по пустынным полям...» 97

37. «Чуть заметные тени лампады...» ... 98
38. «С той поры, как ушла я в бегинки...» ... 99
39. «Ты говоришь, что разлюбила...» ... 99
40. «Догоревшие свечи так сонны...» ... 100
41. «Ты красавица, Мадонна...» ... 101
42. «Лишь только войду я в Ваш сумрачный храм...» ... 101
43. «Когда ты ждешь меня, снимая покрывало...» ... 102
44. «В темный храм с невольною тревогой...» ... 102
45. «В тяжелый свод ушли тяжелые колонны...» ... 103
46. «Так устали согнутые руки...» ... 103
47. «Между серых полей я печальный Христос...» ... 104

Я ЖИВУ

48. «В глухую ночь ты распят был...» ... 105
49—52. Барельефы ... 105
1. Афродита ... 105
2. Арес ... 106
3. Деметра ... 107
4. Аполлон ... 107
53. Дионис ... 108
54. Пан ... 109
55—56. Флорентийские терцины ... 109
1. «Я подошел к вершинам Миниато...» ... 109
2. «Как ясен день у золотого Арно...» ... 110
57—60. Времена года ... 110
1. Весна ... 110
2. Лето ... 111
3. Осень ... 111
4. Зима ... 111
61. «На травы сохлые свой первый отблеск кинув...» ... 112
62. «Когда о смерти мыслю я угрюмый...» ... 112
63. России («Как часто под вечер тяжелый...») ... 113
64. «Как хорошо, когда нисходит плавно...» ... 113
65. Благодарю ... 114
66. Сердцу ... 114
67. На кладбище ... 114
68. «Сияли ризы неземные...» ... 115
69. Богу ... 115
70. Христу ... 116
71. «Сегодня от житейских дел...» ... 116
72—75. Сандро Боттичелли ... 116
1. Нимфа ... 116
2. Рождение Венеры ... 117
3. Благовещенье ... 118
4. Савонарола ... 119
76—77. Христос ... 119
1. «Пали листья желтые каштанов...» ... 119
2. «Он скорбел, а небо голубое...» ... 121

78—80. Авиатор 121
1. «В этот вечер звезды замирали...» 121
2. «Небо становилось мутно-белым...» 122
3. «Авиатор плавает бесцельно...» 123
81. Еврейскому народу 123
82. Париж 125
83. Возврат 126

ОДУВАНЧИКИ

84. «Не ищите в этой книге...» 127
85. «Я скажу вам о детстве ушедшем, о маме...» 127
86. «Мне двадцать первый год. Как много!..» 127
87. «Детство, одуванчик нежный...» 128
88. «Мой маленький Бобка...» 128
89. «С куличами, пасхами...» 128
90. «Мне никто не скажет за уроком "слушай!"...» 128
91. «Как мало мать мы в детстве ценим...» 129
92. «В шестнадцать лет мы любим прелесть...» 129
93. «Как скучно в "одиночке" вечер длинный...» 129
94. «Как странно жить не дома...» 130
95. «Я скажу, что ты смугла, как лето...» 130
96. «Не шуми ты, зеленый листочек...» 130
97. «Уж в небе вспыхнула звезда...» 130
98. «Видишь: я с тобою близко...» 131
99. «Ты пуглива, словно зайчик...» 131
100. «Я люблю тебя за запах жесткий...» 131
101. «Люди девушку похоронили...» 132
102. «Ты любила утром приходить ко мне...» 132
103. «В знакомых пятнышках обои...» 132
104. «Заяц большеглазый...» 132
105. Перед Флоренцией 133
106. «...И наступит миг заката...» 133
107. «В вечер долгий, в вечер зимний...» 134
108. Амстердам 134
109. Рассвет («Посветлело небо над домами...») 134
110. «Не вспоминай с улыбкой милой...» 135
111. «Евреи, с вами жить не в силах...» 135
112. «Когда встают туманы злые...» 135
113. «Я помню серый, молчаливый...» 136
114. «Когда в Париже осень злая...» 136
115. «Февральский ветер еле-еле...» 136
116. «Как заспанному глазу...» 137
117. «Ты пишешь: очнулись березы...» 137
118. «Когда березы разбухают...» 137
119. «Я знаю: ты глядишь часами...» 138
120. «Как радостна весна родная...» 138
121. «О, эта тусклая весна...» 138
122. «Весной душа моя наивней...» 139

123. «Когда ты с грустью терпеливой...» 139
124. «Душа весною суеверней...» 139
125. «Как нехотя весна родная...» 140
126. «Меня тревожит блеск весенний...» 140
127. «Если ты к земле приложишь ухо...» 140
128. «На небе выцветшем ни тучи...» 140
129. «Наступили дни грибные...» 141
130. Августу 141
131. «Здравствуй, осень темно-золотая!..» 141
132. «Иду, и долгими слезами...» 142
133. «О, как мой сад пустынен ночью...» 142
134. «Бесшумно пролетают сани...» 142
135. «Снега, снега в полях унылых...» 142
136. «Камин погасший раздувая...» 143
137. Старику 143
138. Год 143

БУДНИ

139. России («Ты прости меня, Россия, на чужбине...») 146

I. В ПАРИЖЕ

140. Парижу 146
141. Подруге 147
142. Расставанье («Перед входом на кладбище...») 147
143. Рассвет («Рассветает... И внизу, и над домами...») 148
144. «Я бы мог прожить совсем иначе...» 148
145. Письмо 149
146. Вместо письма 149
147. Полдень 150
148. Nocturne 150
149. Сумерки 150
150. Воскресный вечер 151
151. В ночном баре 152
152. В кабаке 152
153. Канализационный обоз 153
154. Верлен в старости 153
155. Первая любовь 153
156. Первая ночь («Она скрывала дрожь испуга...») 154
157. Беременная женщина 154
158. Метрополитен 154
159. На окрайне 155
160. Ноябрь 156
161. Осенью («И течет, течет с небесной гнили...») 157
162. Весна («Первый теплый день сегодня...») 157
163. После вечера Айседоры Дункан 158

II. ВОСПОМИНАНИЯ

164. Об «Одуванчиках» ... 158
165. О Москве («Есть город с пыльными заставами...») ... 159
166—167. О русской весне ... 159
1. «Солнце спину греет...» ... 159
2. «Стены буйным светом залиты...» ... 159
168. О лете ... 159
169—170. О маме ... 160
1. «Если ночью не уснешь, бывало...» ... 160
2. «Стол обеденный со старым...» ... 160
171. «Может, можно отойти, вернуться...» ... 160
172. О Тоскане ... 161
173. На вокзале ... 161

III

174. Сологуб ... 162
175. Осенью под Парижем ... 162
176. Вечер ... 162
177. Себе ... 163
178. Осень («Когда, измучена любовью...») ... 163

ДЕТСКОЕ

179. Франсису Жамму ... 165

ПОДРУГЕ

180. «Утром на поляне гладкой...» ... 165
181. «Боже, милый, ласковый...» ... 166
182. «Пчела над кашкой снует...» ... 166
183. «Боже, Ты мне, неумелому...» ... 166
184. «Если бы ты была козой...» ... 166
185. «Плачу я втихомолку...» ... 167
186. «Вечером ты ляжешь...» ... 167
187. «Под осиной подосиновики...» ... 167
188. «Звезд у Бога много...» ... 167

КОЛЫБЕЛЬНАЯ

189. «Спи, мой заинька...» ... 168
190. «Спи, неугомонная...» ... 168
191. «Глупая, тише...» ... 168

НА ДАЧЕ

192. «Воробьи прыгают по березам...» 168
193. «Курица зовет петуха по делу...» 168
194. «Весной дождик шальной...» 169
195. «Куцый за цыплятами гонялся (в шутку)...» 169
196. «Дождик гадкий идет да идет...» 169
197. «Солнце — золотой шмель...» 169
198. «Ехал воз...» 169
199. «Выбралась свинья из запуток...» 170
200. «Остались на снегу заячьи следы...» 170

СЫНОВЬЕ

201. «Полдевятого, пора в школу...» 170
202. «От лампы ровный круг...» 170
203. «Когда вы уйдете навек...» 171

NOLI ME TANGERE

204. «Бежим куда-нибудь...» 172
205. «Комната в отеле...» 172
206. «После вчерашней попойки легко...» 172
207. «Зачем ты меня покинула...» 173
208. «Я люблю над Парижем зимние сумерки...» 173
209. «Стало мне трудно и мало...» 173
210. «Позабыто многое и многое...» 174
211. «Какой восторженный и дикий холод...» 174
212. «В сумерках всё темней и значительней...» 174
213. «Ты сидишь, душа, скрестивши ноги...» 175
214. «Ты знаешь, Он не Добрый пастырь!..» 175
215. «Иногда вспоминаю костры на снегу...» 175
216. «В нежном свете гаснущего газа...» 175
217. «Вечера, тенистые, как пальмы...» 176
218. «Мы плясали с тобой долго...» 176
219. «В книге оставляют закладку...» 176
220. «Есть жизни, точно тонкие тропинки...» 177
221. «Говорят и глядят...» 177
222. Пригород 177

СТИХИ О КАНУНАХ

РАЙСКАЯ ГАРЬ

223. Канун 179
224. Перед причастием 180
225. В августе 1914 года 181
226. На войну 181
227. «Слышишь, как воет волчиха...» 182

228. На закате ... 182
229. Кадриль ... 183
230. В пивной ... 183
231. После битвы ... 184
232. После смерти Шарля Пеги ... 184
233. «“Атаки отбиты... победа...”...» ... 185
234. О соборе Реймса ... 185
235. В детской ... 186
236. Где-то в Польше ... 186
237. На даче ... 187
238. У вороньего пугала ... 188
239. Ждала ... 188
240. Молитва за Россию ... 189
241. «Когда замолкает грохот орудий...» ... 189
242. «В кафе пустынном плакал газ...» ... 190

БОЖИЙ ХЛЕБ

243. Свадьба на площади ... 190
244. В кафе ... 194
245. «Майское утро и плачет шарманка...» ... 195
246. Веселый день ... 196
247. Еще в кафе ... 196
248. В вагоне ... 197
249. «Люблю немецкий старый городок...» ... 197
250. Зимой в Версале ... 198
251. «В деревенском кафе я ходячий вдовец...» ... 198
252. Натюрморт ... 199

РУЧНЫЕ ТЕНИ

253. «Вы жить обречены...» ... 199
254. Е. Ш. («Каторжница, и в минуты злобы...») ... 200
255. М. Н. («В маленькой клетке щебечет и мечется...») ... 200
256. Н. А. Милюковой («Твои манеры милой тетки...») ... 200
257. Веры Инбер («Были слоны из кипарисового дерева...») ... 201
258. Маревны («Ты смеешься весьма миловидно и просто...») ... 201
259. И. С. («Тебя сушили низких дюн пески...») ... 202
260. Е. Р. («Не забыть твоего лица...») ... 202
261. Бальмонта («Пляши вкруг жара его волос!..») ... 203
262. Максимилиана Волошина («Елей как бы придуманного имени...») ... 203
263. Ропшина («Лицо подающего надежды дипломата...») ... 203
264. Модильяни («Ты сидел на низенькой лестнице...») ... 204
265. Т. С. («Жил бы в Ливнах, в домике с маленькими оконцами...») ... 204
266. В. Н. («Собирает кинжалы, богов китайских...») ... 205
267. О. Цадкина («Люблю твое лицо — оно непристойно и дико...») ... 205

268. Своя («Горбится, мелкими шажками бежит...») 206
269. Перед зеркалом 206

ЕЛЕЙ И ЖЁЛЧЬ

270. Любовь («В часы бессонницы...») 207
271. «Когда еще не совсем стемнело...» 207
272. Колыбельная («Спи моя русалка косенькая!..») 208
273. Рано утром 208
274. Девье слово 209
275. «Весна такая тяжелая...» 209
276. В солнцевороте 209
277. «Я в тени своей ногами путался...» 210
278. «В тихих прудах печали...» 210
279. «Моя любовь взошла в декабрьский вечер...» 211
280. P. S. 211
281. Летним вечером 212
282. В февральскую ночь 212
283. Часовня св. Розы 212
284. Расставанье («Смуглые беспомощные руки...») 213
285. «...И вот уж на верхушках елок...» 214

ТЯЖКАЯ ПЛОТЬ

286. Ночью 214
287. «На даче было темно и сыро...» 215
288. Напутствие 216
289. Весеннее 216
290. В больнице 217
291. «Я телом немощен, и дух недужен...» 217
292. Первая ночь («Горьким соком налились твои щеки...) 218
293. Другу 224
294. «Чай пила с постным сахаром...» 225

НАСМЕШНИК

295. В саду 225
296. Шалун 226
297. На холму 226
298. Двадцать пятое марта 226
299. Мои слова 227
300. Еще колыбельная («Ни к богатым, ни к косматым...») 227
301. Над книгой Вийона 228
302. Добрый Пастырь 228
303. России («В тебе тоска и лицемерие!..») 229
304. О Москве («Хорошо, когда оттепель чуется...») 229
305. Песенка («Гладила мать сына...») 230
306. Гоголь 231

307. «Твари темной, твари гордой...» ... 231
308. «Я сегодня вспомнил о смерти...» ... 232
309. «Предчувствую я близкую кончину...» ... 232
310. «Если б сегодня пророк пришел...» ... 233
311. «Медвяное небо...» ... 233
312. «На холму унынье и вереск...» ... 234
313. Ars ... 234
314. Риму ... 235

ДОПОЛНЕНИЯ

315. Прогулка ... 235
316. Предутренний сон ... 236
317. Упование ... 237
318. Заключительное представление, или снова в моем веселом кафе ... 238
319. Любовь («Вчера на улице шальная девка...») ... 242
320. Отторжение ... 243
321. После родов ... 243
322. Отходное ... 244
323. Пробуждение ... 245
324. Повесть о странствиях блудной души ... 246
325. Отпущение ... 259
326. Рассказ одержимого об его греховной жизни, о масляной в городе Риме и о дивном муже, его исцелившем... ... 260
327—332 ... 263
1. Прости меня — блудливого ... 263
2. Прости меня — богохульника ... 264
3. Прости меня — поэта ... 266
4. Прости меня — нерадивого ... 267
5. Прости меня — злобного ... 269
6. Прости! ... 270
333—337. Обретенное ... 270
1. Скука ... 270
3. Лень ... 272
4. Страсти Господни ... 273
5. Гордыня ... 275
6. Светлая весть ... 276
338. Пугачья кровь ... 278

ПОВЕСТЬ О ЖИЗНИ НЕКОЙ НАДЕНЬКИ И О ВЕЩИХ ЗНАМЕНИЯХ, ЯВЛЕННЫХ ЕЙ

339. Повесть о жизни некой Наденьки и о вещих знамениях, явленных ей ... 279

О ЖИЛЕТЕ СЕМЕНА ДРОЗДА. МОЛИТВА

340. О жилете Семена Дрозда 291
341. Молитва 296

МОЛИТВА О РОССИИ

342. Молитва о России 299
343. Сказка 301
344. Судный День 304
345. В ноябре 1917 309
346. Похороны 309
347. У окна 310
348. В смертный час 311
349. Божье Слово 311
350. Молитва Ивана 312
351. Молитва о детях 315
352. У Сухаревой башни 315
353. В переулке 317
354. Моя молитва 318
355. Как Антип за хозяином бегал 319

ДОПОЛНЕНИЯ

356. Возвращение 323
357. Осенью 1918 года 323
358—362. О л ю б в и 324
1. Свеча 324
2. A toi aimee 325
3. Его рука 326
4. В Софиевском соборе 327
5. Легкий сон 327
363. Ода 328

В ЗВЕЗДАХ

364. В звездах 330

ОГОНЬ

365. «Черной ночью гляжу на звезды вещие...» 373
366. «Наши внуки будут удивляться...» 374
367. «Я не знаю грядущего мира ...» 375
368. «Идут и тонут в ночи вьюжной...» 376
369. Слава труду 377
370. «Нет, я не поэт, я или пророк...» 379

371—373. Прославление земной любви 380
1. «Ночью такие звезды!..» 380
2. «Звезды?..» 382
3. «В поздний час...» 384
374. «Враги, нет, не враги, просто многие...» 386
375. Хвала смерти 387
376. «Ты отнял у меня родину...» 390
377. «"Нет" для смерти и сеч...» 391
378. «Гудит и плещет стихия...» 391
379. «Стойте и пойте! Пусть руки бьются, безумные птицы...» . 392
380. «Над миром дождь, горючий дождь...» 394
381. «Вам всё понятно в мире...» 395

РАЗДУМИЯ

НОЧИ В КРЫМУ

382. «Ветер летит и стенает...» 397
383. «Не уйти нам от теплой плоти...» 398
384. «Из желтой глины, из праха, из пыли...» 398
385. «Бьется пташка, в траву ныряет...» 399
386. «Пало капище Ра, пусты Иеговы скинии...» 400
387. «Зол и зноен мой горестный полдень...» 401
388. «За то, что губы мои черны от жажды...» 402
389. «Мои стихи не исповедь певца...» 402
390. «Сон твой легок и светел...» 403
391. «Нарекли тебя люди Любовью...» 404
392. «Далеко, на милой могиле...» 404
393. «Я в мир пришел накануне...» 405
394. «На площадях столиц был барабанный бой
и конский топот...» 406
395. «Умер, глаз не закрыли, не положили в гроб...» 407
396. России («Смердишь, распухла с голоду,
сочится кровь и гной из ран отверстых...») 408
397. «Бунтом не зовите годы высокой работы...» 409
398. «О, как тускло под спудом горит утаенное солнце!..» 409
399. «Боролись с ветрами, ослабли...» 410

МОСКОВСКИЕ РАЗДУМЬЯ

400. «Москва! Москва! Безбытье необжитых будней...» 410
401. «Провижу грозный город-улей...» 411
402. «Средь снегов, дыша тоской и дымом...» 411
403. «Кому предам прозренья этой книги?..» 412
404. «О, проще возвести невиданные пирамиды...» 413
405. «Какая жалкая рассада!..» 413

ПУТЕВЫЕ РАЗДУМЬЯ

406. «Весна снега ворочала...» 414
407. «Позади ты, и всё же со мною...» 414

ДОПОЛНЕНИЯ

408. «Блузник, на лбу твоем пот...» 415
409. Отрывок из ненапечатанной «Оды».
(«Секите сердца златогрудые!..») 416

ЗАРУБЕЖНЫЕ РАЗДУМИЯ

410. «Скрипки, сливки, книжки, дни, недели...» 417
411. «Я не трубач — труба. Дуй, Время!..» 417
412. «Пришедший вновь, гляди — мертва свобода...» 418
413. «Пятно на карте — места хватит...» 419
414. «Продолжен мною давний пафос...» 419
415. «Разграбив житницы небес...» 420
416. «Парадных лож потертый бархат...» 421
417. «Земля лепка могильной вязью...» 421
418. «Будет день и станет наше горе...» 422
419. «О, горе, горе убежавшим с каторги!..» 422
420. «Две-три песчинки на ладони...» 423

ОПУСТОШАЮЩАЯ ЛЮБОВЬ

421. «Тяжелы несжатые поля...» 425
422. «Когда в веках скудеет звук свирельный...» 425
423. «Нет, не сухих прожилок мрамор синий...» 426
424. «Страшен свет иного века...» 426
425. «Есть задыханья, и тогда...» 427
426. «Остались — монументов медь...» 427
427. «Звезда средь звезд горит и мечется...» 428
428. «Из земной утробы Этновою печью...» 429
429. «Взвился рыжий, ближе! Ближе!..» 429
430. «Тело нежное строгает стругом...» 430
431. «Уж рдеет золотой калач...» 431
432. «О, дочерь блудная Европы!..» 431
433. «Ты Канадой запахла, Тверская...» 432
434. «Какой прибой растет в угрюмом сердце...» 433
435. «Любовь не в пурпуре побед...» 433
436. «Громорыкого Хищника...» 433
437. «Уж сердце снизилось, и как!..» 434
438. «Стали сны единой достоверностью...» 435
439. «Ночь была. И на Пинегу падал длинный снег...» 436
440. «...И кто в сутулости отмеченной...» 437
441. «В зените бытия любовь изнемогает...» 437
442. «Не сумерек боюсь — такого света...» 438
443. «Когда замолкнет суесловье...» 438

ЗВЕРИНОЕ ТЕПЛО

444. «Видишь, любить до чего тяжело...» 439
445. «Что любовь? Нежнейшая безделка...» 439
446. «Волос черен и золот...» 440
447. «Нежное железо — это скрепы...» 440
448. «Вдруг — среди дня — послушай...» 441
449. «Средь мотоциклетовых цикад...» 441
450. «Со временем — единоборство...» 442
451. «Полярная звезда и проседь окон...» 442
452. «Не мы придумываем казни...» 443
453. «Прорвется — что ж! — свиреп и крепок вздох...» 443
454. «Я знаю: циркуль — дик и хмур...» 444
455. «Вздуй, трубач, серебряные щеки...» 445
456. «Не думал я, что даже уксус лаком...» 445
457. «Не осуди — разумный виноградарь...» 446
458. «Заезжий двор. Ты сердца не щади...» 446
459. «Тепла роса оставленной земли...» 447
460. «Где солнце, как желток, белы потемки...» 447
461. «"Аврора" дулась, дулась и река...» 448
462. «Медвежья колыбель — в железе...» 449
463. «Что птице кроме щебета и лета?..» 449
464. «Звериная и ветреная грусть...» 450
465. «Были года и года...» 451
466. «Остановка. Несколько примет...» 451
467. «Я любил ветер верхних палуб...» 452
468. «В ночи я трогаю недоумелый...» 453

НЕ ПЕРЕВОДЯ ДЫХАНИЯ

469. «Так умирать, чтоб бил озноб огни...» 454
470. «Не нежен, беженцем на тормоз...» 454
471. «Не сухостой — живое тело резать...» 455
472. «Я так любил тебя — до грубых шуток...» 455
473. «И дверцы скрежет: выпасть, вынуть...» 456
474. «Страшный ящер и сивиллы в духе...» 456
475. «Жалко в жизни мне еще дождя...» 457
476. «Там телеграф и рахитик-подсолнечник...» 458
477. «Хотеть его. Чем реже крови дробь...» 458

ВЕРНОСТЬ

ВЕРНОСТЬ

478. Верность («Верность — прямо дорога без петель...») 460
479. Бой быков 460
480. «Крепче железа и мудрости глубже...» 461
481. «Не торопясь, внимательный биолог...» 461

482. «Чем расставанье горше и труднее...» 461
483. «Нет, не зеницу ока и не камень...» 462

ИСПАНИЯ

484. «Тогда восстала горная порода...» 462
485. «Сердце, это ли твой разгон?..» 463
486. «Парча румяных жадных богородиц...» 463
487. «Альбасете, тише! Альмаден, молчи!..» 463
488. «В кастильском нищенском селенье...» 464
489. В январе 1939 465
490. После... 465
491. «Бои забудутся, и вечер щедрый...» 465

ДЫХАНИЕ

492. «На ладони — карта, с малолетства...» 466
493. «Как эти сосны и строенья...» 466
494. «Где играли тихие дельфины...» 467
495. «Я знаю: будет золотой и долгий...» 467
496. «Жилье в горах, как всякое жилье...» 467
497. «Не раз в те грозные, больные годы...» 468
498. Дыхание («Мальчика игрушечный кораблик...») 468
499. «Самоубийцею в ущелье...» 468

ПЕРЕД ВОЙНОЙ

500. «Как восковые, отекли камельи...» 469
501. Монруж 470
502. «Ногти ночи цвета крови...» 470
503. У приемника («Был скверный день, ни отдыха, ни мира...») 471
504. «Я должен вспомнить — это было...» 471

КРУГ

505. «Есть в хаосе самом высокий строй...» 472
506. «Ты вспомнил всё. Остыла пыль дороги...» 472
507. «Белесая, как марля, мгла...» 472
508. «Когда подымается солнце и птицы стрекочут...» 473
509. «Крылья выдумав, ушел под землю...» 473
510. Лондон 473
511. Гончар в Хаэне 474
512. «Бомбы осколок. Расщеплены двери...» 475

513. «Уходят улицы, узлы, базары...» 475
514. «Глаза погасли, и холод губ...» 476
515. «Упали окон вековые веки...» 476
516. «Номера домов, имена улиц...» 476
517. «Над Парижем грусть. Вечер долгий...» 477
518. У приемника («Над крышами Парижа
весна не зашумит...») 477
519. «Как дерево в большие холода...» 478

ОДИНОЧЕСТВО

520. «Сочится зной сквозь крохотные ставни...» 478
521. «Додумать не дай, оборви, молю, этот голос...» 479
522. «Всё за беспамятство отдать готов...» 479
523. «Батарею скрывали оливы...» 479
524. «В лесу деревьев корни сплетены...» 480

ОБИДЫ

525. «Был бомбой дом как бы шутя расколот...» 480
526. «Умереть и то казалось легче...» 481
527. «Нет, не забыть тебя, Мадрид...» 481
528. «Не для того писал Бальзак...» 482
529. «Бродят Рахили, Хаимы, Лии...» 482
530. «Опять развалины, опять...» 483
531. Возле Фонтенбло 483
532. «Где камня слава, тепло столетий...» 484
533. «Молча — короткий привал...» 484

НЕНАВИСТЬ

534. «По тихим плитам крепостного плаца...» 484
535. «Не здесь, на обломках, в походе, в окопе...» 485
536. «Пред зрелищем небес, пред мира ширью...» 485
537. У Эбро 486

БОИ

538. «Сбегают с гор, грозят и плачут...» 486
539. «Есть перед боем час — всё выжидает...» 487
540. «Всё простота: стекольные осколки...» 487
541. «Горят померанцы, и горы горят...» 487
542. «Кончен бой. Над горем и над славой...» 488
543. Русский в Андалузии 488
544. «"Разведка боем" — два коротких слова...» 489
545. В Барселоне 490

546. У Брунете ... 490
547. «Рта и надбровья смутное строенье...» ... 491

НАДЕЖДА

548. «О той надежде, что зову я вещей...» ... 491
549. На митинге ... 492
550. «Говорит Москва» ... 492
551. Воздушная тревога ... 492
552. «В городе брошенных душ и обид...» ... 493
553. «Город рос, как тайга, душный и частый...» ... 493
554. «О чем молчат Моравии леса...» ... 494
555. «Города горят. У тех обид...» ... 494
556. «Ты тронул ветку, ветка зашумела...» ... 495

СТИХИ О ВОЙНЕ

557. 1941 ... 496
558. Убей! ... 496
559. Возмездие ... 497
560. «Наступали. А мороз был крепкий...» ... 497
561. Ненависть ... 498
562. «Знакомые дома не те...» ... 498
563. «Они накинулись, неистовы...» ... 499
564. «...Подходит ночь. Я вижу немца...» ... 499
565. Проклятие ... 500
566. Немецкий солдат ... 500
567. «Настанет день, скажи — неумолимо...» ... 501
568. «Привели и застрелили у Днепра...» ... 501
569. «Немцы вспоминали дом и детство...» ... 501
570. Моряки Тулона ... 502
571. «Большая черная звезда...» ... 503
572. Колыбельная («Было много светлых комнат...») ... 504
573. «Так ждать, чтоб даже память вымерла...» ... 505
574. «Он пригорюнится, притулится...» ... 505
575. «Когда закончен бой, присев на камень...» ... 505
576. «На небо зенитки смотрят зорко...» ... 506
577. «С ручной гранатой иль у пушки...» ... 506
578. «Когда враждебным небо стало...» ... 506
579. Романс («Коптилка в землянке укромной...») ... 507
580. «Зайдешь к танкистам, и в чужой землянке...» ... 508
581. «Был лютый мороз. Молодые солдаты...» ... 508
582. «Бывала в доме, где лежал усопший...» ... 508
583. «Я помню — был Париж. Краснели розы...» ... 509

ДЕРЕВО

584. «Была трава, как раб, распластана...» ... 510
585. Европа ... 510

586. В Белоруссии ... 511
587. «Было в слове "русский" столько доброты...» ... 511
588. «Слов мы боимся, и всё же прощай...» ... 512
589. Бабий Яр ... 512
590. В гетто ... 513
591. «За то, что зной полуденной Эсфири...» ... 513
592. «Есть время камни собирать...» ... 513
593. «Запомни этот ров. Ты всё узнал...» ... 514
594. «Светлое поле. Вечер был светел...» ... 514
595. «Скажи — здесь тоже жизнь была...» ... 514
596. «Белеют мазанки. Хотели сжечь их...» ... 514
597. Статуя Афродиты ... 515
598. «Был час один — душа ослабла...» ... 515
599. «Гляжу на снег, а в голове одно...» ... 516
600. «Когда я был молод, была уж война...» ... 516
601. «Я смутно жил и неуверенно...» ... 516
602. «Ты говоришь, что я замолк...» ... 517
603. «Были липы, люди, купола...» ... 517
604. «Было в жизни мало резеды...» ... 517
605. «Чужое горе — оно как овод...» ... 518
606. «Мне было многое знакомо...» ... 518
607. «Ракеты салютов. Чем небо черней...» ... 518
608—611. В феврале 1945 ... 519
1. «Будет солнце в тот день, или дождь, или снег...» ... 519
2. «День придет, и славок громкий хор...» ... 519
3. «Мне снился мир, и я не мог понять...» ... 519
4. «Прошу не для себя, для тех...» ... 520
612. «Мир велик, а перед самой смертью...» ... 520
613. «За что он погиб? Он тебе не ответит...» ... 520
614. Ленинград ... 521
615—617. В мае 1945
1. «Когда она пришла в наш город...» ... 521
2. «О них когда-то горевал поэт...» ... 521
3. «Она была в линялой гимнастерке...» ... 522
618. «Умру — вы вспомните газеты шорох...» ... 522

СТИХИ. 1938—1958

619. Французская песня. («Свободу не подарят...») ... 523
620. «"Во Францию два гренадера..."...» ... 523
621. «К вечеру улегся ветер резкий...» ... 524
622. «Был тихий день обычной осени...» ... 524
623. «Ошибся — нужно повторить...» ... 525
624. «Есть надоедливая вдоволь повесть...» ... 526
625. «Я не знаю, тигра мучают ли тигры...» ... 526
626. «Есть в севере чрезмерность, человеку...» ... 527
627. «Я смутно помню шумный перекресток...» ... 527
628. Дождь в Нагасаки ... 528
629. Товарищам ... 528

630. Спутник ... 529
631. «Был пятый час среди январских сумерек...» ... 530
632. Верность («Жизнь широка и пестра...») ... 530
633. Самый верный ... 531
634. «Да разве могут дети юга...» ... 532
635. «Вчера казалась высохшей река...» ... 532
636. В Греции ... 533
637. В зоопарке Лондона ... 533
638. «Про первую любовь писали много...» ... 534
639. Сердце солдата ... 535
640. Сосед ... 536
641. «Мы говорим, когда нам плохо...» ... 536
642. «Я слышу всё — и горестные шепоты...» ... 537

НОВЫЕ СТИХИ. 1964—1966

643. В Римском музее ... 538
644. «Когда зима, берясь за дело...» ... 538
645. В Копенгагене ... 539
646. «Из-за деревьев и леса не видно...» ... 539
647. «Всё призрачно, и свет ее неярок...» ... 539
648. «Морили прежде в розницу...» ... 540
649. «Не время года эта осень...» ... 540
650. Коровы в Калькутте ... 541
651. «Молодому кажется, что в старости...» ... 542
652. В самолете ... 542
653. Зверинец ... 542
654. В театре ... 544
655. Стихи не в альбом ... 545
656. Последняя любовь ... 545
657. «Мое уходит поколение...» ... 546
658. Люди, годы, жизнь ... 546
659. Над рукописью ... 547
660. «Устала и рука. Я перешел то поле...» ... 547
661. Надежда («Любой сутяга или скаред...») ... 547
662. В Доме литераторов ... 548
663. Над стихами Вийона ... 549
664. Сем Тоб и король Педро Жестокий ... 550
665. Очки Бабеля ... 551
666. «Позабыть на одну минуту...» ... 551
667. «Пора признать — хоть вой, хоть плачь я...» ... 552
668. «Свет погас...» ... 552
669. Сонет («Давно то было. Смутно помню лето...») ... 553
670. Ветхая история ... 553
671. «У человека много родин...» ... 554
672. «Называли нас "интеллигентщиной"...» ... 554
673. «Конечно, есть у вас загибы...» ... 554

СТИХОТВОРЕНИЯ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ В АВТОРСКИЕ СБОРНИКИ

678. «Я ушел от ваших ярких, дерзких песен...» ... 556
679. Довольно!... 556
680. Городские дети ... 557
681. Яма ... 557
682. «Печальны и убоги...» ... 558
683. «Чтоб истинно звучала лира...» ... 558
680—682. В Брюгге ... 559
1. «В этих темных узеньких каналах...» ... 559
2. «Ночью в Брюгге тихо, как в пустом музее...» ... 560
3. «Мельниц скорбные заломленные руки...» ... 560
683. Плющиха ... 560
684. Девичье поле ... 561
685. Осенью («О чем-то скучно и лениво...») ... 562
686. Вечером ... 562
687—688. Фламандские стихи ... 563
1. «Растопыренные юбки...» ... 563
2. «На картинах старых мастеров...» ... 563
689. «Тихий вечер, как ты долгим днем заслужен...» ... 564
690. «Гаснет день чахоточный и хилый...» ... 564
691. «День засыпает навеки...» ... 565
692. Божья люлька ... 565
693. Баллада об Исаке Зильберсоне ... 567
694. Дорога ... 570
695. Осел ... 571
696. Заячья елка. ... 572
697. В раю ... 572
698. «Птица полевая...» ... 573
699. «Рядила нас в путь обида...» ... 574
700. «Мы жили в те воинственные годы...» ... 574
701. «Потеют сварщики, дымятся домны...» ... 575
702. «Умрет садовник, что сажает семя...» ... 575
703. «Та заморская чужая сырость...» ... 576
704. «Замерзшее окно как глаз слепца...» ... 576
705. «По рытвинам, средь мусора и пепла...» ... 576
706. «Над пепелищем показались звезды...» ... 577
707. «Светлоглазый молодой пруссак...» ... 577
708. «Был дом обжит, надышан мной...» ... 577
709. «В росчерк спички он, глумясь, вложил...» ... 578
710. «Всё взорвали. Но гляди — средь щебня...» ... 578
711. «Скребет себя на пепле Иов...» ... 578
712. Россия («Когда в пургу ворвутся кони...») ... 579
713. «В окопе или в маленькой землянке...» ... 579
714. «Россия — в слове том не только славы...» ... 580
715. «Прости — одна есть рифма к слову “смерть”...» ... 580
716. «Я не завидую ни долголетью дуба...» ... 580
717. «В печальном парке, где дрожит зола...» ... 581

718—719. Франция 581
1. «Дорога вьется, тянет, тянется...» 581
2. «Читаешь, пишешь, говоришь...» 582
720. Село Лермонтово 582
721—723. У Ржева 583
1. «Трагедия закончена — так пишут...» 583
2. «Могила солдата, а имени нет...» 584
3. «Прохожий, подойди. Лежим в могиле братской...» 584
724. «Я в море вижу не свободу...» 585
725. «Мне всё мерещится одна...» 585
726. «У маленькой речушки на закате...» 585
727. «Что за дурацкая игра?..» 586
728. «Быть может...» 586
729. «Ты помнишь, жаловался Тютчев...» 587
730. «В их мире замкнутом и спертом...» 587
731. «Однажды черт меня сподобил...» 588
732. Париж-Токио 589
733. «Летают самолеты через полюс...» 589

ИЗБРАННЫЕ ПЕРЕВОДЫ

ИЗ ФРАНЦУЗСКОЙ ПОЭЗИИ

Народные песни

734. Пернетта 593
735. «По дороге по Лоррэнской...» 594
736. Рено 595
737. Возвращение моряка 596
738. Враки 597
739. Господин Ля Палисс 598

Франсуа Вийон

740. Баллада поэтического состязания в Блуа 599
741. Из «Большого завещания». («Я знаю, что вельможа и бродяга...») 600
742. Баллада и молитва 600
743. Из жалоб прекрасной оружейницы 601
744. Баллада прекрасной оружейницы девушкам легкого поведения 602
745. Баллада, в которой Вийон просит у всех пощады 603
746. Из «Большого завещания» («Я душу смутную мою...») 603
747. Послание к друзьям 604
748. Баллада истин наизнанку 605
749. Спор между Вийоном и его душою 605

750. Рондо («Того ты упокой навек...») 606
751. Эпитафия, написанная Вийоном для него и его товарищей в ожидании виселицы 607
752. Баллада примет 607
753. Баллада о дамах былых времен 608
754. Баллада Вийона к толстой Марго 609
755. Четверостишие, которое написал Вийон, приговоренный к повешению 610

Ронсар

756. «Старухой после медленного дня...» 610

Жоакен Дю Белле

757. «Голубка над кипящими валами...» 610
758. «Уж ночь на небо выгоняла стадо...» 611
759. «Увидев Рим с холмами неживыми...» 611
760. «Повсюду славен, повсеместно чтим...» 612
761. «Пришельца потрясает запустенье...» 612
762. «Я не берусь проникнуть в суть природы...» 613
763. «Льстецы покажут нам искусство лести...» 613
764. «В лесу ягненок блеет — знать...» 614
765. «Служу — я правды от тебя не прячу...» 614
766. «Счастлив, кто, уподобясь Одиссею...» 614
767. «Хочу я верить, а кругом неверье...» 615
768. «Зачем глаза им? Ведь посмотрит кто-то...» 615

Поль Верлен

769. Сентиментальная прогулка 616
770. Сентиментальный разговор 616
771. Свет луны туманной... 617
772. Тень деревьев... 617
773. Рука печальная ласкает пианино... 618
774. Сердце тихо плачет... 618

Франсис Жамм

775. Полезный календарь 619
776. «Кто-то тащит на убой телят...» 620
777. «Вот кто славным трудится трудом!..» 620
778. «Я читал романы, сборники стихов...» 621
779. Молитва, чтоб войти в рай с ослами 621

Андре Спир

780. Франции 622

Гийом Аполлинер

781. «Много погибло прекрасных грез...» 623
782. Крокусы 623
783. «Я смело взглянул назад...» 624

Робер Деснос

784. Куплеты улицы Сен-Мартен 624
785. «Взгляни — у бездны на краю трава...» 624
786. «Я так мечтал о тебе...» 625

ИЗ ПОЭЗИИ ИСПАНИИ И ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ

ГОНСАЛО ИЗ БЕРСЕО

787. Явления Богородицы, записанные монахом Гонсало из Берсео (Явление седьмое) 626

ХУАН РУИС

788. О наружности протоиерея и о встрече с донной Гаросой . 627

ХОРХЕ МАНРИКЕ

789. На смерть дона Родриго, рыцаря ордена св. Иакова, его отца (Строфы из поэмы) 628

ПАБЛО НЕРУДА

790. Мадрид (1936) 634
791. Объяснение 634

НИКОЛАС ГИЛЬЕН

792. «Полковники из терракоты...» 636
793. Моя родина кажется сахарной... 636
794. Венесуэла 638

Эренбург И. Г.

Стихотворения и поэмы / Вступ. ст., сост., подг. текста и примечания Б. Я. Фрезинского — СПб.: Академический проект, 2000 — 816 с.

ISBN 5-7331-0206-3

Настоящее издание является наиболее полным собранием оригинальных поэтических произведений И. Г. Эренбурга, писателя, чья проза, переводы, мемуары, общественная деятельность почти всегда — и часто незаслуженно — оттесняли на второй план поэзию, оказавшуюся важным связующим звеном между поэзией Серебряного века и поэзией наших дней. Том включает в себя все поэтические книги Эренбурга, никогда не переиздававшийся роман в стихах «В звездах», все стихотворения, опубликованные после 1915 г. Ряд текстов публикуется впервые. В примечаниях использованы материалы личного архива Эренбурга, других архивов и частных собраний.

ISBN 5-7331-0206-3

9 785733 102061

Эренбург Илья Григорьевич

СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ

Художник *В. В. Еремин*
Художественный редактор *В. Г. Бахтин*
Технический редактор *Е. Ф. Шараева*
Корректор *О. Э. Карпеева*

ЛР № 066191 от 27.11.98.

Подписано в печать 15.05.2000. Формат 84×108/32.
Бумага офсетная. Печать высокая. Гарнитура Балтика.
П. л. 51. Уч.-изд. л. 49. Тираж 3000 экз. Заказ № 1143.

Гуманитарное агентство «Академический проект».
191002, Санкт-Петербург, а/я 35.

Отпечатано с готовых диапозитивов в ГПП «Печатный Двор»
Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания
и средств массовых коммуникаций.
197110, Санкт-Петербург, Чкаловский пр., 15.